СЕРГЕЙ
ЗАЛЫГИН

6



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1991

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1991

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ
ШЕСТОЙ

РАССКАЗЫ
1981-1989

ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1991

ББК 84Р7
З-24

Оформление художника
Д. ШИМИЛИСА

З $\frac{4702010206-032}{028(01)-91}$ Подписное

ISBN 5-280-01613-6 (Т.6)
ISBN 5-280-00785-4

РАССКАЗЫ

1981—1989

ДОМОЙ!

Летом 1916 года на ферме Иоганна фон Граббе жили три пленных француза. Смуглые, разговорчивые ребята, они ушли от смерти в окопах, ушли из лагерей для военнопленных и теперь ели вволю и спали в тепле. Отыскали где-то берлинскую «Брачную газету», которая доставляла им несказанное удовольствие. Старший, Жак, родом из Эльзаса, немного знал по-немецки и каждый вечер переводил одни и те же объявления:

«Господин с обеспеченным положением и в зрелых летах,— коверкая слова, начинал он читать объявления, которые давным-давно знал наизусть,— в зрелых летах, верящий в платоническую любовь, страстно желает осуществить эту идею в браке, для чего хочет,— здесь Жак переходил на глухой тон, чтобы не расхохотаться,— посредством анонимной переписки познакомиться с дамой, имеющей состояние».

От платониста переходили к практику:

«Дамам благородного происхождения: образованный чиновник приятной наружности, с очень добрым сердцем, оклад 1000 талеров, 30 лет, желает жениться на красивой, образованной девушке или вдове между 17 и 27 годами, которая имела бы по крайней мере 10 000 талеров. Почтительно просят выслать свой адрес с точным указанием своего положения».

«Брачная газета» была в рамке из лирических виньеток. Удавалось ли французам выпить пива больше той нормы, которую отпускал им хозяин Иоганн, или они тосковали по родине,— в руках Жака мелькали виньетки, и через минуту младший, Поль, уже провозглашал:

— Поищем счастья!

Чем громче хохотали внизу французы, тем сильнее наверху стучал в потолок своей тяжелой палкой Иоганн

фон Граббе, юнкер, когда-то знававший широкую жизнь, а теперь — владелец небогатой фермы в Померании.

Ему не до смеха. Подагра все больше дает себя чувствовать... «Имперское управление распределения» реквизирует продукты... Соседи-фермеры наживают большие состояния на спекуляции... Ах, как важно иметь сейчас знакомства в городе, как важно! Но болезнь не дает возможности заниматься делами энергично, часто бывать в городе. Элиза — сноха — малорачительная хозяйка.

Французов она, правда, заставляет работать на совесть. Да они и сами стараются: кому охота снова попасть в лагеря военнопленных.

Но все-таки рабочих рук мало. Пожалуй, надо взять еще одного пленного. Русского? У соседа, герра Вернера, четверо пленных — все русские. И дела идут хорошо — герр Вернер доволен.

Новый работник был измятый, вялый. Кое-как растолковал Жаку:

— Помираю помаленьку... дай свободу — не уйду. Силы нету. А помирать на чужой земле — ой не хочется!

А через несколько дней ожил. Устроил из досок кровать в углу. Ухмыляется, когда французы читают «Брачную газету».

В дождь смотрит подолгу в окно. Серые постройки фермы цепко ухватились друг за друга, а дальше — поле, серое, ровное поле, а еще дальше — болотце, поросшее ольхой... Чужая земля... Поутру пленный носит торф или убирает в хлеву и украдкой смотрит на молодую хозяйку.

Волосы у Элизы цвета, какого никогда не видел Иван: конопляное волокно и даже с тем же блеском... Лицо серьезное, неподвижное и все-таки похоже на детское... Голубые, постоянные глаза. Ходит легко, как девочка, но полна и высока...

Солнце еще совсем раннее, через ольховое болотце лишь слегка пробиваются робкие лучи, а завтрак уже готов у Элизы, все блестит в доме, словно в праздник. Элиза уже на ферме. Зачуяв хозяйку, громадные свиньи тычутся розовыми пятачками в загородку, неистово визжат поросята, и тяжелые, пятнистые — черные с белым — коровы мычат и не спускают с нее отуманенных глаз.

И пленный смотрит на Элизу, позабыв о работе. Если бы он не был в плену! Если бы такую встретил у себя в России! Если бы она хоть раз посмотрела на него ласково!

Скоро разглядел Иван — нелегко приходится Элизе. Мужа убили на Восточном фронте. Старик свекор — даром что одной ногой стоит в могиле — а все подгоняет сноху, все ему мало скота, мало хлеба, мало денег. Опираясь на тяжелую трость, он выходит из дома, и на бритом лице его — толстом, в морщинах — нескрываемое раздражение и недовольство. Иногда ему запрягали лошадь, и он ехал в поле. Подъезжал к работникам, сердито их подгонял и кашлял.

Прежде чем вернуться домой, фон Граббе подзывал к себе Элизу и что-то выговаривал ей медленно, с большими паузами между словами.

Она стояла перед ним, большая, неподвижная, смотрела поверх его головы и только повторяла:

— Да, отец... Да, отец... Да, отец...

Иоганн уезжал, сердито крикнув на лошадь, а Элиза оставалась в поле, строгая, молчаливая. Французы с любопытством посматривали на нее и оживленно между собой беседовали. Она работала в поле рядом с ними, но никогда — вместе с ними.

И ей было неприятно, что кто-то хоть краешком глаза мог заглянуть в ее жизнь и в ее отношения с Иоганном. Это Иван понял и старался уйти подальше, когда между стариком и Элизой происходил разговор. Всем своим видом он старался показать, что не интересует его ни хозяин, ни разговор его со снохой, что он, Иван, желает только побольше помочь Элизе. И больше ничего.

Едва заметно, одними глазами, она улыбалась, когда расторопный работник вскидывал на вилах столько снопов, сколько два француза вместе.

Жак тоже ластится к Элизе. Этот юркий телеграфист отпустил черные усики и расшаркивался перед ней каждое утро. Преподнес ей цветы. Цветы Элиза не взяла и послала Жака чистить свинарник.

Однажды вечером хозяин позвал Ивана и сказал, кашляя:

— Пойдешь с Элизой!

Они вышли из дома. Облака стояли совсем низко, прижимая тьму к земле. Элиза велела пленному взять лопату.

За скотным двором сохранился старый силосный бункер. Пока Иван очищал бункер от мусора, Элиза принесла брезент и лестницу.

Спускаясь в яму, она оглядывалась через каждые две ступеньки и смотрела: много ли еще осталось? Ступени на лестнице были редкие, они гнулись и скрипели. Одной рукой Элиза придерживала юбку. Иван светил ей. Хотел ее поддержать, но побоялся — вдруг обидится.

— Рук-то не хватает вам, хозяйка?

— Что?

— Мало, говорю, двух рук для такой работы?! — Он посветил ей в лицо. Не понимает или сердится?

— Помог бы, чем смеяться! — А сама уже на дне бункера.— Ну, теперь расстилаем брезент!

Фонарь бросает тусклые блики. Совсем близко ее серые волосы и полные руки.

— У вас есть жена, Ганс?

— Жена? Есть жена, в России.

— Ну, быстрее наверх!

Ивану даже приятно быстро-быстро носить тяжелые мешки и ссыпать зерно в бункер. Внизу Элиза разравнивает рожь лопатой.

«Доверяет! — думает Иван, опрокидывая мешок и предупреждая: — Поберегись, Элиза! — Никого из французов не взяла с собой!»

Со следующим мешком на плечах он снова заглядывает вниз. Элиза смотрит вверх — ждет его... Может быть, думает: бессловесный.

— Берегись, Элиза! — Рожь льется вниз густым ручьем.

— Берегись! — Снова течет рожь, и снова Иван разглядывает хозяйку. Скоро останется одна: Иоганн совсем плох...— Берегись, Элиза!

— Отдохни, Ганс! Молодец — как ты работаешь! — Тыльной стороной руки она вытирает лоб. Иван спустился к ней и присел на лестницу. Элиза стоит в углу, ее плохо видно. Наверху туман.

— Давно ли вы в плену, Ганс?

Он рассказал: был в разведке, взводом ходили, человек тридцать. Выполнили задачу, дорогу осмотрели, с немцами постреляли — чтобы узнать, где у них окопы... Пришли в местечко, в котором стояла своя часть,— никого! Ушли! И хотя бы оставили сообщение, куда ушли. Кругом спокойно, можно было сообщить.

Штабс-капитан Чураев, командир — выпить у него забота! Пошли догонять и заблудились... Болота, незнакомые места... Бродили — и прямиком в расположение противника... Помолчал, помолчал, махнул рукой, спросил:

— Элиза!

— Да?

— Вы моей женой интересуетесь?

— После, Ганс. Быстро наверх, надо носить зерно. Носить, носить.

А утром она снова будто его и не видит, не замечает. Прошла рядом, он уступил дорогу. Бункер сверху закрыли сеном.

Через несколько дней приехал небольшой, в чиновничьей форме человек.

— Фон Мюллер! Инспектор «Имперского управления распределения»!

Кисти рук у него волосаты, весь он сухой и костлявый.

Жак заглянул в пустой склад, где еще недавно было зерно, подмигнул Ивану. Иоганн фон Граббе низко раскланялся с чиновником, опираясь на палку, зашагал вместе с ним к амбару. Медлительность его исчезла, говорил он быстро, неразборчиво. Чаще всего Иоганн восклицал:

— Фон Мюллер! Фон Мюллер!

После осмотра склада и скотных дворов, всей усадьбы, фон Мюллер долго сидел в доме и пил пиво. Уезжая, с ног до головы осмотрел Элизу, сказал:

— Хорошо! Я подумаю!

Проводив чиновника, Элиза пошла наверх, еще больше, чем всегда, строгая, спокойная, никого не замечая вокруг себя.

* * *

— Как его зовут по-русски? — спросила Элиза, вытирая тряпкой розовый, мягкий нос теленка.

— Этот? Телком называется. Телок! Можно по-другому: теленок, теленочек.

Элиза стояла вполоборота, строгая, с резкой черточкой под полной щекой. Иван испугался, что побоится это сделать, и положил — не свою, а чужую — руку ей на плечо.

Она отшатнулась.

Он схватил ее за талию. Она толкнула его. Он прижал ее к себе. Минуту она сопротивлялась, упершись в грудь руками, потом положила голову на плечо Ивана и вздохнула.

— Нельзя, чтобы кто-нибудь видел!

Чепчик висел у нее на шее, под конопляными волосами розовела кожа.

Когда она подняла лицо, у нее были все те же постоянные, спокойные глаза.

— Мой прекрасный,— сказала она,— запомни: пока жив Иоганн, никто не должен этого знать. Иначе...— она помедлила,— я останусь без наследства, ты же останешься, может быть, и без жизни. Не отчаивайся. Ждать — недолго, все изменится для нас очень скоро.

Умер Иоганн через два месяца, и на другой же день Иван поселился в хозяйских комнатах. Там все блестело: полы, стены, громадные деревянные кровати. Блеск исходил и от самой хозяйки — от ее волос и от бледно-розового румянца.

Жак — этот неуемный балагур — явился к Ивану с поздравлениями, он заготовил объявление в «Брачную газету»: «Сим имеем честь довести до сведения всех родных и близких, а равно и других наших благожелателей, что сего числа заключен между Гансом Колешниковым и Элизой Граббе брак, который покоится на взаимном понимании чувств, уважении друг к другу, бескорыстной привязанности и общих стремлениях...»

Иван прервал Жака:

— Двоим любо — третий не суйся! Видал!..

И показал Жаку кулак. Француз не смутился. Он долго просил Ивана поточнее перевести ему: «Двоим любо — третий не суйся» и с новой русской пословицей отправился к своим друзьям. Веселый парень был этот Жак!

— Вот посмотришь, Ганс, как мы заживем! — говорила Элиза.— Еще никогда мне не было так хорошо. А все ты — Ганс! Мы сумеем сбывать продукты по настоящей цене. В конце концов все тот же фон Мюллер окажет мне услугу. Все дело в сбыте. Как хорошо, что ты тогда решился! Помнишь — в телятнике?.. Я никогда не думала, что ты это сделаешь!

Ивану тоже хорошо с этой женщиной. О такой сытой, хозяйской жизни он и не мечтал никогда! Вот только...

— Словно я живу на двух дорожках, Лиза! Одна — наша с тобой, другая в России... И что туда тянет — не знаю, ежели здесь все лучше!

— Ты слишком беспокойный, Ганс! — Она треплет его по волосам.— Ты не уйдешь? Никогда?! Ты теперь мой? Зачем скучать? Зачем много думать и забывать о деле? Покойный Гуго никогда не говорил мне, о чем он думал... Он был очень похож на Иоганна, своего отца, и на моего отца — Вальтера. Они совсем из разных семейств, Иоганн и Вальтер, а Гуго между тем был очень похож на них обоих. Когда я пришла в его дом, я почти не заметила какой-нибудь разницы со своим домом. Еще Гуго очень не любил политику. Он всегда мечтал о том, чтобы устроить капитал на хорошие проценты в банк или приобрести выгодные акции, и когда он уходил на войну — он громко спорил с Иоганном. Иоганн хотел расширить хозяйство, а Гуго — купить акции военной компании... Еще он очень любил яичницу с пивом. С пивом моего отца... Мой отец варит пиво лучше Иоганна, лучше всех в округе!

— Гуго подходящий был мужик?

— Он был хороший человек... И совсем не такой беспокойный, как ты. Только Иоганн был прав: к концу войны продукты будут на вес золота, и я не представляю себе, что бы случилось с нами, если бы я послушалась Гуго и мы вложили бы все свои средства в военные акции!

Засыпали Иван и Элиза рано, чуть только смеркалось.

А утром Иван выходил из дома, когда французы уже кормили скот. Он потягивал носом воздух — пахло силосом, запаренной соломой, запахи были острые. Приятно было...

В конюшне осматривал першеронов. Лошади принадлежали ему, Ивану, но он отказывался верить этому.

Следующую осень он хотел работать на сноповязалке сам. И теперь беспрестанно чистил ее, смазывал, вынимал части, ставил обратно — без конца любовался своей машиной. Своей?!

Пахали зябь... Першерон тащил двухлемешный плуг. Мускулы его собирались в желваки... Пласты земли ползли на лемеха, изгибались, падали, падая, подставляли солнцу свое нутро. Конский пот, запах сырой земли, аромат глубокой осени...

— Но, родной! Но-но-но-но! Родимый!

Першерон падает грудью вперед, узлы из мышц затягиваются у него под кожей... Постромки — струны. Вынес! И дальше шагает спокойно, тяжело ступая лохматыми ногами. Сперва упрямился, не шел, а теперь понял, богатырь, по-русски!

Соберем хлебца на будущий год! Соберем...

Французы вносят удобрения. И они кричат на лошадей по-своему. Едва поспевают за Иваном.

Пахать Иван им не дает! Сам поднимает свою землю!

Выходит в поле и Элиза. Встает в конце загона и ждет, когда приблизится с плугом Иван. Улыбается.

— Эх, милый! Нажми, богатырь!

Посмотрели бы сейчас на хозяина такого свои, деревенские!

* * *

Однажды в зимнее туманное утро приехал Вальтер, отец Элизы. Он вошел в дом, когда Элиза и Иван завтракали.

Это был большой, тучный человек с красным лицом, на котором выступала паутина синих жилок. Жилками густо были покрыты нос и щеки. Он имел землю, небольшой пивоваренный завод и страдал одышкой.

— Это мой управляющий, отец,— сказала Элиза, здороваясь с отцом, и кивнула в сторону Ивана.— Ганс Колешников.

Отец не обратил на управляющего ни малейшего внимания. Он был осведомлен о его существовании.

— Покажи мне хозяйство!

— Сейчас, сразу?

— Да!

Элиза позвала с собой Ивана, и они вышли втроем.

От пивовара не ускользнула ни одна мелочь. Он спрашивал, когда снова должна отелиться Мэри, та самая Мэри, теленок которой чуть ли не с первых дней своей жизни уже кое-что знал о дочери Вальтера, Вальтер спрашивал, какую солому ей запаривают, в какую сумму и где застраховано имущество. На каждый предмет Вальтер смотрел несколько раз: взглянет, прикроет глаза, подумает и взглянет снова.

Остановившись у нового овощехранилища, он спросил:

— Сколько уплатила за работу?

— Это сделал... мой управляющий...

— Да... Да. Значит, обошлось дешево? А лес?

— Шестьсот марок. У герра Вернера.

Осмотрели вагонетку, на которой из скотного двора вывозился в отстойник навоз, и другую — для подачи корма.

— Тоже управляющий?

— Тоже.

Элиза отвечала быстро, но не больше, чем спрашивал отец.

Иван молча шел за ними, глядел на Элизу.

«Гордая! А почему? Есть у нее хозяин! Одна бы разве управилась?»

Вальтер же не замечает Ивана... Потому и не замечает, что хозяин — он, Иван. Вальтер этого не признает... Иоганн фон Граббе тоже не признавал...

В первый раз Иван вот так, будто со стороны, смотрит на свою работу, а работал он за четверых, и не напрасно. Новые постройки, всюду его забота, его руки.

Отнять все это у него может только Элиза. Но она этого не сделает. Она довольна, она гордится.

Только к обеду возвращаются они домой. Вальтер много ест, пьет и молчит... Иногда он подолгу смотрит на Ивана.

Наконец, вытерев салфеткой губы, приступает к делу:

— Газеты пишут: «Кто много ест — враг своему отечеству». В пятнадцатом году они — начальство — устроили свиное побоище... Били свиней, чтоб сэкономить картофель, зерно, вообще все корма. Оказалось, картофель и зерно — в избытке, конечно, сравнительно,— зато мяса нет. У тебя чудесные свиньи, и теперь выгодно пропускать зерно через свиней. Не все понятно? Не совсем убедительно? Поясню еще: пиво Вальтера, продукты Элизы, деньги фон Мюллера. Фон Мюллер не прочь вжениться в дело. Сам фон Мюллер! Что это может составить? — Пивовар, громко вздохнув, поднимает короткий розовый палец.— Это может составить хорошенький ресторан в городе. Если подумать, может быть, и с номерами. Что это дает? — Палец опять поднимается.— Это дает сбыт по хорошей, по настоящей цене. Помимо всяких имперских управлений, вернее, с их помощью... Хорошие, деловые связи. Понимаешь — репутация и перспективы. Имя фон Мюллера. И самое главное — он уже подсчитал — минимум двадцать пять процентов годового дохода на капитал. Двад-

цать пять процентов! — Палец опускается.— В твердой валюте... Еще Иоганн подумывал об этом деле, еще он завел знакомство с фон Мюллером.

Элиза слушает отца внимательно.

Нет, она не согласна. Почему? Каждое новое дело связано с риском. И она говорит: она хочет вести хозяйство самостоятельно. У нее на этот счет свои соображения. Фон Мюллер обязательно желает вжениться в дело. Совсем напрасно: если у фона Мюллера есть деньги — пусть открывает ресторан. Она будет поставлять ему продукты. И только.

Пивовар качает головой:

— Да... да... да...— Он никак не проявляет недовольства. Но это не значит, что он согласен с дочерью. Он смотрит в газету. Элиза моет посуду.

Проходит полчаса.

Вальтер свертывает газету.

— Элиза! Репутация — великое дело!

У его дочери репутация портится. Ему — отцу — неприятно и больно об этом слышать. Фон Мюллер может все исправить. Он считает, что сделать это еще не поздно.

Элиза возражает: ее хлеб идет в городе на десять процентов дороже, чем у других хозяев. Прекрасная рожь! Все соседи желают купить у нее на племя свиней. Не кто-нибудь, а сам фон Мюллер с немаленькими деньгами желает вжениться к ней в дело. Она не видит, при этих условиях, чтобы ее репутация портилась. Наоборот. Год тому назад она и не мечтала о такой репутации. Отец беспокоится напрасно. Очень жаль: всякие волнения в его возрасте вредно отражаются на здоровье.

Вальтер слушает дочь. Потом снова погружается в чтение газеты. Элиза шьет. Очень тихо в доме, тихо и спокойно.

Потом Вальтер говорит Ивану:

— Что, хорошо мы вас бьем? Мы уже под Минском!

— Вы-то! Я думал, вы у нас на ферме!

Вальтер не смущается.

«Боров!» — думает про себя Иван. И вдруг сердится:

— Генералов вы наших купили! Почитай, до самого царя!

— Ганс, прекрати это! — требует Элиза.— Прекрати!

В доме становится еще тише. Лицо Вальтера еще больше покрывается разноцветной паутинкой жил.

— Вот так он пачкает твою репутацию, Элиза! — говорит Вальтер наконец.— Это надо понимать! — И он поднимает розовый палец...— Ты — не понимаешь!

Вечером Элиза говорит Ивану:

— Мы умнее всех, мой милый. Они нас не проведут!

— Твой отец постарается,— отвечает Иван,— и я опять отправлюсь в лагерь...

— Он этого не сделает, Ганс! Он был должен Иогану, и его расписки у меня! Ты всегда будешь мой, а я люблю тебя!

Иван смотрит на Элизу признательно.

И оттого, что Ивану так хорошо, ему хочется рассказать Элизе о своем доме, который там, в России.

— Жена... Анисья... Баба как баба, не лучше и не хуже других. С тобой, Лизанька, не сравнишь... Еще был сын, Васятка. Умер. Хозяйство плохонькое! Правда — свое! Из своего-то дома я бы твоего папашу попросил крепко!

— Ты напрасно сердишься, Ганс! Ненаглядный, не волнуйся. Я же тебе все объяснила: отец мне должен!

— Я не сержусь. Я — к слову... Почему, Лизанька, на ферме никто не бывает? Из соседей?

— Все мужчины воюют, а все женщины на работе. Некогда!

— У нас солдатки сидят до полуночи у соседок... Поплачут вместе — легче.

— Ты, вероятно, был первым молодым человеком среди всех, Ганс?

— Гармонист!

— Видишь — отгадала! Ты жалеешь свою гармонь? Если хочешь — мы можем купить другой, прекрасный инструмент!

— Слушать здесь некому. Музыка-то русская, кто поймет?

— Все фермеры имеют флейты,— вздыхает Элиза.— Иоганн так и не собрался купить. У фон Мюллера есть рояль.

— У богатых музыка своя. В дом не втащишь!

— У богатых все лучше...

Элиза приготовляет постель, потом читает Ивану записи за день: сколько израсходовано кормов, денег, продуктов.

Иван не слушает:

— Хватит до нового урожая и еще останется. Значит — нечего и считать.

Элиза толкует о сепараторе: нужно, обязательно нужно купить новый сепаратор, а теперь, в войну, каждая металлическая вещь и дорога, и плохо сделана... В войну всюду риск: можно хорошо продать, но легко и прогореть.

Она засыпает наконец, а Ивану, в дремоте тоже, вспоминается его разрушенная изба. Надо бы починить крыльцо, и стекла вставить новые... Вот и скворечница нарушилась. Скворцы прилетят, не поселятся в такой — со щелями...

* * *

За окном ветер гоняет снежинки, не дает им упасть на землю. По стеклу ползут редкие капли, оставляя за собой влажный след. Короткий осенний день, кажется, еще и не начинался, и не видно ему конца. Ганса все нет и нет — не приехал из города.

Элиза сидит у окна за швейной машиной. Мерно она покачивает ногой, обутой в мягкий лохматый туфель. Платье то натягивается на колене, то ложится в складку. Равномерно, тихо она двигает рукой белоснежное шитье. Платье на Элизе несколько мало ей, с короткими рукавами. Редкий золотистый пушок покрывает руку до локтя. Она шьет и думает обо всем и ни о чем: мысли мерные, как гул машины, неторопливые и ненавязчивые — приходят и уходят.

«Хороший ли привезет Ганс сепаратор? Надо очень обдуманно относиться к каждой покупке. Какая-то наступит зима? Правда, им нечего бояться холодов — яблони хорошо закутаны в войлок. Удастся ли выгодно продать масло? Ганс что-то запоздал, не возвращается с покупками из города».

Из кухни доносится ароматный запах.

Наконец Ганс приехал.

Чаша сепаратора блестит, словно зеркало. Сепаратор не очень тяжел, плавно идет, звук ровный, с едва заметным присвистом. За час-два можно пропустить реку молока.

— Удачная покупка, дорогой Ганс! Кофе уже остыл, обожди минутку!

Вскоре они садятся за стол, Элиза наливает Гансу кофе, расспрашивает его о ценах на мясо и на хлеб. Но больше всего ее радует хорошая цена на масло.

Ганс устал, может быть, больше, чем следует, выпил пива.

— Из двадцати литров молока — килограмм масла,— считает Элиза.— Обрат пойдет на сыр. Вчера удой составил двести восемьдесят шесть литров. Значит — четырнадцать килограммов масла. Через пять-шесть дней можно ехать с маслом в город. Ганс, ты не слушаешь? Нет, ты только подумай, как вовремя мы приобрели новый сепаратор!

* * *

А в городе Иван встретил земляка.

— Дру́жка! — воскликнул земляк, оборванный, бородатый пленный, он рыл на городской улице около магазина канаву.— Дружка! Слыхал? Ну,— он оглянулся по сторонам,— давай на пару, связчиками, убежим? Нас трое работало — двое уже сиганули! Ты какой губернии? Может, по пути!

Иван поставил ящик с сепаратором в коляску, смахнул пот.

— Хозяйством обзавелся! Бабой!

— То-то... Обличье ровно наше, а одежда — немецкого образца. Тогда прощай! — Он снова принялся долбить мерзлую землю.— Может, передать что в России — я ныне вечером потикаю! Один так один! Боюсь, землю-то без меня разделят дома!

— Какую землю?

— Господь-бог! В России-то — революция!

— Не знаю!

— И землю мужики промеж себя делят дочиста — и помещичью, и монастырскую — не знаешь?

— Не знаю...

— И воевать больше Россия не будет!

— Не знаю...

— Читай, дружка! Читай! Я думал, ты все знаешь! Грамотный?.. Вот тебе газетка. Ихняя, немецкая, а понятно!

— Так вот, Ганс... марок за килограмм масла... Ничуть не меньше? — снова доносится голос Элизы.

Он согласен:

— Нет, не меньше!..

Земля!.. Не эта — чужая, болотистая, а своя, домашняя, сейчас она под снегом, а весной? Пахать ее, ворочать ее, жить на ней, на своей! Кто же у них на деревне заправляет дележом? А может, так: кто захватит? Но этого никак не может быть. Делить надо по едокам! Если Анисья ушла в прислуги, в город, ее могут не наделить! Если мужики в губернии свою власть сладили — всем им надо быть в сборе... Всем!

Ивану не хватает немецких слов. Но теперь он не заботится о том, поймет ли его его Элиза или нет.

— Пойдешь бывало с плугом до межи... Дальше владения Аркадия Николаевича Зюзина... Уездная голова, дворянин! Вожжами шевельнешь, а Пташка-то и станет — рад отдохнуть! А поворачивать-то надо. Повернешь его — Пташку-то — да кнутом и вытянешь. Шкура рыжая, а полосу белую долго на шкуре видать... Потом он, Пташка, до межи еще не дойдет, а норовит уже назад... а ему опять, еще опять!.. А теперь до самых зюзинских построек — паши!

— Что с тобой, Ганс?

— Убегу я, Элиза. Не могу я больше здесь!

У Элизы дергаются губы:

— Ты, значит, меня обманывал? Обманывал?! Я знаю! Ты хочешь к своей, к русской женщине! А меня ты обманул! Чтобы тебе легче жилось в плену! И своей женщине ты в России не скажешь, что жил со мной! Везде и все делается одинаково! Я думала, что ты немножко не такой, как все!

Элиза сейчас очень похожа на своего отца.

Слышно — воет ветер. Это не метель, какая бывает в России: метель то притихнет, то рванет, собравшись с силами, и засвистит тогда и завоет, хватая за сердце. Это ветер с моря. Нет в нем ни силы, ни ярости, ни порыва. Одна тоска. Скучный ветер.

— Лизанька! Зря говоришь! О чем говоришь?

Он подходит к ней, хочет обнять.

— Уходи, уходи! — говорит она.— Пусть надо мной все смеются,— меня обманул русский пленный! Пожился на мои средства — и ушел! Стыдно! — Она удивленно поднимает брови: — А тебе? Разве тебе может быть стыдно?

Все-таки он ее обнимает.

— Ах, Ганс! — говорит Элиза, съежившись в комок.— Зачем я послала тебя в город? Ты ничего бы не знал, и мы бы жили по-прежнему. Надо было поехать

самой! И ничего бы этого не было! Ганс! Ты не уйдешь, Ганс? У нас с тобой такое хозяйство! Мы можем так хорошо жить! Я тебя обидела, Ганс?! — Теперь она стоит, склонившись над ним, смотрит ему в глаза.— Ведь я снова не останусь одна? Ведь тебе жаль меня, Ганс?

Иван гладит ее.

— То-то вот... Пойдем-ка установим машину! — радуется Элиза.

Вместе они прилаживали к столу сепаратор. Когда уже все было готово, они любуются машиной, смеются, и вдруг неожиданно Иван говорит ей:

— Верно, Лизавета. Жизнь мы с тобой устроили добрую. И жаль мне тебя, сильно жаль, а только — убегу я.

Молча надела Элиза на машину белоснежный чехол. Посмотрела на Ивана, точно так, как смотрела когда-то на Иоганна — поверх головы.

У себя в комнате она долго искала в столе почтовые марки. Потом задумалась: сколько по новому тарифу стоит письмо?

Иван молча сидел на кровати.

— Глупо ты губишь наше счастье! Я пишу письмо фон Мюллеру... Я согласна — пусть он вженится в дело. Я — женщина, мне не справиться с жизнью одной!

* * *

Под ногами хрустит снег. Месяц то спрячется в тучах, то неуверенным светом выхватит из тьмы клочок дороги, а то скользнет по темной роще, рассмотрит хрупкие ветви деревьев. Если же разольет свет широко — тогда далеко видны и черные постройки какой-то фермы, и телеграфные столбы, их длинные тени на снегу, красная труба какого-то завода.

Шагает Иван спокойно и все еще думает о першеронах, о новом сепараторе, думает так, словно все это по-прежнему принадлежит ему.

Вспомнил об Элизе и прибавил шагу.

Уже близко граница... Ее и границей-то не назовешь, нынешнюю межу между Германией и Россией, а все-таки она есть. Существует сегодня здесь, завтра — уже в другом месте.

У реки долго искал брод. По берегу к воде сбегало много дорожек, но какая из них к броду — узнать

нельзя. Кромка льда кончалась недалеко от берега, дальше река до сих пор не замерзла. Слышно было негромкое журчанье.

От воды поднималась густая, молочно-белая пелена тумана, такая же, как на лугах под осень. Туман закрывал противоположный берег, и только по вершинам деревьев на той стороне можно было его отгадать — река была неширокой.

Иван стал раздеваться. Ремнем привязал одежду к голове, шагнул на лед: под ногами захрустело, он тут же провалился в воду по колено. Жгучий озноб... Он повернул назад, но вспомнил, что реку все равно придется перейти. Зажмурил глаза, зло ругаясь, пошел вперед так же, как ходил когда-то в атаку. Тонкий лед ломался, царапал живот и грудь. Вот и чистая вода — уже схватывает за горло.

Только бы не испугаться!

Но уже тянет Ивана вниз, в глубину, и он торопливо глотает студеную воду. Тяжелым холодом наполняются желудок, грудь, голова... В нем уже не остается тепла.

Несколько раз он взмахивает руками, а потом руки снова перестают повиноваться.

Может быть, уже дно?

Он выпрямляется, вытягивает ноги, он опускается вниз. Ноги касаются дна, но над головой вода. Оттолкнувшись снова, он всплывает.

Все! Так близко от берега, и — все!

И все-таки он выходит на берег, снова ломая лед. Выжимает одежду — жив!

Успеть одеться — пока не замерз совсем, до последней кровинки!

Вдруг возглас над самым ухом:

— Хальт!

Перед ним немецкий солдат. Блестит затвор винтовки.

— Идем! — говорит солдат глухим, далеким голосом.

Иван неподвижно стоит с сапогом в руке.

— Не могу!

— Идем! — снова приказывает немец и кивает головой в ту сторону, куда следует идти.

Штык около глаз Ивана.

— Не могу! Что хочешь — не могу!

Иван тяжело опускается на землю.

* * *

Рядовой Швабе рассчитывал, что в караул он попадет с капралом Шутцем. Это вполне порядочный начальник, вполне свой — без предрассудков. И Швабе запас немного пива, предвкушая неплохо провести время в этой заброшенной русской избенке. Но вместо Шутца назначили Коха. Кох карьерист, подлиза и нечист на руку: он обокрал капитана Гербера, когда беднягу под Ригой подстрелили латыши. Рядовой Швабе видел этот грабеж своими глазами.

Пришлось спрятать пиво в заброшенную собачью конуру на дворе, а самому то и дело шагать вдоль берега до березовой рощи. Так приказано. Даже в перемирие нет солдату покоя!

Кох тоже недоволен: он и не думал попасть в караул с долговязым Швабе. Швабе молчалив, исполнителен и много читает. Такие солдаты не доведут до добра! Кох не хочет ронять своего достоинства перед Швабе, и вот ему пришлось спрятать пиво и ром на чердаке избенки, а этого верзилу он решил гонять по берегу до утра.

Теперь они сидят около полуголого русского и молча думают, что с ним делать. Конечно, это русский, без сомнения, хотя Швабе и поймал его, когда он переплывал на левый берег — в сторону Германии. Нет ничего проще, как спятить при таких обстоятельствах. Но это не поляк, не литвин, не эстонец, а обязательно русский — только они бегают в любую погоду и не могут потерпеть в плену какой-нибудь месяц, другой, когда перемирие кончится, по всей вероятности, миром.

Русский вот-вот должен прийти в себя: уже несколько раз он открывал глаза.

И в самом деле, Иван приподнялся, оперся на локоть:

— Отпустите меня, ребята, а? На кой я вам черт?

Вместо ответа Кох стал расспрашивать беглеца, откуда он и почему при нем оказались деньги?

Глядя в потолок, Иван рассказал, что жил на ферме и стал хозяином. При женщине, которую звали Элизой.

— Что же, она прогнала тебя в конце концов? — спросил Кох.— А ты, прежде чем убраться, прихватил деньги?

— Она плакала и не отпускала. Мне ее жаль!

— Зачем же ты ушел тогда?

— Домой. Там революция...

— Ну и что же? Революция — разве это хорошо?

— Я должен быть там! Со своими!

Кох был удивлен. Его сухое длинное лицо вытянулось еще больше. Потом он решил, что понял все, и усмехнулся.

— Это — болван! — сказал он и закурил.

Ивану безразлично, что говорит о нем сухопарый немец. Иван бросил хозяйство — молочных коров, могучих лошадей-першеронов, амбар с зерном, построенный своими руками, оставил красивую Элизу и теперь должен идти только домой, даже если бы еще десять раз пришлось входить в ледяную воду, бежать от этих двух немцев или убить их.

Швабе сидел, прислонившись к печке, как сидят солдаты всех стран мира: с винтовкой между колен.

— Отпустим пленного,— сказал Швабе.

— Вы знаете, что говорите? Это может не пройти вам даром, Швабе!

— Отпустим! — снова повторил солдат.

— Прекратить разговоры!

Иван слушал молча — можно испортить дело, если просить самому.

Немцы молчали. Но рядовой все еще не считал разговор законченным — это было видно по тому, как он смотрел на Коха — пристально, не спуская глаз.

Иван ждал чего-то от этого молчания. Терпеливо ждал.

И солдат снова поднялся. И подошел к Коху...

— Кох,— сказал Швабе.— Будьте добры...

— Я говорю — нет!

— Будьте добры — дайте спичку!

— Извините! Пожалуйста!

Швабе закурил.

— Вам, Кох, вероятно, не хочется, чтобы я когда-нибудь вспомнил о последних минутах капитана Гербера?

— При чем тут Гербер? Что вы хотите сказать?

— Я отпущу пленного. На моей совести будет преступление. Если я когда-нибудь вспомню о капитане, вы вспомните об этом русском. Нам обоим будет выгодно молчать. Одевайся, солдат!

И они вдвоем вышли в двери — Швабе вперед, Иван — за ним. Иван бросился к Швабе.

Тот сказал:

— Скорее через мост!

Стремглав Иван перебежал по скрипящему настилу. Он на русской стороне! Дома!

Еще не ушел с небосклона месяц, а утро уже наступало, чуть заметно розовело.

Швабе прислушался: по другому берегу бежал русский, снег хрустел под его ногами, он кричал:

— Домой! Домой! Домой!

1939. 1957. 1981

ТРИ ПУНКТА БЫТИЯ

Рассказ-пьеса

Памяти Василия Шукшина

Действующие лица:

Иван Иванович — умирающий пенсионер.
Генералов — слесарь-водопроводчик.
Камушкин — директор клуба деревообделочников.
Боковитый — заместитель директора лесокомбината по снабжению.
Мальчик — из «кавказского» дома.
Верочка — жена Ивана Ивановича (значительно моложе своего мужа).

Действие происходит в поселке Ветка при железнодорожной станции того же названия на Транссибирской магистрали.

Примечание: «Три пункта бытия» могут читаться как рассказ и восприниматься как пьеса.

Первым пришел Генералов, не сразу разглядел в полутемной прихожей-тамбуре Верочку, разглядев, спросил шепотом:

— Плохой?

Верочка кивнула в ответ.

— Совсем?

Верочка кивнула снова.

— Ишь ты...— сказал Генералов.— А звал-то чего?

Верочка пожала плечами.

Генералов постоял молча и неподвижно, подумал, подумав, подал басовитый, с хрипотцой голос:

— Иван Иванович?!

Секунду-другую было тихо, потом из комнаты донесся негромкий ответ:

— Ну...

Генералов снова обратился к Верочке:

— Да,— сказал он шепотом,— он действительно плохой.— И опять басом: — Ты чего там заглох-то? Иван Иванович?

— Ничего...

— Ну, тогда давай-давай...— пробасил Генералов и стал раздеваться: поставил на пол вдрызг разбитый чемоданчик с инструментом, который он все еще держал в руках, прижав к животу, потом повесил на крючок замусоленную шапку-ушанку и стеганку, не торопясь принялся разматывать очень длинный серый шарф. С шарфом он возился долго, а когда и его повесил на крюк, снова поднял с пола чемоданчик и направился в комнаты.

Верочка прихватила чемоданчик рукой, а другой показала Генералову, что его нужно оставить в прихожей, но Генералов не послушался, будто и не замечая Верочки, проговорил «давай, давай...» и с чемоданчиком в руках прошел в комнаты.

Верочка снова осталась одна.

Монолог Верочки.

Я давно живу на станции Ветка. Я приехала сюда двадцать один год тому назад.

Это было вскоре после того, как я кончила деревообрабатывающее отделение лесного техникума в большом-большом волжском городе.

В том же городе я кончила студию художественной самодеятельности.

В тот год, когда я приехала на станцию Ветка, я была веселой, красивой и замужней.

Правда, я еще не знала, нужно мне было выходить замуж или не нужно? Вопрос был очень трудный, а чтобы избавиться от него, я вышла.

Мне тогда казалось, что за свою жизнь я уже успела принять так много самостоятельных решений, что устала от них, и вот настало время довериться кому-нибудь.

Я и доверилась мальчику, он и стал моим мужем.

Он так хорошо играл на гитаре!

И вскоре мой муж оказался в тюрьме — он с товарищем угнал легковую машину. Просто так, из озорства.

Я стала получать письма из тюрьмы с мольбами простить и дождаться его, такого несчастного, почти святого в своем несчастье.

А я не могла ни простить, ни дождаться.

Ведь мой муж, вместо того, чтобы любить меня и оправдать мое доверие, занялся автомобильным озорством — ужасно!

И я приняла ухаживания товарища Камушкина, руководителя художественной самодеятельности на станции Ветка. Тогда Камушкин тоже был молодым и называл меня «Крошечкой».

Но это продолжалось недолго, до тех пор пока Камушкин не узнал, что мой муж в тюрьме. Узнав об этом, Камушкин несколько рассеялся, а когда сосредоточился снова, было уже поздно: я влюбилась в Ивана Ивановича.

В самодеятельности я пела русскую песню про молодого корнета: «...мчится вихрем корнет молодой», Иван Иванович пел: «...все отдал бы за ласки, взоры...», тогда это были самые популярные номера художественной самодеятельности на станции Ветка — двадцать один год тому назад.

Иван Иванович был агентом по снабжению, а вскоре стал и начальником отдела. Иван Иванович был самым пожилым в самодеятельном коллективе, но никто так не играл молодых любовников, как играл он. Никто так не танцевал. Никто так не пел: «...все отдал бы...»

Никто и никогда не шел ради меня на такие жертвы: Иван Иванович оставил свою семью. Мы поженились, и вскоре у нас родилась девочка — Верочка-младшая.

Теперь моя дочь, Верочка-младшая, учится в том же большом волжском городе, в котором я, Верочка-старшая, двадцать один год тому назад кончила лесной техникум.

Теперь...

Генералов, размахивая чемоданчиком, прошел через первую квадратную комнату, в которой стоял большой, тоже квадратный, обеденный стол, диван в ситцевом, с цветочками, чехле, а простенок между окнами был заполнен фотографиями, отдернул ситцевую, с теми же пестрыми цветочками занавеску на дверном проеме и оказался в комнатке совсем маленькой, в которой было два предмета: большой сундук и большая кровать. На кровати, среди белых подушек, лежал умирающий Иван Иванович — седой, худой, с костлявыми руками, которые он держал, вытянув строго вдоль туловища,

поверх пестрого одеяла. Даже и непонятно было — жив Иван Иванович или уже нет. Генералов озадаченно смотрел на него.

Иван Иванович медленно повернул голову и тихо сказал:

— Садись, Генералов... Не стоять же ты пришел.

Генералов поставил свой чемоданчик на сундук, сел рядом.

— Чего молчишь-то? — спросил Иван Иванович.— Разговаривай! Не молчать же ты пришел?

— В кавказский дом ходил...

— Опять?

— У них сроду электричество не горит, а кранты текут, у этих кавказцев. А подводка у них промерзает.

— Нынче уже тёпло...— вздохнул Иван Иванович.— Тёпло ведь?

— Каплет. Но у кавказцев — все одно промерзает. А чего звал-то? Срочно? Срочно звал, тогда давай сам и разговаривай!..

— Вот уж Камушкин придет.

— Придет не придет твой Камушкин, а нам что же — молчать?

— Еще Боковитый обещался.

— Целый сельсовет собираешь. А повестка дня?

— Придут, тогда и повестка объявится...

— Большая повестка?

— Из трех пунктов.

— Из трех? А успеем?

— Кто как, а я успею! — заверил Иван Иванович.

Генералов вышел в большую комнату и тотчас вернулся со стулом в руках. Стул был с невысокой полукруглой спинкой. Генералов не сразу втиснулся в этот стул, а когда втиснулся, сказал:

— У кавказцев, похоже, старшая дочка снова ждет...

— У них так: то старшая, то младшая. Холостого года нет.

— Зятья подобрались деловые...

— И вот еще беда: пакли нету.

— Какой пакли?

— Ну сальник-то на кранты ставить ты из чего же будешь? Может, из древесной стружки?! Стружки у нас на станции Ветка, слава богу, хватает... А пакли нет. С паклей промблема.

— Чего там надо пакли-то на сальник? Вот! — Приподняв руку, Иван Иванович и показал на пальце, как мало надо пакли: с ноготок.

— И того меньше,— кивнул Генералов,— но все равно надо. Все равно выходим на промблему пакли. Однако Камушкин пришел, а? — прислушался он.

Вошел Камушкин, небольшого росточка человек в стареньком, но аккуратно выглаженном темном костюмчике, в ярко-красном галстуке и с портфелем в руках. Он осмотрелся, особенно внимательно поглядел на Ивана Ивановича, поставил портфель на сундук рядом с генераловским чемоданчиком, потом вышел за занавеску, а когда вернулся с таким же полукруглым стульчиком в руках и уселся на нем поудобнее, тогда и сказал:

— Ну, привет, привет, Иван Иванович! При-вет!

— Привет, Камушкин,— отозвался Иван Иванович.— Я же говорил... сейчас Камушкин придет... явится.

— Кого еще ждем? — спросил Камушкин.

— Боковитого,— ответил Генералов.

— Хм... Начальство ждать, все равно что... Да он и не придет. Я видел, он в контору пошел. Сам видел. Собственными глазами.

— Это и значит — придет. И даже не придет, а приедет — на конторском на «газике».

— А я говорю...

— Сиди и жди! — прервал Камушкина Генералов.— Неужели непонятно — сидеть-ждать?

— Ты, Генералов, в любом деле как дома. Чуть вошел — уже ответственный распорядитель!

— Где в доме есть крант — там я и распорядитель!.. Ну, как и что, Камушкин? Ты же эту зиму еще и в школе учишь — как там глядится нынешнее молодое поколение? Двойки-то ставишь ему? По художественной литературе?

— И еще ставил бы. Но начальство не велит. Поскольку происходит борьба за успеваемость.

— И правильно,— кивнул Генералов.— Распусти вас, так вы всему на свете двоек наставите! Нет, действительно, Иван Иванович, надо начинать! Мы этого товарища Боковитого верно что не дождемся: я вспомнил, в прошлом годе я его шесть часов ждал. Я сижу в приемной, он сидит в кабинете, так шесть часов друг дружку и пересиживали.

— Чья взяла? — спросил Камушкин.

— В том все и дело — его взяла. Ему как не взять-то? Что не сидеть-то, хоть в какой обороне? Ему чай подносят. С сахаром. И горячий. А ты сиди с голодными кишками. В нужник и то ни-ни. Секунды нету.

— Ну и ты тоже не мальчик, мог бы и сообразить, запастись каким-нибудь сухариком.

— Откуда было знать? Предвидеть — откуда?

— А ты знай: человек должен смотреть вперед, то есть обладать предусмотрительностью.

— А вот ты, Иван Иванович, обладал?

— Ну как же! Я... бывало, когда... к большому начальству... Я, было дело, ездил в министерство, так...

— Чего — так?

— На неделю брал... сухой паек...

— То — к большому. К большому — невольно сообразишь. Ну, так вот что — начинай, Иван Иванович! Правду говорю — начинай!

— А чего начинать-то? — поерзав на стуле, спросил Камушкин.— Чего начинать мы будем, Генералов, а?

— Не знаю... Вот он людей созывает, у него и спрашивай! — кивнул Генералов в сторону Ивана Ивановича и показал рукой в его сторону, но куда-то высоко, под самый потолок.

— Вот так распорядитель! — удивился Камушкин.— Распоряжаешься, а сам не знаешь чем. Ты что, всегда так?

— Не всегда, а смотря по обстоятельствам. Начинай, Иван Иванович. Надежнее будет дело, ежели мы его начнем!

Иван Иванович повернулся на бок, хотел даже приподняться на локте, не получилось, он кивнул Генералову, и тот подсунул ему под голову еще одну подушку, он устроился, улыбнулся и хотел что-то сказать — опять не получилось. Он передохнул, погладил лицо рукой и только тогда начал. Начал так:

— Друзья мои... По сегодняшний день я, друзья мои, никому и ничего по-настоящему о себе не говорил. Который раз та́к хотелось о себе рассказать... до смерти хотелось, но я все равно молчал. Я думал: «Вот расскажу о себе, какой я есть человек, с какими мыслями, а потом мне, живому, все, кому не лень, все, друзья мои, начнут перемывать косточки... Нет, думал я, друзья мои, для такого дела надо дождаться своего часа...»

Такая была у меня неотступная мечта и установка... Даже смешно... И даже стеснительно...

— А ничего особенного,— успокоил Ивана Ивановича Камушкин,— ничего особенного, мечтание — это нормальное свойство человека.

— Он и сам знает, что свойство...— одернул Камушкина Генералов.— А ты сиди и слушай.

— Да, друзья мои... Я много думал над вопросом: как сделать, как осуществить?.. Сначала, сначала... я хотел составить для вас полное описание всей своей жизни... Обязательно — всей...

— Слишком большой труд,— вздохнул Камушкин.— Настолько большой, что даже великие писатели его не выполнили. Даже великие!

— Вот-вот... даже... А почему, Камушкин, даже? Можешь объяснить?

— Объясни, Камушкин! — потребовал Генералов, но тут Иван Иванович, приподнявшись над подушками, сказал громко:

— А я могу! Я, друзья мои, могу! Потому что... жизнь даже в одном человеке — она бесконечная... Песчинки на берегу моря можно пересчитать — изобрести машину, она и пересчитает, но пересчитать все до капельки, что было в одной человеческой жизни... нет и нет... нельзя! Это... это кадушку можно налить водой дополна... склад набить лесоматериалом полно, это в зрительный зал согнать народу до отказу, это братскую могилу можно полностью заполнить мертвыми, но... но полностью записать и отметить одну жизнь, хотя бы и мою... хотя бы и твою, Генералов, хотя бы товарища Боковитого — нет... невозможно... И даже... если человек, как только выучился грамотности, сядет записывать свою жизнь, а кончит занятие уже при смерти — сможет ли он... а? Отвечай ты, Генералов.

Генералов ответил, не задумываясь:

— Никогда!

— А почему? — спросил Иван Иванович.

— Просто: ежели человек всю жизнь ничего другого не делал, как записывал свою жизнь, то и жизни, значит, у его не было, и записывать ему нечего!

— А как же сделать? Все ж таки? — спросил Иван Иванович.— Как... придумать?

— Никак не придумывай, раз нельзя! — пожал плечами Генералов.— Нельзя — это значит точка!

— Ну, нет! Я вот придумал и сделал... Может, я лучше всех придумал. Причем ясно, просто и понятно. Ни один писатель так... хорошо не придумал... и не сделал...

— Да как тебе не стыдно, Иван Иванович? — возмутился Камушкин.— Как тебе... Пушкин, Гоголь — нет, а ты — да?

— Мне нынче ничего не стыдно...

— Верно что — нашел кого стыдить! — поддержал его Генералов.— Придумывай, Иван Иванович. Не стесняйся! Давай-давай!

Но Иван Иванович все-таки стеснялся: по лицу его с острым, посиневшим носом было видно — стеснялся. И он согласно кивнул Камушкину, когда тот сказал:

— Ох, Иван Иванович, Иван Иванович! Как тебя помню, ты всегда разводил фантазии! И почему бы это? Работа у тебя была без фантазий, а ты все равно их разводил... И свое гнул.

— Потому и гнул... Снабженцу — ему как? Ему только и приходится, что ловчить... А я по сбыту-снабжению лесокомбината двадцать с лишним лет трудился... двадцать с лишним лет ловчил... под видом горбылей нужным людям сороковку выписывал, под видом отходов — брус сто на сто, и так далее... без конца... а душе-то собственной, ей в то время что делать? Чем заниматься? Она же все ж таки не для отдела снабжения народилась, душа, и вот... случалось... проснешься поутру, а души-то с тобой и нету... ушла... Куда? А что — она обязана мне... сказываться, что ли? Её дела не мои дела... она снабжением не занимается... Она налево по фантазиям ушла... походит, помечтает, после вернется...

— Ну, чудак, ну, чудак! — усмехнулся Камушкин.— А я о тебе и не знал!

— Не знал — значит, не твоего ума дело! — заметил Генералов.

— Ладно! — отмахнулся обеими руками Камушкин от Генералова.— Ладно! Давайте ближе к вопросу! Скажи, Иван Иванович, что же ты все-таки изобрел в отношении жизни? Какую еще фантазию?

— Я просто изобрел... Я сперва разделил всю свою жизнь на разные возрасты, на все... сколько их было...

— Ну?! А потом?

— А потом... я для каждого возраста... стал записывать свойственные ему факты. И мысли.

— И что же у тебя получилось? Таким образом?

— Таким образом... у меня вместо немыслимого полного описания... всей моей жизни получилась... не очень даже большая картотека с фактами, а сказать, так прежде всего с мыслями... для каждого моего возраста... потому что я считаю — каждый возраст... это как бы отдельная была у меня жизнь...

Камушкин усмехнулся и спросил:

— И сколько же ты насчитал возрастов в своей жизни, Иван Иванович? Сколько отдельных жизней ты насчитал в ней одной?

— Одиннадцать...

— Странно... Ну а вот я, положим, насчитаю только восемь... Или, наоборот, пятнадцать? Тогда как?

— Почему бы нет?.. Кто сколько насчитает в себе самом минувших возрастов... столько их у него и есть... столько их, значит, было... Кому о них и знать, как не каждому самому́?

— Какие же ты лично одиннадцать жизней насчитал в самом себе?

— Детство раннее — это раз, детство среднее — это два, потом подростковый возраст — три, потом юношество, ранняя зрелость... зрелость средняя, потом она же — поздняя... ранняя старость... зрелая старость... поздняя старость... ну а потом уже и смерть... Итого — одиннадцать...

— Смерть? — удивился Камушкин.— А это как же: ты что же, Иван Иванович, сначала умрешь, а потом будешь о смерти писать в свою картотеку? Так?

— Смерть — это же, Камушкин, особая статья... говорить о ней — запросто, а вот что-нибудь сообразить гораздо труднее. Сообразить письменно — тем более!

— Ну все-таки, что ж ты сообразил-то?

— А то, что не боялся я ее... А в старости особенно не боялся... до того дошло... она меня будто бы забоялась... Я ее жду, а ее нет и нет... боится чего-то... значит, с ней так и надо — раз и навсегда поставить себе: не боюсь!

— Ну... Ну а в настоящий момент... подтверждается?

— Полностью... У нее — свое дело: прибрать меня; у меня свое — пожить сколько-то... а потом еще и перед друзьями окончательно высказаться... вот и все. Главное, чтобы каждое дело делалось бы вовремя... то есть своевременно...

— Ну, насчет своевременности — у нас у всех дефицит,— пожал плечами Генералов.— Как есть у всех! Вся жизнь у нас дефицитная, кроме разве что смерти. Которая идет у Ивана Ивановича по одиннадцатому пункту. Так, что ли?

— Совершенно верно! — согласился Иван Иванович.— Точно по... одиннадцатому!

— Ну, так что же ты по этому, по недефицитному пункту, записал? Чем можешь похвастаться?

— Да ничего я о ней... не записал...

— Это как же так? Почему? — снова спросил Генералов, и Камушкин повторил:

— Почему? Это как же так?

— Не успел...

— Ну чем ты таким занимался, что не успел-то? Что тебе так некогда было? — теперь уже очень строго спросил Камушкин.

— Жизнью я занимался... Жил да жил... каждый день — сегодня... а записи относительно смерти откладывал на завтра... вот так и случилось... к нынешнему-то дню...

— Это твоя недоработка! — с той же строгостью сказал Камушкин.

— Признаюсь...— вздохнул Иван Иванович.—Сильно признаюсь и безоговорочно... И чистосердечно... Не сделал... Недоработка. И не только в отношении смерти... Нет, не только... Взять хотя бы и жизнь?.. Тоже ведь — сколько у меня сделано насчет нее записей, какая заведена на нее картотека! Но чтобы руководствоваться своей картотекой в практике жизни — нет, не сделал. Не достиг. И здесь недоработка... Снова она.

— Ничего особенного,— сказал Генералов,— во всесоюзном масштабе проблема внедрения в практику наших собственных достижений тоже не решена! Во всесоюзном!

— Вот-вот! — даже обрадовался Иван Иванович.— Генералов вполне... правильно говорит... Тут вот... недавно отчетно-выборное собрание Академии наук СССР, там то же самое говорилось: теория идет вперед, но... в практику она внедряется даже слишком слабо и недостаточно... совершенно недостаточно...

— Нужно с передового опыта брать пример,— стоял на своем Камушкин.

— С кого? С кого ты, Камушкин, посоветуешь

брать практический пример? — сомневаясь, спросил Генералов.— С ко-го?

— Ну хотя бы с космонавтики! Космонавты летают и каждый час ведут подробные записи своего космического существования.

— У них там, в космосе, делов-то все ж таки поменьше, как на Земле. Суеты поменьше, и очередей нет... Знай себе работай день и ночь, а больше ничего!

Иван Иванович вздохнул:

— Да я бы и взял с них пример... но они слишком от меня далеко... Пример, он тогда действует... когда он близкий и вполне понятный.

— Ну ладно,— наконец-то сменил гнев на милость Камушкин,— ладно, ладно. Одиннадцатый свой возраст ты не зафиксировал, так ведь это, пожалуй, и не так важно: все-таки это не совсем возраст, а нечто... другое.

— Конечно, нечто! — подтвердил Иван Иванович.

— Конечно...— согласился Камушкин.— Ну а остальные свои десять возрастов ты довел до конца? Можешь ты о них сказать: «Вот я начал этот конкретный возраст, а вот я кончил его, выполнил по нему план и отчитался?» Можешь ты так заявить и сказать? О десяти минувших возрастах?

— Не могу... Обо всех — не могу...

— Ну не обо всех, ладно. А сколько у тебя таких возрастов с окончательным мнением? Полностью завершенных?

— Один...

— Как это — один? Из одиннадцати один?

— Так получилось... Я свое раннее детство завершил. Успел. А больше ничего...

— Ну, уважаемый мой Иван Иванович,— развел руками в полном недоумении Камушкин,— ну, знаешь ли... Что, тебе не известен принцип «Взял обязательство — выполни!»?

— Принцип-то мне известный... Чтó я — безграмотный совсем, что ли? Мне не только этот, мне много принципов известно!

Камушкин встал, походил по комнате взад-вперед, строго посмотрел на Генералова, как будто спрашивая его: «Ну?! Видал?! Что же теперь делать, а?» Генералов пожал плечами: «Что с него спросишь, надо войти в положение человека...»

— Ладно,— снова взял себя в руки Камушкин,— а что ты, Иван Иванович, зафиксировал по поводу собственного детства? Много ли?

— Нет, немного...

— Ну все-таки... Прочитай-ка. Что там у тебя написано о детстве? Для меня, как для преподающего культработника, это представляет особый интерес, вот и прочитай.

— Да я и так помню... без прочтения...

— Все еще надеешься на память? Все еще?

— На память я все еще не жалуюсь... Значит, так: «В детстве человек задает вопросы о жизни... а когда вырастет,— тоже задает, но сам не знает о чем».

— Дальше?

— Дальше — все...

— Как это «все»? Объясни: как это «все»? «Все» тут совершенно не на месте! Подумай-ка, Иван Иванович, как и чем твою мысль продолжить и завершить? Подумай!

— Ну ладно... я подумал... мысль можно завершить: «Одно только детство и есть своевременное... а остальная вся жизнь... почему-то... происходит... не вовремя».

— Вот тебе раз! — изумился Камушкин.— Вот подумал, так подумал! Это как же так: жизнь происходит в пространстве и во времени, но не вовремя? Белиберда какая-то?

Камушкин и Генералов посидели, помолчали и пришли в замешательство.

Наконец Генералов тихо, умиротворенно сказал:

— Ты, Иван Иванович, нас тоже должон понять... твоих истинных друзей... Ты нас звал — для чего? Само собою, чтобы объяснить нам свои записи... Теперь мы, само собою, ждем твоих объяснений, а где же они? Мы ждем...

— У нас тоже нервы...— заметил Камушкин.

— Моих объяснений... я знаю, слишком мало... А почему? Да потому что у вас слишком мало любознательности... Любопытства — так девать некуда, а любознательности? Кот наплакал у вас ее! Вот и нету у вас вопросов... Ко мне.

— У нас, Иван Иванович, и любознательности тоже хватает! — заверил Камушкин.— Но тут ведь какое дело? Ну, вот возьмем хотя бы мою преподавательскую практику, мне и это приходится — проводить урок на высоком уровне. И по форме на высоком, и, само собою,

по содержанию, чтобы у детей разгорался живой интерес. В конце урока спрашиваешь: «Есть вопросы?» И вот, хоть тресни, нет вопросов, да и только, хоть самому себе вопросы задавай и сам же себе отвечай. Им не до вопросов, они звонка ждут не дождутся... Ну и что же — я теперь буду спрашивать, почему у них нет вопросов? Вот и лектор в клубе спрашивает — есть ко мне вопросы? Но — молчат, гады.

— Тут не так... Тут взрослые... а там дети. Там дети ждут звонка, а в клубе взрослые ждут разойтись по домам... Ну... а... вы-то чего ждете? Чего вы ждете? И сами, поди, не знаете? Ну ладно, я и без вопроса отвечу... Одиннадцать возрастов... нужны мне для того, чтобы из всех из них... из таких разных... сделать один общий вывод. Понятно?

— Какой? — спросили вместе Генералов и Камушкин.

— На какой человек способен... тот вывод он и должен сделать.

— Только великий человек может сделать настоящий вывод из жизни! — сказал Камушкин.

— Аристотель? — спросил Иван Иванович, оживившись.

— Хотя бы и он. Аристотель действительно был великий. Он преподавал Александру Македонскому. По всем предметам.

— Значит, Аристотель...— подтвердил Иван Иванович.— Значит, он... Но я думаю: пускай великие добиваются своего... а мы, простые, будем тоже добиваться своего... сообща мы ее раскусим — жизнь... давно пора раскусить... пока она всех нас не пришибла... своей неизвестностью. И вас я позвал вовсе не для каких-то там... бесконечных... чтений... вот еще... Я и не собирался читать вам свои записи, но вы сами домогаетесь... вам... как... перо... вставили... прочти да прочти... вам бы только побольше обо мне... узнать... покуда я... живой... странно даже... какое любопытство... как в театре... а, между прочим, моя картотека... минувших возрастов... она для меня самого... давно уже сошла на нет... то есть устарела... интереса не представляет... она морально устарела... И вовсе не за ради нее... я вас... звал...

— Вот тебе раз! — взмахнул руками Камушкин.— Ну, а тогда чего же ради? Чего ты нам головы-то морочишь, Иван Иванович? Тебе время надо беречь, каждая

минута должна быть у тебя на строгом учете, а ты другого занятия не нашел — только головы морочить... своим истинным друзьям...

— А наоборот... я приготовил вам очень коротко и ясно сообщить... три основных вывода, которые я сделал... из своей... хотя и незаконченной... картотеки... а правильнее сказать, из своей всей минувшей жизни...

Вошла Верочка... Держась рукой за дверной косяк, она молча посмотрела на Ивана Ивановича, потом на всех присутствующих по очереди и снова на Ивана Ивановича.

Она ушла, и разговор возобновился не сразу... Но уже вскоре он продолжился так, как будто бы и не прерывался.

— Ну давай, Иван Иванович, сообщай живее, сообщай, когда так! — подскочил на стуле Генералов.— Сообщай, о чем разговор?! Не молчать же мы собрались?

— Всего три основные строчки,— сказал Иван Иванович.— Причем — отпечатаны на машинке... по знакомству... на лесоперевалке... машинистка сделала... Три самые основные.

— Давай-давай! — и еще воскликнул Генералов, а Камушкин сказал:

— Да-да! Мы слушаем! Я лично — весь внимание!

— Не могу...— вздохнул Иван Иванович.— Нет, не могу...

— Да в чем дело-то? Всего-то ведь три строчки? Ну давай, я прочитаю вслух! — предложил свои услуги Камушкин.

— Не могу... Вот уж Боковитый придет — тогда...

— А если не придет? Пропадут твои выводы и пункты?

— Тогда получите их после... в письменном виде. На машинке... Все три экземпляра — первые, а вовсе... не через копирку.

— Чудак ты, Иван Иванович! — воскликнул Камушкин.— Ну а почему нельзя сделать так: сейчас мы двое прочитаем твои основные выводы, а потом придет Боковитый и тоже прочитает — отдельно? Почему так нельзя? Вполне логично!

— Не могу менять сценарий...— сказал Иван Иванович.— Сценарий такой: ты, Камушкин, сидишь вот здесь... там же, где ты сейчас и сидишь на самом деле,

ты, Генералов, сюда сядешь... ко мне в изголовье... а товарищ Боковитый будет стоять у меня в ногах... Я приподнимусь на подушке... и прочитаю все три пункта бытия... с паузами... и раздам... каждому по машинописному экземпляру... скажу напутственное слово... и все... вот тогда уже по-настоящему все.

— Да это мы тебе должны говорить — напутственное-то! — сообразил Генералов.— Не ты нам, а мы тебе — точно!

— Заблуждение... А мой сценарий — он без заблуждений!

— Вот так...— вздохнул Камушкин.— Так-то вот...

— Значит, нам ждать Боковитого и никуда ни шагу? — спросил Генералов.

— Никуда... Никуда, друзья мои...— подтвердил Иван Иванович.— Вы подождете, и я подожду.— И он повернулся на спину, сложил руки на груди, закрыл глаза и замер неподвижно... Через некоторое время и еще подтвердил: — Вы подождете... и я подожду...

Молчание продолжалось довольно долго, пока Генералов заговорил снова:

— Слишком занятый человек — Боковитый!

— Ну, чем это уж он слишком-то... занятый? — спросил, не оборачиваясь, Иван Иванович.

— Как чем? Из одного начальника в другого преобразуется — вот он чем занят. В того, который будет побольше. Из кокона в бабочку вылупляется.

— Естественное стремление! — заметил Камушкин.— Вполне естественное!

— Кому как...

— Известно, что тебе не так. Известно, ты из техника-строителя пошел в слесаря-водопроводчика. Ну и чего в этом естественного? Ты сможешь объяснить? Членораздельно?

— Тебе, Камушкин, запросто смогу: рубль у меня стал длиннее. Вот и все.

И Генералов снова обратился к Ивану Ивановичу:

— Вот что, Иван Иванович, ждать и догонять — хуже всего. Не делай нам хуже всего, дай ты нам свою картотеку! Мы ее почитаем и развеемся. И это будет в самый раз — развеяться. В нынешних обстоятельствах. Ну?

Иван Иванович не отвечал. Генералов несколько раз почти дословно повторил просьбу.

Наконец Иван Иванович ответил:

— Под кроватью...

— Под кроватью? — не понял Камушкин, а Генералов догадался сразу же, опустился на колени, потом лег на пол, пошарил под кроватью и вынул картотеку — продолговатый деревянный ящичек, наполовину заполненный карточками.

— С которой начнем? — спросил Камушкин.— Вот с этой?

— Нет и нет,— не согласился Генералов.— Самое правильное — вот с этой! — И Генералов, поставив ящичек на сундук, осторожно вытянул из него карточку и прочитал: — «Римская шесть. Зр. сред. десятого сентября тысяча девятьсот шестьдесят второго года».

Иван Иванович нехотя, но пояснил:

— Шестой возраст... зрелость средняя...

— «Думал над вопросом: почему дети обязаны любить своих родителей? Если родители не будут строго требовать любви своих детей, дети, может, будут больше их любить?»

«Мысль подтвердилась двадцать девятого января тысяча девятьсот шестьдесят четвертого года».

«Третьего мая тысяча девятьсот шестьдесят шестого года подтвердилось следующее: люди слишком любят самих себя за то, что они — родители».

Генералов помолчал-помолчал и обратился к Камушкину:

— Ну, Камушкин, это твой момент, ты воспитатель молодого поколения. Тебе и карты в руки, ну? Твое мнение?

— Художественная литература в основном этого не подтверждает. Родители даже больше любят своих детей, чем самих себя! Неправильное наблюдение сделал, Иван Иванович! Нет, неправильное!

— А ты обрати внимание, Камушкин,— живо реагировал Иван Иванович,— обрати внимание на дату... наблюдения! Мое... наблюдение — это шестьдесят второй год двадцатого века... а твоя художественная литература... она напрямую относится к веку девятнадцатому... Понял, нет? Понял, в чем прогресс?

Генералов повздыхал и вытащил следующую карточку.

— «Римская семь. Зр. поздняя. Семнадцатого апреля тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года. На днях плохо отозвался о ее муже, а она стала ругать меня: «Сначала женись на мне, а потом ругай его! А до этого

и думать не смей! Я еще не твоя, а его жена и должна стоять на его защите! Это нужно понять!»

— Ну? — спросил после паузы Камушкин.— Ну а какие там записаны подтверждения? Или опровержения?

— Да ничего такого нет... Никаких примечаний, ничего прочего...

— Ничего прочего и не было...— подтвердил Иван Иванович.

Спустя еще некоторое время Генералов и Камушкин вошли в азарт, они наперебой вытаскивали карточки, громко зачитывали их, смеялись, словно играли в лото. Иногда удивлялись, задумывались...

Одна карточка была такая:

«От некоторых слышал, что на нашей железнодорожной станции Ветка духовность не нужна. А некоторые (напр., сантехник Генералов) ее даже материт. Но я этому не верю и думаю, что она очень нужна, и веду записи о своей духовной жизни. Но я их никому на железнодорожной станции Ветка не показываю — засмеют!»

— Нашел, о чем заботиться, Иван Иванович! — удивился Генералов.— Да я, когда у меня нет настроения, я все на свете матерю! Давай, Камушкин, читай дальше! Давай я потащу карточку?!

— Нет, Генералов, почему ты все-таки не уважаешь культуру? Почему?

— А потому, что она ко мне никак не пристает! Не пристает, а зачем мне нужна такая культура, которой я тоже не нужон? Я ей не нужон, она мне не нужна, вот и квиты. Вот и можно ее матюкнуть. И не раз.

— Культура — она необъятная! Вот бы ты и поискал в ней, Генералов, что-нибудь по душе, к чему у тебя природные и еще не вскрытые склонности. И занялся бы!

— Это верно: чем только люди не занимаются?! Особенно в культуре! Что только способны выдумать, тем и занимаются. Притом за деньги. Чемпионы — те за большие деньги!

— Чемпионы — это большая редкость. Потому они и ценятся.

— Ну, еще бы! Один прыгнул невероятно, а другой — еще невероятнее, так и прыгают, покуда до чемпиона не допрыгаются! Один съел десять тараканов, а другой, где-нибудь в Америке, обязательно слопает

сотню. Так без конца, без края. Действительно, иной раз подумаешь: а может, поискать в себе какого-нибудь чемпиона? Может, я врожденный чемпион чего-нибудь? По каким-нибудь мельчайшим насекомым?

— Это уже не культура.

— А что, физкультура разве не культура? Как начнут в обед по телевизору прыгать, так и прыгают до поздней ночи!

— Это называется... излишеством...— сказал Иван Иванович,— излишества могут быть в любом деле...

— Ничего подобного, Иван Иванович! — и тут возразил Генералов.— Какие-такие излишества в водопроводном деле? Да там, наоборот, сроду чего-нибудь не хватает. То угóльников, то крантов, а теперь вот мы на своей Ветке вплотную подходим к проблеме пакли. А свинца для чеканки, либо чугунных труб малого диаметра не хватало никогда и во веки веков, это ты и сам можешь подтвердить, Иван Иванович. Как бывший снабженец.

— А я тебя так и не изучил до... конца...— вздохнул Иван Иванович,— то ли ты дурной, то ли... придуриваешься?

— И то и другое! — подтвердил Генералов.— Поскольку одно другому не мешает. Ну, ладно! Читай, Камушкин, дальше. Читай-читай!

— «Римская девять. Зр. стар. Восьмого ноября тысяча девятьсот семьдесят девятого года. На железнодорожной станции Ветка только у одной бабы имеется дубленка (Самаркина Зинка). Она куда-то поехала и за какие-то деньги где-то купила. (Не говорит, где и за какие.) Ну, а мне-то какое дело? Человеку зрелой старости какое может быть до этого дело? Но мне все равно интересно. Как это понять — почему и для чего мне интересно?»

— Действительно,— живо подхватил вопрос Камушкин,— почему это тебе было интересно, Иван Иванович? В то время как это никого не должно касаться, это личное дело гражданки Самаркиной. Зинаиды.

— Оно бы и не касалось никого, когда бы ты, Камушкин, особенно на тот предмет не расстарался. Не стал бы выяснять всех причин этой дубленки.

— Генералов! — воскликнул Камушкин.— Объясни, пожалуйста, свои слова, Генералов! Ты меня очень и очень удивляешь!

— Артист! Культурник! Вся Ветка давно уже ему не удивляется, а он сам себе — так до потери сознания!

Камушкин кивнул в сторону Ивана Ивановича и тихо сказал:

— Здесь такой случай, а ты... И не стыдно?

— Тебе бы при таком случáе и не удивляться и не разыгрывать... А хотя бы помолчать.

— Вся моя деятельность меня обязывает, Генералов...

— Ага! Твоя самодеятельность... в ней не столько деятельности, сколько различных и даже очень склочных интриг!

— Это ты напрасно, Генералов. Хотя я должен признать, что вовсе без склочности тоже нельзя. Не получается. Не живется. Знаешь, друг мой,— теперь уже к Ивану Ивановичу обратился Камушкин,— знаешь, иногда и самому противно, и сам вовсе не понарошке, а искренне, от всей души удивляешься: неужели без этого нельзя?

— Подожди,— пообещал Генералов,— вот позову погулять к себе одного, а то и двух дружков, погуляем, после устроим тебе полноценную темную... Перестанешь удивляться.

— Какой-то не такой у нас... получается разговор...— проговорил Иван Иванович грустно, и Генералов согласился:

— Я согласен: пошли дальше! Пошли теперь уже без всяких отступлений в стороны. Пошли! «Ей некогда, мне некогда, о свидании впопыхах договоримся и все перепутаем. Встретимся и полчаса выясняем, кто в путанице виноват, я или она... (всегда получалось, что виноват я, но женщине при таких обстоятельствах надо обязательно уступать, иначе совсем уже ничего не получится)»,— громко прочел Генералов.

— А эта карточка... она к какому возрасту относится? Есть указание? — поинтересовался Камушкин, а Генералов сказал:

— Тут и без указания видно — к зрелому!

— «Абсурд — это что такое? Может, все мое существование? А если все — значит, абсурда и вовсе нет?» — эту запись Генералов прочел, отложил в сторону и сказал: — Здря...

— Что значит... зря? — спросил Иван Иванович.

— Здря от начала и до самого конца — вот что это значит,— подтвердил Генералов, а Камушкин добавил:

— Это очень хорошо, Иван Иванович, что ты находишься в таком положении. Будь ты в другом положении, тебе бы — вот...— И он показал рукой по горлу.

— «Не знаю, кто как вспоминает войну, а я очень даже странно: когда и где произошел тот случай, вспоминаю я, в который я обязательно и на сто процентов вероятности должен был быть убитым? Из таких случаев состоит чуть ли не вся война во время боев, но я почему-то во что бы то ни стало добиваюсь вспомнить тот самый-самый стопроцентный. И для чего мне частный случай, если война вообще была великим подвигом? И для меня и для всех — истинно великим?»

— Ну и как? — спросил Камушкин у Ивана Ивановича.

— Что — как? — не понял Иван Иванович.

— В настоящий момент ты вспоминаешь тот главный случай? А вдруг сейчас-то он и вспомнится?

— Нет, Камушкин, сейчас не вспомнится. Он мне нынче стал безразличным... Был... не был... какая разница?

— «Я раньше думал, что смешное обстоятельство должно быть веселым, но этого никак не наблюдается. Мысль подтверждения не требует».

— Ну, и слава богу! — заметил Генералов.— Пойдем дальше.

— «На лесоповале, я помню, деревья падали будто бы в сказке, будто бы с неба, а на земле на них смотреть было уже неинтересно. Может, такое восприятие, потому что жить сильно хотелось? Но т. к. в молодости я проявлял большую склонность к искусству, то этот факт тоже мог действовать на меня уже в возрасте средней зрелости, то есть на лесоповале».

Камушкин пожал плечами, а Генералов сказал:

— Ну, и слава богу! Пойдем дальше!

Неожиданно в комнату вошел кавказский мальчик. Он был высокий, стройный, признаков кавказского происхождения было в нем немного — не то узкие сапоги, не то широкий пояс или что-то еще в небрежной и пестрой одежде. Заговорил же он с сильным акцентом:

— Дальшэ? Куда-туда дальшэ? Никуда нэ дальшэ, а пойдэм ко мнэ, Гэнэралов! — и угрожающе добавил: — Ну?!

Все оторопели, мальчик повторил: — Ну?! — Взял Генералова за рукав и потащил к дверям.

— Ты что? — вырвал Генералов рукав у мальчика. — Ты чего меня... ты чего меня руками?.. Касаешься? А ну, пошел отсюда!

— Пойдэм, Гэнэралов! — повторил мальчик. — Нэ пойдэшь — я трэбовать буду! Я так трэбовать буду, Гэнэралов, я так буду...

— Мальчик, — сказал Камушкин, — когда входишь в комнату, надо сначала постучать, спросить разрешения! Ты меня понял?

Мальчик смерил Камушкина презрительным взглядом и громко прокричал: «У-у-а-а-о-о-о-и-и-й!» — И еще топнул ногой.

Генералов провел рукой по лбу и спросил:

— Крант полетел?

— Два... — сказал мальчик и показал два пальца. — Ну, пойдэм, Гэнэралов! Быстро пойдэм! Бэгом пойдэм!

— Родители дома? — спросил Генералов.

— Два... — Мальчик снова показал два пальца.

— Мать ругается?

— Зачэм ругаэтся? Она говорит: придэшь — выцарапаэт тэбэ глаза.

— А отец? Отец что говорит? — И еще спросил Генералов: — Ругается?

— Зачэм ругаэтся? Он говорит: придэшь — сто граммов бэз звука! Два по сто — бэз звука!

— Мальчик! — снова заговорил Камушкин. — Ты мне все-таки объясни: почему ты входишь в чужую комнату даже не постучавшись?

Мальчик посмотрел на Камушкина, ничего не ответил, откинулся назад и начал свое у-у-а-а-а... но до конца не докричал, сказал еще более угрожающе:

— Пошли, Гэнэралов! Я сказал: не пойдэшь — трэбовать буду...

— Ну ты пойми — нету у меня пакли, не-ту па-кли! Как я сальники буду ставить? Я вам час назад ставил неизвестно из чего, вот они и полетели оба, неизвестные. Оба!

— Два! — подтвердил мальчик. — Горячий дэржит отец, холодный дэржит мать, мэня послали трэбовать! Почему нэ идэшь?! Ну? — Секунду-другую мальчик молчал, потом прокричал: «У-у-у-а-а-о-о-о-и-и-й!»

В комнату вошел Боковитый — крупный мужчина лет сорока с лишним, в пестром пиджаке, в армейских брюках, в начищенных сапогах и с «дипломатом».

— Это что же здесь происходит? — спросил он.— Объясните — что такое?!

— Вот,— сказал Генералов,— требует, а у меня пакли нету! Грамма паршивого, и того нету! Вот вы — начальник, вот и решайте проблему.

— Да-да,— пояснил Камушкин,— требует и входит в комнату, даже не постучавшись... Здесь такие обстоятельства, товарищ Боковитый, такие... а он...

— Про обстоятельства — знаю! — сказал Боковитый, внимательно посмотрев на Ивана Ивановича.— Я спрашиваю: что происходит?! Здесь?!

— А вот — всегда так...— заговорил молчавший до сих пор Иван Иванович,— если что происходит, то обязательно — неаккуратно... неаккуратно и несвоевременно... Это... всегда так... можно сказать... всю жизнь так... И откуда она только взялась — несвоевременность?

Кавказский мальчик подошел к Боковитому и сказал:

— Трэбую... И ты нэ смотри, товарищ начальник, что я малэнький! Я трэбую!

— Ну, какой же ты маленький! Зачем кричишь-то, акселерат?!

— Я нэ кричу. Я трэбую!

— Чего? Требуешь-то?

— Пакли трэбую! — И мальчик приблизился к Боковитому и сказал: — Ну?

— Вот-вот,— сказал Генералов,— вот-вот, требуй, мальчик, требуй! Даст мне начальник пакли — пойду и поставлю кранты и даже новые, с настоящей резьбой, не даст — не пойду! И пускай они обои текут, твои кранты, холодный и горячий, и пускай затопит весь ваш дом, и пускай затопит весь поселок, и пускай — всемирный потоп, а я не пойду! Не пойду, и все. Мое дело маленькое, я за всемирный не отвечаю.

Боковитый сделал вид, что не слышал Генералова, всей его тирады, он отступил от мальчика, поискал глазами, куда бы поставить свой «дипломат». Поставил его на сундук рядом с чемоданчиком Генералова и портфелем Камушкина и подошел к Ивану Ивановичу.

— Уж ты извини меня, Иван Иванович, дорогой, что я опоздал, извини, пожалуйста! Такая, знаешь ли, нын-

че нервотрепка на комбинате, такая, что и не припомню такой же... План нынче выполняем. А нынешний план — это что такое? Это когда голова идет кру́гом, а ноги бегают по кругу, а из рук все кругом валится!.. Вот так. План всегда горит. И никогда не сгорает. Значит, извини, что опоздал, никак не мог раньше...— Потом Боковитый посмотрел на Ивана Ивановича еще раз и сказал уже радостно: — Так ведь я и не опоздал к тебе, Иван Иванович, дорогой, не опоздал же, нет!..

Боковитый придвинул к себе стул, вытянул далеко вперед ноги и стал вспоминать свою совместную и теперь уже давнюю работу с Иваном Ивановичем.

— Да,— сказал он,— вспомнить, так счастливое было время, молодость была, да и только. Она — да и только! И та́к, представь, Иван Иванович, дорогой, запомнилась мне моя молодость, в период которой я работал у тебя в подчинении агентом снабжения, та́к запомнилось все это — даже не знаю, почему так... Я и нынче всюду подчеркиваю: вот я начал с простого агента снабжения, вот я работал в подчинении у Ивана Ивановича, вот набирался у него ума-разума и теперь уже никогда не забуду своего учителя! Никогда! И когда я прохожу мимо витрины наших ветеранов, веришь ли, я всегда останавливаюсь и внимательно смотрю на твое фото и думаю — вот человек! Вот был у нас человек на комбинате, вот у кого было поучиться работоспособности и отношению к порученному делу! И ты, Иван Иванович, дорогой, не беспокойся, я всегда буду следить, чтоб твое фото висело на витрине ветеранов! Уж я прослежу, будь уверен! Ну, как твои дела-то, Иван Иванович? Да ты, я смотрю, молодец! Совсем молодец!

— Дела-то? — откликнулся Иван Иванович.— Не дает нам жизнь своевременности, не дает нам жизнь... жизни... Собирал я вас, троих моих друзей, собирал... кое-как собрал... можно было бы и начинать, а тут... краны... в кавказском доме... тут мальчик... требует... краны действительно текут в доме в кавказском... ты бы послал Генералова-то... он бы... может... и успел... обернулся бы...

— Действительно! — оглянулся Боковитый к Генералову.— Ты чего стоишь-то? Зовут тебя на аварию — бросай все и беги! Авария же!

— А пакля? — спросил Генералов.

— Ну, нету у меня пакли — что ты ко мне в самом-то деле привязался? Ты привязался, он,— Боковитый

показал на мальчика,— он привязался, а я хоть разорвись! Все только и знают, что привязываются и требуют. Нет чтобы найти какой-нибудь заменитель, а только требуют, и все тут! Требовать — это проще всего, а ты сам пошевели мозгами, сам изыщи, сам внеси рацпредложение!

— Я и вносил, я и вносил рацпредложение, товарищ Боковитый, на трех производственных совещаниях соцбытовки, на одном при дирекции, то есть при тебе. Ты мое рацпредложение отклонил, а теперь? Теперь идите и сами ставьте кранты в кавказском доме, а по мне — хоть всемирный потоп, мое дело маленькое, я не отвечаю. А ну-ка, требуй с него, мальчик! Ты о своих правах не забывай, требуй — и все!

Мальчик снова подошел к Боковитому и не очень громко, выжидательно, как бы только в порядке предупреждения, прокричал:

— У-у-у-а-а-а-о-о-о-и-и-й!

— Вот жизнь! — сказал Боковитый.— Вот жизнь так жизнь! Иван Иванович, дорогой, может, ты скажешь мальчишке... скажи ему, пожалуйста, чтобы бежал домой. Подействуй своим авторитетом, Иван Иванович!.. А минут через пятнадцать я и Генералова к нему пришлю... Мы ведь минут пятнадцать, больше здесь не задержимся, нет? Минут пятнадцать, и освободимся, у меня нынче такой день, такой день... Ну, Иван Иванович! Дорогой!

— Да-а...— сказал Иван Иванович.— А вода-то течет... из кранов...

— Без пакли я в кавказский дом — ни ногой! — сказал Генералов.— Хватит, походил к ним без пакли, а мне собственные глаза тоже сгодятся, тоже нелишние! Да! Честное слово — одно из двух: или раз и навсегда принимайте мое рацпредложение, или ни ногой!

— Ну возьми ты, Генералов, кусок какой-нибудь веревки, ну развей ты его, вот тебе и пакля! — обернувшись к Генералову, сказал Боковитый.— Ну что за беспомощный нынче пошел народ, а? Не может пустяка сообразить! А ты, мальчик, иди домой! Быстро! Вот Иван Иванович тоже просит тебя — быстро! Должен же ты войти в положение Ивана Ивановича?!

— Это легко товарищу начальнику сказать: «Возьми кусок какой-нибудь веревки!» — возмутился Генералов.— Это какой же какой-нибудь?! Это три года назад легко было сказать, а нынче уже другое, нынче

наступила ентеер и натуральной веревки — в помине на станции Ветка нет: либо она бумажная, либо нейлоновая! Из какой, товарищ начальник, прикажете ставить сальники: из бумажной? Из нейлоновой? Я точно знаю, почему вы не принимаете мое рацпредложение. Точно!

— Почему? — спросил Камушкин, который все это время вынимал из ящика карточки, прочитывал их, обдумывал и ставил обратно.— Почему? — повторил он вопрос, на минуту оторвался от своего занятия.

— Очень просто: они,— Генералов кивнул в сторону Боковитого,— они утверждают, что мое рацпредложение не настоящее, они так утверждают, поскольку не хотят выплачивать мне премиальные как за рационализацию. Ничего, я сперва подожду, а потом потребую свое в двойном размере. Требуй, мальчик, требуй от начальника! Ты свои права знаешь, вот и требуй... Как следует...

Мальчик протянул:

— У-у-у...

Но тут Боковитый встал, подошел к Генералову и сказал:

— Твое рацпредложение, Генералов, это вовсе не предложение, а сплошное издевательство! Сплошное! Он ведь, Иван Иванович, дорогой, он что придумал, Генералов-то? Придумал: он будет ставить сальники только из материала заказчика, а больше — никак!

— Больше — никак! — подтвердил Генералов.— Есть пакля — хотя бы вот столько,— вызывай сантехника, нет пакли — хотя бы вот столько,— утопай в собственной квартире, а то перекрывай кранты, ходи к соседям за водой. Ежели они тебя пустят. Зато пакля будет наверняка. Потому что вступает в действие личная инициатива! И вполне современный хозрасчет.

— В обход законности! — сказал Боковитый.— Хотя и так рассудить: обязанность перед государством — она святая, и вот она требует хотя бы обмануть государство, но обязанность перед ним железно выполнить...

— Вы сделайте, после уже и поглядите, какой получится обход! А если вы тоже премию получите, тогда что? Надо сделать, тогда уже и догадываться о результатах.

— Все может быть! — сказал Камушкин.— Я деятель культуры, к хозяйству имею косвенное отношение, но могу подтвердить, что чем лучше хозяйственник маневрирует между законом и... его отсутствием, тем

более высоких производственных показателей он может добиться... Правильно я говорю?..— Камушкин посмотрел на всех присутствующих по очереди,— правильно я говорю, Генералов? — спросил он еще раз.

— Ты всегда правильно говоришь, Камушкин! — подтвердил Генералов и тут же обратился к кавказскому мальчику: — Ну? Ну, а ты-то чего молчишь как пень? Кто за тебя будет требовать — я, что ли? Требуй по-настоящему!

Мальчик снова приблизился к Боковитому и начал свою гамму:

— У-у-у-а-а...

Но Боковитый взял его за руку и подвел к окну:

— Гляди, мальчик, гляди хорошенько — склад открыт? Или уже нет?

Мальчишка всмотрелся в окно:

— Однако, открыт. Открыт — чэловэк из его вылазит! О! Вылазит!

— Так вот, мальчик, я напишу записку выдать паклю, а ты побежишь и вручишь ее лично кладовщику. Ты понял меня? Вручишь в его собственные руки!

— У-у-у...— мирно и ласково проворчал мальчик.

— То-то! — сказал Боковитый, вынул из кармана записную книжку, вырвал листок, стал писать несколько раз: напишет, прочитает, порвет и начинает сначала.

Покуда он писал, он еще и говорил Генералову:

— Генералов! А ты иди в кавказский дом и подготовься! Мальчик сбегает на склад, принесет тебе пакли, и ты начнешь. А пока, без промедления, иди в кавказский дом... Слышишь, Генералов?!

— Чего это мне идти с пустыми руками? Чего это мне готовиться? В кавказском доме покуда готовишься, без глаз останешься. Без обоих.

— Иди, иди, Генералов! Кому говорят — иди! Подготовишь фронт работ!

Наконец Боковитый дописал записку и вручил ее мальчику. Мальчик взял ее, подошел к Генералову, погрозил ему пальцем, сказал:

— Тэпэр — тэбя трэбую!

Уже в дверях, снова прервав чтение карточек, его остановил Камушкин:

— Мальчик! — окликнул он.

Мальчик остановился:

— Чэго тэбэ?

— Мальчик, запомни,— сказал Камушкин,— когда входишь в чужую комнату, нужно постучаться.

— Ну да! — сказал мальчик.— Я стучусь, «стук-стук-стук», а ты говоришь «нэльзя», а я опять «стук-стук», а ты опять «нэльзя», да?

И мальчик убежал, а Боковитый снова обратился к Генералову:

— Генералов?

— Ну...

— Я кому сказал?

— Вам лучше знать...

— Камушкин,— спросил Боковитый,— скажи, товарищ Камушкин, я кому сказал идти в кавказский дом, подготовить в доме фронт работ?

Камушкин снова отложил карточки в сторону, подумал и спросил:

— Товарищ Генералов! Это тебе товарищ Боковитый сказал идти в кавказский дом, подготовить в доме фронт работ?

— Мне... мне мои собственные глаза все еще дорогие. Мне ими рисковать ни к чему... Будет пакля — пойду, не будет пакли — ни ногой. Вполне ясно и определенно мною утверждается: ни ногой!

— Странный ты человек, Генералов,— вздохнул Иван Иванович.— Очень даже странный...

— Почему? — слегка поинтересовался Генералов.

— Жить вроде бы хочешь, а жизнь не любишь...

— Ну и что?

— Важные факты... Для сопоставления.

— Ну и что — важные. Не обязательно мне об них говорить. Они мне совсем неинтересные... С моей личной точки зрения.

— Как так? — с удивлением и тревогой спросил Иван Иванович.— Это как же так? Не... неинтересные?

— Вот ты — для тебя важнее твоей картотеки, может, и нет ничего... И не было...— стал объяснять Ивану Ивановичу Генералов.— Но это же вовсе ничего не значит. Совсем ничего. Потому что для других вся твоя картотека — нуль! Больше ничего.

— Для кого это — для других? — тихо спросил Иван Иванович.— Для кого? Нуль?!

— Для других людей. Причем — самых разных.

— Ну не для всех же? Не для всех на свете?

— Об чем разговор! Конечно, кто-нибудь один да

найдется. Которому твоя картотека окажется сильно нужная. Ну, хотя бы твоя жена. Она ведь женщина честная.

— Может, и она. И даже не может, а обязательно она. Но через нее и для других... моя картотека сделается важной. Необходимой как воздух всему советскому народу. Тем более — те мои три пункта бытия, которые я вывел из этой картотеки, как конечный ее результат. Разве этого не может случиться? Когда нибудь?

— Ну, когда-нибудь все на свете может случиться. Все что душе угодно...

Вошла Верочка... Держась рукой за дверной косяк, она молча посмотрела на Ивана Ивановича, потом на всех присутствующих по очереди. На Генералова — с особым вниманием.

Монолог Верочки.

Когда-то, двадцать один год тому назад, я угадывала в Иване Ивановиче что-то такое, чего не знал никто, даже он сам.

Это могла угадать я одна на всем свете, и эта моя догадливость стала моей любовью. Еще какой! Иван Иванович был для меня человеком, за которым я могла бы идти куда угодно и к чему угодно.

Хотя я и до него была замужем, я ничуть не сомневалась в том, что Иван Иванович — это мой первый мужчина... Не сомневалась и в том, что стану для Ивана Ивановича последней женщиной. Самой последней и потому — единственной.

Эта встреча первого с последним стала для меня магическим и могущественным знаком любви.

Да-да! — знак был!

Но чего-то не было за этим знаком, чего-то не оказалось... не таким молодым и не таким первым оказался Иван Иванович. И я не стала для него самой последней женщиной. Я и сама почему-то оказалась не совсем такой женой, которую представляла себе под магическим знаком любви.

Но все равно, все равно я была женой своего мужа, я каждый день, а может быть, и каждый час создавала собственное замужество. Мне даже казалось иногда, что я могла бы сделать своим мужем любого мужчину, а не только Ивана Ивановича.

Это был каторжный труд, но я исполняла его. И вот через год или два я уже была для Ивана Ивановича высшим судьей, я знала о нем все.

Но Ивану Ивановичу обязательно была нужна своя собственная неподсудная тайна, и я с этим тоже согласилась и смогла убедить его, будто ничего не знаю о его картотеке. Как есть ничего!

Вот так Иван Иванович верил в свою тайну, а я верила в то, что ничего о ней не знаю. Что так и должно быть, пока мы живы. Еще я думала, что, если бы картотеку вела я, а не Иван Иванович, наверное, я сделала бы это лучше, чем он.

Но Иван Иванович был убежден, что он перед всем светом обязан вести картотеку, а потом вывести из нее три главных пункта бытия, он уже давно бы умер, если бы не эта святая обязанность. Я же всегда была поглощена своим замужеством. Так мы были поглощены каждый своим занятием. Именно так. В этом и состояла наша жизнь...

Верочка ушла. Разговор возобновился не сразу. Но уже вскоре он продолжился так, как будто бы и не прерывался.

— Вот народ, вот народ! — вздохнул Боковитый.—Иван Иванович, дорогой, ты, что ли, сказал бы Генералову, идти в кавказский дом, не теряя времени? Скажи! Подействуй своим авторитетом!

— Вот история...— громко сказал Иван Иванович.—Никак не могу собрать вас всех троих вместе. Ну, никак! — Потом, уже тихо, он сказал и еще: — Вот беда... вода-то в кавказском доме все течет... все течет... буль-буль...

— Ладно! — рассердился Генералов.— Ладно, пойду! Не пожалею своих глаз, когда ты так настроен, Иван Иванович! Тебя сроду не поймешь. Вот и нынче — собирал-собирал нас троих, а собрал — теперь разгоняешь почем здря. На все четыре стороны.

— Ты побыстрее, Генералов...— ответил ему Иван Иванович.— Бегом туда, бегом управься там, бегом вернись сюда... я подожду... а там вода...

— Всю жизнь вот так — сроду тебя не поймешь, Иван Иванович! Вернусь, ежели глаза будут целые. Обои.

И Генералов взял с сундука свой потрепанный чемоданчик и ушел, а Камушкин сказал:

— Да, это верно: в кавказском доме вода почему-то всегда течет, а электричество не горит. Давно уже так...

— Давно...— согласился Боковитый.— Еще когда там настоящие кавказцы проживали. Которые при кинжалах.

— Ножны-то у них... правда что, были... но только — пустые...— заметил Иван Иванович.

— Как это — пустые? Как пустые?! — заинтересовался Боковитый.— Рукоятки-то наружу видно же было?! — И Боковитый сделал жест, словно он вынимал из ножен кинжал.

— Рукоятки — наружу, а внутри — пусто...—подтвердил Иван Иванович, и Камушкин подтвердил тоже:

— Холодное оружие и тогда запрещено было. А тут кинжал! Вот такой! Его, само собой, запретили. А рукоятки оставили.

— А я и не знал...— разочарованно сказал Боковитый, а Камушкин и тут заметил:

— По молодости лет и не знали, товарищ Боковитый!

— Слушай, Иван Иванович, дорогой, а зачем тебе нас было собирать? В такой вот компании и всех троих? А? Почему ты надумал-то? — спросил Боковитый.

— Потому что вы... все трое... мои друзья.

— Друзья... Ну и что же, что друзья... Что из того? Можно нас и по отдельности собрать, друзей. Вот мы сейчас посидим рядышком с тобой, я и Камушкин, посидим сколько-то и уйдем. А потом Генералов придет и тоже посидит. Порядок?

— ...Порядок...— это когда так все и происходит... как задумано...— сказал Иван Иванович.— А я задумал: Генералов будет у меня в головах... Камушкин будет сидеть вот здесь... на стуле, а вы, товарищ Боковитый... будете стоять у меня в ногах, вот как сейчас стоите... чуть подальше... нет, не здесь — еще чуть-чуть подальше... вот так! Вот придет Генералов... вот мы все так и сделаем!

— Мы и без Генералова сделаем! — воскликнул Боковитый.— Садись, Камушкин, вот сюда! Вот сюда, чтобы было как раз посередке между нами.

— Мне нужны трое... одновременно...— сказал Иван Иванович, приподнявшись на подушках.— Одно! Временно!.. Но ежели вы так уж торопитесь, товарищ

Боковитый... домой... на службу... предположим... на склад... я не... не имею морального права...

Боковитый, слегка смутившись, сказал:

— Нет, что ты, что ты, Иван Иванович... дорогой! Я только удивляюсь: если мы нужны тебе все трое и одновременно, тогда зачем же ты отпустил Генералова?

— Не имею морального права...— повторил Иван Иванович.— Опять же не имею его...

— Ну, ладно...— кивнул Боковитый и обратился к Камушкину: — Ну, ладно, это понятно. Дальше что?

— Когда дальше? — не понял Камушкин. Он по-прежнему был занят картотекой.

— Когда мы все будем на своих местах? — И Боковитый показал руками на места всех троих — в головах, на стуле посередине и в ногах кровати.— Когда будем, он что-то нам скажет? Произнесет? Наш дорогой Иван Иванович?

— Я произнесу...— сказал Иван Иванович.— Я три главных пункта бытия произнесу... Иначе сказать... три вывода из всей своей... мысленной жизни...

— Это понятно! — сказал Боковитый.— Понятно: по одному пункту на каждого! Но вот вопрос: а зачем тебе их произносить, Иван Иванович, дорогой,— свои пункты? Я, к примеру, не слыхал, чтобы так делали... В письменном виде подают — это да, так делается, причем начиная с глубокой древности.

— И я сделаю... как в древности... то есть оставлю свои выводы в письменном виде. Они у меня... на этот случай... в конвертах и на машинке... все экземпляры — первые... под копирку нет... ни одного... на вашем же лесном комбинате... машинистка Софья Семеновна по старой памяти...

— Конечно, конечно, Иван Иванович, дорогой, тут и думать нечего — любые выводы излагаются в письменном виде и поступают кому следует! Любые! Камушкин! Так я говорю?

— Конечно! Конечно, вы та́к говорите, товарищ Боковитый!

— Хотелось бы... очень хотелось бы живым голосом прочитать вам свои выводы... прочитать, а еще посмотреть на ваши лица... как вы отреагируете... вот митинг соберете... траурный и огромный... человек сорок... того больше, и речи будут произноситься... тоже в рабочее время... а тут — я только троих и приглашаю, своих

друзей... имею моральное право...— проговорил Иван Иванович жалобно.

— Ну, конечно,— согласился Боковитый.— На то оно и моральное. Камушкин? Как ты думаешь, с точки зрения художественной литературы, с воспитательной точки зрения это... нас устраивает? Вполне?

— По-моему, тут ничего особенного, товарищ Боковитый. Особенно если войти в положение Ивана Ивановича... Тогда — ничего страшного.

— Войти надо,— кивнул Боковитый.— Личным пренебрегать никогда нельзя. Ни в коем случае. Если, конечно, оно не в ущерб общественному. Так я говорю, Иван Иванович? Дорогой!

— Общественное... оно потому и общественное, что... известно всем... а мое личное без меня... не узнает никто. Да, своему личному автор я... а больше никто!.. Пользуйся, общество, пользуйтесь, советские люди, только бы вам было лучше... оттого, что Иван Иванович жил... жил на свете, и все тут... жил...— Иван Иванович замолчал, а Боковитый и Камушкин, несколько взволнованные, отошли к окну.

Уже у окна Боковитый сказал:

— Действительно! Это ты действительно правильно говоришь, дорогой наш Иван Иванович! Это нужно зафиксировать, запомнить нам всем, и я должен сказать — ты правильно сделал, что пригласил меня... сегодня. Спасибо, дорогой! Обязательно дождусь Генералова! Времени, поверь, нет ни минуты, секунды нет, но я дождусь его, а тогда уже мы и зачитаем все твои три пункта целиком! — Боковитый сделал паузу, подумал и сказал еще: — Ведь и тебе это нужно, Иван Иванович, дорогой? Не скрывай, скажи откровенно: тебе-то самому-то ведь нужно твое высокое и авторитетное... авторство? Да, Иван Иванович?! Дорогой!

— А если в лесу сосна...— проговорил Иван Иванович, и Боковитый и Камушкин переглянулись. Потом Камушкин спросил:

— Это как понять, Иван Иванович?!

— ...Другое какое-нибудь дерево... елка... пихта...

Камушкин и Боковитый переглянулись еще раз, Камушкин наклонился к Ивану Ивановичу и с тревогой окликнул его как будто бы издалека:

— Иван Иванович! Ты что это, а? Об этом у нас разговора не было, точно не было. Ты припомни-ка, разве был? О соснах? О елках?

— ...Дерево срубили и не вывезли...

— Франко-лесосека! — догадался Боковитый, а догадавшись, обрадовался: — Ну-ну, Иван Иванович, дорогой мой, ну-ну? А дальше?

— Вот она и гниет, франко-лесосека...— заговорил и дальше Иван Иванович,— пользы никакой... только вред... огромный вред...

— Вред так вред! — согласился Боковитый.— Вредители от гнилого распространяются, а дальше? Дальше-то в чем дело?

— Хотя и моя... хотя и любая мысль, когда она осталась на месте своего рождения... она гниет сама по себе... не считая, что отравляет организм... которому принадлежит...

— На себе испытал, Иван Иванович? — спросил Камушкин, и Боковитый тоже спросил:

— На себе? Или на других?

— На многих... было заметно... тем более... на себе.

— Ну, тут уже можно с тобой поспорить! — заметил Боковитый.— Тут можно!

— Нет, правда... невысказанная мысль, она, будто волчий вой, в тебе сидит и жить не дает... да ведь и помереть-то... своевременно тоже не дает... я знаю... хотя бы и нынче... мы покуда вас ждали, товарищ Боковитый... сколько обсудили разных мыслей... из моей картотеки... я сперва не хотел... гляжу... нет... все-таки получается... нормально...

И тут Боковитый спросил:

— Как-как? Так вы тут уже без меня обсуждали? Все три пункта?

— Если бы три,— вздохнул Камушкин.— Вас так долго не было, товарищ Боковитый, что мы тут не то что три — мы двадцать три, а может, и тридцать три обсудили пункта. Причем самые разные! Но я вам скажу: пункты философские... Злободневные... Высокоидейные. И крепко увязанные с реальной жизнью.

— Тридцать три...— покачал головой Боковитый.— И все без меня? — И он подошел вплотную к кровати и спросил: — А это как же получилось-то, Иван Иванович?! Со мной так обсуждать три пункта, а без меня — тридцать три?

— Те три основные, товарищ Боковитый,— пояснил Камушкин.— И даже... основные из основных — пункты бытия, а эти, которые были без вас, они второсте-

пенные... и предварительные. Они только как бы... предисловие.

— Высокоидейные, злободневные, крепко увязанные с реальной жизнью — и все в виде предисловия? Эти вот, которые на карточках? — Боковитый взял в руки ящичек: — Которые из них и где расположены?

— С этой стороны мы их читали все вместе,—указал Камушкин.— А вот с этой — которые я читал уже один, пока происходил ваш разговор с кавказским мальчиком.

— Ну а вот эти? Которые совсем отдельно выложены? На подоконнике?

— Эти... так себе...

— Все-таки?

— Я их отложил... уже из тех, которые читал единолично... Они так себе... я из простого любопытства... совершенно из простого.

Боковитый взял небольшую стопку карточек с подоконника и прочел:

— «Семь римская... Зр. позд., двадцать первого августа шестьдесят девятого. Наша с Верочкой любовь — это надежда на самое лучшее, что есть в ней и что есть во мне. Но жизнь неизвестно куда и на самые дурные мелочи расходует все наше лучшее. А мы этому мало сопротивляемся. А тогда что же нам остается? Худшее остается?»

Боковитый посмотрел по сторонам и сказал:

— И дальше, тем же числом: «В жизни Н. С. была умнее своих мужей, вот и подумала, что она вообще очень умная и все понимает... Подтвердилось пятого, двенадцатого и двадцать третьего сентября того же года и затем еще многократно». Это как же понять? — в полной растерянности спросил Боковитый.— Кто это «она»? Кто она такая — Н. С.? И каким это образом подтвердилось?

Наступило долгое молчание.

Боковитый взял следующую карточку. Там было записано: «Восемь римская. Ран. стар., семнадцатого февраля семьдесят первого. Говорят, что в молодости я был красивым и веселым и меня сильно любили женщины. Но в молодости мне этого почему-то не говорили. Разве когда заставишь, тогда, бывало, скажут».

Боковитый долго думал, потом сказал:

— Готовенькая аморалка. Прямо на блюдечке готовенькая подается аморалка. Никого ни о чем и спрашивать не надо, всем и все ясно!

— Ну, что вы... товарищ Боковитый,— сказал Иван Иванович.— Как это вы? Да... пройдите... по нашей Ветке... в кавказский дом... в другие дома... да чего там скрывать-то... в свой собственный зайдите дом... вы и не такое... услышите... увидите!

— То в жизни, Иван Иванович! Да мало ли что в жизни бывает?! А тут черным по белому написано! Черным по белому, дорогой!

В глубокой задумчивости Боковитый несколько раз прошелся вдоль кровати, потом сказал:

— Была не была, потянем еще одну! — И протянул руку к подоконнику, а Камушкин бросился к нему:

— Отсюда не надо, товарищ Боковитый, здесь карточки сплошь особые, я отложил для собственного любопытства, больше ничего! Скажи, Иван Иванович, товарищу Боковитому, чтобы он брал другие карточки! Скажи, пожалуйста!

— Его черное по белому... тоже интересует! — вздохнул Иван Иванович.

— Сам не маленький — знаю, что откуда берется! — сказал Боковитый и взял еще одну карточку с подоконника. Он прочитал ее дважды про себя, в третий раз вслух: «Зашел в бухгалтерию, там одна женщина сидит ко мне спиной и говорит следующее: «И какой это инженер придумал слово «блиц» — спасибо ему?! Я думала, у меня уже и жизни больше нет никакой, а слово узнала и стала назначать свидания в обеденный перерыв. Оказывается, все можно успеть. Теперь бы еще кто придумал блиц по блицу, а то ребятишки кашу без меня не разогревают, едят холодную!» Потом я думал, во-первых: а ребятишки холодную кашу едят — чувствуют что-нибудь или нет? Какой-нибудь блиц они чувствуют? Во-вторых, думал я: а ведь блиц по блицу обязательно будет придуман, сомневаться не приходится!»

— Действительно,— сказал Боковитый,— действительно, насчет содержания всех твоих пунктов сомневаться не приходится! Даже странно мне сейчас сделалось оттого, что ты приглашаешь нас обсуждать подобные вещи! — Боковитый задумался, вздохнул и, нарушив молчание, которое воцарилось в комнате, сказал: — Ну, за это последнее мое критическое замечание ты меня извини, Иван Иванович, извини, дорогой, я, конечно, вхожу в твое особое положение, но все-таки...— Потом он еще сказал с недоумением: — Да-да! Вот ведь как: живем-живем, а все еще дале-е-ко

не все вокруг себя понимаем! Да-а-а-леко не все! Все еще — несознательные.

— Я бы вам очень советовал, товарищ Боковитый,—проговорил в смущении Камушкин,— очень советовал бы прочесть другие карточки... расположенные в этом конце ящика,— вот здесь...

— Подожди...— отмахнулся Боковитый. Он все еще был в состоянии задумчивости.— Вопрос у меня к тебе, Иван Иванович... Один вопрос, Иван Иванович... как бы тебе это сказать... я хотел бы у тебя узнать... мне это знать необходимо...

— Когда необходимо — в чем... дело? — спросил Иван Иванович.

— Тогда дело вот в чем: скажи, Иван Иванович, дорогой,— это в какой же бухгалтерии разговор был тобою записан? В нашей, в комбинатовской, или в чужой какой-нибудь?! А? Расскажи вообще, а?

Иван Иванович приподнялся на локте и тихо, внятно произнес:

— В чужой! Запомни раз и навсегда — в чужой! Запомнил?

— Чего тут не запомнить, а вот тебе, Иван Иванович дорогой, волноваться нельзя! Это для тебя недопустимо! Ни в коем случае!

— Ну а запомнил... теперь иди домой... иди спокойно... иди в контору... или куда-нибудь... тебе некогда... иди куда-нибудь...

— Иван Иванович! Дорогой! Да как же тебе не стыдно-то?! — воскликнул Боковитый.— Как...— Он развел руками, потом оглянулся по сторонам: — Как...

И Камушкин тоже был обескуражен таким поворотом дела:

— Иван Иванович, да ты ли это? И в своем ли ты положении?

— В своем... в чьем же еще — само собой... я в своем... пусть он идет... домой... или в контору...

— Ну, это, с твоей стороны, очень получается... и не знаю, как тебе сказать,— задумался Камушкин,— невоспитанно?.. Нет, не то слово, ясно, что не то... невероятно?.. Опять не то!.. Недопустимо?.. Вот видишь, Иван Иванович, я культурный работник, я русскую художественную литературу преподаю, я словесное образование имею, а слова для твоего поступка найти не могу! Как же так?

— Пусть идет домой... или в контору... Вот тебе и слово...

— Иван Иванович! Ты же сам говорил: Генералов в головах, я вот тут сяду, а товарищ Боковитый встанет вон там, в ногах... ты полчаса тому назад так говорил, а теперь...

— Обойдемся... ты встанешь в ногах, Генералов встанет в головах, а сидеть посередке вовсе не обязательно... нечего тут рассиживаться...

— Иван Иванович! — воскликнул Камушкин.— Дорогой Иван Иванович! Но ведь это же не по-человечески — вот так прощаться с людьми... Ты пойми, как бы мы сегодня поругались, а завтра бы снова встретились и снова помирились... ну, тогда бы...

— Снова поругались бы...

— А хотя бы и так: снова поругались бы — ну и что? И это было бы по-человечески... а сейчас?.. Опять не знаю, как это тебе сказать... и объяснить... А... сейчас?

Боковитый бережно погладил себя по голове, взял себя в руки и сказал:

— Иван Иванович! Дорогой! Нельзя пользоваться своим особым положением! Это нехорошо! Хоть кого спроси — нехорошо!

Иван Иванович задумался, потом сказал:

— А что же делать... если я уже не хочу, чтобы ты присутствовал при... прочтении трех главных пунктов бытия... ну вот не хочу, и все... иди домой...

— Нет,— сказал Камушкин решительно,— нет, так не годится! Так никуда не годится! И если ты прогоняешь товарища Боковитого, то я думаю — может, и мне тоже нужно уйти... Я подумаю...

— Подумай...— сказал Иван Иванович.

— Вот что,— осенило Камушкина,— вот что: товарищ Боковитый может ведь извиниться?! Извинитесь, товарищ Боковитый, и все тут... и никакой конфронтации!

— Ну, конечно! — обрадовался Боковитый.— Конечно, честный человек всегда и открыто признает свои ошибки и заблуждения! Я сейчас же извинюсь перед тобой, Иван Иванович! — И Боковитый выпрямился, сложил на груди руки...— Дорогой Иван Иванович! — Начал торжественно он.— Я, Боковитый... готов... из...

Но тут Иван Иванович спросил:

— Перед кем?..

— Что — перед кем? — не понял Боковитый.

— Перед кем ты... извиняешься?..

— Да перед тобой! Перед тобой, Иван Иванович!

— Он передо мной... не виноватый...

— Ну а тогда перед кем же? Передо мной, что ли, будет извиняться товарищ Боковитый? — спросил Камушкин.— Почему передо мной-то?

— Мне все равно... перед кем он будет извиняться... хотя бы и перед самим... собой... Больше-то всего он перед той женщиной... виноват... которую я насчет... блица... записал... Я виноват, что записал ее, а товарищ Боковитый, что... хочет узнать ее личность... Некрасиво... с его стороны.

— Может быть, нам просто так... сесть и поговорить... о чем-нибудь? — спросил Камушкин.

И они придвинули стулья к кровати Ивана Ивановича, сели, помолчали, и Боковитый сказал:

— Писать картотеку... и не только ее, вообще писать о себе, о всем своем собственном месте жительства — это очень чревато...

— Конечно,— согласился Камушкин,— надо создавать отвлеченный художественный образ!

— У вас там, в теории, так и рекомендуется — отвлеченный?

— У нас так рекомендуется! Хотя и не всегда.

— И это правильно! И вполне совпадает с требованиями жизни... Потому что, когда начинает описываться какое-нибудь настоящее место жительства — ну, хотя бы и железнодорожная станция Ветка, то получается, будто хуже этой Ветки уже и нет ничего, она самая плохая... Получается, на Ветке у женщин по два, а может, и больше мужа; получается, что мужчины силой заставляют женщин говорить, какие они, молодые кобели, веселые; получается, что наши женщины в течение обеденного перерыва успевают... а это, конечно, не что как недоразумение и отрыв от действительной и вполне необходимой теории... Но в результате — хоть закрывай нашу Ветку навсегда! В то время как она ежегодно в основном выполняет производственные задания и вообще ничем не хуже других станций, получается, что именно ее впору закрыть навсегда!

— Ага...— сказал Иван Иванович,— закроете, а через что будут... поезда ходить? В Сибирь... и обратно? Через что?

— Это так,— почему-то сказал Боковитый и еще раз подтвердил: — Это так! Значит, у вас там по культур-

ным требованиям самым подходящим считается отвлеченный образ? — снова спросил он у Камушкина.

— В художественной литературе очень распространен образ собирательный. Иначе говоря — син-те-тический.

Вошла Верочка... Держась рукой за дверной косяк, она молча посмотрела на Ивана Ивановича, потом на всех присутствующих по очереди и снова на Ивана Ивановича.

Камушкин же очень внимательно смотрел на Верочку и поправлял на себе галстук.

— Нет, ты расшифруй как можно глубже, Камушкин, как в данном конкретном случае это понять? Как понять точно «собирательный»? «Образ»? — настаивал между тем Боковитый.

— Да очень просто, товарищ Боковитый,— сначала чуть замешкавшись, стал объяснять Камушкин.— Очень просто: от одного живого человека или даже мертвого что-то взять, какую-нибудь совсем краткую характеристику, то же самое от другого, от третьего, и так далее. А в сумме получится образ. Вполне художественный.

— Чтобы никому не было обидно? — продолжал уточнять Боковитый.

— А хотя бы и так... Да вот Верочка, может, еще лучше меня вам расшифрует. Она же студию кончила в большом и культурном центре. Двадцать один год тому назад. Правду я говорю, Верочка? Крошечка?

Монолог Верочки.

Двадцать один год я жила на свете до того, как вышла замуж за Ивана Ивановича. А еще двадцать один — в замужестве, с ним...

Да, вторая половина моей жизни была замужеством и материнством, а больше ничем. Ни художественной самодеятельностью, ни мечтой, ни ожиданием чего-нибудь неизвестного. Одно только до конца известное замужество, больше ничего. В котором я всегда знала все. Что я останусь после Ивана Ивановича вдовой — я тоже знала.

Преданность замужеству — это и есть я, вот уже двадцать один год. И я даже не знаю, кому я так предана — Ивану Ивановичу или своему замужеству.

Но вот что я не понимаю: почему у женщины можно отнять ее преданность? Почему?

Любви ее лишить можно, потому что любовь — очень требовательна, а преданность? Она же не требует ничего, даже мечты?

А что же тогда останется?

Может быть, останется доверие? Доверительность и доверенность?

Тут я услышала, как товарищ Боковитый сказал моему мужу: «Иван Иванович! Дорогой! Подари ты мне хотя бы одну карточку из своей картотеки?!»

— Иван Иванович! Дорогой! — очень добрым голосом сказал Боковитый.— Подари мне хотя бы одну карточку из своей картотеки, а? Одну. По старой дружбе, а?

Иван Иванович повернулся на бок, помолчал и спросил:

— А зачем?..

— Как это зачем? Конечно, на память. С автографом на память о дружбе и совместной работе... Сколько лет рука об руку... Сначала я был у тебя в подчинении, потом ты у меня, и все равно — рука об руку. Неизменно. Вот ту и подари, в которой записано насчет блица, а также насчет прочего. А?

— Ну, куда там...— глубоко вздохнул Иван Иванович.— Куда там: я-то был начальником отдела снабжения, а ты... в той же работе... и сразу же... замдиректора по снабжению... куда там... а карточку отдать тебе... невозможно...

— Нет тут ничего невозможного! Совершенно ничего! Ведь я же тебе, дорогой Иван Иванович, бывало, как шел навстречу? А? Ты только вспомни — как? И никогда даже и не предполагал, что Иван Иванович, друг, и нате вам — все это забудет? Да как же так? В конце концов получилось-то как?

— Я тоже не предполагал! — громко сказал Камушкин. Снова посмотрел на Верочку: — Тоже — никогда!

Иван Иванович не ответил, он вздохнул и закрыл глаза. Потом медленно повернулся на спину.

Верочка подошла к нему, наклонилась над ним. Потом взяла с подоконника ящик с карточками Ивана Ивановича и остановилась в нерешительности.

— Ну а все-таки,— после некоторой паузы спросил Боковитый у Камушкина,— все-таки который об-

раз в художественной литературе больше отвечает требованиям? Я лично все-таки утверждаю: собирательный все равно уступает отвлеченному... Меня почему вопрос лично интересует? А потому, что еще в прошлом году я в командировке в городе Кирове жил с одним писателем в одной гостинице, в одном номере. Хороший парень. Внимательный. И подарил мне свою собственную книжонку с автографической надписью. И вот интересно было бы просмотреть, какой там у него образ: собирательный или отвлеченный?

— Как фамилия? — спросил Камушкин.

— Чья?

— Ну, писателя-то?

— Название книжонки запомнилось: «Взвейся выше!»

— Хорошее название! Лучше некуда! — подтвердил Камушкин.— Мобилизующее. Воспитательное. Детям было бы полезно прочитать. В седьмом классе.

— Или в восьмом! — заметил Боковитый.

— Или в восьмом! — согласился Камушкин.

— Так вот, мне и кажется, я даже твердо убежден, что у него там, у того писателя, образ вполне отвлеченный и без недостатков, а вполне положительный. А когда так — никому не обидно, ни одному читателю, ни одному критику — никому.

— В принципе вы совершенно правы, товарищ Боковитый! — подтвердил Камушкин.— В принципе — ни-ко-му!

— А... может... так быть... чтобы... никому... не обидно... не завидно... на практике... может быть? — спросил Иван Иванович и тут же обратился к Верочке: — Иди, иди... Верочка... иди... к себе...

— Это почему же ей уходить-то от нас. Почему и зачем? — спросил у Ивана Ивановича Камушкин.

— На... всякий... на случай...— ответил Иван Иванович.

— На какой-такой случай? А? — добивался Камушкин.

— На всякий... Еще... поссоримся... между собой... а... нехорошо... при женщинах. Иди, Вера.

Верочка ушла. Иван Иванович повторил свой вопрос, обращаясь к Боковитому:

— А... может... быть... чтобы никому?.. Не обидно и не завидно?

— Ну, почему же нет? — ответил вопросом Боковитый.— Почему нет?

— Кому-нибудь да будет за жизнь обидно... не тебе, так мне... ну если уж не мне, так еще... какому-то человеку...

— И что ты так нынче раскипятился, Иван Иванович?! — удивился Камушкин.— И почему тебе обязательно нужно кого-нибудь обидеть? Ты вроде бы даже и торопишься кого-нибудь обидеть?!

— Ага! — живо согласился с Камушкиным Боковитый.— Ага, ага! Нет чтобы по-доброму и с миром...— Но не договорил, а внимательно и, еще поглядев на Ивана Ивановича, уже другим тоном произнес: — Нет-нет, я понимаю, у тебя же, Иван Иванович, и другие написаны карточки, я догадываюсь, и такие карточки, что по ним вполне можно выступать с публичными лекциями в клубе, а выступать с беседами в обеденный перерыв в цеховых красных уголках — так это сам бог велел! Вот я уверен, вот вытащим из какого-нибудь другого места какую-нибудь твою другую карточку, и, я уверен, она будет...— И Боковитый подошел к окну, осторожно протянул руку к стопке, отложенной Камушкиным. Приблизил карточку к глазам, но взгляд его упал на окно. Он замер на мгновение...— Это как же так? — сказал он тихо и позвал: — Иди-ка сюда, иди-ка, иди-ка...— И еще позвал рукой, и получилось так, что он зовет Ивана Ивановича. Глядя в окно, он и еще звал тем же жестом, но к нему никто не подходил. Тогда он коротко обернулся и сказал: — Тебя зову, Камушкин, тебя! Кого же еще?

Камушкин подошел, тоже посмотрел в окно и сказал:

— Действительно... Это сколько же времени прошло, а вашему кладовщику кавказский мальчик все еще скандал устраивает! Да-а...

— И здоровый, видать, скандал-то,— вздохнул Боковитый.— Здо-оровый! А я так и знал, так и предвидел: три раза записку переписывал, но все равно кладовщику не угодил. У меня на этом складе не кладовщик, а цельная проблема! Честное слово!

— Так вы бы освободили его, товарищ Боковитый! Освободить — и нет проблемы?!

— Нельзя. Он честный человек!

— Может, и честный, но лодырь же, я знаю. Вот и сейчас: до конца рабочего дня еще час, а он замок на двери навешивает!

— Мальчишка не даст навесить... Ты смотри, как он требует, а?

— Уж требует так требует! — согласился Камушкин.

— Уж требует так требует! — подтвердил Боковитый.— Хорошо, что без кинжала!

— Вот и освободили бы проблему от работы! И облегчили бы жизнь. Себе и другим!

— Зараза так зараза! — согласился Боковитый.— Зараза так зараза: хочет — идет на склад, не хочет — не идет, летом занимается огородом, зимой псалмы поет. Только насчет честности — ни-ни и никогда! Хоть год, хоть два его не учитывай, все равно — ни-ни! Вот и подумаешь: сегодня от него освободишься, а завтра ревизия — и уже тебя освободят... Так это еще в самом лучшем случае, если просто так освободят... Сразу же с места работы и на свободу... Даже без предварительного заключения.

— Воспитательную работу надо выше поднимать, товарищ Боковитый! С работниками складов и вообще с материально ответственными лицами.

— Поднимали.

— Ну и что?

— Как об стенку горох.

— Так у вас далеко зайдет.

— У вас, у работников культуры, тоже далеко.

— Да-а-а...— вздохнул Камушкин.— Да-а-а... Но вы не думайте, товарищ Боковитый, что у вашего кладовщика псалмами ограничивается... Не думайте! Не ограничивается! Никогда!

Боковитый внимательно посмотрел на Камушкина:

— А он что тебе — сосед какой, мой кладовщик? Или разведенный родственник? Еще кто-нибудь? — Камушкин не ответил, Боковитый и сам догадался: — Как соседствуете-то? Квартирами или огородами?

— Огородами...

— Нет, не могу освободить. Сам бы рад, но... А скандалит-то мальчишка! А требует-то! Один за троих взрослых!

— Уж требует так требует! — согласился Камушкин.

— Трудное у него положение: побежать жаловаться или за помощью нельзя — кладовщик тут же навесит замок и уйдет. Своими силами он тоже не до конца справляется. Но действует правильно — блокирует две-

ри... Единственно правильное решение.. другого тут и не может быть, как только блокировать...

— А вода в кавказском доме... — сказал Иван Иванович, — вода течет...

— Ты правильно говоришь, Иван Иванович, дорогой, действительно течет! — вздохнул Боковитый. — Да вот и Генералову, если подойти по-человечески, ему там нынче тоже не малина. Правда, надо сказать, кто-кто, а он-то за себя постоит. Хотя бы и в кавказском доме.

— У него... в кавказском доме... фронт работ развернут... уже давно... — напомнил Иван Иванович.

— Может, он за паклей тоже на склад придет? — высказал предположение Камушкин. — Тогда мальчишке будет хорошая подмога!

— Он сюда, ко мне придет, Генералов. Знаю, к кому он в первую очередь ходит, я его давным-давно изучил! — сказал Боковитый и обернулся к Ивану Ивановичу. — Уж ты меня извини, дорогой, — сказал он, — извини, пожалуйста, а только я на сколько-то времени обязательно должен отлучиться. Пойду на склад! Что ни говори, а вода течет! А Генералов вконец обидится, тогда с ним хуже худого дело будет иметь, а кладовщик замок навесит, уйдет... и запоет псалмы.

— За час до окончания рабочего времени... — посмотрел на часы Камушкин.

— А хотя бы и за два — он такой. А вот так, дорогой Иван Иванович, каждый день на всех на пяти склада́х, не говоря уже об остальном. Проблемы и проблемы! Одна другой стоит. Хотя бы и сегодня: на моей личной ответственности вагоны. Не поговорю — как следует не поговорю! — с начальником станции, значит, не будет завтра вагонов и платформ под лес и даже под пиломатериалы. Не могу больше ждать, Иван Иванович, дорогой, не могу — вот тебе честное слово, вот оно — совсем тепленькое! Никак не могу! Должен идти! Хоть умри — должен. Кто-кто, а ты, надеюсь, поймешь меня, Иван Иванович, дорогой, ты в снабжении работал...

— За вагоны... за подачу подвижного состава... зам по транспорту... отвечает...

— Когда все идет нормально! А когда ненормально, когда никак не идет, тогда за все отвечает снабжение! Нет и нет — я не могу! Чуть управлюсь — прибегу обратно: меня твои три пункта бытия крайне заинтересовали! Честное слово! Край-не!

— И я с вами, товарищ Боковитый! — сказал Камушкин.— Я с вами недалеко — только до склада.

— Это зачем?

— Я вам помогу, товарищ Боковитый!

— Сам управлюсь! Без культуры!

— Все равно пойду. Кто мне запретит? Никто не запретит! Пойдемте, товарищ Боковитый! Я сейчас, Иван Иванович, ты не беспокойся, я сию минуту!

Оставшись в комнате один, Иван Иванович снова вытянул руки вдоль туловища и замер...

В комнату вошла Верочка, прислушалась: жив ли Иван Иванович?

Он еще был жив... в ту минуту.

* * *

Верочка сидела в большой квадратной комнате и плакала. Потом она заговорила.

И раньше я не так уж редко плакала, я часто плакала, но никогда еще у меня не было таких же памятливых, таких же жестоких, таких же очевидных своей причиной слез...

Мне страшно, что эта память останется со мной навсегда. Нет ничего на свете, во что эта память может изойти.

Конечно, нужно сейчас же бежать на почту и послать Верочке-младшей телеграмму, но я не могу... Могу только плакать, а больше ничего.

Теперь я узнала, как плачут женщины на пределе своей молодости, лишенные любви и доверенности... В страстном сожалении самих себя, с ощущением всей несправедливости горя, которое обязательно должно было пощадить их и все-таки не пощадило и вот упивается страданиями своей жертвы.

Боже мой, какая это обида, какой удар, какое унижение, когда ты вдруг осчастливишь свое несправедливое горе: оно торжествует, ты — плачешь! Оно глумится над тобою, над твоей жизнью, над твоим рождением и над твоей смертью, которая где-то тут, совсем рядом, над твоим желанием быть женщиной, быть женщиной преданной, а ты? А тебе страшно, ты думаешь: «А мо-

жет быть, и свою любовь, и свою преданность тебе дано понять и запомнить только через эту вот несправедливость? Через это горе, через эту обиду, через это оскорбление!? Только?»

«Если у меня и было счастье, так я увидела его только тогда, когда его не стало...

Почему, когда Иван Иванович записывал на карточки свои мысли, свои «Пункты бытия», мне казалось это никому не нужной и даже стыдной причудой?.. Я терпеливо сносила эту причуду, мирилась с ней только потому, что это терпение поднимало меня в своих собственных глазах. Меня поднимало, а вовсе не Ивана Ивановича.

Так было еще несколько минут тому назад.

Но вот я осталась одна, совсем одна, и что же? Теперь все записи Ивана Ивановича и его «три пункта бытия» стали моим достоянием, которым мне предстоит жить... Может быть, мне и жить-то больше нечем? Может быть, ничего другого у меня и нет?»

И вот я встала... Я подошла к столу... Я положила на стол четыре конверта.

— В каждый конверт Иван Иванович еще при жизни положил свои «три пункта» — может быть, себе, а может быть, и нам,— объяснила Верочка.

* * *

Все четверо, они сидели за столом в молчании и недоумении. Порывался что-то сказать Камушкин и не сказал, Генералов — тоже не сказал.

Тогда поднялся Боковитый.

— По всему видать,— сказал Боковитый,— что первое слово должно быть предоставлено тебе, Вера...— Боковитый замялся, Камушкин подсказал:

— Верочка... Крошеч...

— Точно! — подтвердил Генералов.— Она спокон веков по всей Ветке так зовется. Безо всякого отчества.

— Тем более! — согласился Боковитый.— Твое первое слово, Верочка, зачитывай пункты. Раз этого непременно желая Иван Иванович. А мы, само собой, обязаны исполнить желание. Хотя и с некоторым опозданием... задержались на час какой... Кто где и задержался-то — кто на складе... кто... И то сказать: план... План

всегда горит, но никогда не сгорает... Одним словом, зачитывай, Верочка!

Верочка не ответила, она закрыла лицо руками и долго-долго так сидела, а когда снова открыла его, Камушкин сказал:

— Вношу предложение: каждый зачитывает документ для себя. И про себя, а вовсе не вслух.

— Это почему же? — спросил Боковитый.

— Такая воля Ивана Ивановича.

— Откуда тебе известно, что ты говоришь «такая»?

— Известно: зачем-то он, Иван Иванович, предусмотрел конверты для каждого из нас? Зачем-то надписал конверты каждому из нас? Лично надписал, своей рукой? Спрашивается: зачем он это сделал?

— Ну что же, тогда я согласен! — сказал Боковитый, подумав, опустился на стул и еще сказал: — Я с культурой согласен. А ты, Генералов?

— Я согласен. Культура, она завсегда берет верх.

— Тогда об чем разговор? Приступаем!

И все трое стали вынимать из конвертов сложенные вчетверо листочки — в каждом конверте их было по одному — и читать их про себя.

«В справедливости — счастье.

Все своевременное — всегда справедливо.

Только своевременная смерть — справедлива»,— прочитал Боковитый и долго не мог догадаться, что об этом можно подумать.

Потом подумал: «Ничего плохого! О станции Ветка ничего плохого не написано, тем более о лесокомбинате ничего. Хоть где, хоть кому можно прочитать, никому не обидно. Это всегда бы так. И во всем! К тому же — кратко, читать много времени не требуется... Вполне еще можно сегодня же успеть к начальнику станции насчет вагонов и платформ!»

А еще Боковитый пошарил в кармане пиджака и незаметно вытащил карточку из картотеки Ивана Ивановича. И прочитал про себя: «Семь римская. Зрелость поздняя. Двенадцатого октября шестьдесят девятого. Зашел в бухгалтерию, там одна женщина сидит ко мне спиной и говорит следующее: «И какой это инженер придумал слово «блиц» — спасибо ему! Честь и слава ему! Я думала, у меня уже и жизни нет никакой, а слово узнала — и стала назначать свидания в обеденный перерыв. И хорошо! Оказывается, все можно успеть. Те-

перь бы еще кто придумал блиц по блицу, а то ребятишки кашу без меня не разогревают, едят холодную!»... «Интересно,— подумал Боковитый,— все-таки очень интересно, в какой бухгалтерии это было записано? Выяснить можно... Можно, хотя и не сегодня... Сегодня — вагоны и платформы — неотложное дело!»

Еще Боковитый подумал: «Честный человек был, конечно, Иван Иванович. О чем разговор — честный. Хотя и так нужно сказать: честность, она — хороша, когда ей созданы условия. А когда условий ей нет, так и спрашивать ее с человека вовсе нечестно».

«В справедливости — счастье.

Все своевременное — всегда справедливо.

Только своевременная смерть — справедлива»,— прочел Генералов.

Он подумал так: «Чудак все-таки был этот Иван Иванович! Двух мнений быть не может — точно был чудак! А что ему — жил на пенсии, баба обихаживала его хорошо, куранты у него в доме всегда в исправности. Над ним не капало, вот он и был чудаком. Времени было вполне достаточно быть чудаком. Никаких проблем. Интересно, какой бы из меня получился чудак, если бы у меня было столько же свободного времени? Если бы у меня была такая же баба? Если бы у меня сроду не было забот насчет ста граммов?..

А насчет моего предложения — ставить сальники из материала заказчика, насчет премиальных как за рационализацию — Боковитого надо каждый божий день сильно донимать! Я его изучил: если его ничем не донимаешь, он тебя как бы и вовсе не видит. Если же его чем-нибудь одним, хотя бы и самым глупым, донимаешь полгода подряд, он тебе через полгода обязательно хоть в чем-нибудь да пойдет навстречу, что-нибудь уступит!»

«В справедливости — счастье.

Все своевременное — всегда справедливо.

Только своевременная смерть — справедлива»,— прочел Камушкин.

И подумал: «Молодец все-таки Иван Иванович, подумать — какой молодец! Под кого он так культурно сработал — то ли под греков, то ли под римлян? То

ли — под последнее постановление ЦК КПСС? Так культурно сработал, что даже и не поймешь, под кого! Что касается кладовщика, так товарищ Боковитый его уволит! Месяца не пройдет, как уволит он его! Не зря все-таки я сходил с Боковитым на склад. Опоздал к Ивану Ивановичу, но сходил не зря!»

Еще Камушкин подумал: «А Крошечка-то? Конечно, не то, что двадцать один год тому назад. Конечно, не то... Но если объективно — у нее появились и новые положительные данные, честное слово,— объективно появились! Все еще Крошечка, и еще какая!»

В комнату постучали...

На стук никто не ответил, в комнату постучали снова.

— Нельзя! — строго ответил Боковитый, не оборачиваясь.

Вошел кавказский мальчик, осмотрелся, приосанился, четко подошел к столу. Красивым движением протянул над столом руку, разжал пальцы — на стол упал клочок пакли.

— Пакля? — удивился Боковитый...

— Пакля! — пожал плечами Камушкин...

— Пакля...— вздохнула Верочка.

Примечание. В случае исполнения на сцене рассказ-пьеса может идти в музыкальном сопровождении, и тогда время от времени звучат мотивы двух песен: «...на тебя, подбоченясь красиво, загляделся проезжий корнет» и «...все о́тдал бы за ласки, взоры, и ты б владела мной одна...».

1985

УЛЫБКА ЖУКОВСКОГО

Замечательный портрет!

Коричневая краска по белому холсту, должно быть, сиена жженая, и художник, сразу видно, знал дело и создал тона — от прозрачного, чуть приметного, до черно-бурого, медвежьего.

Огромных размеров портрет!

Поди-ка, метра 2,5 × 5,0, того больше — он с фасада заслонял сразу несколько окон второго и третьего этажа, растянутого по горизонтали здания аэровокзала... Сверху над портретом — металлические перила балкона, четкая линия, если бы не она, портрет казался бы и еще больше и выше. Внизу из-под полотнища торчали короткие ножки — основания нескольких колонн небольшого диаметра. Эти колонны относятся, конечно, не к портрету, а к балкону второго этажа.

Ну, вот, а посередине огромная, очень умная голова с красивейшей, волнистой бородой...

Отец русской авиации Жуковский.

Должно быть, как повесили портрет в торжественный День авиации, так и висит, красавец, по сей день.

Так... чего-чего, а ума у Жуковского, сразу видно, хватало. Было где разместиться уму в большой, круглой, как сам Земной шар, черепной коробке. Ум светился, играл во взгляде отца, рвался на привокзальную площадь, показывал себя людям, которые тут суетились около такси, около рейсовых пассажирских автобусов, около разных будок, около друг друга. Он их спрашивал, этот ум: «Вы чего тут без меня делаете-то? Суетитесь-то — чего?»

И улыбался при этом.

Иванов, покуда рассчитывался с таксистом, испытывал эту улыбку на себе... Как будто бы человек стоял рядом, следил за ним взглядом и улыбался, улыбался...

«Ну, конечно,— подумал Иванов,— хорошо тебе улыбаться: ты вечный... К тому же не пассажир. Сделал всех нас пассажирами, теперь улыбаешься...»

Иванову нынче не хотелось быть пассажиром. Иной раз ничего, пассажирское положение было ему приятно, а нынче — нет и нет. Потому что командировка-то была у него глупой. Пустой она была, вот в чем дело.

Иванов убеждал начальство — не нужно ехать, бесполезно ехать! Дело еще не на том этапе, когда наверху в нем заинтересованы крайне, когда там, наверху, могут сказать: «Молодец, Иванов, что приехал! Вовремя, Иванов, приехал! Ну, как там у вас в управлении дела-то? Докладывай, не стесняйся! Какая нужна помощь?»

Да-да, есть такой момент в каждом деле, когда по этому делу обязательно нужно, хоть умри, нужно наверх. Раньше не нужно, позже не нужно, надо угадать в яблочко, в самую точку, когда уже и сам министр на коллегии скажет: «Как там двигается-то в Н-ске? Может, никак не двигается? В Н-ске?»

Опаздывать тоже нельзя. Когда министр махнет рукой и скажет, что Н-ск, хочешь не хочешь, а придется зачислить в долгострой, а средства надо перебросить на пусковые объекты — тогда уже ехать поздно.

И вот Иванов, хотя он был очень далеко от коллегии и еще дальше от министра,— он чутьем всегда этот момент угадывал и шел к начальству и говорил: «Ехать... Завтра же».

Но в этот раз было по-другому: он ехать не хотел, говорил — это преждевременно и бесполезно, а начальник управления уперся, как баран в новых воротах: «Поезжай, Иванов! Не саботируй, а поезжай!»

Иванов поехал. Куда денешься? И что же?

А вот что: к товарищу Куриленко, к которому у него были вопросы по проекту, Иванов так и не попал, только к его заместителю, и то не к первому; а с товарищем Лапинцевым (вопросы снабжения) перекинулся всего лишь несколькими фразами. И все. Не более того.

Чтобы увидеться с Лапинцевым, Иванов битых четыре часа просидел на совещании, которое совершенно ему было не нужно, как собаке пятая нога. Надеялся перехватить Лапинцева в перерыве, а его перехватили двое других — один из К-а, а другой из Б-о, Лапинцев только и сказал Иванову: «Помню, помню о ваших запросах, Иванцов! Не беспокойся — помню!» На ходу сказал. На ходу сказал: «Иванцов».

А что, возвратясь домой, Иванов будет докладывать? Что-о? Что, дескать, Лапинцев помнит? Что не забыл? Что двое других перехватчиков оказались пошустрее, чем он, Иванов? Начальник тут же упрекнет Иванова: «Ты не хотел ехать, тебя с трудом вытолкали, вот ты и в командировке не хотел потрудиться честно!»

При этом начальник прекрасно знает — совсем не такой Иванов человек, не такой специалист, чтобы трудиться нечестно, но... начальственное положение не позволит ему обойтись без упреков. Не позволит признать, что прав был Иванов, когда говорил, что ехать не надо.

Конечно, любого начальника с какой-нибудь точки зрения всегда можно понять.

Хотя бы так: выйти на стройплощадку комбината, взглянуть — и что? Фундамент заложен, кое-где торчат бетонные столбы, больше ничего. Пустота. Ни людей, ни механизмов. А через два года комбинат должен выпускать продукцию. Со знаком качества.

Ситуация? А ведь начальник за нее в ответе.

Понятно, ситуация, а Иванов-то при чем? Он, строго и служебно говоря, к стройплощадке отношения не имеет, он планирует, а осуществлять — на это другие кадры, другая зарплата.

Но все равно у Иванова при виде этой картины так сосет под ложечкой, так сосет, что он готов идти от одного столба к другому и на каждом повеситься.

А то повесить кого-нибудь...

Во всяком случае, снимать с Иванова стружку никто не имеет морального права. А все равно снимают многие. Хотя именно он проявил вполне реалистический подход, когда предупреждал, что сроки строительства нереальные.

Он предупреждал, но ему ответили так: «Вы посмотрите, какой у нас Иванов-то, оказывается, реалист! Посмотрите, а? Мы, что ли, будем строить? Строить будут подрядчики, они сами приняли сроки, а тебе-то, реалисту и плановику, после того какое дело?»

А теперь? Спустя год? Это хорошо, что у Иванова фигура солидная, а то давно бы уже все мясо с него сострогали, один скелет остался бы!

Или Иванов добрый человек? Или слишком уступчивый? Ну да, хотя бы и с этим же объектом вспомнить. Начальник управления Петраковский вызвал тогда Иванова и велел ему:

— Подпиши!

Иванов замялся, Петраковский спросил:

— Сын у тебя кончил? Институт?

— Кончает...— ответил Иванов.

— И назначение получил?

— Какое там назначение? Заочнику-то? — со светлой догадкой ответил Иванов: ему показалось, что Петраковский захотел принять участие в его личной жизни, в семейных делах.

— Значит, у тебя один?

— Совершенно один! — подтвердил Иванов.

— Ну вот, а у меня трое. Вот я и не хочу, чтобы меня ушли с должности... Я лицо ответственное, меня засыпать ничего не стоит.

Тут Иванов уже внимательно глянул в бумагу, она была принципиальной, но на пей не было подписи инженера группы. Поэтому Иванов спросил:

— А Колосков?

— Свое гнет...

— У него тоже трое! Две дочери и еще сын!

— Привет! — с изумлением ответил Петраковский.— Привет реалисту! Да Колосковым — им что? Они свои сто восемьдесят или двести рэ в любой конторе найдут, а мы свои оклады где? Ты, например, где? Тем более, например, я?

Ну, потом они и еще поговорили о детях. Не конкретно, а вообще: маленькие дети — маленькие заботы, большие дети...

Между прочим, Петраковского управделами когда-то прозвала Таковским, к нему приклеилось.

Управделами это умела — шустрая такая женщина, уже в годах, а носик детский, кнопочкой. И до сих пор он ее украшает, носик, и вот уже лет пятнадцать, как она объясняется Иванову в любви: «Вот моя симпатия!», «Вот мой ненаглядный Иванов!», «Я для своей любви — в огонь и в воду!».

Но какой огонь, какая вода, если бумагами Большакова, Чулкова и Шуклеева, не говоря уже о самом Петраковском, управделами занимается с утра до ночи, не жалеет нервов, обеденного перерыва не жалеет, но четыре месяца обещала Иванову, что позвонит в облисполком товарищу Турцеву, однако же пяти минут для этого никак не могла найти: «Запарка», «Сумасшествие», «Аврал» — нет и нет у нее этих пяти минут! Хоть убей, не находится! Она так и говорила Иванову:

«Милый мой! Вот уж справлюсь с бумагами шуклеевского отдела, тогда и позвоню Турцеву! До тех пор минуты нет свободной! Честное слово!» И вот дождалась: Турцев-то — он умер, пока управделами собиралась ему позвонить. Умер, и все тут. Странно вот что: Иванов на управделами никогда не сердится. Как глянет на ее носик, на все энергичное ее личико, так сердитых слов у него и не находится, сердитые — куда-то исчезают.

Поэтому, наверное, никому и не приходит в голову, что Иванов-то, что он ведь тоже может обидеться! И еще как! Вплоть до того, что, как только ему стукнет шестьдесят — а до этого дела осталось недолго,— как только стукнет, он уйдет на пенсию. Уйдет, и вся недолга. Сбережения кое-какие есть, он протянет. Будет копаться на садовом участке, и вся недолга! Сын, надо надеяться, потверже станет на ноги, вдвоем-то с женой они протянут...

Конечно, охотников на место Иванова найдется, и немало, но одно дело — охотники, другое — работники!

Кроме того, Иванов человек справедливый, в управлении это знают. Иванов, бывает, за одного сослуживца заступится, за другого, и все к этому привыкли, но почему-то никому не приходит в голову, что когда-нибудь он ведь может заступиться и за самого себя?! Сколько можно вкалывать без повышений и даже без поощрений? Долго можно, но не всегда.

Нет, право же, что-то трудно стало работать Иванову. Встречаться с высоким начальством стало трудно, а ведь он был на этот счет мастак. И пробивать трудно. А согласовывать — просто немыслимо...

Годы, годы... Бежит времечко!

Еще раз посмотрев на Жуковского, Иванов сказал себе: «Ни-ни!», а это так нужно было понять: ни о жизни, ни о труде думать не надо! Начнешь с этого, а кончишь чем? Черт знает чем, уж это точно! Нужно расслабиться.

Чтобы навести дисциплинку в собственных мыслях, нужно было, не откладывая, найти очередь регистрации билетов и багажа на рейс № 131 — в очереди любая посторонняя мысль делается дисциплинированной и смирной, а то и вовсе исчезает. На то она и очередь.

А еще раньше надо было узнать: вовремя ли рейс? Волнительный вопрос!

Самолет вылетал вовремя, очередь к стойке № 8 была длинной, регистрация билетов и багажа почему-то все еще не начиналась. А давно пора было ей начаться. Иванов даже и таксиста, когда ехал в порт, поторапливал, боялся не то чтобы опоздать, а припоздниться.

В самом хвосте очереди Иванову снова вспомнился Жуковский.

«Вот бы у такого начальника послужить, а?!» — подумал он. Потом и еще подумал: «Вот бы сделать товарища Жуковского начальником данного аэропорта! А?!» — и стал зорко смотреть вокруг себя, прикидывать, какая работа ждет здесь нового начальника. Какие ему надлежит устранить непорядки, какую бюрократию.

Дел тут предстояло выше головы, хотя бы и такой умной, как у товарища Жуковского; и вот Иванову хотелось бы сказать: «Основоположник русской авиации? Ну-ка, ну-ка, наведи в своем ведомстве порядочек!» А какой тут мог быть порядочек, если народу тьма, народ давил на все стены, колонны и регистрационные стойки с силой нескольких атмосфер — того гляди разорвет на клочки окружающий железобетон. Железобетон этот, наверное, был запроектирован на прием по крайней мере вдвое меньшего числа пассажиров, вот он и потрескивал теперь под давлением народа и, казалось даже, пошевеливался.

Никто нынче о нем, о железобетоне, не думал, каждый думал об одном — как бы поскорее улететь. Хотя бы через час! Через два! И не дай бог — завтра об эту же пору, потому что все ведь может случиться. Все, все!

Вот пассажиры и находились во взвешенном состоянии — от земли уже будто бы оторвались, в небо еще не поднялись, как хочешь, так и понимай свое состояние.

Иванову тоже страсть как хочется поскорее в небо! Не в лирическом смысле, не для того, чтобы летать как птица на собственных крыльях,— собственных нет, не было и не будет, а в другом — чтобы вырваться из этой очереди, возвыситься над ней, чтобы прилететь в Н-ск вовремя и чтобы там сразу же схватить такси, если его не ждет служебная машина. Пассажирский смысл, он, собака, сильный, ничуть не слабее самого смысла жизни.

А еще кажется, если бы сию минуту кто-то подошел к Иванову и запросил сто рублей за полную гарантию своевременного вылета... Ну, сто не сто, а четвертную Иванов отвалил бы без разговора.

Рейс 131-й отправлялся вовремя, это на табло было обозначено, Иванов почувствовал себя так, будто он сэкономил 25 рэ. Но и сомнения были: регистрация все еще не начиналась, за стойкой № 8 все еще никого не было, ни одной гражданки в синей форме аэрофлота. Народ в очереди говорил: идет пересмена обслуживающего персонала, поэтому надо обождать.

Иванов подумал: «А как же расписание, если пересмена? Как же пересмена, если расписание?» — и стал, сколько ему было видно через толпу, смотреть на другие стойки: № 9, 10, 11,— в одну сторону, и 6, 5, 4 — в другую. Там регистрация шла полным ходом, и он подумал: «Пожалуй, и в самом деле — дело неважно! Пожалуй, и не сэкономил я 25 рэ?»

Правда, его психологическое состояние облегчилось тем, что багажа у него не было, только ручная кладь — черный потрепанный портфель, который вот уже одиннадцать лет безотказно служит хозяину. Если не торопясь да с умом, так в этот портфель страсть сколько можно затолкать — чемодан среднего размера ни за что такого объема не примет! И папки с бумагами входят, и бельишко, и кое-какая тара с продуктами — вот уже одиннадцать лет Иванов приходит в восторг от этакой вместительности.

«Товарищ Жуковский! — попросил Иванов.— И багажишка-то у меня всего ничего, я бы и без регистрации мог улететь — займись вопросом!» Просьба казалась Иванову обоснованной: вот если бы кто-то другой попросил, у кого на руках два чемодана, да две коробки, да... А безбагажный Иванов чувствовал себя чуть ли не первым, чуть ли не внеочередным лицом во всей очереди.

Вот впереди него стояли три здоровых мужика, видать, геологи, у тех действительно груз — и чемоданы, и коробки, и портфели, и еще рюкзаки. Хотел бы посмотреть на них Иванов, если бы им, всем троим, пришлось не лететь в город Н-ск, а идти туда пешком! Иванову что? Он бы шел себе, помахивая портфельчиком, а эти? Трое?

Тут регистрация началась. Уже точно можно было предвидеть, что рейс вовремя не вылетит, обязательно задержится, но и похоже, что он все-таки вылетит — помог-таки товарищ Жуковский. А опоздание рейса на час-другой — это для народа не в счет.

Три мужика-геолога руками и ногами с шумом стали двигать к стойке весь свой обиход, прикидывать

перевес и посматривать на Иванова жадными глазами. Конечно, Иванов мог бы их понять, сделать знак, дескать, я согласен, мужики, давайте один чемодан и одну коробку, я, так и быть, зарегистрирую на свой билет, но не такой Иванов альтруист — он не хочет грабить государственную кассу, пусть геологи платят все, что положено!

Дело пошло, две женщины в синей форме за стойкой № 8 все громче и громче покрикивали, а потом уже и начали возмущаться:

— Поскорее! Поскорее! Рейс задерживается — шевелитесь! Где вы были до сих пор?

Иванов воспринимал эти окрики как музыку. Ну прямо-таки Себастьян Бах!

А вот среди народа соседней очереди на рейс № 247, там, кажется, что-то произошло. Уж произошло, так произошло: там человек пять оказалось совсем не с того рейса, на который шла регистрация, а с другого, который уже улетел. Ничего особенного: их рейс был задержан на четырнадцать часов, через каждые два часа у разных стоек на него объявлялась регистрация, вот они, пятеро, и запутались.

Иванов подумал: «А я бы в такой ситуации мог бы запутаться? Нет, я бы никогда!» — и ему стало не так уж и жаль тех пятерых, отставших от своего рейса, и он сказал кому-то — не то себе, не то Жуковскому: «На меня положиться можно! Я пассажир заслуженный! Можно сказать, заслуженный пассажир республики!»

Регистраторша же соседней стойки страшно сердилась на тех пятерых:

— Не надо было спать! Спите на ходу! А я ничего не знаю!

«Положеньице!» — вздохнул Иванов.

А геологи — надо же?! — среди них один оказался по фамилии Жуковский! И никто этого не заметил, никто не обратил внимания, когда регистраторша сказала:

— Вы, Жуковский?! Вы о чем думаете с таким весом? Вы, наверное, думаете, что самолет резиновый, да?

Вообще-то Иванов понял, что рейс с опозданием, но полетит обязательно, хотя тут же и покритиковал себя за излишний оптимизм: «Полететь-то полетит, но все еще необязательно!»

Только-только он зарегистрировал свой билет — началась уборка вокзального помещения.

Из конца в конец огромного зала с поперечными заходами от стены к стене с воем, визгом и грохотом двинулась машина-пылесос, верхом на ней сидел человек в черном халате и кричал:

— Стар-р-ронись! Стар-р-ронись! Стар-р-ронись!

Они хоть и грохотали и кричали, эта машина и ее джигит, но были сравнительно безобидны. Как раз благодаря грохоту и крику, который они производили, нетрудно было избежать столкновения с ними даже и в самой густой толпе; другое дело резиновый кабель — подавая в машину электрический ток, он полз молча поперек зала, и тут надо было не зевать — мог свалить с ног.

И народишко, пропуская под ногами кабель, старался прыгать повыше, кто молча, кто чертыхаясь, женщины, те повизгивали, боялись за свои каблуки, ребятишки явственно проявляли характер, кто каков,—одни жались к родителям, другие нарочно наступали на кабель...

Правда, были и такие взрослые, а среди них даже и женщины, которые пропускали кабель под собой, будто бы и вовсе не замечая его,— сделает шажок, и все тут, и переступил черного змия!

«Слишком бывалый и умелый народ, что ли?» — удивился Иванов, глядя на этих спокойных граждан, ожидая, когда кабель подползет под геологов; с багажом, который был у них, им надо было прыгать да прыгать, проявлять сноровку!

Они, сукины дети, и проявили — сами прыгали и багаж через кабель перебрасывали. Ничего не скажешь — «мо-лод-цы!». Такие молодцы, что, глядя на них, Иванову захотелось кричать: «Шайбу! Шайбу!»

Правда, тот из них, который был Жуковский, очень уж старался, прыгал слишком высоко, неэкономно растрачивая собственную энергию. Зритель таких не любит.

Ну, ладно, все это дело десятое, но вот другое обстоятельство: регистрация на рейс Иванова закончена, а посадки все нет и нет, не объявляется! Есть над чем задуматься заслуженному пассажиру республики!

Народ со 131-го заволновался, стал приставать к регистраторше с вопросами, регистраторша знала одно:

— Не мешайте работать!

Она и правда оформляла уже какой-то следующий рейс, и другой народ, с другого рейса, ее решительно поддерживал:

— Действительно, при чем тут она?

— Она свое дело сделала, а для справок есть справочное бюро! Бегите туда!

Сбегали туда, там был один ответ:

— Ждите объявления!

Ждали объявлений, их было много — одни ясные, четкие и громкие, а другие едва слышны, особенно когда машина-пылесос вдруг взвывала так, словно кто-то вскрывал ей внутренности без наркоза.

Иванов еще раз вспомнил отца авиации, потом подумал-подумал и самостоятельно пришел к заключению, что объединяются два рейса.

Объединяются. Вот и все!

То есть рейс 131-й, несмотря на огромный вес геологов и всех прочих пассажиров, оказался загруженным не полностью, и диспетчер наводит справки о загрузке самолета, следующего рейсом № 161-м по тому же направлению, то есть в город Н-ск. «Вот сейчас и наводит!.. Сию минуту!» — предположил Иванов. Даже не предположил, а с полной уверенностью подтвердил: «Сию минуту!» Если и рейс 161-й тоже загружен не целиком, тогда что же? Тогда логика подсказывает прямое решение: передать пассажиров 131-го рейса на рейс 161-й, который должен вылететь на 3 часа 20 минут позже. Вот и все!

Экономия же! Одним рейсом меньше — это какая же экономия горючего! Вот и все!

К тому же и диспетчер, наверное, получит премию за экономию, а? Этого Иванов точно не знал: получит или не получит, но не исключено.

Иванов подождал еще несколько минут. Объявления о вылете 131-го рейса не было. Значит, диспетчер принял решение...

А экипаж — летчики и стюардессы 131-го, поди-ка, ликуют: нежданно-негаданно им выходной, они названивают в город:

— Маша! Приготовь-ка закусочку. Через час буду дома!

Или:

— Милый! Я свободна, как птица! А ты?

Такая случилась у Иванова правильная догадка, и она приподняла его в его собственных глазах.

«Товарищ Жуковский! — спрашивал теперь Иванов.— Зря ведь народ суетится? Нервничает зря? Нервный почему-то стал народишко, ей-богу! — и еще пояснил чуть спустя Иванов: — Не стоит обращать внимания!»

Роли незаметно переменились: сначала Иванов допытывался узнать что-нибудь от Жуковского, потом сам стал давать ему кое-какие разъяснения.

И то сказать: Жуковский-то сделал свое дело, и как сделал! Конечно, и до него люди летали и даже воевали друг с другом на аэропланах, «Илья Муромец» во-о-он какой был самолетище, но все это как бы эмпирически. Летали и сами не знали, как летают, почему.

А Жуковский, тот создал теорию крыла — это уж совсем другой разговор, бери ее в руки, теорию, и действуй энергично, без оглядки, уверенно действуй — летай дальше, выше и быстрее прежнего — с уравнением-то!

Что же касается объединения рейсов 131-го и 161-го, то в этом вопросе Жуковский, конечно, понимал слабовато. В этом вопросе эрудитом был Иванов, вот он и объяснил великому ученому что к чему. Что к чему не в теории, а на практике.

Вот какой он был, Иванов,— какой рассудительный!

«Конечно, рассудительный!» — и еще подтвердил Иванов сам для себя и пошел по зданию вокзала посмотреть, как, что и где.

Самому посмотреть и, если на то будет согласие Жуковского, и ему показать. Как, что и где.

В аэропорту, как и в каждом густонаселенном пункте, были те учреждения, которые занимаются разными исключительными случаями в жизни людей.

Случаи сами по себе исключительные, но их тоже немало, если людей много.

В аэропорту было отделение милиции.

Иванов вместе с Жуковским заглянул туда, там горько плакала довольно молодая женщина, повязанная черным платочком. Иванов понял так, что у нее что-то украли и она хотела составить об этом протокол, а милиционер, старший лейтенант, объяснял ей, что без свидетелей протокол не может быть составлен.

Здесь, в милиции, наверное, даже думали, что самое главное дело в аэропорту — задерживать правонарушителей, составлять протоколы или отказывать в них...

В медпункте стояли носилки, на носилках лежал бледный мужчина средних лет, медсестра, закатав ру-

кав полосатой рубашки, делала человеку укол. «Еще молодой,— подумал Иванов,— а уже... А я и пожилой, но еще не...» Тут, в медпункте, точь-в-точь как в большой больнице, казалось, наверное, будто главное — это болезни людей, что больной человек — это естественный и повседневный человек. Сначала болезнь — это событие, а потом попривыкнешь к болезням, и ничего... Как будто так и надо — вот какая здесь была психология, в медпункте.

Потом Иванов зашел на почту.

В почтовом закутке ни охнуть, ни продохнуть... Иванов хотел позвонить в Н-ск, сказать, что запаздывает,— куда там!

У каждой кабины давится народ, из каждой кабины несутся такие вопли — страсть. Можно подумать, люди из кабин без проводов и без радио, а просто так кричат в разные населенные пункты, аж во Владивосток!

К тому же на почте он снова увидел тех пятерых, которые отстали от своего рейса. Они теперь не расставались, и всей пятеркой, встрепанные и, словно вареные раки, красные, метались по всему аэропорту, а Иванову их видеть больше не хотелось — четверых мужчин среднего возраста и одну пожилую женщину.

...В комнате матери и ребенка два малыша мужского пола, в упор глядя друг на друга, ревели навзрыд, а взрослых около них почему-то не было.

Ну, для этих-то, для малышей, главнее их собственного рева, конечно уж, ничего на всем свете не существовало.

«Вот как, папаша,— обращался Иванов к Жуковскому,— вот как! Какая бы ни была у человека умная голова, а делов здесь все равно будет выше нее! Да! Выше. И ничего ведь, отец, не попишешь, ежели написано и вывешено на доске приказов так: «С... числа... месяца... года... назначить Жуковского Николая Егоровича начальником... аэровокзала с окладом... руб. в месяц».

Приказ есть приказ, исполняй его практически и совершенно независимо от того, выше он твоей головы либо ниже. Даже если в портфеле у тебя сотня добрых теорий — и они подождут. Теория не волк, в лес не убежит, другое дело — практика. Уж Иванов-то, слава богу, знает о приказах все на свете, сам их исполнял, сам сколько написал — издать бы все в какой-нибудь

типографии Госкомиздата, получилась бы бо-ольшая книга. «Война и мир» получилась бы.

Потом Иванов снова вышел на привокзальную площадь и сказал Жуковскому:

— Вот, батя, какие дела...

К Иванову в троллейбусах, в разных там очередях теперь уже нередко именно так обращались молодые, а иногда и средних лет люди, должно быть, поэтому ему было теперь приятно самому назвать Жуковского «батей». Он и назвал.

Жуковский не обиделся, он по-прежнему улыбался замечательной улыбкой.

Иванов пошарил в карманах, нашел папиросную коробку. Коробку он скомкал и бросил под черную «Волгу», стоявшую в стороне от огромного скопища других машин. Надо было докурить последнюю папиросу. Дело в том, что Иванов курил втихаря от семьи. Уж очень его ругали за курево: жена, невестка, внук, внучка. Сын и тот поругивал, правда, поменьше других. Вот он и скрывался, Иванов, словно мальчишка, и позволял себе эту роскошь только где-нибудь в отъезде. Нынешняя командировка была неудачной, зато уж он покурил так покурил — вволю!

Потом он еще о чем-то поговорил с Жуковским, не запомнилось, о чем именно. Кажется, возник вопрос: а экипаж какого рейса полетит сейчас в Н-ск? Сначала Иванов подумал, что обязательно 161-го, а рейс 131-й освободится, но тут засомневался: может быть, не так, может, экипажу 161-го позвонят по домам, чтобы он совсем не приезжал в аэропорт, рейс выполнит экипаж 131-го? Как тут решит диспетчер? Иванов не знал, но догадка расстроила его: он уже считал рейс 131-й своим, родным рейсом, а тут чужими руками жар загребут посторонние люди? И не его, а другая какая-то стюардесса сообщит милому, что она свободна, как птица? «Нехорошо! — упрекнул ее Иванов.— Нехорошо строить собственное счастье на чужой счет!»

Впрочем, и еще думал Иванов — напрасно он отвлекается в сторону от пассажирского состояния, как будто вопрос с его полетом решен окончательно и бесповоротно. Совсем напрасно — мало ли что может быть? Мало ли что, если к тому же что-нибудь проворонишь? Например, припозднишься к посадке на объединенный рейс? Не исключено ведь, что на объединенный пассажиров будет несколько больше нормы, и тогда все

припоздпившиеся окажутся в положении тех пяти пассажиров из соседней очереди, которые ждали свой рейс четырнадцать часов, а потом опоздали.

Не годится! И, докурив папироску, Иванов подался в вокзал, поближе к посадочной галерее.

Кто-кто, а заслуженный пассажир республики не мог позволить себе промахнуться в какой-то мелочи, а потом расхлебывать непростительную промашку.

А вообще-то вокзалы, вокзальные толпы Иванову очень не нравились: они словно эпицентры, от которых толкучка, да как бы и не все прочие неразберихи распространяются на весь мир... Такое вот твердое ощущение. Кроме того, в аэропортовской толпе Иванову всегда какое-то неприятное испытание выходило. Наказание от кого-то и за что-то — неизвестно от кого, за что. Здесь, в толпе, Иванову очень хотелось распорядиться, навести порядок или хотя бы громко о беспорядке говорить, но толпе все эти ивановские желания до лампочки, она словно без беспорядка и не может, к тому же ей наплевать — начальник Иванов или совсем никакой не начальник!

Нынче, улыбаясь, Иванова встретил в аэропорту Жуковский — замечательная улыбка, добрая, успокаивающая! — она и сгладила неприятное впечатление, но все равно в принципе Иванов эпицентры не любит — чего в них может быть хорошего?

Он и не промахнулся. Нисколько.

Все его соображения подтвердились: рейс 131-й вылетел минута в минуту по расписанию 161-го.

«Очень...» — подумал он, лишь только самолет оторвался от земли. Но тут же и забыл, а что именно очень-то?

Потом пришло: очень, очень неприятный разговор предстоит ему с начальником управления.

Иванов тоже ведь начальник не маленький, он тоже вызывает подчиненных и отчитывает их, и даже лишает их квартальной премии — были и такие случаи, были...

И голос у Иванова серьезный. И внешность — внешности ему хватало вполне в его служебном кабинете с окном во всю стену, с зелеными занавесками, с полированными стульями.

И «Волга» у него темного цвета, почти что черная — в основном в его распоряжении. В основном — это значит не полностью, еще нашелся причиндал один, тот иной раз той же «Волгой» пользовался.

Так вот, так же запросто, как нашелся этот причиндал, находятся и начальники, которые прекрасно знают, что они не правы, когда отчитывают на все корки своих заместителей, а все-таки отчитывают! Да ведь еще как! С какой выдумкой! С каким смаком! Чем больше он не прав, тем у него больше и выдумки и смака!

«А я-то на тебя понадеялся! Я-то думал, что ты... Нет, уж — в другой раз буду знать...»

«Придется телеграфно запросить министерство: «Поскольку нашему представителю товарищу Иванову не были даны указания, просим письменно разъяснить следующие пункты...»

«У тебя скоро отчет на бюро, Иванов... Как-то ты посмотришь в глаза товарищам? И — массам».

И пошла, и пошла писать история!

Да что там и говорить — Петраковский, он таковский... И управделами у него тоже таковская, даром что носик-кнопочка!

Но тут и утешение настало то самое, которого он так долго ждал: самолет лег на курс и полетел, полетел высоко, легко, плавно. Вошел в присущее ему движение, ради которого он был создан.

Вот так: ты сидишь, ничего не делаешь, не затрачиваешь энергии, а цель между тем неуклонно приближается — это ли не самая суть пассажирства? И не его притягательность?!

В движении самолета ты будто бы чего-то достигаешь и даже постигаешь. Совершенства достигаешь. Высшей цивилизации и современности. Это, наверное, потому, что и весь-то Земной шарик не шибко большой космический корабль, только пассажиров на нем битком. Ну вот, и когда летишь на самолете, то приобщаешься к этому всеобщему движению, а ежели оно всеобщее, значит, ты не оторвался от всеобщей жизни.

Да, Иванов и тут не остался нейтральным ко всему окружающему — он глянул в круглый иллюминатор и, увидев крыло самолета, строгие линии, форму его и объем, припомнил, что в авиации считается недопустимым называть крыло крылом. Это в авиации пло-

хим тоном и безграмотностью считается — крыло надо называть «плоскостью», и никак иначе.

Потом — надо же! — Иванову вспомнилось уравнение отца авиации Жуковского.

Подъемная сила V=Pv — Iv, так, кажется, вспомнил Иванов.

P — это результатирующая давления.

I — количество движения в единицу времени.

Ну а дальше Pv, Iv определяются через такие контурные интегралы, которых, хоть убей, вспомнить невозможно...

Да и как вспомнить то, что никогда не знал и не помнил?

Вот эти самые интегралы — они и легли в основу современной теории крыла («теория крыла» — это авиаторы почему-то до сих пор принимали. Иванов, заслуженный пассажир, не знал, почему именно). Вот так... чего-чего только не работал, чего только не учил в своей жизни Иванов — и с аэродинамикой ему тоже приходилось когда-то иметь дело... Давно уже, но приходилось.

Поэтому и вспомнилось уравнение. А высоко в небе Иванов вдруг подумал:

«Портрет-то?! Жуковского-то?! Он ведь вывешен совсем не с той стороны аэровокзала! В этом все дело — не с той! Его надо было вывесить не на вокзальной, суматошной площади, а со стороны летного поля! Где безотказно и непременно действует уравнение Жуковского!»

Да-да, так оно и есть: висел бы портрет Жуковского правильно, то есть со стороны летного поля,— и порядок, не приходили бы к Иванову неожиданные мысли. Ни одной! А то вон их сколько разных и все больше не к месту. Говорят, мысль отражает человека. Когда как. Сегодняшние мысли, многие из них ничуть не отражают Иванова, скорее какого-нибудь незнакомого растяпу и меланхолика.

«Ну, это ненадолго! — успокоил себя Иванов.— А ненадолго это можно! Можно ведь когда-то и расслабиться!»

И еще подумал:

«Действительно, выйти на пенсию и заняться — придумать четкое и ясное уравнение. Ну, не по теории полета, так что-нибудь в семейном масштабе. Между свекровью и невесткой составить уравнение. Между

невесткой и сыном. Тут, правда, одним, пожалуй, и не обойдешься, тут потребуется целая система сложных уравнений, но ведь у Иванова, когда он учился в вузе, а потом на курсах повышения квалификации, математика всегда-всегда шла на «отлично», ему ведь четкость и ясность неизменно были по душе, в плане четкости и ясности он и самовоспитанием тоже долго занимался. Между прочим, прекрасное это время — время самовоспитания: впереди себя видишь самого себя — воспитанного, умного, первосортного гражданина!

А без системы уравнений, без определения подъемной силы (V) Иванову в последние годы что-то туго приходится. И на работе и дома. Иной раз так туго, что сам рвешься куда-нибудь, в какую-нибудь командировку...

А в общем, будь здоров, отец! Улыбайся! Кто-то ведь обязательно должен улыбаться!»

И еще послал Жуковскому привет:

«Да-да, будь здоров, отец! Чего это нам, пожилым людям, пререкаться-то? Очень хорошо ты улыбаешься, значит, будь здоров! А то как было-то, отец? А вот: я чуть не рассердился на тебя... Еще бы немного — и черная кошка между нами пробежала бы. Теперь все в порядке. Хоть у Иванова и нет своего собственного уравнения и не было никогда, но все равно — будь здоров!»

Тут Иванов поставил точку — решил, что мысли у него кончились, что сейчас наступит одно только ощущение полета, ничего другого не будет.

Но нет — и еще пристала к нему одна мыслишка... Вот если бы у него все-таки было собственное уравнение, появилось,— подумал он,— уж он бы сумел им распорядиться, честное слово! Не только теоретически, но и практически — смог бы! Как-никак, а у Иванова квартира, не считая подсобных помещений, четыре комнаты, шестнадцать стен, из шестнадцати-то уж он бы выбрал одну самую-самую подходящую и повесил бы на ней свое уравнение. Заказал бы, чертежники это уравнение по первому классу вычертили бы на ватмане, а Иванов вывесил бы его безошибочно, то есть именно на той стене, на которой уравнению лучше всего и поучительнее всего висеть!

1985

ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МАЛЬЧИК В СЕЛЕНИИ ИКЕРВАР

Мой друг, поэт Пёте Дьёрдь, главный редактор журнала «Элетюнк» («Наша жизнь»), который издается в городе Сомбатхей, область Ваш, Венгрия, сказал мне:

— Поедем, Сергей, к крестьянам... Поедем в гости к поэту-крестьянину, к Табори Отто, он хороший поэт. И друзья у него хорошие. Нам будет интересно с ними.

А дождь в тот день был проливной. Я ехал в машине и думал: «Хорошо, что в машине! А если бы под открытым небом?!»

Тут машина остановилась, и женщина, которая указывала нам дорогу, вышла под этот дождь и сказала:

— Дальше проезжей дороги нет.— И, накинув на голову целлофановый мешок, быстро-быстро пошла по траве. Довольно высокая была трава, почти по колено.

Мы шли за ней, долго шли, иногда в траве и тропки нельзя было различить, я боялся поднять глаза на свою переводчицу Розу, женщину очень строгую, маленькую и элегантную, страшно было подумать — что происходит сейчас с ее туфлями? И с платьем? И с прической? И с самочувствием? Она и ехать-то никак не хотела, спрашивала: может, без нее сумеем обойтись?

Зонтиков у нас не было... Мы шли под гору, в гору, под гору, миновали один за другим виноградники и жилые постройки, обращенные к нам глухими, без окон, стенами, я гадал: «Наверное, нам вот в этот дом?», но дома были все не эти, все не эти...

Наконец под крышей одного дома я увидел людей — нас ждали. Дом был недостроен — пестрые кирпичные стены, крылечко без перил — это показалось мне добрым признаком: хозяева недостроенных домов, по моим давним наблюдениям, отличаются особенным госте-

приимством и непосредственностью: «Вот вам четыре стены, потолок, может быть, даже пол. Все остальное восполнится беседой и нехитрым застольем!»

Пол в доме был и стол, дощатый, с закусками и с бутылками виноградного вина — был, а еще была действующая электрическая печь, над которой наша проводница Гач Каталина и принялась просушивать все, что только можно снять с гостей. Что снять было нельзя, в том мы и остались на первое время. Кроме того, на этой чудесной печи предусмотрительно был нагрет кирпич, его тотчас завернули в тряпицу и положили под ноги Розе, чтобы Роза согрелась окончательно.

Гостей было, кроме меня, Розы и Дьёрдя, человек пять-шесть и сам хозяин — поэт, который не очень-то о нас и заботился, все заботы приняла на себя Каталина — полная, в очках, с добрым и задорным выражением лица женщина. Другая, Семеш Ольга, преподавательница физики и математики в местной школе, кашляла, курила и давала ценные указания: вот это надо есть сейчас, а это будем есть и пить потом. Дело нашего знакомства шло вперед семимильными шагами, через полчаса мы знали друг о друге все принципиально важное, беседа переключалась на мечты о будущем, на воспоминания о прошлом. Тут и выяснилось, что трое из присутствующих были в русском плену.

— Ну и как? — спросил я у всех троих, ни к кому персонально не обращаясь.— Как вам понравилось?

— Пусть Лайош расскажет! — кивнули двое на третьего.— Ему больше всех понравилось, вот пускай он и расскажет! У него был медовый плен.

— Как это понять?

— Пусть сам расскажет. К тому же он хороший рассказчик, лучше всех нас. До того, как выйти на пенсию, он был парторгом в госхозе, вот и приобрел навыки.

— Да-да! — подтвердил Лайош.— Если не умеешь говорить, так на этой должности и делать нечего! Ну а насчет плена дело было так: уже после войны я был в лагере для военнопленных на Кубани, и так как я уже тогда был бойким парнем, меня вскоре сделали санитаром в госпитале, а так как я стал санитаром, то круг моих знакомств расширился, и председатель местного колхоза узнал, что я очень хорошо плету корзинки. Да вот смотрите — вот в плетенке лежит хлеб, а ведь плетенка — моей работы. Не знаю, что лежит вон в той

корзине, которая в углу, наверное, бельишко, но корзина — моей работы.

— Одним словом — всюду ваша работа?

— Километров на пять в окружности — только моя! До того, как я вышел на пенсию, здесь еще встречались чужие корзинки, но теперь я, кажется, вытеснил всех своих конкурентов. Ну вот, а там, на Кубани, виноградников тоже много, а корзинщиков, представьте себе, нет, вот какое невероятное положение; поэтому председатель колхоза выпросил меня сначала у начальника госпиталя, потом — у начальника лагеря и сделал меня кустарем-одиночкой, работающим по договору на колхоз. Мало того, что я стал работать как вольнонаемный гражданин, председатель, чтобы стимулировать производительность моего труда, пообещал мне дополнительно выдавать по килограмму меда за каждые пять корзинок. Он, конечно, не знал, что я плету корзины очень быстро, и уже в скором времени у меня был бочонок с медом весом килограммов на двадцать с лишним. Больше того — я еще успевал ходить в колхозный клуб, в кино, многие пленные туда ходили, и один из них надоумил меня взять за руку девушку, которая обычно садилась на один ряд впереди меня. Я, конечно, долго думал, что это невозможно для военнопленного, ну а потом поддался уговорам старших товарищей. Все бы ничего, все хорошо, но вот какая мысль не давала мне покоя: мы ждали освобождения, мы вот-вот должны были вернуться на родину и ждали этого дня с нетерпением, но меня какая-то непонятная сила заставляла спрашивать: а что же будет с моим бочонком? Увезти его в Венгрию? А кто позволит? Тут не у каждого пленного вещевой мешок за плечами, а у меня — бочонок? Невероятно! Но вот в чем дело: не одна, а множество невероятностей происходило со мной и вокруг меня — я остался жив на войне; я попал в плен, и никто меня в плену не расстрелял, хотя в армии нам говорили: не сдавайтесь русским в плен, вас там все равно расстреляют; меня не сослали в Сибирь, хотя я твердо знал: должны сослать, на всю жизнь должны! И вот теперь нас отпустят домой — да кто об этом мечтал каких-нибудь два года или год тому назад?! И если уж столько невероятностей, так почему бы не случиться и еще одной, почему бы мне не увезти бочонок с медом в Венгрию? Тысячи венгров вернутся из плена с пустыми

вещмешками, а Табори Лайош — с бочонком меда! Что за идея — сам не знаю...

— Наверное, ты уже тогда задумал стать парторгом госхоза! — заметил Тимар Элек.— Наверное, так...

— Что ты хочешь этим сказать? — строго спросил у него Лайош.— Что именно?

— Ничего... Ничего, кроме того, что ты давно задумал стать парторгом госхоза и действительно стал им... Самым лучшим во всей нашей округе...

Лайош несколько потупился и сказал:

— Уж и самым лучшим? К тому же выдвижение на низовую партийную и государственную работу, по крайней мере в мое время, происходило стихийно и совершенно неожиданно: ты и думать не думаешь, вкалываешь где-нибудь в поле или на свинарнике, а тебе вдруг говорят: «Вкалываешь? И молодец. Так и надо. Это хорошо! Хорошо, но мало, поэтому вкалывай еще и по партийной линии! Давай-давай!» Вот как было. Было и то, что я привез бочонок меда в Икервар. Соседи могут подтвердить!

— Подтверждаете? — спросил я.

— Так оно и было,— заверили они.— Ведь Лайош всегда говорит, как по Большой книге читает.

— По какой это — Большой? — не понял я.

— Ну, как по Библии... А вот я был в лагере военнопленных на севере, даже севернее Ленинграда, и у нас там меда не было.

И другой гость тоже вздохнул:

— Я был в лагере в средней России, вполне приличные климатические условия, но чтобы мед? Да мы и думать-то о нем не думали и забыли, какой он бывает! Мне до сих пор удивительно, что в плену мы жили лучше, чем сами русские вокруг нас, но чтобы у нас был мед?!

Я бы не хотел быть понятым таким образом, что наша беседа протекала чинно и сюжетно: Лайош рассказывает, Имре и Элек комментируют, Роза переводит, Дьёрдь молча улыбается, и вот уже мне выдается готовенький очерк, а то и рассказ! Ничего подобного! Тут замечаний и смеха было хоть отбавляй, были и вставные сюжеты, ну, хотя бы насчет знакомств Лайоша в колхозном клубе на Кубани, было кое-что из современной действительности... Вот, например, один наш солдат, туркмен по национальности, из тех, что несут службу

в Венгрии, научился по-венгерски, уверяя, что это простой язык и похож на его родной.

— Не знаем, верить ли этому, а только мы в Икерваре так и не научились правильно произносить имя этого солдата и называли его просто — Ахмер. Друзья ведь должны называть друг друга просто, не правда ли?

В то же время Элек заметил:

— Запомнить любое имя в конце концов дело возможное, даже если оно и пишется в целую строчку, но тут получилось... получилась любовь.

— Как так? — не понял я.

— Ахмер и одна наша девушка — познакомившись в Будапеште — полюбили друг друга, поэтому наша девушка и собирается ехать в Туркмению, а что это такое — никто не знает. Никто никогда из Икервара там не был, нет у нас живых свидетелей. Конечно, можно почитать книжки, но вы же писатель, вы знаете: книжки — это одно, а жизнь сама по себе — другое. И надо бы заранее знать, что оно такое, это другое. Вы, конечно, бывали в Туркмении?

— Нет, не был...

— Как это может быть? Туркмения — это же Советский Союз?

— Я бывал во многих республиках Советского Союза. Во многих, но не во всех... Так уж случилось.

— Сергей Павлович и в Тбилиси тоже никогда не был! — неожиданно наклепал на меня мой молчаливый друг Дьёрдь.— Представьте себе — не был!

Дело в том, что Дьёрдь многие годы дружит с грузинскими писателями, они приезжают к нему в редакцию, в Сомбатхей, он к ним — в Грузию, он даже самостоятельно изучает грузинский язык. Но все-таки я не ожидал от Дьёрдя такого подвоха... Мне пришлось оправдываться:

— Вообще-то я в Грузии был, но только на побережье Черного моря. В Тбилиси — тоже был... то есть я проехал его на поезде. А вокзал там на горе, а с горы виден город.

— Это куда же вы ехали поездом через Тбилиси? — заинтересовался Дьёрдь.

— В Ереван...

— Значит, в Ереване вы были, а в Тбилиси не были? — заметил Дьёрдь, а Ольга подвела итог:

— Это нехорошо!

Пришлось согласиться, что это нехорошо, вопрос, казалось, был исчерпан, но Ёри Имре, племянник хозяина нашего дома, уже завелся насчет Туркменистана:

— Ну а поблизости от Ашхабада вы были? На каком расстоянии от Ашхабада вы когда-нибудь бывали?

— Я бывал в Таджикистане и в Самарканде, это уже Узбекистан. Километров в пятистах от Ашхабада я был, ближе — нет.

— Пятьсот? Нет, это слишком много. Это, можно сказать, вся Венгрия вдоль, а поперек она примерно в два раза меньше.

— Наверное, нам пора уже что-нибудь спеть? — спросила Ольга.

— Нет, еще немножко рано! — подумав, ответил Имре.— Еще бы надо о чем-нибудь поговорить. К тому же, Ольга, песни — не твоя забота — ты нынче хрипишь, как целый взвод простуженных солдат.

— И тебе не стыдно проводить такие сравнения — между молодой женщиной и целым взводом солдат? Да еще и простуженных! Бедное у тебя воображение!

— Почему же! Я могу что-нибудь другое придумать. Ну вот, например: ты хрипишь, как большая, большая львица.

— А ты когда-нибудь слышал, как хрипит большая львица?

— Нет, не приходилось.

— А может, большая львица мне и в подметки не годится?!

— Знаешь, Ольга, на тебя не угодишь! Как ни старайся!

— Вот-вот: мне мои самые неспособные, самые ленивые ученики всегда говорят точно так же: «Знаете, Ольга, на вас не угодишь! Как ни старайся».

Имре подумал, помолчал и, склонившись ко мне через стол, доверительно сказал:

— Да-да! Сколько уже раз я зарекался спорить с женщинами! И вот сегодня снова заспорил. Вы меня поняли?

— В общих чертах...— сказал я, а Ольга уточнила у Розы, что сказал мне Имре, что я ему ответил, и прокомментировала это так:

— Нашего дорогого Имре только так и можно понимать — в самых общих чертах.

Имре еще раз вздохнул и спросил меня:

— А какие у вас виды на урожай винограда? По телевизору я видел, какой большой снег выпал нынче в Армении. Просто ужас! Смотришь, и мурашки по коже бегают!

Опять я оказался не совсем в курсе дела, но тут мои собеседники ударились в прогнозы по поводу собственных виноградников. Прогнозы были благоприятными.

Меня же всю жизнь гораздо больше интересовали зерновые культуры, поэтому я стал спрашивать, каким это образом в Венгрии в прошлом, далеко не благоприятном году средний урожай зерновых составил пятьдесят два центнера с гектара, а в некоторых областях — восемьдесят один центнер?

Мне рассказали о новой агротехнике, о новых сортах низкорослых пшениц и о том, что нынче урожай зерновых ожидается еще выше, но это говорится не совсем вслух: я должен знать, что о высоком урожае хлеба не принято говорить заранее, до тех пор, пока хлеб не обмолочен и не засыпан в амбары.

А вот это я действительно знал, и давно — лет шестьдесят тому назад, если не больше.

Кроме того, я помнил, что такие слова, как «песня» и «стихи», уже были произнесены за нашим столом, и теперь вот-вот они должны воплотиться в песни и стихи.

Этот момент почти одновременно провозгласили Ольга и Имре, только Ольга провозгласила его громче:

— Споем! Раз, два, три — кто первый? — Тут Ольга закашлялась, а Имре спросил у нее:

— Нам подпевать? Или не надо?

Ну, народными песнями меня не удивишь, я в детстве наслышался их в Сибири — край не очень песенный, но если слушать — услышишь. Кроме того, в Латвии — а это с некоторых пор мне тоже дом родной,— в Латвии поют так, что мне и сравнить не с чем: там, если четыре латыша собрались вместе, так уже через несколько минут они могут петь без конца и на четыре голоса. Споют «Вей, ветерок», вот вам и концерт, и маленький Праздник песни. А споют хором на тридцать тысяч голосов — опять праздник, только уже Большой.

Венгерские же песни я услышал здесь такими: все они были о любви. О любви юношеской и девичьей, причем не сказал бы, чтоб они были чрезмерно лиричны или целомудренны; о любви мужчин и женщин, из которых опять-таки выяснилось, что чужие жены и чу-

жие мужья тоже бывают хороши; о любви к матери и о любви к Венгрии.

Любовь к матери звучала в песнях, которые я слышал, как что-то неизбежное и драматичное, хотя бы уже потому, что эта любовь неизбывна и никогда, никем не может быть выражена до конца; песни о любви к «моей маленькой Венгрии», казалось мне, я слышал от людей, которые тоскуют где-то далеко от своей родины. Может быть, действительно уж очень много венгров живет за ее пределами, и эта тоска, эта печаль передается и сюда, в Икервар, передается тем, кто сидит нынче в недостроенном доме и в гостях и, кажется, вовсе не имеет намерения тосковать... Намерения намерениями, а песни песнями. Песне надо подчиниться, подчинишься — тогда и споешь.

Песни были громкие, четкие и даже довольно резкие, убедительные именно своей резкостью, они были повествовательны, в них обязательно что-нибудь да происходило, какой-то веселый или грустный случай, какая-нибудь встреча или разлука, песни были предметными — из них можно было уяснить, по какой дороге идет человек, у каких ворот он встретился со своей любимой, во что любимая была одета. Когда песни пошли и пошли одна за другой без малейших пауз, появился еще один гость — сухонький, небольшого росточка и в шляпе.

— Такач Янош! Такач Янош! Такач Янош! — представился он каждому из нас и каждому протянул через стол сухонькую руку. Потом сел с торца и сказал:

— Вообще-то я — будапештский житель... А до шестидесяти я еще считал, сколько мне лет, потом бросил. Надоело!

Такач Янош явно прихвастнул, ему было немного за шестьдесят, но ведь мальчишки и старики любят прибавлять себе годы.

— Что теперь споем? — спросила Ольга после того, как Такач Янош еще рассказал кое-что о себе. И откашлявшись, притушив очередную папиросу, запела сама, все подхватили ее запев, но после первого же куплета Такач ударил сухоньким кулачком по столу:

— Нет, это просто безобразие — петь так, как вы все тут поете. Сплошное безобразие! Эту песню надо петь вот как! — И Такач Янош запел таким ужасным голосом, что невозможно было уловить мелодию.

Тем не менее его выслушали внимательно, а потом Отто, хозяин дома, поглядывая в пол, сказал:

— Конечно, вы прекрасно поете, дядюшка Янош, но все-таки я думаю, что эту песню нужно запеть сначала...

Так продолжалось довольно долго: Такач Янош исполнял первый куплет, Отто или Ольга говорили, что надо бы пропеть песню с самого начала, и тут пели все, потом Такач Янош сердился, стучал кулаком по столу и показывал, как надо петь, чтобы звучало красиво... И ведь никто так и не сказал Такачу Яношу, чтобы он заткнулся и не мешал петь другим.

Впору было мне, гостю, урезонивать Такача Яноша, но тут наступило какое-то общее умиротворение, никому не хотелось делать никаких замечаний, а всем стало понятно, что все должно идти так, как идет, своим чередом.

Роза окончательно просохла, согрелась и не обращала больше ни малейшего внимания на свои туфли и на свой костюм, она подпевала очень тихим голоском, голосок и всегда-то у нее тихий, даже шепотливый, переводила же она с воодушевлением.

Роза — венгерская подданная русского происхождения, ее мать — ленинградка, в войну водила под бомбами грузовик по льду «Дороги жизни», возила в кабине грудного младенца Розу, а теперь при встречах все еще поражает дочь необыкновенно красочным языком... Для Розы это непререкаемый авторитет: «А моя мама сказала бы об этом вот так...» Нынче мама помогала Розе переводить, и еще как помогала!

Пёте Дьёрдь поглаживал запорожские усы... Он человек очень скромный и не любит делать замечаний... Он многое знает, мой Пёте Дьёрдь, о многом может судить, но не судит, не хочет показать, что в каком-то вопросе он более сведущ, чем его собеседник... Такой характер...

Такая, право же, была и эта минута — никому не хотелось урезонивать Такача Яноша. К тому же Янош уже не стучал кулачком по столу, а разводил руки в стороны и вздыхал:

— Вы настройтесь на мой голос, настройтесь все, а тогда и запоете красиво...— А потом он вот что сделал, Такач Янош,— он поднялся и сказал: — Хватит петь! Замолкните вы наконец! Я пришел сюда вовсе не для того, чтобы слушать вас. Я пришел сюда за стихами

Табори Отто. Я думаю, что наши гости приехали сюда за тем же. Прав я или не прав?!

Теперь Такач Янош был совершенно прав, и вот они наступили — минуты Поэзии.

Как приближалась Поэзия к нам, а мы к ней — об этом я мог бы написать еще многое и во многих подробностях, но как только она приблизилась, наступила — сказать мне стало нечего... Что о ней скажешь? Она и сама-то себя не смогла выразить за века, а тут какой-то там прозаик и вдруг смог бы — смешно!

Знаю только, что она пришла. Навестила! Уж как неуютно ей нынче в этом мире, как трудно миновать все и всяческие невзгоды — личные и мировые, но все равно она была здесь.

Может быть, мы, беседуя о том, о другом, распевая одни-другие песни, нечаянно произнесли какое-нибудь слово-пароль, слово-призыв, какое-нибудь выкликнули «Ау!», вот она и отозвалась, и пришла?

Но, вернее всего, дело было так: мы все — Табори Лайош, Ери Имре, Тимар Элек, Семеш Ольга, Гач Каталина, Такач Янош, Дьёрдь, Роза и я, ну, и, конечно, Табори Отто,— мы все составили в тот момент такое сочетание характеров, и настроений, и намерений, которое и привлекло к нам Поэзию.

Это бывает. Я это знаю. А то, что я о ней не могу ничего сказать,— так и должно быть! Что о ней скажешь, если она — это всегда первозданные слова о жизни и смерти. Что скажешь, если это слова — самые последние о жизни и смерти, произнести их — и все... Всё исчерпано?!

Мы хотели бы чаще встречаться с Поэзией, но она-то не всегда хочет этого. Поэзия ждет к себе поэтического отношения, а мы готовы лезть к ней с бухты-барахты, хотим, чтобы она нас терпела! Скольких-скольких поэтов я читал и слышал, поэтов, которые безоговорочно присвоили себе право быть на «ты» с Поэзией, и так это бывает больно, так стыдно, и так хочется помочь Поэзии освободиться от ее собственного терпения!

Ну вот...

А в Икерваре жил поэт Табори Отто, он возделывал виноградник, строил дом, он многое умел, умел и не обижать Поэзию — я этому сразу поверил. И все поверили тоже. Он был лет тридцати пяти, может быть, и постарше, высокий, грузный, и читал стихи, стоя

неподвижно, держа руки неподвижно, они были приспособлены для другой работы, а нынче отдыхали, тоже слушали стихи. Я давно заметил — поэты, которые ничего не умеют делать руками, очень сильно размахивают ими, читая стихи.

Роза вздыхала и говорила:

— Не могу, не могу... Это так красиво, а перевести не могу...

— О чем это? — допытывался я.

— О природе... о людях в природе.

Я стал рассматривать стихи Отто на лицах мужчин и женщин и заметил, что все они ждут от меня понимания этих стихов. Что-то в них было и для меня. Не сразу я уловил, что стихи кончались такими примерно словами: «Привет, привет тебе, мой голубоглазый мальчик!», не сразу, хотя эти слова Роза и переводила мне с особым тщанием.

Все-таки я спросил:

— А при чем тут мальчик? Что за мальчик? Голубоглазый?!

— Господи! — всплеснула руками Роза.— Да неужели вы до сих пор не поняли? Это же Есенин! Сергей Есенин!

И Дьёрдь напомнил мне негромко: я же вас еще вчера предупреждал: мы пойдем к поэту, который чтит Есенина!

Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!

А в Икерваре это вот как откликнулось:

Привет, привет тебе, мой голубоглазый мальчик!

Все вздохнули с облегчением; Отто громче всех: наконец-то этот русский понял и уразумел, почему его, собственно, пригласили в Икервар, почему и зачем! А ведь мог бы, наверное, так и уехать — ничего не поняв и не сообразив?!

Вечером, после дождя, после нескольких ненастных дней, уже на закате, выглянуло солнце.

Обычно, после того как солнце отсияет весь погожий день, оно уходит на покой уставшим от самого себя и от всего того, над чем оно так долго сияло и что грело... И мы тоже чувствуем тогда своевременность

заката, завершенность еще одного так или иначе, а все-таки прожитого нами дня.

Но когда солнце является вечером и только для того, чтобы вот-вот уйти, когда его вечерний свет похож на рассвет и что-то неслышное в этом смещенном во времени мире нам начинает слышаться и что-то невидимое видеться, в эти минуты мы как будто угадываем ту жизнь под солнцем, которая была в далеком-далеком прошлом. Которая может быть в будущем. Которая могла бы быть, если бы Земля имела немного другой вес и вращалась бы вокруг Солнца по другой орбите.

Так просто представить: во Вселенной из туманности возникает шарик немного другого веса и размера, значит, и орбита движения вокруг Солнца у него другая, значит, и другая жизнь. Весь вопрос в том — какая?

С детства помнятся мне старомодные стихи, которые почему-то очень нравились моему отцу, он мне их читал:

Се с Запада восходит Царь Природы,
И удивленные народы
Не знают, что им предпринять:
Ложиться спать или вставать?

Нынче был тот закат, о котором я слышал от отца.

— Очень красиво! — сказал о нем Табори Отто.

— Очень красиво! — сказала Гач Каталина.

— Так и должно быть! — сказал Такач Янош и поправил шляпу. Чтобы она сидела на голове так, как должна сидеть.

Все смотрели на виноградник Отто, на рыжеватую и пухлую землю склона, на ряды виноградных лоз, которые безупречно правильными рядами взбегали по этому склону вверх. Ну а уже там, выше склона, и было нынешнее солнце.

Чем-то, вернее всего, своею строгостью и правильностью рядов, виноградник напоминал вертикальные строки иероглифов, каждый иероглиф опирался на свою собственную черточку, на бетонный столбик-опору. Еще они были похожи на восклицательные знаки, эти столбики.

Небо с нарушенным временем суток приближало к нам гору Ньегери Хедь и отдаляло ближайшие строения Икервара и чем-то сизым пронизывало туман, распростершийся по земле, и самое землю.

— А все-таки, почему вы любите Сергея Есенина? — спросил я Табори Отто.— Чем он вам так близок?

— Даже и не знаю — уж так ли я его люблю... Но я хотел бы написать о Венгрии так же проникновенно, как Есенин написал о России! — ответил мне Отто.

Я давно не пишу путевых очерков, не записываю встречи, имена своих собеседников, знакомства с которыми едва ли не самое интересное в любом путешествии — для этого нужна молодость, наивное, но твердое убеждение в том, что, кроме тебя, никто, ни один человек, не увидел и не заметил в путешествии то, что увидел и заметил ты сам.

И не стал бы я писать об Икерваре, о том, что и как там было в один из майских дождливых дней с переменной облачностью, тем более не стал бы ничего домысливать — домысливание и ненадежно, и шатко, и может обидеть твоих собеседников,— но что делать, если ты попросту не представляешь себе своей работы без домысливания? Ведь если его не будет, тогда и за письменный стол себя не усадишь — ради чего?

Да, лучше, наверное, было бы, если бы встреча в Икерваре осталась при мне одном, как ни к чему не обязывающее воспоминание, но так случилось, что чувство обязанности, возникнув, уже не оставляло меня.

Случилось потому, что спустя время я услышал стихи из той поэзии, которая Поэзия навсегда, которой нет ни срока давности, ни срока будущности.

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? Жалею ли о чем?

Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!

. . . .

Я их слышал, эти стихи,— в Тарханах, в лермонтовском заповеднике. Не знаю, кто их там читал, может

быть, и никто, но все равно не слышать эти стихи в Тарханах нельзя, невозможно... Вот они и слышались, когда при огромном стечении народа был открыт памятник мальчику-поэту, когда один, совсем один, я бродил по комнатам тархановского дома...

Ну а если уж Икервар вот где вспомнился мне — в Тарханах! — значит, та встреча действительно жила в памяти, а если жила, значит, обязывала.

А еще обязывала музыка, то созвучие, которое все время преследовало и преследовало меня.

В самом деле:

Выхожу один я на дорогу... *(Тарханы)*

И тут же:

Ты жива еще, моя старушка? *(Икервар)*

Ведь то и другое — почти одна и та же мелодия, так, по крайней мере, мне слышалось...

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом... *(Тарханы)*

И тут же:

Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет. *(Икервар)*

...разное время, разные стихи, разные поэты, а музыка открывает что-то общее в них, поэзию еще и еще открывает она в стихах, поддерживая ее в ее собственной жизни. Чтобы она дольше, дольше жила вопреки тому множеству причин и следствий, которые утверждают, будто ей уже некуда и не к кому приходить и место ей разве что в истории, а вовсе не в современности...

...что если ей и приходить нынче к кому-нибудь, так только затем, чтобы попрощаться, что она ищет уже не нас, а собственной свободы и покоя, в котором она могла бы забыться и заснуть.

Но что-то думается мне: Поэзию, ее голубоглазых и кареглазых мальчиков, нельзя обратить против самих себя, против друг друга, против всех нас, людей...

Нельзя, и пусть мальчики-поэты еще подышат воздухом Икервара, на склонах горы Ньегери Хедь. И многих других гор. И равнин.

1985

«ПРОЗА»

Вы знаете такого писателя — Густова? Слыхали? Нет, не знаете, не слыхали. Неизвестная фамилия?.. А зовут его, между прочим, Владимиром. Владимиром Ивановичем. Простенько зовут, по-житейски, не то чтобы каким-нибудь там Арнольдом, Ричардом, Аскольдом, Русланом или Святополком. И Онуфрием его тоже не зовут. Ничего подобного — Владимир Густов, и вся недолга.

Но все равно не знаете? Все равно не слыхали?

А он, кажется, из молодых...

Почему «кажется»?

Потому что он и сам этого не знает, вопрос в наше время сложный: писатель в сорок — он молодой или уже нет? Уже пожилой? (Почему-то нынче говорят еще и так: «В районе сорока»?!)

Люди, знающие о современном литературном процессе понаслышке, сразу же, конечно, начнут приводить примеры. Сначала Лермонтов, потом Добролюбов, Писарев, потом Пушкин да и Гоголь тоже. (Тоже ведь «в районе сорока»).

Ну а те, кто стоит к этому делу — к современному литературному процессу — ближе, тот скажет: сорок для прозаика — детский возраст, в сорок у прозаика только-только зубы прорезаются.

Врачи говорят: если у младенца зубы прорезаются с большим опозданием, это плохо, это очень болезненно и свидетельствует о ненормальном развитии, да мало ли что говорят врачи?! Врачей слушать — на свете не жить.

Сорок для нынешнего прозаика — молочный возраст, его только-только от груди отнимают — от комиссий по работе с «молодыми» и вечно начинающими.

В сорок у прозаика только-только творческие и другие зубы прорезаются, и он научается ходить от одного стула к другому — от одного редакторского стола к другому.

Вот и Густов, который Владимир Иванович. Он и женат второй раз, и алименты платит, и в проектном отделе «Водоканала» занимает должность старшего инженера, и со второй женой (милая в общем-то женщина — Людочка Густова, тоже инженер-сантехник, сметный отдел) у него в последний год складываются непростые отношения. У нас ведь любят говорить: «непростой человек». Вот и о Густове так же говорят, а откуда, скажите, у непростого человека возьмутся простые отношения в семье и в трудовом коллективе? И в армии, к вашему сведению, Густов давно отслужил, причем на дальнем-дальнем Востоке, по нашим понятиям — край света, и поработал уже, в проектном бюро слывет головой, и в шахматы соображает, и многое, многое еще чего, а вот в смысле литературном — нуль! Семечко. Крохотка. Никто его не знает. Никто и нигде.

Я один только и знаю. Потому что он — это я.

Итак, поскольку меня никто не знает,— я один.

Я один, потому что нет другого такого же Густова Владимира Ивановича, не найдете.

Я один, потому что никто другой не написал в прозе того, что написал я. Лучше — найдете, но таких же строк — нет.

Я один потому, что я знаю, что я один.

Теперь вы со мной, с одним, познакомились, да? Если да, я продолжу разговор. Уже по знакомству продолжу. Я скажу: писательство, настоящее,— это прежде всего ощущение себя как одного. Как единственного. Не обязательно этот один-единственный лучше, умнее, талантливее, возвышеннее, проницательнее всех других, вовсе нет, вовсе не в этом дело; дело в том, что писателю необходимо выразить свою единственность, какой бы она ни была. Вот и все.

И все тут: ребенок родился, так это он родился у писателя; умер кто-то, так умер не кто-то, а близкий писателю человек; кирпич упал на голову писателя, у него последняя мысль: почему кирпич именно на писательскую голову упал?

Эгоизм? А как хотите, так и называйте — эгоизм, эгоцентризм, тщеславие, бзик, чудачество, нелепость,

комедия, трагедия,— как хотите, но только так оно и есть. Так, и никак иначе.

Вы меня спро́сите: откуда я это знаю?

В том-то все и дело! Не знаю откуда, но откуда-то и зачем-то я знаю о литературе, о литературном творчестве все. Все как есть. И что́ бы я об этом предмете ни услышал, что бы ни прочитал — все, оказывается, мне давно известно. Давным-давно, с незапамятных времен. И любое произведение прозы я тоже знаю сам по себе, и никто меня не обманет ни с книжной страницы, ни со сцены, ни по телевизору, ни по радио. Все, что я знаю о литературе, я знаю сам: и громкие имена, и реликвии, и многотомные собрания сочинений, которые переиздаются через каждые шесть-семь лет на русском и на языках других народов, и обширные рецензии, и премии — мне нипочем. Потому что я — сам! Мне даже смешно, если кто-то в этом вопросе пытается обвести меня вокруг пальца, купить задешево. А это невозможно. Ни задешево, ни задорого — никак. И я только удивляюсь: о чем думают восьмитомные авторы? Неужели они не думают о том, что среди читателей могут быть и такие всезнающие люди-писатели, как Густов? Владимир Иванович?

Вот и беседы более или менее маститых с молодыми... К чему? К чему, если я чувствую, что собеседник мой, мой назидатель интересуется не столько мной, сколько собой? Если в этом мы с ним на равных?! В стремлении утвердиться в литературе, стать большим писателем. Он хочет им стать, и я хочу стать им же, только мы с ним на разных этажах устремления, вот и все. Я — на первом этаже, а он — на втором, вот и все... Разница небольшая. Он, конечно, может получить что-нибудь за успешную работу с молодыми, какое-нибудь поощрение, а я нет, не могу, но, как вы, наверное, понимаете, дело только в том, чтобы между нами была истинная разница, чтобы передо мной был по-настоящему большой писатель, перед которым я действительно и от души почувствовал бы себя маленьким. А этой разницы нет.

Ее-то мне и не хватает в литературном общении, в котором я ведь имею солидный опыт: совещания молодых, литобъединение «Молодость»...

Я хочу, чтобы со мной говорил по-настоящему большой писатель и говорил совершенно на равных и чтобы неравенство наше я почувствовал бы только при чтении

его книги, уже ночью, оставшись с его книгой один на один, взволнованный и огорченный: завтра рано вставать, а я не могу уснуть, не могу простить себя за то, что я — маленький, за то, что днем я говорил на равных с ним, с большим. А получается наоборот: днем общение наше проходило при совершенном его превосходстве, а потом я взял его книгу, полистал, прочитал — господи! Да откуда же оно было-то, это превосходство? Почему — было? Зачем я-то, дурак, сам искал этой встречи? Этого унижения? Вот где обида-то! Истинная!

Я живу во всем том, что называют «гущей жизни», он об этой гуще только наслышан, но печатаюсь все-таки не я, а он! Я знаю, а ему везет. Где справедливость? Где моя единственность?!

Мне, начинающему, говорят — и я этому искренне, всей душой верю,— что литература навсегда посвятила себя правде, красоте и справедливости. Прекрасно! Я верю, верю и даже объединяю все три понятия в одно — справедливость.

Но в жизни-то самой литературы столько несправедливости, что невольно я спрашиваю: как же литература может отражать справедливость, если она сама в своем быту так несправедлива?

И вот уже, несмотря на свою веру, я сомневаюсь. Я не знаю, каким образом совмещаются во мне эта вера и эти сомнения. Но я знаю, что мои сомнения тоже есть не что иное, как знание мной литературы, ее жизни.

Я ищу, я нахожу для литературы оправдания, как искал бы их для себя, если бы мне предстоял некий суд — высший в моей жизни. «Артистка? — спрашиваю я у литературы.— Артистка ведь не сама себя играет! Она сама может быть доброй-доброй, а играет злодейку! Она сама может быть безупречно нравственной, а служит в храме искусства, в котором по горло склок и свар,— в театре служит! А если наоборот: злодейка играет добрую-добрую героиню?!»

Сомнения...

«Но ведь сомнения — тоже в природе литературы?» — утешаю я себя.

Право, я что-то затрудняюсь жить: на все и вся не хватает души. Не хватает на всю веру и на все сомнения. А оттого, что душа не вмещает всего этого, она становится пуста. Вот так, середины нет: или все, или ничего. Но ведь у кого-кого, а у писателя должно хватить! Душа вон — должно хватить у него души! Я вот

знаю, что живописец может писать только для себя — завести небольшой мольбертик и в выходные дни, расположившись на берегу озера (реки, водохранилища), набрасывать пейзажики для себя, своей собственной души ради. После можно повесить пейзажик над кроватью или в прихожей, будут приходить гости: «Сам? Неужели?! Неплохо, неплохо!»

В музыке тем более — играет человек на фортепиано или на балалайке для себя, для друзей, и вполне хватает с него удовольствия, он другого и не ищет.

И в театральном искусстве можно ограничиться кружком самодеятельности. Вполне.

Даже и в поэзии, и в той сколько угодно доморощенных и домашних поэтов, сколько их нынче среди ученых, представителей точных наук, пишут стихи — и неплохо, собираются, читают «свою» поэзию друг другу — тоже неплохо. Их это вполне устраивает.

А вот в прозе — нет и нет, в прозе не то! Там — ничего длясебяшного, и вот я в жизни не встречал прозаика, который писал бы рассказы или повести ради собственного удовольствия, для узкого круга друзей-приятелей. В прозе, если ты что написал, то уже не найдешь себе покоя до тех пор, пока это не опубликовано, пока не стало достоянием многих тысяч людей. Может, это вовсе и не достояние, может, что-нибудь сомнительное и даже никому не нужное, но тут счет другой: раз опубликовано — значит, нужное, до зарезу всем необходимое, без чего человечество завтра же погибнет. Вот тут-то и начинается — когда каждый бьется за место под солнцем, а место это — страницы книг и журналов. Вот она какая, распроклятая эта проза. Кто ее выдумал?! Какая коварная! Кто до нее всерьез дорвался, тому подай десять книг в год! И деткам его — подай! И полезным друзьям-приятелям — подай! И... подай! А другие?! Они ведь тоже хотят!

Проза требует одиночества, пока пишется, но чуть только она написалась — подавай ей читательскую массу, она без этого уже ни минуты не может, она с лихвой — ох, с какой лихвой — желает компенсации за свое начальное одиночество.

Нелепо?

Вполне может быть, но такой уж это крест — его надо нести. Такие обстоятельства — в них надо существовать. Подумаешь, гору ты своротил, тиснул какой-нибудь рассказик в какой-нибудь газетке, но тебе

все кажется, что именно — гору, именно — своротил, что едва ли не каждый прохожий тебя на улице узнает: «А-а, это тот самый, который...»

«Который меня осчастливил»,— так, кажется тебе, произносит каждый прохожий...

И никто-то и нигде тебя в этом не разубедит, даже в редакции молодежной газеты, которая тебя напечатала. Хотя там считают наоборот, будто это они тебя осчастливили. И главный, и зам. главного, и зав. отделом, и литсотрудник, и даже машинистка Юлечка — все они непоколебимо так считают, всем ты, безусловно, обязан по гроб жизни.

Но меня и это не смущает, и я вступаю в редакцию, словно на седьмое небо. А кто этого не понимает, кто не на седьмом, а только на шестом небе, тот глупец и чуть ли не личный мой враг.

Я в тот миг совершенно забываю, что главный — в огромных очках, с очень громким голосом и очень тихим нравом, который только и ждет не дождется, кого бы ему послушаться и чей бы юбилей не забыть отметить — вовсе не обо мне думает. Он уже давно вышел из молодежного возраста, его давно должны куда-нибудь перебросить, так вот он об этой самой переброске и думает, только о ней, а вовсе не обо мне.

Я забываю, что зам. главного, теннисист-разрядник, стройный малый (летом — пестрая кепочка, зимой — пестрый вязаный колпак) тесными, но никому не известными узами связан со столичными журналистами, именно об этих узах он и думает. Кроме того, именно он, а не кто другой зарезал три моих предыдущих рассказа, и зарезал-то, по моим наблюдениям, не без злорадства. Теперь, когда все-таки напечатан мой четвертый рассказ, кто-кто, а он-то, конечно,— мой несомненный благодетель.

Маленькое отступление по поводу фразы по ходу краткой характеристики зам. главного, а именно: «...связан со столичными журналистами...»

Я часто думаю: вот если бы у меня были прочные знакомства в столичных журналах! Если бы были — я бы и не связывался с этой провинциальной пузатой мелочью. Ни с главным, ни с зам. главного, ни с кем и никогда!

Но у меня в столице — никого...

Почти никого — у меня есть Саша Плиточкин, но я даже не могу точно сказать, есть он у меня или нет!

Он иногда отвечает на мои письма (которые я пишу просто так, без всяких задних мыслей, без просьб к Саше) и сообщает, что поговорил обо мне, о моем таланте «кое с кем», но кто эти «кое-кто», я так и не знаю. И тем не менее на всякий случай «кое-кто» — это тоже неплохо и даже хорошо. Это такое «хорошо», которое лишний раз вводит меня в круг человечества. Человечество ведь тоже неизменно надеется на какую-то протекцию в этом мире, на «кое-что» и «кое-кого», и я-то чем хуже?

Я-то почему не могу помечтать о протекции? А еще лучше — о таких собственных силах, которые ни в чем и ни в ком не нуждаются, только в самих себе?

О собрании сочинений помечтать. С комментариями. С одним-двумя томами переписки...

И вот я пишу не только очередной рассказ, но и о том, как я этот рассказ писал, при каких семейных и прочих обстоятельствах. А вдруг пригодится? Вдруг пошлю все это какому-нибудь редактору вместе с рассказом, чтобы знал, такой-рассякой, с кем он имеет дело!

Чтобы знал твердо!

Ну, это краткое отступление, не более того.

Следующий, кого я посещаю в редакции «молодежки»,— зав. отделом искусства и литературы.

Я забываю, что зав. отделом в общем-то истинный мой болельщик и доброжелатель, блицшахматист, потому, наверное, похожий на ладью — книзу толще, кверху тоньше,— в прошлый вторник сказал мне: «Вот что, Вова, дорогой мой, мы тебя напечатаем, но... полгода у тебя к нам никаких претензий, никаких рукописей, понял? Этак и тебе и мне будет удобнее, понял?»

Литсотрудника я не забываю, но стараюсь не замечать: он мне завидует. Он, этакая коротышка с усиками и только что со студенческой скамьи, считает, что пишет го-раз-до лучше меня и что печатать должны его, а не меня. «Ты, мужик,— нередко говорит он мне,— ты не думай, будто работать в газете — это для писателя малина. На самом деле, мужик, в редакции к своим, знаешь, какое отношение?! Похабное отношение, да! Заказал тебе редактор материал, ты сделал все, как надо — похвалят, фикс подбросят, но собственное творчество — это ни ногой. С собственным — на все четыре стороны. С собственным — хоть в петлю, никого это не

касается! Вот как, мужик, дело-то обстоит... Чтобы ты знал, чтобы воспринимал, мужик!»

Машинистка Юлечка — чья-то, какого-то значительного лица дочь, надо думать, не совсем удавшаяся, в общем-то мировая девка, свойская и бесшабашная,— радуется моему успеху. Правда, для меня ее искренняя радость омрачается тем, что Юлечка, я знаю, радуется любой корреспонденции, если только именно она в свое время перепечатывала ее на машинке «Уфа».

Ну, дело-то ведь не в том, что я забыл и что я помню, не в том, с кем и как я в редакции здороваюсь и беседую, к кому и в какие комнаты захожу, дело в другом: сегодня я АВТОР!

Автор, авторство... Сегодня мне кажется, что без авторства моя жизнь была бы вообще немыслима, невозможна. Кажется, что если бы зам. главного редактора, теннисист-разрядник, и на этот раз снял бы, зарезал бы мой рассказ, я бы этого уже не пережил, я бы умер. Отсюда и ощущение счастья — жив ведь, жив! Миновало! Прошел по краешку пропасти и вот — жив!

Потом, когда я выхожу из редакции с пачкой сегодняшних номеров «молодежки» в «дипломате», я начинаю думать серьезно и реалистически.

И, если хотите, трагически...

Да-да, если я понимаю литературу — а ведь я ее понимаю! — я не могу не знать, что рассказик мой так себе. Дерьмо. Чтó он есть, чтó его нет — литературе все равно. Рассказик этот не только не подтверждает мой талант, но даже противоречит ему. И тут я начинаю чувствовать, что вместе со своим «дипломатом» иду ко дну, ко дну самого себя и всего окружающего мира.

Надо как-то спасаться, надо выплыть...

И через некоторое время я выплываю: радуюсь-то я своему авторству точно так же, как и всякий другой член литобъединения при «молодежке», точно так же, а вот страдаю и сомневаюсь — совершенно не так, совершенно по-своему.

У всех моих коллег таких сомнений нет, да и не может быть...

Значит?..

Значит, я чем-то все-таки отличаюсь от них — начинающих, подающих надежды, не признанных сегодня завтрашних гениев, всем надоевших, осточертевших, никому не нужных... Отличаюсь! И, значит, есть надежда. Потому что, если ты ничем-ничем не отличаешься от

двадцати своих друзей-товарищей, значит, ты никто, хода тебе нет нигде и никуда, никого ты не переплюнешь, другие переплюнут тебя...

И вы знаете — помогает, и вот я уже иду не ко дну, а в свой «Водоканал». С опозданием на два часа — я отпрашивался на два часа, а прогулял четыре.

Дрянь дело, зато в отличие от многих-многих других я очень хорошо знаю и чувствую, что такое литература.

Правда, мне некому об этом рассказать, толково объяснить свое понимание.

Совершенно некому!

Я уже говорил: раньше у меня на этот случай всегда был под рукой надежный друг, журналист Саша Плиточкин: вот уж кто слушал внимательно, не перебивая, и не навязывал мне рассказов о себе!

Редкий случай?

Редкий, но вполне объяснимый: Саша, хотя и был журналистом, никогда и не помышлял стать писателем. Счастливчик!

И потому, что не помышлял, он им стал (почти что), он ухитрился уехать в Москву, прописаться и сделаться ответсекретарем толстого столичного литературно-художественного журнала. Каково?!

И каково теперь мне без друга? Который тебя слушал, слушал, слушал и не перебивал?

Так вот, я знаю, например, что так называемым художественным образом нынче уже никого не удивишь... Какой бы характер ни создал прозаик — это уже обязательно было в литературе. Каким бы невероятным характер ни был — в реальной жизни найдется еще более невероятный, и выдумка здесь бессильна.

Другое дело — событие. Событие еще остается предметом литературы, но только при условии его мифологичности. Пусть современной, но мифологии, современной, но притчи. Без этого, а само по себе событие тоже никому не интересно, их, реальных событий, так много ежедневно, ежечасно происходит в мире, год от года они претерпевают такую инфляцию, что нынче они уже ничего не стоят, пятачок за пучок или совсем даром.

И только если из события извлекается притча, если оно преобразуется в современную легенду — ну, тогда

другое дело, тогда оно еще может привлечь читателя. Событию же без легенды читатель предпочтет документальное произведение, мемуары или какое-нибудь исследование какого-нибудь общественного вопроса.

И нынешние крупнейшие писатели это поняли, знают и так и делают — пишут легенды.

Лакснесс — помните его «Атомную станцию»? Что это, если не легенда, причем вполне в духе исландской саги, только современной?

Камю... Помните «Чуму»?

А Габриэль Маркес — он весь такой, ну разве не легенда и не притча «Осень патриарха»? И «Сто лет одиночества»?

И величайшим писателем современности станет тот, кто создаст «Божественную комедию» двадцатого века.

Вот бы Густову Владимиру Ивановичу создать «Божественную»! Ему бы?! А?!

А в «Водоканале», я это сразу почувствовал, в мое отсутствие произошло ЧП.

И произошло, опять сразу чувствую, по моей вине.

Я и так пришел в «Водоканал» с запозданием, пришел сам не знаю какой — грустный или радостный, трусливый или храбрый, скромный или нахальный, умный или дурак дураком, а тут еще ЧП!

По моей вине! Надо что-то делать, что-то выяснять и как-то себя вести.

Я веду себя так:

— Привет, Михаил Андреевич! Привет, привет!

— Ишь, расприветился...— тихонько произносит Михаил Андреевич, руководитель нашей группы и неплохой, в общем-то, мужик. А громко он говорит: — Экспликация к башне семнадцать, район «Щ»? Ну? Чего молчишь?

Я действительно молчу — не понимаю, в чем дело.

— Не понимаешь? Нет? Ты в чем понимаешь-то? В романчиках? В гонорарчиках?

Я держусь своей линии:

— Ну, какие там гонорарчики? Тысчонка-другая раз в месяц перепадет, только и всего...

Итак, вот в чем дело: месяц назад я составил проект внутридомовой разводящей сети по жилой башне № 17 в районе «Щ», а экспликацию — общий подсчет

арматуры, всяких там колен, тройников, раструбов — не перенес на ватман... Забыл.

Я бросился к своему кульману — какой там кульман, так себе, урод, самоделка, но я ее, эту самоделку, почему-то очень люблю, этот мой рабочий станок, я тотчас нашел в ящике экспликацию на двух листочках бумаги с синеватым оттенком, но теперь они были уже ни к чему, на ватман-то они перенесены действительно не были...

Конечно, виноват Густов Владимир Иванович, старший инженер, но удивительно: куда другие-то глядели? Куда Михаил Андреевич глядел, подписывая лист без экспликации? Куда сметчики глядели? Ведь это же очевидно: лист без экспликации — еще не лист и не проект, его в ту же минуту надо завернуть обратно исполнителю, то есть мне. Никто не завернул... И вот до конца рабочего дня я чем был занят? Я объяснительную на имя главного инженера писал, я к сметчикам ходил, в отдел снабжения ходил, и куда бы я ни ходил — везде на меня смотрели как на сумасшедшего.

Но ведь пропустить лист без экспликации — это тоже сумасшествие, и вот мне хотелось поговорить с моими коллегами искренне и на равных — как сумасшедшему с сумасшедшими, как психу с психами, как растяпе с растяпами, но никто этого равенства не признавал. Никто! И я один-одинешенек был сумасшедший, один псих и растяпа, один-одинешенек, а больше никто!

На меня одного с удивлением смотрело большое-большое лицо со множеством глаз разного цвета и разного выражения. Было тут недоумение, злоба была, осуждение было, доброжелательство, но только с излишним любопытством. Презрение было.

А я не смотрел на них, на все эти лица в одном лице. Я в пол смотрел, в потолок, в окно, но только не на них. И вот что странно: они смотрели на меня во все глаза и меня не видели, а я ни на кого не смотрел, но видел всех...

Тоже литература? Ее свойства, да?

Вот говорят, что у художника, у натуры творческой, всегда две жизни: одна — личная, бытовая, другая — творческая, созидательная. Две в организме художника ткани: клеточная, механическая — и «ткань» духовная. И все с этим согласны.

А я не согласен, нет! Не может духовная ткань напрямую соединяться с клеточной, с механической, не может! Чтобы, скажем, чувство любви или художественного воображения вот так, напрямую соединялось со скелетом моего организма? Нет, они несовместимы! У них совершенно разные свойства, у одной ткани должна быть железная прочность, у другой — легкость, невероятность. Как же они между собой соединятся-то? Такие разные и совершенно разного назначения?!

Нет, тут обязательно должна быть еще и третья ткань — соединительная. Я, когда догадался об этом, заглянул в Большую Советскую и узнал, что это «ткань... выполняющая опорную, трофическую (питательную) и защитную функции». Защитную — это самое главное.

А что касается меня лично, все дело в том, что нет у меня соединительной ткани. Нет защитной.

Ума не приложу: как без нее обойтись? Если бы уйти назад, то есть в «Водоканал», только в него, а больше никуда, ни-ни, чтобы и в чертежах и в экспликациях у тебя был полный и вечный порядок, а больше ничего?!

Была такая возможность. Была, но теперь она упущена, и назад хода нет, как не бывало. И когда подумаешь: «На кой черт тебе эта самая проза?!» — тут же хватаешься за голову: свят, свят, свят — вот кощунство-то! Вот богохульник-то! Вот предатель искусства и литературы!

В общем, я дождался звонка об окончании работы. Этот звонок я послушал-послушал и решил обождать еще минут пять, чтобы одному выйти из конторы. Пяти минут ждать не пришлось, срок оказался слишком большим — уже через одну-две минуты во всей конторе не было ни души, но я все равно отсидел запланированные пять, а потом пошел к автобусной остановке.

И на автобусе поехал домой. В собственную семью поехал.

Собственная семья: Вовка и его мама, Людочка Густова. (У нас в семье, как в том рассказе — Володя-большой и Володя-маленький). По поводу Вовки-маленького я что могу сказать? Учится неважно, а парень хороший. Хороший такой теленочек, большеглазый, ласковый, беззаботный, и ни одному его обещанию верить нельзя. Скажет: «Завтра встану в полседьмого. Не будите — сам встану, честное слово!» Ну так и знай,

проспит до десяти и даже не удивится — подумаешь, беда! Впереди еще целый день. Но и целый день пройдет у него точно так же: собрался сделать и то, и другое, и пятое, и десятое, а не сделал ничего, что-то такое читал, кому-то звонил по телефону, что-то посмотрел по телевизору, а дела как не было, так и нет.

«Ну и что за беда, что нет? Последний, что ли, это день в моей жизни? Завтра же обязательно будет другой, послезавтра — третий, и так далее, о чем горевать-то?»

Очень похоже, что теленочком он и через десять лет останется. И через двадцать. И на всю свою жизнь.

Я как-то спросил:

— Вовка! А что ты будешь делать, если я умру?

Он мне ответил:

— А ты, пожалуйста, не ври...

— Ну, брошу тебя. Надоешь ты мне окончательно, вот и брошу...

— Опять не ври...

Я подумал-подумал и спросил:

— Вовка! А что ты станешь делать, если я стану большим-большим писателем? И напишу много-много книг. И все напечатаю. Да еще не по одному разу?

— Куплю велосипед! — сказал Вовка.— Сначала. А потом — мотоцикл! — И еще поинтересовался: — А ты не врешь? Опять? Если не врешь, тогда куплю «Жигули».

Такой он, мой Вовка. Трагедии пока что нет, и то хорошо. И наплевать ему на литературу, он о ней знать не знает, и, верите ли, это тоже хорошо.

Ну а Людочка Густова, та прекрасно знает, что она будеть делать, если я стану большим писателем, напишу много-много книг и все напечатаю.

Это ее мечта, к чести ее надо заметить — мечта тайная. Вслух она никогда не позволит себе сказать: «Вот когда мой Володя станет... то я...»

Нет-нет, она знает, что это мечта, мечта несбыточная, что с этим надо умело мириться, что ей повезло: другие мирятся с тем, что мужья изменяют, что пьют, что бездельничают, а у нее муж всего только пишет — да неужели с этим нельзя мириться?! Можно, должно и дает кое-какие преимущества; дает чувство некоторого превосходства: «Вот я тихо, спокойно и мудро примиряюсь с чудачествами мужа, значит, я умнее его, значит, не я ему, а он мне обязан... Первая-то жена моего мужа — та не выдержала испытания, та ушла,

а я не уйду, кто из нас лучше? То-то... Кто жена настоящая, а кто так себе? То-то...»

Такое логическое доказательство своей правоты, своего превосходства.

Подчеркиваю: логическое.

Еще подчеркиваю: когда после истории с экспликацией я отсидел после работы в опустевшей конторе за своим кульманом пять минут, мне это нужно было еще и для того, чтобы ехать домой одному, без Людочки Густовой.

Так у нас заведено: не она заходит за мной, если я задерживаюсь после работы перед кульманом-самоделкой, а я захожу за ней в сметный отдел. Если же не захожу, она знает, что я хочу ехать домой один, знает, что у меня или плохое настроение, какие-нибудь невзгоды, неприятности и заботы опять-таки на литпочве, или же попросту меня осенило, и я тороплюсь скоренько написать листочек-другой своей прозы, или, наоборот, настроение у меня хорошее, беззаботное, и мы хотим сгонять блиц с Михаилом Андреевичем.

В том, и в другом, и в третьем случае мы едем домой каждый сам по себе, так лучше. И опять-таки логичнее, причем на зависть всем тем семейным парам, которые тоже трудятся в «Водоканале»,— у них-то вечно по причине отсутствия такой вот координации возникают недоразумения.

У нас же с Людой Густовой — никаких, и все отдают должное ее выдержке, ее безупречному умению строить семейные отношения. Заодно, то есть вместе с Людочкой, коллектив «Водоканала» прощает мне мои литературные увлечения.

Вот и теперь я твердо знаю: ну день, ну два дня будет, еще будет очень много разговоров вокруг истории с экспликацией, а потом мне все простится. Да, с такой женой не пропадешь! С ней как у Христа за пазухой, этого и доказывать никому не надо — как у Христа!

Ну вот, а когда я ехал в автобусе домой — один,— я думал о сюжете своего нового рассказа...

Тот, который напечатан сегодня в «молодежке», из-за которого я не заполнил экспликацию,— тот дрянь, а вот о котором я думаю, возвращаясь домой один, ухватившись за «вешалку» в автобусе,— этот имеет быть.

Имеет быть чем-то серьезным.

Значит, так...

В безлюдной степи весной совершает вынужденную посадку пассажирский самолет.

Так и начинается: степь, самолет, около самолета толпа растерявшихся пассажиров, уже приговоренных к чему-то. Они угадывают — к чему? Они, угадывая, жмутся друг к другу, шепчутся, плачут и проклинают, и только одна женщина, молодая, в зеленом платье, уходит от этой толпы в степь.

Уходит и думает, что так и надо — настало время уйти в безлюдную степь. Она ведь всегда, всю жизнь уходила от людей...

Уже два миллиона семьсот тысяч триста шестьдесят семь прохожих миновало ее на площадях, улицах и в метрополитенах разных городов, в троллейбусах, в автобусах, в трамваях, а она миновала их... Может быть, больше чем два миллиона семьсот тысяч триста шестьдесят семь, но ей почему-то кажется, что именно столько, ни больше и ни меньше... Это население целого государства, но теперь она не смогла бы вспомнить ни одного из них, и, конечно же, никто из них, из этих прохожих, никогда не вспомнил ее...

Вот она и уходит прочь, уходит от этих семидесяти трех пассажиров — она чувствует свою обязанность уйти, чувствует эту логику ухода, эту обязанность и удивляется тому, что этой обязанности, кроме нее, никто не чувствует.

Тем более что только она одна в зеленом платье и степь тоже зеленая-зеленая, и женщина на глазах у испуганной толпы теряется в этом ярком цвете, словно в огне, и толпа около самолета вздыхает с облегчением — толпе кажется, что степь, что все окружающее пространство, приняв эту жертву, подобреют и помогут спастись всем остальным...

Каждый человек в этой толпе тоже прошел сквозь свои миллионы прохожих, сквозь их минувшую историю, сквозь бурную их современность, но никто, ни один из них сейчас даже и не подумал об этом...

Когда же самолету была оказана техническая помощь, когда он снова поднялся в воздух, никто из пассажиров не вспомнил о женщине в зеленом платье, ушедшей в зеленую степь...

Ведь вспомнить — значит сказать вслух, сказать вслух — значит искать в степи женщину, искать — значит еще оставаться в этой зеленой, красивой, но безлюдной степи...

Чем не сюжет? И почему бы ему не быть гениальным?

Ну, конечно, странная вещь... Странная для автора, нечего и говорить — для редактора.

А еще, покуда я ехал в автобусе домой, я думал о роли биографии в творчестве писателя.

Вот, скажем, Толстой и Гоголь...

Могучий Толстой, долгожитель, многочисленные предки оставили заметный след в отечественной истории, многочисленные потомки не остались людьми неприметными, и вот он всю свою жизнь как будто бы вживался в собственную жизнь, обширную и разветвленную, в свои переживания разных возрастов, в переживания своих близких, а из этих переживаний и возникли грандиозные произведения. Ведь даже «Войну и мир» без большой погрешности можно назвать по-другому: «Война и семья».

А Гоголь?

У того и биографии-то не было, и сам-то он был хилым, неврастеничным человеком, мало что на свете видел, мало что пережил, не влюблялся (так, пустяки, кажется, какие-то!), отцом не был, семьи не имел, практическими делами не занимался, не умел, а ведь тоже — какие грандиозные образы создал! Тарас Бульба! Да такого и у Толстого-то нет! А Чичиков?! Какая предприимчивость, какой делец и юрист! А Собакевич?! А Ноздрев? А поищите-ка в мировой литературе такого же веселого проходимца — Хлестакова!

Спрашивается: какую же роль играет биография в творчестве писателя? Может быть, никакой? Может быть, в принципе, теоретически писателю и вообще не нужна жизнь, она только мешает ему, и самый лучший, идеальный вариант — это не писатель имярек, а некое творческое вещество, которое не живет никакой другой жизнью, кроме творческой?

Действительно, зачем идеалу жизнь? Чтобы коверкать свою идеальность? Чтобы растрачивать себя попусту и не по назначению?

Но вот в чем дело: и Толстой, и Гоголь оба в одинаковой мере были жертвами литературы, ее рабами. Причем добровольными, а ведь добровольное и даже восторженное рабство — это худший вид рабства. Ну да, один был рабом по причине богатства своей жизни, другой — по причине ее бедности.

Вот я и думаю: где та причина, которая и меня сделала бы рабом литературы? Настоящим, пресмыкающимся и безропотным рабом?

Где она? Неужели ее нет? И не будет никогда?

Да, как это ни странно, но я часто (а теперь и все чаще) вспоминаю о своем первом, действительно неудачном браке, о первой своей жене Фаинке, о нашем неуклюжем, длинном и нерешительном разводе. Который я никак не могу забыть. Почему не могу? А, знаете, потому, наверное, что во всей этой ситуации я был достаточно благородным. Вот так: не только достаточно, но и попросту благородным, а ведь собственное благородство — вещь, кажется, незабываемая? Когда его и доказывать-то никому нет никакой необходимости, когда оно долгое-долгое время, может быть, до самого конца жизни, нужно только тебе самому, больше никому? Когда вполне отдаешь себе отчет в том, откуда оно взялось, твое благородство.

Я понимал, что обманул Фаинку, вот оно оттуда и взялось — из этого обмана.

Я ей, молоденькой, миленькой и такой доверчивой девчушке, долго и усердно объяснял, какой я писатель, какой замечательный, какой необыкновенный, ну, а она, конечно, поверила. Разумеется, я говорил ей «буду», но ведь, если буду, значит, уже есть — без «есть» какое же может быть «буду», откуда оно возьмется?

И вот объяснения этого «буду», а вовсе не объяснения в любви и стали нашей любовью. Да еще такой светлой, такой живой и дорогой! — мы сколько ни смотрели с Фаиночкой вокруг себя, ни у кого такого не было, такого света, такой увлеченной доброты друг к другу. Теперь-то я думаю, что мы с самого начала понимали, что все это наша выдумка, мечта, но разве мечта не может быть любовью? Вот мы и мечтали, мы смотрели на звезды, на небо, на землю, на траву под нашими ногами, стараясь вместе запомнить все это, запомнить для страниц моего (нашего!) будущего рассказа, будущей повести. Сегодня мы смотрели вокруг себя молча, а назавтра рассказывали друг другу, что и как каждый из нас запомнил — какие краски, какие запахи, какие звуки, предметы какие. В троллейбусе мы со всем вниманием вслушивались в разговоры людей, в их слова и фразы, улавливали в этих разговорах

сюжеты и опять рассказывали их друг другу, украшая их собственным воображением,— откуда что бралось!

Такое было у нас с Фаиночкой литобъединение!

Когда мы поженились, мы и еще порассказывали друг другу разные сценки, сюжетики, рассказики, повестушки, романчики, но ни рассказов, ни повестушек, не говоря уже о романе, у меня почему-то не появлялось и не появлялось, зато появилась Светланка, иначе говоря — дочка появилась у нас, младенец. И жизнь втроем появилась в одной комнате коммунальной квартиры.

Об этом рассказывать не буду, всем это известно, даже тем, кто сам через это не прошел, ничего неожиданного: каждую ночь садишься на краешек ванны, кусок картона на коленях, листок бумаги на картоне — пиши не хочу! Хоть «Войну и мир» пиши — кто станет возражать? Никто не станет. Все жанры тебе подвластны, знай только властвуй!

И вот я не стал больше врать, а честно Фаиночке признался: нет у меня никакого «буду». Нет, и только.

А Фаинка взвилась — как так нету? Куда оно девалось? Почему было и не стало? Этого не стало, а что стало вместо этого?

А когда я ни на один вопрос не смог ответить, она начала меня презирать, и такие у нее оказались способности к этому делу — к делу презрения человека,— что она и сама себе, бывали моменты, удивлялась: «Вот ехидна так ехидна — надо же!»

А тут еще беда — у нас квартира без дверей. Вот когда я почувствовал, что это беда! Одна дверь в общий коридор, а внутри квартиры — ни одной! Ведь как часто приходится слышать о том, что он (она) «хлопнул дверью». А тут — слышать об этом слышишь, а самому ни-ни! — хлопнуть нечем! Дверью, которая в коридор? Так это бесполезно, ничего, кроме лишних недоразумений с соседями!

Ах, какое это великое изобретение, какое достижение ума человеческого — двери, и как обидно, как нелепо, что в век цивилизации, когда ты запросто летаешь на воздушных лайнерах и читаешь журнал «Знание — сила», это достижение тебе недоступно, ты до него все еще не дорос.

В пещерах у неандертальцев дверей не было, они до этого не доросли, вот и ты тоже не дорос.

Банальная история!

Она была бы совершенно банальной и мерзко-скучной, о ней и рассказать-то было бы нечего, если бы, повторяю, не мое благородство, которое тут-то и возникло. Бывали минуты, когда Фаина просила, даже умоляла: «Ну, пообещай, Вова, еще! Пообещай хоть немного!»

Но я молчал.

Когда она просила в последний раз «Пообещай!», я знал, что это в последний раз, она знала, что я об этом знаю,— я все равно молчал.

Ну а насчет того, что Фаина, этакая прелесть, хоть и со Светкой на руках, но все равно в девках долго не засидится, сомнений никаких не могло быть. У нее-то ее «буду» было не таким, как у меня, оно было верняк.

И теперь, когда у нее другая семья и детки ухоженные, и квартира полнометражная, и когда она ни с кем не скандалит, не ехидничает, она и сама оказалась очень хорошей: вспоминает, что всем этим обязана моему благородству. Я ее встречал не раз — она вспоминает.

Ну а я кому? Обязан?

Я обязан литературе. Ей-богу! Той самой проклятой прозе. Что-то все-таки она в меня вложила, какое-то благородство, что-то мне объяснила. Я понял, что покуда многие-многие люди через мои книги поймут, что литература во мне живет и жила всегда и неизбежно, она сначала должна пожить во мне одном, я и говорить-то о ней не вправе ни с кем. Ни с Фаинкой, ни с Людочкой, разве что с самим собой, да и то шепотом, с робкой надеждой на то, что когда-нибудь я стану ее рабом.

Да что там рабом. Рабство такого рода — это только прелюдия, предисловие.

А нужно смотреть в корень, то есть в эпилог. Эпилог же таков...

Разве Толстой, разве Гоголь кончили рабством? Нет, они кончили крахом... Толстой убежал из дома, Гоголь сжег рукописи и сам умер страшной смертью.

Чем больше примеров, тем заманчивее мечта: вот бы и мне, Владимиру Густову, такой же крах! Вот бы и мне.

А еще меня все время спрашивают: в чем содержание? Содержание?! Боже мой, да его сколько угодно! Не говоря уже о своих собственных семейных отношениях,

семейные отношения всех твоих друзей-приятелей — это такие содержательные сюжеты, дух захватывает! А отношения на работе? А отношения каждого человека с окружающим миром? Право, не знаешь, куда деваться от содержания!

Все дело — в форме. Придать содержанию форму рассказа, повести, романа — вот задача!

Принято считать — задача литературная, проблема искусства.

А ничего подобного, это задача нашего существования, всей нашей жизни. Жизни ведь сколько угодно и самой содержательной, а вот формы для всего этого мы, люди, ищем, ищем... Так что проблема формы и содержания — это вовсе не искусствоведческая проблема, отнюдь, более всеобщей проблемы, может быть, и вообще никогда не было и не будет.

Хорошо зайцам: у них полная гармония между формой и содержанием жизни. И воробьям хорошо. И гиппопотамам! Они-то сформировались давно, войны между собой не затевают. Каждый знает свое неизменное место в этом мире и потому творчеством не мучается.

А я вот мучаюсь. Слишком. И завидую Гоголю. Вот уж кому завидую, вот уж чей крах — поистине недосягаемая вершина.

Завидую крупно, а в то же время мелочусь, мелочусь, и так мне хочется, так мне соблазнительно и необходимо рассказать о себе — какой я писатель, какая личность, какой индивид и что стоит за этой подписью:

Вл. Густов, ст. инженер-сантехник.

* * *

Саша! Друг!

Такое дело, такой вопрос: я посылаю на имя вашего главного мировой рассказ, почти что повесть — «Вынужденная посадка».

Или я ничего не понимаю в литературе и вообще стопроцентная бездарь, или «Посадка» — мировой рассказ, пожалуйста, объясни это своему главному!

Объясни это ему толково, а чтобы у тебя были в руках доказательства того, что он имеет дело с настоящим, стопроцентным писателем, я направляю еще и посла-

ние, в котором повествую о некоторых своих взглядах на такой предмет, как проза. Вдруг поможет? Ведь главный же должен знать, с кем он имеет дело.

Живу ничего.

Купил Вовке велосипед. Какие выводы следуют из этого факта?

1) Живем ничего.

2) Физически и морально здоровы.

3) Обладаем необходимыми условиями существования, то есть временем (чтобы купить велосипед — эти машины теперь редко бывают в продаже, надо искать да искать) и пространством (вокруг нашего дома, где Вовка уже катается на велосипеде).

Вот если бы вы дали мою «Посадку» в 11-м номере! Вот было бы событие! Каждый год 10.XI мы созваниваемся с Ф. В этот день мы когда-то развелись. Вот мы и поздравляем друг друга с днем освобождения.

Теперь представь себе, что одновременно с поздравлениями я сообщаю Ф. о своей публикации и советую: «Прочитай! Прочитай обязательно: среди героев (героинь) «Вынужденной посадки» ты обязательно узнаешь и себя! А еще мне кажется, что сюжет этого рассказа мы выдумали вместе, на два голоса, во времена нашей глубокой юности».

Так не забудь же, Сашок, про своего главного!

Твой старший инженер-сантехник *Вл. Густов.*

Друг мой, Володя!

Ты же знаешь, как я к тебе отношусь, с какой неизменной теплотой, и вот я беседовал со своим главным один час и семнадцать минут (1 ч. 17 м.).

Я объяснил ему, что мы имеем дело с выдающимся прозаиком Владимиром Густовым, что он может в этом убедиться, сравнив его «Вынужденную посадку» с общепризнанными и всячески отмеченными романами таких авторов, как А-в, Б-в, В-в, Д-в...

Я утверждал, что это преступление — пятый раз подряд отвергать произведения В. Г-ва (Владимира Густова).

Главный чесался, вздыхал, кажется, сучил ногами под столом, но не прогонял меня (мы вместе болеем за ЦСКА, за «Торпедо» и за Карпова).

Потом главный сказал: «Ну, ладно, ладно... Журнал

не резиновый. Нам обещали увеличить объем на один лист, когда увеличат, тогда и напечатаем...»

И тут я положил перед ним твое письмо по поводу прозы вообще — так, что ли, его можно назвать? — и сказал, что не уйду из кабинета, пока он не прочтет это «эпистолярное наследство».

Главный читал, чесался, вздыхал, ногами под столом, кажется, не сучил.

Потом сказал: «Ну, ладно, ладно... Посмотрим, посмотрим...»

Вот такие новости. Других нет.

Привет Вовке (он еще не сломал велосипед?) и Людочке (она еще не убежала от тебя-зануды?).

Твой друг *Саша Пл.*

Из редакционной переписки

«Исходящее»

Уважаемый тов. Густов!

Ваш рассказ требует большой доработки, если вообще есть смысл его дорабатывать.

Ведь уже сюжет внушает большое сомнение. Ну в самом деле, Вы пишете, будто некий самолет совершает вынужденную посадку в пустыне, к тому же он теряет связь с внешним миром, и пассажиры, оставаясь в неведении о том, где они и что их ждет, каждый выдвигает на этот счет свою версию, причем это версии как бы даже существования (или же конца?) всего современного человечества.

Да — ни больше и ни меньше, а именно так!

Очень путаная и несостоятельная ситуация.

А женщина, которая почему-то одна уходит в степь? Надо объяснить этот факт — она нормальная?

Куда как странно, нереально и неубедительно!

Стиль Вашего рассказа тоже заставляет желать лучшего. Что, например, может значить «выигрыш по проигрышу»? Ведь Вы же пишете для массового читателя, как такой читатель это поймет? С другой стороны, такое выражение, как «серое небо», слишком избито и тривиально. Ну а как представить себе «пестрый аэропорт» или «корявое поле»? А что за слово «бзик»? Его нет не только в толковом, но даже и в орфографическом словаре. Или вот Вы пишете: «Вошли в крестовый

дом». Что значит «крестовый», зачем выдумывать слова? Пишите по-русски: «Вошли в дом крестом».

В дальнейшем желаю Вам творческих успехов.

Литературный консультант,
член Союза писателей *А. Кулебякин.*

P. S.

Правда, Ваше сопровождающее письмо, которому Вы дали неуклюжее название «Несколько слов о себе и моей прозе», заинтересовало главного редактора.

Уважаемый Владимир Иванович!

К сожалению, рассказ «Вынужденная посадка» мы напечатать не можем. Вы, вероятно, уже получили по этому поводу подробное письмо нашего консультанта.

Но присланное вместе с рассказом сопроводительное письмо, которому Вы дали не совсем удачное название «Несколько слов о себе и моей прозе» и которое Вы адресуете как бы даже не редакции, а вообще говорите о своем отношении к прозе, это письмо обратило на себя внимание главного редактора, и он предлагает опубликовать его под названием «Проза» (в скобках «рассказ»).

Просим сообщить, считаете ли Вы возможным такую публикацию? Под Вашим настоящим именем или под псевдонимом Вы хотите ее видеть?

Просьба не задерживать с ответом.

Зав. отделом прозы *О. Худяков.*
(Рукой редактора А. Плиточкина:
«О! Худяков»).

Саша! Друг!

Что же, и в твоих глазах я тоже не писатель?

О литературе рассуждать могу, рассуждения подлежат публикации, а как же с рассказом?

Как с «Вынужденной посадкой»?

Никак?!

Ответ жду срочно. Телеграммой.

Кроме тебя, мне ответить некому.

Твой *Вл. Густов.*
Сантехник? Инженер? Прозаик?

1985

«ЖЕНЩИНА И НТР»

После беготни по обеим сторонам улицы и через улицу, уже отчаявшись приехать без опоздания, Кузьменковы поймали такси, втиснулись на потрепанное сиденье, отдышались.

— Я бы лучше пуговицу пришила...— сказала Надежда Васильевна.— К твоей дубленке пуговицу.

— Полгода собираешься...

— И три года собиралась бы, а сегодня вечером, перед сном, даю честное слово, пришила бы! Я сегодня в метро видела: на мужчине дубленка, а на дубленке — одна пуговица. И сразу же тебя вспомнила — стимул. Тут не хочешь, так вспомнишь.

— Я тоже в метро видел мужчину без пальто и без шапки. Но тебя не вспомнил.

— Да-а, закаленный мужчина... или — сбежал откуда-нибудь... С работы. Ноль градусов, мокрый снег — и безо всего?! Как имя-отчество? Почему-то, хоть убей, не запоминается? Ну, к кому мы едем — как имя-отчество?

— Запомни раз и навсегда: член-корреспондент Академии наук эс эс эс эр Анатолий Агафонович Бурляй!

— Без тебя знаю, что Бурляй. И без тебя знаю, что член-корреспондент. Подумаешь, не видела я членов-корреспондентов!

— Директор крупнейшего НИИ, крупнейший ученый — и дает интервью какому-то журналисту?! Какому-то Кузьменкову — должна ценить!

— Сколько раз тебе говорила: не самоуничижайся! Мне это не нравится!

— ...интервью на самую животрепещущую тему — об энтээр. А если удастся, то и еще более конкретно: «Женщина и эн тэ эр»! Ни один читатель не останется равнодушным, не пройдет мимо!

— Может, и не пройдет... А я-то зачем твоему Бурляю? Агафоновичу?

— Я подробно объяснил ему содержание предстоящего интервью, и не раз, а он спросил: «У вас, конечно, есть жена?» Я сказал: «Конечно, есть!» Он сказал: «А что если пригласить и ее? Для такого разговора это было бы интересно?!» Я сказал...

— Он спрашивал — молодая у тебя жена?

— Спросил. Для порядка. Каждому и так понятно, что жена бывает не старше мужа.

— Всякое бывает... А что ты еще натрепался ему обо мне? Он позвал меня — значит, натрепался?

— Сказал, что ты молодая...

— Он, поди-ка, будет на меня смотреть?

— Наверное, посмотрит. Вот что, Надежда, мне нужно сосредоточиться — очень ответственное интервью, как никогда в жизни... Мне нужно сосредоточиться, помолчи!

— Подумаешь! Не видела я членов-корреспондентов. Добра-то!

Панели в кабинете Бурляя были чересчур темными и чересчур блестящими. Люстра — слишком скромная, деревянная и домашняя, ей бы в чьей-нибудь спальне висеть.

А Бурляю было заметно за пятьдесят, и на лице отчетливо выступал большой нос... Не такой большой, но отчетливый. Красный галстук на нем тоже был слишком большой и слишком отчетливый.

Когда Вовка поставил перед Бурляем на стол магнитофон и задал первый вопрос: «Скажите, Анатолий Агафонович, в чем, на ваш взгляд, сегодня особенно заметно сказывается влияние энтээр на нас, простых людей, и особенно — на женщин?», Бурляй очень внимательно посмотрел на Надежду Васильевну, словно угадывая, что она думает по этому вопросу... И даже — словно угадывая «кто она? что за женщина?».

«Ну? Какова?» — тоже взглядом ответила Надежда Васильевна, и, к ее удивлению, Бурляй несколько смутился. «Может, изобразил смущение? — подумала она.— Может, это у него в привычке — до поры до времени изображать смущение? И скромность?»

— Видите ли,— заговорил Бурляй глуховатым, но симпатичным голосом,— видите ли, на мой взгляд, эн-

тээр, как и всякое глобальное явление, действует и проявляется во всем и повседневно. Поэтому она и не может быть определена точно и схвачена за руку. Дело в том, что она рассеяна повсюду.

— Ну, да,— кивнула Надежда Васильевна.— Как рассеянный склероз.

Бурляй еще внимательнее посмотрел на Надежду Васильевну и, наверное, что-то сказал бы ей, но тут вмешался Вовка:

— Вы, Анатолий Агафонович, можете говорить подробно и не стесняясь во времени. Ваше выступление в «Комсомольской правде» заинтересовало очень многих, но там, чувствуется, вы были стеснены газетной площадью. А наш журнал может предоставить вам любой объем — печатный лист и даже больше. Итак — на чем мы остановились? Надежда! Не прерывай, пожалуйста, Анатолия Агафоновича, Надежда! — Бурляй все еще молчал, и Вовка еще подбодрил его: — Вы, Анатолий Агафонович, не философ, не социолог, не экономист, не футуролог, не... вы крупнейший авторитет в области биологических наук и поэтому, естественно, смотрите на проблему как бы со стороны. И со своей собственной, независимой точки зрения. А это — особенно интересно! И ценно!

Опять наступило молчание, Надежда Васильевна решила рассеять его:

— Можно мне задать вам вопрос? Мне — вам? — спросила она.

— Пожалуйста, пожалуйста! — охотно согласился Бурляй.— Подключайтесь к нашей беседе.

— У меня вопрос такой: что, по-вашему, будет после энтээр? Еще какая-нибудь революция? Значит, перманент? Или, наконец-то, наступит нормальная эволюция?

— Надежда! — не на шутку возмутился Вовка.— Надежда?! Ну что у тебя за вопрос? Ты только подумай, где в нем логика? Какая?

— Как это — какая? Нормальная: все, что бывает — когда-нибудь кончается. А что не кончается, того не бывает. В чем тут ненормальность?

— Ну а Вселенная — тоже когда-нибудь кончится? — улыбнувшись, спросил Бурляй.

— Вселенная, Вселенная...— задумалась Надежда Васильевна, а потом догадалась: — Ну, так ведь Вселенная и не начиналась никогда. А энтээр началась на

моих глазах, я свидетельница, значит, она обязательно должна кончиться. Все кончается, чему есть свидетели.

— Может быть... может быть,— снова задумался Бурляй.— Но дело в том, что одной эпохе не дано предвидеть другую. Во время феодализма никто не предполагал капитализма. Во время капитализма никто не предполагал энтээр.

— Но во время капитализма уже предполагался социализм. А социализм отчетливо предполагает коммунизм! — не сдавалась Надежда Васильевна.

— Надо выключить магнитофон! — сказал Вовка, глубоко вздохнув.— Поговорим для начала отвлеченно, а когда нащупаем существо вопроса, включим снова. Кассеты надо экономить.

— Ну, да! — усмехнулась Надежда Васильевна.— Знаю я твою технику: ты ее выключишь, а потом она не включится. Вот будет экономия — смех!

— Да! — сказал Бурляй,— давайте сразу же брать быка за рога. И тут я должен сказать, что очень важно сосредоточить в нечто целое разобщенные между собой подсистемы энтээр. Дело именно в этом!

— Вот-вот! — обрадовался Вовка.— Вот-вот, а нельзя ли, Анатолий Агафонович, эту очень интересную мысль продемонстрировать каким-нибудь конкретным примером? Все равно каким, но — конкретным?!

— Все дело в том, что энтээр нуждается в четкой структуре. Ибо она... ибо ее тоже ведь можно рассматривать как некую пусть и глобальную, но организацию. Без этого она еще не является чем-то цельным. Цельной системой.

— И еще, и еще, Анатолий Агафонович. Если бы и к этой мысли и еще один конкретный пример? Если бы?! — прямо-таки дрожал от нетерпения Вовка.— Если бы!

— Дело в том, что вы только представьте себе, сколько в энтээр существует подсистем? Подсистема создания новой техники — это раз! Подсистема — почти самостоятельная! — внедрения этой техники в производство — два! Идеологическая система и опять-таки внедрение ее в сознание людей — три. Подсистема образования и воспитания людей, близкая к третьей и все-таки вполне самостоятельная — четыре! Охрана природы, иначе говоря, экологическая — пять. Демографическая... это у нас уже какая — пятая или шестая? Подсистема?

— Это шестая, Анатолий Агафонович... Давайте фиксировать наше внимание на следующей — на седьмой! — торопил Бурляя Вовка.— Давайте!

— Давайте! — согласился Бурляй.— И возьмем следующей, седьмой, подсистемой проблему... эмансипации женщины. Ведь это явление, начавшееся еще в прошлом веке, еще тридцать лет тому назад, выглядело совершенно иначе, чем сегодня. И здесь тоже произошли принципиальные, коренные сдвиги! И эта подсистема тоже нуждается в том, чтобы вписать ее в общую картину энтээр. Как вы думаете, Надежда...

— Васильевна...— Как будто даже и не совсем уверенно подсказал Вовка...

— Как вы думаете, Надежда Васильевна? Что вы думаете об этом искусственном разделении?

— Искусственном? — пожала плечами Надежда Васильевна.— Как сказать... Для ученых и для журналистов оно может быть искусственным, это так, но ведь для самой-то энтээр, может быть, это естественное состояние? Она, может быть, другой, неразобщенной по разным подсистемам, попросту быть не может — энтээр?

— Ты меня извини, Надежда,— сказал заметно покрасневший Вовка,— но только ненормальный ум может признать такое неестественное разобщение нормальным. Только!

Надежда Васильевна уже открыла рот, чтобы хорошенько выдать Вовке, но тут поторопился Бурляй:

— Надежда Васильевна,— сказал он.— Дорогая! Дело вот в чем: нам надо перейти к более конкретной и к более интересной для вас беседе. И вот я предлагаю как бы начать нашу беседу заново, и не вы передо мной, а уже я перед вами поставлю такой вопрос: отмечаете ли вы в нашем современном обществе тот факт, что чем дальше, тем все больше и больше женщина выступает в роли воспитательницы мужчин? Поясню вопрос. В детских садах все без исключения воспитательницы — женщины, в школе — в большинстве случаев они же, в младших классах исключительно они. Если хотите, это тоже открытие эпохи энтээр. От-кры-тие! А ведь мальчик должен воспитываться мужчиной, это прекрасно понимали в прошлом, когда, помните, девочек воспитывали гувернантки, а мальчиков — гувернеры?

— И репетиторы! — согласилась Надежда Васильевна.— И учителя фехтования!

— Ну, вот, значит, помните?! — дружески и даже мило улыбнулся Бурляй.

— Нет, не помню...— сокрушенно вздохнула Надежда Васильевна.— Но виноваты в этом исключительно мужчины. Ведь вот же — женщины? Энтээр в нашем веке или что-то другое, но женщины, как воспитывали детей, так худо ли — хорошо ли, а продолжают их воспитывать, а мужчины? Кто из них принес себя в жертву следующему мужскому поколению и пошел воспитателем в детский сад? Не знаю ни одного случая! Кто из них пошел учителем в первый класс? Тоже не знаю случая. Знаю только, что мужчины недовольны тем, как женщины воспитывают мальчиков. Знаю, что они удивляются, когда женщины воспитывают их, мужчин. А чему удивляться? Совершенно нечему! Если я привыкла воспитывать двенадцати- или пятнадцатилетнего мальчишку, почему бы мне не воспитывать сорокалетнего мужчину? Не такая уж между ними большая разница. Тем более, что мужчины не воспитывают ни мальчиков, ни девочек, у них и не может быть никакого опыта. А женщины воспитывают и тех, и других — у них опыт есть. Вы меня поняли? Поняли, что мужчины очень любят сваливать свои обязанности на кого-нибудь — на машины, так на машины, на женщин, так на женщин. Свалят, а потом еще и назовут это каким-нибудь открытием. Например, эн-тэ-эр.

Надежда Васильевна никогда не считала себя женщиной излишне самонадеянной, но сейчас она, кажется, была довольна собой. Она улыбнулась Бурляю доброй улыбкой и еще сказала:

— Когда наш сын, наш Колюнька, был маленький, он всем объяснял: «Когда моя мама была маленькая, меня еще не было!» И очень радовался этому...

Вовка спросил:

— Ты это к чему? Надежда?

— Думаю о том, как уже в детстве мужчины радуются своим открытиям...

Вовка нервничал. И совершенно напрасно. А если напрасно, значит, дело его личное.

Бурляй молчал. Потом он сказал:

— Дело вот в чем: мне кажется, нам есть смысл вернуться к началу нашего разговора... Интересного, в общем-то, разговора. Конечно, есть... Так вот, дорогая Надежда Васильевна, вы удивили меня с самого начала, когда спросили: а что будет после энтээр? Мы еще

и в самой-то энтээр не до конца разобрались, все еще нет, а вы уже хотите знать, что будет «после»? Вы знаете, дорогая Надежда Васильевна, я и не припомню, чтобы кто-нибудь и когда-нибудь так ставил вопрос! В такое время живем, что уже завтра может и не быть никакого завтра, тем более — следующего десятилетия или года. Неужели вы ничего этого не знаете, не придаете этому значения, если спрашиваете, что будет «после»? После энтээр?

— Ну, как всего этого не знать — я взрослая женщина. И вот мало ли я, взрослая женщина, знаю разных неприличных вещей? И очень-очень грустных? И очень несправедливых? Что же мне делать, если я все это знаю — жить неприлично? Жить очень грустно? Несправедливо? Нет, я предпочитаю, что бы там ни было, жить прилично, не совсем грустно и как можно справедливее. Еще я предпочитаю знать, что будет после того, когда кончится то, что есть? Чем оно продолжится? Если ничем, тогда какой смысл в нашей сегодняшней беседе? А что предпочитаете вы?

Бурляй постучал пальцами по столу и сказал:

— Кажется, есть какая-то логика...

— В чем? — спросила Надежда Васильевна.

— В вашем ответе. На мой вопрос.

— Наверное, есть! — согласилась Надежда Васильевна.— Исключите из моего ответа логику, что в нем останется? — А вот это она произнесла таким тоном, которым говорила с Колюнькой, когда что-нибудь объясняла ему. Правда, таким же тоном, и нередко, она разговаривала и с Вовкой. Она знала, что это дурная привычка, но не так-то просто отделаться от привычек, тем более, если они тебя то и дело подводят.

Но не успела она до конца сообразить — обидела она Бурляя или не очень, как вмешался Вовка:

— Анатолий Агафонович! — воскликнул он, впадая в панику.— Анатолий Агафонович, пожалуйста, не обращайте на нее внимания: она завелась! С ней это бывает, чистосердечно признаюсь — бывает, но я никогда не думал, не предполагал, что она заведется сегодня, в вашем присутствии! Не успели как следует поговорить, она — уже!

— Ну и что же, что завелась! — пожала плечами Надежда Васильевна.— По-моему, мужчины должны благодарить бога за то, что женщины все еще заво-

дятся... Сами по себе.— Потом она и еще сказала: — Вова! Иди покури, Вова! А?

— Господи! — еще больше взвился Вовка.— Год как не курю!

— Разве? Тогда просто так иди проветрись, Вова...

Вовка сидел неподвижно, вытаращив на нее глаза. Надежда Васильевна смотрела на него в упор, потом приняла решение:

— Ладно...— сказала она.— Пусть будет так: я первая проветрюсь. Вот здесь. У окна.— Она встала из-за стола и перешла к окну, где вдоль всей стены выстроился чинный ряд стульев. У окна она быстренько припудрилась, поправила прическу, вообще устранила все неполадки, возникшие во время разговора за столом, и снова посмотрела на Бурляя: что он скажет?

— Дело вот в чем,— задумчиво сказал Бурляй.— Действительно, в нашей дискуссии необходима аспирация.

«А мне теперь все равно! — ответила Бурляю сердитым, непримиримо-сердитым взглядом Надежда Васильевна...— Если уж ты, паршивец, не приглашаешь меня обратно за стол, по мне — хоть десять аспираций! Уйти мне, что ли? Совсем? Хлопнуть дверью и уйти?!»

Но она не ушла, а внимательно стала смотреть в окно.

На улице совсем стемнело, еще больше стало мокрого снега и слякоти, плотнее стали толпы пешеходов, особенно тех, которые по сигналу светофора туда-сюда пересекали улицу, еще больше пожелтели фары автомашин, которыми они упирались в толпу, и почему-то невозможно было представить, что в этой толпе был хоть один счастливый человек. А ведь, наверное, был! Минуту Надежда Васильевна изо всех сил сопротивлялась желанию заревсть, и вдруг ей пришла такая мысль: а ведь она хорошая женщина! — подумала она.— Конечно, хорошая! Ее обидели, а она спокойно-тихо отошла к окну, смотрит в окно, о чем-то там своем думает, никому не мешает... Дальше — больше, и она не заметила, как решила стать еще лучше и вечером обязательно пришить пуговицу к Вовкиной дубленке, проверить у Колюньки уроки и подарить ему новую авторучку... Пожалуй, она так и сделает... Сегодня вечером Вовка будет рвать и метать, зачем она мешала его разговору с Бурляем, а она будет молча улыбаться и пришивать пуговицу. Пожалуй, сегодня вечером она вооб-

ще начнет новую жизнь и никогда больше не будет ругаться с Вовкой. Все! С этим завязано навсегда! Вовку тоже надо понять: сорок два, критический возраст, он или застрянет на том, что он есть сегодня, или пойдет и пойдет в своем развитии вперед. Пусть идет вперед — у него есть данные, его только нужно поддержать, нужно быть ему настоящей опорой. Чего греха таить — она, конечно, была ему опорой, настоящей, но ведь не всегда? Кроме того, Вовка совершенно не виноват во всем том, что произошло, ведь это же Бурляй ее пригласил. Бурляй хозяин этого кабинета. Он и должен вести себя с гостями прилично. С гостьей — особенно... «Женщина и НТР»?! Да что он понимает в женщинах, Бурляй? А если понимает — спрашивается, в каких? Да Надежда Васильевна скорее умрет, чем окажется среди тех женщин, в которых понимает Бурляй! А что он понимает в НТР? По всему видно — ничего, разве только в каких-нибудь энтээровских подделках! Чует, чует ее сердце, что так оно и есть, а сердце Надежды Васильевны еще не подводило ее, особенно — когда дело касалось мужчин. А Вовка — мало ли что — и все равно хороший. Молодой, стройный, нос нормальный. Удивительно: у Бурляя лицо круглое, а нос большой! Надо же! На круглых лицах нос, как правило, бывает небольшим, больше — на лицах вытянутых. Ну, все это пустяки, сущие пустяки, другое дело — почему в семье Кузьменковых с самого начала повелось, что Надежда Васильевна стала Надеждой Васильевной, а Владимир Владимирович — Вовкой? А если бы наоборот? Если бы Надежда Васильевна была Надькой, а Вовка — Владимиром Владимировичем? Тоже нехорошо, но лучше, чем теперь... А когда Надежда Васильевна вошла нынче в кабинет, она произвела на Бурляя гораздо большее впечатление, чем он на нее. И думать нечего — большее! Она отлично вписалась в этот слегка сумрачный кабинет, в котором заметны далеко не все морщинки на лице, но прекрасно обозначается все еще стройная фигура... И хорошо звучит голос. Будь она мужчиной и членом-корреспондентом, она обязательно заинтересовалась бы Надеждой Васильевной, и ей захотелось бы так повести разговор, чтобы ее пронзительное выражение лица, чтобы ее певучий голос распахивались навстречу собеседнику... Вплоть до какого-то предела... Но где ему, Бурляю — мальчишка! Совсем еще мальчишка, ничуть не страшный. А чтобы привлечь внима-

ние настоящей женщины, нужно чуть-чуть, немножко, а все-таки устрашать. К сожалению, Надежда Васильевна уже несколько лет как никого и нисколько не страшилась, все мужчины для нее на одно детское лицо. Это старость, вот что это такое. В то же время представить себя старой, хоть убей, Надежда Васильевна не может. Ради молодости она могла и Вовку любить, и ссориться с ним, и по гамбургскому счету, без зрителей, без аплодисментов, а где-то там, за кулисами жизни, бороться за эту жизнь, а ради старости? Боже мой, нелепо-то как?! Женщина запрограммирована на молодость, а что сверх того, то и сверх ее личной программы, то уже налог в пользу семьи, общества и государства — вот что надо было бы сию минуту записать на магнитофон! Прервать мудрецов от энтээр и записать немедленно! Пусть после этой записи они продолжают свое, бог с ними! Пусть и дальше Вовка таращит глаза на Бурляя и дважды в каждой своей фразе с придыханием повторяет: «Анатолий Агафонович! Анатолий Агафонович!», пусть Бурляй каждую фразу начинает или с «дело в том что», а реже — «в чем тут дело?» — пусть, но сначала их надо прервать, перебить и записать ее требование молодости. Вот какую революцию надо всем искать — чтобы она продлила молодость женщин до семидесяти лет! Вот что надо записать в эту беседу! Но почему-то нельзя... И нельзя почему-то... А женщина молодая и женщина старая — только биологический вид один, но существа разные, они друг друга не понимают, не предвидят и не вспоминают. Образ жизни у них разный, способ мышления — разный, все у них другое. Так как же уже сейчас бороться и жить ради этого другого, неизвестного и нежеланного? А может, все-таки дело в том, что она уже разлюбила Вовку? Вот полюбит кого-нибудь под занавес и под занавес помолодеет?! Если ты можешь так стараться ради старости, значит, ради молодости чего только не сделаешь? Если бы вдруг большая любовь — тогда о чем разговор, тогда — очертя голову! Хоть и страшно — все равно очертя! Хоть и радуешься втихаря, что вот годы идут, а ее, слава богу, нету — большой, может, так и пронесет, минует, но если все-таки она явится — значит, очертя...

Впрочем... Еще одно-два поколения переболеют этой возрастной болезнью, а там энтээр обеспечит женщин каким-нибудь витамином, какой-нибудь машиной, какой-нибудь барокамерой — и все! Почитывай себе «Ан-

ну Каренину» и удивляйся: «Надо же? Как это у них там было, у варваров?! Под поезда бросались... И поезда-то ходили со скоростью тридцать километров в час — все равно бросались...»

Бурляй сказал у себя за столом:

— Тут в чем дело? Дело в том, что любовь и материнство — это две составляющие, которые до сих пор определяют психологию женской половины человечества. Поэтому, прогнозируя наше будущее, мы можем не думать об эволюции, а может быть, и о революции в этой области, об этих высокодуховных сферах и вершинах.

«Ух, ты — на какие высоты забрался Бурляй-то»,— удивилась Надежда Васильевна.

— А-а-альпинисты...— сказала она негромко, чтобы не быть услышанной.— Верхо-о-лазы...

И снова задумалась. О самой себе... Вообще она стала чаще оглядываться на себя недавнюю. Еще недавно она не чувствовала в себе ничего прошлого, вот и не на что было оглядываться... Было только настоящее, настоящее, живое, чистое и свежее вещество жизни, которое природа поручила Надежде Васильевне воплотить в жизнь — в фигуру, в формы, в кожу и в глаза, в голос и в движения. Такая миссия. Само собой разумеющаяся, так что и заметить-то эту миссию было невозможно, и слов о ней не было никаких. Конечно, и тогда бывало не только счастье, и тогда было все, но даже и это все становилось лишь досадной принадлежностью жизни, но никак не самой жизнью.

И только когда миссия стала исчезать, она ее заметила, и стала поторапливаться жить, и догадалась, что не грех всерьез подумать о том, как она выглядит, какую носить прическу, какое бы завести платье, какие туфли, какую к туфлям сумочку. У нее не было особых возможностей одеваться, посещать дорогие парикмахерские, тем больше надежд она возлагала на себя — на свой вкус и сообразительность, потом она подумала, что с ее вкусом и сообразительностью пора поторопиться и замуж... Теперь-то она знает, что проявила тогда излишнюю самонадеянность и вот выбрала себе мужа в туристском походе, у костра, в виду ласково-лунного Черного моря. Как красиво, как... и все-таки очень скоро она почувствовала желание написать прокламацию: «Девушки! Не выбирайте мужей в туристских походах!» Это крупным шрифтом, а ниже — нормаль-

ный текст с разъяснениями по существу дела. Она других очень хотела предупредить, себя-то она утешила: «Зато — опыт, опыт!» И с этим опытом довольно скоро вышла второй раз — за Вл. Кузьменкова, журналиста. Теперь-то она знала, как не надо растрачивать себя, как надо беречь свою, хоть и не первую, а все-таки молодость, как сохранять в себе эту уверенность: «Да-да — еще молодая!», «Нет-нет — еще не старая!», она знала, как это губительно — изо дня в день считать себя несчастной. Считать надо уметь так, чтобы, несмотря на последовательное убывание чувства молодости, результат получался со знаком плюс.

«Вот в чем тут дело!» — сказал бы Бурляй, если бы догадался, о чем думает эта еще не старая, с коричневыми глазами женщина, которую он сплавил из-за стола к окну.

И почему этот самый Бурляй такой нестрашный? Хоть бы выставил ее из кабинета, что ли? А то ни два ни полтора — и не выставляет, и не разговаривает...

А если представить себе, что ты полюбила вот такого специалиста по проблеме «Женщина и НТР»? Ведь это же почти то же самое, что любить сексолога, который каждый вечер будет читать тебе лекции по своей специальности! Вот и слава богу, что они с Бурляем с первого взгляда поссорились... Что мужчины беседуют одни, без ее участия... Они беседуют, а она так хорошо, так прекрасно думает для себя! Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь...

Да, так оно и есть: разговор за столом и без нее наладился. Очень лихо спрашивал и комментировал Вовка. «Вовка-то, а? — подумала Надежда Васильевна.— Нет, не пропадет Вовка, он еще разовьется, Вовка!»

Бурляй спокойно Вовке отвечал, время от времени поглядывал на Надежду Васильевну — вот-вот снова позовет ее. А она не пойдет, она скажет: «Благодарю вас!», больше ничего. А Вовку не заденет ни словечком. Потому что он, в общем-то, хороший и даже редкостный, далеко не каждому мужчине под силу жить рядом с таким характером, как Надежда Васильевна. Она вот и по собственной глупости разлюбит Вовку, а что тогда? Или Вовка догадается, что она окончательно его разлюбила, что тогда? Мурашки по коже, вот что! Она думает, будто она такая женщина — на всем свете не сыщешь! И ни муж, ни сын без нее дня не прожи-

вут,— думает она. А вот и проживут! Вовка в последние годы стал гораздо самостоятельнее и работящее, а Колюнька яичницу сам поджаривает и кашу сварить может, если молоко свежее и не свертывается.

В этот момент, как раз в этот, Бурляй вдруг к ней обратился снова:

— Надежда Васильевна! Дорогая! А вот скажите нам, как женщина, в чем вы чувствуете присутствие энтээр повседневно? В быту? Какие у вас наблюдения?

И Надежда Васильевна, еще не подумав, как ответить, ответила Бурляю так:

— Какие? Молоко стало скисать. Ни утром, ни вечером нельзя на молоке сварить нормальную кашу. До наступления эпохи энтээр такого не наблюдалось!

Вовка подскочил за столом и, словно барышня, закрыл себе рот рукой, Бурляй довольно странно засмеялся. Все-таки тупицы мужики, не умеют слушать женщину, не знают, что не всегда важно, что она говорит, важно — как говорит! А она ведь говорила шутливо, с доброжелательством... Ну, и бог с ними, с тупицами, все-таки хорошо, что не все мужчины так же тупы и глухи,— вспомнила она,— вот начальник учебной части политехнического института, в котором Надежда Васильевна, по существу, является начальником бюро расписаний, тот говорит: «Бранитесь, бранитесь, Надежда Васильевна, сколько хотите — я всегда готов слушать ваш голос!» Она Вовке о начальнике учебной части говорила, и не раз — где там! где ему взять в толк, что она в политехническом — фигура, все ее слушаются, все о чем-нибудь просят — и студенты, и доценты, и профессора завкафедрами, и деканы. Мало ли что в бюро расписаний компьютеры, что там сама энтээр на каждом шагу — без нее, без ее личного участия и сообразительности вместо расписания все равно получится первозданный хаос — учебные корпуса, мастерские и лаборатории будут перепутаны, вечерники тут же постараются вклиниться в дневные часы, заочники — в очников, станкостроители — в обработчиков, автоматчики — в электриков. Специализированные аудитории и те будут перепутаны, а весь учебный процесс — прахом! Она даже и зрительно, и на слух представляла себе этот прах...

Ну а домой придет эта фигура, которая ежедневно спасает политехнический от гибели и праха,— придет, а муж (зовут Вовкой!) погружен в себя и не разговари-

вает, у него — неприятности на работе. У всех остальных, конечно, ничего, кроме приятностей, а у него — нервный день, а у других какой был день? У других — ему неинтересно. Ну а если так — тут и начинается.

И начинаются упреки — ведь сил же нет Вовку не упрекнуть! Упреки — это ведь ее самоутверждение, ее заслуженное право, попробуй откажись от заслуженного?! Конечно, вместо того, чтобы упрекать Вовку, можно из-под земли выкопать кусок парного мяса, изжарить бифштекс. Можно! И по головке погладить можно, руки не отвалятся, и слово сказать — язык не отсохнет. Все можно, но можно далеко не всякий раз, а упрек — вот он готовенький. На любой момент!

И, упрекая Вовку, Надежда Васильевна опять-таки всякий раз вспоминала совсем еще недавнее время, когда ей не надо было никому доказывать себя и свою правоту, когда она была заведомо права одним-единственным фактом — фактом своего существования... Ну а потом упреки стали сами по себе, в химически чистом виде, без воспоминаний.

Теперь — времена другие, и себя нужно доказывать всем: мужу, сыну, профессорско-преподавательскому составу политехнического и самой себе... Насчет политехнического она не раз прикидывала — уйти? Страшная же нервотрепка, а если сократить расход сил и здоровья вдвое? Но куда уйдешь — в какое-нибудь конторское бабье царство? Целиком переключиться на воспитание Вовки и Колюньки? Вовку могила исправит. Колюнька и без этого нормальный. Учится неважно, но Лев Толстой тоже неважно учился... Его важно от телефона отучить, вот что! В отца, что ли, пошел, журналистом будет? Мало ему дня, на ночь утащит телефон в туалетную комнату — «бум-бум-бум»,— басок уже сформировался, «хи-хи-хи!», снова «бум-бум!» — а слышимость сквозная, а спать хочется, а наутро Колюньку не добудишься, ну прямо хоть водой холодной отливай из кухонного ведра! То ли дело — когда Надежда Васильевна сама была девочкой — и девочек, и мальчиков в семье навалом, телефонов — ни одного, в туалете не засидишься, и каждый — под здоровым влиянием здорового коллектива. Вот какие были времена! До наступления эпохи НТР! А из политехнического уйдешь... Сто пятьдесят рэ на дороге не валяются. Были случаи, если бы не эти сто пятьдесят — Кузьменковым

хоть по миру идти, а неохота идти-то... А такой случай снова может наступить, не исключено, ничуть.

Тут Бурляй по ходу своего интервью сказал:

— Любить мы и сегодня умеем, а вот беречь любовь...

Это уже было интересно, Надежда Васильевна прислушалась к разговору, а разговор, оказывается, кончался, это под занавес было сказано.

Стали любезно прощаться, Бурляй сказал:

— Извините нас, Надежда Васильевна, что мы заставили вас скучать.

— Скучать?! — удивилась она.— Что вы, я так хорошо посидела, так подумала...— Оглянулась вокруг — на темные стенные панели, на люстру...— Другого такого же места и не найдешь, чтобы так же посидеть... в эпоху энтээр... Кроме того, поскучать — это же необходимо. Женщина, которая никогда не скучает,— очень скучная женщина!

Тут Бурляй что-то пробормотал насчет политехнического, насчет того, что Надежда Васильевна в политехническом самый главный и общепризнанный диспетчер...

«Ах, вот как! — подумала Надежда Васильевна.— Вот как — значит, Вовка и еще что-то рассказывал Бурляю о своей жене? Значит, своей жене он рассказал не все, что рассказывал о ней Бурляю? Значит, Вовка очень хотел, чтобы Бурляй пригласил его жену на эту беседу? Значит... Ну, берегись, Вовка!»

А Вовка-то?

Он, оказывается, рассвирепел и перестал соображать, что обижаться тоже надо в меру, иначе так обидишь своей обидой обидчика, как ничем другим!

И ведь как назло: ехали к Бурляю — полчаса гонялись за такси, поехали от Бурляя — и не собирались такси искать, но оно — вот оно, зеленый огонек у самого подъезда Бурляевского института.

Вовка вскочил в такси первым, а ей бы не вскакивать, ей бы самостоятельно на метро, так нет, она силой втиснулась, а втиснувшись, спросила:

— Ну что, мальчик, разволновался? Потерпи! Приедем домой, дам тебе валерьянки, уложим тебя в постельку. Баю-баюшки, баю!

Тут, в присутствии таксиста, Вовка и начал выдавать.

Первое, что выдал,— она его унизила перед Бурлясм, он не знал сквозь что провалиться...

— А теперь — знаешь?

— Что?

— Ну, сквозь что провалиться? Провались сквозь потолок. Через пол — это тривиально для оригинального человека!

Второе Вовка выдал — что Надежда Васильевна бесчеловечный человек. Злой! Ехидный! Психически ненормальный! Разве нормальный человек скажет в лицо уважаемому ученому: «Альпинист! Верхолаз!» Скажет он это члену-корреспонденту? Скажет человеку, от которого сегодня прямо-таки зависит судьба ее собственного мужа?

О, господи, Вовка и это слышал!

И действительно, это было ужасно, Надежда Васильевна так и сказала, согласилась сквозь слезы:

— Ну и что? Подумаешь, ненормальный человек, невидаль какая! А делать из-за этого дикий скандал — это ненормальность еще большая!

— Из-за этого? А что молоко свертывается, ты уже забыла? А привязываться к человеку — что, видите ли, будет после энтээр? Это нормально? А отправлять меня курить, если я не курю, нормально? «Исключите из моего ответа логику — что в нем останется?» Это нормально?! А...

Надежда Васильевна в голос заревела:

— А мне все равно! Теперь уже мне все равно, кто я?! Если один человек не понимает другого совершенно, если не знает, кто кого в действительности унизил, а кто кого простил, кто кого все еще любит, а кто кого давно уже ненавидит, кто в ком и на всю жизнь сегодня и навсегда разочаровался — разве после этого все еще не все на свете все равно?

Приехали домой, тут вообще невозможно стало понимать, кто кому и что говорит, и Колюнька забился в туалетную комнату просто так, без телефона. Дело было дрянь, дело было такая дрянь, какой еще никогда в их общей жизни не было. Кажется, никогда...

Надежда Васильевна кое-как постелила на диване в столовой, не раздеваясь, легла и ревела, ревела... Потом разделась и снова легла, и снова ревела. Потом надела халатик, старенький, буренький — хорошо греет

и коленки, и душу. Но халатик ничего не грел — ни коленок, ни души, и Надежда Васильевна думала: «Ну ладно, дело решенное, а с Колюнькой как быть?» Единственная была нерешенная проблема — с Колюнькой, других не было... Правда, почему-то еще вспоминалась «икс-игрек», Христина Ульяновна, формально — начальница бюро расписаний политехнического института. Она в связи с понятием гуманизма пришла на ум и с тем, кажется, фактом, что гуманизм, конечно, существует на свете, но существует странно — обязательно едет на ком-нибудь верхом. А тот, на ком он едет, не находит в себе сил освободиться от него. Ну кому это нужно, чтобы «Х-У», «икс-игрек» числилась начальницей бюро расписаний? Это уже лет десять как никому не нужно, даже ей самой, она человек обеспеченный, дети хорошо зарабатывают, хорошо маму одевают, Надежда Васильевна так не одевается, куда там! Но, видимо, дети укоренили маму в должности навечно, а всю работу везет она, Надежда Васильевна, а «Х-У» только и остается, что завивать на себе седенькие-реденькие...

Конечно, в каждом отделе, в каждом пусть даже небольшом коллективе обязательно существует свой всеми признанный бездельник — чья-нибудь дочь, у которой что ни рабочий день, то отгул или бюллетень, чей-нибудь и даже не чей-нибудь, а сам по себе сын — что ни день, то особое поручение от начальства, то командировка, то шахматы. Но тут ни то, ни другое, тут чья-то розовенькая мамочка на работу ходит как часы, все дела бюро расписаний принимает очень близко к сердцу, но ничего не делает — где ей, старенькой? Уж лучше бы чья-нибудь дочка — та, по крайней мере, новости приносила бы со всего города... И тем самым облегчала бы участь Надежды Васильевны, такой энергичной, такой сообразительной, которую все слушаются, так что ей просто грех не работать с утра до ночи, грех что-нибудь напутать, грех подумать, что она ведь чужую работу ломит... И вот всякий раз, когда Надежде Васильевне почему-либо плохо, болеет она, с Вовкой ссорится, с Колюнькой не ладит, всякий раз ей приходит на ум «Х-У». Приходит и не уходит. И доказывает, что Надежда Васильевна сама себе вина. Вот она за свою вину и расплачивается — на работе ей работать за двоих, дома — за двоих. И вот еще страдать за двоих — это почему? А если у нее хватит чувств, хватит боли — то

и за троих? За десятерых? И мерзко так, и гнусно жалеть себя?.. Но при чем тут она, если такая гнусная арифметика?..

Часу уже в четвертом, только она забылась, зажегся свет. Вошел Вовка.

Вот он, полюбуйтесь!

Вместо того чтобы быть уверенным в себе, вместо того чтобы благородно попросить прощения, вместо того, чтобы забыть все, что произошло, вместо всего этого он — жалкий, растрепанный, даром никому не нужный. За одно это, за то, что он мог быть и должен быть одним, а появился совсем-совсем другим, за одно это его еще и еще раз следовало возненавидеть!

Надежда Васильевна так и сделала, сказала: «Уйди!» — и отвернулась к стене. Было противно слышать знакомое дыхание незнакомого человека в пестрой пижаме. Которую она купила на прошлой неделе... Еще она знала об этом человеке, что он мог бы, мог бы быть мужчиной, но не хочет. И думает, что это его личное дело, личный выбор. Но она-то, Надежда Васильевна, она-то что за женщина при мужчине-немужчине?

Вовка сказал:

— Все...— и поставил на журнальный столик магнитофон.

Она, не глядя, догадалась, куда и что он поставил. Она уже обо всем догадалась и сказала:

— Так тебе и надо! Так и надо, так и надо!

— Все...— повторил Вовка.

— А кто тебе говорил? Кто тебя предупреждал, чтобы не выключал во время беседы — кто? Кнопка что ли заела? Совсем? Не работает?

— Совсем... Кнопка... Неизвестно что — совсем...

— Лента не размагничена? Да? Что там, на ленте, записано?

— Кажется, этот... Высоцкий...

— Высоцкий? Не дай бог — всегда был бузотером. Кто тебя предупреждал? Так тебе и надо! И твоему Бурляю так и надо!

Вовка стоя, тихо, убийственно тихо и жалобно заговорил о том, какой он несчастный, как ему не везет в жизни... Ему не везет, а он все равно упорным трудом добился и уже три года как специалист по проблемам энтээр, уже год как написал книжечку об энтээр, уже полгода как заключил с издательством договор на вто-

рую книжку об энтээр, и гвоздь этой, второй и решающей для его судьбы книжки — Бурляй, член-корреспондент...

— Тоже мне — гвоздь! Глаза бы не смотрели! — отозвалась Надежда Васильевна.

— Бурляй очень умный. Очень порядочный... Бурляй наша надежда номер один... Наша... то есть моя и твоя.

— Какой-какой номер?

— Один... Номер один...

— Что же ты теперь хочешь делать с этой надеждой?..— спросила Надежда Васильевна и снова заплакала негромко и горько...— Что?

— Знаешь, что мы сделаем?

— Мы? Значит, все-таки «мы»...

— Конечно, мы... Ну, кто же еще? В тяжелых случаях жизни иначе быть не может... Как только ты, как только мы... одним словом, как только ты, мы и я...

— Говори разборчивее, о ком речь? О ты-мы или о мы-ты?

— Господи! Нашла время смеяться! Или — издеваться? Нет, право, у тебя железные нервы. И значит, Надежда, так... Значит, я, а еще лучше, если, Надежда, ты,— мне кажется, это будет лучше — значит, мы позвоним сегодня Бурляю и попросим его принять нас снова. И повторить беседу. Мы признаемся чистосердечно, что ты не просмотрела как следует кассеты и вот вышла накладка, и вот мы просим... Мне кажется, что если ты по-настоящему мобилизуешься, и позвонишь, и объяснишь Бурляю наше положение...

Надежда Васильевна вскочила с дивана и бросилась к Вовке с кулаками, но, не добежав чуть-чуть, повернулась и снова бросилась на диван... Полежала молча, схватила голову руками и так, с руками на голове, в распахнутом буреньком халатике, стала кричать:

— Ты с ума сошел? Показывать себя таким тупицей? Раззявой? Растяпой! Меня показывать тупицей?! Раззявой! Растяпой! И еще бог знает кем, черт знает кем?! Так вот, слушай — мало того, что я не буду звонить Бурляю, ты не позвонишь тоже и не скажешь ему ни слова. Ты меня понял — ни слова! Ты отнесешь ему готовую запись вашей беседы, какой бы она ни была — понял? И он ее подпишет, вашу беседу, какая бы она ни была — понял? Дай сюда магнитофон! Включи штепсель!

Надежда Васильевна довольно долго держала в руках черную холодную коробку и пристально на нее смотрела, потом приложила ее к одному уху, к другому... Потом три раза сильно тряхнула ее и похлопала сначала с одной стороны, потом с другой...

«И верный мой товарищ, жена-домоуправ...» — так, кажется, или почти что так хрипло пропел Высоцкий, потом послышалась гитара, потом Бурляй: «Одной эпохе не дано пред... изго...»

— Тоже мне — гвоздь...— тяжело вздохнула Надежда Васильевна...— Кнопку бы сделать из этого гвоздя. Кнопку номер один и то хорошо... так ведь оно и есть:

Гвозди бы делать из этих людей,
Кнопки бы делать из этих гвоздей...

Она чуть-чуть прокрутила кассету назад и услышала себя: «Что по ваш... бу... после энтэ... Еще... нибудь революция? Значит — перманент?» — но тут же снова запел Высоцкий...

— Так...— сказала Надежда Васильевна.— А тебя, Вовка, почему-то нет... Все есть, а тебя почему-то нет?.. Странно...

— Есть! — сказал Вовка.— Я есть и обязательно буду, ты не беспокойся!

— Бр-р-р... ничего себе поп-музыка! Где до, где си, где до-ре-ми — попробуй разобраться? Ну а тогда так: вот тут, на столике, бумага... тут поищи авторучку... Будем слушать запись и что-нибудь из нее восстанавливать. Ты будешь записывать, я буду слушать и тебе диктовать. Ты помнишь, что ты говорил Бурляю?

— Не думаю... Не думаю, что помню. Нет, не помню. Провал памяти. Стресс. Аберрация. Все пропало. Все напрасно, но ты этого не хочешь понять...

— Я помню все, что говорил Бурляй. Сидела у окна, не слушала, но все помню. А теперь ты садись вот сюда, на диван, и записывай... Подстели одеяло, а потом садись.

— Я чистый. Я — в пижаме. И я — в новой...— сказал Вовка.

— Мало ли что! Порядок есть порядок, и нельзя плюхаться прямо на чужую простыню. Ну? Запускаем с самого начала!

Магнитофон хрипел, гудел и вопил. Соседи постучали, Надежда Васильевна пыталась сквозь стенку изви-

ниться, до них не дошло, но беседа так или иначе восстанавливалась. Кузьменковы работали беспрерывно. Как на конвейере.

Только один раз Надежда Васильевна остановилась, задумалась, это когда они записали следующие слова Бурляя: «...Женщина воспринимает явления энтээр предметно, то есть в предметах: в более современном телевизоре, в кухонном агрегате, в небьющемся стекле, в новом клее, который склеит любое стекло и каблук к подошве ее туфли тоже приклеит. При этом женщина не размышляет над самой идеей энтээр и как бы даже отвергает ее и не признает совсем, в то время как для мужчины именно идея и общее направление мысли является главенствующим».

— Что с тобой? — спросил Вовка.— Может, воды принести? Холодной из-под крана? Что ты задумалась?

— Просто так. Хочу понять, что следует из этих слов о мужчинах и женщинах.

— Это констатация факта, и только. Фиксация факта. Факт как таковой — вот и все...

— А следствие?

— Надежда?! Ты можешь объяснить, зачем тебе следствие? Зачем — сейчас же, сию минуту? В совершенно неподходящую минуту? Если уж тебе так нужно следствие, оно будет. Лет через пять или десять. Посиди и подожди. Все-таки странные у тебя требования к фактам, очень странные!

— Никаких требований. Просто жду и жду что-нибудь от умных людей... от умных мужчин. Вот и голова разламывается, и тошнит, не то чтобы стоять — сижу с трудом, так бы и легла сейчас и потеряла бы память, но надо же — я все равно жду...

— Что?

— Что-нибудь от умных мужчин. Ну, ладно, Вовка, так дальше дело не пойдет... Мне уже скоро вставать, Колюньку будить, кашу ему-тебе варить, на работу спешить.

— Кашу надо было с вечера сварить! В первый раз, что ли? А работу с магнитофоном отложим до вечера. Вечером продолжим. Я тоже страшно устал! Надо отдохнуть! И прийти в себя.

— Нет-нет, к вечеру я все забуду, к вечеру у меня памяти не будет: сегодня утверждаем расписание экзаменационной сессии, а после этого я всякий раз собственное имя забываю, не то Надежда, не то Маланья,

не помню. Нет-нет, сейчас же надо что-нибудь придумать, что-нибудь рационализаторское. Сию же минуту.

— Ты опять за свое? О, господи, когда это кончится? — жалобно взмолился Вовка.— Когда, наконец, кончится?!

— В кухне, на второй полке, маленький магнитофон. Заряди и принеси. А дальше будет так: вместе будем слушать и все, что услышим с этого, с большого магнитофона, на маленький будем наговаривать по отдельности: ты сам за себя, я — за Бурляя.

— Ты? За Бурляя?

— Чего особенного? Я же заочно.

— Ну а потом? Знаешь, что будет потом? Я расшифрую нашу запись, в которой ты за Бурляя, перепечатаю ее на машинке, отнесу Бурляю, и тут — все пропало: он себя не узнает!

— Узнает! Головой ручаюсь — он себя узнает! Но обязательно напечатай всю беседу как можно аккуратней. Без помарок, тогда он узнает. Я бы сама перепечатала, но вряд ли выкрою время, так что ты сам. Постарайся без помарок...

— Пуговицу пришей, обещания надо выполнять! А маленький магнитофон давно не работает, он еще на даче испортился...

— Неси, неси... Кому сказано: в кухне, на второй полке. Хорошенько потрясем — заработает!

Через три дня Бурляй без единой поправки завизировал беседу с журналистом Вл. Кузьменковым.

Через два месяца беседа «Женщина и НТР» была опубликована в печати и привлекла внимание широкого читателя.

И до сих пор на нее ссылаются самые разные авторы. Не только в нашей стране, но и за рубежом.

1986

СПИСОК ТАЛАНТОВ

Из записок помощника

Господи! Как быстро течет время!

Ну вот, только начал — и сразу же начал не с того слова. Надо же, прицепится слово, прицепится на всю жизнь, что хочешь, то с ним и делай! Правда, в зрелом возрасте и на ответственной работе я от лишних слов отделывался, они мне мешали, но когда вышел на пенсию — они снова тут как тут...

Как быстро течет время! Так вот — я, можно сказать, профессиональный помощник, я у трех высоких людей был помощником, и, знаете, сколько лет? В общей сложности тридцать три года! То есть в среднем по одиннадцати лет у каждого начальника, но статистика утверждает, что средние цифры — это коварные цифры, им верить нельзя, потому что неизвестно, что за ними скрывается. И на моем примере в этом легко убедиться, потому что фактически дело было таким образом: у Владимира Ивановича я начал, мы вместе начинали, он и я, но Владимир Иванович был энергичный и очень тонкий человек, дипломат, он в нашей области надолго не задержался, он быстро — уже через шесть лет — оказался в Москве, а уезжая, рекомендовал меня Николаю Венедиктовичу. И пока Николай Венедиктович был на своем посту, я все время был при нем, бессменно был шестнадцать лет. Мы сработались так, что мне и в голову не приходило, будто я смогу быть помощником и еще кому-то. Кому-то другому, уже не Николаю Венедиктовичу. Но когда Николай Венедиктович уходил на пенсию, оказалось, что я-то еще нахожусь в хорошем рабочем состоянии, здоров, сравнительно молод, с хорошей памятью (это для помощника совершенно необходимо) и, прямо надо сказать, с едва ли не первоклассной выучкой.

И вот, уходя на пенсию, Николай Венедиктович рекомендовал меня Леониду Борисовичу, с которым я и проработал действительно одиннадцать лет до своего собственного выхода на пенсию. Вскоре после меня и Леонид Борисович тоже сдал здоровьем, уехал в Прибалтику, в Юрмалу, и где-то там в курортной местности на спокойной должности спокойно доживает век. Он несколько раз писал мне о том, что у него все в порядке, я отвечал ему тем же, поскольку у меня тоже было все в порядке. Так сложились мои тридцать три года работы в аппарате в должности помощника. Мне несколько раз разные люди говорили, что я — талантливый помощник.

Как быстро течет время!

А если уж речь заходит о талантах, о человеческой талантливости в принципе, так я для начала вот что могу сказать и что вспомнить: подумать только — тридцать пять лет прошло с тех пор, когда я перестал мучиться этим вопросом: в чем я талантлив? А до этого прямо-таки изнывал: в чем, в чем, в чем я все-таки талантлив?! И вы знаете, я бы не сказал, что с детства или хотя бы с юности я чувствовал себя талантливым. Не было у меня такого врожденного понятия, зато в возрасте двадцати шести и двадцати семи, два полных года, эта самая идея фикс ну прямо-таки мне жизни не давала. Точно — не давала! Истинная была фикс, и я без конца спрашивал сам себя: «Да в чем я все-таки талантлив-то? Ведь если талантлив, так уж, конечно, в чем-нибудь, а не вообще неизвестно в чем». И я перебирал в уме все возможные талантливости, и ни одна не подходила ко мне, а я — к ней.

Обычно я начинал с буквы «а»: актер. Но актером даже в какой-нибудь худенькой школьной самодеятельности я никогда не был, не интересовался. Я пропускал «б», «в», «г», а декламатором я тоже не был, прочесть стихотворение Пушкина, или Лермонтова, или Маяковского — это на уроках литературы было для меня не только испытанием, но даже бедствием. В то время, когда мальчишки и девчонки нашего класса спорили о том, кто из поэтов лучше, я прикидывал, кто из них хуже, то есть кого особенно трудно прочесть вслух. Самым плохим получался Владимир Маяковский.

Буква «ж» — журналист. На этом пункте я задумывался. Журналистика сама по себе, конечно, меня привлекала, тем более что к тому времени я уже напечатал

три корреспонденции в областной газете: о зимовке скота в Кузнецовском районе, о проекте строительства швейной фабрики, о чемпионе Олимпийских или других каких-то игр по прыжкам в воду (поскольку родом он был из нашего города и даже приезжал к нам, чтобы навестить своих родителей). Итак, журналистика немного, но все-таки что-то мне обещала. Она давала повод, и, может быть, я бы крепко поверил журналистике, но меня смутили два полковника.

Когда я ходил в кассу издательства, чтобы получить гонорар за свои корреспонденции (а я почему-то много-много раз туда ходил), я встречал там двух полковников в отставке с большими серыми альбомами серого картона, с корочками под кожу и с тиснениями. В эти альбомы очень аккуратно полковники вклеивали вырезки из газет, авторами которых они были. В очереди в кассу полковники всегда были первыми, но гонорар получали последними, они не торопились, они усаживались за журнальный столик рядом с очередью, обязательно слева от нее и, медленно листая свои альбомы, громко рассказывали друг другу, где и когда они напечатались, где и сколько каждый из них получил гонорара, и что в общих чертах представляет собою современная журналистика. И очередь замолкала, и заглядывала в полковничьи альбомы, и слушала их внимательно и как бы даже подавленно — альбомы были толстыми, а разговоры полковников поучительными. Для меня эти разговоры были первой школой журналистики, и в этой школе я узнал, что в газеты нет смысла посылать материалы просто так, на редакцию, это все равно что посылать на деревню дедушке, а надо иметь в редакции надежные знакомства как минимум на уровне заведующего отделом. Узнал я также, что писать надо короткой фразой, а положительного героя нынче писать по образцу Тургенева ни в коем случае нельзя, что нынче в журналистике нет ни Михаила Кольцова, ни Константина Симонова, а есть одни только посредственности, которые никому не дают ходу. Даже им, полковникам в отставке, совершенно невозможно пробиться в центральную печать, что же говорить о молодежи?!

Когда однажды в выплатной день я пришел в кассу с таким же большим альбомом, какие были у полковников, они оба и в один и тот же момент обратили на этот факт самое серьезное внимание. Обратили и заговорили. Причем — только для меня и на меня не глядя. По-

мнится, в тот день я и без этого был в очень плохом, просто ужасном настроении (по причинам семейного порядка), а тут еще полковники внушают мне, что начинать в журналистике — дело нынче совершенно безнадежное, что некоторые начинающие, едва опубликовав три плюгавые корреспонденции, тут же вклеивают их в шикарные альбомы (оказывается, полковники знали, сколько и каких корреспонденций у меня напечатано и вклеено в альбоме), что редакциям газет и журналов надо серьезнее относиться к вопросу подбора кадров своих внештатных сотрудников — многие внештатные в быту и в семье (они особенно подчеркивали — «в семье»!) позволяют себе поступки, которые роняют престиж советской печати в глазах трудящихся масс, что... Одним словом, я вдруг почувствовал, что нет у меня призвания к журналистике. Хоть убей — нет и нет! Ну, а если журналист выходил из меня никакой, что же говорить о букве «п» — писатель?

Так и следовал я до конца алфавита: «р» (разведчик), «с» (спортсмен), «х» (художник) — и терпел неудачу за неудачей. Ни одна буква алфавита ко мне и близко не подходила. Да я, наверное, и не мучал бы себя и отступился бы от этого занятия, но как раз в то время дело шло к окончательному разводу с моей первой супругой, и она днем и ночью меня пилила, ругала, упрекала (в бездарности). И мне не оставалось ничего другого, как из чувства протеста, из необходимости самоутверждения убеждать себя в собственной талантливости. Во всяком случае — искать талантливость в самом себе.

Если же я не мог обнаружить, в чем я все-таки талантлив, это меня не переубеждало. «Не все ли равно, в чем ты талантлив, если ты талантлив в принципе? — думал я.— Надо подождать один год, один день, и все встанет на свои места, и моя талантливость откроется мне! Таинственное станет очевидным!»

И я ждал. И, верите ли, я, взрослый человек с высшим образованием, отец семейства, я не в том себя самого упрекал, что не мог обнаружить своей талантливости, а в другом — почему я так поздно в свою талантливость поверил?! Поверил бы раньше, в юности, и даже в детстве, и мучительный поиск самого себя давно бы уже был в прошлом, давно бы я был талантом признанным!

Так я рассуждал в двадцать шесть тире двадцать семь лет.

Ну, а спустя некоторое время после развода, то есть к двадцати восьми годам, это прошло. Прошло, как с белых яблонь дым, и я встал на ноги, сначала в роли комсомольского работника, потом — хозяйственника, потом — аппаратного работника. Я даже думать забыл об этом заблуждении молодости, вернее — переходного, послекомсомольского возраста.

Впрочем, забыть-то я, конечно, забыл, но чтобы все это прошло совершенно бесследно — сказать ни в коем случае нельзя: на всю жизнь у меня осталось такое ощущение, что я талантливых людей знаю давным-давно и лучше, чем они сами себя знают. Собственно, не столько истинные таланты я знаю и понимаю, а прежде всего всех тех, кто во что бы то ни стало хочет быть талантом. В глубине души я таких людей понимаю до тонкости, знаю, кто из них есть кто. Кто и зачем. Вот что главное: знать, зачем и где человек может и должен пригодиться. Я-то таких людей знаю и распознаю их безошибочно, кого-кого, а меня-то они не проведут, с кем-кем, а с талантами-то я умею ладить.

Я, например, считаю, что для каждой ситуации существует свой собственный талант. Есть среди руководителей сельского хозяйства, например, таланты колхозные, есть совхозные и есть аппаратные, созданные природой специально для облсельхозуправлений. Больше того — есть таланты для хорошего колхоза, не такая уж и редкость, гораздо реже встречается председатель с талантом на самый отсталый колхоз. Плохим председателем плохого колхоза тоже надо уметь быть, не следует думать, что это очень простое дело. Посадите на плохой колхоз хорошего председателя — всегда ли он его поднимет? Далеко не всегда, он и сам пропадет и колхоз сделает еще хуже. А талант на плохое в плохом колхозе будет чувствовать себя как дома, даже весело, и колхозники у него будут тоже как дома, тоже веселые! Талант должен попасть на ту точку в жизни, на которую он предназначен — без такого попадания он ничто, я в этом убежден. И, наконец, за талантом всегда тянется, не дает ему покоя все не сделанное им, а обыкновенному человеку — что? Не сделал и не надо... «Все всего не сделают,— рассуждает обыкновенный человек,— а если не сделают все, в том числе и большие

начальники, какой смысл стараться одному, хотя бы и на сто процентов талантливому?!»

Значит, так: моя мечта о собственной талантливости не сбылась, они вообще редко сбываются, мечты, но из несбывшегося всегда нужно извлекать пользу. И я извлек. Я отнюдь не инженер человеческих душ, но знаю о людях больше, чем эти самые инженеры, больше всех знаю о талантах, чем они сами о себе. Я знаю, что девяносто девять процентов всех талантов — это люди, которые так и не смогли расстаться с мечтой о своей талантливости,— вот и все, вот и весь их багаж. А поскольку я это сумел, прошел это на практике, то уместно спросить: кто же из нас умнее и вообще выше, я или они — самодеятельные, самодеянные и несбывшиеся таланты?

Отсюда же и другое мое свойство, другая способность — к руководству талантами. Я ее чувствую, мою способность, и мои руководители тоже чувствовали ее во мне — например, Николай Венедиктович. Как только дело касалось вопросов культуры, творческих коллективов, индивидуального подхода к членам таких коллективов, Николай Венедиктович говорил мне: «Ну, это по твоей части... Подработай к такому-то числу...» И я подрабатывал точно в срок и уж, конечно, вполне объективно — это при работе с творческими личностями и кадрами самое главное. У них самих, у творческих личностей, вообще у всех работников культуры, объективности никогда не хватает.

Итак, Николай Венедиктович к моим подработкам неизменно прислушивался, а я, располагая его доверием, однажды подал ему такую идею: во-первых, составить список талантов нашей области, а во-вторых, с товарищами, которые будут включены в этот список, провести совещание. Совещание можно назвать так: встреча-беседа.

Встречу-беседу должен был провести лично Николай Венедиктович. На первый взгляд — пустяк, а если разобраться? Всерьез? Ведь как на практике обстоит дело? А вот как: чуть кто в области взял себе в голову, что он — талант, сразу же звонить по начальству, вплоть до самого Николая Венедиктовича: звонить, сообщать новость — вот какой явился у нас талант, вот какие у него мысли и замыслы, вот какие у него потребности. Ведь к таланту в первую очередь относятся слова: «...каждому по потребностям». И ведь какое

чуткое отношение у таланта к самому себе, какая уверенность, что и руководитель должен проявить к нему равнозначную чуткость! «Прошу учесть, что у меня двое детей...», «Прошу учесть, что со мной живет моя мать» — и попробуй не учти! Хотя бы и устно, но учесть надо. Нечего и говорить о талантах признанных — эти звонят — надо, не надо, причем только для начала им вынь да положь общение очное! Конечно, надо различать таланты истинные от общепризнанных, но это уже теория, а я не теоретик, я — практик, и как таковой и подал идею Николаю Венедиктовичу: составим наш списочек, раздадим его секретаршам в несколько кабинетов, и они точно будут знать — кого соединять, кого не соединять ни в коем случае, кого приглашать на мероприятия, кого — нет, кого — в президиум, кого — в зал. Вот так наконец-то благодаря списку мы расставим необходимые точки над «i». О списке, конечно, все узнают, начнется ажиотаж — кому неохота включиться в список талантов? Ну и хорошо, ну и правильно, что узнают, по крайней мере каждый будет о себе знать: звонить ему или не звонить, где сидеть — в президиуме или в зале.

Итак, Николай Венедиктович ко мне прислушался. Ну, немного засомневался, но, честное слово, очень немного. Он задал мне только один вопрос: не слишком ли пестрый будет у нас список: и художники, и архитекторы, и писатели, и журналисты?

— И ученые! — добавил я.— И хорошо бы медиков включить, особенно хирургов. У хирургов очень творческая деятельность. Нам, Николай Венедиктович, особо строгие рамки и не нужны.

— Ну, а без рамок что? Пестрота?

— Без рамок — универсальнее! — тотчас пояснил я, поскольку Николай Венедиктович очень любил слово «универсализм» и все производные от него. И Николай Венедиктович согласился со мной.

Скажу вам совершенно искренне: помощнику не положено проявлять особую инициативу, его дело — исполнение, доведение до конца принятых шефом решений, его дело — связь шефа со всеми, с кем нужно, и самое твердое отчуждение всех тех, с кем встречаться ему не нужно, но тут я отступил от этого железного правила, так как был уверен в практическом результате своей инициативы. И это несмотря на то, что я — помощник еще старой закалки, начинал еще при Хозяи-

не, во времена ночных бдений — вот так! В те времена своего непосредственного шефа помощник должен был знать до тонкостей и к шефу своего шефа тоже должен был иметь отношение. Это теперешние помощники, они позволяют себе и то, и се, и еще бог знает что они позволяют себе. Я же себе позволял что-нибудь, ну, может быть, один раз в год. Не больше. Что-нибудь такое вроде списка талантов.

Итак, первым в этот список я, конечно, записал Вячеслава Тимофеевича Подканунникова. Тут выбора не было — первым его! Он единственный народный на сцене нашего города уже в течение двадцати четырех лет. Мы давно ждали, когда он со сцены уйдет, нам было ясно — пока не уйдет, до тех пор наш театр не пополнится больше не только ни одним народным, но и заслуженным. Но Подканунников стоял все еще твердо на ногах и определял репертуар с учетом своего амплуа. А что поделаешь, если такой характер? Мы уже и с Министерством культуры РСФСР не раз связывались, но нам отвечали: «Решайте сами, но чтобы не было прецедента на всю федерацию».

Вторым лицом в наш список, конечно, нужно было внести Екатерину Яковлевну Кроткую, потомственную актрису оперетты и жену Вячеслава Тимофеевича. Будучи его женой, она перешла в облдрамтеатр, а будучи на тридцать два года младше своего мужа... одним словом, попробуй не включить Екатерину Яковлевну Кроткую в список талантов! Да вы и не представляете себе всех последствий! Тем более не включить в наше время, когда талантливые семьи получили в искусстве и литературе такое широкое распространение! Уж не потому ли, что в науке очень большое место заняли генетика, как инженерная, так и обыкновенная?

Ну и еще из актерского мира мы включили в списочек троих, менее известных. Что касается художников, то в нашем областном Союзе самым способным был, конечно, Никаноров — он в Москве выставлялся, его «Огонек» публиковал, «Советская женщина» и еще кто-то, не помню сейчас кто. Но... во-первых, Никаноров не председатель нашего отделения Союза художников, во-вторых, он даже и не член бюро, а в-третьих, что, конечно, самое важное — он сам, он добровольно из бюро вышел под предлогом нежелания, как он выразился, «заниматься склоками и анонимками». Если бы его за какую-нибудь аморалку, если бы за какую-нибудь спе-

куляцию иконами вывели из состава бюро, а то — добровольно! Не хочет, видите ли, он «заниматься»! Плюс ко всему у Никанорова в мастерской висели разные абстракции. Не то семь, не то одиннадцать абстракций. Вот и думай о человеке что хочешь! Что хочешь, то и думай! Вот и нужно — держать его негласно в уме.

Ну, остальные четыре человека художников трудностей никаких не представляли, мы их быстро наметили. И от ученых подобрали тоже, в науке всегда проще установить, кто есть кто, у нас было два заслуженных деятеля, один членкор ВАСХНИЛа, еще один кандидат в членкоры АМН и два ректора — люди сами по себе очень хорошие. Надежные люди.

Но вот уж с кем у нас испокон веков было неясно, так это с писателями — до чего сложный народ! У всех отчетно-выборные собрания как собрания, у писателей это почти что всегда нечто непредсказуемое — то они прокатят рекомендованное и детально обговоренное руководство, а то проявят такую дисциплину, которая от них и не требовалась.

И я даже не буду характеризовать нашу писательскую организацию в целом, для этого в аппарате были другие товарищи, я остановлюсь лишь на частном случае, который в то же самое время является как бы и общим, поскольку он касается Иллариона Захаровича Бачинского, ответсекретаря местной писательской организации.

Илларион Захарович Бачинский, сокращенно Избач, каждые два года заявлял о своем категорическом отказе руководить организацией и каждые два года переизбирался большинством в один, иногда — в два голоса. Его все не любили, но выбирали, предполагая, что, люби не люби, а он все равно пройдет по большинству голосов, и поэтому он проходил и на другой же день после выборов уезжал в подмосковный Дом творчества для творческой работы и для связи с издательствами, иначе говоря — для включения в издательские планы книг своих собственных и тех его коллег, которые как надо, так и выступали на отчетно-выборном собрании.

У Избача действительно была книга («Две луны») как бы даже и общепризнанная, но уж он так ее эксплуатировал, особенно в московских издательствах, так ее популяризировал в родном городе, что разбуди любого школьника нашего города среди любой ночи и спроси:

«Что написал Тургенев?» — так он еще и не сообразит, он еще, чего доброго, скажет, «Капитанскую дочку», а спроси: «Что написал Бачинский?» — любой школьник и даже взрослый ответит в одну секунду: «Две луны»! В конце концов не скрою: у меня к Избачу было и личное отношение — лет восемь тому назад он заложил меня. Мы с ним встретились в одном доме, поговорили, я высказал ему мнение об одном человеке, а Избач меня заложил. Такие вещи не прощаются. Избача у нас в аппарате никто не любил, так что мне и сговариваться ни с кем не было необходимости — один намек, одно слово, и все, кому надо, друг друга поняли. И, не сговариваясь, мы в нашем аппарате наметили во время совещания у Николая Венедиктовича Избачу хорошо и окончательно поддать. Конечно, я не хотел, чтобы для Николая Венедиктовича это было полной неожиданностью, и вот мы все настроились на то, чтобы наша встреча вообще носила самокритичный и критический характер, чтобы все крыли без обиняков: если Избач нахватал для себя и своих родственников три квартиры, чтобы так и говорили — не одну, не две, а три, если он организовал присуждение себе премии обкома ВЛКСМ за бездарную книгу «Три мгновения», чтобы тоже не молчали, а рубили бы напрямую: «за бездарную», «организовал». Избач был типичный талант в кавычках, а я думал, что и больше того: ему закавычивать-то было нечего, пустое место не закавычишь! И нам в нашем доме, в аппарате, давно надо было бы назвать в отношении Избача все вещи своими именами, да все как-то не называли, стеснялись, откладывали на ближайшее будущее. В связи с этим я совершенно откровенно скажу: я, в общем-то, люблю эгоистов — всегда знаешь, с кем имеешь дело, всегда знаешь, как надо иметь с человеком дело и что человек хочет. Невольно сравниваешь с ним себя самого, и всегда получается, что ты — меньше эгоист, чем он, а от этого — удовлетворение. В общем, вокруг эгоиста, даже талантливого, все как-то яснее и определеннее. Но вот в чем дело: эгоист все-таки должен быть умеренным и в материальном и в мемориальном смысле, а среди писателей, мне кажется, эта умеренность слишком редко соблюдается. И это не только у нас, на периферии, в Москве этого еще больше. В результате к нам из Москвы приходят такие факты, как, например, один, правда очень известный, писатель услышал, что издается энциклопедия

великих имен мировой литературы — и что же? Представьте, он сейчас же написал статью о самом себе и послал ее главному редактору энциклопедии, категорически требуя ее напечатать.

Другой пример... Впрочем, примеры столицы — это, если так можно выразиться, ее личное дело, но никогда не надо забывать и о том, как столичные примеры отражаются в провинции! Какой это серьезный вопрос! Когда к нам доходит, что руководитель творческого союза может кому-то дать дачу, а кому-то — не дать, кому-то дать премию, а кому-то — не дать, кому-то... знаете, как это отражается в умах творческой интеллигенции разных краев и областей? Это надо учитывать, здоровую психику надо уберегать от таких влияний и фактов.

Дальше. Дальше надо сказать, что вообще-то таланты — народ аккуратный. По крайней мере в нашей области очень аккуратный: чтобы кого-то из них куда-то вызвали, а человек взял и опоздал — такого не припомню.

То же самое и в тот раз: собираться на встречу-беседу таланты начали за полчаса и как-то сразу распределились между собой: кто с кем и кто куда. Одни, раздевшись в гардеробе, сразу же прошли по кабинетам знакомых работников аппарата побеседовать до начала встречи, другие прогуливались по коридорам второго и третьего этажей, ну и в буфет тоже заглянули, третьи — в окно было видно — все еще прогуливались на улице, внимательно рассматривали памятник против входа в наше здание. Погода была хорошая. Снежок падал. Ветра не было.

А начали минута в минуту.

Я лично все, конечно, и слышал, и видел, но вроде бы меня на встрече-беседе и вовсе нет. Уж такой порядок в отношении помощников: меня нет, но запоминать я должен все, организовать — все. И стенографистку организовать, и чай с печеньем «Юбилейное» — это все дело помощника.

Николай Венедиктович говорил хорошо. Поскольку по промышленности и по сельскому хозяйству показатели по области были не ахти какие, к тому же областную статистику возглавлял новый, малоопытный товарищ, Николай Венедиктович главный упор сделал на культуру. Чтобы культура своими собственными художественными средствами поддерживала все то лучшее,

что у нас есть,— вот к чему призывал Николай Венедиктович свою аудиторию. Есть же у нас маяки? На маяки и упор! Может быть, кому-то лично удастся выявить и в промышленности и в сельском хозяйстве новые маяки, еще не известные ни широким массам, ни областному руководству,— вот это было бы особенно важно и полезно! Но и давними производственными маяками разбрасываться тоже нельзя, надо искать к ним новый подход, по-новому их освещать в печати, по радио и телевидению, на сцене и в науке. Надо подтягивать отстающих до уровня маяков, а маяки двигать дальше и дальше, и дело социалистического строительства пойдет вперед семимильными шагами. Надо глубже вникать в положительный опыт. Вот у нас наш местный товарищ выступил в печати, и не где-нибудь в областной, а в центральной печати, и, ничуть не перехваливая нашу область, сказав и о наших недостатках, показал в то же самое время наш маяк своими художественными средствами.

И Николай Венедиктович даже прочел отрывки из очерка, который он высоко оценивал:

«Нет, не расскажешь всего, что на земле этого колхоза бурлит, кипит, переливается всеми жаркими красками лета и осени и разумной, энергичной человеческой деятельности!»

Тут, в этом месте выступления Николая Венедиктовича, аудитория, конечно, насторожилась: Николай Венедиктович цитировал из очерка, автором которого был вовсе не Избач, а Вася Турчанов — начинающий писатель и страшный враг Избача... Уже сколько лет Избач делал все, чтобы не принимать Васю в Союз писателей, он даже в Москву в приемную комиссию звонил, объяснял, что Васю не хочет видеть в своих рядах подавляющее большинство нашей организации. Избач звонил, а Николай Венедиктович его цитирует — понимаете, какая складывалась обстановка?

Васю в Союз не принимают, а он сидит себе тут же, на совещании и слушает, как его цитирует Николай Венедиктович!

Избач тоже сидит, тоже слушает, а его никто не цитирует, о нем никто ни слова! Я посмотрел на Васю — он молодой такой, серьезный такой — и подумал: «Вот бы принять Васю срочно в Союз! Вот бы избрать руководителем нашего Союза, а? А что?» Действительно, с талантами это может быть: сегодня какой-нибудь

Избач, да чего греха таить, и мы, аппаратчики, тоже смотрим на Васю свысока и не замечаем его, а завтра он во! — он во куда шагнул, и все только и отмечают свои заслуги: «Я первый его заметил...», «Я давно замечал...», «Я его двинул...». Посмотрел я и на Избача: седой уже, хотя и не старый, опытный такой, ко всему внимательный. Не растерялся, нет. «Ну,— подумал я,— ну, ничего, еще растеряешься, Избач!» Между прочим, я и еще заметил на нашем совещании одно лицо, которого в списке как будто не было. И даже не как будто, а просто-напросто не было: это была Наденька, младшая дочка Николая Венедиктовича. Милая девочка. Уехала учиться в Ленинград, училась на филфаке, на третьем курсе вышла замуж, на четвертом развелась, и вот, должно быть, по семейным обстоятельствам вернулась в родной город, поступила в редакцию молодежной газеты. Милая девочка. И надежды подавала. Сам Николай Венедиктович человек достаточно скромный, а вот супруга его, Роза Алексеевна, она-то, конечно, и двинула Наденьку в список талантов — больше некому.

Я все-таки стал вспоминать, какие именно надежды подавала Наденька, но тут Николай Венедиктович — подумать только! — стал вторично цитировать Васю Турчанова:

«Председатель колхоза имени Дзержинского Федор Петрович Плавнев, здешний уроженец, был и впрямь седой как лунь, но порывистая живость и белозубая улыбка выдавали неистраченную молодость и горячий, нетерпеливый нрав. В селе, оказалось, сегодня большое событие — открыт новый клуб со спортивным залом».

— Вот,— сказал Николай Венедиктович,— как подан портрет председателя колхоза! Вот я сколько лет Плавнева знаю, чего греха таить — сколько раз стружку с него снимал, а вот такого же его портрета никогда бы не создал, нет! Таланта нет! — развел руками Николай Венедиктович, и вполне к месту все у него было, и все засмеялись.

Все, кроме Избача, заметил я. Должно быть, и помимо меня кто-то еще поработал с Николаем Венедиктовичем насчет Избача, еще заметил я. Ведь я же очерк Васи Турчанова Николаю Венедиктовичу в качестве материала не подготавливал. Значит, кто-то другой? Наверное, Киреев, догадывался я, и хотя это было не так уж и хорошо лично для меня, я все-таки бес-

корыстно радовался... И посматривал на Избача. Уж такая серьезность, такая серьезность — можно подумать, будто Избач вот сейчас встанет и произнесет настолько грандиозную речь, что все только ахнут. Он именно с таким видом посматривал на всех присутствующих: «Вы у меня еще ахнете!»

Между тем Николай Венедиктович, говоря очень негромко, развивал мысль о необходимости взаимного обогащения руководящих кадров и творческой интеллигенции.

И развивал он ее так.

— Мы друг на друга влияем,— говорил Николай Венедиктович,— и очень сильно. Мы даже иногда не отдаем себе отчета в силе этого взаимного влияния. Вы-то, положим, наверное, отдаете, а мы-то — не очень. Я вот читаю очерк товарища Турчанова, но я не совсем уверен, что это хорошо, хотя мне как будто и нравится, но ведь никто же из вас не встанет и не скажет мне, хорошо это или нет? Вот я прочитал, процитировал, и теперь это будет значить, что это написано хорошо, и получается, что вы за своим мнением ходите к нам... Как бы это всем нам выпутаться из такой обстановки и атмосферы? Как бы это вам, Илья Захарович,—обратился Николай Венедиктович к Избачу,— создать в своей организации такую обстановку, чтобы там открыто говорилось о каждом — как и что им написано, на каком уровне? Если бы говорилось у вас, это знали бы и мы, и тогда мы меньше вмешивались бы в вашу творческую жизнь. Но дело-то в том, что вы сами заинтересованы, чтобы этого вмешательства было как можно больше! Уж очень вы любите руководство и очень не любите самостоятельность!

Вот так... Я даже о Васе Турчанове забыл думать и даже об Избаче. И о Наденьке тоже. Я теперь уже ни в чем не был уверен: ни в том, что Вася идет в гору, а Избач горит синим огнем.

Все присутствующие слушали Николая Венедиктовича с тем огромным вниманием, которое возникает, когда большой начальник начинает говорить от себя, а еще он начинает о чем-нибудь таком, чего от него никак не ждут. Вот и теперь на Николая Венедиктовича внимательно смотрели, будто никогда прежде не видели. А Николай Венедиктович говорил негромко, я бы даже сказал, он проникновенно или еще как-то в таком же роде говорил, правда, недолго — снова вернулся

к маякам. Ну, о маяках аудитория уже знала едва ли не во всех подробностях, поэтому Николая Венедиктовича не столько слушали, сколько смотрели на него. Смотрели на полукруглый блестящий стол, за которым он сидел, этакий грузноватый, совершенно седой, даже брови седые, а лицо красное и очень, в общем-то, строгое.

Ну и на Наденьку, я заметил, тоже кое-кто стал оглядываться и соображать — в каком она здесь качестве? Или в качестве корреспондента молодежной газеты или же ее кто-то действительно включил в список талантов? Для меня лично вопрос был ясен. Я неплохо знал характер Розы Алексеевны, я знал, что Николай Венедиктович еще накануне распорядился прессу на наше совещание не приглашать, но всю беседу-встречу строго застенографировать — две стенографистки сидели за маленьким столиком, чуть впереди большого, полукруглого стола, сидели и, видно было, старательно трудились. Значит, Наденька была не от газеты, а сама по себе.

Ну вот, Николай Венедиктович и закончил речь и сказал, что теперь он самым внимательным образом будет слушать участников данного совещания, будет отвечать на их вопросы, а после совещания — опять-таки очень внимательно — изучит стенограмму.

Конечно, произошла небольшая пауза, ведь первый выступающий, даже если он и наметил про себя выступить первым, все равно чуть-чуть да повременит, но тут пауза была совсем короткой — слово взял Избач, и я подумал, это Избач сделал ошибку: ясно же было, что в его адрес последуют критические замечания, от Васи Турчанова последуют обязательно и от кого-нибудь еще необязательно, но, вернее всего, тоже будут. Чтобы опровергнуть критику в свой адрес, ему нужно было выступать позже...

Избач встал, выпрямился, голову закинул слегка набок и назад, внешне он чем-то напоминал Николая Венедиктовича, а когда он заговорил, мы все поняли, что всех нас, всех-всех Избач обошел! И ведь как обошел-то, как безошибочно! Ну прямо-таки он всех нас посадил в лужу.

— Товарищи! Мы здесь, все присутствующие, конечно, должны выразить нашу глубокую благодарность...— Избач пропустил, кому мы должны выразить благодарность, а продолжил мысль так: — ...и лично Николаю Венедиктовичу за то, что им была проделана

такая работа по организации нашей встречи, такая кропотливая, потому что, конечно, нельзя же было пригласить всех желающих участвовать в такой вот высокой встрече, за то, что Николай Венедиктович нашел время выступить перед нами, творческими работниками, и так четко и критически обрисовать положение в области; за ориентацию нас на маяки, на передовой опыт, который мы и должны сделать всеобщим достоянием. Но...— тут Избач оглянулся и посмотрел на присутствующих с каким-то не вполне понятным недоумением, а все присутствующие посмотрели на Избача с недоумением вполне понятным: какие еще могут быть здесь «но»? Благодарит Николая Венедиктовича и вдруг — «но»? — Но,— повторил Избач,— нам надо учесть такой выдающийся факт: в наши дни в нашей литературе и в нашем искусстве в целом произошло событие огромного, я бы сказал, поворотного, исторического и глобального значения... Безусловно поворотного... Безусловно исторического. Еще раз подтвердившее истину: только великие люди могут без подготовки создать великие произведения! Я имею в виду появление такого цикла великих высокохудожественных произведений, как «Семена», «Крепость» и «Взлет»... В которых воплощен опыт литературы и жизни. Это действительно тот маяк, который ориентир как для нашей жизни, так и для всего искусства в целом и для литературы в частности. Теперь у нас есть эталон как величайшее средство борьбы с серостью в художественной литературе. Чего нам греха таить — разве мало у нас еще серятины? Почему? Одна из причин — старшее поколение писателей не дает истинного, творческого примера молодежи. Должен сказать со всей самокритичностью: я тоже отвечаю не на все письма творческой молодежи и очень часто ловлю себя, что отношусь к такой переписке формально, без души и не учитываю опыта Алексея Максимовича Горького. Но вот произведения «Семена», «Крепость» и «Взлет» — чему прежде всего они учат? Они прежде всего очень многому учат, но в первую очередь — самому внимательному отношению к человеку... как сегодня уже говорил об этом Николай Венедиктович, к че-ло-ве-ку!

Николай Венедиктович сидел за полукруглым столом, в самой его середине, постукивая рукой по красному сукну... Николай Венедиктович, в общем-то, попал в деликатное положение — он об этих произведениях,

правда, говорил, но главное внимание на них сосредоточил вовсе не он, а Избач — вот кто! Это надо же было Избачу преподать всем нам, всему аппарату, самому Николаю Венедиктовичу такой потрясающий урок!..

Мы, аппаратчики, нас тут, кроме Николая Венедиктовича, было трое — я, Киреев и еще один работник культуры, мы все трое сидели как ошпаренные и мысленно хватались за голову: как это мы Николая Венедиктовича подвели, когда готовили ему справку для выступления на данном совещании! Не говоря уж о самих себе — себя-то мы, помощнички, как подвели?! В глазах Николая Венедиктовича?! Я подумал: «Сейчас, как только Избач кончит, снова заговорит Николай Венедиктович и наведет равновесие и скажет, что факт выхода таких произведений, как «Семена», «Крепость» и «Взлет» — это факт огромного значения и что обсуждение этого факта уже — уже! — включено в календарь следующего квартала, и что сегодняшнее совещание именно в этом плане — в плане подготовки к такому обсуждению и надо рассматривать...» Такого выступления я ждал от Николая Венедиктовича, он это умел хорошо — отреагировать на ходу, но Избач и не думал заканчивать свою речь, он думал и еще чем-то всех нас поразить...

И вот он снова поразил... Он сказал:

— Товарищи! Мне только что звонили из Москвы, мне точно известно, потому что мне только что звонили из Москвы: Союз писателей выдвигает эти произведения на соискание Ленинской премии. Мне даже кажется, что вообще в мире нет такой премии, которой достойны эти выдающиеся произведения, но для меня совершенно ясно одно: мы на сегодняшнем совещании должны поддержать это выдвижение, высказаться по нему со всей искренностью и поддержать. Во-вторых, мы должны провести обсуждение этих произведений сначала здесь, сейчас же, а затем и во всех творческих коллективах нашей области. Самое деятельное участие в этом важнейшем мероприятии должно принять наше отделение Союза писателей РСФСР. И я заверяю вас, дорогие товарищи, что весь наш Союз, что наше местное отделение Союза окажется на высоте поставленной задачи и проявит самую высокую активность!

Теперь вы поняли, что за фигура был этот самый Избач — Илларион Захарович Бачинский?! Ведь сколько лет я его знал, знал, можно сказать, насквозь, но что

он такая именно фигура, на что он способен, этого я, оказывается, все еще как следует не знал!..

Николай Венедиктович, конечно, быстро сориентировался и, когда Избач наконец сел, он сказал, что сам по себе факт выдвижения — это очень радостный факт, вполне достойный нашей эпохи, но что выдвигать на премию эти выдающиеся произведения вот сейчас же, сию минуту и в составе данного совещания мы все-таки не можем, поскольку мы не коллектив, а только наиболее талантливые представители разных творческих коллективов. Но действительно как представители, вернувшись с этого совещания в свои коллективы, мы должны будем организовать там обсуждение с выдвижением. Собственно, ради этого и созвано было наше совещание, перед участниками которого имелось в виду задачу поставить, но товарищ Бачинский, в общем-то, спасибо ему, несколько опередил события, а теперь он, Николай Венедиктович, призывает поделиться своими мнениями по этому поводу. Пусть никто не стесняется, пусть каждый поговорит здесь искренне, от души!

Тут же взял слово Вася Турчанов и сказал, что наша действительность и вся наша жизнь уже давно взывают к появлению вот таких произведений, и вот наконец-то она, действительность, дождалась и произведения эти появились, так что читать их надо каждому два, а может быть, и три раза, чтобы понять всю их глубину. Он, Вася, когда будет выступать в разных коллективах, будет стараться донести до слушателей всю эту всеобъемлющую глубину.

Ах, Вася, Вася — сложный человек! У меня в письменном столе лежала одна страничка его рукописи; там один герой по имени Иван Иванович фигурировал, и вот якобы от его имени Вася писал, обращался ко всей мировой литературе... «Нет, не научились вы, писатели, писать о человеке,— писал на той страничке Вася.— Тысячи лет учились, а толку — чуть! И до сих пор вся мировая литература все еще бессильна передо мной, перед Иваном Ивановичем, потому Иваны Ивановичи и не читают мировую литературу, не интересуются. Интересуются лишь те, кого вы специально подготовили и спровоцировали к такому интересу — специально! В этой подготовке вы действительно достигли каких-то результатов, а чтобы в познании самой жизни — ни-ни! Ни одного из нас, Иванов Ивановичей, вы не постигли до конца и не постигнете никогда, кишка тонка. Ну

ухватите какое-нибудь одно мое состояние, одну черту моего характера, а где же я весь? Весь я вам не доступен ни в одном мгновении моей жизни. Вы написали, что я говорю жене: «Давай завтрак, есть хочу!» — а чем в это время пахнет из кухни, как ворчит у меня в животе, как посмотрела на меня жена, как я на нее, что я подумал сразу же после этих слов, почему я так захотел есть — это все и еще многое-многое осталось за скобками, осталось недоступным для вас. А значит, вот вам, писателям, от Ивана Ивановича кукиш на постном масле!»

Вот с такими примерно мерками подходит Вася к литературе, я-то знаю, с какими! И от таких, как Вася, литературу надо спасать! Конечно, надо. Так что Избач, может, и прав в оценке Васиной личности? А?

Избач во время Васиной речи смотрел на него свысока: дескать, «старайся, старайся, первоклашка! Старайся — после того, как взрослые уже сделали дело!..»

Ну, и Подканунников говорил о том, что он уже прекрасно видит все эти три произведения на сцене областного драмтеатра и просит областное руководство содействовать и принять меры к тому, чтобы это видение стало реальностью.

И художники тоже увидели в этом произведении такие сюжеты, которые им до сих пор и не снились, и для ученых это был объект самого серьезного исследования, а для архитекторов — импульс для многих и многих замыслов.

Ну, а после архитекторов я уже не помню, кто говорил, многие говорили и приветствовали, но — не запомнилось; наверное, еще потому не запомнилось до конца, что я все сидел и все диву давался, как всех нас Избач-то обошел?! Я удивлялся Союзу писателей — вот уж мастаки так мастаки, всех обошли! Сами написали, сами напечатали, сами объявили напечатанное гениальным, сами около этой гениальности греются! Так оно и есть: истинная гениальность не бог весть как греет, а вот эта... Ладно, умолчим. Я и себе тоже страшно удивлялся — давно пора бы привыкнуть к разным историям, а я им все еще удивлялся. Нет, право же, дальнейший ход нашего совещания мне не запомнился. Это всегда так бывает, когда что-нибудь самое главное в самом начале произойдет, тогда только самое начало и запоминается.

Быстро течет время...

Избач после этого совещания, конечно, расцвел. Тут вскоре в нашей писательской организации было очередное отчетно-выборное собрание. Мы в аппарате, признаться, сильно побаивались, что Избача прокатят на вороных, теперь это и для нас был бы конфуз, неловкость была бы, но все оказалось в порядке: Избач, как всегда, прошел одним голосом, и уже на другой день его принял Николай Бенедиктович, имел с ним полуторачасовую беседу — о нуждах нашей писательской организации. Однако эти нужды, должно быть, уже не особенно интересовали Избача, еще через два дня он уехал в Москву, у него там выходило очередное издание детективного романа «Две луны» и что-то такое еще, вот он и поехал в Москву и... не вернулся. На этот раз он там устроился окончательно. И с квартирой, и с должностью он тоже там устроился.

Но вот еще о чем я должен вам сказать по поводу этого случая, точнее — по поводу списка. Ведь сколько уже лет прошло, я уже на пенсию вышел, Николай Венедиктович на пенсию вышел, Избач в Москве сильно болел, но выздоровел и сейчас занимает солидную должность. Восемнадцать лет прошло — вот сколько, если уж быть точным, а список-то наш — он и до сих пор, я знаю, для работников аппаратов нашей области существует как необходимое пособие. Ну, конечно, его корректируют, его пересматривают, но вот недавно мне совершенно случайно пришлось общаться с моими бывшими коллегами, и я увидел этот список — и что же? Не так уж сильно он прокорректирован, не так сильно пересмотрен. Больше того, он оказался даже дополнен очень подробным перечнем критической литературы, посвященной произведениям «Семена», «Крепость» и «Взлет».

«Волна восторженных отзывов!!!» — такой фразой был озаглавлен этот перечень, затем следовало крупное двоеточие, затем на нескольких страницах и сама волна. Очень подробный перечень, очень много известных мне авторских имен включает.

Так или иначе, перестройка перестройкой, а наш список талантов все еще не потерял значения, так или иначе, а мы не напрасно над ним когда-то потрудились.

А время, конечно, течет...

1986

БОРИС БОРИСОВИЧ — САМОУБИЙЦА

В огромном и светлом зале, с таким высоким потолком, что его и увидеть-то будто бы нельзя, разве только лежа на спине, Борису Борисовичу было очень жарко. Жарко, душно, беспокойно, еще как-то, Борис Борисович толком и не знал как.

Вернее всего, что жары не было, духоты не было, а было волнение, необъяснимое и потому еще более удручающее. Волноваться, переживать неизвестно почему — не глупо ли? И Борис Борисович решил, что он вовсе не волнуется, ничуть, он устал, переутомился до крайности, вот и все.

Действительно, какие нагрузки! День-деньской — заседания, вечером — встречи с зарубежными деятелями и с нашими, советскими корреспондентами, в обеденный перерыв как-никак, а нужно заскочить, показаться на работе — без этого нельзя. Во-о-он какие люди успевают заскочить к себе в рабочий кабинет, а ты — нет, не успеваешь? Нельзя!

На заседаниях в течение нескольких дней тоже поработали хорошо, хорошо поработали. Все шло чин чином, не только без каких бы то ни было ЧП, но даже и без мелких происшествий, все подходило к своему логическому концу, вот-вот подойдет и можно будет вздохнуть с облегчением. Вот, значит, в чем дело, откуда шло волнение: конца хотелось всей этой бодяге, бесконечным этим заседаниям, они ведь изматывают хуже любой работы. Есть, конечно, уникумы, выдающиеся личности, они две недели без выходных в заседательском режиме проведут — и хоть бы что, ни в одном глазу. Борис Борисович к ним, увы, не относился. Закалка была, конечно была, но до чемпионства — далековато.

Так или иначе, а дело двигалось к концу — больше ему некуда было двигаться. Уже и рабочий президиум сошел со сцены, освободив огромный стол без сукна, покрытый таким ярким лаком, что издали он выглядел позолоченным. Оказавшись пустым, стол заблестел еще ярче, и, прищурившись, Борис Борисович отыскал за столом и стул, на котором он сидел в президиуме все дни заседаний, третьим в первом ряду было его место, третьим справа налево... Как-то он там, в президиуме, выглядел, Борис Борисович, в течение этих дней, если смотреть отсюда, из зала, с двадцать второго ряда?

Борис Борисович сидел теперь далеко-далеко, в двадцать втором ряду.

Получалось-таки — он выглядел «там» ничего, прилично выглядел. Нормально. Ну а теперь оставались выборы нового руководства.

Только одна эта процедура и оставалась, остальные все были завершены: резолюция была принята, обращение — принято, наказ новому правлению принят, правление выбрано, из состава нового правления нужно было выбрать новое руководство — вот и все. Пустяк оставался.

За столом президиума вот-вот должны были появиться три товарища из вышестоящих организаций во главе с товарищем Щ., чтобы оформить и эту заключительную стадию, выборы нового руководства, но они почему-то не появлялись, почему-то задерживались, и время шло.

Наконец они появились, и товарищ Щ. объявил заседание правления нового состава открытым и сказал, что оно должно выбрать новое руководство, помолчал и предоставил слово для предложения о численности какому-то товарищу.

Неизвестный был товарищ, откуда-то с периферии.

Он вышел, этот товарищ с периферии, и предложил избрать новое руководство в составе шестидесяти семи человек.

Ему поаплодировали, но товарищ Щ. все равно поставил вопрос на голосование: все согласны с таким численным составом?

Согласны были все. Против — никого.

А в прошлый раз, вспомнил Борис Борисович, избирали пятьдесят три человека, позапрошлый — сорок один, еще раньше — тридцать семь... Борис Борисович

дошел до цифры двадцать пять, он на память до сих пор не жаловался. Дошел и подумал о том, что все-таки штаты растут непомерно. Хотя, конечно, работы становится все больше и больше, численность организаций в центре и на периферии — больше и больше, каждой организации хочется иметь своего представителя в руководстве — тоже понятно, а все-таки... Многим и многое хочется, но можно было бы кое-что и укоротить, попридержать амбиции, сократить административные расходы, передать в народное хозяйство несколько легковых машин с водителями...

Как ни говори, а шестьдесят семь — огромная цифра, в ней даже теряешься, теряешь собственный авторитет. При цифре двадцать пять были другие времена, когда с тебя умели спрашивать, но и ценить тоже умели и давали в руки нечто реальное. Такое реальное, что звонить своему заместителю нужно было только один раз, а не три-четыре, на периферию — раза два-три, а не десять-двадцать, когда все знали, что если сегодня установлена цифра двадцать пять, значит, она и завтра будет двадцать пять, а не пятьдесят и не шестьдесят семь.

Недавно Борис Борисович на свой страх, на свой риск обратил на это обстоятельство внимание товарища Щ., и тот сказал:

— Сам-то ты хочешь быть в руководстве? Вот и другие хотят!

Впрочем, думал Борис Борисович, впрочем, дело-то не в номинальной численности руководства, дело — в его рабочем составе, в штатных должностях, в тех семи-восьми товарищах, его коллегах, которые руководят действительно, а не номинально.

Ну вот, товарищ Щ. уже предоставил слово для оглашения списка из шестидесяти семи человек товарищу Барсункову — тоже не очень известный товарищ, хотя и отсюда, из центра. Но голос у него действительно поставлен хорошо. Он не торопился, фамилии перечислял с паузами в одну секунду, и все правление нового состава слушало очень внимательно, хотя список этот был всем присутствующим известен давно, еще до начала самого первого заседания.

Был известен, а все равно волнительно. Кого Барсунков провозгласит по фамилии своим хорошо поставленным голосом, тот и вздрагивает будто от чего-то совершенно неожиданного, нежданного-негаданного:

Кого в списке нет — и те почему-то переживают. Неизвестно почему...

Букву «Г» зачитал с трибуны Барсунков. На «Д» не оказалось никого, на «Е» — один человек, тоже периферийный, до буквы «П» — родная она для Бориса Борисовича, его фамилия Привалов — оставалось довольно далеко, и все еще дышалось просто, почти как всегда, дыхание не перехватывало. Это на «Н» или даже на «О» должно было случиться...

«К» в любом списке занимает места больше всех, нудная буква, бесконечная...

«Л» обычно бывает малочисленной, а тут, надо же — тут были Ладонин, Лиховский, Лукин, Лыхов...

«Н» — Никольский, Норкин.

«О» — никого.

И вот оно, «П»: Петриков... пауза... Путинцев... пауза... Родионов.

«Господи! Какой склероз! — подумал Борис Борисович.— Какой у меня склероз, если я сам себя не расслышал?!»

Потом он подумал — Барсунков виноват, невнимательно читает, паузу сделал слишком длинную и пропустил Привалова. Борис Борисович хотел вскочить и через весь зал крикнуть: «Товарищ Барсунков, будьте внимательнее! Вам поручили ответственное дело, вот и будьте внимательнее!», но тут он догадался, что, может быть, и не Барсунков виноват, а машинистка, которая список перепечатывала... Покуда Борис Борисович вот так, со сдавленным дыханием, искал в уме виновного, Барсунков прочел: «Якимов», и список кончился, и под ним единогласно подвели черту. Кончился, как будто его и не было. Как будто не было никогда.

«Хватит фантазировать! — сказал сам себе Борис Борисович: — Это же недоразумение, недоразумение, и ничего больше. Фантазия — и ничего больше!» Но по тому, как посмотрел на него сосед справа — Гудков, сосед слева — Ладонин, он тут же понял, что это не ошибка, нет, а что-то совсем другое... А когда сзади, из двадцать третьего ряда, в затылок ему дохнул и еще кто-то — Соколовский дохнул, вот кто! — когда наконец — и это окончательным и бесповоротным было доказательством — к нему оглянулся Крупчаткин Владимир Семенович, бывший его заместитель, в недавнем прошлом неожиданно круто обошедший своего началь-

ника по служебной лестнице, Борис Борисович понял, что ошибки не было никакой, фантазии — никакой, была одна только реальность. Она была.

«Спокойно, спокойно! — призвал себя Борис Борисович.— Ты же взрослый человек, ты же повидал, ты же пережил кое-что на своем веку!»

Призыв не помог, и тогда Борис Борисович сказал не то вслух, не то про себя:

— Этого не может быть,— сказал он довольно громко.

И действительно — он же сам участвовал в составлении списка. Он сам список знает, не с чужих слов... Он сам сказал товарищу Щ., когда список был утрясен окончательно:

— Спасибо, товарищ Щ.! Постараюсь и на этот раз оправдать доверие! Спасибо! Постараюсь!

Этого не могло быть, но это — было! И виновным в этом деле был Крупчаткин! Он! Больше некому! Некому больше!

Если бы товарищ Щ. и дальше повел дело так, как всегда было принято его вести, если бы он поставил список на голосование, и вся недолга, тогда и Борис Борисович не предпринял бы никаких действий, проголосовал бы вместе со всеми и вместе со всеми вышел из зала (или чуть раньше всех, или, замешкавшись, чуть позже...). Но товарищ Щ. ни к селу ни к городу развел демократию.

— Товарищи! — объявил он.— Предлагаю выступить по списку со своими личными замечаниями... Есть такая необходимость — выступить по списку с личными замечаниями и оценками! Будут желающие?

Если была, появилась такая необходимость, то и желающие, конечно, нашлись, они стали подниматься один за другим на трибуну, стали говорить о списке как о самом совершенном творении природы, совершенном, но, должно быть, хрупком, так как притронуться к нему, что-то в нем изменить ни в коем случае нельзя, невозможно.

Тем не менее для Бориса Борисовича вдруг возникло какое-то время, в течение которого он мог что-то предпринять, как-то бороться против вопиющей по отношению к нему и унизительной несправедливости. Он действительно должен был что-то сделать, по здравому смыслу или вопреки ему, но — сделать.

И Борис Борисович вырвал из делегатского блокнота листок, написал на нем несколько строк, сложил вчетверо, сверху еще написал: «Президиум. Товарищу Щ-у» и передал записочку...

Он передал ее Крупчаткину:

— Будь добр, Владимир Семенович!

Ну вот...

«Ну вот, ну вот, ну вот»,— шептал Борис Борисович, видя, как его записочка, словно птичка, перепархивает из рук в руки, из ряда в ряд в направлении президиума.

Он даже прислушался: не издает ли она какие-нибудь звуки, не чирикает ли, перепархивая?

Нет, она молча летела в президиум.

«Как бабочка на костер,— и еще подумал Борис Борисович.— Вот сейчас она вспорхнет в президиум, товарищ Щ. возьмет ее в правую руку, и тут она — сгорит... Как бабочка в костре сгорит...» Но и другая мелькнула, совсем уже несообразная мысль: а что, если она в президиуме взорвется? Как бомба? Надо бежать, предупредить. Надо кричать отсюда, из двадцать второго ряда, что он все это сделал нечаянно. Он не хотел сделать ничего плохого, он просто не подумал о всех возможных последствиях!

Но было уже поздно. Товарищ Щ. уже держал записочку в руках. В обеих руках почему-то держал, такую крохотную... И читал... и перечитывал. Потом посмотрел в зал... Сказал что-то своему соседу справа... Конечно, он сказал, чтобы тот вел обсуждение списка, ему надо отойти на минуту. И он встал, и отошел... Конечно, он сейчас будет звонить по вертушке...

Он долго звонил по вертушке, товарищ Щ., немыслимо долго. Ораторы высказались по списку и притомились. Зал недоумевал — наверное, все до одного двести пятьдесят три члена правления нового состава недоумевали. А что переживал в эти бесконечные минуты сам Борис Борисович? Теперь это уже невозможно было себе представить!

Когда товарищ Щ. все-таки вернулся на свое место, он громко откашлялся и сказал:

— Товарищи! Есть такое мнение: сделать обеденный перерыв на два часа, а через два часа здесь же, в этом же зале, продолжить обсуждение списка! Итак, товарищи, перерыв на два часа!

В один какой-то миг Борис Борисович восстановил

и просчитал в уме все, что сейчас случилось, и порядок этого всего оказался таким:

1. Товарищ Щ., получив записку Бориса Борисовича, пошел звонить по вертушке.

2. Товарищ, которому позвонил товарищ Щ., велел подождать и сам стал звонить по вертушке несколько выше.

3. Затем, в порядке обратной связи, он позвонил товарищу Щ. и сказал ему так: «Мы тут посоветовались... Ты сделай перерыв часа на два и приезжай сюда, мы еще посоветуемся. Втроем».

4. Не решив вопроса сразу же, в одну минуту, но решив посоветоваться втроем, они все трое определили тем самым исход дела: они введут в список руководства еще одну фамилию (Привалов), а может быть, для убедительности и для естественности и еще одну (вот повезет кому-то ни за что, ни про что, надо же, как повезет!).

Пункт пятый и все дальнейшие пункты не вырисовывались в сознании Бориса Борисовича, поэтому он, даже не продумав как следует, нужно это или не нужно, побежал в гардероб для членов президиума в надежде увидеть там товарища Щ. Для чего это — увидеть его, — Борис Борисович и сам не знал. Что-то в Борисе Борисовиче сильно смущалось, что-то чего-то стыдилось, что-то чем-то возмущалось, что-то против чего-то восставало и возражало, но самое главное — что-то уже ликовало от пришедшей к нему догадки: «Введут!»

И в этом состоянии, совершенно не думая о том, что он скажет товарищу Щ., что он должен сказать ему обязательно, а что — ни в коем случае, Борис Борисович почти бегом обогнул фойе, выскочил на улицу, с улицы влетел в небольшой гардероб с двумя молодыми людьми у входа — в гардероб президиума. Борис Борисович все еще мог, имел право сюда влететь, поскольку у него на руках оставался делегатский билет с пометкой «Президиум».

И он это сделал и тут же, лицом к лицу столкнулся с товарищем Щ. Тот был уже в пальто, был в шапке, был рассержен и, рассерженный, молча прошел мимо Бориса Борисовича, сел в машину и уехал.

А Борис Борисович оставался теперь уже в чужом для него гардеробе и подумал: «Как я эти два часа переживу? Не переживу ведь! Умру ведь!».

Да-да, все так и было — я смотрел сквозь застекленную дверь на улицу, но ничего уже там не видел, я думал: «Боже мой, умереть в гардеробе — как это глупо!» Ну, а вы-то, вы, конечно, уже и сами давно догадались о том, что я написал товарищу Щ.?!

Все мы становимся догадливыми именно тогда, когда в наших догадках никто не нуждается.

Да-да, вы точно догадались, я написал:

«Товарищ Щ.!

Вопрос, конечно, не в должности, вопрос в самой жизни и смерти, вопрос в совести и достоинстве. Поэтому в случае, если так случится, я без колебаний лишу себя жизни.

Без колебаний от всей души искренне Ваш

Привалов».

Ну зачем я эти два слова-то написал, а? Зачем? Записка в целом меня уже не смущала, нет-нет! Наверное, я правильно сделал, что послал ее, нельзя было не послать, нельзя, нельзя, но почему и зачем я этими двумя бессмысленными словами ее испортил, «без» и «колебаний»?! Невероятная глупость, повторенная дважды! Не будь «без колебаний», я был бы сейчас уверен в себе и даже с чувством собственного достоинства ждал бы решения своей судьбы. Я твердо знал бы, как моя судьба будет решена — в мою пользу, вот как! Уж это точно! Но... Но вместо того, чтобы «прошу Вас учесть, что ситуация такова, что я могу лишить себя жизни», вместо этого — «без колебаний»!

Да что, в самом деле — я хотел запугать товарища Щ., что ли? Товарища Щ., еще двух, а то и трех других товарищей, что ли? Ведь не мог же я предположить, что товарищ Щ. решит подобный вопрос сию же минуту и единолично?

А если не мог — значит, я сразу нескольких товарищей хотел запугать! Сразу нескольким товарищам предъявить ультиматум! Сразу нескольких поставить в щекотливое положение!

Нашелся какой твердокаменный, какой принципиальный шантажист — словно капитан Гастелло сразу на нескольких товарищей пошел на таран: «А вот вы у меня дрогнете, а я — ни на секунду!»

Хамство какое, какое пренебрежение нормами! Какое — дисциплиной!

Да кто и когда такое хамство по отношению к себе допускал, кто прощал? Доведись до меня — я бы разве простил? Ни в коем случае! Я бы сказал: «Что-о-о? Нас вздумали пугать? Ну и пусть кончает со своей жизнью — драгоценность какая! Других таких драгоценностей у нас нет, не было и не будет! Да и кто это ему, как его, Привалову, что ли, поверит, будто он с чем-нибудь способен кончить? У него что там — служебный кабинет? И служебная машина круглосуточно? И секретарша? И два помощника? И прочее, и прочее? Не-е-ет! Поощрять хамство — это мы к чему же придем! Поощрять, идти на поводу — это...»

Вот как бы я ответил на «без колебаний», будь я на месте товарища Щ. и других товарищей! Так бы, именно так и ответил. А больше — никак!

И хотя бы «без колебаний» было употреблено в записке один раз, где-то в середине текста, а то ведь один раз и потом еще один уже под самый конец, в заключение. Под самый занавес!

Не знаю, не знаю, ума, что ли, я окончательно лишился в тот момент? Когда писал эти слова?!

И это — только для начала, для первых нескольких минут из тех двух часов, которые мне предстояло прожить в таком вот ожидании, в таком состоянии.

Теперь я уже сидел в опустевшем фойе у огромного окна с огромным подоконником, фойе было пустое-пустое, но я все равно сел так, чтобы меня никто не мог видеть — между двумя стендами с фотографиями.

Я сидел за стендами как за ширмами, и фотографии справа и слева от меня были будто бы с какой-то другой, не нашей, планеты. А ведь ничего подобного — среди множества лиц и фигур, персональных и группами, немало было моих давних знакомых — участников нынешних заседаний... Где-то и с кем-то был, кажется, сфотографирован и я сам, с кем-то вдвоем, с какой-то очень заметной личностью, и еще недавно это было мне так приятно, и в эти дни в перерывы между заседаниями я не раз подходил к стенду, чтобы взглянуть на себя в обществе... в чьем же все-таки обществе? Представьте, я даже и не помнил, в чьем именно. Наверное, я мог бы вспомнить, но не хотел, так было мне скверно сейчас, человеку «без колебаний».

Я думал о том, как я, оказывается, одинок! Ну вот, предположим, завтра меня не будет — и что? И что же

из того? Кто это заметит, у кого появятся на глазах слезы?

Ну, домашние поплачут — жена, дочь, сын и даже старушка теща всплакнет, а другие-то? Других-то, с кем я имел дело, общался годами — их сколько? С кем я дружил, ссорился, против кого интриговал, кто интриговал против меня, кому я подчинялся по работе, кто подчинялся мне, с кем мы вместе что-то делали, где-то выступали, к чему-то призывали, выполняли и проваливали планы, подготавливали материалы для вышестоящих организаций, ездили в командировки — их сколько? Но разве кто-нибудь из них заметит мое отсутствие? Присутствие — да, замечали, а отсутствие? Значит, и к моему присутствию они тоже были совершенно безразличны: то ли присутствует на букву «П» Привалов, то ли на букву «И» Иванов — какая им разница? Кого бы я вот сейчас, в эти минуты, мог позвать на помощь, кому рассказать о состоянии человека «без колебаний»? Некого позвать... по себе сужу: если бы кто-то, будучи в моем положении, позвал меня: «Вот, брат, в какой я оказался переделке, в какой ситуации — помоги, выслушай меня» — стал бы я выслушивать? Я бы уклонился: сам, дурак, написал записочку, написал «без колебаний» — сам и выкручивайся, других таких же дураков не ищи...

Но если и так, все равно, все равно я уже был зол, до глубины души негодовал на всех на свете, кроме самого себя. Все были виноваты, все-все, и только я один от начала до конца — прав. Все были одной половиной человечества, злой и бессердечной, а я был ее другой половиной — разумной, доброй и, главное, страдающей. Настолько доброй, что меня поражала эта доброта. Настолько страдающей, что и передать невозможно.

Вот так две половины человечества были, они были на равных, а если на равных и если уж решается их судьба, кто же должен уйти со сцены — зло или добро? По справедливости? А кто из них должен остаться? По справедливости?

И представьте себе, остался, реально остался я, другая же половина человечества — только в моих воспоминаниях.

А от этого сначала фифти-фифти, от этого сначала предположительного, а потом уж твердо усвоенного мною собственного и трагического, а все-таки превосходства, от этой моей реальности легче стало измучен-

ной душе моей, и я подумал: «Большой или маленький, это уж другое дело, но только настоящий руководитель должен чувствовать себя руководителем в любых условиях! Даже если он остался один-одинешенек на всем белом свете, все равно он — руководитель и никто другой».

И я увидел себя в своем кабинете, будто я говорю по селектору своей секретарше Софье Мироновне:

— Софья Мироновна! Соедините меня с Куколиным! Поскорее!

Я знаю, что скоро соединиться с Куколиным нельзя, невозможно, для этого нужен день, два, три, но все равно говорю «поскорее», надеясь, что, кроме меня, товарищу Куколину звонить больше некому, ведь реален-то я один, и все остальные не более чем так себе.

Я даже подумал, что очень обрадую своим звонком Куколина, он ведь знает все на свете, обо всем прекрасно осведомлен, но никто и ни о чем его нынче не спрашивает. А я — спрошу!

И действительно — не успел я об этом подумать, как Софья Мироновна нас соединила, и я спросил:

— Лев Львович, здравствуй, дорогой! Как там результаты голосования-то? Кого там выбрали — кого не выбрали? Окончательно не выбрали?

— Где это «там»? — спросил Куколин.

— Я думал, ты знаешь...

— Ты чудак. А мало ли что чудаки думают.

— И у тебя нет данных из приемной товарища Щ.? — продолжал я.

— Какие же у меня нынче могут быть данные?

— Ну, а тогда здоровье-то как? — Больше мне не о чем было Куколина спрашивать.

— А это уж совсем не телефонный разговор,— обиделся Куколин и еще пояснил: — В данных обстоятельствах — не телефонный.

Я использовал последний шанс и спросил:

— Ну, а с охраной окружающей среды — дела? Обстоят?

— Неважно! — вздохнул Куколин.

— Реки поворачивают, что ли?

— Одну — на триста шестьдесят градусов, другую — около этого.

— На триста шестьдесят? — не понял я, потом догадался: — В две очереди? Сначала на сто восемьдесят,

потом еще раз на сто восемьдесят! Здорово придумано! Кто инициатор?

— Нет инициаторов. Нет и не может быть.

— Как так?

— Маленький, что ли? У многих инициатив нет инициаторов — этим-то они и сильны. Дойдет дело до орденов — инициаторы появятся и тоже будут сильны...

— Как-как? — не понял я.— Повтори.

Куколин повторил, и до меня дошло. Я обрадовался, что дошло, мне захотелось продолжить разговор, но Куколин сказал:

— Трепач ты, Привалов, ну и трепач!

Я вышел в приемную, имея в виду поблагодарить Софью Мироновну за то, что она так быстро соединила меня с Куколиным, ее, конечно, не было. Никого ведь, кроме меня, не было — ни ее, ни Куколина, никого; одни только воспоминания и голоса этих воспоминаний...

Все-таки я ласково похлопал Софью Мироновну. Она оказалась тепленькой...

И еще, еще и еще. Анекдоты какие, а? Или я в самом деле... Как будто бы нет, но как будто бы и да...

Всю жизнь я нес на себе грех, а какой — так и не знал. Я грешил не больше других, как все, так и я, и даже больше того: как я, так и все, а если так — какой же это грех?

Но все-таки? Что-то такое было, если настало время и грех самовыразился, объявился в записке, которую я послал товарищу Щ. Во всяком случае, не будь я грешен, не написал бы «без колебаний»! Уж это точно — не написал бы, грех попутал. Я пытался убедить себя, что я ни при чем, это сама жизнь грешна, жизнь поддельна и требует, чтобы под нее подделывались люди — все!

Требует, чтобы в ней, поддельной, каждый устраивался как может. Не можешь, не устроился, значит, ты как будто бы и вовсе не жил или жил неизвестно зачем и почему. Говорят: человек должен найти себя, подразумевая жизнь духовную, а это смешно! Еще бы не смешно! Если бы духовное устройство освобождало человека от устройства на службе, дома и на курорте — другое дело, тогда бы был выбор. Но выбора нет и никогда не будет, а будет только так, как назначено са-

мой жизнью. Хочешь не хочешь, презираешь ты материальную жизнь или нет, но ведь другой-то нет, святого духа, чтобы можно было им хотя бы раз в неделю подкормиться, нет! Есть правила для всех, и никуда от них не уйдешь — ни в рай, ни в преисподнюю.

Одни знают эти правила лучше, другие хуже, вот и вся разница.

Я всегда думал, что знаю правила неплохо, во всяком случае лучше многих других, и гордился этим, это и есть настоящий ум, но, посылая свою записочку, я, должно быть, правила нарушил. Грех и нечистая сила попутали. Что поделаешь? Специалистам случается ошибаться в правилах своей специальности. Врачи нарушают диету, курят и выпивают, милиционеры совершают уголовные преступления, филологи делают орфографические ошибки, Борис Борисович пишет товарищу Щ. записочку «без колебаний».

Товарища Щ. где-то кто-то сейчас в эту минуту спрашивает: «Да как же это? До чего ты распустил-то своих, если они позволяют себе? Сегодня один позволил, завтра — другой позволил, а дисциплина где? Они нас, которые такое вот пишут, за кого считают? За мальчиков считают?»

Горько, очень горько мне было, что я поставил товарища Щ. в столь щекотливое положение! Ведь он же, товарищ Щ., всегда относился ко мне неплохо, а чем я ему отплатил? И в мыслях никогда не было, клянусь, не было никогда, а вот взял и написал: «без колебаний»!

Сейчас пойти бы, побежать в тот кабинет, в котором рассматривается подробно изучаемая моя записка, пойти бы, чистосердечно сказать: случилось, с кем не бывает?! Но дело-то ведь ясно: задница — моя, плетка — ваша, вот и все, и решена проблема. Просто и естественно, а ведь не достигнешь простоты-то, сложна жизнь, запутает тебя иной раз невероятно, вплоть до того, что ты ее же закладываешь «без колебаний»!

Личная ядерная катастрофа случилась — вот что! Личная, она ничуть не лучше всеобщей. В этот момент я был убежден — не лучше!

И тут мне опять пришло в голову: Крупчаткин!

Крупчаткин, вот кто катастрофу устроил! Он и без этого давно меня обошел, из моих помощников вышел

и мои руководители, но все мало и мало человеку! Мало, что он сам процветает, ему нужно еще других угнетать, вычеркивать из списков, отстранять, унижать, уничтожать...

Крупчатки-и-ин! Ну и сволочь же ты, Крупчаткин, скажу тебе по секрету!

Конечно, мы уже давно не здороваемся, мы конкурирующие фирмы, но чтобы дойти до этого — разве можно? Разве можно, товарищ Крупчаткин?

А между прочим, вокруг себя я стал вдруг замечать множество предметов специального назначения. Один за другим, один за другим эти предметы так и лезли мне в глаза. И в душу.

Вот окно передо мной, застекленное, а разбить стекло — и получаются режущие предметы. Не один — множество.

Окно передо мной... распахнуть его, внизу — асфальт, твердое покрытие...

Вот мой портфель, в портфеле картонная коробочка, в картонной коробочке — таблетки снотворного. Десять комплектов по десять таблеток в каждом. Купил по случаю в аптечном киоске здесь же, в этом же шикарном доме, в перерыве между заседаниями купил...

Вот внизу, в туалете, вспомнилось мне, висят современные такие занавесочки, на чем же они висят? На длинных белых, на длинных, очень крепких нейлоновых шнурках... Такой шнурок килограммов сто, даже больше, выдержит, а мой собственный вес — всего-навсего восемьдесят шесть с половиной...

Когда живешь нормальной жизнью — трудишься, культурно и даже не совсем культурно отдыхаешь — многие назначения предметов от тебя скрываются, и так и этак камуфлируются, но стоит тебе оказаться на краю пропасти — они тут как тут, теперь уже не в скрытом, а в очевидном своем назначении.

Коварны едва ли не все предметы на свете!

Коварна жизнь, невероятно коварна!

А ведь эти размышления, все эти анекдоты и догадки не имели ко мне прямого отношения. Нет, не имели! Почему? Потому, что все они касались вовсе не меня, а моего ненастоящего двойника. Я-то сам как таковой, настоящий — разве я бы допустил все это? Был бы я настоящий, вот сейчас на своем месте — я бы

стукнул кулаком и крикнул: что за безобразие?! Прочь все эти анекдоты, прочь всякий страх, ничего я не боюсь, я — бесстрашный! Ну, написал записку — так и надо! Пусть только попробует товарищ Щ. и другие товарищи не послушать меня, не поверить мне — я в тот же час приведу свою угрозу в исполнение! Вот тогда зачешется у них в затылках, тогда они узнают, кто такой настоящий Борис Борисович Привалов, что за человек!

Но я давно заметил — во все критические моменты моей жизни настоящий Привалов куда-то исчезает, звать бесполезно, не дозовешься, зато появляется его временный двойник, неприятный и не настоящий тип, к нему иначе и отнестись нельзя как только с презрением каким-то, с упреками и даже с бранью... Такое вот обстоятельство.

А я всю жизнь ненавидел обстоятельства. Я как будто предвидел, что рано или поздно они сыграют со мной очень злую, самую злую и жестокую шутку. Я не ошибся — они сыграли. В общем-то, в принципе, я редко ошибаюсь. В общем-то, в принципе, я всю жизнь такой шутки ждал, но самое обидное, самое злое было в том, что пошутил-то над собою я сам. Не столько обстоятельства, сколько я сам: «без колебаний».

Конечно, можно было разложить вину поровну — на Привалова и на Крупчаткина, но Привалов все-таки виноват больше, поскольку он оказался ненастоящим.

Что может быть хуже, что может быть бессмысленнее, чем думать о смерти?!

И до сих пор я, признаться, о ней и не думал и ставил это себе в большую, в огромную заслугу: умею! Я так рассуждал: меня ведь никто не спрашивал — хочу я родиться или не хочу. Вот так же нет никаких оснований спрашивать — хочешь ты жить или не хочешь? Раз родился, значит, вопрос исчерпан — живи! Пока судьба по собственному ее разумению не прибрала — хоть лопни, а живи. Но вопрос-то, оказывается, не был исчерпан.

Я несколько раз ходил, а может быть, и бегал к телефону... звонить, звонить, звонить... Кому? То я в приемную товарища Щ. обязательно хотел позвонить, то

в другую какую-нибудь приемную, но, кажется, больше всего я хотел звонить домой. Жене. Жене Кирочке.

Но что-то меня каждый раз останавливало. «Надо быть хоть каким-нибудь мужчиной,— уговаривал я себя.— Надо, надо... Если ты сию минуту позвонишь Кирочке, ты такого ей наговоришь, что она с ума сойдет. А если не сойдет — тоже бросится кому-нибудь звонить. Начнет выручать мужа, хлопотать за него, но бросится обязательно не к тому, к кому нужно, и так выручит, что и своих не узнаешь. У нее принцип хлопот один-единственный, она одинаково хлопочет что о муже, что о новой венгерской кухне. И тут получается, что она вовсе не прочь сменить старого на нового и модного нынче мужа. На нового, более современного, более престижного...»

И я сумел-таки заставить себя не звонить и, послонявшись туда-сюда у телефонов, уходил к своему окну — теперь это уже мое было окно. Правда, всякий раз я все-таки набирал «100» и сверял свои часы с телефонным временем. Мои часы шли совершенно точно. Время шло убийственно медленно. Почти совсем не шло.

Все-таки я сконтактировался с Кирочкой, побывал дома.

Побывал же я в своем собственном (пока что — собственном!) служебном кабинете. Значит, побывать дома и сам бог велел.

Был уже вечер, время к полуночи, Кирочка лежала в кровати, при свете верхнего бра она читала «Фаворита».

Я прилег рядом и спросил:

— Кирочка! Мы прожили рядом бок о бок сколько лет? Больше двадцати лет — сосчитал я. Так будь же со мной до конца откровенна и скажи: ты все-таки есть или тебя нет?

Кирочка встрепенулась и сказала:

— Боря! Ты с ума сошел?

Пришлось объяснить ей положение дел: все люди разделились на две половины — я и все остальные. Я — жив реально, все остальные — условно. Так бывает... Так случилось и сейчас.

— Значит, ты нас заложил?! И меня, и дочку, и сына — заложил? Да? Ты — реальный, а все мы — так себе, да?

— Ну не совсем уж так... Но еще и твою старенькую маму, мою тещу. Что ни говори, а вопреки всяческим наветам мы всегда жили с ней душа в душу.

— Тогда какие же у тебя могут быть ко мне вопросы?

— Знаешь, я хотел бы знать поточнее: ты все-таки есть или тебя окончательно нету?

— Мое дело маленькое,— пожала плечиком Кирочка.— Ты глава семьи, ты мужчина, ты и решай — как хочешь, так и будет.

Но я не мог решить... Кирочка была немножечко, только чуть-чуть тепленькая, настолько чуть-чуть, что будто бы и вовсе холодная и поэтому — страшненькая. Что же тут решишь, при таких условиях?

Ничего не решив, я сказал:

— Кирочка! Ты, пожалуйста, позвони в приемную товарища Щ., передай его секретарше, что мне худо. Что худо мне. Позвонишь?

— Поздно уже, какие сейчас могут быть звонки, поздно! — ответила Кирочка и с каким-то странным сосредоточением снова погрузилась в чтение «Фаворита».

Это ужасно: все то, что поглощало всю мою жизнь — мой рабочий кабинет, не так давно полученная мной престижная квартира, моя Кирочка — вдруг все это стало самым отдаленным и непостижимым, стало фантасмагоричными предметами... И во всей этой эволюции был виноват я сам — сам ее придумал.

Фантасмагория... Вот я и не знал, звонил я Кирочке или не звонил, а только пообщался с ней, чуть-чуть тепленькой, и, чуть тепленькую, просил позвонить в приемную товарища Щ.

Потом я заметил, что очень внимательно я разглядываю белый, цвета слоновой кости телефонный аппарат на лакированном столике в углу все еще совершенно пустого фойе — маленький столик был подобием огромного стола, который стоял там, в зале заседаний, в президиуме, но я все равно не мог вспомнить — звонил ли я Кирочке? Или не звонил?

И так и не вспомнив этого, этой подробности, снова пошел к своему окну... Кажется, звонил, кажется, разговаривал, но разговор получился глупым. Это меня не удивило: в присутствии Кирочки я всегда был глуповатым.

Я стал думать о геройстве.

Что такое геройство? Безоговорочная борьба за справедливость — вот что это такое. Вот и я: со мной поступили несправедливо, и что же я? Я р-раз — и всю свою репутацию и даже свою жизнь — на карту! Ва-банк! И разве дело только во мне? Дело не только во мне, оно в общей справедливости для многих и многих граждан нашей страны, в их судьбах. Еще бы! Предположим, я перестану жить, предположим, я останусь жить униженным, оплеванным и оскорбленным, но ведь урок-то не только в первом, но и во втором случае товарищу Щ. я все равно преподам? И какой урок! Случится ему когда-нибудь в будущем вычеркивать кого-нибудь из какого-нибудь списка, так он вспомнит, он подумает: «А ведь канитель получится! Ведь вот же с Приваловым какая получилась канитель, не дай бог!» Да, будет преподан урок товарищу Щ. Борисом Борисовичем Приваловым. Будет! Но только уже не Борис Борисович, а кто-то совсем другой и чужой будет не вычеркнут из списка для открытого голосования. Другой человек, неизвестный, воспользуется жертвой Бориса Борисовича Привалова. Может быть, свинья какая-нибудь воспользуется.

Именно так с истинными героями и бывает — никто их не знает, никто их не припомнит, никто ими не поинтересуется, зато каждый кому не лень по-хамски пользуется их жертвами. Пользуется, конечно, в личных интересах. Ох как трудно, как невероятно трудно приносить жертвы чужому дяде! Я бы больше сказал — это проклятие какое-то! Ну да, я ведь его отчетливо вижу, того хапугу!.. Рыжий, встрепанный, морда красная, брови черные, бывают такие пестрые люди — рыжее с черным, рыжее с белым и с черным и даже с фиолетовым. Он тебе говорит, улыбаясь во весь рот: «Так это ты, Борька, мене ублажил? Ежели бы не ты, мене бы с должности, правда что, куды-ы бы откомандировали! И не углядишь куды. Ну, ты их научил, откомандировщиков. Ты их сильно научил. А я-то думал: кто бы мог? Ну, герой! Ну, правда что, герой! Ну, пойдем, Борька, и сдвоим. И квиты будем раз навсегда». Так оплачивается героизм и жертвы героев.

Вот говорят: у каждого свои заботы.
Я бы уточнил: у каждого своя возня.

А вот еще — толпа...

Толпа меня давно, наверное, уже лет пятнадцать-двадцать, выводит из себя, раздражает. Я ее не понимаю, мне кажется, будто она и сама не знает, куда, зачем и для чего она вечно торопится. Вечно, без конца, куда-то... Такие пустяки, такие мелочные заботы двигают ею, зато так энергично, что можно подумать, будто у каждого, кто спешит сейчас пешком по тротуару в эту минуту, решается судьба, будто каждым двигает государственный, очень важный, важнейший интерес, будто он, каждый, представляет интерес отнюдь не самого себя, а огромного какого-то коллектива, какого-то учреждения или министерства. Вон тот, в очках, в шляпе, в красной куртке и с дамским каким-то шарфом на шее — он куда бежит-торопится? Для чего? Можно подумать, что если он на пять минут опоздает — квартальный план целого министерства погорит. Что аппарат какого-то главного управления не получит зарплату в срок. Но вот в чем дело: нет среди этих людей, на этих тротуарах, в этих битком набитых троллейбусах и автобусах, в вагонах метро — нет ни одного, от которого что-то значительное зависело бы. Нет и не может быть — от кого многое зависит, тот ни на тротуарах, ни в автобусах не толкается.

По себе знаю — когда от меня ничего не зависело, и я толкался. Когда стало что-то зависеть — я толкаться перестал.

И вот ведь еще что, вот какая боль: я думал, я был убежден, что перестал раз и навсегда — и вдруг?.. Неужели мне снова толкаться?

Вдруг какой-то там Крупчаткин, мерзавец, так подстроил дело со списком для голосования, что завтра у тебя тоже ни кабинета, ни машины — уже в преклонном возрасте иди, толкайся в метро и по тротуарам снова, теперь уже — до конца жизни. Невероятно! Уму непостижимо! Уму непостижимо, но после твоей записочки товарищу Щ.— вполне вероятно. После того, как записочку твою где следует прочли, обсудили и решили: «Привалов-то? Да никогда! Разве он решится? Никогда! Надо ему, шантажисту и нахалу, дать! Дать по мозгам! Вот что! Мало того что грозит и шантажирует «без колебаний»! В толпу его, в толпу!»

Конечно, я был эгоистом. Сам перед собой признаюсь чистосердечно — был. Пустяками занимался, недостойными пустяками, но со страстью.

«Почему у меня машина «Волга»-24, а вот у Крупчаткина «Волга»-31, да еще и самая последняя модификация, с бархатным сиденьем? — вот что меня волновало, задевало за живое.— Почему моя Софья Мироновна, секретарша, получает 165 рэ, а у него какая-то там старая выдра — 180?»

И ведь странно: у Крупчаткина зарплата на двадцать рублей выше, чем у меня,— это меня нисколько не волновало, это я отношу на счет несовершенства штатного расписания, на счет Госкомитета по труду и зарплате, но вот у него машина с бархатным сиденьем, а у меня — с простым, это почему-то серьезный вопрос. Теперь-то знаю — по глупости это было, по человеческой слабости было, потому что наша советская литература нас, советских людей, все еще недостаточно и как-то неубедительно воспитывает. Теперь-то я это все понимаю, все эти досадные мелочи жизни, из-за которых ты вдруг оказываешься не на высоте своего высокого положения. Мелочи, мелочи — вот что губит человека! К записочке-то, к своей-то, я ведь через что пришел, с чего начал? С мелочей и начал. С интрижек против Крупчаткина, против его окружения. Раскаиваюсь, а что толку? Нет толку. Что раскаиваешься, что нет — нет толку! Мелочи, они беспощадны, они ничего не пропускают и формы не дают.

Но я все равно думаю, думаю: чем же я плох-то? Вернее, чем я хуже других? Чем хуже Крупчаткина? О товарище Щ. я, конечно, не говорю, но вот Крупчаткин... могу поклясться — я лучше Крупчаткина! Ведь этого типа я знаю лучше, чем самого себя. Тогда в чем же дело? Почему снег на мою голову? Почему с больной на здоровую? Я выговоров не получал, предупреждений не получал.

Правда, где-то когда-то было сказано, будто я слишком много занимаюсь «экономикой». А кто ею не занимается? Да потому у нас и нет экономики, что ею занимаются все. Как будто, будучи на ответственной работе, экономикой можно не заниматься? И заслуженные и народные ею занимаются, музыканты — занимаются, чемпионы всех видов спорта — занимаются, идеологи, философы, академики-филологи... А что будешь делать, если не заниматься ею — нельзя. Устройте такую тор-

говлю, чтобы все, что твоей душе угодно, пошел да и купил в магазине, вот тогда личной экономикой никто заниматься не будет. Но кишка у государства все еще тонка... А если тонка — не упрекайте меня в том, что я подписываю бумагу директору торга с просьбой продать такому-то лицу, предположим, своему сотруднику, польскую кухню «Гданьск».

Да, подписываю, да, буду подписывать... Если, конечно, буду... А как же иначе? Человек должен работать хорошо и добросовестно, но чтобы работать, он должен питаться, а чтобы питаться, у него должна быть кухня — ясно? А работают у нас не все одинаково, а на работе у каждого свое положение, то ли выше, то ли ниже, и дело не в том, чтобы не подписывать бумаг с просьбой продать польскую кухню, а в том, чтобы не ошибиться и подписать тому или иному товарищу бумагу на такую кухню, которая соответствует его служебному положению. И я точно знаю, кому я могу подписать просьбу на нашу, на советскую кухню, кому — на кухню производства соцстран, например на польскую «Гданьск», кому — югославскую «Елку» (Югославия, как известно, неприсоединившаяся страна) и, наконец, кому на гарнитур каппроизводства (например, на финскую «Руску»). Так же и с холодильниками.

Так же и со всем другим, чего ни коснись. А если чего ни коснись, то каждому должно быть ясно, где здоровая голова, а где — больная.

Я, правда, на войне не был, но мне нынче было хуже, чем на войне, на самом ее переднем крае, хуже, чем под шквальным огнем противника, я не задумываясь сменял бы свое невыносимое положение на окоп самого переднего края и на шквальный огонь противника... Нисколько не задумываясь.

Да, я всегда был человеком своего времени. Я был им уже по одному тому, что каждый из нас должен знать — куда и во что он должен вписываться, а я это знал. Когда я ездил куда-нибудь в командировки, в республиканские или в областные центры, когда мне устраивали там на несколько дней жилье гостиничного типа, когда я принимал сауну и когда я завтракал, обедал и ужинал в столовой ресторанного типа, я часто обращал внимание на то, что в этих столовых очень хорошенькие официантки. Нет-нет, не надо думать, что это какой-то намек, пошлость какая-нибудь, ни в коем случае! Наоборот, ничего, кроме человеколюбия, и я бы

даже сказал — ничего, кроме доброжелательности и сострадания, я при виде хорошеньких официанток не испытывал. Я им только сочувствовал.

Вот перед вами идеальная фигурка — что ручки, что ножки, что... Ну прямо-таки под Рафаэля, а дальше что? Такой фигурке — ей в какую бы жизнь положено по справедливости вписаться? В какие звезды? В какие экраны телевидения, в какие эстрады, в какие отели, симпозиумы и семинары? А она вот подает приезжим товарищам холодные закуски, протертые супы и натуральные бифштексы. Почему? Почему такая несправедливость? Потому что не сумела достигнуть, вписаться куда нужно не сумела. Побоялась, что меццо-сопрано у нее нет, умственных или спортивных способностей нет, и вот — обслуживает в столовой, бедняжка, меня и других гостей... Можно сказать: «Снова виновата!», но я так бесчеловечно никогда не говорил, не думал, я такие фигурки всегда жалел от всей души, искренне, а мысленно я наставлял их так: «Не надо, ни в коем случае не надо стесняться и думать, будто у тебя чего-то там не хватает! Надо уметь восполнить все то, чего у тебя нет, всем тем, что у тебя есть! Только так!»

По отношению к самому себе я в этом смысле был всегда спокоен, потому что я это умел, и вот вписался и нашел свое место и назначение среди тех, кто это тоже умел... Такой я человек. Такой я — был! — человек!

Честное слово, на войне, под шквальным огнем противника гораздо-гораздо лучше!.. Я бы даже и так сказал: гораздо приятнее.

А когда после обеденного перерыва началось (продолжилось) заседание правления нового состава, посвященное выборам нового руководства, Борис Борисович уже ни о чем не думал — не был способен. Не был — и только.

Он сидел, в дальнем-дальнем ряду, в тридцать седьмом, что ли, под балконом, один сидел и как будто чужими чьими-то глазами, очень издалека, видел, как за столом президиума снова появился товарищ Щ.

Вслед за этим что-то пошелестело, похрустело в микрофоне что-то, кажется, совсем постороннее, потом товарищ Щ. сказал:

— Товарищи! Есть предложение продолжить обсуждение кандидатур нашего списка. Тут, до перерыва,

по кандидатурам были высказаны серьезные соображения, поговорим и еще, вопрос серьезный. Не грех и поговорить еще.

Борис Борисович в изнеможении уронил голову на спинку переднего ряда — он уже догадался... Обо всем.

И в самом деле, микрофон еще пошелестел, и товарищ Щ. еще сказал:

— Есть мнение, в случае если это кто-то найдет нужным, дополнить наш список одной-двумя кандидатурами. Для пользы дела и демократии. Итак, кто имеет слово?

Первым слово имел не очень знакомый ленинградский товарищ, он ничего не сказал, никого не предложил и выступал просто так, но уже второй — совсем незнакомый, с периферии, кажется, с Дальнего Востока, громко и четко и с энтузиазмом предложил внести в список для открытого голосования товарища Привалова Бориса Борисовича...

Потом еще и третий кто-то предложил кого-то, но Борису Борисовичу это было уже совершенно все равно — справедливость-то восторжествовала!

Он чувствовал, как справедливость торжествовала в нем и вокруг него — в воздухе, в чьих-то словах, доносившихся с трибуны, в снопах солнечного света, изливавшегося с улицы в зал, в гармонии огромного старинного зала с колоннами, как звучала она отовсюду и везде...

Он чувствовал себя победителем, провидцем и мудрецом и даже не обиделся на товарища, который заодно с ним и, конечно, только благодаря ему, тоже оказался включенным в список для открытого голосования.

Наверное, рыжий был тот товарищ, рыжий с белым и черным, рыжий с фиолетовым — любого Борис Борисович готов был от всей души обнять, поцеловать и поздравить. Так устроена жизнь: герои приносят жертвы, рыжие ими пользуются.

Такое устройство жизни теперь уже не угнетало Бориса Борисовича, теперь он гордился тем, что проявил высокую принципиальность и бескомпромиссность, написав слова «без колебаний». Не каждый сможет! Он чувствовал свой новый багаж, новое достижение, ему предстояло начать с ним новую жизнь.

Он начал с того, что установил самые дружеские отношения с товарищем Крупчаткиным. Наверное, Крупчаткин от природы человек был неплохой. Поэтому он охотно пошел Борису Борисовичу навстречу, и первое, что сделал, устанавливая новые отношения,— помог ему обменять машину. Теперь и у Бориса Борисовича тоже «Волга»-31. С бархатным сиденьем.

Но это, конечно, был только самый первый шаг Крупчаткина в сторону Бориса Борисовича, самый первый.

1986

МИСТИКА

Что я хочу сказать?

Я хочу сказать, что существовать назло реализму просто-напросто нечему. А если, предположим, где-то имеет место не этот, а «тот» свет, значит, он так же реален, как и этот; в нем такие же строгие порядки, но только не такие, как у нас. И беспорядки тоже хотя и не такие — но такие же.

Иначе говоря, положение безвыходное, альтернативы — никакой, и все, что существует — существует реально, все, чего не существует — не существует никак. Это слишком понятно, а вы знаете, что я испытываю, как себя помню? В течение всей своей жизни я так и не мог привыкнуть к мысли о том, что я существую как реальность. Как реальность от самого начала до самого конца. К собственному существованию привыкнуть, конечно, можно, но к мысли о нем — нельзя. Для меня лично — нельзя, это я точно знаю.

И вообще-то говоря, эта человеческая привычка — существовать — дурная привычка. Уже по одному тому, что она ничем не оправдана. Все живое существует в природе на своем месте и в свое время, а человек — вопреки природе. Ведь природа — это прежде всего и всегда чье-нибудь место и чье-нибудь время, но человек всеяден и в отношении того и в отношении другого. Он обитает везде, по всей Земле, и в Арктике, и на экваторе, он обитает, по некоторым данным, вот уже тридцать миллионов лет и зимой и летом, а ведь это жуткое дело — обитать везде, всюду и всегда. Это немыслимо само по себе. Отсюда мысль человека тоже немыслима.

А разве не жуткое дело, что человек обладает памятью и знанием прошлого, то есть снова и снова подчиняет себе время, в то время как для всех других живых существ прошлого нет, а есть только время их

жизни? И все это человек называет реализмом — ну, не кощунственно ли? Ни время, ни пространство его не ограничивают, он подчиняет их себе, словно это какие-то домашние животные, и это — реализм?!

Человек в отличие от всех других живых существ духовен, но никто из живущих на этом свете не придает своему телу такого же значения, как он, никто не обладает прямо-таки фантастическими телесными потребностями и столькими же болезнями тела (я иногда думаю, что сколько у человека телесных потребностей, ровно столько же у него и болезней). И это — опять реализм? Нет, право же, когда я встречаю в коридоре мужчину или женщину или когда вижу толпу на площади, а в этой толпе нет ни одного человека, удивленного фактом своего существования, мне становится не по себе — опять тот самый реализм, которым мы все так гордимся?! Опять та же глупость всех глупостей! Итак, разве не дурная это и ничем не оправданная привычка — существовать? Ну, а если я хочу, искренне, от всей души хочу исчезнуть, не оставив з д е с ь никаких следов по себе, даже тела своего не оставив — неужели я и этого не могу? Нет, я с этим не согласен — с таким реализмом, пошел он к черту! Если уж я и в самом деле духовен, тогда я должен хоть однажды иметь власть над своим собственным скелетом.

Ну, и дальше. Я люблю стихи, которые не понимаю. Конечно, если это красивые, звучащие стихи и у меня нет сомнений в том, что они умны, но только не моим умом. Это значит, что они есть и они о чем-то, что за пределами моего сознания, и я мечтаю под их музыку: может быть, именно они и помогут мне заглянуть за мои собственные пределы? Немного грустно оттого, что я бестолков, но стихи-то при чем? Они-то знают сами себя, знают, что они — весть оттуда, из ирреальности. Откуда же им еще быть?

И мы издавна, если уж не вечно, тоскуем по какой-то там неизвестной параллельности: дескать, вот я, вот мы, вот весь мир, живем на одной всем видимой, очевидной и постоянной параллели, а рядом какая-то другая параллель, и там прекрасно обстоят все дела, так все справедливо, так честно, там ни войн, ни блох, ни голода, ни террористов, ни очередей, ни дефицита, ни бюрократии. И все дело только в том, что мы не умеем переключиться с нашей погрязшей в реальных нелепостях параллели на ту желанную и справедливую, не

совсем для нас реальную. И так хочется, чтобы кто-нибудь основательно поддал тебе под зад, так поддал, чтобы ты оказался не здесь, а там, в той чудесной местности...

Да, так оно и есть: чем больше знаешь, тем больше убеждаешься, что жизнь возможна только в реализме и ни в чем другом, поэтому знания сами по себе вещь грустная. И вот, несмотря ни на что, несмотря на НТП и НТР, ты все время ждешь какой-нибудь мистики, пусть совсем крохотной, но ирреальности. Любая ирреальность, явись она сию минуту, была бы уже знамением возможного спасения. И даже — счастья.

Ну, например... Вот я вынимаю из пиджака ключ от комнаты № 721 (седьмой этаж дома для престарелых, по солнечной стороне, шестая дверь от лифта направо), вынимаю из кармана своего пиджака (или халата), кладу ключ на журнальный столик в холле все того же седьмого этажа — не на тот столик, что стоит рядом с окном, а на другой, уже облезлый и только кое-где сохранивший следы лака, на тот, который стоит от окна подальше... Кладу... положил... Аккуратно так положил и ушел в коридор... В холле никого, в коридоре никого, время к полуночи, свет почти везде погашен, обстановка благоприятствует пусть маленькому-маленькому, а все-таки нереальному случаю. Я ухожу в дальний конец коридора и долго-долго жду. Но когда я возвращаюсь в холл, ключ лежит там, где я его оставил. Точно там же.

А почему бы ему не исчезнуть? Почему бы не упасть на пол? Почему бы не повернуться колечком в сторону окна? Неужели и в самом деле на свете не может случиться даже и такого ирреального пустячка?..

Нет, не может, и это так обидно, так обидно — хоть плачь! Прожить почти до восьмидесяти лет и ни разу так и не увидеть ничего, кроме реальности,— ужас! Да разве мое мышление приспособлено только к реальности? И существует только ради нее? Ничего подобного! Реальность — это пожизненная тюрьма для моего мышления, для моей психики. В этой тюрьме тебя даже на прогулку никто не выводит, даже свиданий никогда не дают, даже писем с воли ты не получаешь ни от кого и никогда! Строгий режим...

Почему в самом деле ключ не может исчезнуть с того места, на которое я его положил? Я ведь не жду, что при этом будут нарушены такие законы природы, как закон сохранения вещества — вещество ключа ни-

куда не исчезнет, и закон земного притяжения — я ведь не требую этого в принципе, не жду, что ключ упадет со столика вверх, на потолок, нет — пусть падает, как ему положено,— вниз, на пол, но пусть падает! Хотя бы один раз в год! Хотя бы один раз в восемьдесят лет! Вот тогда я бы действительно убедился, что жил так долго и так долго ждал не зря, потому что увидел чудо, получил письмо с воли. Маленькую такую записочку, одно слово «привет», но все-таки получил с той параллели, из той местности.

Но нет, мой ключ не может исчезнуть с журнального столика, это так, хотя больше ста тысяч японцев исчезли в Хиросиме за одну секунду... Никакого следа от них не осталось, и хоронить нечего — это уже позже стали хоронить умирающих. А тогда не оставалось ничего, что можно было бы положить в гроб или в урну, пепла и того не было. И все это, видите ли, вполне возможно, это — все та же реальность?! Свобода распорядиться жизнью и прахом сотен тысяч человек — есть, а свободы одному человеку распорядиться собственным скелетом и мышечной тканью — нет. Абсурд!

Никогда не поверю, что в этом есть какая-то логика. Никогда не пойму, как японцы могли поверить, будто бы так и нужно было — «на всякий случай» и на Хиросиму, и на Нагасаки нужно было сбросить атомную бомбу?! По телевидению я видел одну красивую американку, она объяснила, что, не будь этой бомбы, война унесла бы еще больше жертв. Тогда, может быть, уничтожим какой-нибудь народ на всякий случай — чтобы он не затеял новой войны? По ее же логике, в первую очередь нужно было бы уничтожить прежде всего тех, кто изобрел атомную бомбу.

Нет, я не жилец в этом «реальном» мире, я давно уже в нем не жилец, а если все-таки живу, так только потому, что во мне все еще живет ощущение некой нереальной жизни, ей-богу! Ну вот, например, я чувствую, что моя реальная старость и все болезни этой старости не имеют ко мне никакого отношения. Старость болеет, а сам я — ничуть, мои болезни навязаны мне все той же силой реальности, вот и приходится их нести так же, как человек несет на себе какой-нибудь груз, какой-нибудь предмет — скажем, сумку из магазина. Сумку, конечно, можно в любой момент бросить, а болезни, а старость — нельзя, вот и вся разница, имейте в виду, это единственная разница, других нет!

Есть человек, и есть у человека груз, который он несет; так неужели человек и есть тот самый груз, который он несет? Если бы это было так, люди давным-давно стали бы какими-нибудь предметами — кирпичами, камнями, корзинами, чемоданами, рулонами туалетной бумаги, собственной одеждой и собственной обувью.

Нет-нет, старость — это не я, мои болезни — это не я! И когда мне нестерпимо больно: руки у меня болят, ноги болят, сердце, печень или голова болит, я никогда не поддаюсь мысли, что это болею я; болеют они — руки-ноги, сердце-печень, а я ни при чем. Я всегда только тот, который без ненавистного груза.

В конце-то концов ведь болеет моя реальность, не более того, но я ведь никогда не соглашался с тем, что, кроме реальности, во мне нет ничего другого.

Вот вы — проверьте себя! Проверили? Ну и что — ведь и вы такой же, как я, вы чувствуете в себе хоть что-нибудь, что никак не назовешь реальностью? То-то...

То-то. А теперь я попрошу вас по секрету: поймите меня в том, что я сам для себя задумал.

Задумал же я так: когда я умру, я в тот же миг исчезну. Исчезну, и все тут, испарюсь, как испарились японцы в Хиросиме, но только по собственному желанию. Они — сотни тысяч человек — это могли, это для них было можно, а почему для меня-то для одного — нельзя? А если я не хочу, чтобы после меня оставалось хоть что-то? После того, как меня уже не будет? Мои печенки-селезенки, мои руки-ноги — все они несправедливо мучали меня многие-многие годы! Так разве справедливо, чтобы они оставались после меня? Они повинны в том, что я умер, и оставлять их после себя — это же кощунственная несправедливость! Это воплощение все того же реализма, с которым я не хочу мириться.

Кроме того, я на войне, я за всю свою жизнь столько насмотрелся на покойников, что они мне опротивели до чертиков, до последней степени, и с ними я тоже не хочу мириться, соседствовать могилами. Умереть — пожалуйста, хоть сейчас, но быть покойником — нет и нет, никогда! Мне удивительно, что люди заботятся о своем поведении и приличиях после смерти — чтобы памятник был приличным, чтобы ограда была приличной, чтобы место на кладбище было приличным, или же чтобы урна с прахом была помещена в приличную нишу приличного колумбария.

А все это не потому ли, что жизнь-то человек прожил мало или совсем неприлично?

Нет, мне не надо этого камуфляжа. И вот с некоторых пор я ненавижу свое тело, себя телесного. Ну примерно так же, как мужчина может ненавидеть свою жену и только и мечтает, как бы с ней развестись. Ничего-то он не помнит: что жена когда-то была красивой, что любовь была, что прожито рядом столько лет — только бы развестись сию минуту, а там хоть в тартарары, хоть в преисподнюю, хоть в голые, холодные и голодные, но — только бы! Вот и я только подумаю, что со мной, мне самому таким ненавистным, кто-то еще должен будет возиться после моей смерти, возиться в порядке соблюдения каких-то там обрядов и правил приличия, как подумаю...

Нет и нет!

Особенно неприлично и банально быть покойником мужского пола — это полнейшее безобразие. Я знаю, что девочек рождается почти столько же, сколько и мальчиков, но у меня сложилось твердое убеждение, что мужчин умирает по крайней мере в два раза больше, чем женщин. Почитайте газетные некрологи, и вы убедитесь в этом сами, без подсказок со стороны. И женщины созданы вовсе не для того, чтобы сопровождать мужчин при жизни, вовсе нет, а для того, чтобы хоронить мужчин. Кто во время войны получает похоронки? Женщины! Кто плачет на могилах? Женщины! Кто лечит, но не вылечивает мужчин? Женщины! А я никому не хочу приносить слез и хлопот ни с похоронами, ни с чем-то другим подобным. Ведь говорю же, мертвый мужчина — это так же банально, как дважды два — четыре. А вот исчезну я по-своему, исчезну, можно сказать, на глазах всего дома для престарелых — и корпуса «А», и корпуса «Б», и еще не достроенного корпуса «В», и это будет моим благородным вкладом в жизнь этих корпусов. И даже — всего человечества.

Так я решил.

Такое я сделал сам себе завещание.

Я хочу подать добрый пример человечеству — отказаться от бессмысленного обряда похорон, от девятого и сорокового дней, от могил и кладбищ, от всего этого кощунственного заискивания реализма перед ирреальностью. Мы, живые, друг друга никак не бережем, а после смерти, видите ли, проявляем друг к другу

необыкновенную чуткость — ну не смешно ли? Я смеялся, смеялся, а потом и пришел к своему решению.

Мне и сейчас очень смешно, надеюсь, что и вам тоже.

При этом я не хочу, мне это совершенно не интересно, хоть что-то рассказывать о своей жизни — зачем? Была, прошла, но, пройдя, почему-то все еще не кончилась, не исчезла, хотя нет ни одного факта реалистического и даже какого-либо другого — ни одного соображения нет в пользу ее дальнейшего продолжения. Единственно, что могло бы ее продолжение оправдать,— это сколь угодно малое, но чудо! Поскольку его так и не случилось, моя сентенция, мое решение и есть исчерпывающее изложение всей моей жизни.

* * *

А когда Василий Васильевич Петраков исчез — это и в самом деле вызвало в пансионате для престарелых № 2 городского отдела социального обеспечения такое замешательство, такие толки и предположения, которых, наверное, не было бы, даже если бы исчез ни много ни мало, а сам отдел. Он бы, конечно, не исчез (фантастическое предположение!), его как-нибудь да реорганизовали бы, но вот исчезновение Василия Васильевича было фактом, фактом реальным и, главное, совершенно необъяснимым и окончательным.

Был человек, исчез человек — как понять? Понять нужно, хотя бы и ошибочно, потому что ошибка — это ведь кое-что, кое-что если уж не реальное, так вполне реалистическое. Но тут и ошибки не было и догадки не было. Факт, и больше ничего.

Вечером перед той ночью, когда это случилось, все было так, как всегда,— как всегда, при обходе сестра седьмого этажа Татьяна Николаевна, попросту Таня, без стука вошла в 721-ю палату, убедилась, что свет выключен, и сказала: «Только попробуйте включить свет! Только попробуйте — мало вам не будет!» — сказала она и ушла в палату № 723, чтобы и там сказать то же самое.

Но если в 723-й жила непослушная пара, муж и жена Обрядновы, которые на ночь обязательно между собой ссорились, а, ссорясь, обязательно зажигали свет и потом еще долго спорили, кому свет тушить, то в 721-й обитали два тихих, спокойных и дисциплиниро-

ванных старичка — Андрей Миронович Горчаков, непревзойденный игрок в подкидного дурачка и в домино, и Василий Васильевич Петраков, старичок, ничем не примечательный, кроме разве одной-единственной странности: он утверждал, что в тот самый момент, как он умрет — он исчезнет. Исчезнет, испарится, как дым.

Утверждение было странным, Василию Васильевичу об этом говорили не раз, намекали, что если он и дальше будет в том же духе вести разговоры и трепаться, то ему окажется не место в психически здоровом коллективе пансионата № 2. Место ему будет в загородной психушке № 3, к которой были негласно прикреплены все без исключения престарелые всех пансионатов города. Однако же Василия Васильевича это не пугало. Во-первых, объяснял он, в загородке тоже люди, и еще неизвестно, где люди лучше, а где хуже и бестолковее. Во-вторых, судя по слухам, в загородке питание лучше, чем в пансионате № 2. В-третьих же — это дополнительный факт — загородка была еще более дефицитной, чем пансионат № 2.

В пансионат № 2 была очень длинная очередь желающих в нем прописаться навсегда, а если очередь, значит, хоть какой-то порядок и последовательность, в загородке и этого не было, туда приезжала «скорая», привозила внеочередного пациента, и все тут. Попробуй-ка обскачи этих «скорых»?! Если к тому же они буйные?

Нет, Василий Васильевич загородки ничуть не боялся и о намерении исчезнуть говорил вслух, всем говорил: врачам, конечно, чаще всего своему соседу по палате Андрею Мироновичу Горчакову, которого, будучи в хорошем настроении, он в шутку иногда называл «товарищ князь Горчаков».

Они с «князем» составляли, как уже говорилось, дружную, едва ли даже не показательную пару, никогда не ссорились, никому не жаловались друг на друга, не подписывали они и коллективных писем в горсобес по поводу отсутствия на этаже воды, грубого обращения обслуживающего персонала или воровства работников цеха питания.

В тот вечер, когда этажная сестра Таня велела потушить им уже давно потушенный свет, они заснули не сразу, так как «князю Горчакову» захотелось поговорить. Он предложил тему о происках империализма в Центральной и Южной Африке, но Василий Василь-

евич Петраков его не поддержал, он повел свою излюбленную линию на возможность и необходимость исчезнуть полностью в момент смерти.

«Князь» не очень сильно, но обиделся, сделал вид, что уже спит, и через полчаса в самом деле уснул, а когда проснулся по нужде часов в пять, Василия Васильевича не было. И странно как-то не было его: кровать не очень тщательно, но все-таки была прибрана. «Князь» постоял, посмотрел на эту кровать и решил заглянуть в шкаф для верхней одежды. Заглянул — опять странность: зимнее пальто Василия Васильевича на месте, а зимней шапки не было, осеннего плаща не было. «Вот исчез так исчез! — не без зависти подумал Горчаков, уже подозревая, что это всерьез.— Твердил, твердил, что обязательно исчезнет, и вот — надо же! Приятно все-таки, что человек сдерживает свое слово, не так уж часто это случается!» И он решил пойти к сестре Тане, сказать ей... О странном поведении соседа, вот о чем он решил сказать Тане, если, конечно, она почему-нибудь не спит. Когда Таня спит, она не любит, чтобы ее будили. Собственно говоря, Таня не была сестрой, она не имела диплома об окончании медицинского училища, она была няней, но Таня любила, когда ее называли «сестрой», тем более когда ее ласково называли сестричкой Таней.

Комната дежурной была закрыта, внутри комнаты было тихо, никакого звука, ничьего дыхания... Из других палат в полуосвещенный коридор доносились сильные звуки — кто-то храпел, кто-то постанывал, кто-то кашлял, но в комнате сестры стояла мертвая тишина... Горчаков не решился постучать, постоял и ушел в свою 721-ю, не зная, что и думать. Не зная, что думать, он снова уснул, а когда окончательно проснулся в полседьмого, картина была все та же — пустая, торопливо прибранная кровать Петракова.

Горчаков пошел в дежурку теперь уже с твердым намерением разбудить Таню, если она спит, но Таня не спала, она сидела на диване и снимала с ног резиновые сапоги. Один сапог она уже сняла, а вместе с ним и темный шерстяной носок с большой дыркой на пятке. Теперь она натягивала носок обратно на правую ногу, время от времени подрыгивая левой, чтобы сапог соскочил с нее сам по себе. Носок на правую ногу не натягивался, а сапог не соскакивал с левой, Таня сердилась и, сердито, даже зло выслушав Горчакова, сказала:

— Еще чего не хватало... Вот псих-то... Сейчас приду. Не слазит, проклятый. А этот не налазит... Кому сказано — приду! Седьмой этаж весь психованный... Ну? Кому сказано?!

Вот так — началось. Так произошло в ночь с 26 на 27 февраля прошлого года.

Затем администрация была, милиция была, горсобес был и разные представители были — ничего не помогало, ничего не выяснилось — Василий Васильевич исчез бесследно.

И всем, кто имел к этой истории хотя бы самое отдаленное отношение, оставалось только одно — примириться с необъяснимым фактом.

Действительно, как все это объяснить? Обыскали все здание, все закоулки, чердак, котельную в подвале, бойлерную, кладовки, кухню — нигде ни следа.

Установили, что наружная дверь на улицу была в ту ночь закрыта на замок, на крючок и на большой крюк, что вахтерша всю ночь не спала, потому что учила дежурную первого этажа вязать в резиночку, и невероятно было, чтобы кто-то мог выйти мимо них незамеченным на улицу. Выйти на мороз минус двадцать два в осеннем плаще?!

Через проходную ни туда, ни обратно за всю ночь не проследовал ни один человек, бетонный забор вокруг дома в ту пору стоял еще целехонек, это уже по весне в нем появились дыры, чтобы престарелым гражданам удобнее было выходить для гуляния в окрестностях.

Год прошел... Почти год минул с тех пор, с той странной ночи, но обитатели дома все обсуждали и обсуждали событие так заинтересованно, словно оно случилось на прошлой неделе. И это при том, что престарелые обычно не очень-то любят говорить о смерти, она слишком близка к ним. Гораздо больше они любят говорить о своих болезнях, болезни — вот что становится содержанием и даже назначением жизни обитателей дома.

Так или иначе, а все эти обитатели уже через несколько дней после таинственного исчезновения Василия Васильевича разделились на два резко противоположных лагеря, противоположных психологически и даже идеологически. Именно так. И один лагерь состоял из мистиков, другой — из реалистов. Мистики

утверждали, что Василий Васильевич исчез, потому что хотел исчезнуть, и что так может быть, потому что это было; реалисты придерживались мнения, что этого не может быть, несмотря на то, что это было.

Реалисты говорили:

— Дело ясное: Василий Васильевич где-нибудь потерялся!

— Где? — спрашивали мистики.— Где и как может потеряться человек, не оставив никаких следов? Как можно потеряться, если даже невероятным каким-то способом выйти из дома для престарелых номер два? Выйти в легком плаще на мороз в двадцать два градуса ниже нуля? Ведь и выйдя из дома, человек все равно останется человеком, следовательно, он все равно будет оставаться физическим телом, которое тут же замерзнет. И еще: не по воздуху же перелетел в своем легком плаще Василий Васильевич через бетонный забор, в котором тогда не было никаких отверстий? Реалисты противоречат сами себе, когда пренебрегают всей суммой вполне реальных обстоятельств. На то они и реалисты!

— Ну, а если бы Василий Васильевич, наоборот, так же сильно, как он желал своего исчезновения, пожелал бы бессмертия? — не без умысла спрашивали реалисты.— Что тогда?

— Тогда неизвестно,— не без смущения отвечали припертые к стенке мистики. Не без смущения, потому что бессмертия даже они не могли себе представить — все они, даже самые отъявленные мистики, тоже ведь были воспитаны в духе социалистического реализма.

— Это отнюдь не принцип, но случай. Отдельный и ни в коем случае не типичный для нашей действительности случай — вот что это такое! — обосновывали они свою точку зрения, и обоснование это опять-таки звучало не очень убедительно.

И так — без конца...

Контингент дома для престарелых № 2 не оставался строго постоянным, контингент менялся — одни уходили отсюда навсегда, другие тотчас занимали освободившиеся места, но и все вновь прибывшие, едва освоившись с обстановкой, должны были — не раз и не два — во всех подробностях выслушать историю исчезновения Василия Васильевича Петракова. Выслушать, а затем и определить к ней то или иное, но вполне определенное отношение — полностью реалистическое или отчасти мистическое.

Кстати говоря, седьмой этаж в абсолютном большинстве неизменно составляли мистики.

На всех других этажах такого единения не наблюдалось.

У Сени Говорухина была кличка Свисток. Так его и звали друзья-товарищи, немногие близкие знакомцы. Свисток — тюремная была кличка. Не так много сидел Сеня Говорухин — дважды сидел и небольшие сроки, но кличку успел себе приклеить.

И в первый и во второй раз Сене могли бы дать и побольше, серьезно могли дать, но бог и следователи миловали, Сеня проходил по мелочам, второстепенным и даже третьестепенным участником ограблений.

В первый раз дело было об ограблении магазина, во второй — тоже магазина, но с применением огнестрельного оружия. Стрельбы не было, применение — было.

И на следствии и на суде Сеню выручала от природы данная ему неприметность, второстепенность и даже третьестепенность его вида — средний был у него рост, бесцветные волосы и чуть голубоватые глаза, негромкий и тоже бесцветный голос, усталые и как бы отжившие свое время движения. Но все это, вся эта простота — только внешний вид. На самом же деле это был вконец запутавшийся в самом себе характер. А может быть, в самом себе запутавшаяся бесхарактерность.

Вот у него и случались приступы отчаянного желания быть не тем, кем он был, показать себя в таком виде и таком масштабе, которых он и сам понять не мог, так что по прошествии всего нескольких дней, а иногда и часов желания эти представлялись ему такой невероятной фантазией, от которой тут же становилось тошно.

Нет, нет, масштабности в нем действительно не было, и приходилось тосковать. Если к тому же и денег ни копейки — тосковать приходилось надрывно, навзрыд, потому что — как так? — вон у того человека деньги есть, а у Сени нет? У кого, у кого, но у Сени Говорухина они должны быть всегда!

Тосковать одному опять-таки было невтерпеж, особенно после дней загульных, и тогда Сеня срочно искал женщину, которая тосковала бы вместе с ним.

Искал и находил. Находил согласную на все, и на тоску тоже, потому что в этом поиске у Сени вдруг

обнаруживался нюх, необыкновенное чутье, смекалка, ловкость и чуть ли не та самая масштабность, о которой он в другом каком-нибудь деле мог только мечтать.

Наверное, все это потому, что когда Сеня обольщал женщину, рассказывая ей великолепные небылицы о себе и жуткие пакости о своих выдуманных врагах — настоящих врагов у Сени не было ни в тюрьме, ни на воле, он и там и здесь был услужливым парнем, но какой же это мужчина, если у него нет врагов? — он в это время обманывал не столько очередную жертву, сколько самого себя.

Именно себя он так изощренно и вдохновенно завлекал в волшебные сети, искренне поражаясь и собственному умению лгать, и умению верить собственной лжи.

Поначалу женщина внимала Сене, была свидетельницей его самообмана, но дело в том, что роль свидетельницы вообще не присуща женщине — ей нужно быть участницей, на худой конец толковательницей события, о котором идет речь. Далее. Если женщина не поняла или вдруг забыла событие, в котором она участвует, она все равно в нем участвует, иначе она не может. Тем более если речь идет о чьей-то судьбе — тут женщина обязательно должна быть и толкователем и пророком — уж это так, и дело только в интеллигентности соображений и выражений, к которым она прибегает. На эту сторону дела Сеня не обращал ни малейшего внимания, что же касается его судьбы... Что-что, а свою судьбу Сеня умел изобразить в тысяче вариантов. Выбор варианта, дебют, едва ли не самый ответственный момент никогда не заставал Сеню врасплох, вариант должен был точно соответствовать и точно соответствовал всему складу его новой знакомой, ее характеру и вкусам. И Сеня не ошибался почти никогда. Он точно знал, когда нужно представить себя бесшабашным героем, а когда скромным, который завтра же погибнет, если только в нем не примет участия добрая душа. Если же ошибка все-таки случалась, тогда он обнаруживал ее первый, замолкал на полуслове и — ни здравствуй, ни прощай — удалялся. Навсегда и с чувством своего оскорбленного достоинства. За этим следовал Сенин загул, а когда и загул проходил — закипала злость. На женщин он уже не смотрел — надоели, дуры! — но искал встреч с блатными, с самыми отчаянными, вызываясь идти на любое

«дело». Сеня еще никогда не убивал, но в такие моменты знал, что может... Он это твердо знал.

Жил Сеня с пропиской и без, бичей презирал, шабашников презирал, но и тем и другим ему приходилось бывать не раз, снова угодить в тюрьму он не хотел, но такая возможность им отнюдь не исключалась, иногда ему хотелось работать не покладая рук, ударно работать, иногда — палец о палец лень было ударить.

Бывало, он подолгу не задумывался о своем будущем и даже мысль о нем забывал: что оно есть, что нет, ему все равно, день прошел никак, год — никак, и только. Но бывало и по-другому: будущее Сеню угнетало своим отсутствием. Плохо, плохо, когда ничто тебе не маячит — ни тепло очередной весны, ни мало-мальски устройство жизни и любви.

Когда Сеня поступил на должность кочегара-смотрителя котельной в пансионат для престарелых № 2, у него как раз такой наступил период — томления будущим. Неожиданно он вспомнил, что ему минул тридцать девятый годок, что где-то, точно он не знал где, у него есть дети, что когда-то он держал экзамен в университет, но провалился и что потом, там и сям шагая по жизни, проваливался снова и снова.

Все это всплывало в памяти как будто из ниоткуда, из небытия, потому что в памяти жили, оказывается, вовсе не они, а все то, что он по поводу них когда-то придумал...

Об университете он многие годы вспоминал и рассказывал так: на пятом курсе физмата он поспорил с профессором «за квантовую механику» и съездил профессору по очкам, а через полчаса был исключен, несмотря на бурные протесты «ребят и девок всего курса».

Вспомнил Сеня и свои официальные должности. Оказалось, что выше должности учетчика на строительстве элеватора он не шагал, помнилось же ему опять-таки, что был он прорабом, жил безбедно на невероятных приписках, но черт и очень красивая жена начальника строительного участка его и тут попутали, он прихватил — не помнит сколько, но не меньше двадцати кусков, один кусок взял себе, остальные отдал ей на хранение и бежал. Она обманула, не побежала за ним.

Вспомнились сроки. Оба.

Оба срока были скучными и молчаливыми, с «намордниками» на окнах камеры, оба — от звонка до

звонка, но теперь Сеня с трудом установил, что не было в этих сроках ни громких бунтов против «граждан начальников», ни тех отчаянных попыток к бегству, которыми он неизменно гордился.

И почему все вспомнилось? Что было? Чего не было? Кажется, не все ли равно, что было, чего не было, никогда этот вопрос Сеню не волновал, не задевал — не все ли равно?!

Он так подумал: котельная дома престарелых № 2 на него отрицательно подействовала. Слишком отрицательно...

Она большая была, тихая, гулкая, темная, с одной-единственной лампочкой на сто ватт. Обычно работы в котельной не было никакой: следить за приборами подачи с районной теплостанции — все дела. И только зимой, в холода, Сене становилось жарко: центральных теплокалорий на весь дом в холода не хватало, приходилось зажигать котел местной системы. От царя Гороха оставался тот котел, чуть ли не дореволюционный, системы инженера Шухова он был.

Как раз этим распроклятым котлом и занят был, почти без передыху шуровал его Сеня Говорухин в ночь с 26 на 27 февраля прошлого года. Когда же наконец Сеня перевел дыхание, огляделся по сторонам, умылся, он решил позвонить по внутреннему телефону в дежурку седьмого этажа.

Татьяне позвонить. Чтобы шла. Он даже и не знал, нужна ему нынче после такой работы Татьяна или не нужна, но все-таки позвонил. Пусть придет. А там видно будет, что и как.

Они уже месяца три встречались, узнали же друг друга, как говорится, с первого взгляда. И действительно с первого. Встретились во дворе, поглядели друг на друга, он тут же узнал от престарелых прохожих, кто такая, где работает, и тут же ей позвонил, чтобы пришла. Она и пришла.

Сначала ходила как все, как положено ходить — из корпуса «А» на улицу, потом вокруг корпуса «А», потом вниз по ступеням и через железную дверь — в подвал. Но неудобно было на виду у всех так ходить. Особенно неудобно ночью, мимо вахтеров, и вот Татьяна изловчилась — нашла лазейку из-под лестничного марша первого этажа прямо в котельную.

Она дошлая была, сестрица Таня, давно работала в доме и вспомнила, что был когда-то, еще до присоеди-

нения дома к районной теплостанции, проложен узкий такой коридорчик-траншея для укладки теплотруб, но трубы проложили в другом направлении, а траншею с обоих концов зашили фанерой и забелили.

Татьяна приспособилась: незаметно ныряла под лестницу, сдвигала побеленный фанерный лист, ползла по траншее метра три, и вот уже она в котельной — «здравствуй, Сеня!».

— Здравствуй, Сеня! — сказала Татьяна, вывалившись из траншеи на пол.— Чтой-то душно у тебя, включи вентилятор...

— В духоте, да не в обиде,— сказал Сеня, хотя что-то обидное опять было у него на душе. На котел Шухова он обижался, и на свою судьбу безо всякого будущего, и на Татьяну: неказистая баба, руки-ноги коротковаты и в возрасте уже, уже в морщинах.

Пообнимавшись молча, Сеня спросил:

— Брюхо-то нарастишь, тогда не пролезешь в траншею?

— Не твоя забота! Пролезу! — ответила Татьяна, и они пошли в угол котельной и сели на Сенину мятую-перемятую койку.

На этот раз беседа зашла у них не об его, а о ее судьбе — о том, как Татьяна была замужем в последний раз, и Сеня, очень обиженный недостаточным вниманием к нему, слушал, спрашивал и комментировал так:

— В таких случаях надо участкового вызывать,— комментировал он.— Вызывала?

— Сколько раз...

— Молодой был?

— Кто?

— Участковый.

— Их трое было, пока мы с Вовкой жили. Один совсем молоденький. Только что из армии и с усиками.

— Ну и что — слушал он тебя? С усиками?

— Когда не ревела, а просто так рассказывала — слушал. Но это редко. Вовка до того доводил, что и слова-то не произнесешь ни одного — вся в трясучке.

— Зачем вызывать участкового, если ни слова?

— Все-таки живая душа. Надеешься: может, и поймет. Без слов. У каждого своя невзгода, сказать некому, вот и надеешься и вызываешь. Тем более он слушать обязан. По долгу службы.

— А чего там «у каждого свое»? У всех одинаково. У баб тем более одинаково... А участковый — что? Советы давал?

— Редко.

— На развод — советы?

— На развод редко. Если у тебя вся морда в косметике, тогда советует на развод. Без внешних признаков — ни-ни... настаивает на продолжении семейных отношений.

— Это точно... Я с участковым в одной камере восемь месяцев сидел. Так же рассказывал. И рассказывал, что был когда-то с усиками. Не твой ли был участковый? Он так рассказывал: «Конечно, выслушаешь бабу, а на лестничную площадку вызываешь мужика и конфиденциально подсказываешь ему: «Я сейчас уйду, а ты минут через пятнадцать поддай ей еще... Чтобы зря не вызывала лиц служебного назначения...» Тебе с Вовкой-то бывало как?

— В том и дело, что хорошо... В том и беда...

— Я как в воду глядел. Но это не он был хорошим. Это ты на такое дело хорошо злая... А я тоже злых люблю, добреньких-нежненьких, тех не люблю, не в мой характер.

— Это все от женской эмансипации,— вздохнула Татьяна.— Все от нее...

— Точно! Если бы женщины занимались исключительно своими делами, материнством и воспитанием, у нас половина государственных проблем была бы снята. Навсегда!

— И уровень жизни был бы другой! — согласилась Татьяна.— Слушай, Сеня, давай сойдемся, а? Окончательно? Я тебя пропишу у себя на площади, и мы начнем...

— Ага... новую жизнь... Для новой, для начала хотя бы один кусок, а нужен. Лучше — два.

Они оба задумались... Сеня встал, подшуровал котел Шухова, а когда снова вернулся, они снова задумались.

— Лучше — два. Лучше — два,— повторял Сеня время от времени. Потом и еще сказал: — Жил я, Татьяна, жил, а все это мистика была... Если честно — мистика, больше ничего. Теперь бы реальности сколько-нибудь. Куда без реальности?... Тебе не пора ли возвращаться?

— Нет еще. Посижу еще...

Они посидели еще, и вдруг...

Вдруг грязный фанерный лист, которым была прикрыта траншея, заскрипел, заколебался и упал, а вслед за тем из траншеи выполз человек... Он был сед, был без шапки и в изорванном плаще... Он был как бы уже и не человеком, а только страшным подобием его.

— С моего этажа!.. — испуганно воскликнула Таня, подбежав к этому человеку.— Из семьсот двадцать первой палаты... Петраков... Василий Васильевич Петраков!..

И столько в ее возгласе было удивления, столько страха, так была она удивлена тем, что это было не видение какое-то, не фантазия и даже не чужой, не неизвестный какой-то человек, а Петраков из 721-й палаты, именно он!

Сеня испугался тоже, засуетился, даже застонал, а потом на лице его появилось выражение любопытства, ожидания чего-то еще более невероятного, и он спросил, наклонившись к Петракову:

— Зачем пожаловал, папаша? Какое дело?

Петраков, лежа на спине, сделал знак рукой: «Сейчас скажу» и спустя секунду тихо-тихо проговорил:

— Дело... Очень... прошу... дело...

— Вот навязался! — сокрушенно, с испугом вздохнула Татьяна.— Вот навязался на нашу шею, дело, видишь ли, у него... Помрешь сейчас... Сейчас и помрешь — вот твое... дело!

— Умру! — согласился Петраков.— Обязательно... сейчас.

И Петраков присел на полу, в нем проявились какие-то последние уже силы, и с трудом, но отчетливо он объяснил, зачем оказался здесь: он хочет, чтобы он исчез, исчез совсем, без следа, хотя бы вот в этой топке этого котла сгорел бы... Дрожащей непослушной рукой он расстегнул пиджак и вынул из кармана сберегательную книжку...

— Полторы тысячи... на предъявителя... Но не обманите,— сказал Петраков еще и закрыл глаза.

Сеня очень внимательно книжку рассмотрел и сказал:

— Сделаем, папаша... Будь уверен — сделаем! В хорошие руки попал, папаша. Куда с тобой денешься, если не сделать? Пришьют ведь нам тебя, и немалый срок пришьют, когда ты останешься тут в вещественном доказательстве. К тому же аванс...

— Я... вам очень буду... обязан... товарищ... — прошептал Петраков.— Я... дорогой товарищ... хотел... куда-нибудь... под лед хотел... в огонь хотел... простите... простите такую слабость... идею фикс простите... но я очень на вас надеюсь... выручите... пожалуйста... Я знаю... вы... не подведете...

И Петраков, не открывая глаз, улыбнулся. Счастливая это была улыбка на лице, искаженном смертью.

Он еще сказал:

— Вы... не беспокойтесь... вам ждать... совсем... недолго...

— Это правильно! — подтвердил Сеня — Недолго! И все ж таки поторапливайся, папаша! У тебя, у меня — у каждого свое дело, для каждого дела нужно время. Понял? Без времени никакого дела нет,— Сеня присел на корточки, прислонившись спиной к стене, рядом с Петраковым, помолчал, закрыл глаза, а когда открыл их снова, сказал: — Татьяна! Ты вот что, ты ползи-ка назад и с той стороны зашторь хорошенько лаз под лестницей... Ползи-ползи... И не возвращайся более, я здесь и один управлюсь... Ну? Кому говорят?

Татьяна уползла...

Когда у себя в дежурке она снимала резиновые сапоги, в дверь просунулся старик Горчаков. Просунулся и сказал — Петраков потерялся, его сосед по палате... И странно как-то потерялся, сказал он и стал объяснять эти странности — что и как. Татьяна сердито прогнала Горчакова, легла на кровать в одном сапоге и зарыдала. Ей было страшно. Ей особенно было страшно потому, что все произошло в одну секунду. В одну — так ей теперь казалось. И Петраков приполз, и отдал сберегательную книжку счастливому Сене, и счастливый Сеня велел ей уползать прочь из котельной, и она, испуганная, уползла — все в секунду. Она и не знала, какой страшной может быть краткая, совсем крохотная секунда... Следующая — какой будет?

Тут раздался звонок. Она сразу же догадалась — откуда, осторожно взяла трубку, но отвечать не стала, только громко в трубку дышала и всхлипывала.

Сеня спросил:

— Ты — что? Ревешь, что ли?

— Страшно...

— Ну и дура... А у меня все в порядке! У меня, можно сказать, уже все готово! Не реви, дура!

Что и говорить — очень плохой характер был у сестрицы Тани, но день ото дня он становился все хуже и хуже. Обитатели седьмого этажа это чувствовали, как никто другой. Все они были этим удручены. Теперь Татьяна не могла без того, чтобы не нагрубить то одному, то другому, то третьему, но хуже всего было, когда она начинала ругать себя. Она садилась на облезлый журнальный столик в холле, рассматривала свои руки и говорила: «Ведь сколько я сама себе вот этими своими руками напакостила! Сколько себе зла принесла! Как никто другой!» Потом она доставала из кармана замызганного халата зеркальце, рассматривала себя, свои морщины и плакала. Кончив плакать, Таня шла в палаты и привязывалась к каждому, кто попадался под руку: крошки на столе специально для того, чтобы разводить мух, она давно заметила, что старики жить не могут без мух; кровати плохо заправлены, а всем известно: те, кто плохо заправляет кровати,—хамы и разбойники; на прием к врачу записалось сразу семнадцать человек, а кто бегает по врачам? Симулянты и доносчики, которым только и дел, что жаловаться врачу на сестер и нянечек.

И совсем Таня приходила в неистовство, если хоть краем уха слышала споры между реалистами и мистиками по поводу таинственного исчезновения Василия Васильевича Петракова.

Почему бы это? — задавалось вопросом население седьмого этажа. Как объяснить?

И объясняли так: еще зимой Таня зарегистрировалась с кочегаром из котельной дома для престарелых. (Говорилось иначе: со смотрителем-теплотехником.) И не только она с ним зарегистрировалась, но и прописала его на своей жилплощади. Но вот что было еще известно: месяца совместной жизни не прошло, как смотритель исчез.

В том, что он исчез, не было, конечно, ничего таинственного, но любой намек на любое какое-нибудь исчезновение Таню теперь раздражал.

Седьмой этаж за три последних месяца три коллективных письма написал с жалобами на невероятное Танино поведение, и прежде всего на ее грубость... Но пиши не пиши, ответ один: работать некому. Работайте сами, а Татьяну Суворину мы, руководители, переведем на другой этаж.

И спорить реалистам и мистикам приходилось вполголоса, чтобы, не дай бог, не услышала сестрица Таня.

Особенно раздражал нынче Татьяну новичок из 728-й комнаты.

Старенький уже новичок, рассказывал о себе, что он участник гражданской войны. Вполне могло быть.

А еще он говорил, что он поэт — и это было уже сомнительно.

Среди престарелых многие выдавали себя за когонибудь — понятно: жизнь прожита, но хочется еще чего-то, чего в жизни так и не случилось.

Если человек был когда-то бухгалтером, так обязательно главным, если начальником — то никак не меньше, чем начальником управления, если помощником — так только первого, второго, на худой конец третьего лица в области.

Но за поэтов никто до сих пор себя не выдавал, поэты не котировались и вызывали сожаление: были — не стало... Пушкин был, это факт, Лермонтов — факт, а нынче — кто?

Однако старичок из 728-й по фамилии Колунов и в этой обстановке не растерялся, а приобщился к Пушкину, утверждая, что он — праправнук поэта пушкинских времен Владимира Колунова.

— Знаменитый был поэт... Но... но в энциклопедии не вошел и остался неизвестным: Пушкин затмил... сами понимаете, соревноваться с Александром Сергеевичем...

Престарелые обитатели седьмого этажа знали, что такое соревнование, многие из них и по-разному Колунову сочувствовали:

— Еще бы!

— Обстоятельства играют важную роль в судьбе человека!

— Обстоятельства — самая вредная категория жизни! Если бы не они...

Такие сочувствия выражались Колунову.

— Именно, именно! — подхватывал Колунов.— Если бы не обстоятельства, тогда бы...

— Тогда бы?

— Россия зачитывалась бы Владимиром Колуновым. По всей России стояли бы памятники Владимиру Колунову... А в нашем, уже в двадцатом веке, я читал бы в юбилейные дни у подножия памятников Колунову стихи... у самого подножия...

— Так ведь они не сохранились? Колуновские стихи?

— Его — не сохранились. А мои? Конечно, я не Владимир Колунов, но я — Колунов!

— Прочтите что-нибудь. Из своего. Современного.

Современный Колунов странно улыбался.

— Там чудеса: там леший бродит...

И, не дай бог, если эти слова достигали слуха сестрички Тани, она приходила в неистовство, впадала в злобу и в панику, кричала и топала ногами на всех, кто был в это время поблизости.

Вообще-то Колунов был старичком покладистым, не задирался, не грозился и не требовал, он был небольшой, сухонький, слабо-рыженький, был немощно-суетлив и уступчив, но по части того, что «там чудеса» — не уступал, и только. Никому и никогда. Он говорил:

— Не могу... Хоть убейте — не могу...

И когда на ночь глядя сестра Таня входит в темную 728-ю и строго-настрого велит тушить свет, из темноты обязательно раздается тихий, но внятный голос:

— Там чудеса: там леший бродит...

На седьмом этаже — скандал! И еще какой скандал-то на ночь глядя.

Татьяна вне себя, рвет и мечет, Колунов свое:

— Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей...

В конце концов обитатели седьмого этажа, как мистики, так и реалисты, потребовали от Колунова, чтобы он подал начальству заявление с просьбой перевести его с седьмого на какой-нибудь другой этаж — на шестой и ниже, на восьмой и выше — все равно на какой.

Колунов не сразу, но согласился.

В настоящее время его заявление находится в стадии рассмотрения администрацией пансионата для престарелых № 2 городского отдела социального обеспечения.

1986

ИСТОРИЯ ДИНАСТИИ ЛЯН

Династии бывают разные: одни владеют многим, другие — ничем, третьи — кое-чем. Но и первые, и вторые, и третьи, по мнению старика Ляна, были все-таки династиями, потому что все они стремились утвердить в жизни свое потомство.

Это уже другое дело, что одна династия хотела утвердить власть потомков на веки вечные во всех столицах Китая: в Северной, Южной, Западной и Восточной, другая заботилась, чтобы потомки сохраняли и приумножали оставленное им богатство, третьи — чтобы потомки снова наживали утерянное отцами.

Были и такие, которые могли дать детям только один завет: жить и не умирать с голода, подобно тому, как они делали это сами.

Старый Лян понимал толк в династиях, потому что он сам прошел почти все эти ступени.

Мы говорим «почти» только потому, что старый Лян никогда не утверждал своей власти ни в одной из столиц Китая, следовательно, он никогда не принадлежал к царствующей династии.

Он был занят несколько иным делом: Лян был торговцем пельменями на улице Далянцзы в городе Чунцине. Однако же нельзя сказать, чтобы он не имел к царствующей в то время династии Цин никакого отношения. Он имел к ней самое прямое отношение.

С этого мы и начнем свой рассказ. Мы начнем его с главы, которая будет называться:

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДИНАСТИИ

Вечером на извилистой и крутой улице Далянцзы было многолюдно, очень многолюдно, но никто из прохожих не хотел покупать пельмени. И виноват был в этом сам император. Повторяю еще раз: в том, что

у старого Ляна никто не покупал пельмени, был виноват китайский император Гуаньсюй.

Дело в том, что император умер.

Горожане узнали об этой новости и торопились одеться в траур. Все как будто забыли о старом пельменщике. Как будто смерть императора избавляла людей от необходимости заботиться о своих желудках! Наивно так думать, но, видимо, на некоторое время люди все-таки поверили этому счастливому для них обстоятельству.

Конечно, старый Лян прекрасно понимал — назавтра торговля пельменями будет особенно бойкой. Но ведь то — завтра! А сегодня пропадала пельменная начинка! Начинки оставалось еще, по крайней мере, на сорок, а то и все пятьдесят чашек. Считая по пять фыней[1] за чашку — два юаня. Для императора — живого и мертвого — эти деньги не значили ровным счетом ничего, а для старого Ляна два юаня — это было два юаня!

И хотя старый Лян скорбел о кончине владыки Поднебесной ничуть не меньше тех людей, которые сновали по улице Далянцзы, хотя он всегда имел о нем самые прекрасные мысли, он все-таки не мог не упрекнуть своего владыку в непредусмотрительности. Ведь можно было ему умереть хотя бы часом позже? Тогда весть о его кончине пришла бы в Чунцин ночью, а к тому времени Лян уже продал бы свои пельмени. Наконец, ему можно было умереть и несколько раньше, чтобы уже ранним утром город узнал эту прискорбную новость, и тогда старый Лян, погруженный в тихую грусть, конечно, не приготовил бы такого количества начинки для пельменей!

Никогда старый Лян не имел плохих мыслей об императоре, никогда! Но на этот раз он подумал о божественной особе именно таким образом... Однако едва он подумал таким образом, как убедился в кощунстве своих мыслей, тут же и навсегда он понял, что император, даже умирая, даже при последнем дыхании, заботился о благе своих подданных и, прежде всего, о благе торговца пельменями с улицы Далянцзы, в городе Чунцине.

Сомневаться в этом было невозможно, и вот почему...

---

[1] Фынь — $^1/_{100}$ юаня.

Старый Лян уже больше часа с грустью и упреком взирал на пельменную начинку, на все десять приправ, начиная от соевого соуса и кончая хунаньским перцем включительно, на всю свою кухню, которая висела на одном конце его коромысла, и на потухшую железную печь, которая уравновешивала вес кухни на другом его конце.

Смеркалось, и все это предприятие было освещено тусклым фонариком, который был установлен посредине коромысла... Но вот именно в тот самый момент, когда старый пельменщик мысленно упрекнул владыку, перед ним появился его старый приятель Сунь.

Всегда веселый, Сунь имел сегодня вид потрясенного горем человека: халат на нем был мокрым и спереди слишком туго натягивался на толстом животе, а сзади слишком свободно болтался из стороны в сторону, то прилипая к спине, то с шумом выпрямляясь... Коса Суня расплелась и вместе с халатом тоже шлепала его, издавая странный звук.

При виде Суня старый Лян ужаснулся. «О небо! — подумал он.— Ведь все видят, как потрясен смертью императора торговец шелком Сунь! Никто не может оспаривать, будто кончина императора не потрясла его душу!» И старый Лян тут же выразил свою собственную безысходную тоску, хотя нечего было и думать, что его лицо сможет быть столь же горестным, как и лицо Суня...

— Наш бедный император... — испустил тяжелый вздох старый Лян.— Наш...

И тут старый Сунь перебил его взмахом руки, причем мокрый халат издал звук, очень похожий на звук шлепка по голому телу:

— Император... Какое мне дело до императора?! Ведь император не считает тысячу юаней за деньги!

Старый Лян был донельзя удивлен таким поведением приятеля.

— Сунь,— тихо спросил старый Лян,— Сунь, подумай о том, что ты говоришь?! Я всегда знал, что ты можешь сболтнуть, но такое... Что и как ты говоришь, Сунь?! Подумай над своими словами! Где в них правда?!

— Я разорился! — простонал Сунь и, опустившись на землю рядом с потухшей жаровней пельменщика, протянул руки к теплому железу.— Разорился совершенно! Джонка с моим шелком больше восьмидесяти

дней плыла из Шанхая сюда, в Чунцин, она прошла все ущелья, уплатила все пошлины и взятки чиновникам и всем тем кули, которые поднимали ее вверх по течению, но в семи ли[1] от моей лавки джонка перевернулась вверх дном! Все пропало: пропала торговля, погибла моя семья, моя торговля!

— Шелк утонул? Совсем утонул? В Сычуань-реке?[2]

— Не утонул... Мы вытащили все, до последнего чи...[3] Но что в том толку? Шелк не стоит теперь и половину того, сколько я заплатил за работу, чтобы вытащить его из воды!

— О, боги! — сочувственно вздохнул старый Лян.— Где же это произошло? Где твой шелк?

— Мой шелк уже не шелк, а мокрое тряпье... И это грязное, мокрое тряпье лежит на берегу как раз против твоей фанзы, Лян. Ты можешь видеть мое горе, не выходя из дверей своего жилища.

— Может быть, его можно выстирать, Сунь?

— Как можно выстирать светлые шелка, Лян, чтобы этого никто не заметил? Кто будет покупать стираное тряпье, когда магазины Чунцина полны прекрасных товаров?!

— Это действительно ужасно, Сунь...

— Ужасно, Лян...

Они долго молчали, и Ляну стало понятно, что Сунь потрясен так, что он даже не знает о кончине императора.

И старый Лян сказал, опустив руку на плечо приятеля:

— Знаешь что, почтенный Сунь! Скажи, пожалуйста, сколько же все-таки может стоить твой мокрый, никуда не годный шелк, который валяется в грязи на берегу против моей фанзы?

— Я же говорю — он не стоит ничего. Совершенно ничего — его не купит ни один дурак...

— Ну, все-таки, я думаю, он стоит хоть несколько фыней?

— Фыней! — застонал Сунь.— Как тебе не стыдно говорить, что шелк стоит несколько фыней, когда я за-

---

[1] Ли — мера длины, равная 500 метрам.

[2] Сычуань-река — местное название реки Янцзы в пределах провинции Сычуань.

[3] Чи — мера длины, равная приблизительно 1/3 метра (32 см)

платил за него в Шанхае огромные деньги и еще доставил его в Чунцин? Как не стыдно!

— Не сердись, почтенный Сунь! Я действительно сказал, что твой шелк стоит несколько фыней. Но я сказал, что он стоит что-то, а ты сказал, что он не стоит ничего!

— Да,— простонал Сунь,— я говорил так...

— Ну, вот... Я всегда готов помочь своему старому другу. Я знаю одного человека, который мог бы предложить тебе несколько десятков юаней за твое мокрое тряпье, которое лежит в грязи на берегу реки...

Теперь посудите сами, разве это необходимо — покупать хороший и дорогой шелк для траура? Ведь императоры умирают не каждый день, и не каждый день люди носят траур, а чтобы однажды отдать должное прискорбному событию, можно сшить себе траурную одежду из любого шелка, даже такого, который вымок в реке, потом валялся на берегу и был выстиран за одну ночь.

Да, за одну ночь старый Лян, его жена, его сын, жена сына, старший брат жены сына, сын старшего брата жены сына — за одну ночь они выстирали шелк.

А наутро в магазинах по торговле шелком на улице Далянцзы и на многих других улицах Чунцина, к полной неожиданности их владельцев, открывших свою торговлю с первыми лучами солнца, не было покупателей. Зато во дворе старого Ляна целый день толпились люди, а городские чиновники на рикшах присылали сюда своих слуг, и обратную дорогу рикши обливались потом на крутых улицах Чунцина, потому что шелк не просох и был очень тяжелым... Шелк Ляна был в два раза дешевле, чем в магазинах на улице Далянцзы и на многих других улицах, но это не мешало ему быть во много раз дороже того, что было уплачено старым Ляном почтенному приятелю Суню.

Так возник торговый дом «Лян и сын». Это случилось в 1908 году.

Кто скажет теперь, будто торговая компания «Лян и сын» не имела никакого отношения к императорской фамилии? Кто станет возражать, что сам покойный император не содействовал ее возникновению?

Пельмени были и остались основой благосостояния торговой фирмы Лянов.

Дела ресторана, который славился пельменной кулинарией далеко за пределами Чунцина, вел Лян-отец. Он выписывал перец из Хунани и Юньнани и перед каждым праздником вывешивал огромные бумажные фонари у входа в свое заведение. Лян-сын был занят торговлей мучными продуктами.

Но в то время, как Лян-старший был верен профессии и рассматривал пельмени как непоколебимую основу своего благосостояния, Лян-младший, Лян Баошань, полагал, что ему не пристало заниматься этим недостойным делом. Просто неудобно было молодому Ляну появляться в клубе, где каждый знал, что он — сын пельменщика и сам — пельменщик.

Хотя ему и было неудобно, он все-таки посещал клуб, так как надеялся, что рано или поздно он раз и навсегда перестанет быть сыном пельменщика.

И терпенье принесло свои плоды: спустя двенадцать лет после того, как старый Лян разбогател, и несмотря на то, что он разбогател, родственники Ляна-старшего надели по нему траур.

Ресторан, знаменитый своими пельменями, был продан, Лян-младший отказался от торговли мучными продуктами и любое утверждение, будто он — сын пельменщика, считал личным оскорблением.

Лян-сын стремился быть как можно более современным человеком, поэтому он искал для своего капитала новое поле деятельности, связанное с прогрессом и цивилизацией. И он приобрел пароход, который плавал от Ичана до Чунцина и обратно, а иногда спускался по Янцзы даже до Ханькоу.

Кажется, процент на капитал, вложенный в этот пароход, который, двигаясь вниз по течению, оставлял за кормою пенный след, а вверх нередко поднимался с помощью бечевы, был несколько ниже, чем приносили старику Ляну его пельмени.

Но Лян-сын и не думал делать сравнений. Он был не силен в исчислении процентов на капитал, и, кроме того, он руководствовался иными соображениями: ему важно было, чтобы ничто в его новом доме не напоминало пельменей и чтобы он имел средства для посещения дома развлечений и других домов.

Едва только Лян-сын почувствовал себя хозяином парохода, а главное — хозяином денег, как ему уже пришлось испытывать натиски судьбы, он сразу же понял, что не так это просто — быть современным коммерсантом.

Казалось бы, о чем заботиться: пароход плавает исправно, грузов и пассажиров сколько угодно, твердых тарифов на перевозки никто не устанавливает, хозяину всего 27 лет, и Чунцин — достаточно веселый город, чтобы люди всех возрастов нашли в нем развлечения по своему вкусу.

Однако же день за днем приносил молодому коммерсанту все новые и новые заботы, потому что милитаристы грабили купцов, и особенно легкой и заманчивой добычей был для них пароход, когда он медленно поднимался вверх по течению, с переполненным трюмом и с массой беззащитных пассажиров на палубе.

Молодому Ляну надо было срочно изыскать какой-нибудь выход из создавшегося положения. Но какой?!

Однажды он сидел в клубе и за соседним столиком увидел француза. Он видел его не раз и прежде, и всегда за одним и тем же занятием: француз перебрасывал на ладони две или три монеты — английский доллар, французский франк и еще какую-то третью, тоже заморского происхождения, кажется — шведскую крону... Сразу было видно, что человек подбрасывает на ладони все свое движимое и недвижимое имущество.

Но все-таки это был француз, иностранец, и, глядя на него, Лян Баошань вдруг подумал, что из этого факта можно кое-что извлечь...

Спустя еще несколько часов француз от имени некоего вымышленного парижского коммерсанта заключил с Лян Баошанем договор, в соответствии с которым он будто бы внес в кассу пароходного треста солидную сумму.

На этом основании уже на другой день на пароходе Лян Баошаня под самый клотик взвился французский флаг. Отныне китайские милитаристы при взимании налогов и пошлин, равно как и при ограблениях, должны были иметь дело не с Лян Баошанем, а с Французской Республикой.

Когда пароход под французским флагом вышел в плавание из Чунцина в Ичан, Лян Баошань провожал его с берега... Лян Баошаню очень хотелось кричать

и аплодировать Лян Баошаню за его блестящую коммерческую выдумку, но это было неудобно, и он кричал «виват» французскому флагу.

Появилась было одна неприятность: население менее охотно стало пользоваться пароходом под французским флагом. С тех пор, как в 1911 году в Сычуани были крупные волнения против иностранных концессий на постройку железной дороги, многие люди еще не освободились от застаревшего предрассудка и предпочитали пароходы с китайским флагом. Но такую неприятность Лян Баошань сумел быстро преодолеть: на крупных пристанях, где продавалось много билетов, на мачте парохода взвивался китайский флаг. Для этого тоже ведь было достаточно юридических оснований.

Зато в глазах своих приятелей по торговому клубу Лян Баошань окончательно перестал быть сыном пельменщика и начал носить на голове котелок, а в руке трость.

Дело пошло в гору. Чунцинский француз сначала получал свои несколько десятков, точнее — сорок юаней в месяц, а потом и вовсе исчез неизвестно куда, так же, как неизвестно откуда появился он в Сычуани.

Правда, перед тем, как исчезнуть, он посетил Лян Баошаня и на ломаном китайском языке сказал ему:

— В английских долларах хочу тысячу!

Француз, конечно, не получил тысячу. На этот раз он не получил даже свои ежемесячные сорок юаней.

Но странно — чем больше доходов получал Лян Баошань, чем выше он назначал тарифы на перевозку грузов и пассажиров, и чем меньше платил грузчикам и матросам, тем труднее становилось ему сводить концы с концами.

По случаю и на очень выгодных условиях он приобрел уже и второй пароход, и, кажется, почувствовал, будто жизнь стала легче, но так показалось только на первых порах; спустя каких-нибудь несколько месяцев он уже снова просыпался каждое утро с одной и той же неприятной мыслью: где взять деньги?

Было время — клиенты приходили к нему, а он выбирал среди них. Теперь он сам рыскал по городу и искал такого клиента, который сегодня же, сию же минуту мог выдать аванс под перевозки. В конце концов, такой человек находился, но прежде приходилось делать множество уступок и отказывать другим кли-

ентам, гораздо более выгодным, которые, однако, могли выложить на стол деньги не сегодня, а только завтра.

Ничего не поделаешь — таковы были жизненные обстоятельства Лян Баошаня.

Его вторая жена У Шиин еще сравнительно недавно — при жизни старого Ляна-пельменщика — боялась, что кто-нибудь узнает о ее существовании.

Теперь она этого не боялась. Теперь она повсюду появлялась в паланкине, который несли на плечах восемь человек. Мало того, что она появлялась — одно только появление в шикарном паланкине еще не требовало больших денег,— она еще играла в мацзян. Мало того, что она играла в мацзян, она еще и проигрывала и тогда выдавала расписки от имени Лян Баошаня. А это уже требовало от Лян Баошаня тех самых денег, которых у него никогда не было.

Конечно, можно было порвать с У Шиин.

Но... Трудно объяснить, в чем заключалось это «но». Прежде всего, У Шиин подняла бы на весь город крик о том, что Лян Баошань — сын пельменщика и сам бывший пельменщик. Положим, ей бы не поверили. Но она каким-то образом слишком много знала о делах пароходного треста и о семье Лянов. Удивительно, как она все узнавала: чем больше скрывал от нее Лян Баошань, тем больше она знала. Наконец, она была попросту интересной женщиной, У Шиин. Помимо того, что это было приятно, это было еще и полезно: ведь она приостановила судебное дело, которое возбудили против Лян Баошаня торговцы красками на том основании, будто бы в пути от Ичана до Чунцина их краски были подменены.

Наконец дети... Дети есть дети, и от первой жены они, или от второй — какое им до этого дело, когда они тянут к отцу свои маленькие ручонки?

Так или иначе, а только денег не хватало, и последний разговор с У Шиин кончился более или менее благополучно только потому, что Лян Баошань поклялся — назавтра к нему приедет очень состоятельный клиент из иностранцев и предложит самую выгодную сделку, которую когда-либо заключали владельцы пароходов на Сычуань-реке.

На другой день после этого семейного разговора и после этого обещания Лян Баошань проснулся рано, долго сидел за чаем и думал, как ему объяснить У Ши-

ин, почему клиент отложил заключение сделки еще на одну неделю?

Ничего путного не приходило ему в голову, и, должно быть, именно поэтому он сам начал верить, будто к нему действительно должен кто-то приехать для заключения договора на перевозки. И Лян Баошань стал с нетерпением посматривать на часы: вот уже и десять, вот одиннадцать, половина двенадцатого, без четверти — а клиента все нет и нет! Возмутительно, что люди позволяют себе так опаздывать и задерживать делового коммерсанта!

В двенадцать с минутами у дома остановились сразу четыре рикши. Из первой коляски вышел пожилой господин с тростью в руке — иностранец. Из второй и третьей сошли мужчины помельче, но тоже довольно солидной внешности и тоже иностранцы. Четвертый рикша привез китайца, должно быть, переводчика, но уже по тому, как переводчик одет, всегда можно ведь судить, кому он служит: переводчик служил состоятельным людям.

Лян Баошань ушел из приемной, в которой он ждал неизвестного клиента, в свою комнату, лег там в качалку и стал соображать. «Трое... Совершенно незнакомые... Состоятельные... Кто бы это?» Он не догадывался, кто это был, зато быстро догадался, почему и зачем они к нему приехали: если сегодня же они не заключат договор на перевозки, завтра они прогорят! Если сразу три деловых человека являются к одному владельцу пароходов — значит, дело у них не ждет!

Еще Лян Баошань спросил себя: «Что из этого следует для него, для Лян Баошаня?» Он не успел ответить на собственный вопрос, как слуга передал ему три визитные карточки не то на английском, не то на французском — Лян Баошань несколько затруднялся в чтении на иностранных языках, а тут еще у него не было времени — нельзя было заставлять клиентов ждать. Он успел только подумать: «Не все ли равно, с кого получать деньги, с англичан или с мексиканцев?» — и вышел в приемную, радушно улыбаясь, как будто в приемной его ждали приятели.

Старший из посетителей, не откладывая дела, тут же сказал, что его очень интересуют условия, на которых пароходный трест перевозит грузы из Чунцина в Ичан и обратно. Он явно торопился узнать эти условия. Лян Баошань не торопился отвечать.

Сначала он попросил уважаемых клиентов присесть, потом велел слуге принести чай, потом сравнил качество чжецзянского и юнаньского чая, а тем временем он напряженно думал, какую цену можно запросить с этих клиентов?

Сердце Лян Баошаня стучало неровно и громко, он испытывал головокружение — он боялся продешевить...

Наконец он назвал цифру, сам не очень хорошо отдавая отчет в том, насколько она велика.

Клиенты переглянулись между собой, но Лян Баошань не заметил на их лицах и тени удивления.

Только старший из них, тот, что и сидя в кресле играл тростью, проговорил:

— Такой высокий тариф?

— Самый обычный! — заверил Лян.

— Но ведь ваши пароходы никогда не ходят без груза?!

— Никогда!

— В таком случае — компания процветает: пароходы ходят круглый год, грузы всегда в наличии, а тарифы, тарифы... приличные...

Лян скромно улыбнулся, а господин с тростью в руке снова проговорил:

— Я всегда утверждал, что пароходные компании в Китае приносят самый высокий процент на капитал... В умелых руках — это золотая россыпь...

Лян снова улыбнулся и сделал несколько глотков чая; сердце его продолжало стучать и стучать.

Клиенты перебросились между собой несколькими словами, переводчик молчал. Должно быть, эти господа прикидывали, что им выгоднее: уплатить ли Ляну за рейсы двух его пароходов или завтра же разориться? Затем один из них, наиболее осторожный, самый маленький и с завитыми усиками, спросил:

— Эти условия перевозки господин Лян предъявляет всем клиентам или какие-то особые обстоятельства заставляют его назвать такой тариф?

— Не всегда,— согласился Лян.— Не всегда тарифы остаются постоянными! Но, знаете ли, в последнее время очень много клиентуры, и все — со срочными перевозками... Так что он, Лян, не знает, кого из клиентов удовлетворить в первую очередь, и предпочитает тех, которые при заключении договора не только не возражают против тарифов, но и готовы сразу же внести

под договор одну треть или, по крайней мере,— четверть всей суммы!

— Ну, что касается авансов,— сказал клиент с тростью,— они не очень нас интересуют. Другое дело — тариф. Все-таки, почтенный господин Лян,— нет ли у вас каких-либо доказательств, что именно по этим тарифам вам платят и другие клиенты?

Лян Баошань пожал плечами, встал, подошел к бюро и вот тут задумался: он забыл, в каких ящиках бюро лежали бухгалтерские книги с голубым драконом на обложке, и в каких — с желтым. Голубой дракон был на книгах для клиентов, и там были показаны такие высокие тарифы, по которым за все время своего существования ни один пароход не перевез ни одного даня[1] груза.

Дракон желтый был изображен на книгах, предназначенных для чиновников, интересующихся доходами с целью исчисления налогов... Здесь были показаны несколько иные тарифы. Тот, кто всерьез подсчитал бы доходы пароходной компании по «желтым» тарифам, неизбежно пришел бы к выводу, что Лян Баошань получает не больше, чем его отец в ту пору, когда он торговал пельменями на улице Далянцзы.

Однако записи этой, второй, книги стали бы понятнее исследователю, если бы в руки ему попалась еще одна небольшая записная книжка с обозначением тех сумм, которые Лян Баошань выплачивал лично налоговым чиновникам.

Что касается таких бухгалтерских книг, в которых можно было бы найти действительные приходы и расходы компании, то Лян Баошань не боялся ошибиться и вынуть из бюро именно их. Он этого не боялся по той причине, что таких книг вообще не было: Лян Баошань никогда не знал, сколько он получает и сколько проживает.

Но так или иначе, а память не подвела его на этот раз, и он вынул из бюро голубого дракона.

Все три клиента склонились над ними и внимательно слушали переводчика. Лян сидел молча, сердце у него билось по-прежнему, и он боялся думать, что, кажется, продешевил — эти иностранцы, судя по всему, могли заплатить и больше.

---

[1] Дань — мера веса, равная приблизительно пятидесяти килограммам.

Когда же, наконец, старший из них вернул книги Лян Баошаню и сказал, что действительно дела компании при таких тарифах идут блестяще, у Лян Баошаня уже не было сомнений в том, что он продешевил.

«Ну, ничего,— подумал он,— зато я получу аванс по крайней мере в половину всей суммы... Сегодня же. Сейчас же. Вечером я заеду к У Шиин — пусть она убедится, что значит слово Лян Баошаня!» Это соображение несколько успокоило его.

Размышления Лян Баошаня были прерваны молчанием... Как-то уж очень-очень тихо стало во всем доме и в приемной тоже, как будто здесь не присутствовали три состоятельных клиента, переводчик и он сам, Лян Баошань... Лян Баошань с тревогой оглянулся вокруг. «Почему же все молчат!» — спрашивал он взглядом, но сам молчал тоже...

— Моя фамилия — Дервиль... — произнес наконец самый пожилой клиент и энергично повернул легкую тросточку между вторым и третьим пальцами.

«Ну, вот, кажется, мы приступаем к деловой части нашей встречи! — решил Лян Баошань и вздохнул.— Я уже знаю, как зовут этого симпатичного клиента». И он, приподнявшись в кресле, поклонился и сказал:

— Очень приятно, очень рад!

— Вы меня не помните? — спросил клиент.

«Дервиль... Дервиль... — повторил несколько раз Лян Баошань мысленно.— Дервиль... Как будто где-то я слышал такое имя, но где?»

— Я вам напомню,— сказал клиент, быстро повернув трость между вторым и третьим пальцами в обратную сторону.— Я совладелец нашей пароходной компании. Тот самый, с которым через посредство моего племянника вы заключили соглашение... на совместное владение.

— Позвольте! — вскочил Лян Баошань.— Что вы говорите? У меня никогда не было и нет совладельцев! Я — единственный владелец своего собственного имущества!

— Так вот,— проговорил с прежним спокойствием господин Дервиль,— я приехал получить свою долю прибылей за четыре минувших года. Судя по бухгалтерским книгам,— он любовно погладил голубого дракона,— судя по этим книгам, доходы были приличные... Кроме того, я желаю выйти из компании, и, следовательно, желаю получить свою долю от стоимости паро-

ходов... Знакомьтесь,— кивнул он в сторону двух других посетителей.— Эти господа — юристы. Они сотрудники французского консульства.

Через неделю суд, в котором деятельное участие принимали господа юристы, сотрудники французского консульства, полностью удовлетворил иск господина Дервиля к господину Лян Баошаню.

БЫВШИЙ КОРОЛЬ СЕРЕБРЯНЫХ УШЕК

...Может быть, вы слышали о нашей фамилии? О старике Ляне? О моем отце, Лян Баошане? Обо мне самом — Лян Цзинвэне?

Я не буду утомлять вас отступлениями в далекое прошлое, но все-таки. Мой дед, старый Лян, происходил из весьма почтенной фамилии, да-да!

Его, а следовательно, и мои предки занимались коммерцией и были весьма почитаемы среди населения Сычуани... Видимо, это обстоятельство и послужило причиной того, что мой дед сильно разбогател. Он разбогател на торговле таким благородным товаром, как шелк. Между прочим, он был большим чудаком, старый Лян, любил поесть и только ради этого содержал в Чунцине ресторан. Но еще раз повторяю — он создал состояние на торговле шелком, и тот, кто станет возражать против этого,— просто-напросто болтун!

Так вот, когда умер старый Лян, он оставил свое состояние старшему сыну и моему отцу, Лян Баошаню.

Отец тоже был незаурядным коммерсантом и любил и поесть, и пожить. Он основал пароходный трест в том же Чунцине и был единственным владельцем этого треста, пока не разорился в жестокой конкурентной борьбе с французской пароходной компанией.

Вот и все, что касается нашей фамилии... Знаете ли, нужно все-таки отдать должное предкам, особенно если все они благородного происхождения.

Что касается меня самого, я буду совершенно откровенен. Собственно, на мне кончается наша родословная видных сычуаньских и шанхайских коммерсантов, и мне нет смысла что-нибудь скрывать...

Итак, к тому времени, как разорился мой отец, мне было двадцать пять лет, я был женат, имел детей, но единственно, что я умел тогда хорошо делать, так это тратить деньги. Разорился отец, не стало денег, и я не стал ничего делать. Я ничего не делал день, два, месяц,

два месяца, а потом все-таки предпринял кое-что. Должно быть, во мне заговорила кровь моего деда, который к тому же, как выяснилось, оставил на имя своих внуков некоторые средства с условием, что эти средства попадут в наши руки только или после смерти нашего отца или после его разорения. Дед был предусмотрительным коммерсантом.

Кроме того, у меня оказались и еще кое-какие средства. Все знали в Чунцине, что моя жена была когда-то моей невестой и что, будучи невестой, она имела самый вздорный характер и самое приличное приданое.

Так как мой отец любил пожить, а я тоже любил пожить независимо от него, я и женился на богатой невесте. Не скажу, чтобы мне никогда не приходилось расплачиваться, но это не было для меня неожиданностью, я всегда знал, что бесплатных удовольствий не бывает.

Во всяком случае сейчас, на склоне лет, я не жалею, что поступил в свое время таким образом, к тому же мне до сих пор трудно судить и о своем собственном характере.

Итак, я приехал в небольшой городок горной Сычуани, прекрасно одетый, с визитными карточками шанхайского банкира и владельца магазина. Даже номер телефона был указан на этих карточках.

И Шанхай, и Сычуань были тогда под властью разных милитаристов, и тот из них, который имел больше власти, объявлял свои деньги самыми дорогими. Если человек посылал из Сычуани полторы тысячи юаней, в Шанхае они стоили едва ли тысячу. Я сообразил, что в Шанхай идет больше денег, чем в Сычуань: в Шанхае закупаются фабричные товары, а Сычуань продает только сырье. И я открыл посредничество и по заказам сычуаньских торговцев делал закупки в Шанхае. Но как я это делал? Я продал некоторые драгоценности в Шанхае и получил шанхайские юани. После этого я брал у сычуаньских купцов полторы тысячи юаней, а одной тысячей расплачивался в Шанхае. Кроме того, я брал еще процент за посредничество. Я приобретал для своих клиентов действительно лучшие товары в Шанхае и даже возбудил громкое судебное дело против одного фабриканта, который поставил недоброкачественные москательные товары. Я даже отказался от его крупной взятки. Таким образом, я слыл честным посредником, у меня не было недостатка в клиентуре,

и я делал приобретение недвижимого в Сычуани — главным образом я покупал там леса.

В любом сверхприбыльном деле важно вовремя кончить. И я кончил вовремя и стал королем серебряных ушек.

Вы не знаете, что такое серебряные ушки?

Растет в горах Сычуани дерево... Если ствол этого дерева распилить на чурбаки, чурбаки положить в прохладное и тенистое место, а потом время от времени поливать водой, на них появляются грибки. Прозрачные, с серебристым оттенком... Они мягкие, как желе или как густой кисель, но почему-то кажется — если постучать по ним палочками, они зазвенят серебряным звоном, словно добрая старинная монета.

Конечно, никто не стучит по серебряным ушкам ради того, чтобы они звенели, зато для каждого — это изысканное, прекрасное, великолепное блюдо. Оно славится и за пределами Сычуани, особенно среди богачей Шанхая и Нанкина.

Так, вот, в Сычуани, недалеко от местечка Тыппян, у меня было налажено производство серебряных ушек. Предприятие это не имело никакого названия, и люди, которые пилили и поливали деревянные чурбаки, не подозревали, какое богатство они создают.

Зато в Шанхае, на главной улице Нанкин-род, я открыл магазин с огромной вывеской: «Сычуань», а ниже — мелкими иероглифами значилось: «Лян Цзинвэнь — король серебряных ушек». Как я доставлял серебряные ушки из Сычуани в Шанхай? Разными способами. Вплоть до того, что в мои сычуаньские леса летал специальный самолет. И даже не простой самолет — а из воинского отряда особого назначения господина Чан Кайши.

А почему бы самолету не летать? В то время я мог купить не только самолет, но и самолет вместе с гоминьдановским генералом и доставлять серебряные ушки через линии фронтов.

Покуда я был королем серебряных ушек, произошло много событий. В Шанхае хозяйничали японцы. А когда Чан Кайши учредил свою столицу в Нанкине, я тоже открыл там филиал своего магазина. Чан Кайши отступил к Ханькоу, я открыл филиал в Ханькоу. Он перебрался в Чунцин. Я и в Чунцине торговал серебряными ушками — это было даже удобнее, это — уже в Сычуани, близко к моему лесному предприятию. Если бы

мои покупатели уехали в Лхассу, я и там открыл бы торговлю. Что происходило в мире — мне было все равно, лишь бы у меня были покупатели серебряных ушек.

И я всегда говорил, что политика стоит у дверей моей четырехэтажной фанзы, но в самой фанзе ей делать нечего, а мои хорошие друзья говорили мне, что я унаследовал талант моего знаменитого деда — торговца шелком, и что я проявил свой талант, занявшись в свое время делом, в котором не имею конкурентов. Им — текстильщикам и торговцам — приходится конкурировать с иностранцами, а кто из иностранцев станет торговать серебряными ушками? Конечно, никто, и я всегда буду королем серебряных ушек.

Хорошо.

Кончилась антияпонская война, пришли американцы. Во время войны я их замечал как-то меньше, а тут повсюду — в торговле, а банках, в промышленности — американцы, американцы, американцы... И вот они-то заставили меня думать о политике. Как они это сделали? Очень просто: они разорили моих покупателей. Они не то чтобы конкурировали с китайской торговлей и промышленностью, нет. Просто-напросто они уничтожали китайских торговцев и промышленников, как уничтожают зайцев в хлопчатниковом поле. Что ни день, в Шанхае разорялось несколько сот предпринимателей. Но ведь это и были как раз мои покупатели! Не рикши же устраивают званые обеды и подают к столу серебряные ушки?!

Конечно, были предприниматели из тех, кто посредничал между американскими и китайскими коммерсантами, которые заглатывали три-четыре мелких магазина или фабрики в один день. Но проглотить сразу три-четыре порции серебряных ушек ни один из них не мог, а значит, число моих покупателей со дня на день сокращалось. Но даже и те, кто чувствовали себя прочно, глядя на своих разорившихся, иногда и повесившихся коллег, теряли аппетит. И вот тут-то я спросил себя: «В чем состоит национальная политика господина Чан Кайши, если по договору от 4 ноября 1946 года он предоставляет такие привилегии американцам?»

Я — коммерсант, и как коммерсант я быстро разобрался в этом вопросе. О ком заботится Чан Кайши? Конечно, о себе. Американские коммерсанты могли дать ему больше, чем китайские. Вот и все. Уж я-то имею в этом деле опыт, поверьте мне!

А тут еще стихийные бедствия: засухи, наводнения. Если человек день и ночь думает, как бы ему достать чашку риса — значит, он совсем не думает о серебряных ушках и забывает дорогу в мой магазин на Нанкин-род.

Потом — инфляция. Деньги падали в цене не то чтобы ежедневно — ежечасно. Был у меня постоянный покупатель, профессор университета, который мог обходиться без риса, но без серебряных ушек — не мог. Так он, получив жалованье, откладывал свои лекции и бежал ко мне в магазин, потому что он знал — пока он прочтет лекцию о Яо, или Шуне[1], или Ян Гуйфэй[2], деньги обязательно упадут в цене. Но и мне было выгоднее торговать в конце дня, по вечернему курсу, а не по утреннему!

Да и какая это была торговля! Это уже была не торговля, а тропическая лихорадка, от которой никак нельзя разбогатеть, а можно только остаться живым или умереть. Одним словом, моя карьера короля серебряных ушек кончилась, я это хорошо понял, хотя у меня и оставались кое-какие средства. И вот однажды вечером я сказал своей жене, что вот уже несколько ночей мне снится мой дорогой друг Лей Дунэр, который настойчиво зовет меня к себе.

А нужно вам сказать, что господин Лей Дунэр, торговец сувенирами, отравился за неделю до этого.

Помните, я говорил вам, что моя жена была когда-то невестой с самым вздорным характером? Но я, оказывается, еще не имел полного представления, что это за характер. Мы всегда старались как можно меньше вмешиваться в личную жизнь друг друга, но тут я поделился со своей супругой самыми сокровенными мыслями, сказал, что завидую господину Лей Дунэру: ему теперь уже все равно, какие еще договоры заключит господин Чан Кайши с господами американцами, ему не надо ломать голову над тем, как продержать магазин еще неделю и не разориться.

Я сказал своей супруге это тихо и спокойно, в полной уверенности, что она пожмет плечами и ответит: «С каких это пор ты начал советоваться со мной? Что-то раньше, когда у нас было много настоящих денег, я никогда не слышала от тебя ни слова о твоих намерениях! Когда у нас было много денег, ты...» Ну, и дальше в том

---

[1] Яо, Шунь — мифические императоры Древнего Китая.

[2] Ян Гуйфэй — фаворитка танского императора Мин Хуана.

же духе. По сути дела, именно ради того, чтобы укрепить свое намерение поскорее встретиться с господином Лей Дунэром, я и начал этот разговор с женой.

Но совершенно неожиданно в ответ я услышал такие гневные и яростные слова, что я и сейчас не решаюсь повторить их. Да что там — слова! Если вспомнить все, что произошло в тот вечер...

Но дело не в этом, а в том, как все пошло дальше...

Дальше было так: на другой день после нашего разговора жена купила прядильную фабрику. Она купила ее у своего разорившегося брата и за такие гроши, что если бы даже фабрику продать на слом, и тогда она стоила бы дороже. Но все-таки я был в полном недоумении.

— Зачем ты купила фабрику, если текстильщики разоряются сотнями и тысячами? — спрашивал я.— Кто будет вести дело, если ни ты, ни я не понимаем в текстильном производстве? Откуда взять сырье? Кому продавать нитки, которые выпускает фабрика? Чем платить рабочим?

Я задавал ей еще множество вопросов, на которые в то время, конечно, не могла ответить не только женщина со вздорным характером — не могли ответить тысячи опытных коммерсантов-текстильщиков.

Но она отвечала, не задумываясь, несла какую-то чушь, в которой все-таки можно было уловить и немного здравого смысла... Она сказала, что люди могут прожить без серебряных ушек, но ходить голыми они не могут, и поэтому обязательно кто-то должен производить текстильные товары. Почему бы именно мне не заняться этим делом? Еще супруга сказала мне, что если я и дальше буду приставать к ней с глупыми вопросами, она сама отправит меня к господину Лей Дунэру...

И, знаете, на меня это подействовало: я стал промышленником.

Собственно, сначала я по-прежнему занимался только коммерцией — доставал деньги и сырье, заключал сделки, а всю техническую сторону дела вел брат жены, бывший владелец фабрики. Ну а потом я тоже стал разбираться в технике.

Больше того — приобретение фабрики королем серебряных ушек, мне кажется, привело даже к некоторому оживлению в среде шанхайских текстильщиков. На

первых порах два американских дельца выразили желание заключить со мной сделки...

Так или иначе, а только в самое тяжелое и неблагоприятное для этого время я стал промышленником, вложив, правда, в новое дело дом жены, ожерелье жены и европейскую картину из комнаты жены, с изображением голого человека и коровы... Я снова встал на ноги. Снова во мне заговорила кровь моего деда, торговца шелком.

И вдруг — освобождение.

Ну, знаете ли, в то время каждый по-своему понимал это событие. Брат моей жены, например, понял его так: захватил кое-что из фабричной кассы и удрал в Гонконг. Я сам был в полном оцепенении, лежал в кровати и ждал, когда меня расстреляют, а мою жену — обобществят.

Правда, я еще совсем недавно по собственному желанию порывался встретиться со своим другом, господином Лей Дунэром, и я уже говорил, что никогда не вмешивался в личную жизнь моей жены, но все-таки очень неприятно ждать, когда тебя расстреляют, а твою жену — обобществят...

Вместо этого новая власть дала моей фабрике кредит в сумме сто пятьдесят тысяч юаней. Фабрика стояла, рабочим нужно было платить, денег не было, а тут рабочий комитет сообщает мне, что я должен получить сто пятьдесят тысяч.

В комитете и тогда был ткач Чжан — такой длинный, худой парень, которого до освобождения я все хотел передать в руки полиции, так как, конечно, он был коммунистом, но я боялся это сделать, потому что рабочие могли отомстить: сжечь фабрику или убить меня. Кроме того, иногда у меня появлялась мысль, что может случиться — рабочие захватят фабрику и устроят надо мной расправу. Так уж пусть для этого случая останется Чжан... Он хоть и упрямый и наверняка коммунист, но все-таки разумный, и, кажется, даже добрее многих других.

Так вот, этот самый Чжан и сообщил мне о кредите. Сколько раз я стоял на пороге полного краха, а все-таки я никогда не разорялся до последнего фыня, так, чтобы дальше уже нельзя было вести никакого дела. Имеет, должно быть, значение коммерческий дух фамилии и, прежде всего, старого Ляна — торговца шелком!

«Хорошо! — подумал я.— Должно быть, я остался жив, и, должно быть, при новой власти тоже можно вести коммерцию. Это хоть и красные, но все-таки не американцы, которые в сорок шестом году в Шанхае каждый день пускали по миру сотню-другую коммерсантов!»

Правда, новая власть назначила моей фабрике твердые производственные задания, правда, я должен был сдавать продукцию по определенной цене определенному предприятию. Подумать — так какая же это коммерция? Это вовсе не коммерция, а черная работа!

Но зато были и преимущества. Теперь у меня всегда был обеспечен сбыт, и я не боялся ничьей конкуренции. И я сделал такой коммерческий вывод: раз обеспечен сбыт, зачем стараться ради качества продукции? Я стал экономить сырье, на сэкономленном сырье я выпускал продукцию высшего качества, и вот уже ее-то и сбывал туда, где мне больше платили. Вот это была настоящая коммерция, и она снова открывала передо мной широкие перспективы.

Но тут я не подумал о том, что все коммерсанты подумали так же, как я, все поступили таким же образом. А это привело к тому, что власти объявили борьбу с пятью злами. Ну, если уж не все пять — то четыре зла, безусловно, относились прямо ко мне.

Подкуп государственных служащих? Было такое, не то чтобы зло, а скорее — добро. Почему бы нужному человеку и не отпустить кое-что с фабрики, почему не угостить его в ресторане доброй пекинской уткой или, по старой привычке, серебряными ушками?

Уклонение от уплаты налогов? Но ведь налоговые инспекторы — тоже нужные люди? Так что эти два зла я бы лично счел за одно.

Хищение государственных средств и недоброкачественное выполнение правительственных заказов? Об этом тоже нет необходимости долго говорить...

Единственно, к чему я был непричастен,— это к хищению экономической информации. На моей фабрике не было ничего секретного, и увы! — никто не заплатил бы мне ни одного юаня за все бухгалтерские книги моей фабрики!

И вот идет собрание за собранием, рабочие критикуют меня, а больше всех — меня критикует Чжан, так что я уже начал сомневаться: прав ли я был, что не отдал его в свое время в руки полиции?

Днем этот Чжан ругает меня, а вечером приходит ко мне домой, протягивает свои длинные ноги под столом и начинает меня убеждать, что нельзя оставаться прежним коммерсантом, а надо соблюдать интересы государства, что если меня критикуют, так это для моей же пользы, и вообще-то со мной обходятся еще довольно мягко — могло быть и хуже.

Это я знаю — в каких бы я переделках ни был, всегда могло быть еще хуже. И вообще — разве я спорил с Чжаном? Нет, не спорил. Я во всем с ним соглашался. Разве станешь спорить против того, что нитки будут крепче, если они будут толще, а толще они будут, если из одного и того же количества хлопка будет соткано сто, а не сто пятьдесят катушек? А какие я должен был сделать из этого выводы? Как коммерсант? Что вы думаете — это очень просто и приятно: быть носителем если не всех пяти, так по крайней мере четырех зол? Это уже не коммерсант, если про него никто не боится сказать, что он — носитель зол. Коммерция — дело благородное, а главное — деликатное.

И я сделал такой вывод: пока не поздно, нужно закрыть фабрику.

Почему в свое время я приобрел капитал через посредничество между Сычуанью и Шанхаем? Потому что я вовремя кончил с деятельностью посредника. Почему я сохранил кое-какое состояние после того, как разорились покупатели серебряных ушек? Потому что вовремя прекратил торговлю, не дожидаясь, пока меня самого продадут с торгов.

И вот теперь я затянул выплату рабочим зарплаты на два месяца, а потом объявил себя банкротом. «С рабочими я расплачусь на те средства, которые получу от ликвидации фабрики»,— сказал я.

День, когда фабрика должна была прекратить работу, выдался холодный — снег падал и не таял. Немного позже, к десяти утра, я приезжаю на фабрику, чтобы вместе с моим бухгалтером оформить последние документы.

Вхожу во двор и слышу — гудят все станки и рабочие катят тележки из цеха в цех. Странно. Поднимаюсь к себе наверх, вижу — в упаковочной тоже каждый занят своим делом, и готовой продукции ничуть не меньше, чем всегда. Тоже странно... Спрашиваю бухгалтера: «Почему фабрика работает, если она закрыта?» Бухгалтер отвечает, что об этом знает профсоюз.

Прошу, чтобы ко мне пришел этот самый профсоюз, то есть все тот же длинный Чжан. Чжан приходит, я спрашиваю: «Почему фабрика работает, если она закрыта?» Чжан отвечает, что так решили рабочие. «Хорошо,— говорю я,— очень хорошо решили рабочие. Но решили они или нет — кто им будет платить за их работу?» — «Никто»,— отвечает Чжан. И мы смотрим друг на друга: он — на меня, а я — на него. Наконец я спрашиваю: «То есть как же это так?» — «А вот так,— отвечает Чжан,— рабочие не хотят, чтобы фабрика закрылась, они не хотят остаться без работы, и они еще на месяц отказываются от зарплаты, чтобы спасти фабрику...» Я попросил его повторить эти слова, он повторил. «Ну, что же,— говорю я,— я человек пожилой. Коммерсант. Нельзя ли получить от профсоюза расписку в том, что рабочие действительно отказываются от зарплаты?» — «Отчего же,— говорит Чжан,—конечно, можно. Вы напишите сами такую расписку,— говорит он,— вы грамотный человек, знаете, как оформляются документы, вот и напишите. А мы подпишемся». Я сажусь писать документ, а Чжан еще говорит мне: «Вот что, у профсоюзного комитета есть две тысячи юаней. Это — дополнительное рабочее пособие на рис. Вчера мы взяли это пособие в банке и раздали многосемейным рабочим. Но сегодня к вечеру мы соберем эти деньги и отдадим их вам. Сырье кончается, а фабрике нужно перебиться всего несколько дней, пока не будет реализована продукция. Приобретите на эти деньги сырье».— «Ну что же,— говорю я,— хорошо! Вы дадите мне расписку в том, что будете работать бесплатно, а я напишу вам расписку в том, что взял у вас в долг две тысячи юаней. Все это мы оформим самым честным порядком». Я стал писать расписку на две тысячи юаней, как вдруг Чжан снова говорит мне: «Пожалуй, не надо нам никакой расписки. Даже определенно — не надо...» — «Хорошо! — сказал я.— Не надо, так не надо...» Еще посидел в кабинете, походил по цехам, посмотрел, как они там собирают эти две тысячи юаней, а потом сказал, что мне сильно нездоровится, и уехал домой.

Дома я стал думать о коммерции, о политике и о детях...

Прежде всего о коммерции. Мне ничего не стоило в свое время разгадать коммерцию Чан Кайши. А как разгадать коммерцию красных? Получается, что они всерьез верят, будто я — старый предприниматель, ко-

роль серебряных ушек — обанкротился и у меня нет ни одного фыня? Должно быть, так, если они предлагают мне свои деньги — две тысячи рисового пособия. И соглашаются месяц работать бесплатно. Должно быть, я не отучил их верить себе за эти годы, когда они работали по четырнадцать часов в сутки и зарабатывали на одну чашку риса для семьи... Конечно, им дорог не я, им дорога фабрика, но все-таки — была ли на свете, могла ли быть на свете причина, по которой мой лучший друг и прекрасный коммерсант господин Лей Дунэр, например, вдруг дал бы мне в трудную минуту две тысячи юаней, да еще и без расписки? Конечно, такой причины не могло существовать на свете.

«Нет,— сказал я себе,— эта красная политика, и эта коммерция — вовсе не политика и не коммерция! Это — черт знает что такое!» Вот как я подумал о политике...

Теперь о детях. О своих собственных детях. Знаете, что я скажу вам на этот счет? Тратишь деньги всю жизнь, иногда совсем напрасно, где-нибудь в игорном доме, и ведь ни на минуту не забываешь о детях. Развлекаешься, а сам все время думаешь, что ведь и детям нужно что-то оставить, так же, как в свое время это сделал старик Лян — торговец шелком. Думаешь таким образом, вздыхаешь, а деньги тем временем текут и текут куда-то прочь. И, должно быть, не напрасно говорят в моей родной Сычуани, что коммерсанты не бывают богатыми больше, чем в трех поколениях. Как раз я — третье поколение коммерсантов Лянов!

Так вот, когда я решил закрыть фабрику и объявить себя банкротом, я хотел тут же передать кое-что детям, а оставшийся небольшой капитал вложить в какое-нибудь новое и скромное дело. Но когда я ходил по своей фабрике и смотрел, как рабочие собирают рисовое пособие — две тысячи юаней, я подумал, что мои собственные дети тоже могли бы дать мне кое-что. У них есть. Но — не дадут.

И я решил идти в политическую школу капиталистов. Я решил, что проведу в школе несколько месяцев, а там будет видно, что предпринять, какая коммерция еще останется к тому времени коммерцией...

Я сказал об этом своей жене, думал, может быть она опять придет в ярость и скажет мне что-нибудь определенное, но она только пожала плечами: «Тебе виднее, сколько ты нажил ума за свой век!» Не знаю, как это понимать?

Ну вот, я пошел в школу узнать насчет приема и насчет того, сколько нужно носить с собой тетрадей. И что же вы думаете — я один такой нашелся коммерсант, который решил провести в школе для перевоспитания капиталистов несколько месяцев? Ничего подобного! В школе мне сказали, что могут принять только двадцать два промышленника-текстильщика, а подано уже сорок шесть заявлений. «Может быть,— сказали мне в школе,— вы обойдетесь и без обучения? Ведь вам уже много лет, вы имеете, следовательно, большой жизненный опыт...»

Все-таки завтра я пойду в школу. Я пойду туда потому, что рабочий комитет и этот длинный Чжан хлопотали, чтобы меня приняли в школу. Меня беспокоит только, что в школу поступил и старик Вэнь Лаоху, торговлю которого серебряными ушками я когда-то в два счета вытеснил с Нанкин-род. С тех пор он имеет на меня зуб и болтает, будто в нашем роду когда-то были пельменщики! Какая ложь! Все знают, что мой дед разбогател на торговле таким благородным товаром, как шелк!

Так или иначе, а завтра — в школу. Хочу подучиться социализму — а вдруг пригодится?! Коммерсанту династии Лян — давней и славной династии — вдруг пригодится?

1957—1988

КТО ТУТ?

Уже после обеда, после часа дня, собираясь на работу, мама говорила:

— Катюха! Ты, пожалуйста, кому попало двери не открывай, а придет Дед Мороз, посмотри хорошенько в дверной глазок и открой. Он не злой и не страшный, он хороший и добрый, он тебе подарок принесет.

«Смешно бояться Деда Мороза! — подумала Катюша.— Разве Дед Мороз может быть злым?» У мамы она спросила:

— Когда он придет? В какое время?

— Как ему удобнее, как у него получится, так и придет. Он один, а вас сколько, девчонок и мальчишек, в нашем микро! За день всех и не обслужишь. Их много нынче будет ходить по домам, Дедов Морозов! Целая бригада!

Мама надела коричневую шляпу, которую она надевала очень редко, повертелась около зеркала, чмокнула Катюшу в лобик, надела сапожки, пальто и ушла. На прощанье и еще сказала:

— Будь здорова, умница! И не забудь: Деда Мороза зовут Николаем Федоровичем Португаловым. Дядя Коля Португалов. Порешала бы ты задачки и вообще — уроки.

«А? — подумала Катюша.— А вот возьму да и порешаю! И решу все до одной. И слова напишу — все до одного! И все рисование нарисую! А придет Дед Мороз — все рисование ему покажу. И подарю ему какую-нибудь картинку. Ту, которая ему больше всех понравится!»

«Правда,— и еще подумала Катюша несколько позже, уже сидя за столом и решая сложение-вычитание,— правда, нет такого права — задавать малышам уроки на каникулы. Нет и нет — уж это точно!»

А нужно сказать, что Катюша понимала толк в своих правах.

Сложение-вычитание решалось так себе — ни хорошо, ни плохо. Когда решалось плохо, Катюша отзывалась об этом так: «Вот нахальство!» — говорила она тихо, про себя, но иногда и вслух.

Катюша внимательно следила за стрелкой будильника, который она поставила перед собой на стол: она решила, что в три ноль-ноль включит радио.

Она включила радио даже позже — в три плюс две минуты — и услышала такую песню:

Здравствуй, здравствуй, здравствуй, здравствуй,
мой небесный друг,
Мы встречались там с тобою, где сияет солнца круг.

Катюше было непонятно: где же все-таки произошла встреча?

А кто такой — небесный друг?

А еще — почему так много повторяется слово «здравствуй»?

«Ага,— сообразила Катюша,— чтобы получилось стихотворение или песня, нужно много раз повторять одно и то же слово... Ясно!»

А вообще-то песня, конечно, о космонавтах, которые день и ночь летают вокруг Земли, а заодно и вокруг Солнца. И все так далеко от Земли, что даже и не очень-то интересно. Катюшу больше интересует все то, что происходит и должно произойти в скором времени здесь, на Земле, и еще ближе — в микрорайоне «Б».

Например: вот-вот должен наступить Новый год, а что это такое? Вернее всего, это день рождения для всех. У каждого есть свой собственный день рождения, а когда все сложат свои дни рождения в один день — этот день и станет Новым годом.

Не совсем ясно, зато понятно.

Ну и еще: всегда хорошо знаешь, как нужно сделать, чтобы сделать хорошо, но все равно делаешь не так, а по-другому, и получается плохо. Почему бы это? Ведь ни для кого в этом пользы нет. Удовольствия тоже нет.

Между прочим, Новый год еще, наверное, и для взрослых тоже хорош, потому что в новом году они собираются делать все на свете хорошо, без плохих отметок.

Деда Мороза для взрослых, правда, не бывает, но наверняка бывает что-нибудь другое дедморозовское.

Бывает... бывает... Чего-нибудь приятного взрослые ждут ничуть не меньше, чем дети. Тем более что взрослые всегда пугают себя чем-нибудь страшным. Для того и пугают — чтобы больше радоваться приятному.

Вот мама — уже сколько дней говорит, что в новом году она окончательно замотается, но разве можно этому поверить? Сколько помнит себя Катюша, ни с ней самой, ни с мамой никогда и ничего не происходило «окончательно»,— значит, это слово следует понимать как «необязательно», как «может быть», «дай бог, ничего не случится», еще как-нибудь.

А Лида, старшая Катюшина сестра, очень сильно старшая — на десять лет — говорит, что ждет от нового года отличных отметок. А чего, спрашивается, их ждать, если они у нее и всегда отличные?

Другое дело, что в новом году Лида хочет сд лать маникюр, но вряд ли ей это удастся — мама не велит. «Вот еще,— говорит Лида, когда она сердитая, а сердитая она то и дело, потому что не отрывается от учебников,— вот еще, уж если я со своими отметками не пройду — тогда кто же пройдет?»

«Вот еще,— отвечает мама Лиде.— Ты, наверное, одна будешь учиться: кроме тебя, никто на исторический не пройдет!»

Что касается папы, дело обстоит посложнее, и не сразу поймешь что к чему. Во всяком случае, Катюша не понимает папу, когда он говорит, что в новом году его начальник обязательно отдаст богу душу... И это — загадка, вроде того сияющего круга солнца, на котором хотят встретиться небесные друзья, но не встречаются, а только приветствуют друг друга: «Здравствуй, здравствуй, здравствуй, здравствуй!» Или: «Нам любовь, любовь нужна, и ничего другого».

Тут дело еще в чем?

Тут дело еще в том, что у папы очень нервная работа и он работает за двоих — за себя и за того человека, который собирается отдать...

Он собирается отдать что-то еще и папе, но до сих пор пока не отдает...

«Сложная штука — жизнь!» — говорит папа, и как с ним не согласиться? С ним не согласиться нельзя, тем более что с ним, когда он что-нибудь объясняет, обязательно соглашается мама. И Лида тоже.

Такие дела...

Катюша не завидует взрослым, нет, не завидует и не торопится расти. Как ей растется, так пусть и растется, быстрее не надо, а если помедленнее — она согласна.

В том, что она маленькая, она чувствует что-то большое, большое — даже огромное, какую-то радость она чувствует, какое-то особое положение в мире. Ну вот, например: все маленькие — это почти что друзья, стоит спросить малыша: «Как тебя зовут?» — он ответит, назовется, и все — и встреча друзей состоялась. А котенка или щенка даже и спрашивать ни о чем не надо — сама дашь ему такое имя, которое тебе нравится, которое, на твой взгляд, ему подходит — и все, и готовенькие друзья!

И ведь если поразмыслить, без этого жизнь была бы невероятно скучной и неправильной.

В общем-то, Катюша почти ничего не могла сказать о детстве, хотя и очень хорошо знала, что это такое. Знала детство, любила его, ощущала его в каждой своей клеточке и всю себя — в его объятиях. И не чувствовала никакой обиды ни на себя, ни на него за то, что не находила слов, чтобы как-то и кому-то сказать о своих ощущениях, о своей любви к детству — взаимной и потому счастливой. Она ведь другой любви, невзаимной, и представить себе не могла, она была убеждена в том, что если любит она, значит, любят и ее. Уж это непременно. И наоборот — если любят ее, значит, любит и она. И это тоже — непременно.

Если бы кто-то сказал Катюше, что бывает и не так, она бы очень удивилась. «Если не так — тогда как же на свете жить?» — спросила бы она.

Вот уж вырастет, тогда и научится словам, взрослые ведь умеют говорить обо всем на свете, хотя и не знают, хорошо это или плохо. Кроме того, Катюша заметила, что все то, что загадывают маленькие, сбывается гораздо чаще, чем загадывания взрослых.

Что Катюша загадала на сегодня?

Что, как только стемнеет, раздастся звонок, она откроет дверь, и в прихожую войдет... Дед Мороз с красным носом, с большой бородой, с мешком за плечами. В белой шапке и в красной шубе. «А вдруг он что-нибудь забудет — бороду, нос или мешок? — забоялась Катюша.— Но нет, этого не может быть!»

И сомнений не может быть никаких — как загадано, так обязательно и будет. Единственное, что для этого надо,— надо подождать.

Но с наступлением темноты уже не было никаких сил ждать. Катюша и на лестничную площадку выскакивала — нет, не помогало, не приходил Дед Мороз.

И все-таки он пришел — сбылось! Как должен был позвонить, так и позвонил, как должен был широко распахнуть дверь, так и распахнул.

Был он в красной шубе, в белой шапке, с бородой и с мешком за плечами — совсем настоящий Дед Мороз!

Катюша имела странную привычку, о которой мама говорила, что это очень дурная привычка, папа говорил — «дурной недостаток», а сестра Лида говорила, что это «просто дурость». Дело же заключалось в том, что, едва заслышав чей-то звонок, Катюша, громко крича «Здравствуйте!», бежала открывать и распахивала дверь.

Мама, папа и Лида говорили, что, прежде чем открыть дверь, обязательно нужно спросить: «Кто тут?» — а потом, если звонит знакомый человек, открывать ему, если же незнакомый — не открывать.

И мама, и папа, и Лида объясняли Катюше, подробно объясняли, почему так нельзя делать, они приводили множество убедительных примеров, из которых следовало, что делать так нельзя, но привычка никуда не девалась.

Мама еще и так придумала — двумя булавками она приколола к дверной обшивке листочек, на котором крупными печатными буквами было написано:

КТО ТУТ?

И все равно и после этого у Катюши не получалось так, как, по маминой мысли, обязательно должно было получиться... Она бежала на звонок, потому что ее несли туда собственные ноги, открывала дверь, говорила: «Здравст...» — а когда человек входил в прихожую, спрашивала у него: «Кто тут?» — и Лида заливалась хохотом и говорила: «Вот подрастешь еще немного, и я куплю тебе, Катюха, попугая, чтобы он учил тебя русскому языку!» А Катюша не обижалась, она совершенно ничего не имела против попугая, скорее наоборот — гораздо скорее! Лида так и называла иногда Катюшу: «Кто тут».

Дед Мороз звонил громко, изо всей силы,— конечно, никто другой звонить так же не мог. Катюша распахнула дверь, а он еще долго звонил, глядя на нее, выставив вперед уж очень большой, уж очень красный нос.

— Кто ту... — спросила Катюша и громко засмеялась сама над собой. Дед Мороз сбросил мешок в прихожей и спросил:

— А Капитолина где?

Катюша растерялась. Она ждала совсем другого вопроса: вопроса о том, как ее зовут, или о том, давно ли она ждет Деда Мороза.

— Кто? — не поняла Катюша. Она не поняла, что Дед Мороз спрашивает маму.

— Как это — кто? Капитолина Яковлевна! — тоже удивился Дед Мороз.— Ты что, с ней незнакомая, что ли?

— Она на работе. Она сегодня поздно ушла, значит, поздно придет. А зачем она вам? Она же — взрослая?

— Вот так раз! — удивился Дед Мороз.— Вот так раз — да она же кто, твоя мама?! Кто мне товарищ Бодрова Капитолина Яковлевна? Она мне начальник, вот кто! Руководитель! Старший, уважаемый, можно сказать, начальник. Вот ты мне ответь: сколько у твоей мамы детей? Ты — раз, а два — кто?

— Два — Лида.

— А три?

— Три — никто...

— Итого — двое... Раз, два, и все тут. А Дедов Морозов у нее, у твоей мамы, сегодня находится семнадцать человек, вот и сравни — два и семнадцать. Грамотная? Считать умеешь?

— Это не сосчитывается...

— Для сравнения можно.

— Это не сравнивается. Нет.

— Ну, нет так нет. Значит, Капитолина задерживается? Значит, плохо: придется, значит, ждать. Куда, дочка, пройти?

Из прихожей можно было пройти в кухню и в большую комнату, обеими руками Катюша показала в обе стороны:— Сюда... И сюда...

Дед Мороз прошел в кухню. Там он сел за стол, положил на стол свою белую шапку и постучал пальцем по фарфоровому чайнику.

— С заваркой? — Потом заглянул в чайник: — Придется подождать товарища маму Бодрову. Когда дело есть, неизбежно приходится ждать — это закон. А кипяточек тоже есть? Впустую, дочка, ждать — время очень долгим кажется. Кипяточек разогреть умеешь?

Катюша умела.

Дед Мороз внимательно смотрел, как она умеет, как доливает большой металлический чайник, как разжигает плиту, ставит чайник на конфорку, как из кулечка в вазочку перекладывает сухарики.

— Большая уже.... — сказал Дед Мороз, глядя на Катюшу.— Можно сказать, совсем взрослая. В котором классе?

— В подготовительном для шестилеток. А в новом году буду в первом.

— Будешь-то будешь,— вздохнул Дед Мороз,— но только дело народного образования у нас слишком худо поставлено. Слишком!

Катюша помолчала, ей над этими словами надо было подумать, но Дед Мороз подумать не дал:

— Глаза бы не смотрели, ей-богу, на нынешнее образование! На девчонок, на пацанов-школьников да и на ихних учителей глаза бы не глядели. Дисциплины никакой, а в результате знаниев тоже никаких. Какие без дисциплины могут быть знания? Одно баловство, и только. И знаешь, что я тебе скажу?

— Нет, не знаю...

— Конечно, не знаешь, где тебе знать. А я скажу: доведись до меня, я бы как решил? Опять не знаешь? А вот: я бы бил на сознательность! Демократическим путем — на нее. Другого выхода у нас никогда не было и тоже нет по сю пору.— Дед Мороз привстал со стула и пощупал чайник на плите: — Холодный еще покуда...

Посидели, помолчали.

Катюше захотелось плакать, но она подумала: «При гостях? Очень, очень неприлично!» И стала думать, почему ей так хочется плакать, прямо хоть плачь. «Уж не потому ли, что Дед Мороз оставил свой большой мешок в прихожей? Оставил и ничего из мешка не вынимает? Ну, а если так, если именно из-за этого хочется плакать, то и совсем стыдно, глупо и позорно, и не дай бог, если кто-нибудь об этом догадается, хотя бы и Дед Мороз! Подумаешь, подарок Деда Мороза!

Какой-нибудь кулечек с конфетками и с пряниками, какой-нибудь картонный календарик, какая-нибудь бумажная игрушка — и все!»

Дед Мороз снова пощупал чайник и снова остался недоволен:

— Да это что же — зажигалка в конце концов или это все ж таки газплита? Вот у меня в квартире — домна находится, металл способна плавить! Сунул чайник на конфорку — и тут же гляди, чтобы не разорвало его паром на куски... Ну, опять же беда: ни чайников, ни электроутюгов нынче в природе нету. В Ригу заказывал утюг и чайник — нету, в Киев заказывал — и там нету. В Новосибирск? Так там и сроду-то ничего не бывало. У тебя, дочка, подружки имеются? На площадке либо в подъезде?

Этому вопросу Катюша даже обрадовалась: настоящий вопрос.

— У меня имеется. Ася Мухамедова, девочка с третьего этажа.

Катюша и еще хотела что-нибудь рассказать Деду Морозу об Асе, но тот ее перебил:

— Мухамедова? Значит, нацвопрос? Ох, запутанный вопрос, ох, на весь Союз запутанный! Но я опять и опять говорю: надо бить на сознательность! Демократическим путем. Больше не на что бить, уж это точно. Хотя где ее взять-то — настоящую сознательность?! При Хозяине было — она от Хозяина шла... Вполне понятно... — Дед Мороз быстро обернулся к плите, снова пощупал чайник и сказал: — Теперь готовенький. Сейчас, гляди, пар пустит.

Чайник тут же всхлипнул и пустил пар, а Дед Мороз снял его с плиты, поставил на стол и сказал:

— А что же это я с носом-то до сих пор? А? С красным-то? Смешно — до сих пор с ним!

И он сдернул с затылка веревочку, на которой туда-сюда стал раскачиваться большой красный нос картошкой. Он его еще туда-сюда покачал и положил на стол рядом с белой шапкой.

— Ну вот, давно бы так! — сказал он все еще фыркающему чайнику.

Без шапки, тем более без большого красного носа Дед Мороз потерял всякое сходство с самим собою. Теперь это был не тот совсем рыжий, а только слегка рыжеватый и встрепанный человек, почти без бровей и с носиком кнопочкой.

Без носа у него и голос стал потоньше, почти что женский, и неожиданность этого портрета удивила Катюшу, она долго и молча разглядывала его.

Бывший Дед Мороз тоже не без удивления взглянул на Катюшу, как будто спрашивая: а она-то зачем здесь? Примирившись же с ее присутствием, он продолжил разговор:

— Взять продовольственную проблему. Ведь это куда годится, а? Сколько годов, сколько периодов ее решаем, а воз, я тебе скажу, дочка, и ныне там. Абсолютно там же! И двух мнениев тут даже и не может быть! Ну, теперь пошел в ход семейный подряд, арендаторство и хозрасчет, но если снова не ударить на сознательность, хотя бы и демократическим путем,—обратно ничего не выйдет, обратно — ноль...

— Дядя Коля,— спросила Катюша,— Николай Федорович,— вспомнила она, что мама именно так называла его, этого человека,— а вы ведь вовсе не настоящий Дед Мороз, а?

— Господи, помилуй! — хлопнул себе по коленке дядя Коля.— Помилуй, господи, о чем ты спрашиваешь, дочка? Да разве они бывают, настоящие-то? Сроду нет. Ведь уже большенькая, а какие ставишь детские вопросы, ровно какой-нибудь младенец! Тебя мать с отцом не в кроватке ли качалке по сю пору баюкают: «Спи, младенец мой прекрасный, баюшки-баю, тихо смотрит месяц ясный...»? Ну, а Капитолина Яковлевна? Она, сознательная женщина, куда смотрит? У нее как поставлено семейное воспитание — «...в колыбель твою»!

И Катюша уже не могла не заплакать и заплакала бы обязательно, но тут пришла мама.

Мама сразу же обратила внимание на дедморозовский мешок в прихожей:— Это что такое? Почему здесь? Откуда? — И заглянула на кухню: — А-а-а-а, ты здесь, Португалов! Почему ты здесь? Почему разоблачился-то весь? Как так?

Португалов вскочил со стула и торопливо стал натягивать на себя дедморозовский нос, нахлобучивать шапку:

— А ничего особенного, Капитолина Яковлевна, совершенно ничего. И понятно: не обождавши, дела не сделаешь, вот мы и беседуем с вашей доченькой — умная девочка и, скажу вам, понятливая. И уже большенькая! И — развитая.

Мама, не слушая Португалова, скинула пальто и принялась было снимать перед зеркалом меховую шляпу, но решила по-другому: опершись о дверной косяк, стала трясти сперва одной, а потом другой ногой — стряхивать сапожки. Оставшись в чулках, она снова шагнула к зеркалу и посмотрела на себя в шляпе, потом со шляпой в руке, потом вообще без шляпы. Очень осторожно она поправила свою каштановую, уже новогоднюю прическу, сунула ноги в шлепанцы и вошла в кухню:

— В чем, я спрашиваю, дело, Португалов? Мешок у тебя полный, подарки ты не разнес, график ты не выполнил, а сидишь в чужой квартире и рассиживаешься!

— Капитолина Яковлевна! — торжественно и уже совсем женским голосом заговорил Португалов.— Вы сначала выслушайте человека, а потом уже и говорите.

— А я что делаю? Я не слушаю тебя, что ли? Говори, пожалуйста, не стесняйся, не рыдай! Рыдать вы все мастера!

— Я же серьезно, Капитолина Яковлевна. Я серьезно, а вы, не выслушав человека, уже и уже...

Мама была рассержена, но сдерживала себя, Дед Мороз Португалов был испуган, растерян, нос у него был на правой щеке, а шапка нахлобучена на левое ухо, обеими руками он почему-то ощупывал себя — настоящий он или не настоящий? Убедившись, что он — это он, Португалов заговорил снова:

— Капитолина Яковлевна! Ко мне свояк приехал. На первое, на второе и как бы даже не на третье число.

— Дальше?

— Дальше — свояк приехал. С дочкой с моей, с зятем моим, а главное — сам по себе.

— Дальше?

— Куда же дальше-то? Свояк — майор в отставке, внутренние войска. Нынче — пенсионер. Подарки привез, а я где? Меня и дома нету!

— Дальше? Свояк-то приехал к кому, я спрашиваю,— к тебе или ко мне? Майор — к тебе или ко мне?

— Капитолина Яковлевна! Я же вам по-человечески объясняю: он ко мне приехал!

— А я при чем? Если он к тебе, а не ко мне — я при чем?

— Господи, боже мой! Свояк у меня на квартире меня ждет, пьет чай, а я? Я что же, в это самое время буду таскаться по всем этажам? Вот они, башни-то какие — шешнадцать этажей, и все обойди, и у меня их, мыслимо ли, три этаких башни... Да неужели это практически возможно? При таких обстоятельствах? Я вам еще скажу, Капитолина Яковлевна, скажу как на духу: это все самые разные интриги, а если бы не они, так мой-то свояк, он бы полковником был обязательно, ну, ежели на самый на крайний случай — подполковником. Он — голова!

— Не имеет значения! — как отрезала мама.— Нашел тоже, чем воздействовать — чинами и званиями. Не тот период! И я тебя спрашиваю: а кто будет разносить подарки? График выполнять — кто?

Дед Мороз Португалов подскочил и радостно взмахнул руками:

— Ну вот, ну вот, Капитолина Яковлевна, дорогая вы наша! Да если бы у меня не было сменщика — да разве я бы насмелился сказать и намекнуть? Никогда! Но я вам скажу, Капитолина Яковлевна, я младшего своего парня пошлю, он мигом весь детский контингент во всех трех башнях обслужит! Мигом!

— Справится?

— У него первый разряд по классической борьбе!

— Голос?

— Что — голос?

— Голос все-таки должен быть взрослый. Если уж не совсем стариковский, то хотя бы взрослый!

— Это обеспечено. Голос у моего, у младшего, погуще моего. Он и службу сержантом отслужил, умеет команду подать.

Мама присела на кухонную скамеечку, подумала и сказала:

— И что мне со всеми вами делать? Что? Сегодня уже третий отказ. Два уже было на работе, ну, думала, все; прихожу домой — та же самая картина!

— Капитолина Яковлевна! Да если бы я алкаш какой-нибудь был, если бы пошел на несознательность, захотел бы обмануть, я что, не нашел бы выхода из положения? Я в поликлинику в ту же минуту подался бы, и кто, спрошу я вас, какой бы здравомыслящий доктор отказал бы мне в больничном на праздничные дни? А если честно — у меня же полполиклиники знакомые! Когда не больше, чем пол!

— Ну, смотри! — вздохнула мама.— Смотри, если этот твой классический борец не выполнит графика, если от клиентуры поступит хоть одна жалоба...

Дед Мороз Португалов подхватил в прихожей мешок, закинул его за спину, еще поприветствовал маму и хлопнул дверью, ушел. А мама как сидела на кухонной табуретке, так и осталась сидеть... И только устав от своей неподвижности, она глубоко вздохнула, положила руки сначала на стол, потом на колени и сказала:

— А ведь я не была, Катюша, такой. Я другой была и так не разговаривала, другие у меня были слова, честное слово! Это потом уже, с разными Дедами Морозами я образовалась. Ну да ладно, уж какая стала, какая есть, такая и есть. Что тебе Дед Мороз Португалов подарил-то? Я точно знаю, что он должен подарить, а в действительности?

И тут выяснилось, что Дед Мороз Португалов не подарил Катюше ничего — забыл. Забыл за разговорами.

— Вот прохиндей! — возмутилась мама от всей души.— Я ему навстречу, а он? Не постеснялся ребенка обидеть, прохиндей! Ну, он у меня достукается. Достукался уже!

А Катюша не могла больше сдерживать слезы. Их было так много, и она заплакала в голос, словно с нею случилось что-нибудь самое страшное, словно умирает, словно умер уже кто-то в доме.

Мама стала ее уговаривать — ничего не помогало.

Мама посадила ее к себе на колени, стала гладить, стала целовать — не помогало ничего.

Катюша почему-то показалась себе самой-самой маленькой, которой она когда-то была, крохотный и жалобный комочек чуть-чуть живой жизни, даже меньше она была тех кулечков, в которых настоящие Деды Морозы разносят детям подарки.

Будто в таком вот целлофановом кулечке ее бросили в темный мешок, из которого обязательно забудут вынуть, забудут подарить кому-нибудь.

И вот она плакала громко-громко, чтобы ее услышали, чтобы не забыли, но надежды на спасение было мало, совсем не было.

Катюша и сама ужас как боялась своего плача: ей показалось, будто она плачет за всех на свете людей,

которые не могут в эту минуту не плакать... До сих пор она ведь никогда не думала, ничего не чувствовала и ничего не знала за кого-нибудь — только за себя, за маленькую девочку, которая не догадывалась, что она — человек, которая думала, что она — маленькая девочка, а больше — никто.

Но в эту минуту узнала...

— Ну что ты, разве так можно? — спрашивала Катюшу мама. И сама тоже всхлипывала.— Не надо так, не надо! Послезавтра я тебе принесу и два, и три дедморозовских подарка... Не надо! Не надо!

1980

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ КОМ

На недавнем межведомственном и в силу этого весьма представительном совещании Парамонов встретил бывшего своего ученика. Фамилия Голубков. Он теперь был каким-то начальником в главке крупнейшего хозяйственного министерства. Кроме того, Голубков был седоват, полноват, хрипловат и голубоглаз, фигурой осанист, выражением лица, кажется, скучноват. С этим выражением он и напомнил Парамонову, что был когда-то его учеником. А было, было дело — в незапамятные времена Парамонов лихо читал лекции, а Голубков сначала их слушал и конспектировал, а потом сдавал Парамонову экзамены. Так должно было длиться, наверное, года три, потому что курс парамоновских лекций был профилирующим, читался по разделам, сопровождался несколькими курсовыми и дипломными проектами.

Однако Парамонов Голубкова не припомнил. Но из вежливости он сказал: «Как же, как же! — Подумал и еще добавил: — Студенты-отличники запоминаются надолго, это — закон!» Фамилия Голубков была созвучна другой фамилии — Гусинов, Венька же Гусинов был довольно известный на факультете стукач. Страстный любитель своего дела, он и до сих пор пописывал в адреса самых разных инстанций и разных начальников, а также жен, детей и родителей начальников.

Конечно, далеко не все, но некоторые Венькины письма пересылались затем Парамонову для сведения и ответов, поскольку они касались и его тоже. Парамонов отвечал сначала исправно, потом кое-как, потом никак. И то сказать: времена меняются. А теперь, при встрече с Голубковым, у него возник вопрос: нет ли связи какой-нибудь между Голубковым и Гусиновым?

А вдруг? Небезынтересно же?! И он продолжил с Голубковым разговор, но вскоре решил, что связи нет, и ему стало скучно, скучнее, чем Голубкову. «Чем бы этот разговор закончить?» — думал Парамонов и начал внимательно слушать очередного выступающего, как вдруг Голубков спросил:

— А какого вы мнения, Павел Петрович, о клубе КОМ? Какая лично у вас позиция?

— Что за клуб? — удивился Парамонов.

— А это я просто так...— неопределенно ответил Голубков.— Но если уж вам действительно очень любопытно, так я подскажу: послезавтра в одиннадцать ноль-ноль учредители КОМ проводят свою первую пресс-конференцию: двадцатиминутный доклад и вопросы-ответы. Все это — в соответствии с гласностью. Приедете?

— Пожалуй...

— Следует, следует... Каждый из нас в чем-нибудь да запутался, а в КОМ позиция ясная, дело ясное, там люди — стеклышки. Вот и посмотрите и послушайте. А то ведь как? Я стороной слышу: тут Парамонов напутал, там запутался. А мне ведь небезразлично, речь идет об учителе...

— Вы о чем? В чем я запутался?

— Так я вам и поверил, будто ни в чем! Это вы молодым поднимались, бывало, на кафедру и крыли, и крыли лекции без сучка, без задоринки, все цифры, все формулы — на память, без никакой бумажки. Но и то сказать — Хозяин был жив, вносил во все на свете ясность и понимание. Все в жизни было ясно — что так, что не так, вот это была жизнь! А сейчас? А сегодня? Сегодня послушал бы я вас да и понакидал бы вам вопросиков. Сегодня это самое легкое, а отчасти и почетное дело — вопросики. Модно. Но надо бы, прежде чем топтать Хозяина и память о нем, организовать другую ясность, ввести другой кодекс, подготовить умы к восприятию перемен, а тогда уж и делать перемены. Однако все сделано наоборот.

Голубков встал и, как бы прощаясь, еще сказал:

— Надо, надо и вам, учитель, глотнуть свежего воздуха!

А Парамонов, продолжая заседать на дальнем конце длинного-предлинного стола, задумался. Тревожно задумался.

Вот хотя бы физика...

В физике будто бы открыли такие микрочастицы, у которых один конец есть, а другого нет. Нет, и только — что тут станешь делать?! В представлении Парамонова элементарная частица явилась в виде какой-то кометы... И вот уже будто бы несколько физиков пустили себе пули в лоб, не видя для себя никакого будущего. Вот бедняги, а? Не сумели перестроиться. Ну ладно, будущее, оно и всегда-то отличается неизвестностью, но ведь и прошлое чем дальше, тем становится все неизвестнее и неизвестнее. Еще говорят, будто бы Земля вовсе не из туманности образовалась, а произошла за 3,5 секунды из взрыва частицы размером с булавочную головку, того меньше, которая обладала плотностью, равной бесконечности...

Говорят также, будто апостол Павел имел в виду наше время, когда восстал против десяти вроде бы заповедей: зачем, утверждал он, десять ли, сто ли заповедей, когда у мира есть свои законы, их и надобно соблюдать, а не навязывать ему еще какие-то заповеди. Ведь все искусственно навязанное, все лишнее в жизни приводит жизнь к гибели.

Говорят, что человек — явление природы в принципе лишнее, поэтому он так глуп, так опрометчив по отношению ко всей жизни, поэтому он и осознает себя только в своих потребностях, и ни в чем другом.

Тут время действия переносится на 11 часов дня 05 минут ...того числа апреля месяца 1988 года.

Место действия — Москва, центр.

Однако если кто-то подумает, будто П. П. Парамонов в 11 часов 05 минут был на пресс-конференции КОМ,— это не так.

Не был там Парамонов, не был: почти на этот же час, на одиннадцать тридцать, его вызвал к себе начальник такого ранга, что не прийти к нему или хотя бы опоздать минут на пятнадцать было немыслимо.

Встреча с начальством по всесторонним соображениям Парамонова прошла со знаком плюс, но это его не радовало, очень хотелось ему побывать на пресс-конференции, «глотнуть свежего воздуха».

И что же? И через два дня вечером зазвонил дома телефон, и мужской голос, как будто бы знакомый, но как будто бы и нет, спросил:

— Как себя чувствуешь-то, Павел Петрович?

— Ничего. Кто говорит?

— Не узнаешь, учитель?

Это Голубков почему-то перешел с Парамоновым на «ты».

Объясняя Голубкову, как случилось, что он не смог быть на пресс-конференции, Парамонов все время перебивал себя одними и теми же словами. «Уж так жалко, так жалко!» — повторял он, и действительно, ему в этот момент кого-то было жалко — хоть плачь. Правда, он не знал — кого он жалеет.

А Голубков вдруг сказал:

— Не горюй, учитель, завтра я пришлю тебе полную стенограмму пресс-конференции с докладом, с вопросами-ответами.

И действительно, на другой день Парамонов получил с курьером большой синий конверт, а в конверте была стенограмма на двадцати двух страницах с большими пропусками.

Прежде чем читать по порядку, Парамонов заглянул вперед, пофантазировал и представил себе обстановку пресс-конференции: небольшой, уютно затемненный зал, в зале — корреспонденты (немного), а на сцене — узкий стол, за столом — семеро членов-учредителей, восьмой, с края стола,— начальник пресс-центра КОМ, высокий ладный парень в темно-синем костюме прекрасного покроя, но с очень узкими плечами...

Почему-то именно так, неизвестно почему, представилась картина Парамонову.

А слева от стола — трибуна. Как и все трибуны в мире, в отсутствие оратора она не только пуста — она зияет пустотой и манит к себе... Вот сейчас узкоплечий начальник пресс-центра Поливанов К. К. надежно займет ее и поведет, и поведет конференцию — от начала до конца единолично, как бы даже пренебрегая присутствием членов-учредителей. Ну разве только когда начнутся вопросы-ответы, он будет обращаться то к одному, то к другому из них. Обращения будут фамильярны, но обязательно по имени-отчеству:

«Может быть, на этот вопрос ответит Николай Васильевич?»

«Может быть, дополнит Василий Иванович?»

«Может быть, подскажет Иван Петрович?»

«Может быть, ... Петр Федорович?»

Представив себе все это отчетливо, словно на экране, Парамонов углубился в чтение стенограммы.

И вот что он прочитал.

СТЕНОГРАММА
пресс-конференции КОМ

...апреля 1988 г.

Начата: 11 час. 05 мин.

Окончена: 12 час. 14 мин.

Нач-к пресс-центра КОМ тов. Поливанов К. К. зачитывает вступительное слово — доклад.

Вступительное слово и доклад прилагаются (см. приложение № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.

Дорогие товарищи!

Члены-учредители КОМ от души приветствуют вас!

Подчеркиваю — от души!

В этом скромном зале собралось не так уж много представителей прессы, но в абсолютном большинстве это представители глубокоуважаемых нами органов печати и только в абсолютном меньшинстве — уважаемых неглубоко.

В то же время ваша немногочисленность в принципе никого не волнует, так как из теории известно, что лучше меньше, да лучше. Конечно, вы понимаете — теория не совпадает с практикой, в результате чего члены КОМ долгие годы руководствовались принципом в видоизмененном виде, а именно: лучше больше, чем меньше, или: чем больше, тем лучше. Это потому, что со времен появления на Земле практики она не укладывается в прокрустово ложе теории. Вот и социализм все еще не определился с практической стороны. Идеологические его качества — это сколько угодно, и все — как на ладони: высокая идейность, доблестный труд, любовь к Родине и партии, равенство всех граждан без различия пола, национальной принадлежности и вероисповедания и еще, и еще без конца. Но вот в практике социализма, прямо нужно сказать, у нас все еще много недоделок. Спрашивается — как же в таких условиях стать настоящим социалистом именно на практике? Кто будет реальным образцом? Да тот и будет, наверное, кто займет самое высокое служебное положение — другого решения вопроса пока что не найдено, а перспективы слабоваты. Известно всем, что самым показательным представителем социализма долгое время был Иосиф Виссарионович, но только до тех пор, пока не умер. Тогда его место быстренько занял Никита Сергеевич. Никиту Сергеевича сменил на ответственном посту Лео-

нид Ильич, Леонида Ильича — Юрий Владимирович, Юрия Владимировича... простите, имя забылось, но твердо помнится, что Устинович. В настоящее время руководство не объявляет себя самыми лучшими людьми, а что же делать всем остальным? На кого остальным равняться? На кого равнять многонациональный советский народ? Требуется ответ, но ответа нет. Ничего тут не скажешь, кроме того, что скажет сама история. Но история только тогда и открывает рот, когда караван прошел. Пока караван идет, пока собаки лают, история не только нема, но и глуха. Пыль за караваном улеглась, собаки успокоились, вот тогда она начинает что-то произносить и сама полаивать. А исторические плоды уже созрели, налились румянцем неизвестного колера и неизвестно с чем их есть и можно ли есть вообще — съедобны они или ядовиты? Для истории, во-первых, нужен Хозяин, а для Хозяина, во-вторых, нужны миллиардеры. Нет миллиардеров — нет Хозяина, нет истории, а есть только смутное время.

Итак, вывод: История — это Хозяин и его миллиардеры. Является ли миллиардер частным лицом или он личность казенная и в руках у него миллиард социалистический — не в этом проблема. Разница, конечно, есть, но и сходства, сколько ни перестраивайся, тоже вполне достаточно.

Социалистический миллиард во многих отношениях даже выигрывает против капиталистического, так как в случае убытков — а эти случаи, как показывает практика, почти что неизбежны и законно неизбежны,— в случае убытков теряет общество, а соцмиллиардер имярек не теряет ровным счетом ничего, даже ореол выдающегося социалистического деятеля сохраняется вокруг него и даже становится гуще.

Таково незыблемое положение соцмиллиардера, и незыблемость его тем надежнее, чем выше его прозатратность. Тот, кто добывает миллиарды в государственную кассу, подвержен риску и серьезным хлопотам, тот, кто миллиарды тратит и отчитывается по графе «освоение средств», тот на коне: убытков у него нет, престиж — есть. Тот, кто много тратит, сам чего-то стоит.

Повторяю: именно в прозатратной системе соцмиллиард теряет тяжкие дивидендные оковы, обретает же духовную легкость и внебухгалтерскую свободу.

Конечно, свобода никогда не дается легко, поэтому и соцмиллиард со всех сторон обвешан всякого рода обязательствами, указаниями, направлениями, решениями, резолюциями, выписками из протоколов, авизовками — да мало еще чем, сразу и не вспомнишь, но все это лишь формально, по существу же этот миллиард свободен как птица, потому что он и сам не знает, во что он обратится — в прибыль или в убыток, у него на этот счет забот и правил поведения нет. Он отпущен государством на развитие отрасли, значит, он в руках руководителя этой отрасли, а тот скорее построит золотой сортир, закопает миллиард в какой-нибудь никому не нужный и даже вредный канал, чем уступит тому, кто к примеру, производит лекарства для тяжелобольных или печатает учебники для детей-малышек.

Вот так: призванные копать да копают! Глубже всех и дальше всех! И в том непревзойденном строго плановом порядке, которому даже полнейшей беспорядок на строительных трассах совершенно нипочем. И как бы даже к лицу.

Конечно, найдутся горячие головы, они скажут: «Так это же сумасшествие?!»

Горячим головам надо ответить так:

«Сумасшествием имеет право называться только то, что происходит в первый раз. Все, что повторяется многократно,— это образ жизни!»

Горячие головы дальше:

«Прозатратная, то есть внеэкономическая система хозяйства,— это не что иное, как принципиальная бесхозяйственность!»

Мы — горячим головам:

«Не мешайте строить (социализм)!»

Кроме того, слишком горячим головам мы задаем вопрос: «От чьего имени говорите?»

И если они скажут: «От имени народа», мы засмеемся: «Или у вас на руках выписка из протокола всенародного собрания? Вот мы — дело другое, мы любую стройку можем объявить и ударной, и комсомольской, и народной. А вы что можете?»

Если же горячие головы начнут кричать: «А правительство?! А государство?» На этот случай существует убийственный довод: «У нас — согласовано!» И действительно, наиглавнейшее дело прозатратного миллиардера — согласовывать, согласовывать и согласовы-

вать. Миллиарды рублей, ордена и почетные звания, персональные пенсии и автомашины, производственные планы и мощности, бюджеты и штаты, открытие новых и новых отраслевых НИИ и составление ТЭО на проекты века — все должно быть согласовано до последнего винтика, до последнего микрона. И тогда совершенно бессмысленными становятся всякого рода ревизии и экспертизы, инициативы и рационализации, жалобы и предложения. К чему они, если имело место согласование? Если оно предвидится в ближайшем будущем? Если какая-то экспертиза нагло врывается в согласование ТЭО — на это надо с презрением наплевать: экспертиза будет биться год, а удачное пересогласование займет три часа. Однажды согласованное да не сдаст своих позиций! Никогда и во веки веков! Великое слово — «согласование», гордый и непоколебимый монумент прозатратности!

И так из года в год и по нарастающей кривой. Ведь нарастающая кривая — это первейший показатель процветания государства, народа и отрасли. Да-да — великих деятелей согласования, великих мастеров отчетности по графе «освоение средств» вырастила система прозатратности. Но вот уже в наше время случилось историческое — именно историческое! — недоразумение: многие соцмиллиардеры оказались обиженными — от них беспардонно требуют так называемой экономической эффективности!

Товарищи! Обиженные до глубины души соцмиллиардеры — этому нельзя, ни в коем случае нельзя поверить, и все-таки это так, потому что факты — упрямая вещь. И это в то время, когда всем известно, что весьма немногочисленная нация миллиардеров, независимо от того, в какой части земного шара они проживают,— это не только весьма престижная, но еще и очень обидчивая нация.

Всякий престиж обидчив, иначе какой же это престиж?! У наших родных, советских, показательно-прозатратных миллиардеров это чувство особенно обострено. Мы уже говорили: кто умеет тратить и тратит — тот сам чего-то стоит! Тот сам знает себе цену и никогда и никому не захочет в этой цене уступить. Вы же видите: на столе, за которым находятся члены-учредители КОМ, против каждого из них нет, как это принято, дощечек с фамилиями, а также с инициалами. Видите: их нет, фамилий.

Вместо этого на дощечках слева направо значатся цифры: десять и пять десятых, восемь ровно, шесть и две десятых, шесть ровно, пять и восемь десятых и так далее. Видите — есть такие дощечки? А цифры на них — это годовые бюджеты в миллиардах рублей, которыми располагает каждый из членов-учредителей КОМ. Теперь представьте себе — как может уступить в собственной цене каждый из учредителей?

В конце концов обида — это, если хотите, святая и универсальная обязанность миллиардера в духовном, моральном, материальном и любом другом смысле.

В конце концов как это можно объяснить, если миллиардер, разворачивая утром газету, прежде всего пробегает полосу по диагонали: «Нет ли тут меня?» И что вы думаете? Он то и дело там действительно есть — причем под самыми оскорбительными заголовками: то это «Два миллиарда на ветер?», то еще что-нибудь в том же духе. И не слишком ли много развелось у нас безответственных ветров?

Или вот облисполком предъявляет одному из наших глубокоуважаемых членов-учредителей иск на четыре миллиарда рублей! Глупость же: откуда советский миллиардер возьмет наличность? Ограбьте кассы всех московских магазинов — и то не наберется такой суммы! Ну, может быть, лет через десять — пятнадцать, когда мы не будем испытывать ни малейшего товарного голода, но и тогда вряд ли, надежды мало... Но истец, не внимая голосу разума, намеревается опубликовать свой иск в газете. Спрашивается — в какой? В той самой, которая публиковала когда-то отрывки из таких произведений, как «Целина» и т. д.?! Или очередной щелкопер пишет о том, что целый народ сжит со света, потому что погублены его исконные земли. А если вникнуть: разве это дело щелкопера — разбираться, кто сжит со света, кто еще не сжит? Без него разберутся кому надо.

Нет уж, нет — ты, щелкопер, сначала соответствуй нашим требованиям к тебе, если надо — пройди проверочку, докажи нам, что ты достоин того, чтобы нас критиковать, а тогда и рассуждай, вводи в экономику такие понятия, как «себестоимость продукции», но — не наоборот. Наоборот — не получится, не допустим! Будем бороться любыми средствами. Любых — много.

И вообще, это надо внимательно посмотреть — зачем и кому срочно понадобилось показывать Западу

(а иногда еще и Востоку) наш голый зад? Это что же — опять себестоимость? Только-только научились безупречно показывать перед, и вот на тебе — все идет прахом! Годы учения, годы величайших согласований и достижений социализма — они уже не в счет? Голоса обиженных прозатрат-миллиардеров — не в счет? Тогда, дорогие товарищи, стройте социализм из критических статей в «Московских новостях», «Литгазете», «Новом мире», а мы желаем вам удачи, мы посмотрим, что из этого получится! Стройте, стройте! Разоблачайте Хозяина, это ваше дело, причем — единственное, другого пока что не видно. Вот разные капитализмы, а вот система Хозяина, посмотрим, что вы предложите третье, какой-такой капсоциализм, соцкапитализм?!

Дорогие товарищи! Мы понимаем, что наш доклад слишком затянулся, хотя мы и не вышли из двадцатиминутного лимита, поэтому мы переходим к заключению, ради которого мы и собрали вас в этом скромном зале.

Итак: мы создаем, уже создали неформальное общество под названием «Клуб обиженных миллиардеров». Три прописные буквы — «К», «О», «М» тем самым приобрели новый и глубокий смысл. И еще приобретут.

Если уж в настоящее время неформалы формируются чуть ли не на улицах, причем из лиц неизвестного происхождения и с сомнительными профессиональными навыками,— кто же может воспрепятствовать регистрации нашего клуба?

На этом мы и хотели бы закончить свой доклад, но прежде считаем приятным долгом поблагодарить некоторых талантливейших писателей, лауреатов премий КОМ, которые, любезно пойдя нам навстречу, отредактировали вышепрочитанный текст, придав ему ту непосредственность и как бы даже разговорный стиль, которые все присутствующие, конечно, не могли не заметить и не оценить по достоинству.

Еще раз от души благодарим за внимание.

Перерыва не будет: мы еще слишком мало поработали.

Просим задавать нам любые вопросы невзирая на личности.

Далее следовало:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. Вопросы и ответы (в продолжение стенограммы).

Тов. Поливанов К. К. Итак, товарищи, мы очень просим вас ни в коем случае не стесняться. Кто первый?! Повторяю: итак, кто из вас не стесняется и кто первый?

Вопрос. Выработан ли устав КОМ?

Ответ. Вырабатывается. Усиленными темпами.

Пауза.

Поливанов. Веселее, товарищи, веселее!

Вопрос. Есть ли в вашем клубе почетные члены?

Ответ. Без почетных членов клубов не бывает.

Вопрос. Кто же у вас — самые почетные?

Ответ. О мертвых плохо не говорят.

Пауза.

Поливанов. Веселее, товарищи, веселее!

Вопрос. Можно подумать, что вашим почетным членом является писатель Эн. Так ли это?

Ответ. Мы бы хотели, чтобы это имя неизменно сопровождалось такими эпитетами, как «великий писатель всех времен и народов». Не мы эпитеты придумали, мы обязаны этим Союзу писателей и его печатным и почетным органам. Не будем же обижать Союз писателей и его органы, как московские, так и те, которые процветают под Звездами Востока.

Вопрос. Как вы относитесь к факту создания частнособственнических тюрем на территории, подведомственной великому писателю?

Ответ. Нежелательное явление.

Вопрос. Как вы оцениваете процесс разоблачения всей деятельности великого писателя? Востока и не только Востока?

Ответ. Нежелательное явление.

Вопрос. Нельзя ли подробнее?

Ответ. Можно. Можно, поскольку в результате деятельности великого писателя имел место такой факт, как удвоение сбора хлопчатника. Другой факт. Всем печально известно, что потребление мяса, молока, обуви и текстиля на душу населения у нас оказалось ниже, чем в Западной Европе и Северной Америке. Необходимо было отставание чем-то перекрыть. Великий писатель поставил перед собой задачу и выполнил ее: он открыл строительство грандиозных каналов, которое распространилось — и распространяется до сих пор — даже к верхнему течению северных рек, таких, как Сухона, Печора, Обь, Иртыш и др., и теперь по количеству кубометров переработанного грунта на душу

населения мы вышли на самое первое место в мире.

Вопрос. Но когда кто-то ворочает миллионы кубометров грунта — плачут народные денежки. Плачут горькими слезами.

Ответ. Слезы для истории дело второстепенное. Зато кто ворочает, тот и ест и входит в историю с хорошим аппетитом.

Вопрос. Вы не находите, что еще и с огромными долгами?

Ответ. А нефть и газ? Они зачем? Лес зачем?

Пауза.

Поливанов. Веселее, товарищи, веселее!

Вопрос. Не слишком ли много имеется фактов вырубки городских парков?

Ответ. А кто видел факты своими глазами? Парки, прежде чем их вырубить, ограждаются заборами. Кто видит сквозь заборы?

Вопрос. Люди перелезают через заборы и видят.

Ответ. Не перелезут: там гуляют собачки. Специального назначения.

Вопрос. Перелезают и фотографируют.

Ответ. Не фотографируют: фотоаппараты при участии собачек отнимают, а пленку засвечивают.

Пауза.

Поливанов. Веселее, товарищи, веселее. Кто следующий?

Вопрос. Как члены КОМ смотрят на современную роль кооперации?

Ответ. Кооперация, вне всяких сомнений, дело необходимое — это отмечено в правительственных документах. В свете этого нужно, во-первых, как можно скорее создать министерство по координированию и контролю над кооперацией. Еще до создания такого министерства нужно, во-вторых, объявить бескомпромиссную борьбу с нетрудовыми доходами кооператоров. Есть опасность, что государственные товарные фонды уйдут в систему кооперации. И с этим тоже, в-третьих, нужно бороться. Есть опасность, что кооперативы могут отвлечь наиболее квалифицированных работников государственных предприятий и учреждений. И с этим, в-четвертых, надо бороться. Одним словом, товарищи, впереди нас ждет борьба, борьба и борьба!

Вопрос. Кого из представителей общественности вы считаете лидерами демократического движения?

Ответ. Никого не считаем.

Вопрос. Почему?

Ответ. Трусоватый народ. Стоило в одной газете появиться одной статейке, как они принялись сушить сухари. Стоило другой статейке появиться, как спустя несколько дней демократы били себя в грудь: «Мы предотвратили путч! Предотвратили переворот! Предотвратили конец света!» И понятно: демократам всегда очень хочется быть общепризнанными и большими героями. Никто из них не хочет быть маленьким героем, полагая, что демократия — верный путь к большому геройству.

Вопрос. Как члены КОМ рассматривают вопрос о правах советских граждан?

Ответ. Сначала нужно провести во всех подразделениях большую и серьезную разъяснительную работу, своего рода юридический всеобуч, чтобы каждый советский гражданин осознал, что у него такие права, которых нет ни у кого в мире. После этого дело установления правопорядка, без сомнения, пойдет вперед семимильными шагами.

Вопрос. Как вы смотрите на необходимость сокращения аппарата министерств и ведомств?

Ответ. В этом вопросе очень многие заблуждаются, полагая, что он возник сегодня. Ничего подобного! В действительности он со всей остротой ставился еще и сорок, и семьдесят, и много-много лет раньше. И если мы и сегодня все еще пренебрегаем опытом прошлого — это недопустимая ошибка. Которая может стоить очень дорого.

Вопрос. Как вы смотрите на новые явления нашей общественной жизни? Какие видите здесь препятствия?

Ответ. Самое большое бедствие нашего общества — это общественность. Она суется везде и всюду, это действительно бедствие, и с ним надо бороться любыми средствами. Самое радикальное средство — наплевать и растереть.

Вопрос. Какое направление общественной мысли представляется для вашего клуба самым важным?

Ответ. Наш клуб особенно заинтересован, чтобы общественное мнение до конца разобралось в том, какую роль продолжал играть Троцкий, будучи в ссылке.

Пауза.

Поливанов. Веселее, товарищи! А вообще-то, товарищи, если бы ваши отчеты о нашей пресс-конфе-

ренции предварительно и хотя бы в какой-то мере... чтобы они не были односторонними и куцыми... Мы могли бы вам помочь в нашем пресс-центре. По-товарищески. Конечно, наша печать все еще недостаточно активна, перестройка и гласность еще не достигли подлинных высот, вот мы и могли бы вам помочь.

Пауза.

Товарищи! Похоже на то, что вопросов с вашей стороны больше не будет, очень похоже. В таком случае считаю нашу пресс-конференцию законченной. Считаю, что в общем и целом мы неплохо поработали. Итак, до следующей встречи.

* * *

Дочитав последнюю страницу стенограммы поздно вечером, уже в постели, Парамонов потушил свет и в темноте задумался.

«Вот жизнь, а?!» — думал он, чувствуя, что не уснет еще долго-долго.

Многие годы Парамонов видел окружающую его жизнь словно на испорченном экране телевизора, на котором если видно, так не слышно, а если слышно, то не видно. И ему приходилось по увиденному слышать, по услышанному видеть, угадывая, что́ же на самом-то деле происходит? Привычка у него выработалась к таким догадкам, привычка, инстинкт и немалое умение.

Но вот ТВ включено на полную катушку, сверкает и грохочет — и что же?

«Вот жизнь, а?!» — только и может подумать Парамонов.

Плюс ко всему надо же и спать ложиться вовремя, не только газеты читать, не только смотреть ТВ «После полуночи» и «120 минут» и, значит, что? Значит, спать надо ложиться вовремя. Без новостей текущей жизни ты какой-никакой, а человек, и даже мало-мальский гражданин, а без сна ты кто? Это во время войны и солдаты, и офицеры не спали месяцами, так ведь нынче все-таки не война...

Потом Парамонов представил себя уверенным, молодым и лихим лектором на кафедре — давно это было, а по какой-такой причине было-то? Причину Парамонов не мог вспомнить и грустно вздохнул: теперь не то — он учительствует только один раз в неделю, он — почасовик, читает лекции в вузе. Неплохо читает, но почему-то без энтузиазма.

Ему снова представилось, что между его учеником Голубковым и соучеником Гусиновым существует неведомая связь, какая-то детективная история.

Всего часа три тому назад Голубков снова звонил и на «ты» спрашивал, получил ли он стенограмму пресс-конференции КОМ, прочитал ее или нет?

— Вы что — разыгрываете меня? — рассердился Парамонов, называя, однако, своего ученика на «вы», потому что для него переход с «вы» на «ты» всегда был серьезным событием. Ученик же без стеснения «тыкал» учителя, он в ответ рассмеялся ничего не значащим смехом:

— Ну ладно, учитель! Не горюй!

Но Парамонов горевал.

И думал и так, и этак.

Так он думал: ведь Голубков приглашал его на пресс-конференцию КОМ в одиннадцать часов ...того числа, еще не зная, что Парамонов не сможет приехать, а это значит, конференция и в самом деле могла быть, а если была невероятная конференция, почему бы не быть и невероятной стенограмме?

Этак он думал: Голубков мог заранее знать, что на тот же час Парамонов будет приглашен высоким начальством и на конференции быть не сможет, и всю эту конференцию выдумать, а потом и сочинить стенограмму?!

«Вот жизнь, а? — думал Парамонов.— Вот детектив так детектив! Вот так треугольник: Парамонов — Голубков — Гусинов или еще кто-нибудь вместо Гусинова?»

Начальство, которое вызвало в роковой час Парамонова, имело в виду резко повысить его в должности. Но Парамонов тихонечко так и лояльно устранился: на высокой должности он предвидел массу неприятностей и сложностей. Большие затруднения, конечно, тоже будут, но не они сейчас пугали, а какие-то мелочи. Думал он, например, о том, что заведется вдруг в его ближайшем окружении какая-нибудь бабенка, мнящая себя и умницей, красавицей, хотя в действительности смотреть не на что — тьфу! — она начнет и начнет бегать из комнаты в комнату, обсуждать каждый шаг Парамонова, что он сделал более или менее так и что совершенно не так, и сплетни начнет собирать со всего белого света, и сама на весь белый свет зловредно кудахтать по поводу парамоновской личности — что тог-

да? Конечно, нужно незамедлительно уволить, но ведь опять же нельзя!

Трудовое законодательство не позволяет, нельзя! Жди, покуда бабушка надвое скажет: то ли ее уволить, то ли премировать? Даже замечания красотке не сделаешь, а сделаешь — она закатит истерику, света белого не увидишь.

Еще объявится у тебя какой-нибудь сотрудничек, который только и будет делать, что влипать в странные истории — то с профсоюзными деньгами, то с выступлениями на районном партактиве, то в поездке в города Владимир и Суздаль на экскурсию... Парень, положим, будет неплохой, хороший парень, но почему ему так будет везти на истории? Ему везет, а ты его из его историй выручай — пиши «на имя» и звони в такие организации, о существовании которых ты никогда и не подозревал.

И еще многое другое будет иметь место у Парамонова в коллективе, если он станет большим начальником, и только потому, что все происходящее Парамонов принимает за чистую монету и очень близко к сердцу.

А знал бы этот же коллектив, что все события такого рода Парамонову как об стенку горох, и все — и не было бы событий, и приезжал бы Парамонов в свой рабочий кабинет на своей персональной машине часа на два, на три в день, все остальное время занимался бы согласованиями в верхах, и тогда порядок: «Вот у нас начальник, одно слово — «начальник!». Но самое главное не это, самое главное в другом... Счастлив тот начальник, который никогда не слагает в сумму все свои невыполненные обязанности, все свои ошибки. Он их не слагает, а каждая по отдельности они безмолвны и лишь от случая к случаю заявляют о себе, мстят за себя. У Парамонова же распроклятый характер, иудино правило — он, словно скупой рыцарь, собирает в тайниках души своей все свои ошибки. Все невыполненные обязанности в этих тайниках чувствуют себя на пожизненном содержании, а разве это можно? В наше-то время? Это же сумасшествие, такая сумма, это самоубийство!

Нет и нет, какой уж Парамонов начальник! Признаться, больше всего на свете он удивлен тем, что он, несмотря ни на что, все-таки начальник, присутствует на межведомственных совещаниях, на заседа-

ниях коллегий и во-о-н куда вхож, на какие этажи — удивительно! Ему то и дело кажется, что присутствует — не он, на этажи поднимается — не он, а то, что это он,— этого не может быть.

Чему верить? А чему нет? Кому верить? Кому нет?

Нет, умирать Парамонову не хотелось, время что-то обещало, вот и хотелось пожить, но умереть ему хотелось бы без смятения души. Именно поэтому нынче он и был в смятении: не получится ведь у него с приятной смертью?!

Ох, уж эти бессонные ночи...

Но проходят даже и они, бессонные, и утром, уже при свете, Парамонов одной рукой стал искать стенограмму. Одной не нашел, стал шарить двумя, не нашел снова.

— Тася! — позвал он жену тревожным голосом, словно побоявшись, что и жена тоже потерялась.— Тася, а ты где?

Вошла жена в помятом халатике, с удивлением спросила:

— Ты что это, перестройщик, не спишь-то? Сегодня же суббота!

— Ну и что же, что суббота, а где стенограмма? Она вот тут лежала. Я ее вот сюда положил. На пуфик.

— Значит, не положил, раз ее здесь нет. На пуфике.

— Может быть,— предположил Парамонов,— может быть, Павлушка утром, до школы, забегал в мою комнату да и утащил стенограмму?

Предположение столь маловероятное, почти невероятное, что Парамонов и сам удивился, но Тася, жена, не удивилась нисколько. Она согласилась:

— Может быть, и утащил... Почему бы не утащить? Родители-то с ним не справляются, а уж дед с бабкой и подавно. Он не спросит, он стащит. Ты подожди, когда он вернется из школы.

«Боже мой,— подумал Парамонов,— это сколько же часов еще мучиться, ждать сорванца Павлушку? Часов пять, а то и шесть... Вот жизнь, а?»

Он снова задремал, а во сне кто-то подсунул ему пять предметов «во спасение».

— Во спасение? — удивился Парамонов, не зная, правда, перед кем он удивляется, кто подсунул ему эти пять предметов. У него даже мелькнула мысль, что Венька Гусинов это сделал.

— А ты думал! — ответил ему немой голос.— Неужели не подходят?

Четырьмя из пяти этих предметов были ржавые гвозди порядочных размеров. А пятый? Пятым — это представить невозможно! — оказался деревянный крест.

— Не подходит! — со всей решительностью отверг предложение Парамонов.— Нет и нет!

— Почему?

— Очень примитивно. На фоне последней четверти двадцатого века — очень!

— Ну мошенник этот Парамонов, ну мошенник! Кто бы мог подумать?! Средство ему предлагается исторически испытанное, оправданное, а он, видите ли, не хочет? Как так?..

— Новенькое что-нибудь надо придумать, вот как! Нельзя же новые проблемы решать старыми методами,— возразил неизвестно кому Парамонов.

— Да откуда ты взял, что проблемы — новые? Они стары, как мир.

— Крест великоват. У меня ж средний рост. Средний для мужского населения нашего государства. А может быть, и для всей планеты тоже средний. А предмет явно рассчитан на акселерата.

— Это дело маленькое: отпилим. Сию секунду!

И вроде бы уже и пила запилила по дереву, так послышалось Парамонову, но тут он проснулся. И подумал: «Надо же, до чего додумался, а? Нет уж, наяву все-таки лучше, по крайней мере реалистичнее». А в реализме Парамонов всегда чувствовал себя увереннее, чем в чем-нибудь другом. Хотя на этот раз реализм опять-таки выразился в недоумении. «Вот жизнь, а? — подумал Парамонов.— Не столько документальная, сколько фантастическая! И правда ли, нет, что Земной шар произошел в результате взрыва частицы материи величиной с булавочную головку?»

1989

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Рассказ в письмах

Дорогая моя Людочка!

Хотя я и нахожусь в столице республики, но, скажу тебе, это дыра дырой, ничего тут нет ни в магазинах, ни в министерствах, ни вообще. Один только национальный вопрос, больше ничего.

Влага, правда, есть, и закусон у руководящих тоже нашелся бы, и на рыбалку, как и в прежние времена, все еще приглашают, между прочим, и охотничьи заповедники сохраняют, но... другие настали времена, и наколоться легче легкого. Какая уж это охота, когда будешь чувствовать себя не то браконьером, не то еще кем-то.

Ну, все это, как ты понимаешь, лирика.

А если к делу, то я все еще не могу себе представить, что Бухт. меня обойдет и займет место, которое по праву принадлежит мне и только мне! Обойдет — я не переживу. Инфаркт — и говорить нечего, это само собой. О других последствиях тоже нечего говорить. Поэтому нам с тобой нужно использовать все свои возможности. На 100 %.

Был вчера у Вас. Ник. (конечно, помнишь?). На нем тоже лица нет, все его перспективы пойдут прахом, это ясно как день, да что от него зависит? Ничего, и даже встречаться с ним нет смысла, одно расстройство нервов. Полгода тому назад был человеком, а теперь — кто? Кругом одно сумасшествие.

Помощник сказал мне, что на В. Ник. в Москве, в какой-то редакции (не сказал, в какой) лежит материал от здешнего собственного корреспондента. Обнаглели собственные дальше некуда! Вас. Ник. звонит в редакцию, а с нашим братом знаешь как нынче в редакци-

ях разговаривают? В Верховном Совете и то легче. Я сказал помощнику: «Я попробую!», а когда уже ехал в машине в резиденцию, подумал: а как же это я попробую-то? Помочь надо человеку. Он-то нам с тобой как в свое время помог? А я, как свинья, нынче для него ни-ни. Хотя он, похоже, сыграл в ящик окончательно, а все-таки — вдруг? Ведь если он не сыграет, его письмо в мою поддержку тоже что-то значит? Так вот — нельзя ли через Клару? Так что позвони Кларе. Она все может в любой редакции, и, может быть, чего-нибудь и сделает. А мы чем дальше, тем больше встаем на капиталистический путь, управы никакой, ничего позитивного. В. Н.— это же высококачественный мужик, преданный, а мы такими разбрасываемся направо и налево.

Но самое главное, я с минуты на минуту жду Н. Н., он в командировке, и недалеко, но не возвращается. Бухт., конечно, жук, да еще какой — больше десяти лет здесь проработал, а уехал в Москву и следы за собой замел будь здоров, комар носу не подточит. Никто из местных о нем не отзывается, будто все у него было о'кей и еще раз о'кей!

Но я свое докажу. Вернется Н. Н., сделает бумагу — она больше будет стоить, чем все наши с тобой хлопоты в целом, там, в Москве, на месте. Но не говори гоп, пока бумаги нет... Неприятно, но жизнь-то не из одних приятностей состоит. Если Бухт. меня обойдет, я, честное слово, не переживу.

Напиши, поступает ли Оля. Если затруднения — звони срочно, а я буду звонить отсюда.

Как-то наши маленькие — душа болит. Если бы внученькам было обеспечено светлое будущее! Но ручаться нельзя, устраивать будущее надо, вот и болит душа.

Если что такое узнаешь о Б-м — сообщи срочно.

Обнимаю.

Твой *Саша.*

Дорогой Сашенька!

Ты уж, пожалуйста, береги здоровье, не волнуйся, я тебе сообщала, что Бухт. был на приеме у П. К. полтора часа. Темы разговора не знаю, но постараюсь... Скрывать от тебя не стану — кошки скребут. Тем более, ну что он против тебя, этот Бухт., например? Мордой неизвестно в кого, а чем берет — представить не могу!

Если бы не нынешние времена — сидел бы в своей дыре, а то — повылезали всякие — стыд и срам! Зашла в поликлинику (с зубами), а там — ужас какой-то, кто повылазил из разных щелей в руководство? Куда мы с такими кадрами? Куда с такими наши дети и внуки? Ни принципов, ни навыков, ни вида. Какой там вид у Бухт.? Морда! Никто уже не считает, что кадры решают все, а ведь сколько раз в этом убеждаешься? Ей-богу, страшно подумать, что будет, когда окончательно наломаем с кадрами дров. Но ты береги себя, это главное. Мы без тебя — горькие сироты. Да, был у меня муж твоей Ганночки. Эстет, кажется; долго мне объяснял, что Ганя не виновата, что на тебя насплетничала, а виноват тот, кто тебе о сплетне передал. Я ему чуть не поверила,— представительный такой, с бородой и журналист. Он ушел, я подумала: «Сколько раз я тебе, Сашенька, говорила — не связывайся ты с Ганночкой, она — подлая, по очкастой роже видно. Говорила ведь? Но ты свою верную Милку почти что не слушаешь, на молоденькие глазки, что ли, польстился? Помочь захотел человеку, я знаю, ты — добрая душа, а результат? А этот эстет — надо же, какие они бывают? Я и не знала, тоже доверчивая душа. Уж очень мы с тобой оба доверчивые. Вот и страдаем. В наше время так нельзя, в наше время всяким проходимцам, вроде Бухт.,— почет и уважение. Я очень переживаю: когда же наконец вернется твой Н. Н.? И напишет ли он для тебя бумагу? Поди-ка и откажется, друг-товарищ? По гроб жизни тебе обязан, а доведись до дела... Сашенька, я что-то не совсем понимаю наши телефонные разговоры? Или ты стесняешься... По-моему, нынче уже никто ничего не стесняется, один только ты, голубчик мой».

Костик обнимает папку, внученьки тебя целуют, как проснутся, первый вопрос: «А где деда? Почему не приезжает?» Им ведь и не объяснишь, глупеньким.

Целую тебя крепко, и сообщай мне побольше, а то просто тоска. О волнениях и говорить не приходится.

Твоя *Людочка.*

Здравствуй, Милка!

Завтра приезжает Н. Н., но я уже с ним созвонился, он обещает. Если он напишет, как обещает,— это будет иметь сугубое значение. Не напишет — ей-богу, меня

уже здесь хватит инфаркт (но ты не беспокойся, очень тебя прошу). Я все-таки думаю, Н. Н. поддержит. Хотя в наше время все возможно. И нам с тобой все наши возможности надо использовать. На 100 %. И я считаю совершенно необходимым: через того самого эстета или еще кого-нибудь найти, но только П. К. надо обязательно передать, что Бухт.— сволочь, больше никто! Ну, конечно, надо поделикатнее выразиться, но чтобы суть дела была вполне ясной. Постарайся, моя милая, сделай.

Ну и что — если инфаркт? Помнишь Филатова — министра РСФСР? Он на третий день после инфаркта прямо из реанимации сбежал, а еще через день стал министром? И еще десять лет руководил. Вот, голубка моя, как должен себя вести настоящий мужчина — богатыри, не мы!

А здешние о Бухт.— будто он здесь и не руководил девять лет, никто ни слова, ни гугу — у всех рыло в пуху, все замешаны и как воды в рот набрали, одна надежда, повторяю, на Н. Н., неужели забудет, чем он мне обязан? Время такое: ни порядочности, ни памяти, ничего на свете. Уперлись в нацвопрос — бараны в новые ворота, вчера на площади был митинг, я как раз проезжал, и глаза бы не смотрели! Что через год будем жевать — никто не думает. Думают, гласность будут жевать. Тем более для нас с тобой нынче решающий момент. Пропустим — это навсегда. Последний шанс. Через год-два уже и возрастные претензии предъявят, всегда найдутся доброжелатели, а тогда — что? Омоложение аппарата им, видишь ли, нужно, так и сохраняли бы пенсионерам звания советников, консультантов, еще кого-нибудь, со всеми вытекающими — это было бы справедливо! А какая это справедливость, если служишь-служишь, подставляешься за них, все шишки и синяки — тебе, на ковер — тебя, амбразуру закрывать — тобой, ни днем, ни ночью покоя не знаешь, а наступил пенсионный возраст, тебе коленом... И это — человечность? Построишь с такими коммунизм, как же! Так что не забудь про эстета и помягче с ним. Мало ли какие слабости у людей, надо быть снисходительным. Вон когда-то Хозяин, уж на что был суров и непримирим к недостаткам, но ведь бывал и снисходительным?!

Ты меня извини, ты меня понимаешь — нервы. Другой бы на моем месте еще и не так, а я сдерживаюсь.

Вот что значит, хотя и немного, а все-таки прихватить настоящей школы кадров. Прихватил — и на всю жизнь. Это у нынешних никаких сдерживающих начал, одна болтовня. Бухт.— наглядный пример и настоящий авантюрист. И вот еще что выясни: отравляет или не отравляет город Куйбышев тот завод, который Б-й там утверждал? Если отравляет — сообщи срочно, можно по телефону. Нынче экология — приоритет бесспорный. Перспективное дело. Вот на что надо ориентироваться, дальше и еще больше она будет иметь значение. Очень скучно по дому, спасения нет. Как-то там у Костика на работе? Молодой еще, необстрелянный, привык за папиной-маминой спиной. Нет, не умеем мы воспитывать собственных детей, молодое поколение в целом. Жена попалась Костику хорошая, но малотребовательная. Уладим свое, тогда будет возможность заняться их делами. Но только воспитание невестки — это уже, извини, твое дело. Ты у меня всегда была опорой и, можно сказать, светочем, а Костику на кого опираться? В будущем — не на кого, а это — нехорошо. У нашей Маргаритки — языки, целых два, вот бы ей и подумать насчет загранки. У другой наверняка получилось бы, а у нее — вряд ли. Под лежачий камень вода не течет, значит, надо воспитывать.

Твой *Саша.*

P. S. Не горюй, Милка. Я уверен — наша возьмет. Не в первый раз. Мы с тобой — калачи тертые, дело знаем.

P. S. Н. Н. все еще «задерживается». Общаемся по телефону, он сбивается на нейтралитет. А на очный случай я имею сильное средство, никуда он у меня не денется.

P. S. Очная встреча — завтра. Попросил бы мою Милку меня благословить, да не успеешь ведь — почта медленно ходит, даже фельдъегерская, а телефон — это не то.

P. S. Другая на месте нашей Маргаритки давно бы была за рубежом и Костика прихватила бы, а мы бы уж здесь как-нибудь с внученьками.

P. S. Передай Вл. Сер.— пусть отошлет П-ва куда-нибудь в командировку на 10 дней. Ему в эти дни на месте делать нечего, может только повредить, если его спросят.

Милый мой Сашенька!

Вся Москва говорит, и я хочу тебе сказать: ты знаешь Задникова? Министра? Хотя бы фамилию слышал? Конечно, слышал, и вот его то ли не утвердили, то ли утвердили, но только как-то ненадежно, так что он, говорят, весь серый, руки трясутся, принародно набросился на одного журналиста: «Вы виноваты, распускаете слухи, что я это говорил, а я этого никогда не говорил! (Я лично не знаю точно — что он говорил или не говорил.) Все выдумываете!» Журналист сказал: «А почему бы и не выдумывать? Никто никогда не выдумает тех безобразий, которые вы реально сделали!» «Ах, значит, признаетесь, что вы выдумали!» Журналист: «А вы — баба, а не министр!» И пошло у них, и пошло — а это что же такое, до чего дошло?! А я все думаю, все переживаю: на нашем деле — как все это отразится? Не может быть, чтобы не отразилось? При такой ситуации — как сориентироваться?

Я уже совершенно дезориентирована, к тому же — одна, тебя рядышком нет, а я к этому не привыкла, к такому расстоянию между нами, в такой ответственный момент. И вот я уже не понимаю — что министр когда-то о тебе говорил, а что не говорил, и неужели опять будут снимать по одному слову? Если бы знать, можно было бы и действовать, а без понимания — одна растерянность! Шахтеры бастовали, а мы — куда? Мы к углю не имеем отношения, у нас с тобой — промышленность, но ведь и на нас это распространится, рабочие отнимут у министерства предприятия, а мы — куда? На производство — чернорабочими, так поздно уже. Детей — куда? Тоже на производство, а они — еще молоденькие, жизни не знают.

У нас один выход, над которым мы с тобой работаем, а если не сработаем? Вдруг у Бухт-го такие возможности, о которых мы с тобой, простые люди, и не подозреваем. Сейчас все рвутся выше, сверху если сколько-то и снизят — все равно проживешь, а снизят снизу — это уже в чернорабочие, дальше некуда. Жизнь — борьба, и мы с тобой боролись всю жизнь и кое-чего достигли, а тут настал час... Кто его только выдумал, этот час? Кто придумал честных и преданных людей называть командно-административной системой? Душа болит... Жили не бог весь как, но жили ведь, а что теперь? И подлец все-таки этот Бухт., без стыда, без совести, и локтями и ногами работает, отталкивает заслуженных

людей, хотя у самого — никаких заслуг. Такие нынче вперед и лезут, горлопаны. У них, видите ли, идеи... А дело-то у них есть или нет? Болит душа — куда государство идет? К полному развалу и к голодухе? Это точно — голодать нам с тобой, Бухт. нас толкнет в окончательную пропасть. И внученькам нашим — голодать! Вот она, проблема кадров! Какой кадровый вопрос! Как он нынче поставлен — кто бы мог подумать? Мы с тобой, Сашенька, милый, все пережили, но о таком и не думали. Вот и тараканы в нашем доме завелись, я борюсь — не помогает. Внученьки увидели — что это за такие невиданные звери бегают? Они — кусаются? Соседи жалуются, никто и не припомнит, чтобы в нашем доме и вдруг... К чему бы это? Тяжело жить, но жить надо, бороться надо, Бухт. одолеть надо. П-в, как ты и говорил, уезжает в командировку завтра.

P. S. Уже уехал сегодня.

Твоя любящая *Людочка.*

Дорогая Людочка!

Расхныкалась? На тебя не похоже. Никогда ты нос не вешала, а тут не только сама по себе, но и мне на нервы действуешь. Кстати, у невропатолога я не был уже с полгода, приеду, первое, что сделаю — пойду.

Н. Н. оказался трепачом, да еще каким. Пустобрех человечишка и трусливый, как заяц. Но у меня против него есть еще один ход, очень сильный, вряд ли он устоит. Я об этом ходе даже тебе не говорил. Приеду — скажу.

На работу звоню каждый день два-три раза. Полнейшая неразбериха. Меня беспокоит — никто не беспокоится, что меня нет. Уехал, и ладно, как будто так и надо. Может быть, Бухт. уже действует? Поторопи эстета, чтобы он не откладывал, объяснил, кому надо, доходчиво, что Бухт.— сволочь, свет таких не видел. Эстет этот со связями и пусть не придуривается, будто ничего не может. Многое он может, а долг платежом красен. Не могу больше писать, весь в напряжении!

P. S. Позвони Як. Григ., намекни: если я пройду на место, я его не забуду. Не забудь сделать.

Твой *Саша.*

Дорогой Сашенька!

Я тебе обо всем сказала по телефону. Ты сказал, чтобы я написала подробности. Бухт. назначен и утвержден — вот и все! Удар — сильнее и не придумаешь! Что будем делать? Как будем жить? Ты хоть послал Бухт. поздравительную телеграмму или до сих пор собираешься? С тебя хватит, ты у нас волынщик так волынщик! Ты подумай хорошенько: может быть, я в новой обстановке что-нибудь срочно должна сделать, позвонить или что?

Твоя *Людочка.*

Дорогая Людочка!

За кого ты меня считаешь, что я и телеграмму до сих пор не собрался послать? Сам послал и теперь от местных наших тоже организую. Н. Н. ходит гоголем: «Ну, говорит, кто из нас оказался дальновиднее?» А мне и крыть нечем. Предложил ему послать за двумя подписями — его и моей,— он только смеется: «Еще вчера послал в индивидуальном порядке! А ты,— спрашивает,— неужели — нет?» Ну, таким-то уж негодяем Н. Н., надеюсь, не окажется, чтобы продать меня Бухтму? Хотя в наше время все может быть. Все-все...

Не знаю — возвращаться или нет? Если завтра же вернуться, Бухт. может догадаться, зачем я тут был. С этой точки зрения хорошо бы здесь и еще денек-другой потолкаться. С другой стороны, Бухт., конечно, сейчас продумывает вопрос о своих заместителях, а ведь у меня есть шанс. И — немалый. Вот и сижу, и думаю... Вот и решил: заказываю билет на 21-е, в 14-30 буду в Домодедово. Пришли машину, неплохо, если и сама встретишь. Дорогой поговорим, а я, может быть, прямо с аэродрома проеду в министерство.

P. S. В конце-то концов, Бухт. ведь неплохой мужик — сработаемся. Я его знаю не первый день, а посадили бы кого-нибудь чужого, со стороны — и подхода к нему не найти.

Носа не вешай. Нам впереди и в этих условиях еще предстоит потрудиться, и мы потрудимся! На 100 %.

Саша.

Значит, 21-го, в 14-30, Домодедово, представительская комната.

* * *

К сожалению, у автора рассказа нет никакой возможности опубликовать более или менее значительную часть читательских отзывов на его рассказ «Кадровый вопрос».

Поэтому он отобрал лишь те письма, которые представляются ему наиболее типичными, как с точки зрения содержания, так и по выводам. А также и по стилю, поскольку стиль — как говорят литературоведы — это зеркало времени.

Что касается порядка расположения писем от первого к последнему — он совершенно произволен и не преследует каких-либо целей. Итак, автор еще раз просит Вашего внимания, уважаемый читатель!

* * *

Стал читать «Кадровый вопрос» и тут же уснул с часами на руке, впоследствии просыпаюсь, ищу, сколько времени, на тумбочке и под кроватью, а они, оказывается, на руке, и уже без двадцати пяти двенадцать. Почему не сообщили, каким путем и так быстро шла супружеская переписка? Ничего подобного в нашей природе нет и быть не может, в действительности почта у нас почти не ходит, это вам не Англия — там все еще ходит. Вот и в настоящее время: сообщаю свое мнение: печатается безобразие, а сам все равно думаю: когда-то до вас дойдет?

Баку *Гуляев*

Аника-воин, а больше никто — вот Вы кто! Человек хочет занять высокий пост, а Вы сразу же лаять на него из подворотни, другой реакции у Вас быть не может. А вот моя реакция: это стоящий кадр, который добивается стоящего места. Он его добьется, он и работать будет так, как ему велят, как исходит сверху. Обеспечьте ему руководство сверху, и он покажет чудеса работоспособности и находчивости. Он — тот государственный аппарат, без которого государства нет и никогда не будет. Он же не правительство, он — исполнитель, вот и позаботьтесь о правительстве, а Сашенька не подведет. На правительство — на это, признайтесь, у Вас кишка тонка, вся Ваша демократия — это поношение

аппарата. Я читал, как журналисты возмущаются, что в некоторых отходах производства содержание драгоценных металлов только немногим меньше, чем в природных месторождениях. Ну, а в том, что Вы выбрасываете в отходы драгоценные кадры и общественные ценности (хотя бы и соцсоревнование и бригады коммунистического труда) — это Вас не беспокоит, разгул и развал вы называете демократией. Мое примечание: демократия без деловитости и без дела — это демагогия! Дошло? Вы в два-три года с помощью демагогии хотите решить все проблемы — экономическую, экологическую, национальную. Мой вопрос: а зачем проблему поднимать, если заведомо известно, что никаких средств для ее решения нет, что общество, кроме слов, дискуссий и круглых столов, ничем не располагает? Правительство должно дать обществу реальные возможности для решения проблемы, а тогда и ставить проблему перед обществом, вот тогда это будет революцией сверху.

Общество должно созреть для создания нового строя и нового правительства — тогда это будет революцией снизу.

А когда нет ни того, ни другого — тогда и происходит то, что происходит сегодня: разгром аппарата журналистикой. И все. И вся тут новая совесть, честь и ум эпохи. Не маловато ли? Когда будем разоблачать и судить перестройку так же, как теперь разоблачаем культ личности и период застоя — в первый ряд на скамью подсудимых посадим журналистов.

Ваши герои Саша и Люда — украли что-нибудь? Может быть, они кооператоры, торгующие порнографией? Или они на Рижском рынке спекулируют колготками? Или рэкетируют? Или сманивают на спекуляцию лучших рабочих и служащих, без которых еще год-два — и государство окончательно развалится, останется с одними только бездельниками, да вот еще с вами — журналистами??

Вот бы и пошли в эту преступную среду, поработали бы там полгода-год да и написали об этом «изнутри» — так делают настоящие журналисты хотя бы и на Западе, не боясь риска, но наши нынешние советские только и делают, что ругают «бюрократов» и берут интервью у депутатов. Гонорары умеренные, но риска нет, умения не надо, знаний не надо. Перо в руках держится, интонацией телекомментатор владеет, прилизан как следует, и все тут профессиональные навыки, других не надо,

можно всех и вся учить уму-разуму — в галстуке и даже — без. И хотя бы один нашелся, чтобы «бюрократа» снять и сесть на его место и показать личным примером, как надо работать?! Не говорю, что это должно быть правилом, но хотя бы с десяток из вас нашлось таких?

Я предлагаю: число газет и журналов сократить вдвое, численность журналистов — вдвое, всех сокращенных послать на постоянную работу в овощехранилища — больше будет реального результата. Я кончил.

гор. Горький *Хотьков*

Я понимаю, как русский и вы тоже пишете о русских, о Саше и Людмиле, поскольку они собираются в большие советские начальники. После этого чему удивляться, что эстонский уважаеый профессор международной экономики Тийт Маде пишет так о русском народе не совсем хорошо. А русофильская газета «Советская Россия» после этого письмо профессора перепечатывает из шведской «Свенска дагбладет» и в душе злорадствуется, т. к. шведский автор Харри Шайн критикует профессора Тийта Маде. Хотя нужно понимать, что шведский публицист совсем просто молодой человек и все еще находится в пеленках.

После этого становится понятным еще и еще окончательный вывод: да здравствует свободная Республика!

Рыболовный траулер «Лосось» *Роберт Р. С.*

Не буду перечислять московскую группу депутатов народного парламента.

Если мы вспомним историю всех остальных социальных революций, то станет ясно, что полумеры никогда еще не продвигали их к истинным целям.

Поэтому Бабеф говорил, что франц. революция не привела к победе плебеев, заменив одну группу насильников другой. Конечно, Бабеф — за перманентную революцию.

Роза Люксембург тоже говорила о необходимости распустить профсоюзы, а в тюрьме написала «Письма Спартака».

Маркс говорил, что диалектика — это наука об общих законах движения как внешнего мира, так и человеческого мышления, а также, что диалектика не нуж-

дается ни в какой философии, стоящей над прочими науками.

Эйнштейн говорил, что для того, чтобы определить движение какого-либо тела, нужно прежде всего выбрать систему отсчета.

Вышинский говорил, что Вельзевул говорил Змее:

Ты зла,— твое смертельно жало,
Но можешь ли язвить ты так издалека,
Как злой язык клеветника?..

Гроссман говорил, что «продолжавшееся десятилетиями административное подавление инициативы крестьянства сказалось на формировании его социальной психологии».

Но ведь и живые тоже не молчат, поэтому Рыбаков говорит, что он — цвет нашей литературы, а Приставкин — что он первый придумал Первое апреля.

Давайте же научимся слушать друг друга! Ведь все говорят, что говорить необходимо, иначе не будет гласности. Правое большинство — это неправое большинство, и оно не слушает специалистов по национальному вопросу. Почему же после этого Коммунистическая партия — правящая партия?

Читая Ваш рассказ, уважаемый автор «Кадрового вопроса», я все-таки верил, что Вы — с нами!

Поздравляю Вас от всей души!

Москва *Б-ий*

...Боже мой, до чего мы дошли, если нами все еще управляют такие вот иезуиты, о которых пишет автор?! И не только они — оказывается, мы находимся и под влиянием Людочек, их супруг.

Вы знаете, у меня на душе наступает какая-то ночь, когда я серьезно об этом думаю. Можно ли надеяться на перестройку, можно ли увидеть впереди что-то светлое, если твоя судьба зависит от расторопности Людочки?

Я даже не знаю, когда у меня на душе было легче и спокойнее, теперь или десять лет тому назад, когда я ничего не знала?

Моя мама отбыла срок в Центральном Казахстане, и когда она вернулась, она не рассказывала о людях столько плохого, сколько я читаю теперь каждый день в наших газетах и журналах.

У меня такое желание — спастись от каждого встречного, а скоро, я чувствую, я буду спасаться от самой себя.

Вот вы, уважаемый писатель, если Вы пишете о таких людях, как «Сашенька», так Вы и ответьте мне на мои вопросы и сомнения?

Неужели Вы не чувствуете за собой такой обязанности? Тогда Вы не чувствуете ничего на свете. Ужас!

Якутск *Головина*

На какой юридической основе автор подвергает публикации частную и семейную жизнь и даже супружеские отношения? И переписку? Спрашивается, а где прокуратура, где закон о печати?

Если бы семейную жизнь соответствующего прокурора обрисовать в таком же виде, что бы он сказал!!! Все это говорит о том, что в Союзе писателей царят далеко не благополучные склоки.

г. Пуляевск *Ершов*

Сашенька с Людмилой (почему не указаны имена и отчества этих граждан?) — серьезные люди. Во всяком случае, отказывать им в руководящей должности нет оснований. Тем более юридических. Да что они — не смогут знакомиться с колхозами и совхозами, что ли? И с промышленными предприятиями? Не смогут беседовать с трудящимися? Смогут, и не хуже других будут представлены по Центральному телевидению. И вообще — куда мы придем без проблемы кадров? Как веревочке ни виться, а без этой проблемы — мы никто, не будет без нее и Советской власти. Вопрос не только мой лично, отдайте его на социальный анализ в институт тов. Заславской Т. или в институт международного рабочего движения, и вы убедитесь, за что выскажется подавляющее большинство советских читателей. Я тоже читал Солженицына «Раковый пояс» и не нашел в нем ничего хорошего. Не говоря уже о «Докторе Живаго». Прошу ответить мне лично.

Что касается меня лично, то я не сомневаюсь, что смогу ответить на любой ваш вопрос («вас» и «ваш» вполне сознательно пишу с самой маленькой буквы).

Великие Луки *С. Р. Белякин*

Почему в своих письмах писатель ничего не пишет об алкогольном законе, для чего он был нашему обществу, как трезвому, так и алкогольному? И чем он кончился?

Я по собственному опыту утверждаю: тот не писатель, который не пишет по этой проблеме. Весь народ и от мала до велика этот вопрос волнует, а писателя не волнует, да? Какой же он после этого гражданин Советского Союза? Он после этого диссидент, а больше никто. Только у него и заботы, что загребать тысячи (руб.). Хотя бы и певец Белоусов — тоже загребает тысячи, а послушать — он как следует и не поет. Об этом открыто уже выступает вся пресса, кроме нашего писателя. Я протестую.

Южно-Сахалинск *Балабаев*

Сашенька с Людочкой, вот увидите, еще утрут вам, писателям, нос. Это во-первых. А во-вторых, вы, писатели, и сами-то недалеко от них ушли и носа никому не утрете, сколько ни старайтесь! Только друг другу и утрете!

Ленинград *А. В. Гребенкин*

Уважаемый автор! Почему в собственном произведении вы ничего не сказали о Минводхозе? Прошу разъяснений.

г. Цимлянск *Трезуб*

Астрахань 29/361 39 259 0625

Дорогой товарищ залыгин прочитал ваш рассказ письмах очень современно поднята важнейшая проблема кадров тчк

Мною тоже сделано важнейшее открытие способа размножения и почти стопроцентного сохранения молоди сиговых лососевых частиковых что позволит следующую пятилетку довести уловы до 110 тире 120 килограммов душу населения советского союза тчк прошу назначить время встречи ближайшие 10 дней буду вам звонить четверг прошу передать копию настоящей телеграммы товарищу рыжкову прошу принять мои горячие поздравления прошу не отказать старший инспектор рыбнадзора нерестов

Астрахань

Уважаемый автор «Кадрового вопроса»!

Свет такого не видел! Голова не выдерживает и не выдерживает. Гражданская война, только все еще без оружия. Но в настоящей войне ясно и понятно, кто с кем воюет, а в ненастоящей — ясности нет. Каждый воюет как умеет, вот и Сашенька и Людочка — тоже как умеют — за что же их осуждать? Не надо было затевать войны, вот и все. Нет и нет — в наше время масштаб творчества должен быть совершенно другим. Если бы я был писателем (а м. б., им вскоре буду, не могу ручаться), я бы в одном действующем лице воплотил бы Прибалтику и Молдавию, в другом — весь остальной Советский Союз и, по всей вероятности, ввел бы в сюжет третье действующее лицо, а именно Рашидова.

Варили кашу семьдесят лет, а хотим ее расхлебать за три года. И с чьей помощью? С помощью произведений, подобных «Кадровому вопросу»? Смешно! А еще семьдесят лет не хотите? Жалуемся на то, что в литературе нет Шекспира, а откуда ему взяться, если он уже был? Что было, то прошло. История не повторяется. Библию нельзя написать второй раз! Пробовали, писали. Хотя бы и коммунистическую. И еще ряд других. Ряд остался, а новой Библии — ни одной. Все по той же причине — она уже была, та, которая Одна.

Ковать кадры надо с учетом опыта прошлого, а также исторической перспективы. Я это знаю, потому что до самого недавнего времени тоже был лечащим врачом с известностью, естественно, что и сам решил подлечиться.

Итак — с приветом! Пишу Вам из специальной больницы и убедительно прошу не придавать этому факту двусмысленного значения. Время, конечно, бежит. Жизнь тоже бежит. Еще свежо в памяти, сколько находчивости мне стоило поместить в эту больницу граждан с нетерпимо-болезненным отношением к действительности, отрицательно влияющих на молодое поколение.

Теперь я пребываю сам и ставлю вопрос: под чьим влиянием? Вероятнее всего, под влиянием общественности и молодого поколения. А Ваше мнение?

P. S. Вопрос к автору: Как вписать демократию в бюрократию?

P. P. S. Вам сахар выдают по талонам, а у нас здесь

талонов нет и нет. Вот и живем, как в другом государстве. Но это только на первый взгляд.

Харьков *Владислав Кукарев*

* * *

Конечно, автор «Кадрового вопроса» мог бы предложить для публикации и еще целый ряд откликов, но ему кажется, что общее впечатление у читателя уже сложилось, а кругозор соответственно расширился.

1989

ЧЕХОВ В НАШИ ДНИ

Удивительное дело: чем сложнее становится наша жизнь, чем больше возникает в ней нечеловечески трудных проблем — экономических, экологических, международных и самых повседневных, таких, как пустые прилавки в магазинах, как злобные очереди к этим прилавкам и к ящикам с водкой, как бездарные, но до беспамятства упорные бюрократы, укоренившиеся повсюду, начиная от швейных и сапожных ателье и кончая высокими министерствами,— чем больше всего этого, тем мы хуже, тем мы бесчувственнее относимся друг к другу.

Казалось бы, наоборот: если уж нам так трудно — мы должны быть дружнее, но нет, мы просто враги какие-то, ничего, кроме вражества, между нами нет, как не бывало.

А ведь это же не так, ведь мы все вместе создали великую культуру и в недавнюю войну тоже все вместе отстояли свою жизнь, свое Отечество.

Почему же тогда где-нибудь в очереди никого особенно и не удивит такое: «Ты куда прешь, старик?! Ему подыхать пора, а он — прет!»

И если бы не везде так, а то — везде. Даже в любви.

Любим кое-как, через пень колоду, подчиняясь необходимости любить, но не самой любви. Руководствуемся и не любовью даже, а страхом — страхом, что ее так и не будет. Потом разводимся, подчиняясь опять-таки не здравому смыслу, а чувству озлобления, желанию отомстить друг другу любыми средствами, одно из которых — развод.

* * *

Ну вот муж и жена, теперь уже бывшие муж и жена Прядкины — такая милая, такая сердечная была еще недавно пара, просто прелесть, просто загляденье!

У Ниночки даже собственная теория любви и семейной жизни была, и она с уверенностью говорила:

— Совсем не обязательно быть красивой от природы. И чтобы быть красивой, тоже необязательно быть красивой — достаточно быть привлекательной — вот что! Быть привлекательной — секрет и девушки, и женщины. Но вот что смешно и странно: если девушки об этом помнят ежедневно и даже ежечасно, то женщины забывают суть дела очень скоро. Отсюда, от этой забывчивости, все семейные беды. Нужно быть привлекательной всегда и везде, и все, и какого рожна от тебя кому-то еще понадобится? Никому — никакого.

Не бог весть какая теория, но ведь для любви и не нужна бог весть какая.

И потому новоиспеченный муж Ниночки Толя, Анатолий Александрович Прядкин, вытаращив на Ниночку глаза синие-синие, не раздумывая, соглашался с ней:

— Никакого рожна больше не надо! Совершенно никакого!

Итак — чем не основание для очень долгой семейной жизни?

Основание! Серьезное! Но, должно быть, не единственное, потому что стоило Ниночке не так уж и много потерять в своей привлекательности, как синие-синие Толины глаза уже обратились в другую сторону, куда-то мимо, а Ниночка была этим взбешена, и вот от любви не осталось ничего. Вернее, осталось лишь кое-что — антилюбовь осталась, энтузиазм неприязни остался.

Ну, бывает, ну, расходятся люди, нас этим не удивишь, по численности разводов Советский Союз занимает одно из первых, если не первое место в мире, это, должно быть, потому, что у нас быт очень трудный, но такую неприязнь друг к другу, которая возникла между Ниной и Толей Прядкиными, нельзя себе представить. Это что-то немыслимое.

Я пробовал было вмешиваться, примирить их, но и от того, и от другого только что не получил по физиономии. И я отступил.

Отступил от таких дел раз и навсегда.

И Прядкины долго, мелочно и зло делили между собой все: детей, квартиру, кухонные предметы, столы и стулья, абажуры и электрические лампочки, не говоря уж о книгах.

Каждая книга стала предметом их нескончаемых споров, упреков и невероятных обвинений, особенно

когда дело подходило к дележу собраний сочинений того или иного классика.

Каждое собрание сочинений они делили по-разному, чаще всего так: одному — четные тома, другому — нечетные, но вот Чехова никак не могли поделить, и дело кончилось тем, что они разорвали один из томов пополам.

Ниночка при этом кричала, что собрание Чехова нельзя делить пополам, потому что один том ее бывший муженек утащил какой-то шлюхе.

— Ну да, всегда так было,— кричала она,— шлюха скажет «принеси!», а это тебе закон, ты и тащишь ей книжку на полусогнутых!

Толя же наливался кровью, закрывал свои синие-синие глаза и отвечал, никого и ничего не видя:

— Сама ты...

Дети во время этих дележей играли на кухне в кубики, ели кашу геркулес и читали книжку про крокодила Гену, а еще они слушали все то, что говорят друг другу родители.

— Во даст папа Толя, во дает так дает! — не без восторга и очень серьезно произносил одиннадцатилетний Саша своей шестилетней сестренке Тоньке.

— Ничего! — отвечала Тонька.— Мама Нина сейчас тоже выдаст. А не то — съездит папке по морде... А когда мы разменяемся на квартиры, я буду к тебе в гости ходить. Каждый день,— еще сказала Тонька.

— Не будешь.

— Почему?

— Не пущу.

— А я спрашиваться не буду. Приду, и все. И все тут. У тебя квартира будет коммунальная — на замок не запирается.

— И в коммунальную не пущу.

— Ты не пустишь — папа Толя пустит. Он меня любит.

В тот день, когда родители делили собрание сочинений Чехова, в большой комнате, где стояли полки с книгами, был такой крик, такие там произносились взаимные обвинения, что дети на кухне притихли, испугались. Им казалось, они уже ко всему привыкли, все научились воспринимать как нечто обычное и повседневное и даже в какой-то мере интересное, но тут они притихли, слушали молча, в кубики не играли, кашу не ели, про крокодила Гену не читали.

Они испугались еще больше, когда родители вдруг, в одну какую-то минуту умолкли и наступила долгая-долгая тишина. Страшная тишина.

Тонька тихо заплакала, Сашка предупредил ее:

— Будешь реветь — смажу...

Потом раздались шаги в прихожей и хлопнула дверь — папа Толя куда-то вышел из дома.

Спустя чуть — снова шаги, снова хлопнула дверь — вышла мама Нина, и Тоня сказала братишке:

— Пойдем посмотрим, а?

В большой комнате были навалены самые разные вещи: шубы, пальто, фарфоровые тарелки, еще не ношенные детские ботинки — все это на диване, а на полу в двух кучах лежали книги, как раз посередине между ними валялись две половинки одной книги, разрезанной вдоль по корешку.

— Вот это да! — сказал не без восхищения Сашка.— Ты посмотри, Тонька, что делается: целую книгу располосовали напополам! Она же крепкая! Как только ухитрились?

— Потому что взрослые! — догадалась Тонька.— Взрослые все могут.

— Ну, все не все, а могут...— почти согласился с сестренкой Сашка, поднял с полу одну половину книги и повертел ее в руках, рассматривая со всех сторон.

Тонька спросила:

— Что написано? Вот тут? — И ткнула пальчиком в страничку. Это была страница сто восемьдесят восьмая.

— Тут? Тут вот что: «Вспомнил я своих товарищей и знакомых, и первая мысль моя была о том, как я теперь покраснею и растеряюсь, когда встречу кого-нибудь из них. Кто же я теперь такой? О чем мне думать и что делать? Куда идти? Для чего я живу?» — отбарабанил Сашка бодро...— Вот что здесь написано.

— А еще?

— Еще так: «Ничего я не понимал и ясно сознавал только одно: надо поскорее укладывать свой багаж и уходить. До посещения старика мое лакейство имело еще смысл, теперь же оно было смешно. Слезы капали у меня в рас...» — еще бойчее и еще громче прочел Сашка и бросил половину книжки на пол.— Все!

— Как это все? — не согласилась Тонька.— Читай дальше!..— И она стала поудобнее устраиваться на диване с ногами — чтобы слушать.

— Дальше нельзя!

— Почему нельзя? Разучился читать, да?

— Не разучился, а дальше нету... Страничка кончилась. Вырастешь — тогда и дочитаешь следующую страничку.

— Она же не совсем кончилась! — догадалась Тонька.— Она на другой половинке. Вон на той!

Другая половина томика валялась тут же, рядом с правой ногой Сашки, и Сашка поднял ее с пола.

— Угадай: какая половина папы Толи, а какая — мамы Нины?

— После угадаю. Ты сначала прочитай дальше. «Слезы капали у меня в рас...» Прочитай — куда капали слезы? У меня?

— Не у тебя, а у того человека, который не знал, для чего он теперь живет.— Все-таки Сашка приладил к рукам и эту половинку книги и на странице сто восемьдесят девятой прочел: — «...крытый чемодан, было нестерпимо грустно, но как хотелось жить! Я готов был обнять и вместить в свою короткую жизнь все, доступное человеку. Мне хотелось и говорить, и читать, и стучать молотом где-нибудь в большом заводе, и стоять на вахте, и пахать».

— Мало ли что ему хотелось...— заметила Тонька.— Мне вот тоже хочется, а я молчу...

— А чего же тебе хочется? Такого, что и сказать нельзя? Например?

— Например...— Тонька встрепенулась: — Мне хочется узнать: это какой такой старик пришел к тому человеку, который заплакал в чемодан?

— Какой-нибудь.

— Может, этот старик вообще по домам ходит. И к нам придет. Чтобы я заплакала. В чемодан. В раскрытый?

Но Санька решил по-своему.

— Хватит с тебя. Говорю же: вырастешь — сама дочитаешь! — решил он.

Тонька поканючила, повздыхала, но тут же убедилась, что брат читать больше не будет, и пошла на кухню.

Еще через минуту оба снова были заняты своим делом: играли в кубики, ели кашу геркулес, читали про крокодила Гену, а изредка прислушивались к тишине всех трех комнат квартиры...

* * *

А теперь несколько слов о себе — авторе этого рассказа.

Я, Гаврилов Николай Семенович, когда-то был большим приятелем, а может быть, и самым близким другом Анатолия Прядкина.

Я даже был у него шафером на свадьбе и свидетелем в загсе.

Я, признаться, завидовал, тайно завидовал своему другу — так привлекательна была в то время Ниночка. Она, вот именно, не столь уж была и красива, как привлекательна — весела, мила и смело-остроумна на какой-то грани с вульгарностью. Эта грань сама по себе многих и многих привлекает, но она же и опасна, ее ни в коем случае нельзя переступать.

Как жаль, как и сейчас все еще жаль, что Ниночка черту переступила сначала раз, потом другой, а потом попросту забыла о ее существовании. Она о многом забыла и в то же время откуда-то, неизвестно откуда, будто бы вспомнила она множество самых непривлекательных вещей: грубые слова вспомнила, глупую ревность, недобрые чувства. Ей казалось, она все это и раньше знала, а теперь все это обязательно нужно вспомнить. Обязательно!

Кто виноват?

И вправду, может быть, Толя Прядкин?

Он, вместо того чтобы поначалу хотя бы ничего этого не замечать, как будто только и ждал момента, когда Ниночка перешагнет свою черту, он с вожделением этого ждал и этим упивался.

Я, Гаврилов Николай Семенович, по специальности психолог, работаю в области криминалистики — представляете, сколько передо мной проходит ситуаций, подобных той, о которой я только что рассказал?

Это конвейер какой-то, по которому с утра до вечера двигаются факты всяческой подлости и нелепости, и теперь мне кажется, что я давно уже стал мастером-монтажником при этом конвейере — там подкрутить, здесь подклеить, в третьем месте подсветить, и вот уже все эти случаи убийств, насилий, взяток, краж со взломом, преступных связей, а того больше — использования служебного положения сходят с конвейера, становясь версиями.

Именно так, именно такой «версификацией» и зани-

маюсь я, Гаврилов Николай Семенович. Я не сразу, но привык к своему, прямо скажем, не совсем обычному труду, и он для меня стал обычным, как и всякий другой труд. Такая же повседневность, как амбарные книги для кладовщика, как уроки музыки для учителя музыки, как трахома или катаракта для окулиста. Мой конвейер работает бесперебойно, поставщики не только никогда не срывают графика поставок,— они всегда работают с опережением этого графика.

Вот так: у меня с поставщиками, можно сказать, прекрасные отношения, и я не сомневаюсь в том, что они всегда обеспечат меня работой.

Несмотря на все это, развод Толи и Нины Прядкиных произвел на меня ужасное впечатление.

Не знаю почему.

Или потому, что долгие годы мы были с Толей друзьями? Или потому, что когда-то мне нравилась Ниночка? Потому, что «Слезы капали у меня в рас...

...крытый чемодан, было нестерпимо грустно, но как хотелось жить!»?

Разорванный томик Чехова я видел собственными глазами.

Вот я и стал вдруг ощущать повседневное присутствие Антона Павловича Чехова рядом со мной. Я был в этом присутствии уверен, и, должно быть, в силу этой уверенности он и являлся ко мне в неожиданных местах, в неожиданное время и в неожиданном для меня виде.

«Ты куда прешь, старик? Ему подыхать пора, а он — прет!» — это я в очереди, сдавая в стирку белье, услышал. Почему-то я подумал: «Уж не тот ли это старик, которого во что бы то ни стало хотела увидеть, хотела что-нибудь узнать о нем Тонечка Прядкина? — думал я.— В тот самый раз, когда братец Сашка читал ей со страниц сто восемьдесят восьмой и сто восемьдесят девятой разорванного надвое томика — томика собрания сочинений А. П. Чехова? А что? Чеховский старик мог ведь преобразиться, эволюционировать и вот пришел в наши дни. В наши дни все может быть...»

Между тем старик, о котором зашла такого вот рода речь, был действительно очень стар, был худ, высок, плохо одет, он в самом деле «пер», ни на кого не обращая внимания. А этот окрик был ему не в диковинку, он его не раз слышал и не раз не слышал. Что окрик был,

что не было — ему было все равно, он был очень стар и за свою жизнь наслушался всяческих окриков.

В очереди поднялся шум и гвалт. Сначала гвалт подняли женщины, их тут семь-восемь было, потом и мужчины к ним присоединились — человека три-четыре.

В словесном выражении я все это повторить не могу, не в силах, да это и ни к чему — вы и сами прекрасно знаете, что и как в этих случаях говорится, что произносится,— сами произносили... Старик же ни на кого не обращал никакого внимания, он только сказал:

— Имею право...— и, оттолкнув двух женщин, бросил охапку белья в окошко приемщицы.

И вот тут-то — этого представить себе невозможно! — приоткрылись двери, а из дверей появился Чехов.

— Господа! — обратился он.— Я очень сожалею, и все вы тоже, конечно, искренне сожалеете обо всем том, что здесь только что произошло, но что поделаешь — что было, то было, а что же нам теперь остается? Как нам освободиться от жуткого впечатления, которому мы сами же оказались виной? Как? Господа! Я не вижу другого выхода из создавшегося положения, как только вызвать всех присутствующих здесь мужчин на дуэль. Кто первый пожелает со мной стреляться, господа?

Тут я должен сказать, что Антон Павлович Чехов был в невысоком цилиндре, даже и не знаю, как головной убор такого вида в чеховские времена называли — полуцилиндр, четвертьцилиндр, котелок или еще по-другому, он был в кожаном пальто, и вот из кармана этого пальто он и вынул револьвер, подержал его на ладони левой руки и еще сказал:

— К сожалению, у нас только один револьвер, но, я думаю, господа, мы условимся так: каждый из моих противников будет стрелять первым, а в случае, если он промахнется, я буду стрелять в него. Мы будем стреляться в дворовом сквере, который расположен против входа в этот подвал. Место, в общем-то, отвратительное — консервные банки, битое стекло, грязные клочки бумаги, но что поделаешь? Конечно, дуэль должна быть обставлена совсем не так, должна происходить в каком-нибудь очень красивом месте, так было принято всегда, во все времена, но опять-таки — что поделаешь? Обстоятельства то и дело бывают сильнее нас, и ради того, чтобы оградить себя от неприличия, нам придется стреляться в совершенно неприличном месте. Так я жду

вас, господа, в этом сквере. Кто выйдет ко мне первым?

И Чехов удалился. Он был очень похож на дядю Ваню.

Никто из очереди не вышел.

Я тоже не вышел.

* * *

Читатель скажет, что никогда не видел фотографий Чехова с револьвером в руках.

Мало ли что, а я докажу, что такого рода сцена вполне могла иметь место.

Лет двадцать пять назад в Ялте я подружился с директором дома-музея Чехова, фамилия директора была Брагин. Брагин Сергей Георгиевич. Теперь его уже нет в живых, он умер в раковом корпусе Боткинской больницы, я не раз навещал его там, мы с ним и там говорили о Чехове, но это позже, а тогда, в Ялте, Сергей Георгиевич много раз водил меня по всем комнатам чеховского дома (или — Дома?), причем в такие часы, когда посетителей уже не было, но солнце еще светило во второй этаж, а отчасти и в столовую на первом этаже. Не знаю, чем я обязан Сергею Георгиевичу, может быть, его заинтересовало мое намерение написать о Чехове психологический очерк, но так или иначе, а мы вдвоем ходили по тихим комнатам, и Сергей Георгиевич, заметно полысевший, пополневший и, кажется, немало пострадавший человек, тоже тихо, но с тем непоколебимым убеждением в правоте и необходимости каждого своего слова, которым обладают только коллекционеры и хранители музеев, пояснял мне:

— Гостиная... Обедали у Чеховых ровно в два часа. Мария Павловна, как хозяйка, всегда сидела вот здесь, на этом стуле. За обедом часто бывали гости. Если в доме гостил Горький, он садился вот сюда, на это место, на этот стул. Левитан — вот сюда. Бунин — сюда. В отношении Льва Толстого, к сожалению, ничего не могу сказать. Ну, а сам Антон Павлович неизменно садился вот сюда. Мария Павловна говорила мне, что никогда, ни разу Антон Павлович не сидел на каком-нибудь другом стуле. Он был немножечко педант. Ну да, такой, знаете ли, красивый и не очень приметный педантизм, а все-таки — он. Тот педантизм, который — порядок, тот порядок, которого нам нигде и ни в чем не хватает. А теперь сядьте-ка на стул Антона Павловича...

— Наверное, не надо...

— Нет уж, нет уж... Я вас прошу.

И в кабинете Чехова я тоже садился за его письменный стол, в его кресло, а в спальне ложился на его кровать.

Тут, в спальне, на тумбочке рядом с кроватью лежал револьвер Чехова, и я спросил у Сергея Георгиевича:

— А револьвер-то зачем? Чехову — зачем?

— Чтобы в случае необходимости защищаться. Не для нападения же на кого-нибудь?! Револьвер остался у Антона Павловича со времен его сахалинской поездки. И вот еще — кожаное пальто.

Сергей Георгиевич достал из шкапа пальто и невысокий цилиндр, подержал и то, и другое в руках, а потом вдруг сказал:

— Наденьте все это на себя.

— Ну что вы, право...

— Я прошу вас... Вот так... Возьмите в правую руку револьвер. ...Вот так. Теперь вы можете представить себе вооруженного Чехова?

Нет, я этого все еще не мог и сказал Сергею Георгиевичу:

— Не могу...

А тот вполне серьезно рассудил:

— Пальто вам длинновато, вот в чем дело. У вас какой рост? В сантиметрах?

— В сантиметрах — сто шестьдесят восемь.

— Вот видите, а Чехов имел сто восемьдесят шесть. Разница — восемнадцать сантиметров. Почти двадцать. И это очень заметно.

* * *

Ну вот, а спустя двадцать пять лет вооруженный Чехов вдруг появился передо мной. И снова, и снова стал появляться всякий раз, как, по его собственному разумению, возникала необходимость с кем-то стреляться.

Она, эта необходимость, возникала повсюду и то и дело. Подумайте — сколько раз на день он мог быть и рядом с вами тоже?

Подумайте об этом, вспомните и Василия Шукшина: «Что с нами происходит?»

Уже совсем недавно по делам опять-таки кримина-

листического характера мне пришлось быть в одном из наших министерств, в здании с зашарпанными многими поколениями служащих коридорами. По сторонам коридоров — комнаты, комнаты, в комнатах — столы, столы, за столами — служащие, служащие и бумаги, бумаги...

Бумаги посвящены делу как улучшения, так и истязания нашей земли, надругательству над нею. Что-то там, конечно, брезжило, среди этого бумажного океана — какие-то подлинные достижения, но вот вопрос: откуда мы взяли, что некая величина или факт со знаком плюс может компенсировать другую некую величину со знаком минус? Это в математике так, но жизнь не только математика, у нее собственные законы и правила, для нее такое сложение и такое тождество нелепы. Поэтому один негодяй не перестает существовать только потому, что рядом с ним находятся два честных человека, и одного больного не вылечат и не спасут своим присутствием трое других, пышущих здоровьем. И погибшая земля никогда не будет спасена другими, даже самыми плодородными землями. Вот и меня интересовали «списанные» в никуда и еще недавно плодороднейшие миллионы гектаров земли, интересовал иск, предъявленный министерству одним из дальневосточных исполкомов на сумму три с половиной миллиарда рублей, интересовали люди, в какой-то момент вдруг исчезнувшие из министерства, и люди, которые вдруг стали его сотрудниками и высоконаучными наставниками, тоже интересовали...

Так или иначе, а я пытался разобраться в этой системе многих и многих тайных и явных подсистем, но вскоре понял полное свое бессилие и почувствовал ту боль во всем организме, которая охватывает человека всякий раз, когда он держит истину в собственных руках, и все понимают, что это истина, но никто не может опровергнуть ложь, и тут-то именно ложь и торжествует, она и берет верх. Ах, как она умеет торжествовать, ложь!

В поисках хоть какой-то поддержки в этом прозатратном мире, неизменно и прочно покоящемся на одном-единственном ките — «истратил — значит, выполнил» (истратил деньги, истратил землю, истратил воду, истратил доверие общества и доверчивость людей, истратил собственную совесть и, значит, выполнил план), я оглянулся на дверь.

И что же?

Дверь приоткрылась, и в комнату — один стол, один человек среднего возраста, наловчившийся виртуозно крутить-вертеть своими престарелыми начальниками,—в эту комнату вошел... вошла растерянная улыбка человека в старомодном кожаном пальто и с револьвером в руках.

Она вошла одна-одинешенька, растерянная, смущенная и как бы сама по себе в чем-то бесконечно и безнадежно виноватая. Может быть, в своем бессилии? Как в том тексте: «Вспомнил я своих товарищей и знакомых, и первая мысль моя была о том, как я теперь покраснею и растеряюсь, когда встречу кого-нибудь из них. Кто же я теперь такой? О чем мне думать и что делать? Куда идти? Для чего я живу?»

Вот такую улыбку я и увидел в тот раз в министерстве. Ее же я видел всякий раз, когда позже входил и выходил из огромного здания этого министерства. А я входил туда и выходил оттуда не один раз, и всё — без малейшей пользы для дела, для земли и вод, для людей и для истины. Вот так...

Иск на три с половиной миллиарда рублей — он по поводу чего мог быть предъявлен? Разумеется, такой ущерб мог быть нанесен только природе — кому же еще другому? Других столь же пострадавших в природе быть не может — только она сама. Ну, а она молчит. И молча погибает. И раз так, я был уверен, что по поводу иска размером в 3,5 млрд. руб. не упадет ни один волосок ни с одной головы ни одного служащего. Будучи в этом уверен, я все-таки ходил в министерство.

Я ходил туда, наверное, для того, чтобы убедиться: этот иск еще не самый большой, есть иски и побольше, и поопаснее, еще более бесчеловечные, еще более антиприродные. Ну в самом деле, если министерство сумело вывести из строя зе́мли целого народа — каракалпакского народа, обречь его на беды и страдания, но и после этого ни один служащий, ни один инженер, ни один министерский руководитель не пострадал ни на йоту — значит...

Что это значит? Неужели так и надо? Так и надо, а дальше что? Или чернобылям не будет конца до самого Конца?

* * *

А буквально на днях я узнал еще об одной роли Антона Павловича Чехова, исполняемой им в наши дни.

Дело в том, что у меня состоялось знакомство с одним высокопоставленным американцем, который неплохо знает русский язык и еще лучше — русскую классическую литературу: когда-то это было его специальностью.

Разговорились... Я, конечно, и раньше знал, что между Кремлем и Белым домом существует прямая связь на случай «горячих событий». На тот случай, если мы вздумаем бросить какую-нибудь ядерную игрушку на более чем благородную Америку, а более чем благородная Америка, закусив новогодней индейкой (или гусем), решит первой шарахнуть по «империи зла».

Вот в эти-то последние минуты и секунды мира и должна сработать «прямая связь», чтобы руководители двух государств имели возможность сказать друг другу: «Обождите еще несколько минут и не давайте команды на пульт! Обождите — за несколько минут мы, может быть, еще сумеем поверить друг другу?!»

Само собой разумеется, «прямая связь» включается — и слава богу! — далеко не каждый день и, может быть, не один раз должна проверяться ее исправность, а для этого в обе стороны передаются какие-нибудь тексты.

Мой новый знакомый сказал мне, что чаще всего передаются тексты из произведений Чехова. Открывается какой-нибудь том его произведений на какой-нибудь странице и прочитывается раздельно, наверное, даже с актерским выражением, тот или иной текст.

Например: «...Ничего я не понимал и ясно сознавал только одно: надо поскорее укладывать свой багаж и уходить. До посещения старика мое лакейство имело еще смысл, теперь же оно было смешно. Слезы падали у меня в раскрытый чемодан, было нестерпимо грустно, но как хотелось жить!»

И т. д. и т. д.

— И, значит,— сказал мне мой американский знакомый,— значит, пока по «прямой связи» читаются тексты Чехова, до тех пор войны не будет!

Может быть, он и прав. Наверное, он прав.

Но будет ли мир в человеческих сердцах? Будет ли

мир между людьми и природой? Научимся ли мы удовлетворять ее иски к нам?

Вот что тревожит и заставляет, заставляет тосковать меня, автора этого рассказа, психолога Гаврилова Николая Семеновича, пятидесяти пяти лет, отца троих детей (двое — от первого брака, один — одна — от второго).

Обращаюсь к Чехову, но не знаю — разве это обращение правомерно?

Почему, право, мы, такие могущественные, такие цивилизованные жители двадцатого века, обращаемся за помощью к беспомощному герою Чехова, который плакал в

«рас-крытый»

чемодан?

1989

ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

РАССТОЯНИЕ — НЕ ПОМЕХА

Исторические поэмы Леонида Мартынова

Ни время, ни расстояние — не помеха для подлинного искусства, это уже давным-давно было доказано.

Но всякий раз и всякое новое доказательство этого факта нас волнует, восторгает и удивляет.

И когда значительно позже своих поэм, посвященных главным образом истории Сибири, в одном из лирических стихотворений Леонид Мартынов говорит:

...Расстояние не помеха
Ни для смеха и ни для вздоха,
Удивительно мощное эхо,
Очевидно, такая эпоха! —

он имеет на это право.

Он кое-что знает о мире, Леонид Мартынов. Кое-что, чего не знают о нем другие, или — знали, но позабыли, или — знали, но прошли мимо, не заметили.

Мартынов мимо не прошел, не миновал. В частности, не миновал он раздумий и понятий о жизни людей в разные времена их существования.

Издалека начал он свою поэтическую жизнь, очень издалека. Его долголетию могут позавидовать многие поэты и писатели.

Проходят годы — розысков, раздумий, общений и уединений — и вдруг!.. Вдруг почти чудесным образом возникает перед нами путь поэта, и мы, читатели, обретаем возможность тоже пройти по этому пути, по его поворотам и ступеням, остановиться там, где испытываем необходимость остановиться, пристально вглядеться во все то, что особенно привлекает наше внимание.

Лукоморье!
Где оно?
Не участвую я в споре
Тех ученых, что давно потеряли Лукоморье
На страницах старых книг, в незаписанном фольклоре!

Кажется, отсюда начинаем мы путешествие по стране, которая называется творчеством поэта, кажется, отсюда, судя по тому, какого спутника и свидетеля дает нам сам поэт:

Правда, пращур?
Было так?

Итак — мы в путешествии. Теперь мы тоже историки. Тоже долгожители. Тоже провидцы. Тоже — поэты!

...А на Байкале он воздвиг посольску гавань и маяк.
В Охотске, в каторге где был, морскую школу он открыл.

Еще дальше:

На Золотой далекий Рог
Отцы сумели дотянуть
К началу века этот путь...

Отец сумел это сделать, отец смог напутствовать:

А в страны грез свои мосты,
Надеюсь, сам достроишь ты,
Осуществить твои мечты
Я не успел. Не обессуды!

(«Баллада про великий путь»)

И вдруг...

Но вот и опять — Россия со скорбью во взоре.
Удастся ли вам, идиоты, распять Россию на омском заборе!

(«Сестра»)

Еще о том же и трагическом, и трудном времени:

И были ерундой
Европы пересуды
В сравнении с нуждой
Оборванного люда.

(«Вас не было еще»)

Помню
Двадцатые годы —
Их телефонные ручки,
Их телеграфные коды,
Проволочные колючки...

(«Двадцатые годы»)

Совсем небольшой срок, и вот уже снова:

Идет война. Кругом гроза.
Умей глядеть войне в глаза!

(«Товарищ, гражданин и брат!»)

И только уже после всего этого, после многого другого услышали мы «удивительно мощное эхо. Очевидно, такая эпоха!» и, пройдя вместе с поэтом его дальний путь, вместе с ним почувствовали:

Дело пахнет искусством.
Человечеству хочется песен...

(«Что-то новое в мире...»)

Нельзя ни любоваться, ни наслаждаться поэзией безнаказанно. Наказание неизбежно и приходит в виде вопросов.

Откуда это? Какая конкретность породила обобщение? Какое обобщение позволило так точно угадать конкретность?

Снова обращаемся к путям-дорогам поэта... Очерки и путевые заметки о первых совхозах, о строителях Турксиба, о капитанах и кочевниках, о горных кряжах, лесах, степях и тундрах, разыскания, извлечения из «ревизских сказок», стихи, стихи, а еще — поэмы.

Поэмы, как уже было упомянуто, главным образом исторические, посвященные прошлому Сибири.

И вот они-то, да и вся историческая тема, составляют в творчестве поэта особые — своеобразные и яркие страницы.

Многие поэмы давно уже не печатались, их как будто заслонила последующая лирика, похоже на то, что и сам поэт относится к ним, как к чему-то давно пройденному, отчасти им самим забытому.

Но у читателя — свой вкус и своя память, да и можно ли, однажды прочитав, забыть «Тобольского летописца»? Или — «Правдивую историю об Увенькае»? Или — «Сказку об атамане Василии Тюменце»?

Мартынов-историк — это глубокий знаток, ученый, исследователь, одним словом — работник.

За несколько лет до войны в омских изданиях — газетах и журналах, в разделах «Из прошлого нашей области», «По страницам старых книг и журналов», в специальных изданиях — систематически появлялись публикации Мартынова, которые тогда представляли интерес прежде всего для специалистов-историков.

Но нынче-то мы знаем, для чего и почему они появлялись! Заметка «Прошлое тюменского ковра» была началом поэмы «Домотканая Венера», другая — «Тарский атаман — посол к царю Алтыну» — привела к сказке о Василии Тюменце, а сколько самых различных заметок и разысканий составили историческую канву будущего «Тобольского летописца»?! Здесь и заметка о «Человеке, которому рвали ноздри», и «Труд ямщика Ильи Черепанова», и сведения о том, что по переписи середины XVIII века в России было 45 182 ямщика, приблизительно одна четверть этого числа были ямщики сибирские, а в городе Тобольске их проживало 2 282 человека.

За поэзией, несомненно, должно быть признано право на необыкновенное. Мартынов вменяет необыкновенное в обязанность поэзии.

В то же время он находит необыкновенное и удивительное повсюду, наверное, потому, что очень хорошо умеет удивляться.

В его сравнительно ранних очерках всегда присутствует нечто удивительное.

В большом городе Омске он обнаруживает избу-читальню, знакомится с «уполномоченной по табуну крупного рогатого животноводства»; на станции Заводоуковка входит в буфет: «...от Столбцев до Владивостока едва ли еще встретятся стены, так пестро разрисованные... Немыслимые цветы, томительные лунные пейзажи... Творец этих художеств уехал, задолжав двести рублей. Буфетчицы размышляют о коварстве художников»; в городке Исилькуле он вспоминает об Алешке — «попе бахтической молельни, торговавшем в своем магазине всем, кроме табака»; в ауле Кзыл-Агач встречает девушку, в ее сверкающее монисто вплетены бразильская и мексиканская монеты — откуда, как появились они здесь?

В деревне Первотарке вот уже двадцать лет безвыездно живет некий сливковоз, а его все еще зовут Скитальцем. В прошлом Скиталец и в самом деле объехал белый свет, встречался с разными людьми. О Максиме Горьком говорит так: «Бороду брил. Усы ростил. Голос имел вроде как басовитый».

Кузнец, девяностолетний пенсионер, пишет Калинину, просит «хотя какую землянку, только ближе к кузне — без кузнечного стука лишаюсь сна».

В лесу строится железная дорога, один рельс уложен дальше другого, «воткнулся в лес, подобно указательному пальцу»...

Это верно: удивительное и необыкновенное — всегда рядом с нами. А все-таки сколько нужно перечитать, переслушать, перевидать, чтобы его вычитать, услышать, увидеть?!

И в истории Сибири то же — поэт находит губернатора с рваными ноздрями каторжника, ямщика-летописца, реку под названием Тишина, Эрцинский лес, Лукоморье...

Однако он умеет отбросить необыкновенность внешнюю, за которой не кроется ничего или очень мало, хотя сама по себе она как будто бы и яркая, и увлекательная, умеет остаться преданным необыкновенности значительной, удивительной, но не случайной:

человек с рваными ноздрями, губернатор Сибирский Соймонов был действительно личностью выдающейся — воспитанник Петра I, мореплаватель и ученый, он, после каторги, в возрасте семидесяти пяти лет водворился в Тобольске и еще одиннадцать лет сурово, но справедливо властвовал в Сибири, сделав для нее очень многое;

тобольский ямщик Илья Черепанов действительно создал такую летопись, которой долго затем пользовались академии разных стран;

на берегах реки Тишины (то есть на берегах Оми) действительно происходили события большого исторического значения;

сказочное Лукоморье действительно имеются основания отнести за Полярный круг.

Именно потому, что в истории Мартынов не выдавал незначительное — за значительное, недоказанное — за действительное, и случилось так, что нынче сама история Сибири как бы уже ценит его и любит. Нынче даже самый «ведомственный» исследователь, самый далекий от поэзии, если и захочет — все равно не сможет миновать того, что открыл в свое время Мартынов, не сможет обойти истории поэтической. Поэтическая же история Сибири, в свою очередь, становится историей сибирской поэзии. Да и не только сибирской!

Мартынов искал и находил то, что искал. Недаром еще юношей он пешком пересек Казахстан с севера на юг, недаром проводил время в холодноватых помещени-

ях бывшего архиерейского дома в Тобольске, где при Советской власти разместился архив.

Омск, а Тобольск особенно, заняли в его поэтической географии особое место.

А он ведь тоже — удивительный этот город Тобольск — родина композитора Алябьева, художника Перова, ученого Менделеева, авиаконструктора Туполева, где на высоком иртышском берегу памятник в честь Ермака соседствует с могилами декабристов, где возвышается белокаменный кремль с башнями и бойницами, к которым за всю историю их существования так и не приблизился ни разу неприятель. Город, в котором судьбы людей, пожалуй, чаще всего можно было назвать историей преступлений и наказаний или — наказаний без преступлений, наказаний за высокие идеалы, начиная с опального и беглого Ермака, с тех наказаний, которые русские чинили над татарами, татары над русскими, опальные воеводы и губернаторы над своими подчиненными.

Между тем народ сибирский совершал здесь неустанный подвиг открытия и освоения новых земель ради могущества неласковой родины своей, творил произведения искусств и наук, создавал памятники архитектуры, жил идеями справедливости, был свободолюбив и правдолюбив.

Он и возник-то, город Тобольск, как раз перед началом смутного времени на Руси. Сюда был сослан «опальный угличский колокол, возвестивший о трагической гибели восьмилетнего царевича Дмитрия. Все смуты, внутренние и внешние войны, народные бунты начала семнадцатого века отражались и в умах, и в действиях полувоенного тобольского люда и его администрации», рассказывает о нем Мартынов.

Город этот не только удивляет, он еще и требует — требует, чтобы история его была ведома людям.

Будь этот город — с такой же историей, с такой же архитектурой, с такими же памятниками — где-нибудь в Западной Европе, он имел бы мировую известность. Подробности о нем дети заучивали бы в школах, картины с его видами украшали бы самые знаменитые музеи и галереи, почтовые открытки с его изображениями корабли и самолеты доставляли бы во все уголки земного шара.

Мартынов внял немым призывам и укорам города. И — обрел. История первой сибирской столицы не толь-

ко сполна наградила его сама по себе, она еще и увела его в разные страны, к разным народам — к татарам и казахам, к манси и хантам, к джунгарам и китайцам, к хивинцам и бухарцам, в Англию, в Голландию, в Стокгольм, в Париж...

Вероятно, это и было интернациональным крещением поэзии Мартынова, одним из приобщений ее к миру, несравненно более обширному, чем самая обширная губерния Сибирская, к этнографии и географии, к международным проблемам и отношениям, к историям открытий и мореплаваний, ко всему тому, о чем впоследствии Мартынов скажет не раз и не два в своих поэмах и стихах, в своем поэтическом толковании этих и других проблем человеческого существования... Самое же главное — это было приобщение к искусству, которое уже умеет перешагивать через границы и безошибочно находит свое место среди неродных языков, умеет заставить слушать себя за самыми дальними рубежами.

Оно умеет это сделать, потому что так же безошибочно само чувствует подлинную поэзию в самых разных языках, потому что интернациональность приходит к нему не через космополитическое отрицание национальных особенностей, а через глубокое проникновение в них...

До войны, еще в 30-х годах, там, где нынче возвышаются корпуса Кировского района города Омска, простиралась степь, в степи, вблизи небольшого озерца, покачивались старые ветлы, а под ветлами стояли юрты казахского аула Каржас. Казахи водили здесь кобылиц и продавали в город кумыс.

Через Иртыш эти ветлы и этот аул были видны из самого центра Омска, но мало кому были интересны.

Мартынову аул Каржас был интересен.

Лодочник перевозил его через Иртыш, он шел пологим степным склоном до самых ветел, а там, у костра, долгие летние вечера и короткие ночи просиживал с пиалой кумыса, слушал, расспрашивал и рассказывал. Старики казахи — аксакалы и молодежь, никто не стеснялся говорить: молодой русский был здесь своим, был желанным собеседником и даже — учителем, так хорошо знал он прошлое казахов и Казахстана...

В те же годы и позже Мартынов много переводил: из Лонгфелло и Верлена, Юлиана Тувима и Шандора Петефи, южнославянских поэтов и английских классиков.

О многих советских поэтах мы говорим, что интернационализм — характерная черта их творчества. О Мартынове, пожалуй, вернее будет сказать, что интернационализм — характер его творчества, причем это, конечно, не исключает многих других разнообразных качеств и свойств его поэзии.

Если снова спросить — откуда это? как возникло? — мы, вероятно, не минуем аула Каржас, не минуем истории Тобольского воеводства и города Тобольска.

Город этот имел ведь свою не только российскую, но и международную историю. Она начиналась с того, что Сибирь всегда была многонациональна, разноплеменна.

Свое влияние на Сибирь стремились оказать весьма отдаленные государства, не говоря уже о пограничных.

В Тобольске живали не только пленные шведы, немцы, литовцы, поляки, французы, многие из которых вместе с русскими принимали деятельное участие в освоении Сибири. Посещали его и высокие дипломаты этих стран, ученые, путешественники, купцы. Одни двигались дальше на восток и юг, другие имели Тобольск конечной целью своих путешествий. Недаром же стольный город Сибири назывался еще Восточными воротами государства Российского и даже — «Вратами Азии».

«...А дороги, идущие от ворот тобольских! Куда вели они? Теперь это понимала вся Европа»,— говорит Мартынов в своей прозаической «Повести о Тобольском воеводстве».

Тобольский воевода Куракин послал местных казаков Петлина и Киселева в Китай, и те привезли от китайского царя грамоту с разрешением ездить в его страну и торговать с нею.

Через Тобольск следовали в Китай посольства Федора Байкова и Николая Спафария, сюда шли через пески и пустыни торговые караваны из Средней Азии, а вместе с ними — послы бухарские, хивинские, джунгарские.

А Мангазея?!

Почти одновременно с самим Тобольском, задолго до Аляски Джека Лондона, на реке Таз из крохотного острога возник этот самозваный, почти фантастический русский город. Через Баренцево море и Ямальский волок, через «страну мрака» пробивались к нему устюжские и архангелогородские купцы, торговые люди из многих стран Европы. Город рос, обогащался, за-

хватывал заложников, кутил и веселился, беспошлинно и беззаконно продавал до 100 тысяч соболиных шкурок в год, грозил разорением государственной казне.

Вмешался Тобольск, поставил караул на Ямальском волоке, и только тогда город пришел в запустение, перекочевал к востоку, на Енисей, где и возникла «Новая Мангазея», ныне город Туруханск.

Широкому читателю теперь почти неизвестны такие прозаические произведения Мартынова, как «Крепость на Оми» и «Повесть о Тобольском воеводстве». Между тем — это очень интересная и поучительная проза, особенно «Повесть». До сих пор она почти единственная в своем роде. Она лаконична, в ней есть что-то от летописи, от доброй русской литературы, печатавшейся славянской вязью. Каждая строка здесь — художественное изложение того или иного подлинно исторического события. Здесь мы найдем прозаических близнецов таких поэм, как «Лукоморье», «Дукс Иван непотребный и многогрешный», всего того обширного раздела мартыновской поэзии, который посвящен борьбе с колчаковщиной.

Поэзия, как и всякое искусство, тоже ведь идет от знания. Поэзия Мартынова об этом свидетельствует — как она шла от прозы, от знания огромного материала.

То и дело радуя нас своей возвышенностью, она не забывает о том, сколько ямщиков в России и Тобольске было в середине XVIII века; сколько соболиных шкурок было продано в Мангазее. Впрочем, эти факты и цифры если и были прозаическими, так лишь до тех пор, покуда к ним не прикоснулась поэзия, пока они не привели поэта к созданию пусть еще неполной, но уже увлекательной и поэтичной истории Сибири, глубоко патриотической и в то же время интернациональной.

Поэт — тот же судья, особенно поэт-историк. Судья же никогда не судит сам по себе, он всегда кого-нибудь представляет. Представительство отнюдь не чуждо Мартынову. Он — историк, историк русский, он — поэт, опять-таки поэт русский и советский. Это даже не обязанность, а потребность: для суда необходима позиция, необходимы принципы, необходим моральный и социальный кодекс.

И не случайно в первые месяцы Великой Отечественной войны одна за другой выходили книги стихов и исторических поэм Леонида Мартынова — поэмы эти глубоко патриотичны.

Поэт говорит: «Порой мне казалось, что прошлое я сжимаю руками, как меч и как щит...»

Истории, прошлому Сибири он отдал большую дань — много лет жизни, много лет кропотливого труда.

«...В то же время,— говорит Мартынов,— оно (прошлое.— *С. З.*) ложится на мои плечи тяжестью боярской шубы, застилает мой взгляд, как нахлобученная на глаза казацкая папаха. Я ощущал прошлое на вкус, цвет и запах, я чувствовал, что надо выразить все эти ощущения, осознать их творчески и в конце концов таким образом освободиться от них, чтобы вернуться к современности».

И он это сделал, Мартынов,— ощутил, творчески осознал и освободился.

И проявился как крупнейший поэт-историк нашего времени.

Писателю и поэту собственный опыт всегда нужен не только, а может быть, и не столько для того, чтобы его использовать, сколько для того, чтобы его отвергать. Для творчества это обязательно — иметь то, что можно отвергнуть. Чем больше этого иметь — тем лучше, потому что литература, как и любое творчество, всегда ищет неизведанное не только для других, но и для себя, а поэт или прозаик стремится писать так, как писать он еще не умеет. Там, где писатель пишет только так, как он умеет,— кончается творчество.

История — этап в творческом пути Мартынова, но такой, который в немалой степени способствовал выходу его поэзии далеко за рамки повседневности, который по-своему научил его заглядывать далеко вперед. Только длинные и дальние дороги уводят в будущее. Короткие этого не делают.

На путях коротких поэзия не успевает приобрести способности к глубокому мышлению, она мало что успевает узнать, понять, больше фиксирует или забавляет, чем сознает.

Обладая поистине неисчерпаемым материалом историческим, материалом самых разнообразных наблюдений, поэзия Мартынова никогда этим не грешила — фиксацией, изложением фактов, хотя бы и очень интересных, забавных, даже — уникальных.

Находить и находить интересные факты и события — это, быть может, уже своего рода искусство, но ни в коем случае не творчество.

Творчество начинается там, где раскрывается смысл события, его идея, его работа на будущее и собственное отношение к нему художника.

Мартынов говорит об этом неоднократно и совершенно недвусмысленно.

Говорит, например, и так:

Увы, не умею писать биографий,
Я больше всего не люблю фотографий —
Их плоская, мнимая точность страшна мне.
Мне ближе литограф, что режет на камне
И, сладко задумавшись, вымысел вносит
Туда, где об этом никто и не просит.
В храм истины домысел смело стучится,
Чего не случилось, могло бы случиться.
И часто, быть может, я здесь увлекаюсь,
От истины точной слегка отвлекаюсь,
Но в главном я прав! Я ручаюсь!

Это прочитывается как сегодняшнее и совершенно самостоятельное стихотворение.

На самом же деле это было сказано двадцать пять лет назад «по ходу действия» поэмы «Волшебные сады». С тех пор не раз и в разных поэтических выражениях Мартынов высказал эту мысль, говоря о стихах, что «диктует им только прозренье» («Из смиренья не пишутся стихотворенья»), развивая ее в «Рассказе про мастерство». Она является смыслом, содержанием и как бы внутренним горением многих его стихов.

Не будем определять, что весо́мо больше — факт или фантазия, домысел или чувство и право «от истины точной слегка отвлекаться».

Поэзия Мартынова, особенно историческая, почти никогда не бывает однолинейной и, если так можно выразиться, однособытийной. И речь здесь идет не о наличии текста и подтекста, то есть мысли высказанной и невысказанной, только подразумеваемой, а о том, что поэмы эти всегда многоплановы — в них несколько событий, несколько совершенно различных образов, часто — несколько совершенно различных эпох.

В «Тобольском летописце» — это ямщик и губернатор Самойлов, не говоря уже об их окружении, это целый ряд событий, происходивших в разное время и в разных местах, в «Правдивой истории об Увенькае» — сам Увенькай и его хозяин, полковник Шварц, в «Сказке об атамане Василии Тюменце» — атаман и его жена. В каждой поэме это все равные или почти равные по своему значению фигуры. Там же, где основ-

ной образ один, например в «Волшебных садах», появляется вдруг автор.

Быть может, только «Домотканая Венера» — кстати, и написанная от первого лица девушки-тоболячки, повествующей о своей трагической судьбе,— ограничивается одним главным действующим лицом, но персонажей второго плана и событий там тоже очень много. Такое многообразие способствует созданию вокруг каждого события картины гораздо более широкой, чем оно само, исторической картины того времени, к которому событие относится.

Но есть, однако, в этих поэмах и еще одно свойство, еще одно «действующее лицо», которое способствует созданию широких полотен.

В поэмах, посвященных далекому прошлому, таким действующим лицом является современность, современная точка зрения на события; в поэмах же, близких к нам по времени, этим действующим лицом выступает историзм — отступления в прошлое, суждения о происходящем с точки зрения истории.

Поэтому и в том, и в другом случаях мы улавливаем смысл событий не только как таковых, но и в общей цепи их развития, в общей их связи.

Чем же является эта связь, это общее для творчества поэта, это нечто, отраженное им? Оно должно быть и должно иметь свое имя. И оно его имеет — это творческое начало человеческой личности, которое поэт и рассматривает в самых разных условиях, в самое разное время.

Ермак, только что одержав военную победу, разрывает дерн мечом, бросает в землю горсть зерна — взойдет или не взойдет? Если не взойдет — значит, победа не одержана, либо если и одержана, так неизвестно, во имя чего.

И отсюда как бы начинает развиваться мартыновская поэзия.

Пленный швед — не только пленный, это работник новой страны Сибири.

А «Рассказ о русском инженере»? А «Наяды», «Волшебные сады» и «Подземные моря»? Это все — поэтическое исследование и отражение творческой деятельности людей.

Время от времени поэт обращается и к тому роду творчества, которому он посвятил себя,— к поэзии.

Тогда появляются «Рассказ про мастерство» или «Поэзия как волшебство», многие лирические стихотворения. Тогда поэзия возникает перед нами как творчество своеобразное, неповторимое, высокое, но отнюдь не изолированное от творческой деятельности всех других людей.

Кажется, это же право увлекаться, а увлекаясь, отвлекаться от истины точной, это недоверчивое, чуть ли не презрительное отношение к точности биографий и фотографий — во многом определяют и отношение поэта к слову.

Он часто требует от слова того, что требовать от него, казалось бы, совершенно невозможно и даже безрассудно. Он возлагает на слово такой смысл, который этому слову на первый взгляд вовсе не присущ. Он заставляет его рифмоваться с другим словом там, где рифму невозможно предугадать, заставляет его звучать так, как прежде оно никогда не звучало.

О мастерстве Мартынова немало уже написано, немало шло и до сих пор идет о нем споров.

Автор этой статьи — прозаик, ему трудно, да, наверное, и не подобает вмешиваться в такого рода споры. К тому же никто, кажется, и никогда не отрицал высокой степени мастерства Леонида Мартынова, его новаторства.

Но и отказать себе полностью в каком-то суждении о мастерстве любимого поэта — попросту невозможно. Нельзя не привести хотя бы несколько поразивших нас строк.

В «Тобольском летописце» есть место, где офицер, выполняя наказ Елизаветы, разыскивает в каторжных поселениях на берегу Охотского моря бывшего «генерал-кригскомиссара» Соймонова:

«...На кухню каторжной тюрьмы, как будто просушить пимы, зашел он. Садят хлебы в печь бабенки каторжные там. Так офицер заводит речь:

— Соймонов не известен вам?

— Как звать?

— А Федор его звать, Федор Иванович. Моряк.

— Нет! Про такого не слыхать. Соймонова как будто нет! — бабенки молвили в ответ.

— Ну, до свиданья, коли так. Искать, как видно, труд пустой.

Прислушивалась к речи той старушка некая.

— Постой! Какой-то Федька есть варнак. Да вот,

гляди-кося, в углу, там, в сенцах, прямо на полу, тот, в зипуне.

Седой, в морщинах, полунаг, вдруг поднял голову варнак:

— Вы обо мне?»

Трудно сказать — чего нет в этих строках?! Есть проза и есть стихи. Подкупающая простота и высокое искусство. Есть фольклор, есть необычайное событие, есть образы...

Слова здесь как будто открывают свое еще не открытое умение и даже желание становиться стихами, научить человека пользоваться ими красивее, глубже, точнее, чем до сих пор.

Истинная поэзия никогда не бывает гладкописью.

Читая Мартынова, временами отыскивая способ прочтения, в этом лишний раз убеждаешься. Здесь то и дело происходит как бы смещение жанров не только смежных, но и весьма отдаленных друг от друга, таких, как проза и поэзия, а вместе с этим — и наших понятий о них.

Куда это отнести? С чем сравнить, поставить рядом? До и после чего известного вам прежде?

Однако существует недоумение досадное, а еще чудесное недоумение открытия, когда вы не знаете, как это назвать, но знаете, что это — настоящее искусство.

По-настоящему значительное произведение литературы дает нам новые представления не только о самом себе, но и о литературе в целом — о неизведанных ее возможностях, о новом круге вопросов и понятий, которые она может вовлекать в поле своего зрения, посвоему видеть и по-своему объяснять, о каком-то новом назначении и новой силе слова, о чем, быть может, мы только смутно догадывались прежде.

Всем этим оно вызывает у нас недоумение.

И вот когда мы — и не так уж часто — переживаем такое недоумение, это значит, что перед нами не только литературный факт, но и литературное явление.

Творчество Леонида Мартынова — явление.

1964

ПРОСТОРЫ И ГРАНИЦЫ

О поэзии Павла Васильева

Сила, а вернее, громкость поэтического голоса еще мало о чем говорит сама по себе.

Иной изысканно-тихий и даже меланхолический голосок вовсе не является слабеньким и заглушает голос буйный, заглушает, даже как будто не замечая этого.

Говорится это не в упрек кому-то: в литературе и должно быть тесно от разных жанров, стилей и голосов. Это — в порядке вещей.

Не в порядке вещей — короткая память критика и читателя, который иной раз, вместо того чтобы вспомнить и обдумать, попросту забывает.

Но время прошло, все привходящие обстоятельства прошли тоже, громкая, а часто и излишне громкая известность поэта 30-х годов сибиряка Павла Васильева теперь уже забыта даже его современниками, которым приходилось его знавать, с ним встречаться, а вот поэзия его — живет.

Значит — имеет на это право. Значит — это действительно поэзия.

И когда мы задумываемся над тем, что же отличает Васильева от других поэтов (потому что только нечто собственное, несходное с другими могло провести его через годы), в чем сила поэзии Васильева, то, пожалуй, сразу же и скажем, что она как раз и заключалась... в силе. Не в раздумчивой лиричности, не в глубине познания тех или иных явлений, не в технике письма, не в тончайшей наблюдательности, а прежде всего — в силе его ощущений, как будто даже воспроизводящих ту плоть, которая эти ощущения испытывает.

Конечно, ни поэзия, ни поэт не бывают однолинейными, однозначными, и характеристики поэта тоже

могут быть разными, но важно, чтобы они схватывали нечто наиболее существенное в нем.

Казалось бы, уже что-что, а именно эта существенность, эта индивидуальность Васильева должна была бы найти точное определение в критике. Но случилось подругому: изображение поэтом силы, ее проявлений было отождествлено критиками с натурализмом.

Спору нет — понятия близкие, однако отнюдь не синонимы.

С некоторых пор всякая, если можно так выразиться, «мускулатура», которая позволяет собой любоваться и даже ужасаться ею, почти обязательно приводит к выводу о наличии натуралистичности. И — напрасно.

Поэзия силы, поэзия буйная, имеет такое же право на существование, как и поэзия тонкой лирики. И то и другое — мир человеческих чувств. Это уж другое дело — к чему то и другое ведет, то и другое призывает, срабатывает ли здесь еще и чувство меры у поэта?

У Васильева и сама тема большинства его крупных произведений — тема классовой социальной борьбы, и само время, в котором он бурно жил и о котором писал, время грандиозной ломки,— все взывает как раз к изображению сильному, бескомпромиссному.

И нет в стихах и поэмах Васильева слабых людей. Есть слабые дети, есть беззащитные женщины, но слабых людей — независимо от того, друзья это или враги,— нет.

Женщина у него создание такое:

С темными спокойными бровями,
Ты стройна, улыбчива, бела.
И недаром белыми руками
Ты мне крепко шею обняла...

Либо нечто совсем противоположное:

Девка расписная,
Дура в лентах, серьгах и шелках!

«Хозяин» Деров в поэме «Соляной бунт»:

...В красных сапожках
На деревянных гнутых ногах,
В облачных самоварных парах
Бьет ладонью о крытый стол,
Бьет каблуками в крашеный пол,
Рвет с размаху расшитый ворот
К чертовой матери!

Хозяйство у Дерова тоже необыкновенное:

Сена наметано до небес,
Спят в ларях
Проливные дожди овса,
Мечится в самое небо
Оглобель лес,
И гудят на бочках
Железные пояса.

И коровы — в хозяина:

Устлан травой
Коровий рай,
Окружены их загоны
Долгим ревом.
Молоко по вымям их
Бьет через край,
Ходят они по землям
Ковровым.

Провожает в кровавый поход казачье войско поп. Конечно же, это не какой-то там попик, это — фигура:

Сажень росту, парчовые плечи,
Бычий глаз,
Борода до пупа,
Поп отличный,
Хороший поп.
Нет второго
Такого в мире.

Пока что — здесь персонажи «мирного времени». Что же и говорить, когда они вступают в рубку, когда речь идет либо о жизни, либо о смерти — и третьего им не дано?!

Люди у Васильева всякие — диковатые, жадные и алчные, жестокие и свирепые, благородные и увлеченные, нет только среди них людей пустячных, безликих, двойных и тройных. Люди, у которых даже внешность полностью соответствует их внутреннему складу. Уход от борьбы у них — это уход из жизни. Человек живет у Васильева таким, какой он есть, и так, как он живет,— либо не живет никак.

Мы привыкли, что такого рода былинная сила еще сто лет назад воспринималась именно как былина, как «Песня о купце Калашникове».

Между тем у Васильева сила — это «мы», это «наше» — наше время, наше национальное, наше историческое и, наконец, наше любимое, и поэт умеет показать нам его объемно, в ярких подробностях, в подлиннике, а не в копии с копии.

Потому, наверное, и хочется к подлиннику еще раз вернуться, рассмотреть его подробнее и благожелательнее.

Сила у Васильева, конечно, несколько хвастлива... Но ведь это же — правда, она такая и есть, она неизменно чувствует себя не только в том, чего уже достигла, в чем уже четко и ясно зафиксирована, но и в своей собственной уверенности, в своем желании совершить еще больше — дайте ей только срок!

У нее есть, конечно, и слабости: она наивна и самоуверенна, не ставит самой себе в упрек необдуманных поступков, и эти ощущения мы из поэзии Васильева тоже выносим. Что поделаешь — в абсолютном виде ничто не существует. Она и в самом деле изображена почти натуралистически, но что же составляет «почти»?

«Почти» — это точность, с которой живописует поэт, а подлинно поэтическая точность — антипод точности натуралистической. Натурализм не ищет «говорящей детали», он тщетно хочет сказать все обо всем, «все как есть», для него все детали равны и правомочны. И вот именно тонкость и безошибочность наблюдений, то есть избранность деталей, и позволяет такое качество человека, как физическая сила, перевести из одной плоскости в другую: из натурализма в реализм.

Сильные люди Васильева обладают силой как таковой. Это не сила коварства, не сила власти и властолюбия, не сила неких чар или даже обстоятельств, а то качество, которое существует само по себе, и его есть за что воспевать, им не только возможно, но и следует любоваться, его есть все основания оберегать от его же собственных слабостей и всяческих напастей, перед которыми оно ничуть не сильнее других «тонких» качеств человека. При определенных обстоятельствах с нею приходится вступать в борьбу, то есть приходится мериться силами.

И в социальной борьбе побеждает у Васильева только подлинно сильный, побеждает безоговорочно и в открытой схватке. Здесь сила больше всего и обретает самое себя.

У Васильева, безусловно, наличествует и сила дикая, варварская, бесчеловечная. Возникает «соляной бунт», и вот — сцена зверской расправы, картину кото-

рой автор как будто не только пишет, но и сам поддается ей, ее патологии.

Вот здесь уже — и натурализм, уже повод для того, чтобы «классифицировать» автора. Но повод, даже отнюдь не безосновательный,— еще не вывод...

«Песню о гибели казачьего войска» и такой проницательный критик, как А. Макаров[1], считал неудачной, слабой. В ней он не видел логической связи и находил вещь разрозненной.

Все верно, что касается отсутствия логики и внутренних связей отдельных сцен и картин.

А вот ощущение от «Песни» у меня лично остается все-таки цельным — и совершенно не макаровским. Вероятно, потому, что в ней общепринятой логики искать и не следует, автор ни себе, ни читателю этой самой логики, четких связей между отдельными частями и не обещал. Плохо, когда не выполняется обещанное и заявленное, но ведь здесь такого рода заявки и не было!

«Песня» построена прежде всего на едином ощущении самых различных ее частей, на едином дыхании.

Ну какую логику можно найти, скажем, в народной песне «Калинка, калинка, калинка моя»? Для песенного жанра эта логика вовсе не обязательна, и, наверное, не случайно Васильев тоже назвал свое произведение песней.

Здесь одна картина, одно время сменяется другим, не логически, а песенно.

«Песня о гибели казачьего войска» — многоголоса, многотональна, ее «певцы» изменили бы сами себе, если бы стали соблюдать строго логические связи между собой.

Уже и по самой форме этой вещи нельзя требовать от нее того, чтобы в ней логически «рифмовались» между собой такие строки:

Чтобы республика зацвела,
Щедрой рукой посеем свинец.
Звезды погаснули и огни,
Саблею небо располосни...

А с другой стороны:

Милый, чо, милый, чо?
Милый, сердишься за чо?
Чо ли люди чо сказали,
Чо ли сам заметил чо?

[1] См.: Макаров А. Разговор по поводу... М., «Советский писатель», 1959, с. 243.

Или еще:

Перстнем обручальным
Огонь в снегу.
Теплый шепот слышит,
Дрожь затая,
Холодная-льдистая
Рука твоя.

Разумеется, «Песня» — отнюдь не совершенство, тут двух мнений и не может быть, но дело ведь не в общей оценке и уже во всяком случае не только в ней.

Ведь и сам разговор о «Песне» начат здесь не столько ради оценки или переоценки, сколько в доказательство следующего заключения: Васильев умел и хотел говорить о борьбе, о жестоких событиях своего времени не только языком «Соляного бунта», но и языком «Песни о гибели казачьего войска». А это уже совсем другой язык, вернее даже — другое ви́дение. Все те же как всегда сильные люди как бы «создают» эту песню о событии трагическом, кровавом — о гибели целого войска, но на этот раз здесь нет ни капли крови...

Торони коней, путь далеч,
Видно, вам, казаки, полечь,
Ой, хорунжий, идет беда,
У тебя жена молода...

А еще дальше:

Белоперый, чалый, быстрый буран,
Черные знамена бегут на Зайсан.
А буран их крутит и так, и сяк,
Клыкастый отбитый волчий косяк.
Атаман, скажи-ка, по чьей вине
Атаманша-сабля вся в седине?
Атаман, скажи-ка, по чьей вине
Полстраны в пожарах, в дыму, в огне?

Вот в этом-то движении, в этом уходе из жизни «волчьего косяка» под черными знаменами, в утере — навсегда! — хорунжим его молодой жены — вот в чем мы видим гибель войска.

События близкие — и в пространстве, и во времени, и даже по языку, а все-таки краски, которыми они написаны,— разные, тональность — тоже разная. Значит, и поэт мог быть и бывал разным, не только таким, каким он показал себя пусть даже и в более совершенном «Соляном бунте».

«Бунт» был написан позже, «Песня» — раньше. Может быть, это указывает нам, откуда и куда поэт шел?

шел одновременно с совершенствованием своего мастерства, со своею поэтической зрелостью? На этот счет есть третий и, как нам кажется, решающий свидетель — одна из последних поэм Васильева — «Принц Фома». Тем более что нужно и должно судить о художниках по их лучшим произведениям.

Поэма тоже посвящена гражданской войне, тоже повествует о событиях грозных и трагических. И здесь тоже:

Бежало войско принца вскачь.
Попы спились, поют в печали.
Степные кони одичали,
Киргизы в степи утекли.

Тема — та же, а решена она опять-таки совершенно «бескровно»...

О «Песне» был хоть какой-то разговор, от «Фомы» критики отмахиваются, как от некой безделушки.

«Небольшая поэма «Принц Фома», которая выглядит незаконченной, посвящена изображению белобандитского отряда. Вся она выдержана в сатирических тонах» [1] — вот и все, что говорит по этому поводу в предисловии к «Избранному» Васильева критик Корнелий Зелинский.

А. Макаров говорит о поэме: «малоудачный поиск» [2].

Не знаю, как могло случиться такое обидное недоразумение. Непонятно, как можно, признавая Васильева, не признавать «Фому»?

Может быть, здесь подразумевается отсутствие в вещи серьезной социальной концепции? Но это ведь отсутствие кажущееся!

В гражданской войне, в столкновении социальных сил были самые разные оттенки, в том числе и просто бунт как таковой, и просто ухарство, желание попользоваться моментом, пограбить, повластвовать, показать себя.

Принц и есть этакий сибирский, глухоманный калиф на час, своеобразие и самобытность которого, наверное, никто лучше Васильева не смог бы подметить, но дело еще и в том, что здесь также наличествует социальная коллизия, да какая!

---

[1] Васильев П. Избранные стихотворения и поэмы. М., Гослитиздат, 1957, с. 18.

[2] Макаров А. Разговор по поводу..., с. 248.

В то время, когда Фома, властитель губернии, у которого, однако, в подкладке предусмотрительно зашито восемьсот рублей, прекрасно знает цену своему «наместничеству», а в значительной мере и самому себе,— этого не знают и не понимают изысканные господа из штаба французского генерала Жанена, возглавлявшего войска интервентов при Колчаке.

Стремление их к трогательному единению с Фомой — картина, которой по ее выразительности, иронии, язвительности найдется мало равных:

Штыком ширяя в грудах снеди,
Голубоглаз, с лицом из меди,
Сидит правительства глава...

Еще он:

Пьет самогон из чашки чайной...

А в это время, именно в этот момент:

Посол Жанена чрезвычайный,
Стряхнув с усов седую пыль,
. . . .
На галльском доблестном наречье
Так произносит тост де Вилль:
— ...Скрыть не в силах восхищенья,
Вас за прием и угощенье
Благодарить желаю я.
Россия может спать спокойно.
Ее сыны ее достойны.

И даже более того:

...В сраженье, демократы,
Зовет история сама.

Действительно, сколько подобных «демократов», цивилизованных «спасителей» народов знала и знает история разных уголков земли!..

«Принц» Фома, как человек практичный и вообще-то незлобливый, хотя и буйный, обрел покой:

— Алена, отвори!
— Фома, сердешный мой, болезный,—
Слетает спешно крюк железный.
Угрюмо принц стоит в двери,
В косматой бурке на пороге:
— Едва ушел. Устал с дороги.
Раскрой постель. Налей мне щей.

И почти уже в самом финале, и так неожиданно:

Фома разут, раздет, развенчан,—
Вот почему лукавых женщин
Коварный шепот губит нас.

Фома кончил так. Другие Фомы кончали и кончают посвирепее.

Почему эту вещь, так мастерски написанную и законченную, К. Зелинский все-таки считает незаконченной — сказать трудно. Ирония же, вся интонация ее — настолько органична, что кажется здесь единственно возможной. И потому, что она, ирония, пронизывает поэму от начала до конца, и потому, что она относится и к образам произведения, и ко всей обстановке, и к тому, как принято выражаться, «текущему политическому моменту», который автором схвачен и запечатлен.

Уж не эта ли пронизывающая всю вещь ирония и показалась некоторым критикам чем-то «незаконченным»? Чем-то недостаточным?

Гадать не будем...

Другое, достаточно категорическое, суждение критиков заключается в том, что Васильев был обременен «грузом старых эстетических представлений». Так по крайней мере утверждает «Краткая литературная энциклопедия» в очень небольшой справке о творчестве поэта, составленной А. Русаковой.

Плохо, конечно, когда над нами тяготеет груз прошлого. Но при всей самобытности и талантливости художника ему все-таки необходим тот или иной груз прошлого. Непосильный груз вреден, посильный — необходим, и, может быть, тем больший, чем больше его самобытность и талантливость. Тут вероятна даже какая-то пропорциональность. Он необходим хотя бы для того, чтобы его отвергать. Отвержение — тоже не последняя часть процесса творчества, причем, разумеется, не просто освобождение от ненужных оков — это понятно и элементарно,— а отвержение как смена или как эволюция некоторых эстетических понятий, представлений, привязанностей. Новое не рождается из ничего или из отрицания всего. Оно вырастает как доказательство своей новой, до тех пор не осознанной правоты, доказательство не перед каким-то там мифом, иногда только для того и сконструированным, чтобы его опровергнуть. Нет, новое начинается из столкновения равных или даже — более слабого с более сильным.

Наконец, этот самый пресловутый груз прошлого,

видимо, включает и такое понятие, как традиция. А вне традиций вряд ли существует культура вообще, поэзия в частности.

Всего этого можно было бы и не говорить, если бы речь шла о творчестве не Васильева, а какого-то другого поэта или писателя, творчество которого демонстрировало бы все это само по себе.

Но в том-то и дело, что Васильев был слишком уж свободен от груза эстетических представлений, свободен, если так можно сказать, даже от груза поэтической культуры.

Павел Васильев хватает слова русской народной речи на лету, и вся эта речь находится у него в безоговорочном подчинении, он владеет ею самоуправно, даже — жестоко, только талант оправдывает это самоуправство, иначе перед нами тотчас и явилась бы грубая стилизация, работа «под народ», «под кондового сибирячка». Васильев не боится фольклора, лубка, ничего не боится в этой стихии.

Конечно, Васильев — поэт далеко не единственный в этом роде. Сходство его с другими поэтами русского народного языка начинается с того, что для всех них язык наш был не только разговорным, слышанным, но и печатным, поэтическим.

Но и различия между ними, индивидуальность каждого, индивидуальность того же Васильева были возможны опять-таки лишь в тех пределах, которые этот язык сам по себе допускает.

Уже не однажды было замечено, что как только Васильев начинает говорить о чем-то совершенно новом, о чем надо сказать впервые,— о своем современнике, строителе Турксиба, о первом совхозе в казачьей станице Черлак, о новых идеях,— он становится немощным, блеклым, язык его начинает напоминать статью из газеты.

Конечно, беда эта была и есть не только у него одного, но в нем она проявилась разительно.

Та речь, которой он владел в совершенстве, народная речь, как бы мы ее ни любили и ни преклонялись перед ней, сама по себе не перестает от этого быть относительно консервативной, неспособной сразу же схватить и сразу же выразить какую-то неожиданную для нее новизну мира. Когда-нибудь нынешнюю спорную, неявную проблему или образ она не то что назовет — окрестит метко и своеобразно одним каким-то

словом, одной пословицей или шуточным выражением. Но для этого необходимы годы.

Опытом своих современников Васильев пренебрегал. Маяковского для него как будто и не существовало. Напрасно критик К. Зелинский ставит его и рядом с Есениным. Против этого возражал уже А. Макаров, возражал достаточно убедительно. Хотя однажды Павел Васильев прямо декларировал свою привязанность к Демьяну Бедному, но декларация эта опять-таки не подтверждается его творчеством, на что снова указывал Макаров, зато она характерна для Васильева такими строками:

Сколько струн в великом
Мужичьем сердце каждого стиха!

Васильева роднит с поэтами прошлого и с его современниками сама первооснова, сама народность его поэзии. Даже среди поэтов Васильев был поэтом на редкость безбожным и — тоже на редкость — первозданным.

Наверное, Васильеву было бы нетрудно стать «не хуже других», но он предпочитал вполне реальному, вполне достижимому и вполне устраивающему многих других исполнению — свой собственный голос, даже там, где голос его срывался, где он не обладал еще качествами, необходимыми для того, чтобы взять намеченную высоту, где он был слышен едва ли не одному ему.

Должно быть, временами были и самому поэту присущи некоторые сомнения; видимо, не было и ему бесповоротно чуждым «прогрессивное отступление» со своей слишком уж неприступной позиции. Может быть, и он понимал, что далеко не все, что он видел, и как бы остро он все виденное ни ощущал,— доступно изобразительным средствам, которыми он овладел, и даже самому духу его поэзии. На такую догадку наводит одно из стихотворений Васильева:

Мню я быть мастером, затосковав о трудной работе,
Чтоб останавливать мрамора гиблый разбег и крушенье,
Лить жеребцов из бронзы гудящей, с ноздрями как розы,
И быков, у которых вздыхают острые ребра.

Веки тяжелых каменных женщин не дают мне покоя.
Губы у женщин тех молчаливы, задумчивы и ничего
не расскажут,
Дай мне больше недуга этого, жизнь,— я не хочу утоленья,
Жажды мне дай и уменья в искусной этой работе.

Быки, женщины, жеребцы — каменные и бронзовые... Натюрморт подлинно васильевский. И ноздри как розы — это тоже его кисть.

Но уже сам гекзаметр, сама тоска по иным поэзиям невольно наводят и на догадки, и на размышления.

Не так уж прост и другой вопрос: об историзме творчества Васильева.

Прежде всего, даже по формальному признаку, все произведения Васильева о гражданской войне и годах, непосредственно предшествующих ей, вряд ли можно считать для него самого подлинно историческими. Более отдаленных событий он, по существу, и не брал совсем, эти же были для него событиями пятнадцатилетней или только чуть большей давности. Правда, во время гражданской войны поэту было около десяти лет, но в иных случаях это очень серьезный возраст. Человек, который в четырнадцать — пятнадцать лет писал уже довольно зрелые стихи, в восемнадцать — «Песню о гибели казачьего войска», конечно же, обладал способностью даже в самом раннем детстве как-то видеть события, обладал памятью, которая спустя годы могла эти события восстановить.

Кроме того, конец 20-х, самое начало 30-х годов в Сибири — это годы, как бы наполненные не только воспоминаниями минувшей войны и революции, но и живыми ее участниками. Каждый сибиряк, который был старше Васильева всего лишь на десяток лет, если уж не являлся активным участником минувших событий, так, во всяком случае, был причастен к ним.

На улицах сибирских городов и сел, особенно в революционные праздники, можно было увидеть людей в папахах, перевязанных красными лентами,— партизанского Сусанина или партизанского Кузьму Крючкова. Немало было и людей не у дел, но с безупречной военной выправкой — бывших царских, а затем и белых офицеров.

И несомненно, какими бы ни были личные впечатления поэта о гражданской войне, но они были.

Однако дело не только в этом.

История той же гражданской войны была впервые написана ее участниками и руководителями спустя всего лишь несколько лет после того, как отгремели последние бои, а начали они свой труд в годы, когда существовал еще и воевал с красными войсками белых барон Унгерн.

И все-таки это были историки, потому что подходили они к событиям не столько через свои собственные впечатления, сколько привлекая определенные и объективные материалы и документы, систематизированные свидетельские показания. Иначе говоря, участники событий стали их исследователями. Они делали в истории открытия, они делали в ней обобщения, они события объясняли.

Вероятно, идеалом поэта-историка был и остается Пушкин. В Сибири во времена Васильева тоже был поэт, в историзме которого нельзя сомневаться и даже оговаривать его серьезными «но»,— это Леонид Мартынов.

В произведениях же Васильева мы не найдем ни одного действительного, конкретного события, ни одного подлинного исторического лица, кроме разве самых беглых упоминаний, которые могут принадлежать любому человеку, ни в какой мере не причастному ни к истории, ни к поэзии.

У него нет и в помине своего «славного героя прошлого», а ведь без такого героя не обошелся и, наверное, не обойдется ни один историк, тем более — историк-поэт.

И те же картины революции, революционных столкновений богаты у него необычайно яркими красками, но по мысли и даже по сюжетам они статичны, однообразны. Несколько особняком стоит «Принц Фома», но и здесь — находка золотоискателя, а не поиск мысли исторической, и здесь — на первом плане краски, живопись.

Однако как бы сам поэт ни подходил к историческому материалу, каким бы способом он его ни находил для себя, факт остается фактом: все-таки мы, читатели, воспринимаем многие его произведения как исторические.

И не потому, что время прошло, отдалило нас от событий и помимо поэта сделало свое дело. Так не бывает. Сила самого опоэтизирования делает это, на это способна, конечно, когда она попадает прямо в цель, то есть когда опоэтизирование прилагается к событию действительно историческому, точно схватывает детали, краски, запах того времени, о котором поэт говорит.

Так возникли тот же «Принц Фома», и «Песня о гибели казачьего войска», и «Соляной бунт».

Васильев жил в круге очень ярких впечатлений, но не выходил из него, не настиг впечатлений и мыслей

иных, их и нельзя было настигнуть все в том же качестве. С возрастом, с течением времени они не могли приходить к нему все тем же чисто эмпирическим путем, а только наряду с познанием, по крайней мере вместе с пристальным, избранным интересом к какой-то стороне окружавшей его действительности, с ее изучением.

Удивительно, что все тот же замкнутый круг своих впечатлений Васильев очень незначительно расширил даже путешествиями. Он побывал и на Тихом океане, и на Лене, и в Средней Азии, но как немного у него произведений непосредственно об этих далеких местах, как мало он принес оттуда в свои последующие стихи и поэмы.

Так они шли и шли — степные и родные ему с детства павлодарские запахи и краски — через всю его поэзию:

Тяжелой кошмой развернута мгла...

Или:

В черном небе волчья проседь...

Или:

Немеркнущая, ветряная синь
Глухих озер. И пряный холод дынь.

И даже пулеметы у него — «пулеметы-косари», и даже революция в Германии — вино, которому настало время выбить дно у бочек.

Он шел не вширь, а вглубь, в глубь того, что имел от природы, от рождения, продолжая добывать все новые находки, много находок, однако чем дальше, тем все больше похожих одна на другую. Он не искал совершенно новых понятий и оценок, но понятия и оценки, сложившиеся в то время, в которое он жил и которым жил, — часто передавал своей поэзией с необычайной силой.

Во всей Западной Сибири павлодарские степи, вероятно, одно из самых унылых и однообразных мест, но для Васильева это золотая россыпь.

Столичный поэт, уже признанный, уже известный, он то и дело оказывается в плену у Павлодара независимо от того, проклинал он его в стихах или воспевал.

В конечном счете его гордость то и дело оказывалась гордостью опять-таки павлодарской:

Мы с тобой идем. Не лыком шиты —
Горожане, а не кто-нибудь.

(«Горожанка»)

Я вез с собою голос знаменитый
Моих отцов, их гиканье и свист...

(«В защиту пастуха-поэта»)

Я детеныш пшеницы и ржи,
Верю в неслыханное счастье.

(«Одна ночь»)

Однако приближается уже и неминуемый финал:

Я стою пред миром новым, руки
Опустив, страстей своих палач,
Не познавший песни и науки.

(«Клятва на чаше»)

Это хотя и другая тональность, другой мотив и другой повод, но причины те же, что мы уже слышали однажды в гекзаметрах: «Мню я быть мастером...»

Конечно, двадцать шесть лет, годы с 1910-го по 1937-й, которые он прожил,— это очень немного. Все еще было впереди...

Он еще мог достигнуть новых просторов, преодолеть многие и многие границы.

И если границам нужно все-таки какое-то название, так тут же и следует сказать, что Васильев — поэт своего дня.

Он, как мог, в силу своих возможностей, усвоил этот день, его дух, а еще больше — его плоть, а дальше творил из того, что усвоил, из того, что ощутил.

Он удивлялся, что

Мир старый жив. Еще не все сравнялось,—

(«Расставание»)

а сам писал и писал о впечатлениях, которые дал ему далекий в ту пору от больших событий городок Павлодар на пустынной реке Иртыш.

История, прошлое, «мир старый» и здесь, и всюду в применении к Васильеву — это вовсе не исторические, тем более не эстетические концепции, которые как-то задерживали бы его развитие.

Это прежде всего — его же собственные впечатления, остроощутимые, очень рано в нем возникшие.

Должно быть, вспыхнув, они и сделали из него поэта, а сделав — сами уже перестали развиваться вширь.

То и дело он говорил о своем современнике лозунгами нынешнего дня, не признавая за собратом, как, вероятно, и за самим собой, права на утонченную лирику, еще меньше — на открытую философичность.

День, о котором он возглашал, был могучим, разгоряченным, полным великих замыслов и жертв.

И даже та часть этого дня, которая оказалась в поле зрения поэта, в границах его ощущений, позволила ему стать поэтом.

И нынче — он поэт. Хороший, а главное — разный. С короткой жизнью и с поучительной творческой судьбой.

1966

СКАЗКИ РЕАЛИСТА И РЕАЛИЗМ СКАЗОЧНИКА

Очерк творчества Андрея Платонова

Очень многие писатели, прежде всего — писатели-прозаики, обращались к сказкам, дополняя их или сокращая, творчески перерабатывая.

Каждый при этом выбирал те, которые отвечали смыслу его собственного творчества, звучанию его голоса.

Сказка дает для такого выбора огромный простор. Она ведь распространяется от анекдота и прибаутки до народного эпоса, до философии существования целого народа. Недавно был переиздан сборник русских народных сказок «Волшебное кольцо», которые «пересказал» Андрей Платонов.

Что же выбрал Андрей Платонов для «пересказа»?

Что говорит этот выбор о нем самом?

Его внимание привлекли прежде всего те сказки, содержание которых касается трагической, очень жестокой и бескомпромиссной борьбы добра и зла, подлинной мудрости с воинствующим заблуждением.

В них нет и следа той сглаженности, которая рассчитана иногда на милых деток, а иногда и на милых взрослых.

Здесь рубят головы и руки, и живое тело свертывают в петлю или рассыпают на части, здесь носители добра и не думают изображать ангелов — то и дело они сами заблуждаются, они обидчивы, а отчасти и легковерны, поддаются подстрекательствам злодеев, и хотя мы всегда на стороне добрых, однако же далеко не всегда и не все их поступки можем одобрить.

Потому что эти поступки тоже не безупречны, в этих поступках надо еще разобраться, они могут вызвать и недоумение, даже — осуждение.

Финист — ясный сокол, когда летел на свидание к милой своей Марьюшке, оцарапался об острые осколки-иголки, которые вставили в окно недобрые и завистливые Марьюшкины сестры, и сильно обиделся.

Обиделся и заявил:

«Прощай, моя красна девица! Коли нужен я тебе, ты найдешь меня, хоть и далеко я буду. А прежде того, идучи ко мне, ты башмаков железных три пары износишь, трое посохов железных о траву подорожную сотрешь, три хлеба каменных изглодаешь».

А Марьюшка не обиделась, шла «и чистым полем и темным лесом», покуда не исполнила тяжкой епитимьи, наложенной на нее любимым Финистом.

Ну, Финист — тот и сокол, и ясный. Он все-таки обошелся без кровопролития.

Другое дело — Иван из сказки «Иван-чудо»: «...муж совсем рассерчал: не от меня, дескать, этот ребенок будет, а, гляди-ка, от другого кого, ступай, говорит, чтобы глаза мои тебя век не видели!»

Надумала жена: «Пойду куда глаза глядят, зайду в темные леса, встречу там лютого зверя, а зверь съест меня».

Это — всерьез, тут уже не до шуток, не до словесных украшений, не до отступлений в лирику или в подробности пейзажа.

Открыта страница трагического повествования, его надо довести до конца.

Но уже эта первая страница сказки многое говорит о склонностях, а может быть, и о сущности писателя, о его интересах в искусстве, об интересе к истокам искусства, каковым является сказочное, народное творчество.

Мы чувствуем эту сущность независимо от жанра, в котором писатель выступает.

Жанры для писателя могут быть различными, писатель останавливается то на одном из них, то на другом, а вот степень доступного писателю трагизма выбирает не столько он сам, сколько она выбирает его.

Большого и философствующего писателя никогда, должно быть, не покидают два понятия: одно о конце мира, другое — о возможности переустройства мира на новых и справедливых началах.

В пространстве между этими двумя противоположными понятиями и представлениями он и определяет свои координаты, в этом пространстве он передвигается

то в одном, а то и в разных направлениях, а двигаясь, тратит себя и вырабатывает ту энергию, которая называется его творческой энергией.

Так, мне кажется, мог думать Платонов.

На это свое движение, на поиск этих координат писатель все время обращает наше внимание через своих героев, через них он мучительно и страстно желает вписаться все в то же ограниченное двумя пределами пространство, желает расширить его в сторону добра, разума, справедливости.

И здесь, в этом стремлении, жанровые условности сводятся для него к минимуму, он то и дело ими пренебрегает, можно даже сказать, что временами он держит себя по отношению к ним вызывающе пренебрежительно.

В одно из своих самых философских произведений, в легендарную повесть «Джан», которая как раз и есть страстный поиск все тех же координат и все та же философия, которая ставит все тот же вечный вопрос о трагизме человеческого существования, Платонов вдруг вводит — причем безо всяких оговорок — совершенно реальные сцены и реальные события.

Главный герой повести «явился в Центральный Комитет партии, где его давно уже ожидали. Секретарь комитета сказал Чагатаеву, что где-то в районе Сары-Камыша, Усть-Урта и дельты Амударьи блуждает и бедствует небольшой кочевой народ из разных национальностей».

Затем, по обычному ходу развития легенды, появляется и отрицательный герой: «...к Чагатаеву пришел уполномоченный райисполкома Нур-Мухаммед. Чагатаев сказал ему, что он командирован сюда для помощи своему народу, который должен стать счастливым, движущимся вперед и многочисленным»,— а вся легенда тоже начинается с совершенно реалистической сцены во дворе Московского экономического института.

По поводу повести «Сокровенный человек», само название которой уже предполагает интимность главного героя, Фомы Егоровича Пухова, Платонов без обиняков сообщает совершенно конкретный адрес: «Этой повестью я обязан своему бывшему товарищу Ф. Е. Пухову и т. Тольскому, комиссару Новороссийского десанта в тыл Врангеля». В то же время это вовсе не исключение, а правило для платоновских реалистических рассказов, что все время мы чувствуем в них оттенок ска-

зочности. Таковы и «Сокровенный человек», и «Происхождение мастера», и «Луговые мастера», и «Ямская слобода», и «Лампочка Ильича», и «Песчаная учительница» — все таковы.

В этом резком смешении и взаимодействии жанров, жанровых правил и условностей Платонов был не одинок — его современники по советской литературе 20—30-х годов делали то же или почти то же самое, однако же платоновские герои — это только его герои и ничьи больше, их не найдешь ни у того, ни у другого, ни у третьего, они ходят по нашей земле, быть может, даже более суровой к ним, чем к нам, они испытывают при этом боль бо́льшую и более острую, чем мы, небо над ними как будто другое, не наше, не совсем наше, и они смотрят по-своему в это небо и видят и чувствуют в нем что-то, чего другие не видят и не чувствуют.

Да, они нездешни.

В «Происхождении мастера» рыбак утопился для того, чтобы убедить себя, что в воде можно утонуть; в повести «Джан» Чагатаев совершает немыслимый подвиг, чтобы спасти свой небольшой народ, чтобы постигнуть собственные мессианские возможности, в «Глиняном доме в уездном саду» мальчик говорит воробьям: «Вы не люди — надо мучиться, а вы прямо умираете, с вами не игра»,— да и вообще немного у Платонова рассказов, в которых его герои были бы никак не причастны к «нездешности», в частности — они всегда готовы, если так можно выразиться, экспериментировать над собою в поиске истины своего существования.

Отчасти они напоминают мне героев Достоевского — и этой своей нездешностью, своим неиссякаемым и страстным желанием вписаться в здешний, в реальный мир и своим стремлением к постижению той степени трагизма, на которую человек способен сегодня ради более счастливого завтра; к постижению той — максимальной — жертвы ради жизни, которая еще разумна, которая не уничтожит, а действительно обновит жизнь; к постижению того рубежа, за которым цель уже не оправдывает средства.

Герои Достоевского более, а герои Платонова менее отчетливо, но все-таки тоже знают, что жертва может быть настолько велика, что не оставит ничего от самой жизни, а тогда — чего же ради она совершается? Чего ради существуют и жертвы, и страдания, если они

бессильны обновить мир или хотя бы сегодняшнюю реальную жизнь?

Эта проблема, по-видимому, и есть высшая проблема искусства, по крайней мере, в тех пределах, в которых искусство может себя формулировать. В самом деле, что еще более значительное и общечеловеческое оно сказать может? Конечно, из этой формулировки, из этой давней его формулы вовсе не следует, что все искусство всегда и неизменно только и должно делать, что решать эту проблему; оно не должно, да и не может этого хотя бы потому, что имеет свою собственную жизнь, свой собственный быт, из которого ему лишь изредка дано подняться на свои собственные сияющие вершины.

Но речь сейчас не об этом — речь о причастности Платонова к этой самой значительной задаче искусства, о тех параллелях, которые в этой связи можно провести между его героями и героями того же Достоевского.

По-видимому, чем более высока в философском смысле задача, поставленная автором, тем сильнее и настойчивее эта задача вынуждает его отрешаться от образов совершенно правдоподобных и повседневных, а обращать свой взгляд к образам-символам, которые воплощали бы тот или иной аспект проблемы, поставленной произведением в целом.

И вот уже Карамазовы из «Братьев Карамазовых» и подросток из «Подростка» — это не что иное, как символы такого рода, воплощения нравственного поиска. По логике вещей тут же должны возникнуть и образы с другим знаком — со знаком отрицания такого поиска, со знаком практики жизни, сугубо практические жители, но оказывается, что они тоже могут существовать рядом с первыми, вступать с ними в те или иные отношения, только став символами. Не раньше. И действительно — если они всего-навсего негодяи и циники — этого совершенно недостаточно, они становятся носителями философии практицизма, они должны достигнуть мефистофельства и достигают его.

В романе «Война и мир» Толстой пытался соединить совершенные реалистические образы с высшей философией, но органической и столь же совершенной связи не получилось: образы стали прекрасными образцами реализма, а философия то и дело остается его собственной, Льва Николаевича Толстого, философией.

В этом нет ничего удивительного, и в действительности соединить повседневную жизнь с философией — еще труднее, чем в искусстве.

Платоновские герои менее реалистичны, чем толстовские, более, чем они,— нездешни, но они гораздо менее символичны, чем герои Достоевского.

В меру своего таланта и всей своей личности Платонов находит свое место между Толстым и Достоевским по степени символичности своих героев, он находит место и для своей собственной методики в решении общей для всех задачи — задачи соединения философии существования человека с его реальным существованием.

Он открывает здесь еще одну плоскость возможных поисков, а может быть, и находок, у него появляются последователи, которые полагают, что эта, открытая Платоновым, плоскость и его методика — перспективны, что их собственное мироощущение и собственный талант позволяют им и даже заставляют их продолжать поиск в том же направлении, исходить из тех же начал.

Образы-символы Достоевского нельзя назвать бесплотными, они обладают плотью, плотью с некоторыми присущими ей и определенными свойствами: эротическими, свойствами ощущения физической боли.

Но свойства, а тем более чуткость плоти у Достоевского, в общем-то, ограничены — его герои почти не улавливают запахов земли и ветров, они для них если и существуют, так чаще всего — смердящие, свойства плоти у Достоевского существуют не столько сами по себе, сколько как предмет исследования и экспериментирования — до чего эти свойства доведут, если их не контролировать и не обуздывать, до чего они доведут, если их беспредельно нагружать и болью, и страхом, и эротикой?

Наконец, плоть в произведениях Достоевского — это антипод духа, препятствие на пути ко всему возвышенно-духовному.

У Платонова все иначе.

Здесь плоть — совершенный инструмент для улавливания импульсов Земли и даже вселенной, его герой идет босой по дороге, но касается не дорожной пыли и грязи, а непосредственно земного шара, он чувствует себя рядом со звездами, а все ветры от самого

незаметного до шквального он пропускает через себя, через свой организм.

Плоть у него не отвергает человека, а утверждает его в самых разных проявлениях, в том числе — и в его сознании, и платоновский человек никогда не стремится отделить себя от своей плоти, предать ее анафеме. У него нет для этого никаких оснований.

В «Реке Потудань» Никиту Фирсова плоть заводит в тупик, лишь только возникают его отношения с Любой; отношения эти мучительны, они приводят к тому, что Люба делает попытку утопиться. Ситуация Достоевского!

Вот уж где Достоевский проклял бы плоть, возвел бы эту ситуацию и в трагедию, и в проблему, в неразрешимый конфликт плоти и духа.

Но ни у того, ни у другого платоновского героя нет ни слова упрека к плоти, к природе, ее создавшей.

«— Тебе ничего сейчас, не жалко со мной жить? — спросила она.

— Нет, мне ничего,— ответил Никита.— Я уже привык быть счастливым с тобой».

Это — конец вещи, это — разрешение возникшего конфликта.

Уж у кого, у кого, а у Платонова герои все время подвергаются испытаниям физической болью, голодом, холодом; земля слишком сурова к ним, как бы даже намеренно сурова, и приходится только удивляться стоицизму этих людей, тому, что они так ни разу ни словом не оскорбили ни землю, ни природу за их бесконечную суровость и даже жестокость.

Более того — платоновские герои обладают не только психологией, а, если так можно сказать, еще и биопсихологией.

Их мысли, как и вся их психологическая деятельность, это продукт не только мозга, но и всего вполне самоощущаемого и даже самоосязаемого организма. Прежде всего и, пожалуй, чаще всего — сердца.

Осознание себя и ощущение себя для платоновских героев вещи, может быть, и различные, но друг от друга неотделимые в любых ситуациях и состояниях, будь это состояние глубокого логического размышления или в такой же мере глубокого чувствования и чувственности.

Фрося из рассказа «Фро», женщина, казалось бы, полностью и до конца отдавшаяся на волю своей соб-

ственной чувственности, и та находится в состоянии этой слитности мыслей и ощущений: «...она хотела быть любимой им постоянно, непрерывно, чтобы внутри ее тела, среди обыкновенной скучной души, томилась и произрастала вторая милая жизнь».

И мальчик-музыкант, который вызывает в Фросе чувство неизъяснимой симпатии, характерен прежде всего и опять-таки тем, что он «был еще мал, он еще не выбрал изо всего мира что-нибудь единственное для вечной любви, его сердце билось пустым и свободным, ничего не похищая для одного себя из добра жизни».

И Люба из уже упоминавшегося рассказа «Река Потудань» размышляет так:

«...Бессмысленность жизни, так же как голод и нужда, слишком измучили человеческое сердце, и надо было понять, что же есть существование людей, это — серьезно или нарочно?»

И красноармейцы в гражданской войне «еще не знали ценности жизни, и поэтому им была неизвестна трусость — жалость потерять свое тело» («Сокровен ный человек»).

И для Пухова из той же повести особенно характерно это единение мысли и чувства:

«...сердце его иногда тревожилось и трепетало от родственного человека и хотело жаловаться всей круговой поруке людей на общую беззащитность».

И для советского солдата в войне с фашизмом, когда он обороняет Семидворье («Оборона Семидворья»):

«Но в сердце этого бойца тоже была память и тоска по убитым товарищам».

«И Агеев сам почувствовал в себе окостеневшее, жесткое сердце, способное вытерпеть любой удар врага и не утомиться от него».

«Ум растет у человека из сердца».

И только в единственной ситуации платоновский герой отделяет свое сердце от своей мысли:

«Ведь я умираю — мои все умерли давно!» — подумал Афонин и пожелал отрезать себе голову от разрушенного пулями сердца — для дальнейшего сознания» («Сокровенный человек»).

Платонову как будто даже неизвестно — что чему предшествует: работа сердца работе мысли или — наоборот — мысль обеспечивает сердечную деятельность:

«...Чем-нибудь надо человеку наполнять свою душу, и если нет ничего, то сердце алчно жует собственную кровь».

«...Про самое сердце свое надо помнить, чтобы оно билось, и заставлять его работать».

«Девочка дышала во сне редко и почти незаметно, было страшно, что она может забыть вздохнуть и тогда умрет».

Когда мы читаем все это, вдруг начинает казаться, что открывается один из неуловимых секретов платоновского мастерства, его воздействия на нас: кажется, будто он возбуждает некие не просто психологические, но и биопсихологические токи между нами и своими героями. Этого можно достигнуть именно одушевлением плоти, а вовсе не ее приматом над духом, как это понимают иные поистине «биологические» писатели.

Это ощущение углубляется Платоновым дальше и дальше.

Платоновский человек никогда не является частицей, изолированной от мира, от природы; наоборот, он — частица этого мира и этой природы, их высшего смысла, их биологии, химии и механики, она, эта единица, все время чувствует сумму, приобщена к целому и нас тоже способна приобщить к нему.

Его герой, если в каком-то смысле и историчен — то опять-таки в смысле природном.

Он никогда не вспоминает ни своей истории, ни тем более исторической науки, не обращается памятью и воображением к своим предкам — пещерным, средневековым или нового времени, ко всему тому, что эти предки совершили плохого или хорошего, но каждый из его героев, будучи только сегодняшним, тем не менее никогда не является пионером человеческого существования, первооткрывателем жизни, и мы угадываем в нем преемственность поколений, наследственность, а вовсе не благоприобретенность его свойств, качеств и побуждений.

История платоновских героев — история опять-таки скорее всего биопсихическая, и иначе, по-видимому, для него и не могло быть, если уж он встал на этот путь, погрузился в эту сферу.

Он и читателя погружает в нее же, не столько в рассуждения о ней, в объяснения ее, сколько в соответствующие переживания, в которые, нам кажется, мы включаемся вполне непосредственно.

Он и технику, созданную современным человеком, приобщает к той же природе и к тому же процессу и делает это так: «Вот именно!» — густым басом сочувствовал паровоз и погружался во тьму своих охлажденных сил». Он и природу приравнивает к технике, когда говорит: «Сделано природой из всех ее чистых сил». Природный процесс у него един, повсюду и неизменно, с редкой последовательностью, и именно в переживании этого процесса люди ощущают себя, когда говорят или думают о себе, или сами видят свои поступки таким образом:

«следует перестать быть привычным к самому себе»;

«молчал около сына в скромном недоумении своей любви к нему»;

«любил жить без перерыва»;

«годы юности проходили без памяти и следа»;

«закрыл глаза, чтобы сердце его все забыло»;

«жизнь нигде не имела пустоты и спокойствия»;

самолет идет «в высоту мира».

Люди у Платонова даже несколько невесомы, вольно или невольно, он и сам говорит нам об этом, говорит буквально, когда то и дело наполняет их «легкостью», «светлой пустотой», «очарованием», и вот они как бы уже не совсем, не полностью испытывают силы земного притяжения. Но это не оттого, что они отвлечены от Земли, а как раз по обратной причине — они причисляют себя к Земле непосредственно, а Землю — непосредственно к себе. Для них это чуть ли не одно тело и уж во всяком случае они обладают множеством общих свойств и даже — общих чувств.

Должно быть, эта слиянность с Землей, с почвой, с природой и внушает им чувство и необходимости, и неизбежности своего существования — между тем и другим они не видят разницы. Сомнения по поводу своего существования им чужды, потому что, сомневаясь в нем, они должны будут поставить под сомнение существование Земли, мира, существование вообще.

И вот герои Платонова с утра до вечера, в мирной обстановке и на войне, в беспредельных степях, в кабине самолета, в трюме корабля или глядя в топку локомотива, повсюду совершают одно и то же дело: жизнь. Жизнь в пространстве природы, или жизнь в природном пространстве, так можно, наверное, сказать в подражание самому Платонову.

* * *

У Платонова очень редко встречается пейзаж, подобный заднику сцены, который не только определяет, но и ограничивает место действия, а вместе с тем выделяет героя из всего мира, из всей окружающей природы и жизни.

Этот классический пейзаж он заменил пространством, так что его герой погружен не в пейзаж, а именно в пространство, все время его наблюдает, ощущает и чувствует его состояние, перемены, происходящие в нем. Сердце, да и вся деятельность, вся жизнь его героев контактирует непосредственно с этим пространством.

«Передний паровозный скат, называемый катушкой, заставил Захара Павловича позаботиться о бесконечности пространства. Он специально выходил ночью глядеть на звезды — просторен ли мир, хватит ли места колесам вечно жить и вращаться... Потом Захар Павлович стал на глаз считать версты до синей меняющейся звезды: он расставил руки масштабом и умственно прикладывал этот масштаб к пространству» («Происхождение мастера»).

Паровоз и все размышления, связанные с ним, почти всегда связаны у Платонова с пространством, это понятно и просто с чисто технической точки зрения, но вот и бесконечно влюбленная Фрося тоже все время приобщается непосредственно к природе, к ночному и дневному небу, и для нее пространство начинается рядом с нею, рукой подать:

«...Фрося сидела в сумраке, в блаженстве любви и памяти к уехавшему человеку. За окном, начав прямой путь в небесное счастливое пространство, росли сосны...»

«Фрося пробудилась: еще светло на свете, надо было вставать жить. Она засмотрелась на небо, полное греющего тепла, покрытое живыми следами исчезающего солнца, словно там находилось счастье, которое было сделано природой изо всех своих чистых сил, чтобы счастье от нее снаружи проникло внутрь человека».

И землекоп Альвин увлечен своей работой таким образом: «...Альвин с увлечением копал землю, словно рождая каждый перевернутый пласт для осмыс-

ленного существования, и внимательно разглядывал его, провожая в будущую, бессмертную жизнь».

И старший лейтенант Агеев сознает грозный час наступающей битвы так:

«Все вещества в раздельности существовали в природе, но из них можно было собрать и соединить любое нужное тело; равно и истина находилась сейчас где-то вблизи Агеева, в видимом мире, но она находилась в рассеянии и без пользы для человека, командиру же нужно было собрать эту истину в одно свое сознание, чтобы понять, как нужно одолеть противника. Существует решение любого вопроса, но важно, чтобы это решение образовалось в одной голове; кто этого сделать не может, для того земля и небо бесполезны».

А другой человек — Назар Фомин — в начале войны потерял жену и теперь ищет ее так:

«Жива ли была его Афродита? — с этим сомнением и с этой надеждой Назар Фомин обращался теперь уж не к людям и учреждениям — они ему ответили, что нет нигде следа его Афродиты,— но к природе, к небу, к звездам, и горизонту, и к мертвым предметам».

И вот он «выходил из блиндажа в поле, останавливался перед синим наивным цветком, долго смотрел на него и спрашивал наконец: «Ну? Тебе там видней, ты со всей землей соединен, а я отдельно хожу,— жива или нет Афродита?»

Он спрашивал так, потому что «верил, что в природе есть общее хозяйство и по нему можно заметить грусть утраты или довольство от сохранности своего добра...».

Платонов умеет соединять частное с общим, детали — пусть это будут оттенки настроения и размышления его героев — с целым миром непосредственно, минуя границы пейзажа и близлежащие предметы; человеческое сердце обладает у него связями со вселенной, со звездами, с небом, его герои учатся этим связям и учат нас, учат извлечению из этих связей опыта и мудрости, постижению самих себя.

Самосознание человека у Платонова идет не только в глубь самого себя, но и во внешний мир, в сферу их общей с этим миром биологии и, кажется даже, физиологии, их общей задачи существования.

Ведь даже «Фро» — рассказ не только о страстной любви, но и о том, в каких отношениях любящая, казалось бы до конца поглощенная своею же любовью, женщина находится с окружающим миром — с от-

цом, с адресатами, которым она, не находя спокойствия, взялась доставлять корреспонденцию, с пассажирским и грузовым движением на железной дороге, с событиями в Китае, и снова — с пространством: «Молодая женщина остановилась от удивления среди столь странного света; за двадцать лет прожитой жизни она не помнила такого опустевшего, сияющего, безмолвного пространства, она чувствовала, что в ней самой слабеет сердце от легкости воздуха, от надежды, что любимый человек приедет обратно».

И, наверное, не случайно, что герои Платонова почти всегда обладают как бы первозданной, не деформированной грузом образования натурой, они не изощрены в научных, философских, религиозных спорах и воззрениях. Они прежде всего — жители мира и его работники, то и дело — работники талантливые, одухотворенные своим, казалось бы, не сложным, простейшим и все-таки всерьез преобразующим мир ремеслом.

Таков паровозный машинист Александр Васильевич Мальцев («В прекрасном и яростном мире»): «Он вел состав с отважной уверенностью великого мастера, с сосредоточенностью вдохновенного артиста, вобравшего весь внешний мир в свое внутреннее переживание и поэтому властвующего над ним...» или же: «...он скучал от своего таланта, как от одиночества, не зная, как нам высказать это, чтобы мы поняли».

Таков механик, построивший электростанцию с мотором от ...мотоцикла («Родина электричества»):

«Механик электростанции, сидевший в мотоциклетной коляске, не обращал внимания на окружающую его действительность: он вдумчиво и проникновенно воображал стихию огня, бушующую в цилиндрах машины, и слушал со страстным взором, как музыкант, мелодию газового вихря, вырывающегося в атмосферу».

Таков полковник Алексей Алексеевич Бакланов на войне, бывший в гражданской службе землеустроителем («Штурм лабиринта»), который «знал события вперед и был теперь счастливым от своей уверенности», а еще «он знал, что если мысль бывает временно бессильна, тогда полезно предаться действию, но никогда не быть в нерешительности, и действие всегда подскажет истину и даст решение».

В рассказе «Ветер-хлебопашец» автор спрашивает:

«— А это кто же вам придумал такую пахоту?»

И ему отвечают:

«— Дед у нас один есть, Кондрат Ефимович; он говорит — всю вселенную знает. Он нам сказал — как надо, а мы сделали. С ним не помрешь. Он у нас теперь председатель, а я у него заместитель». Вот такие — которые «всю вселенную знают», которые умеют вбирать «весь внешний мир в свое внутреннее переживание» — и нужны едва ли не более всех других писателей Платонову.

Еще ему нужны, не могут быть не нужны и дети, и действительно, в его произведениях — множество детей.

Наличие этих, именно таких героев,— это тоже сам художник, его неповторимые ни в ком другом особенности и взгляд на мир.

И вот там, где у Достоевского проблема нравственно-философская, где этой проблемой у него занят только дух, то и дело отчужденный от практической жизни и деятельности человека, независимый от человеческой плоти или противопоставленный ей, там, где символика образов неизбежно складывается за счет этого духовного средоточия и концентрации,— символичность платоновских образов, которые в общем-то решают ту же высшую проблему человеческого существования, носит характер опять-таки не только психологический и духовный, но еще и «биодуховный», включая сюда и практическую деятельность людей.

Кроме того, что Достоевский выше и как художник и как мыслитель,— он еще и концентрированнее, он шел дальше всех в изоляции поставленных им перед собою проблем от всех побочных обстоятельств, снова и снова подчеркивая тем самым главенствующее значение этих проблем, их высший смысл.

И если все-таки возможны те или иные параллели и сравнения, тогда в отличие от Достоевского, который исходил из «мирового духа», для Платонова главным действующим не лицом, даже — не смыслом его творчества, а главным «материалом» было «мировое вещество», включая сюда и духовные свойства этого вещества. То, что сокровенный человек Фома Пухов понимал таким образом:

«Конечно, Пухов принимал во внимание силу мировых законов вещества и даже в смерти жены увидел их справедливость и примерную искренность. Его вполне радовала такая слаженность и гордая откровенность

природы — и доставляла сознанию большое удовольствие».

К этому Платонов и стремится — приобщить своих героев ко всему тому, что «было сделано природой изо всех своих чистых сил, чтобы счастье снаружи проникло внутрь человека», приобщить их талант, их труд, их любовь, всю их жизнь к этой природной деятельности и ритму, поскольку временами эта природная деятельность и ритм так близки к деятельности человека:

«Захар Павлович заметил не столько утро, сколько смену работников — дождь уснул в почве, его заместило солнце; от солнца же поднялась суета ветра, взъерошились деревья, забормотали травы и кустарники, и даже сам дождь, не отдохнув, снова вставал на ноги, разбуженный щекочущей теплотой, и собирал свое тело в облака».

Должно быть, от того, что герои Платонова почти непрерывно приобщены к природе, стремятся к слиянности с ней — они редко обладают выписанным в деталях внешним портретом. Внешний их портрет мы скорее угадываем, чем знаем из описания.

Индивидуальный и неповторимый внешний портрет героя, культивируемый чуть ли не всей предшествовавшей художественной литературой, оказался «не с руки» Платонову, он мешал бы процессу слиянности его героя с миром, отделял бы частицу от целого.

Опять-таки плоть, тело как таковое, а еще — невидимое, но всегда и везде присутствующее сердце, невидимое, но чувственно и вполне ощущаемое, обладающее двусторонней связью с миром — вот на удивление постоянные составляющие платоновского портрета.

И природа тоже — мы об этом уже говорили — дается им в пространстве, а не в пейзаже и не в деталях; таким образом, между частностью и целым, между человеком и природой еще и еще возникает некое взаимопонимание, взаимоприемлемый ритм существования, общий язык, общее дыхание, все общее.

Когда Платонов говорит: «В этот год рано созрело солнце на небе: в конце апреля оно уже грело, как в глубоком июле. Мужики затихли, чуя ногами сухую почву, а остальным телом — прочно успокоившееся пространство смертельной жары» или «Некоторое время мальчик сидел смирно, он ел материнский чурек, оглядывался и думал ту мысль, которую теперь с возрастом забыл. Перед ним была земля, где он родился

и захотел жить. Та детская страна находилась в черной тени, где кончается пустыня; там пустыня опускает свою землю в глубокую впадину, будто готовя себе погребение, и плоские горы, изглоданные сухим ветром, загораживают то низкое место от небесного света, покрывая родину Чагатаева тьмою и тишиной»,— то здесь действия и людей, и природы объединяются даже интонацией, объединяются в один процесс, между ними нет, и кажется, и не может быть разрыва.

Платонову, быть может, как никому больше, это удалось — приобщить к нравственности биологию, приобщить к ней осязание и вообще ощущения. То ли это приобщение и эта связь есть исключительное качество человека, не свойственное больше ни одному другому живому существу, то ли, наоборот,— наличие именно этой связи приближает человека ко всему другому живому миру, в котором, возможно, все вопросы о том, «что такое хорошо и что такое плохо», то есть вопросы в какой-то мере нравственные, решаются как раз и прежде всего через ощущения — мы еще не знаем, но знаем, что Платонов прав. Он убедил нас в этом.

Кроме того, в биологии, в существовании живого, несомненно, заложена ведь какая-то нравственность, хотя бы в виде того порядка и тех норм сосуществования видов, который позволил им, таким разным, возникнуть, развиться и дотянуть до наших дней.

Если многие виды и вымирали, так не столько от соседства друг с другом, сколько в силу изменений климатических условий, помимо борьбы и конкуренции видов, существует ведь и коллективность, и взаимопомощь, и разумные, то есть нравственные, принципы сосуществования.

Нигде Платонов не говорит об этом, не говорит о биологии, не касается и философии, он вообще не философ как таковой, и если спрашивать о том, кто он, кроме того, что он — писатель, ответ как будто очевиден, он — техник, но, оказывается, литература может приблизиться к биологии или к философии и через технику, вернее — и через личность техника, если только эта личность художественна от природы, если она как бы самой природой предназначена к такому приближению.

А эти широкие связи, этот единый биопсихологический, природный процесс, к которому так или иначе оказался приобщенным Платонов, никогда не сводится

им только к морали, тем более — к морализации. Мораль не отделена у него от жизни, от конкретного существования живого человеческого вещества, она заключена в нем, в этом веществе, и попросту не может существовать самостоятельно.

В результате мы выносим из произведений Платонова не только, и даже не столько умозаключение, тот или иной нравственный вывод, сколько, если так можно сказать,— нравственное ощущение; мы не только видели и узнали ту или иную ситуацию, обстоятельства и условия, через которые прошел платоновский герой, мы как бы сами тоже подверглись воздействию тех же обстоятельств и условий и, благодаря этому, ближе узнали свойства и качества своего вещества, всех тех клеток и атомов, из которых мы, в конечном счете, состоим. Что-то узнали мы и по поводу своих контактов с природой в целом.

Нельзя сказать, что Платонов — художник широкого размаха в смысле вовлечения в свое творчество истории и современности в различных их аспектах — эпические полотна чужды ему, и даже там, где он касается таких событий, как революция или война, произведения его остаются камерными.

И не так уж, наверное, трудно определить и временные, и событийные границы, в которых действуют его герои. И малая форма — рассказ, и небольшая повесть,— в которой он преимущественно работал,— всегда обладают теми же границами.

Казалось бы, отсюда следует, что его рассказы должны быть рассказами характеров, типажей, портретными рассказами.

Однако же это совсем не так: Платонов опускает не только внешние черты и приметы своих героев, но и психологический портрет их тоже неточен, размыт и не столько принадлежит самому человеку, сколько изображает его психологию и ощущения.

У него созданы портреты групповые: паровозного машиниста, который фигурирует в добром десятке рассказов, мальчика-практика и мальчика — искателя правды, солдата и офицера на войне, мастерового, одиндва женских портрета и столько же портретов старушечьих и все —на той же основе.

И даже Чагатаев, главный герой сказочно-легендарной повести «Джан», хотя и стоит несколько отдельно, все же и его воспринимаешь как продолжение, как

усиление и даже гиперболизацию уже известных ранее характеров — все тех же мастеровых, паровозных машинистов, «граждан-механиков» типа Пухова из «Сокровенного человека» или Захара Павловича из «Происхождения мастера».

Правда, о Чагатаеве можно сказать, что он — личность более общественная, но типаж все-таки тот же.

И все герои эти опять-таки созданы на прежней и неизменной основе, которую приближенно можно назвать настроением, а точнее — состоянием. Состоянием материи, называемой человеком.

* * *

Ситуация — вот что имеет для Платонова первостепенное значение, что вносит, пожалуй, наибольшее разнообразие в его произведения.

Все равно какая — вполне реальная или полностью вымышленная,— он сам не придает этому существенного значения, тем более как признаку жанровому.

Ситуация, пусть ограниченная, развивающаяся строго в рамках, характерных для его творчества и для его камерности, играет для Платонова роль той самой опытной установки, через которую он пропускает своих героев и, кажется, самого себя.

Ведь сами по себе его герои уже и однообразнее, чем та серия опытов, через которую он их пропускает.

Он, кажется, и читателя выбирает для себя по тому же признаку: по его способности от начала до конца пройти через опыт. Такой он видит жзнь — в бесконечности ее условий и ситуаций.

Так он кодирует эти условия, начиная с заглавий своих рассказов и повестей — большинство заглавий как бы уже включает наличие ситуации, подразумевает ее, если не прямо, так косвенно.

Платонов мог бы дать своим рассказам очень краткие названия: «Мастера», «Глиняный дом», «Гроза», «Ветер», «Штурм»,— но он называет их несколько иначе: «Луговые мастера», «Глиняный дом в уездном саду», «Июльская гроза», «Мусорный ветер», «Ветер-хлебопашец», «Штурм лабиринта». Такого рода уточнения сразу конкретизируют обстановку, а конкретная обстановка указывает опять-таки и на ситуацию.

И если мы захотим о них вспомнить, об этих расска-

зах, пересказать их кому-то, хотя бы и самим себе, мы прежде всего и чаще всего должны будем вспомнить — что? что произошло? А потом уже — кто? кто и как во всем происшедшем участвует?

Должно быть, отсюда же, от этого разнообразия ситуаций, и оттого еще, что моральный вывод как таковой, моральный вывод в его «чистоте» не устраивает Платонова, у него никогда нельзя угадать — «чем кончится?».

Нельзя угадать даже несмотря на то, что почти все его рассказы кончаются логическим завершением ситуации. В этом правиле он, кажется, даже несколько педантичен.

У Платонова весь его пейзаж, а вернее, его панорама и его пространство никогда не статичны, его природа всегда что-то совершает, чем-то занята, в ней тоже складывается та или иная ситуация:

Пустыня, которая была перед Чагатаевым,—

опускала свою землю в глубокую впадину;
готовила себе погребение.

Плоские горы —

загораживали низкое место от небесного света;
покрывали его тьмою и тишиной.

Захар Павлович в «Происхождении мастера» видит в картине полного запустения, что одичалые, переросшие «свою норму» лопухи —

ожидают своих хозяев у ворот, покачиваются, как будущие деревья;

что плетни —

зацвели;
некоторые колья и хворостины принялись;
обещают стать рощей, если люди не вернутся;

что потерянный кем-то лапоть —

дал из себя отросток шелюги;
остальным телом гниет в прах;
хранит тень над корешком будущего куста.

И человек в рассказах Платонова, если это даже малоактивный, бездейственный человек,— все время что-то либо делает, либо наблюдает и переживает чужое действие, чужую ситуацию, в которой находится другой человек или вся окружающая природа.

Должно быть, поэтому глагол и отглагольные формы — это те части речи, на которых главным образом держится и фраза, и абзац Платонова:

«Среди работы Пухов *выходил* иногда из помещения и *созерцал* лихое южное солнце, *сварившее* когда-то нефть в недрах земли.

— *Вари* так и дальше! — *сообщал* вверх Пухов и *слушал танцующую* музыку своей напряженной машины».

Даже описательность — и та у Платонова глагольна:

«Последние сани безымянного старика *скрылись* с тоскою в темном месте пространства. Сильная, грустная мечта о безвозвратном бродяжничестве стала *томиться* в душе Якова Саввича. Он *сосчитал* дневную выручку за продажу воды, которую должен *отнести* в городскую кассу. Ее оказалось всего шесть рублей сорок две с половиной копейки».

Действуя при жизни, человек у Платонова даже и после смерти как бы все еще продолжает действовать в том же направлении, он все еще не выключен из общего круга жизни:

«Мать *ждала* на столе уже четвертый день, но тело ее не пахло смертью, настолько оно было опрятным от болезни и сухого истощения; давшая сыновьям обильную здоровую жизнь, сама старуха *оставила* себе экономичное, маленькое, сухое тело и долго *старалась сберечь его,* хотя бы в самом жалком виде, ради того, чтобы *любить* своих детей и *гордиться* ими,— пока не *умерла*» (курсив мой.— *С. З.*).

Однако же обилие глаголов, перемещение их из одной сферы в другую — из природной в человеческую и обратно — вовсе не придает платоновской прозе энергетический характер.

Как раз наоборот: это обилие снижает и умаляет действенное значение каждого отдельного поступка, поскольку ни на одном из них мы так и не почувствуем акцента и явного ударения, так что даже самые решительные и поворотные в судьбе героя поступки этот герой совершает как бы между прочим.

Яков Саввич, как мы помним, «взял в будке пиджак, потушил лампу и скрылся вслед за уехавшими мужиками». И главное действие — «скрылся» — поставлено в один ряд с такими незначительными подробностями, как «взял пиджак» и «потушил лампу».

И так — почти всюду: при наличии ситуации у Платонова нет сюжета, нет главного действия и нет главного, решающего момента в судьбе героев; нет у него

и времени, и сроков, в течение которых развертываются и завершаются ситуации.

Протекает процесс, мы заглядываем, даже погружаемся в него, в одну из бесчисленных его ситуаций, и наше читательское участие в нем, в этом процессе, кончается не по бою часов и не по календарю, а только в зависимости от завершения этой ситуации. Сколько же она длилась — сколько лет, скажем, длилась на наших глазах жизнь сокровенного человека Федора Егоровича Пухова или история происхождения мастера Захара Павловича — мы так и не знаем.

Для процесса это ведь все равно, для него — бесконечного — длительность не имеет никакого значения, а писатель приобщает нас к нему, к процессу, приобщает при условии, что и мы тоже отрешимся от собственного, нам привычного, для нас необходимого и в наших единицах исчисляемого времени.

Вот это все: и множественность событий, и нивелировка их до уровня средних и больших, если они малые; до уровня малых, если они большие; и умение созерцать как бы со стороны; и умение создавать приглушенную интонацию и свой собственный язык, не прибегая к звучным возгласам и инверсиям, язык доверительного собеседования, разговорный и даже уютный, а в то же время — изысканно литературный, без всякой внешней поучительности, но только без внешней,— все это и есть та несколько меланхолическая проза нашего века, которой владел уже Чехов, а вслед за ним овладели многие другие выдающиеся прозаики, которая в какой-то мере стала модой.

Овладел ею, этой манерой, и Платонов, он внес в нее много такого, чему впоследствии у него учились другие. Учились у него, но в его собственном творчестве мы почти не замечаем ученичества.

Ради того, чтобы провозгласить «мировой дух», бесконечно возвышающийся над плотью, неизбежно было использование высоких регистров, так как всякое провозглашение должно быть громким, заглушающим другие голоса.

Платонову же, чей творческий материал не только духовен, но и биологичен, более свойственна сдержанная манера, более тонкая, точная и в большей степени экспериментальная наблюдательность. Он более материален, а материя не так громка, как дух.

Эти свойства, обретенные современной прозой, были присущи ему органически, естественно. И это — естественность, с которой та или иная новизна не усваивается с чужих слов, а создается самостоятельно. Здесь как бы отсутствует ученичество. Учился же он в другом.

Платонов был еще и литературным критиком.

А когда писатель становится хоть в какой-то мере литературоведом, в этом сказывается его желание учиться.

* * *

Еще одной школой, которая почти повсюду действительно проступает в творчестве Платонова, была сказка. И вот тут-то снова следует вернуться к тем сказкам, с которых мы начали нынешний разговор.

Ведь во времена Платонова и даже много раньше уже определилось два рода сказок: народная, фольклорная, с передачей в письменном тексте устного стиля, и другая, появившаяся не так уже и давно,— сказка литературная, никогда не бытовавшая устно, в которой автор применяет древний фантастический прием, использует его, обращаясь чаще всего к материалу современному и даже — к наиболее злободневному. Таковы, скажем, сказки Шварца.

Интересы Платонова, когда дело касается сказки как таковой, как жанра, привержены к сказке народной, устной. А из этого рода сказок он выбирает те, в которых происходят события значительные, нередко жестокие.

Это — не эпический героизм, в нем отсутствует богатырь-освободитель, полноправный миф, но нет в сказках Платонова и действия малозаметного, нет лисиц, медведей и зайцев, которые в поте лица добывают людям справедливость и счастье,— люди добывают их сами, собственным разумением: настойчивостью, жертвами, смекалкой — в этом принципиальная общность сказочных и реалистических героев Платонова. И те и другие всегда готовы подвергнуть себя всяческим испытаниям.

Он совершенно практичен, этот стоицизм сказочных героев Платонова, которые отлично знают, чего добиваются, знают и цену достижения цели и не останавливаются перед этой ценой.

И совершенно сказочен стоицизм его реалистических героев, сказочен прежде всего сам по себе, потому что вот здесь-то ни цель, ни средства ее достижения далеко не очевидны, очевидна только готовность и то и другое искать и страдать в этом поиске всегда и везде.

Далее же между реалистическими и сказочными героями начинаются различия, различия, как мне кажется, существенные для понимания всего творчества Платонова.

Реалистичность платоновского героя все время, как мы видели, подтверждается его плотью, его кровью, болью, работой его сердца, а один из признаков его сказочных героев в том и заключается, что они обезболены и бескровны. Вот они-то, если и страдают, так страдают только разумом.

Марьюшка из сказки «Финист — ясный сокол» понимает, что потеряла своего возлюбленного, и вот хочет его найти, вернуть.

Поиск ее вполне разумен, ни у нее, ни у нас не вызывает ни малейших сомнений. Он тем более не вызывает их, что Марьюшка как бы и не страдает, во всяком случае, она не испытывает ни отчаяния, ни физической боли. Сносив три пары чугунных башмаков в поисках Финиста, она не почувствовала, по-видимому, ни разу ни боли, ни холода-голода.

И Безручка не почувствовала боли, когда муж отрубил ей руки.

Поэтому и операция не так уж жестока с точки зрения моральной.

Это — различие между сказочными и реальными героями как таковыми.

Пожалуй, еще более различен окружающий их мир. Если реалистический герой Платонова непрерывно чувствует пространство, вживается в него и в весь мир, если временами мы почти физически ощущаем платоновского человека как частицу огромного мира, то для его же сказочного героя мир — даже не декорированная сцена, а только подмостки с очень условными обозначениями земли, воды, солнца, леса, и на этих подмостках и происходит безусловно главное действие, то есть действие самого героя.

Ничего более важного и существенного мы вокруг не замечаем, не замечает и сам герой.

Здесь нет сколько-нибудь подробных и живописных картин дремучих лесов, волнующихся морей, глухих

подземелий, нет попутных приключений, которые случаются со сказочными героями за долгие годы их странствий. Тут все необычно и как бы даже практически лаконично: «и вот шла она горами-лесами целых три года». «А идти ему было далече, и шел Иван еще целый год и полгода. Прошел он всю землю, дошел до моря, дальше идти некуда».

Здесь и в помине нет излюбленного, органически необходимого Платонову-реалисту пространства и пространственных явлений — таких, скажем, как погодные явления, как перемещения звезд в небе, как «созревание» солнца.

Сказочный герой Платонова изолирован не только от пространства, но и от объективного мира, его мир — это прежде всего его цель, а еще — некоторые предметы и обстоятельства, способствующие или препятствующие достижению этой цели.

Такого рода изолированность героев — и есть признак его сказочности.

Реальный же герой Платонова как бы даже с лихвой восполняет эту ограниченность и эту изолированность, он расплачивается за сказочного героя, безотказно воспринимая воздействие сурового, трудного и сложного мира на себя одного.

Однако же они вовсе не антиподы — сказочные и реальные герои Платонова, несмотря на существенные различия, они все-таки помазаны одним миром, они вышли из одной школы.

Все время мы чувствуем и угадываем присутствие чего-то сказочного в платоновском реализме, а это «что-то» и волнует, и привлекает нас, участвует в формировании всего того, что сам Платонов называл таинственной убедительностью искусства, что можно назвать еще и таинственной необходимостью искусства.

Выше уже говорилось о том общем, что связывает сказку с реализмом Платонова,— это стоицизм его героев, готовность их к испытаниям.

Там, где этот стоицизм и эта готовность особенно высоки, там и реализм Платонова сливается со сказкой настолько тесно, что их уже нельзя отделить друг от друга, как это имеет место в повести «Джан» или в рассказе «Такыр». Но дело не только в стоицизме как таковом, а и в мышлении платоновских стоиков, сказочных и реальных, в логике существования тех и других.

Логика сказки у него бескомпромиссна и обнажена так, что она — уже не столько мысль, сколько само действие.

Здесь прост и совершенно очевиден трагизм жизни, просты и очевидны характеры:

«— Это что за невежа?

— Я невежей не был, я Иван, у родной матери сын!»

Здесь просты и очевидны объяснения:

«— Чего ты плачешь? — спросил Иван прекрасную девицу.

— Я умирать боюсь,— отвечает ему девица».

Доказательства правоты своего существования здесь неопровержимы:

«— Кто там? — закричал Евсей.— Обожди-ка меня вилами колоть, я еще мало жил».

«Мало жил», «умирать боюсь»,— вот довод защитительный и неопровержимый, а потому и сказочный.

И этот сказочный довод — логика всем логикам, доказательство всем доказательствам, это та очевидность, которой мы стесняемся и не умеем пользоваться в силу как раз ее полнейшей очевидности.

Мы нынче чувствуем себя способными доказывать нечто, при условии, что можем привлечь для доказательства изрядный арсенал косвенных соображений, улик, фактов, аналогий и ассоциаций, историй, источников, ссылок, цитат и еще бог знает чего.

Так как очевидность ничего этого не требует, мы не в состоянии ее утверждать, мы теряемся перед нею, а тогда теряем и ее самое.

И этой потере не в последнюю очередь способствует литература, которая то и дело вершит себя из сложных, из сложнейших доказательств очевидных истин, чтобы не прослыть примитивной и недалекой.

И только очень крупный и смелый писатель, очень уверенный в своей правоте, в правоте своего стиля и своей творческой манеры, может ввести эту сказочную логику в реалистическое повествование.

Его герои позволяют себе рассуждать таким образом:

«— Отчего здесь плохо, когда мне надо хорошо?»

«Остались мы с матерью вдвоем на свете и стали жить».

«Умирая, она велела мне жить».

«Он видел смерть, как другую губернию».

«— Ты возьми-ка мальчишку к себе — у тебя все равно их шестеро, один фальшью какой-нибудь между всеми пропитается».

В рассказе «Свет жизни», вполне, казалось бы, реалистическом, даже не сюжет, нет, а детали, сама повседневность, обращение и отношение людей друг к другу выражены через ту же сказочно непосредственную логику:

«Аким вошел в избу и спросил хромую:

— Ты тут живешь?

— Тут, а где же,— сказала женщина.— Садись ужинать со мной.

— Наливай в чашку и ложку давай,— согласился Аким».

А дальше гость — мальчик Аким — размышляет и действует уже только в этом ключе:

«— Я работаю, а она стоит, ничего не может. Зря живет. Или нет — ей тоже нужно жить, раз она родилась. Не нужно, она бы не рожалась. Кому не нужно жить, того нет...»

«— Сготовлю,— согласился Аким.— Опять жить будешь, только отоспишься?

— Как отдохну, так опять поживу,— пообещала больная хозяйка.

— Живи,— сказал Аким.— А я пообедаю и дальше пойду — на шахты.

— Ступай,— тихо произнесла хромая женщина.— С шахты возвращаться будешь, заходи опять гостить ко мне».

Да, смелым надо быть писателем, чтобы позволить себе эту сказочную простоту! Немногие могут ее себе позволить, тем более немногие могут ее достигнуть.

Однако дело не только в этом достижении.

Когда достижение истинно — оно не останавливается на самом себе. Из простоты, из близости к истине возникает средство передачи и нам, читателям, мыслей гораздо более сложных и ответственных, из простоты и кажущейся приземленности возникают открытия этого непостижимо сложного мира, новый взгляд на мир, новые характеры, новая логика, новая духовность.

И тот же Захар Павлович, который видел смерть, как другую губернию, кроме этого еще и верит, «что когда исчезнет в рабочем человеке чувство к машине,

когда труд из безотчетной бесплатной естественности станет одной денежной нуждой, тогда наступит конец света, даже хуже конца — после смерти последнего мастера оживут последние сволочи, чтобы пожирать растения солнца и портить изделия мастеров».

И он же не хочет, «чтобы мир остался ненареченным, он только ожидал услышать его собственное имя вместо нарочно выдуманных прозваний».

А дальше его герои, исходя непосредственно из той же сказочной простоты, будут открывать в себе, а заодно и в читателях, то, чего они сами открыть без их помощи никак не могут:

«...он всегда чувствовал в своей душе еще более лучшую и мужественную прелесть, тянущую волю вперед мимо обычного наслаждения».

«...он потрогал свое тело, которое доставляло ему постоянную беду от желания жить...»

Он же — этот простой, отчасти заимствованный из наивной сказки герой «снова увидел роскошь жизни и неистовство смелой природы, неимоверной в тишине и в действии».

Он «спать не любил, он любил жить без перерыва. чтобы видеть все, что живет без него, и жалел, что ночью надо закрывать глаза, и звезды тогда горят на тебе одни, без его участия».

Он же, будучи солдатом, оживает быстро, «потому что не скуп на жизнь, и при самой малой возможности уже снова существует; ему жалко оставлять не только все высшее и священное, но даже сытую пищу в желудке, которую он поел перед сражением и которая не успела перевариться в нем и пойти на пользу».

«В каждом человеке есть обольщение собственной жизнью, и поэтому каждый день для него — сотворение мира. Этим люди и держатся».

«Время кругом него стояло, как светопреставление, где шевелилась людская живность и грузно ползали объемистые виды природы».

Его герои «готовы дважды быть растерзанными, лишь бы враг с ними погиб и жизнь ему не досталась».

Вот так и пошло от этой самой простоты удивительное сочетание и биологического с духовным, и частицы, которая человек,— с пространством и со всем миром, и житейской, повседневной и практической логики

и мышления — с логикой и мышлением сказочными, отвлеченными, глубоко философскими.

Отсюда же проистекают, должно быть, и многие особенности языка и стиля реалистических произведений Платонова.

Он вносит интонацию не только чтения, но и свойственную сказке интонацию беседы, точнее — собеседования.

Собеседование же всегда не только доверительно, не только подкупает нас своей интимностью. Через собеседование с нами автор еще и признает нас существующими, живыми, мыслящими и чувствующими, и этим подкупает нас и требует от нас такого же всестороннего признания и его самого, и тех героев, с которыми он нас знакомит.

Собеседование как бы даже и не чтение, при нем возникают другие отношения сторон.

Когда мы идем к приятелю, чтобы побеседовать, мы заранее предполагаем, что не будем принимать каких-то окончательных решений, для нас важно другое — состояние собеседования, совпадение такого состояния, дополнение одного собеседника другим.

Бывает даже и так, что я не совсем запомнил и не совсем понял все то, что говорил мой собеседник, он тоже не совсем запомнил и не совсем понял все то, что говорил я. Следовательно, мы не совсем поняли друг друга, но в то же время мы оба прикоснулись к чему-то, что нередко так и останется за пределами нашей беседы, останется чем-то бóльшим, чем ее предмет, бóльшей истиной.

Ведь помимо предмета разговора есть еще наше духовное и нравственное состояние, наша горечь, тоска, потребность в дружбе и понимании, наше недоумение по поводу устройства мира.

Дар Платонова — это прежде всего дар писателя во многом «устного», а не письменного.

Недаром же он, обращаясь к сказкам, говорит не о том, что он их собрал, записал или переработал, а о том, что он их «пересказал».

Это тем более интересно, что в действительности Платонов привлек и обработал сказки уже опубликованные до него (причем некоторые — не один раз).

И все-таки он их вновь «пересказал».

Это и есть тот подход к материалу, то понимание материала, которое становится уже творческой мане-

рой, а затем творческой биографией и автобиографией писателя.

В том числе это определяет и отношение писателя к проблеме исключительного и повседневного.

* * *

К исключительному и к обычному литература в разное время относилась по-разному.

Нынче уже не составляет загадки ни Демон, ни Мефистофель, ни Фауст, их исключительность понятна и следовательно, проста; они — это выделенное в чистом виде из массы человеческих свойств одно или, положим, два свойства: зло, презрение или свойство стремления к истине; затем эти свойства и качества, полученные «в чистоте», еще гиперболизированы — и вот они, эти образы.

Они — герои почти что мифические, а мифы, в общем-то, были, в своем роде, большими простаками — каждый совершенно твердо знал свои обязанности и неукоснительно их исполнял.

Загадочной оказалась простота как понятие среднестатическое, повседневное, типичное, самое распространенное. Уже одно то, что у нее множество названий,— говорит о ее загадочности и сложности. Она же поделила и писателей на тех, кто создает образы исключительные, гиперболизированные,— и на тех, кого мы называем реалистами и которые в той или иной степени приближаются к решению загадки «простоты». Поделила она по этому признаку и саму литературу. Пожалуй, только автор «Демона» и «Героя нашего времени» смог в одном лице соединить исполнение той и другой задачи.

Простота прошла уже через множество анализов, через анализ Гоголя, например, который подошел к ней с методикой мифологии, только вместо могучих и грандиозных носителей мирового добра, зла, воинственности и справедливости он создал столь же однолинейные, но мелкие и даже ничтожные микро- и заурядмифы — Собакевичей и Ноздревых; прошла она и через анализ Чехова, который придал ей странное и в то же время реалистическое свойство неопределенности. Чехов стремился при этом к той простоте, которая учит человека оставаться «простым» и естественным в этом все усложняющемся и далеко не естественном мире.

Удивительно, что многие художники модерна, протестуя против этой неестественности и усложненности, стараясь развенчать ее, свести ее к тому, что просто и очевидно — к биологии или только к части биологии, например сексу,— или к преступлению, сами способны лишь противопоставить одной неестественности другую, а простоту они, в то же время, стремятся свести к примитиву и на том покончить с нею. Примитив же никому ничего не объясняет, он отделяется от жизни, от ее целого, становится в оппозицию к этому целому, внушая к нему презрение и ненависть и забывая, что сам существует как раз благодаря только этому целому, этой сложности.

Если так можно сказать, примитивы считают сложность современным варварством, но борются с ним варварскими методами.

Подлинное искусство не прибегает к приемам своего противника, оно слишком бережет себя, свои собственные качества и художнические средства, уже давно открытые и только-только обнаруженные. Может быть, как раз поэтому оно и менее действенно сегодня, сию минуту, зато более устойчиво во времени и в будущем, на которое оно всегда опирается.

Платонову принадлежит собственное место в отношении к «простому», включая в это понятие и типичное и еще многое другое, что трудно назвать и определить одним или несколькими словами.

Он по-своему соединил в своем анализе «простого» современное с историческим. Меланхоличность Платонова напоминает чеховскую, а затем сама внедряется в более позднюю меланхоличность Хемингуэя, особенно когда речь идет о страданиях человека. Отнюдь не чужд Платонов и цивилизации, ее влиянию, не говоря уже о том, что герои его — то и дело механики и техники, он сам в своей манере тоже и механик и техник — мы чувствуем, что техника его письма — современна, в какой-то мере он даже демонстрирует свою усталость от этой техники,— и вот он применяет к описанию простого сказочное, используя в сказке ее непосредственность, ту ее древнюю наивность, которая и сегодня еще умеет воспринимать сложность как очевидность. Наивность, оказавшуюся весьма кстати при взгляде на слишком уж сложный и удивительный мир современности, на человека этого мира. Наивность мудрости.

Сказка и сказочная манера — это отвлечение от ре-

альности, но отвлечение ради чего? Ради реальности же, ради ее более глубокого и определенного постижения.

Соединение истории современности, соединение древней сказочности с новейшей творческой манерой всегда было задачей искусства, даже тогда, когда оно как будто и вовсе не заботилось об истории, не создавало произведений исторических как таковых и даже не упоминало о ней.

Искусство создает эти связи между прошлым и настоящим непрерывно, поскольку непрерывно чувствует то и другое, тем и другим пользуется. Но пользуется по-своему, не так, как это делала и всегда делает техника.

Техника поставила первую паровую машину и первый паровоз в музей, и современный инженер вовсе не нуждается в том, чтобы непосредственно пользоваться ими, ему нужен лишь принцип, по которому они когда-то были созданы.

Другое дело — в искусстве. Здесь важны даже не столько принципы, в соответствии с которыми совершили свои художественные изобретения и открытия Пушкин, Байрон или Овидий, сколько сами открытия, гениальные именно в своей конкретной неповторимости. В этом смысле искусство как бы гораздо вещественнее техники, без повседневного обращения к вещам, которые созданы художественными гениями прошлого, без непосредственного знакомства с ними, в их первозданном виде, никто в современном искусстве не обойдется, и не случайно, наверное, в нашем языке стихи, поэмы и романы называются «вещами», и мы говорим о том, что мы знакомы или еще не знакомы «с этой вещью».

Эта же связь с прошлым, это сегодняшнее полноправное существование прошлого, обеспечивает и его — искусства — завтрашнее, будущее состояние.

И тут дело не только в заботах искусства о преемственности прошлого, настоящего и будущего человечества — если бы дело было только в этом, то искусство могло бы, рано или поздно, от такой заботы и отказаться. Но оно не в силах это сделать — отвергнуть эту свою обязанность, пренебречь ею, потому что оно само и его природа более историчны, традиционны и в какой-то мере даже более консервативны, чем сама история, чем любая из наук. Ценности искусства — это ценности наиболее устойчивые во времени, причем со временем они не только не теряют, а даже приобретают — приобретают сами по себе, как произведения искусства, как

исторические или даже археологические памятники, наконец, как научные факты, становясь объектом исследования не только исторической науки, но и целого ряда других наук.

И отказываясь от всего этого, искусство потеряло бы свою собственную ценность, свою природу, назначение и необходимость.

Да, не только в технике, но и в науке конкретные первооткрытия в их вещественном выражении стремительно утрачивают свою реальную ценность, приобретая значение наивных и трогательных своим примитивизмом музейных экспонатов, которые в дальнейшем не столько даже утверждают, сколько символизируют тот или иной принцип; модель «огненной» машины Ивана Ползунова — принцип действия теплового поршневого двигателя, а первый дизельный двигатель Рудольфа Дизеля — принцип процесса внутреннего сгорания по циклу Карно и его использования в целях прикладной механики. И даже закон Ньютона важен прежде всего как принцип, а не как факт.

Существуют принципы, законы и уравнения того же Карно, Ньютона или Бернулли, но законов Шекспира, Толстого и Достоевского еще никто практически не сформулировал. Это потому, что важнейший принцип в произведении искусства — сама личность его творца, тем менее повторимая, чем она более гениальна.

И современный художник обращается прежде всего к той же личноти непосредственно, к предмету и к «вещи», которая составляет ее первооткрытие,— к «Илиаде», к «Антигоне» или к «Войне и миру», часто минуя при этом все или почти все, что в разные времена было сказано по этим предметам самыми разными исследователями, минуя и те до сих пор неопределенные и нечетко сформулированные принципы, которые лежат в основе этих произведений.

Такого рода обращение к гениальным произведениям неизбежно, но иногда оно приводит к неожиданному результату: современный художник занимается тем, что на свой собственный взгляд и манер перерабатывает творчески то или иное произведение прошлого.

Уже Шекспир заимствовал сюжет, да и не только сюжет, «Короля Лира» у неизвестного автора, и это дало затем повод Толстому обрушиться на него с критикой, но теперь уже никого не удивляют романы Лиона Фейхтвангера или пьесы Жана Ануя, в которых исполь-

зованы произведения древнеримских и древнегреческих авторов.

В русской классике XIX века такого рода использование памятников прошлого встречается не так уж часто, она ведь сравнительно молода и, как у всякой молодости, у нее еще очень много своих нераскрытых творческих возможностей, тем более ей незачем заимствовать из прошлого Рима и Греции, ей не до этого, она все еще торопится выразить себя через себя. К историческому факту и к летописи она обращалась и обращается с творческой целью то и дело, но к литературному произведению прошлого — очень редко.

Но что издавна привлекало русских писателей, так это сказка.

Устную сказку собирали, записывали, обрабатывали и пересказывали и Толстой, и Пушкин, и Горький, и многие другие.

Не избежал этого и Платонов.

Но вот что особенно интересно: Платонов перенес сказочность, ее существенные элементы, в произведения вполне реалистического характера.

Он перенес туда манеру сказки, ее стоицизм, ее несколько меланхолическую и пассивную интонацию, особенно, когда дело касается страданий и физических испытаний героев, перенес ее мудрую простоту, ее способ собеседования героев между собой и с читателем.

Он не только обратился к сказкам, а еще и усвоил их технологию и технику, их творческие принципы.

Может быть, все обстояло как раз наоборот — он от природы обладал способностью к сказочной интонации и манере, а уже эта врожденная способность возбудила в нем интерес к работе над сказками,— дело от этого ничуть не меняется.

Так или иначе, а им написаны удивительные произведения, примеры по-своему неповторимого соединения сказочности и реальности, такие, как уже упоминавшиеся «Джан» и «Такыр», как «Сокровенный человек».

Так или иначе, а какой-то налет, какой-то оттенок сказочности несут даже его военные рассказы, наполненные множеством подробностей боя.

Здесь все отчетливо видимо: и перебежки солдат под огнем противника, и то, как закапываются они в землю, и как из этой земли сами ведут огонь и встают из нее в атаку. Здесь есть солдат-идеалист, который, несмотря

ни на что, верит, что останется живым. И есть солдат-практик, который сосчитал, что его рота уже уничтожила две роты фашистов, а потому ей и самой пора погибнуть — это будет справедливо и вполне по законам войны.

Минуло уже более четверти века после войны, но до сих пор в нашей литературе нескончаемой чередой появляются свидетельства ее участников — мемуары военных деятелей и художественные произведения писателей, едва ли не главным содержанием которых являются личные переживания, личный опыт, личные свидетельства того, что и как было.

Между тем тот же Платонов, военный корреспондент, в очерках, написанных с места боевых действий, умел соединить конкретные описания с философией войны, не только этой, а войны вообще, с какими-то если уж не военно-историческими концепциями, так, по крайней мере, с военной психологией. Он делает это со своей точки зрения, не по-военному, а по-писательски, и делает это так: «...негодному человеку всегда весь свет поперек стоит,— объясняет свое отношение к захватчикам старик Семен Иринархович в очерке «Офицер и крестьянин».— Это и я, когда мальчишкой был, все хотел, чтобы у нас старичок ночью на пчельнике помер,— тогда бы я наутро в курень к нему залез и весь мед в его кадушке поел. Вот тебе круговорот жизни какой, Александр Степанович!»

И дальше:

«Немцу, я тут заметил, всегда все ясно бывает, он думает — всю мудрость постиг. А вот другого человека он не знает, и ни одного человека он не может понять, оттого он и погибнет весь без остатка...»

И ведь действительно: тот, кто нападает первым, а потом проигрывает войну, проигрывает ее прежде всего потому, что не понимает, не знает и не хочет узнать и понять до конца своего противника.

И весь белый свет мешает не только негодному человеку, но и негодной военной доктрине, и негодной политике, и негодной идеологии — вот что утверждает у Платонова старик Семен Иринархович.

Старик этот душой понимает: война несправедливая, захватническая, может быть и смелой, и даже талантливой, но мудрой она быть не может.

Еще и еще раз старик выражает это разными словами, говоря о фашизме:

«У немцев теперь часто рассудка нету. Я и сам такое замечал у них, а принцип у них еще остался, они и воюют сейчас из принципа, да еще из страха».

«Он не устоит, он не может: мы по своему сознанию первее его, потому что мы судьбы больше испытали».

Мудрая война, или та, на стороне которой стоит народная и общечеловеческая мудрость, велась не Германией, а Россией. Платонов и ведет речь прежде всего об этом, а к этой речи как нельзя более приложима вся его творческая индивидуальность, сказочность его манеры.

Так оно и бывает: свойства и качества предмета или события как бы сами ищут и находят те качества искусства, через которые они могут быть выражены наиболее полно.

И хотя такого рода афоризмы, притчи, философия,—как это определить, сейчас не имеет значения,— хотя они так или иначе были известны нам и раньше, все равно в такой вот конкретной форме, в таком толковании — это художественное и художественно-философское открытие, это и есть та самая глубина, которую мы ищем в чтении.

Манера же исполнения, интонация этой философии и глубины — у Платонова опять-таки созвучна с интонацией и манерой сказки. Созвучна в самом главном и созвучна в тех деталях, которые сами, не будучи философией, ее поддерживают, подкрепляют на всем протяжении очерка, мы чувствуем это, когда на вопрос о том, могут ли в деревню еще вернуться фашисты, тот же старик Семен Иринархович отвечает:

«— По дурости они все могут...»

Или когда он жалуется офицеру на свою жену:

«— Старухи за войну от рук отбились».

И, наконец, военные рассказы и очерки Платонова обладают еще одним удивительным свойством: вы не только читаете их, но еще и видите, и чувствуете, как их прочел солдат, о котором они написаны, солдат той войны, о которой идет речь.

Происходит это опять-таки в силу «разговорности» и «устности» платоновского повествования, когда автор беседует не с вами, а с ним, с тем солдатом и своим героем, точно представляя себе его положение, его психологию и видение мира. Это ему писатель выражает

свое сочувствие и понимание, ему дает свое объяснение его же подвига и страдания, его жизни и его смерти...

В прежних рассказах Платонова не было этого, такой непосредственности общения с адресатом — героем своего произведения, там он чаще замечал и наше читательское присутствие.

Но и в этом новом и специфическом свойстве военного платоновского рассказа, новом, но целиком основанном на его прежних творческих принципах, которые он только еще больше развил, сказывается требование времени: время конкретизировало для него читателя. Читателем номер один, как и героем номер один, стал для него солдат.

Все это — редкий дар, проистекающий опять-таки из удивительного авторского слуха к языку, к далеким истокам этого языка и к органическим связям слова с историей и психологией своего народа.

Здесь строй всей речи несет оттенок сказочности и даже былинности, здесь Платонов показывает свое понимание того, как они — сказочность и былинность — должны выглядеть в приложении к сегодняшнему испытанию народа, к нынешней войне, которая поставила на свое вооружение и историю тоже.

Все это у Платонова исполнено вполне откровенно, с чувством меры, и лишь изредка, на нынешний наш взгляд, назойливо или нарочито,— но не забудем, что ведь это сейчас его рассказы стали рассказами, а тогда они были оперативными корреспонденциями с фронта, имели прямое назначение пропаганды, являлись как бы непосредственными участниками сражений.

Очень редко этот трудный новаторско-традиционный эксперимент Платонова не удавался ему и оказывался не до конца приемлемым для нас, его читателей, тем более что стиль Платонова — это еще и завораживающий стиль, отвлекающий нас от установившихся вкусов, привычек, оценок и сравнений, тем более что мы нередко испытываем готовность кое-что простить ему за необычность и смелость этого эксперимента.

Может быть, потому Платонов и сумел осуществить такого рода эксперимент, что сам он — техник и это обстоятельство его биографии вооружило его особого вида чуткостью не только к тому или иному конкретному произведению, но и к принципам, и к технологии его создания?

Уже по одному тому, как он говорит и думает о машинах, угадывается наличие этого вкуса, какой-то особенной жизни, которую ведет в нем механика, каких-то поучений, которые она дает ему не только применительно к самой себе, но и к механике искусства.

Он сумел заимствовать у техники как раз ту ее сильную сторону, которая заключается в умении владеть принципом, и в какой-то мере напомнил слабую сторону искусства, поскольку ему-то с трудом дается принцип творчества и принципиально новая технология.

Платонов новаторствовал в стиле, но не за счет того модерна, который иной раз приближается к ловкому фокусничеству. Не тянется он и к кондовому языку и кондовому словотворчеству, которым нередко грешат фольклористы и сказочники, когда им больше дорогá коллекция народных словечек и выражений, чем мысль, смысл произведения и точное их выражение. Язык военных и всех других произведений Платонова — это, безусловно, русский язык, но отнюдь не тот, который мы называем изысканным или хотя бы интеллигентным языком, и не тот, который иногда в противоположность первому именуется «народным», это — его собственный, платоновский язык, еще ничей ни до, ни после него и пока что единственный в мире, и только в качестве приближенной его характеристики и в качестве лишь одной из его составляющих можно отметить его «сказочность».

Оказалось, что и такой русский язык не только возможен, но и не должен быть; удивляешься, как это и почему его до сих пор не было, и радуешься тому, что вот он появился, временами — почти архаический, временами же — почти деловой лексикон двадцатых — тридцатых годов.

Конечно, не один только Платонов соединял сказочность и эту чуть ли не архаичность с реализмом и современностью — мало ли кто и как это делал в те же и более поздние годы — и Кафка, и Булгаков, и Шварц, и Экзюпери, и Ануй, и многие другие. Но, пожалуй, никто из них не достиг такого вот единства и слияния сказочности с повседневной реальностью, когда почти невозможно отличить, где одно, а где — другое. Тем более никто не сделал этого в применении к русской народной сказке, устной, интимно-собеседующей, которая всегда занимала в нашей литературе место очень почетное, но вполне изолированное, о которой

нельзя было и подумать, что оно вот так, запросто, может войти в современный литературный стиль, в проблемы и вопросы сегодняшнего литературного мастерства.

А то, что все это оказалось возможным, говорит, кроме всего прочего, о новом качестве русской литературы, ее зрелости, о новом умении привлекать к себе, современной, древнюю историю, вскрывать еще неиспользованные возможности, заложенные в национальном языке.

Не случайно, что в те же годы и под влиянием тех же требований военного времени и в поэзии был осуществлен блестящий опыт соединения почти что сказовой традиции с самыми острыми и злободневными проблемами — я имею в виду поэму «Василий Теркин».

Если же речь зашла о военном рассказе Платонова, так мне кажется, что здесь прослеживается какая-то линия от толстовского Платона Каратаева к платоновским солдатам.

В противоположность Каратаеву платоновский солдат необычайно активен, активен непрерывно и творчески, духовно и физически. Но что их роднит — так это чувство мудрости.

И тот и другой — это мудрецы, это философы, и у того и у другого мудрость проистекает от сознания правоты народной войны, войны отечественной.

Об этом истоке военной мудрости Толстой, конечно, сказал не столько даже словами Каратаева, сколько противопоставлением Кутузова и Наполеона.

Кутузов мудр сознанием «божеской», а на самом деле своей собственной, народной и общечеловеческой правоты, его мудрость позволяет ему быть более широким, в его поле зрения вовлечено больше явлений и вариантов, в частности — он может мириться с вероятным поражением и даже предусматривать отступление, как средство к контрнаступлению. Более широкая, чем чисто военная, мудрость делает его, однако, и более глубоким военным стратегом, и вот он отступает с Бородинского поля боя, используя, кстати, и свой предшествующий опыт, когда в 1811 году, нанеся поражение турецким войскам под Рущуком, он затем отвел свою армию на левый берег Дуная, заставил противника окончательно оторваться от его баз, ослабил, а затем и разбил его окончательно.

Накануне Бородина Кутузов весь во власти этой мудрости. Завтра русская армия будет и храброй, и ге-

роической, и талантливой, но сегодня ее лагерь тоже как бы погружен в состояние мудрости.

Наполеон Толстого талантлив, но не более чем талантлив, истинной же мудростью он не обладает и обладать не может, так как не мудро порабощать чужие народы. И это сказывается прежде всего в том, что захватчик не способен предусмотреть своего поражения и своих неудач — иначе он не решился бы на захватническую войну.

Война по природе своей есть альтернатива: «победа — поражение»,— но нападающий с самого начала пренебрегает этой природой и задается догмой: «только — победа!», отсюда не только поражение как конечный результат, но и поражения, текущие в ходе войны, он не может осмыслить до конца, придать им то значение, которое они действительно имеют.

По-видимому, будучи знаком с Рущукским маневром Кутузова, Наполеон все равно не в силах был перенести печальный опыт турок на свою армию, он считает Бородино победой, он наступает на «отступающего» Кутузова, а далее подвергается разгрому.

Толстовская военная мудрость несет религиозную окраску, она есть подчинение воле божьей, поскольку эта воля может служить неплохим оружием, которым к тому же не обладает противник. Это сказывается не только в существе проблемы, но и в художнических приемах Толстого, когда он то и дело апеллирует к религии, к собственным религиозным настроениям и настроениям своих героев.

Мудрость платоновского солдата даже более отчетлива и очевидна — она есть чувство его правоты, его собственной и всего народа, а не божеской, он приобщен к ней непосредственно. Вот он-то действительно действует своим убеждением как «дубиной народной войны»,— в этом его военная философия.

Уже сама интонация Платонова и сказочная манера приобщают его к истории народа, хотя он и не обращается к ней непосредственно, но даже одна интонация делает его солдата народом.

Меру сказочности реалистического произведения, особенно произведения военного, выбрать трудно и даже — страшно.

Особенно страшны здесь отнюдь не крайности — откровенная и очевидная сказка или столь же очевидное ее отсутствие — страх писателю внушает то рав-

новесие между реализмом и сказкой, которое может нарушиться каждую минуту, обернуться разрушением художественного произведения, недоверием к нему читателя, одним словом — привести к творческой неудаче.

Платонов не знает такого страха. Это даже ненормально, так же, как ненормально, например, полное отсутствие у некоторых людей боязни высоты, но, не ведая страха сам, Платонов все-таки в какой-то мере внушает его нам, его читателям.

Читаешь Платонова и то и дело боишься: вот-вот он упадет с этой высоты, не удержится. Но опасения эти — напрасны, он там удерживается, а нам остается недоумевать по поводу того, как же это делается, благодаря чему.

Платонов — один из очень загадочных писателей, должно быть, недаром ему принадлежат слова о таинственной убедительности искусства. Самый тщательный анализ творчества этого писателя не определит загадки его обаяния, его эмоционального воздействия на нас.

С этим надо согласиться с самого начала и потом посмотреть: так ли уж оно неправомерно, это наше согласие, так ли уж обидно для нас?

Платонов писал о «мировом веществе» веществом и красками своего искусства.

Если взять образец этого вещества и, как делают химики, растворять его по частям в различных реактивах с целью качественного анализа и встряхивать пробирку — на дне останется неопознанный осадок.

Математику, химику удается его анализ только потому, что он рассматривает не явление, а задачу. Он начинает с того, что выделяет свою задачу из явления и процесса в целом, то есть заранее определяет наиболее значительную часть предстоящего решения.

Что случилось бы с математиками, если бы они при решении самой несложной системы двух или трех уравнений с двумя или тремя неизвестными задумывались бы над математикой в целом — над ее истоками, над ее внутренними связями, над ее будущим, над ее ролью в жизни человечества?

Математики повсеместно освобождают себя от такого рода мышления, в лучшем случае они перелагают его на определенную группу специалистов, и только.

Но именно в таком положении — в положении, которое обязывает то и дело соприкасаться с явлением

в целом, оказывается анализ литературный. Он оказывается в этом положении всякий раз, как только сталкивается с художественным явлением.

Слабость литературного анализа иногда сказывается не в этом, а в другом, в том, что то и дело он со всей серьезностью обращается к произведению-задаче, как к явлению, а к произведению-явлению, как к задаче.

Положим, написано произведение, в основе которого помимо воли автора или в полном соответствии с ней лежит задача повышения производительности труда в шарикоподшипниковой промышленности, задача укрепления семьи, задача создания романа, который должен выдержать не менее трех изданий, либо еще какая-то другая, а литературоведение принимает эту задачу за явление и начинает свою работу, свой анализ именно с этой позиции.

Либо наоборот: литературное явление начинает вдруг рассматриваться с точки зрения задачи повышения производительности труда, задачи укрепления семьи, задачи дальнейших переизданий произведения.

А тогда литературный аналитик вдруг начинает горячо убеждать себя и других, что в произведении для него не только нет, но и не должно быть ничего непонятного, никаких следов «неопознанного осадка» он потерпеть не может.

Тут литературовед уподобляется математику, поскольку заранее определяет область своих решений, да к тому же сохраняет за собой еще и то право литературоведения, которое предусматривает необязательность точных решений.

В этом смещении и из этой именно ошибки — строго субъективной или обусловленной, дело от этого ничуть не меняется — и проистекает значительная часть многих других ошибок, в ней временами заложена действительная слабость литературного анализа и его несостоятельность.

Однако, коль такая ошибка предотвращена, литературный анализ приобретает нелегкие права и обязанности гражданства.

Среди этих обязанностей существует и такая: смириться с невозможностью окончательного постижения многих сторон, свойств и качеств истинно художественного произведения, произведения-явления.

Точным исследованиям легче, поскольку там все непостижимое чаще всего остается за пределами их поля зрения, то есть за пределами их собственных задач.

В повседневной жизни мы то и дело совершаем поступки, произносим слова, фразы и речи, значение и подлинная необходимость которых так и остаются неизвестными, и это нас ничуть не расстраивает.

Однако стоит только ту же самую иррациональность отразить искусству, как мы считаем себя оскорбленными.

Да, в искусстве мы ищем осмысленный порядок взглядов на вещи, на жизнь, а не разрушение этого порядка, но не слишком ли мы обидчивы на иррациональность вообще? Даже в тех случаях, когда она приносит нам пользу, удовлетворение, восхищение?

Мы не умеем объяснить полностью эмоциональное воздействие на нас художественных произведений того же Платонова, например, более того — не умеем объяснить, казалось бы, вполне очевидные технические приемы художника, но, вместо того, чтобы признаться в этом и никак не называть все то, что нами не опознано, часто даем неопознанному ничего не говорящие названия и определения.

В этой педантичности, мне кажется, литература и литературоведение идут дальше живописи, в живописи и искусствоведении мы различаем краски — белую, черную, синюю, все цвета спектра, а потом и еще какие-то промежуточные. И это никого не удивляет, так и должно быть, так бывает и в природе — мы не можем назвать цвета облаков и осенней листвы.

В литературе неназванная краска нас раздражает, хотя, казалось бы,— почему?

Вот белая, вот черная, а вот синяя краски, а вот еще какая-то, которая также, видимо, существует, воздействует на меня, я ее вижу и чувствую, и единственно, чем она отличается от других,— я не знаю ее названия. Однако она от этого ведь не становится ни хуже и ни лучше, не меньше и не больше занимает места в природе?!

И ведь опять-таки, они бывают разные, эти неопознанности: искусственная, субъективная, и другая — которая тяготеет к самой природе, заимствована из нее и работает в художественном произведении даже не

столько на себя, на свое возвеличивание, сколько против себя, на нас, на наше познание.

Ведь практическое использование электричества еще до того, как была выяснена его природа, до того, как были определены и названы разумными именами источники электроэнергии, уже способствовало, во-первых, дальнейшему развитию техники, а во-вторых, развивало наше представление о природе электричества.

Возвращаясь к творчеству Платонова, невольно думаешь, что он относится к тем редкостным художникам, которые умеют вносить в свои произведения не только неопознанность как таковую, но как бы даже и самое ее природу, методику и порядок ее существования в мире.

Все время он делает примерно то же, что делали инженеры с электричеством, еще в то время, когда не знали точно, что же это такое.

Не знали, но пользовались великолепно. При этом неопознанность, как и вообще вся сложность мира и человека, целиком принадлежит у Платонова герою реальному, и только сказочный герой опознан у него до конца.

1970

ПИСАТЕЛЬ И ТРАДИЦИЯ

В наше время каждая область науки, техники, искусства находится в непрерывном испытании самой себя, стоит перед проблемой своего решительного изменения, в преддверии необычайных приключений своей судьбы.

Чем через каких-нибудь тридцать — пятьдесят лет будет сегодняшняя химия? Биология? Чем будет воздушный и железнодорожный транспорт? Наука и техника в целом?

А чем будет литература?

Любители приключений и в прежние времена были не только легкомысленными искателями острых и фантастических ситуаций, они уже тогда накапливали вполне серьезный опыт этих приключений, их логику и методологию, изучали их механизм.

И может быть, Анатоль Франс и предчувствовал и чувствовал все это, когда говорил о том, что его литературно-критические статьи есть приключения его души в мире книг.

Не изучение, не осмысливание этого мира, не проникновение в него, не открытия, а именно приключения в нем, которые включают и то, и другое, и третье и которые становятся практикой жизни, в данном случае — литературной жизни.

Литературно-критическая статья — это ведь то и дело взгляд не только в настоящее, но и в прошлое литературы и угадывание ее будущего, а такой взгляд — уже приключение.

Такой взгляд вполне логичен, потому что писатель неизменно испытывает как бы двойное притяжение, всегда существует в двух орбитах: современной и исторической.

Он чувствует современность, ее пульс, ее проблемы, но в то же время, почти как историк, только своими средствами, он постоянно проводит параллели между настоящим и прошлым, пусть иногда недалеким, но все-таки прошлым. Даже если произведения писателя не являются историческими, даже если история его не очень-то и интересует, все равно такие понятия, как его личный жизненный опыт, как его биография,—уже включают некоторый историзм, уже являются обращением к прошлому.

Тем более таким обращением является литература, которую прочитывает писатель,— он ведь узнает из нее и то, что было, и то, как это было написано. И то и другое — в прошлом времени.

Он чувствует современный стиль — стиль творческий и повседневный, стиль всей окружающей его жизни, он стремится их уловить наиболее точно и выразить наиболее полно, в то же время он всегда находится во власти творческой традиции, ему никогда и никуда не уйти от вполне конкретных художественных произведений, которые на века стали эталонами, которые учат его вечности искусства, вообще вечности и уже по одному этому — традиционны.

И самый новый, самый «модерновый» художник, хочет он того или нет, в чем-то и кого-то повторяет, хотя бы потому, что он тоже человек и ему даны человеческие, а не какие-то другие слух, зрение, мышление и переживания.

Ему даны, кроме того, художественные традиции, настолько прочные и устойчивые, что они придают определенную устойчивость и традиционность даже всему тому, что традицию отрицает, опровергает ее «в принципе» и «целиком», и опровергатели тоже становятся традиционными, повторяя друг друга.

Однако это вовсе не значит, будто сами традиции очень определенны, определенны до конца, что их легко понять и сформулировать, изучить и даже заучить.

Вовсе нет, традиция не дает нам вполне очевидных, легко доступных законов и принципов своего существования, вернее — она не дает нам возможности повторить ее. Нельзя ведь повторить ни Шекспира, ни Байрона, ни Пушкина, ни Достоевского, ни Толстого, хотя именно они-то и составляют все то, что мы называем традициями искусства, но одним из самых традицион-

ных признаков искусства является как раз его неповторимость.

Веками и тысячелетиями остаются в искусстве неизменными его темы — любовь, война и мир между людьми,— но каждый раз эти темы повторяются в новом выражении, новыми способами, изображая новые отношения между людьми в старых ситуациях.

И хотя как раз крупнейшие, а значит, и наиболее самостоятельные и оригинальные писатели обычно не отрицали того влияния, которое оказывали на них предшествующая история искусства и его традиции, влияния древних греков например, или даже своих ближайших сотоварищей (как это имело место, скажем, в отношениях между Мопассаном и Флобером, между Гоголем и Пушкиным), они-то менее всего были эпигонами.

Не были они и нигилистами.

В результате не столько традиция создавала их, сколько они создавали ее, вероятно, так; а в самом отношении художника к истории и к традициям искусства — в умении тем и другим воспользоваться сегодня — уже сказывается мера его гениальности, талантливости или способностей.

Что касается русской литературы, так в ней, как, очевидно, во всякой другой, существуют свои собственные черты, своя история, свой собственный способ возникновения.

И мне кажется, что русская классическая литература несет в себе особое удивление — удивление самою собой. Читаешь Толстого и чувствуешь, как, распоряжаясь словом, мучаясь над ним, он в то же время удивляется и ему, этому слову, и своей собственной способности и распоряжаться, и мучиться им. Чувствуешь и теплоту и горячность, которые есть опять-таки теплота и горячность этого удивления, этой надежды.

Величайшие произведения литературы чаще всего появляются в те периоды, когда сама литература заново осмысливает себя, ищет и находит свои новые задачи, свое новое место в мире, когда она обладает чувством своей собственной, пусть уже не первой, но все равно — молодости.

И вот по своей молодости русская классика брала на себя всё, все мыслимые задачи — и эстетику, и этику, и философию, и бытописание, и историю, и лингвистику, и право судить обо всем на свете, чувствуя при всем при этом самое себя единой и нераздельной, даже почти

что одножанровой, поскольку этот ее всеобщий «жанр» столь всеобъемлющ.

Она напоминает этим дневнегреческую литературу, но, пожалуй, только этим, так как во всем остальном связана с ней меньше, чем другие европейские литературы, ведь родилась она совсем недавно, только что, и родилась самостоятельно.

Эта литература считала, что всякий раз она должна делать и новое открытие мира, и новое открытие самой себя, своей художнической силы, своих возможностей и художнических средств. Повторение и заимствование были чужды ей, и вы почти не найдете в ней одинаковых, а тем более повторных приемов и образов, которые для западной литературы были делом привычным, делом традиционным и даже — культурным, поскольку литература как бы «окультуривала» тот или иной художественный, а иногда и легендарный образ, подобно эстафете передавая его из века в век. Там литература развивалась в непосредственных связях с античностью, и никто не считал для себя зазорным снова и снова использовать и античные и средневековые сюжеты, легенды и образы. Толстой же очень сердито ругал Шекспира за то, что в «Короле Лире» тот повторил неизвестного автора.

Наконец в нашей литературе возникла и своя интонация — очень доверительного собеседования, интонация, которая несет следы устного творчества. Быть может, в этом опять-таки сказывается история рождения русской классики, она молода, еще не так далеко ушла от устного народного творчества, от Арины Родионовны, а Некрасов — тот целиком в этой стихии; она обладает не столько острым зрением к слову написанному, сколько острым слухом к слову произнесенному, и вот автор всегда как бы даже следит за выражением лица собеседника, все время ждет от него вопросов, замечаний, согласия в мыслях, убеждает, призывает.

Русский классик никогда не старается дать понять читателю, кто он — какой он великий и необыкновенный, скорее наоборот — он стесняется своей исключительности. Как человек, глубоко верящий в свое дело, он больше верит в это дело, чем в себя, нет ему и необходимости ставить это дело, эту литературу на пьедестал, возвеличивать ее каким-либо чином, саном, а тем более собственным авторитетом, изыскивать устрашающие либо исключительно красноречивые выражения,

либо какие-то другие приемы своего воздействия на читателя. Пафос русского классика заключается для него не в литературе как таковой, не в ее виртуозности, а в ее высоком назначении и в том предмете, о котором она говорит, в самом смысле этого разговора.

То и дело мы чувствуем, как писатель пренебрегает тем, что он может, ради того, что он должен, как опасается прослыть мастером в ущерб репутации человека.

Каждому литературному произведению свойственна своя мера литературности, у русских классиков эта мера часто сводится к минимуму, их интересует не стилистический прием и опять-таки не сама литература, а тот предмет, о котором они говорят. Литература для них отнюдь не цель, а лишь средство выражения истины гораздо более высокой и значительной, чем их искусство и они сами.

И Достоевский, и Толстой, а позже даже такой тонкий мастер, как Чехов, то и дело бывали небрежны, многословны, не проявляли особенной заботы о сюжетной стройности своих произведений, о красоте фразы и абзаца, даже слога в целом.

Чехов само слово «виртуозность» применительно к искусству считал бранным словом.

Зато они создавали все ту же интонацию доверительного собеседования автора с читателем, собеседования на равных, искреннего и неподдельного, выполняя, тем самым, поставленную перед собой задачу № 1.

Собеседник русского классика, то есть его читатель, то есть вообще человек, в представлении автора тоже был способен все понять, всем мучиться и всем тем страдать, чем мучился и страдал сам автор, кроме того, он тоже был всеобъемлющ — все человеческие качества он мог воплотить в себе одном, этот собеседник, все мысли, все проблемы прошлого, настоящего и даже будущего.

Вероятно, еще и поэтому русская литература не обращается к образам-символам, к таким, как Фауст, Мефистофель или Гамлет, не рассматривает человеческие свойства отвлеченно, в какой-то мере абстрактно, не отделяет их от человека, все человеческое она вкладывает только в человека реального и поэтому так скупа на легенды, мифы и притчи, а там, где Гёте создавал Фауста и Мефистофеля, где Анатоль Франс обращается к творчеству Рабле,— Толстой рисует Пьера Безухова

и князя Болконского, а Достоевский — братьев Карамазовых, Раскольникова, Верховенского.

И это каждый раз снова новые, только-только совершенные открытия, каждый раз это — тоже результат собеседования автора с читателем, той собеседующей, отчасти устной интонации, которая так органически соответствует всей манере поведения русского классика.

Толстому, несмотря на его образованность и широту, даже вопреки им, чужды такие образы, как Яго и Отелло, как Джульетта и Ромео,— они слишком прямолинейны и однозначны для него и, должны быть, неправомерно символичны, они теряют для него человечность, поэтому он и не может их любить, а это для него значит, что он их не любит и отрицает.

Рассматривая того же «Короля Лира», он относится к Лиру и ко всему, что с ним происходит, опять-таки как к реальной личности, как к своему яснополянскому соседу, например, он ставит на место Лира самого себя и обнаруживает вопиющее, даже кощунственное несоответствие образа с реальным человеком и отрицает Шекспира.

От этого, может быть, даже именно от этой толстовской крайности, герой русской литературы отрицает символику. Начиная от Акакия Акакиевича Башмачкина, от героев «Мертвых душ» и кончая Карамазовыми и Раскольниковым, он сам по себе включает и ее, эту символику, ее представляет, потому что символический образ для него — не сверхчеловечен, а, наоборот, менее чем человечен, это только лишь одна формула, одна черта и одна строка из того почти что святого писания о реальном и реально страждущем человеке, которым занята мысль писателя.

Символичный, а значит, и однозначный герой — носитель одного только зла или только добра,— в русском литературном творчестве находит себе место, пожалуй, лишь в одном жанре — в жанре сказки. Тем самым символика как бы отождествляется со сказочностью, а между символикой и реализмом возводится определенный рубеж.

Герой русской классики думает и за себя самого, и за всех святых, и за Мефистофеля, и за Фауста, он и жить хочет тоже за всех за них, потому что он один из всех них вполне реален, этот герой, а еще — он очень молод и современен. Это всегда герой нашего времени.

«Война и мир» — роман прежде всего о молодежи. Князь Болконский, который несет такую колоссальную философскую нагрузку, умирает, едва перевалив за тридцать. Пьер Безухов — его ровесник; Раскольникову, и Печорину, и Подростку из «Подростка» Достоевского — за двадцать.

При всем при том ни Толстой, ни Достоевский, ни Лермонтов — никто из них ничему не поучает своих героев, не объясняет им, что такое хорошо, а что такое плохо и как нужно себя вести в присутствии взрослых, наоборот, остается такое впечатление, что это писатели учатся у своих героев, угадывают и распознают их, а вместе с тем распознают все о человеке и его жизни.

Достоевский вручает своему герою и философские мысли, и проблемы века, мысли свои собственные, нажитые тем опытом, который он имел, а мы знаем, каким был этот опыт, и вот его Подросток становится, быть может, одной из его наиболее символических фигур, поскольку он не столько живет обычной для человека жизнью, сколько непрерывно мыслит, решая эти проблемы. Однако же — он все еще вполне реальный человек, у нас нет на этот счет никаких сомнений. Это отнюдь не Гамлет и не Фауст. И он сам, и те люди, которые его окружают, и те события, в которых он участвует,— все это создает реальное, только в крайней степени обостренное морально-нравственное состояние человека, все это достигает не только огромной, но и полной, как будто даже исчерпывающей глубины.

Один шаг — и образ, созданный Достоевским, обратится в символ, в абстракцию, в выражение мысли или проблемы, в человеческую философию как таковую, потеряв при этом черты реального человека, но этого не происходит нигде и ни с кем — ни с Подростком, ни с Раскольниковым, ни с Верховенским, ни с Карамазовыми — повсюду мы имеем дело еще с людьми, еще не потеряли возможность приравнивать их к себе, а себя — к ним, общаться с ними не только мысленно и философски, но и житейски, следить за их житейскими поступками.

Достоевский рисует реального героя, вкладывая в него все те нравственно-мыслительные способности, которые другие писатели могли придать только личности уже нереальной, символической и легендарной;

реалистический герой Толстого прежде всего воплощает в себе жизнь, жизнь как таковую, почти что в не-

реальном ее разнообразии, думает же за своего героя автор и делает это не только в прямых философских отступлениях, но и в тех случаях, когда герой говорит и решает «сам»;

реалистический герой Тургенева, кроме того, что он живет и думает, еще и целеустремленно действует, задает и, как может, создает свой собственный образ жизни, не всегда удачный и привлекательный, но свой и в то же время устремленный к общественной пользе;

реалистические герои Гоголя — это вообще целая галерея типов и характеров.

И так, вероятно, можно без конца прослеживать метаморфозы и судьбы реалистического героя русской классики — героя некрасовского и гончаровского, героя Чернышевского, Успенского, Островского, а позже — Чехова, Короленко, Горького; однако же повсюду будут сказываться истоки этого реализма: начало XIX века.

О писателях часто говорят, что они — сыновья своего века, русские классики — это сыновья своей почти что четверти века, 1799—1828 годов, одного исторического мгновения.

И дело не только в формальных датах рождения писателей, дело еще и в том, что эта четверть века своей ситуацией, своими событиями, духом и устремлениями во многом определила последующее состояние России, ее жизнь и ее литературу как отражение этой жизни.

Отечественная война 1812 года еще раз пробудила сознание России, обратила ее взгляд в глубину самой себя, к своим потенциальным, нереализованным возможностям, к той роли, которую она способна играть в своей собственной судьбе, в судьбах мира.

Движение декабристов пыталось реализовать это сознание и само выросло из него же, а трагедию, которую оно пережило, когда Россия, и не в первый уж раз, выиграв великое сражение с внешним врагом, потерпела поражение перед самою собой,— декабризм предоставил осмыслить литературе.

И русский литературный классик принял это завещание, эту обязанность, тем более что и декабризм, и литература того времени взросли от одного корня, были порождением одной и той же немногочисленной среды — дворянской. Декабристы часто были писателями, писатели — ближайшими родственниками и друзьями декабристов, им не надо было по официальным документам изучать ни друг друга, ни свое «изначаль-

ное» четвертьстолетие — его история была их собственной, нередко семейной историей и хроникой.

Почти в той же мере, в какой это было литературным материалом, это было их личным, пусть несколько и преобразованным восприятием мира, их идеей, истоком и духовной школой их творчества, школой, из которой возникало и понятие о справедливости, о необходимости ее поиска, о духовном назначении человека.

А если уж говорить о школе, так русский писатель, вполне вероятно, был тогда еще и наиболее образованным человеком своего времени, образованным счастливо и удачно: воспитанный на западной, в частности на французской, литературе и больше — ее культуре, знающий ее вдоль и поперек, усвоивший ее огромный опыт, русский писатель имел полную возможность и этот опыт, и эти свои знания и образованность приложить к еще не открытой для мира отечественной действительности и истории — к тем самым проблемам, которые оставили России декабристы, к тому самосознанию, которое принесла ей война 1812 года, а отчасти и вся предшествующая литература, еще не вышедшая на мировую арену, но уже вполне самостоятельная — русская.

Как часто бывает, что человек знающий и образованный не находит того предмета или объекта, который можно открыть, объяснить и показать именно с помощью этих знаний, и, наоборот, человек, обладающий таким предметом, не имеет знаний и образования, необходимых для подлинного открытия. Здесь же было удачное сочетание того и другого, хотя и проистекающее, может быть, из горького источника неудач России 1825 года.

Эта удача, вероятно, одна из причин того, что русская литература совершила затем свое триумфальное шествие на Запад — Запад узнал в ней и себя тоже, омоложенным и воодушевленным, узнал он и свои традиции, и свою современную литературу, созданную им в том же XIX веке.

Эту же удачу, оглядываясь назад, мы видим теперь во всех тех дорогих чертах, которые каждый из нас, современников и современных писателей, каждый посвоему, но неизменно обнаруживает в отечественной классике, в ее реализме и в ее интонации, в ее умении проникнуть в человека, как бы даже пренебрегая своими собственными интересами; она обладает умением

воззвать к человеку, оставаясь в то же время на равных с ним, не уча его, а учась у него, обладает умением быть ему истинным и постоянным другом, а не только временным приятелем или гувернером.

Все это и еще многие и многие другие свойства нашей классики, кажется мне, если и не проистекают прямо из истории, из тех условий, в которых русская классика XIX века возникла, так, во всяком случае, органически этим условиям соответствуют и отвечают.

Я не историк и не историк литературы, я только хочу понять, почему и каким образом русская классика воздействует на меня, а для этого нужно понять ее, и только поэтому я обращаюсь к истории.

Сколько уж раз я слышал один и тот же вопрос: а не устарела ли классика? Ее традиции, ее язык и стиль? Ну, хотя бы ее доскональность и дотошность, с которой она описывает любой предмет, дотошность, оставшаяся с тех пор, когда русская литература представляла чуть ли не всю общественную мысль, и философскую, и научно-познавательную, когда она была едва ли не главным средством информации о состоянии окружающего мира, когда от нее в значительной мере зависели оценки прошлого и настоящего, когда она выступала и в роли участника и в роли судьи в таких великих спорах, как спор науки с религией? Не устарел ли, с другой стороны, и лаконизм лермонтовской, а может быть, и гоголевской прозы, такой отчаянно смелый и одержимый, не допускающий и мысли о том, что кто-то может в нем усомниться, увидеть вещи не так, как видит их автор? Чрезмерная авторская самоуверенность тоже ведь нередко претит нынешнему всезнающему читателю.

Мне кажется, на этот вопрос, как бы сложен он ни был, какими бы дополнениями и комментариями ни сопровождался, все-таки есть ответ, есть верный признак того, что в литературе окончательно устарело, а что нет: пока художественное произведение читается, оно современно и воздействует на нас.

Пусть это уж не предмет для прямого творческого подражания и обучения, пусть оно не учит современного писателя стилю и организации сюжета, но если мы его читаем, значит, находим в нем его влияние на нас. Без этого мы не стали бы его читать.

Оно учит нас мысли и мышлению, учит писателя достигать той степени выразительности, которой оно когда-то достигло. Об этом мы уже говорили прежде:

вершины и эталоны художественного творчества — это ведь не общие принципы их создания, а прежде всего они сами, художественные произведения, как таковые, как великие и неповторимые частности.

Конечно, величие величию рознь: одно становится пусть грандиозным, но окаменелым памятником прошлого, другое — живет и действует сегодня, присутствует в нашей жизни и в той или иной мере определяет ее. В том числе определяет и жизнь творческую, которой так свойственны неповторимость, новаторство, вечный поиск и даже неудовлетворенность всем тем, что было сделано в прошлом.

Тут, очевидно, дело еще и в том, как понимать другую сторону творчества: новаторство. Исключает ли оно традиционность, или с грехом пополам мирится с нею, или находит себя прежде всего в развитии, разработке, а если так можно выразиться, и в детализации однажды сложившейся традиции?

Короче говоря: в каких отношениях состоят новаторство и традиция?

Никто ведь не отрицает необходимости существования в искусстве экспериментальной мастерской, которая вырабатывает новое слово, вырабатывает, а точнее, пожалуй, даже подслушивает в современной жизни новый стиль, новую манеру...

Трудный эксперимент всегда отличается огромным количеством вариантов, подавляющая часть которых оказывается безрезультатной, там масса отходов, там проще простого принять временную моду за ту истинную новизну, которой будет принадлежать будущее,— ведь будущее всегда так заманчиво открыть, но открытия его случаются так редко!

И вот думается мне, что и таланты тоже редки еще и потому, что в само понятие «талант» включается слишком уже много требований, а одно из них — это удачное сочетание талантливой личности прошлого с будущим, традиции с новаторством, сочетание, которое и создает для этой личности ее творческое настоящее.

И Толстой, и Байрон, и Лермонтов, и Пушкин, вероятно, не очень-то много и думали о том, какие отношения сложились у них с традициями, а какие — с новаторством, еще меньше думали они о том, что сами являются создателями художественных традиций,— они писали и прежде всего выражали свое отношение к жизни, к тому ее предмету, о котором писали.

А их отношение к традициям искусства, равно как их стиль и язык, как их голос,— это даже не столько они сами, сколько их природа, ведь рождается же почему-то один человек с дискантом, а другой — с басом. Так же один является на белый свет историком, обладая особым слухом и памятью к временам прошедшим, другой же — это врожденный публицист, который на лету схватывает день сегодняшний во множестве его проявлений.

Воспитание, образование, среда в немалой степени формируют и определяют интересы и склонности человека, но, когда дело касается таланта, все это не столько создает его, сколько его или губит, или открывает, извлекает на свет божий то ли живописца, то ли актера, то ли писателя.

Вместе с писателем, как его неотъемлемые признаки, как вполне конкретные его качества, открывается очень многое: и умение его работать, организовать свой труд, и способ его общения с окружающими его людьми, и его творческий и общественный темперамент, и его хобби, и, что, может быть, особенно существенно — его отношение к языку, к традициям литературы, к истории вообще.

Для одного народный язык, хотя бы и нынешний,— это захоронение, мощи, которые кто-то и для чего-то все еще извлекает на белый свет, для другого — это язык вполне живой, во всяком случае — приемлемый, для третьего — его собственный и единственный творческий язык.

Отсюда же, от вкуса и склонностей к тому или иному языку, возникает, вероятно, и отношение писателя к литературной традиции и, может быть, даже — к истории в целом. Настоящего ведь никогда нет в его «чистом» виде, «чистое» настоящее — это разве только биология, нынешний процесс жизни как таковой, мышление же, тем более мышление творческое,— никогда не обходится без памяти, следовательно — без прошлого, без мечты, следовательно — без будущего, и опять-таки, один писатель все время опирается на свою память, другой — на свое предчувствие чего-то будущего, истинный же талант — это еще и счастливое сочетание того и другого, можно сказать — пушкинское сочетание. Пушкин не был воспитан, как говорят у нас, «в народе» и не был фольклористом, но именно он создал шедевры народных сказок, и это — счастливое сочета-

ние культуры и современности с древней традицией; не был он и историком как таковым, но все-таки был им — историком-художником.

Однако это вовсе не значит, что о традиции нет забот и у нас, нет забот о том, чтобы понять, какова она, как сформировалась и, главное, как действует традиция на нас сегодня и к чему нас обязывает и какую позицию мы занимаем нынче по отношению к ней.

Это тем более необходимо в наше время, что современное искусство весьма склонно перечитывать, переоткрывать, переосмысливать те произведения прошлого, которые, собственно, и создали традиции, в искусстве появляется как бы своя собственная технократия, которая не выполняет задачи новых и самостоятельных открытий, не выдвигает своих идей, а прежде всего, пользуясь новым арсеналом технических средств, на свой лад переиначивает классику, прежде всего — в кино.

Кажется, еще ни одно произведение русской классической литературы от этого не выиграло, ведь кино не в состоянии передать хотя бы такой «пустяк», как собственно авторский текст, но опыты эти продолжаются и продолжаются без конца, и миллионы людей знакомятся с великими литературными произведениями уже не непосредственно, а на уровне новоявленного толкователя, и вот уже ученики средних школ, когда проходят классиков, бегают в кино, чтобы узнать, «что там было и что там про это показано». Происходит снижение культурного и эстетического уровня целых поколений.

Почему-то никому не приходит в голову переписывать на свой собственный лад картины Сурикова или Врубеля, с них только снимают копии, больше того — никто не создает из этих картин кинокартин, хотя, казалось,— почему бы? Живопись и киноэкран стоят, мне кажется, ничуть не дальше, чем экран и художественная литература. По крайней мере, и то, и другое — зрелище, и вот, посмотрев суриковское «Покорение Сибири Ермаком», кинохудожник вполне, казалось бы, логично мог развить этот сюжет, представить, что было с участниками битвы на Иртыше несколькими годами раньше, а что — позже, то есть выступить в роли исследователя, критика и художника. Но нет, почему-то не слышно, чтобы бывало и так, чтобы из картины живописца возникла кинокартина, зато многие предпочита-

ют другое — обращаться к литературному произведению, выбрасывая из него все то, с чем ему трудно и невозможно справиться, создавать не расширенный, а заведомо ущербный его вариант.

Никто без согласия ныне здравствующего автора не может поставить фильм или спектакль по его произведению, от этого его ограждает институт охраны авторских прав, и никто не в состоянии охранить права и все те ценности, которые принадлежат, положим, Толстому или Достоевскому.

А ведь это противоречит самой природе искусства, той его особенности, о которой я уже говорил выше: если бы не было Ломоносова, закон сохранения вещества открыл бы Лавуазье, или — наоборот; если бы не было Попова, изобретателем радио, может быть, и стал бы Маркони, если бы не было Ньютона — «его» закон открыл бы Лейбниц или еще кто-то... Позже, но обязательно это открытие было бы совершено человеком. Так обстоит дело в науке.

Но если бы не было Толстого, никто и никогда не открыл бы «Войны и мира», без Достоевского никто и никогда не узнал бы «Преступления и наказания»,— никто и никогда ни слова не узнает о тех произведениях искусства, которые должны быть и которых нет только потому, что их создатели погибли слишком рано либо не родились совсем.

И «Война и мир», и «Преступление и наказание», и вся вообще классика — это личности их создателей, единственные и неповторимые, их можно и должно изучать, в них можно и должно вчитываться, но «перечитывать» их на свой собственный голос, на свой вкус и ум, да еще сокращать, да еще дополнять, а потом преподносить это «прочтение» как собственное творчество и достижение — нельзя, это уже не искусство, а скорее всего антиискусство.

Перечитывать таким образом Толстого имел право и мог сам Толстой, он это и делал, а нам опять-таки достается вчитывание в его собственное перечитывание.

Я понимаю, допускаю и принимаю такой прием, когда на сцене, на экране или на страницах печатного произведения появляется герой прошлого — то ли античный, то ли мольеровский, то ли гоголевский или еще чей-нибудь,— и начинает действовать сегодня, в наше время, среди нас.

Это — честный прием, тут совершенно очевидно, что

автор взял от классика, а что — от самого себя, тут нет необходимости автору лезть из кожи, чтобы дотянуться до классика, а затем убеждать самого себя и всех окружающих, что это начинание ему удалось.

Я даже думаю иногда, что такого рода прием чем дальше, тем, наверное, больше будет получать распространение — ведь герои классических произведений вечно живут среди нас, и, поскольку каждый из нас тоже может стать героем современного писателя, не следует делать исключения ни для Дон-Жуана, ни для Гамлета, ни для Хлестакова, ни для Башмачкина.

Но здесь нет и не будет пресловутого и прямо-таки вошедшего в моду «перечитывания» классики.

Здесь автор и не ставит всех тех сомнительных задач, которые вольно или невольно возникают при «новом», «оригинальном» и — увы! — очень часто неумном прочтении классика. Тут лиха беда начало — пооригинальничал слегка, а потом уже из «Анны Карениной» можно сделать и «Каренину Нюрку».

Существуют в мире ценности, которые только выигрывают от своей неприкосновенности. И вот, не прикасаясь к ним «творчески», выигрываем и мы — их немало: и Рафаэль, и Леонардо да Винчи, и Бетховен, и Чайковский, и Растрелли, и Казаков. Классики художественной литературы не должны здесь представлять исключения.

Что же касается русской классической литературы, так она, кроме всего прочего, еще вполне жива, еще действует сама по себе, и тем более неопрятно и неумно мешать этой ее самостоятельной и действенной жизни, рассматривать ее как некий строительный материал или как типовые конструкции, которые можно и разобрать, и собрать снова, позабыв при высоких темпах монтажных работ кое-какие «детали», вроде, положим, авторских отступлений.

Сравнительно недавно мы имели удивительный пример того, как классическая школа действует, как приходит она со всем своим опытом к нам в годы самых трудных испытаний, приходит даже не в облике литературы, а как быт самой жизни:

На войне, как на привале,
Отдыхали про запас,
Жили, Теркина читали
На досуге.
Вдруг — приказ...

Когда еще и какой писатель, едва закончив первую половину своего произведения, в начале второй уже имел возможность вот так же спокойно и уверенно говорить о своем герое с многомиллионным читателем, причем с читателем, у которого не так уж много было литературных интересов, по той простой причине, что он воевал?

Однако же Твардовский был уверен, что если его читатель еще жив — значит, он читает Теркина.

Да ведь и не только на досуге Теркин был дорог и необходим этому читателю:

Низко смерть над шапкой свищет,
Хоть кого согнет в дугу,
Цепь идет, как будто ищет
Что-то в поле на снегу.

И бойцам, что помоложе,
Что впервые так идут,
В этот час всего дороже
Знать одно, что Теркин тут.

Что это — оперативность?

Да, это она, это и злободневность, и «отклик», но только это та же самая пронзительная оперативность и злободневность, которая свойственна и «Преступлению и наказанию», и «Шинели», и «Анне Карениной»: схвачена жизнь в ее чуть ли не мгновенном проявлении, в ее сегодняшности и злободневности, а потом эта картина жизни живет, учит жить и понимать жизнь в течение веков.

Вот и Теркин — лет ему нынче уже немало, а сколько надо прочитать сегодня книг, чтобы узнать о войне все то, что он один рассказал о ней? Чтобы узнать все, что говорит он о своем авторе?

Впрочем, дело тут не только в сочетании злободневности с долгожительством, это лишь одна, и притом довольно общая черта классики, ее традиций — «Теркин» традиционен весь, от начала до конца. Его новизна состоит скорее всего в возрождении этих традиций.

Мы считали уже ушедшим, уже до конца выполнившим свое назначение тот почти что разговорный, как бы даже нарочито простой и повседневный язык, которым он написан, не литературный, не очень интеллигентный, но как будто и не народный, тем более — не областной, с присущими ему словечками и оборотами, но вот эта «простота» вдруг обернулась к нам всей

своей необычайной глубиной, и проникновенностью, и способностью передать и состояние человека, и его мысль во всех оттенках, почти что в неуловимых для глаза, слуха и чувства подробностях.

Пусть читатель вероятный
Скажет с книжкою в руке:
— Вот стихи, а все понятно,
Все на русском языке...

Мы считали, что для современного литературного произведения необходим острый сюжет, ну, а если уж его нет — тогда — антисюжет, тоже острое отсутствие сюжета,— а тут нет ни того, ни другого, вообще нет никаких претензий на занимательность, тут есть, говоря строго и формально, традиционное бытописание, бытописание человека на войне, и только. Но что и как дает нам оно!

Повесть памятной годины,
Эту книгу про бойца,
Я и начал с середины
И закончил без конца...

...Мы считали, что в таких необыкновенных, в таких исключительных и грандиозных событиях, как вторая мировая война, литературный герой, если он действительно герой, должен быть человеком, во всяком случае, далеко не обыкновенным, а Теркин, если чем и необыкновенен, так как раз своей человеческой обыкновенностью. И как раз поэтому-то он и герой, причем — тот герой:

— Нет, ребята, я не гордый.
Не заглядывая вдаль,
Так скажу: зачем мне орден?
Я согласен на медаль.

Наконец, казалось бы, что через «призму» такого обыкновенного, невозвышенного героя, как Вася Теркин, поле зрения которого ограничивается полем деятельности стрелкового отделения, а образование — начальной сельской школой,— невозможно увидеть столь грандиозное явление, как мировая война, увидеть, оценить и понять, но Теркин это увидел и объяснил нам.

Это — тоже традиция, обыкновенность героя русской классики, а через нее — его человечность и общечеловечность.

Война разделяет людей на генералов и солдат («города сдают солдаты, генералы их берут»), но она же

вносит и равенство между ними, равенство долга, равенство смерти и даже равенство мышления — это особенно остро почувствовал Толстой: у Толстого и Каратаев и Кутузов мыслят в общем-то одинаково, обладают общей мудростью, только один мыслит, будучи солдатом, другой — главнокомандующим.

Я даже подозреваю, что и многие писатели, которые в свое время были солдатами, а теперь пишут о войне, были тогда гораздо больше похожи на Теркина, чем на самих себя теперешних.

И наконец, я убежден, что только традиция, ее мудрость и опыт, ее пафос истинного человековедения позволили Твардовскому достигнуть всего того, чего он достиг.

На войне, как на войне,— некогда, а может быть, даже и преступно было заниматься изысками, нужно было принимать на вооружение испытанные, надежные, а кроме того, и органически присущие личности писателя художнические средства, предельно ясно и отчетливо поставить перед собой и объяснить другим задачу:

Я мечтал о сущем чуде:
Чтоб от выдумки моей
На войне живущим людям
Было, может быть, теплей.

И тут нельзя даже угадать — кто и кого нашел: поэт ли нашел эти единственно возможные для своего времени художнические средства, или они нашли своего единственного поэта.

«На войне живущим людям» — это абсолютно точный адрес, это та интонация и то обращение искусства к людям, при которых оно как бы полностью пренебрегает самим собою, своими собственными интересами, своей красотой, наконец, но не в этом ли оно и достигает своей высшей красоты и выразительности? Которая, как о высшем благе и о чуде, мечтает, чтобы живущим на войне

Было, м о ж е т б ы т ь, теплей.
(Разрядка моя.— С. З.)

Так заканчивает поэт, но не заканчивается его поэма, потому что, кроме того, что она с поразительной силой возродила и доказала жизнеспособность традиции,— она еще и развила эту традицию, дополнила ее тем, чего в ней так долго не хватало.

Русская классика, возникшая из высоких нравственных идей и вместе с ними, постоянно сопоставляла эти идеи справедливости, равенства, разумного и гуманного устройства человеческого общества с реальным человеком...

И слишком высоки оказались ее требования к человеку, слишком возвышенны, а иногда и категоричны, и вот у Достоевского, у Толстого, у Чехова, у многих русских классиков мы то и дело обнаруживаем очевидное несоответствие между этими идеями и реальным человеком. Их человек в какой-то мере даже сам творит эти идеи, во всяком случае он много говорит о них, думает и мучается ими, однако же действовать и жить в соответствии с ними он еще не может, он к этому не подготовлен и в общественном, и даже в личном плане.

Быть может, ближе других подошел к исполнению этой задачи Тургенев, но и его Хорь и Калиныч, и Ермолай, и Касьян с Красивой Мечи — это герои, прежде всего лирические, певцы и музыканты, одаренные артисты, но еще не те именно деятели и не те солдаты и воины, которые не раз и не два отстояли все то, что было Россией.

Такого героя впервые создал Александр Твардовский. Отечественная война 1941—1945 годов — это величайшее историческое действие народа — должна была получить свое утверждение в искусстве, прежде всего — в искусстве народном же, близком каждому и рядовому и нерядовому участнику событий.

Искусство могло исполнить эту задачу, этот запрос, через художественный образ и исполнило ее. Оно не могло этого не сделать. Такова была мера его обязанностей.

Оказалось, что в войну 1941—1945 годов из русской классической литературы, при всем ее величии, некого призвать в окопы — не Платон же Каратаев мог стать этим призывником? Он, пожалуй, не выполнил бы этой задачи и в 1812 году, если бы Толстой тоже в том же самом году писал «Войну и мир».

Как ни говорить, а «Война и мир» — это роман мирного времени, и его герои и его автор уже не столько воюют, сколько осмысливают войну.

Для Толстого война 1812 года была историей, для него не существовало реальных и жестоких вопросов: кто — кого? жить — не жить? победить — умереть? — а если бы это было, если бы он писал для воюющего

солдата, писал «на войне живущим людям», вряд ли он позволил бы себе написать Каратаева так, как написал его в 60-е годы.

Так и бывает — есть периоды исторических событий и есть периоды исторического осмысливания этих событий, события неповторимы, история повторяется и, повторяясь, всякий раз осуждает войну, вскрывает ее античеловеческую сущность, философствует по ее поводу, создает гуманистические концепции и художественные традиции.

Эти традиции антивоенны, но если реальные события развиваются таким образом, что возникает угроза существованию целого народа и его родины,— именно они-то, гуманистические и антивоенные традиции, становятся главным морально-нравственным оружием этого народа, именно ему-то они и служат в его справедливой борьбе.

Вот и «Теркин» тоже — воин, а возник, как плоть от плоти, от гуманистических традиций русской литературы.

Вот и традиции — как будто бы и устарели и относятся уже к истории, а настал день испытаний, и они показали, на что они способны.

Нынче эти традиции тоже ведут свое существование, иногда незаметное и негромкое, но чтобы это существование было еще и незначительным — сказать нельзя.

Мы найдем тому множество примеров, ну хотя бы опять-таки в традиционной теме о жизни деревни. Мне доводилось говорить об этом уже не раз, не буду повторяться.

Кроме того, мы найдем немало доказательств и того, что традиции не только живы, но постоянно обогащаются и развиваются. Тут я прежде всего имею в виду и опыт, и, если так можно сказать, первые плоды, возникшие из общения русской литературы с другими литературами Советского Союза.

Мы много и, вероятно, справедливо говорим о влиянии русской литературы на литературы других народов СССР, но ведь нельзя себе представить, что дело обходится без обратной связи, что русская литература не испытывает никакого влияния со стороны литератур союзных республик.

Тут и сама история складывалась так, что русский язык и русское искусство слова веками соседствовали с языками, как назывались они в прошлом, «инородче-

скими»; тут и современность — сама организация Советского государства — повседневно способствует такого рода общению и взаимному влиянию.

И когда писатель — киргиз, или грузин, или латыш — пишет на русском языке либо переводит на русский сам себя, он открывает в этом языке новые возможности, обогащает его своим тоже новым отношением к нему, своим взглядом на него, своим слухом к нему.

В «Белом пароходе» Чингиза Айтматова меня удивила такая особенность: отдельно взятый абзац его повести то и дело звучит как сказка, однако же в целом — это вполне реалистическое произведение, написанное чистым и красивым русским языком.

Русские писатели, если бы они писали сказку, писали бы ее языком сказочным, а произведение реалистическое — совершенно другим языком, тоже реалистическим, не исключая при этом необычайного его разнообразия.

Из русских писателей я, пожалуй, знаю только одного, который умел стилистически соединять эти два жанра,— это Платонов. Уже Грин и Евгений Шварц — сказочники как таковые, а Лев и Алексей Константинович Толстые, Пушкин и Лермонтов всегда одни — в реалистических произведениях и совершенно другие — в сказках, фантазиях и в былинах.

Очевидно, такое различие, как и всякая другая специализация, говорит о высоком развитии языка и его культуры, однако же чрезмерная специализация тоже ведь может оказаться излишней, может привести к обеднению целого, и тогда необходимо вновь обратиться к синтезу.

Айтматов это и делает, делает естественно, потому что в его родном языке такой специализации и такого разделения еще не произошло, он не прибегает к нему, к этому разделению, и в языке русском, достигая в нем очень большой выразительности.

Приблизительно в том же роде выполнил свою работу и Фазиль Искандер, написав «Созвездие Козлотура», привнеся, кроме всего прочего, в это произведение еще и тот легкий юмор, которым, в общем-то, не отличается наша русская литература.

Молдаванин Друцэ в «Степной балладе» как бы проделывает тот же опыт со всем тем, что мы понимаем под поэтическим, но в то же время и прозаическим

жанром баллады, такие же особенности можно проследить в творчестве белоруса Василя Быкова, казаха Олжаса Сулейменова, чукчи Юрия Рытхэу.

Пожалуй, иначе и не может быть: все они приходят в русскую литературу, но каждый приходит туда, где для него есть место, где русский язык предоставляет вновь пришедшему свои еще не использованные возможности.

Кроме того, нерусские писатели, приобщаясь к русской литературе, приобщаются к литературе классической — прежде всего она привлекает и обогащает их, и в этом — еще одна роль и значение традиции. Она их привечает, она предоставляет им поле деятельности, она же от них и приобретает.

По поводу каждого писателя, пришедшего в русскую литературу из другого языка, можно было бы говорить и много и поучительно — вероятно, в скором времени специалисты и заведут такой разговор, я же только хотел подчеркнуть здесь, что такого рода общение — есть признак истинной культуры, наличия в ней живых и деятельных традиций. Именно такая культура не нуждается в создании вокруг себя китайских стен, она убеждена, что и без этого останется самою собой, ей ни в коем случае не страшны эти влияния, скорее они ей необходимы, в конце концов она ведь сама определит — что ей полезно и нужно, а что — не нужно.

И любопытно, что в произведениях писателей, о которых только что шла речь, мы никогда не обнаружим таких дешевых и доступных каждому приемов, как использование исковерканных и даже в какой-то мере естественно русифицированных слов и выражений своего родного языка. В этом отношении они не могут допустить даже того, что вполне приемлемо для русского писателя: набор слов и выражений местных, так называемых областных и фольклорных из своего родного языка. Они не могут этого, потому что это не было бы понято русским читателем.

И вот их русский язык лингвистически чист и правилен, а оригинален он прежде всего в отношении стиля, о чем уже говорилось выше.

Однако же так происходит только тогда, когда мы имеем дело с талантливым писателем, обладающим очень тонким и точным слухом и к своему родному и к русскому языку.

Если этого нет — возникает неизвестно какой язык, стиль отсутствует, входят в силу неправильные да и неграмотные выражения и слова, совершенно необоснованные «молдаванизмы» или «украинизмы», еще какие-то «измы», которые, по существу, не имеют прав гражданства ни там, ни здесь — ни у себя на родине, ни в русской литературе, а, пользуясь неким зазором между тем и другим, проникают через него в художественные произведения, а оттуда — в наш быт, в наше мышление. Если их много, а их действительно повелось много, они способны влиять, и очень заметно, на общий уровень русской литературы.

Нельзя преуменьшать и этой опасности — ее нужно понять, всегда иметь в виду, чувствовать, и уже одно это во много раз ее уменьшит.

* * *

Да, традиции живы, они живы всегда, не было еще случая, чтобы традиции, которые создали памятники мирового искусства, сами, созданные ими, исчезали бесследно.

Они живут, учат, приобретают и теряют и в наших глазах, и сами по себе, только мы не умеем как следует наблюдать за их жизнью, обнаруживать их существование и значение сегодня, в нашем быстротекущем времени.

Между тем эти наблюдения уже есть искусство, и они-то и создают те самые приключения, которые Анатоль Франс назвал когда-то приключениями человеческой души в мире книг.

1971

РАССКАЗ И РАССКАЗЧИК

О творчестве Василия Белова

Ф. Абрамов, В. Астафьев, М. Алексеев, В. Белов, С. Крутилин, Е. Мальцев, Б. Можаев, Е. Носов, В. Тендряков, Г. Троепольский — и мало ли еще писателей, активно работающих сегодня в русской литературе, мы можем назвать, лишь только речь зайдет о так называемой деревенской теме?

Значит, действительно мы имеем дело не со случайным стечением обстоятельств, а с явлением, с тенденцией.

Тем более что тенденция эта возникла не сейчас, ведь сюда же можно отнести и «Страну Муравию» и творчество молодых, недавно пришедших в литературу, В. Распутина например.

Что-то влекло русского писателя к деревенской теме, к земле, влечет и, видимо, долго еще будет увлекать и привлекать к сельскому быту, к сельскому же литературному образу, к тому, как этот образ мыслит сегодня, как он воспринимает жизнь и вписывается в нее.

Много высказывалось на этот счет предположений — почему так происходит, в чем тут дело? Вот уже и страна наша перестала быть аграрной, вот уже и быт людей становится совсем другим — городским, если можно так сказать — поточно-индустриальным, и сами-то писатели деревенской темы за очень редким исключением проживают уже не в деревнях, а в городах, причем в городах крупных, по меньшей мере областных, один за другим городские годы отдаляют их от впечатлений детства, от периода коллективизации, от военного времени, которое так нелегко далось и земледельцу и земле. Но то и дело кажется, что многие писатели вот сейчас-то только и приближаются к этому прошлому, вот сейчас-то и переживают его.

Тут возникает даже какой-то непорядок, пренебрежение к современности, или же имеет место консерватизм, а то и косность, а то и еще что-нибудь в том же роде.

Говорится это без насмешки и без иронии, а в порядке обращения к другим и к самому себе — автору этой статьи тоже довелось писать о деревне, он и перед собой не раз и не два ставил эти вопросы. Ответы получались такие: сельская тема — традиционная тема русской литературы, нелегко оторваться от традиции;

в сельской теме мы, современники, последние свидетели и участники тех событий, которые произошли в деревне, изменив ее прошлый вековой уклад, быт, психологию сельского жителя.

Если этих изменений, этого крутого поворота не засвидетельствуем в художественной литературе мы — кто же это сделает?

В селе возникли совершенно новые социальные фигуры и типы, новые для человечества — такие, скажем, как председатель колхоза, бригадир, колхозники, в них наиболее трудно и сложно сосуществует прошлое и настоящее, и вот именно этой сложностью и новизной они и привлекают писателя...

В общем-то, и эти и другие ответы на поставленный вопрос и сейчас кажутся мне справедливыми, но они слишком общи, неконкретны.

Литература же на редкость конкретна, общие положения для нее — дело малопоучительное, малоубедительное, ей всегда нужен пример, зримый и как бы даже осязаемый — нужна ее собственная материя, то есть писатель и его произведение. И вот следуя этому вполне неукоснительному требованию, я и пишу нынче о Василии Белове.

* * *

Василий Белов вошел в литературу как писатель со своим собственным, вполне оформившимся голосом. И этому ничуть не помешало то обстоятельство, что он, в общем-то, традиционен, традиционен глубоко, органически и последовательно.

Если говорить о языке Белова, то нетрудно заметить, что ему чужды чисто литературные новации, чужда совершенно «необкатанная», не бывшая в употребле-

нии лексика, не говоря уже обо всем том, что мы называем модерном и модой, а иногда и поветрием.

Однако и сама-то традиция, будучи непоколебимо верна самой себе, в то же время нуждается во все новых и новых художниках, в новом слухе и в новом зрении, в новом жизненном материале.

Если ничего этого не будет, традиция перестанет существовать сегодня, она становится памятником прошлого.

А современная жизнь традиции, ее дыхание, скорее всего, заключается не столько в повторении художнических приемов, сколько в более или менее постоянном отношении художника к своей творческой задаче.

Это отношение для Белова определяется прежде всего его неизменным интересом к деревне, причем к деревне наименее затронутой современными преобразованиями, если уж не со стороны производственной, так по крайней мере со стороны бытовой, житейской, опять-таки наиболее традиционной.

Героев Белова нынче не так уж легко и найти, но он их находит, еще труднее применить к ним — в любом случае людям современным — приемы письма, в какой-то мере свойственные еще Лескову или Тургеневу, но Белов их применяет — почти что лесковские беседы плотников, например.

И это не консерватизм и не эпигонство и тем более не предвзятость, а в определенном смысле это — новизна. Потому что возрождение и развитие традиции в новых условиях, в условиях, когда успело уже сложиться и такое мнение, что эта традиция иссякла, навсегда изжила себя, что ей нет больше места, что она уже не в силах вызвать в нас, таких современных и сегодняшних, живого, злободневного интереса,— это тоже новаторство, и еще какое!

Вспомним Василия Теркина, казавшегося столь традиционным, повторным и оказавшегося столь необходимым, современным, оказавшегося героем национальным!

В той традиции, за которой не только следует, но которую еще и разрабатывает Белов,— лежит умение сделать интересным обыденное, привлечь поначалу пристальное, а потом уже и благодарное читательское внимание к обычной жизни обычных людей, даже в чем-то приотставших от событий века. А это дает возможность Белову проследить за тем, что же такое

память человека по отношению к самому себе, что и как эта память удержала за весь срок человеческой жизни, и в свою очередь приводит его к другой проблеме и к другой, опять-таки традиционной задаче серьезной литературы: рассказать о том, как же человек вписывается в свой век, в события этого века.

Ведь человек не всегда готов к полному единению со своим временем, а писатель, как бы и стороной, а думает: как же все-таки такого единения достигнуть? Какими должны быть обе стороны — и человек, и его время?

В литературе почти всегда существует мера литературности — для одного писателя она больше, для другого меньше. Для Белова она сводится к минимуму, эта литературность. Он больше занят наблюдением над жизнью своего героя и мыслью о нем, чем поиском новых форм литературы и своего собственного письма, чем поиском сюжета, захватывающих и завлекающих сцен, новых приемов литературной техники.

Все та же мысль о судьбе своего героя, боязнь что-то пропустить в ней, как-то не понять его, тревога, во все времена свойственная писателям такого склада,— вот что прежде всего является для Белова и сюжетом, и фабулой, и занимательностью его произведений. И опять-таки является и его традиционностью. А литература за то, что писатель ею словно бы пренебрегает, этому писателю не мстит. Наоборот, мы как бы чувствуем тот момент, когда литература вдруг подается навстречу писателю, как бы сама по себе обращаясь в жизнь, воссоздаваемую таким писателем. Конечно, это при одном обязательном условии — что писатель талантлив.

И вот тогда-то, с этого критического момента, мы вдруг ощущаем себя в новой власти той старой традиции, которая, оказывается, нам очень нужна, которая может быть исполнена только на языке, то и дело казалось бы, уже устаревшем, приобретшем черты окаменелости и архаичности.

Но нет — ничего подобного! Это — ни в коем случае не пренебрежение к языку сегодняшнему, которым сколько-нибудь наблюдательный автор, обладающий слухом, не только не имеет права, но и не может пренебрегать.

Вот и в беловский текст современное слово и выражение вписывается вполне органично, можно сказать, весело, а иногда и забавно — стоит послушать его плотников Смолина и особенно Козонкова.

Однако же язык сугубо современный, тем более современный литературный язык, не обладает еще силой и способностью выражать непреходящие национальные черты, исторически весомые духовные ценности.

И, наверное, не случайно поэтому картины настоящего то и дело перемежаются у Белова отступлениями в прошлое, в которое возвращается то ли сам рассказчик, то ли его герои. Не случайно, что и повесть названа им «Плотницкими рассказами».

Древнее русское мастерство — плотницкое — уходит навсегда, и старики-мастера уходят тоже, а один из них, Олеша Смолин, задается вопросом: «Ну, ладно, это самое тело иструхнет в земле: земля родила, земля и обратно взяла. С телом дело ясное. Ну, а душа-то? Ум-то этот, ну, то есть который я-то сам и есть, это-то куда девается?»

И вот уже мы рассматриваем жизненный опыт плотников Олеши и Авинера, способы их существования в этом мире, существования и чисто житейского, и духовного, а такое рассмотрение не только интересно, но и необходимо.

Вот уже мы чувствуем необходимость исполнить ту же задачу непрерывности жизни, которую ставит Олеша.

Вот уже не только предстают сами по себе перед нами поразительно четкие, видимые, слышимые и даже ощущаемые нами сценки, такие, как бригадное собрание в избе бригадира, как упряжка еще не объезженного могучего жеребца, как ремонт бани,— но на наших глазах и даже при нашем непосредственном участии они становятся жизнью, отдельными, но яркими ее проявлениями.

А умение возвести рядовой факт, повседневное и незаметное человеческое дело в ранг жизни, привлечь к нему глубокое внимание — это большое умение, это особая способность, издавна присущая русской литературе, в частности — русскому рассказу. Способность устойчивая, которая и сам-то наш рассказ тоже сделала жанром очень стойким, не поддающимся влияниям всякого рода литературных течений.

Рассказ — это форма малая, но очень собранная, это небольшой, но монолит по интонации и языку, по смыслу, по настроению, это — не роман, который легко включает и философию, и лирику, и сатиру, и бытопи-

сание — на то он и роман, рассказ же более прочен в своем внутреннем устройстве, а следовательно, он более устойчив и против внешних влияний.

Но есть, мне кажется, и еще одна причина, которая уберегает русский рассказ едва ли не в его первозданном виде — есть у него своя собственная, самостийная черта, а самостийность черт — это уже в некотором роде крепость.

Рассказ в языке своем, во всем своем облике отражает наличие писателя не столько даже пишущего, сколько рассказывающего, собеседующего.

В отличие, скажем, от той же новеллы — всегда от начала до конца написанной, рассказ — независимо от того, диалог это, монолог или описание пейзажа при полном отсутствии действующих лиц — несет следы устности, исходит из нее и в строе языка, и в развитии сюжета, излагаемого не вообще кем-то, а рассказчиком, и в завязке его, и в развязке, со всей ее моралью.

Одно дело — мораль написанная, изложенная письмом, и другое — изложенная устно, с глазу на глаз, когда если что и непонятно, так можно задать вопрос: «А почему?» Эта устность налагает большую ответственность на автора. Она держит его в состоянии ожидания тех вопросов, которые могут быть ему заданы.

Об этих свойствах классического русского рассказа не хочется говорить беспредметно, отвлеченно, для этого нужен был повод, нужен был сам рассказ как таковой, вполне отвечающий всем этим соображениям на его счет,— и вот он появляется то и дело в моем читательском поле зрения — этот повод в виде рассказов Василия Белова.

«Плотницкие рассказы» Белов называет повестью.

Рассказы, объединенные одним сквозным действием, одними и теми же героями,— создают повествование, это естественно, это не мешает им оставаться рассказами. Более того, вероятно, и многоплановый роман может состоять из рассказов. И по этой причине от них ничего не убудет. Убывает от романа, когда он по содержанию не более, чем один-единственный рассказ.

У Белова пристрастие его к «устности», к собеседованию с читателем выражено тем более определенно, что свою манеру рассказывать он не только создает, но и в самом деле в какой-то мере заимствует от манеры и стиля той среды, о которой он пишет.

Он эту манеру не обыгрывает и не стилизует,— он ее слушает очень чутко, улавливает тонко и передает точно — все это, весь авторский интерес к ней, сказывается хотя бы в его «Бухтинах». И это тоже не последнее свойство рассказа вообще и рассказчика Василия Белова.

Мы много говорим о «живых источниках художественного слова», но говорить — это мало, угадывать этот источник в произведении — тоже мало. У нас то и дело возникает необходимость общаться с ним, с этим источником, непосредственно, мы хотим такого преданного и самозабвенного рассказчика, который умеет как бы совсем исключить себя из своего рассказа, не дорожа собою, своею собственной фигурой.

И это ничуть не противоречит необходимости присутствия в рассказе рассказчика, скорее — наоборот — это возводит «малую форму» к тому классическому уровню, которого она уже достигла когда-то в русской литературе.

Читателем Белова, думается мне, должен быть прежде всего человек осведомленный в жизни, в ее прошлом, в ее настоящем, даже в какой-то мере в ее будущем, то есть постоянно над будущим задумывающийся. Это потому, что все сказанное Беловым как бы предназначено для сравнительного восприятия, для того, чтобы читатель обращался к своей собственной памяти, вызывая в ней картины других деревень, образы других людей, чтобы он чувствовал традицию не саму по себе, не изолированно, а в ее соприкосновении и взаимодействии с днем сегодняшним. Чтобы он еще и еще раз самолично проверял ее нынешнюю жизнеспособность и необходимость.

Вот Иван Африканович из повести «Привычное дело» и не очень-то умен, и не очень энергичен, порой даже инфантилен и слишком уж простоват, а тоже необходим нам и обрел уже свою собственную жизнь среди самого широкого круга читателей, обрел ее своею искренностью, неподдельностью, и кажется даже, что и своею «устностью», непосредственностью своего общения с нами.

Иван Африканович хотя и является «главным героем» повести, но не существует изолированно и самостоятельно от другого персонажа — от жены своей Катерины.

Катерина же — это уже человек большой силы,

большой души и душевной ясности, человек, обладающий негромким, даже невнятным, и все-таки героизмом, который можно, наверное, назвать героизмом повседневным, житейским.

Бывает героизм на поле боя, бывает героизм трудовой, а бывает еще и такой вот — и трудовой, и житейский сразу, житейский, может быть, даже в первую очередь, и до того неприметный, до того замкнутый, что если отметить его медалью, не сразу понятно будет — за что же он все-таки отмечен?

Ей трудно, Катерине, ей еще труднее потому, что она умеет оставить свои трудности при себе, она не перекладывает их на другого, не отравляет ими людей, существующих рядом с нею, она не распространяет их на весь мир и не говорит миру, никому не говорит: «Пропади все пропадом!»

Своими бедами и трудностями она не замутила окружающую жизнь, потому что бережет эту жизнь для других, а может быть, и для себя — люди, обладающие способностью сбережения жизни, обладают еще своей собственной, пусть глубоко спрятанной, но все-таки надеждой.

Сколь ни странной может показаться такая параллель, но к такого же рода художественным образам можно отнести и даму с собачкой — Анну Петровну фон Дидериц и, конечно, с бо́льшим основанием — Наталью из «Тихого Дона».

Да, читая «Тихий Дон», я чувствую, как Аксинья заслоняет Наталью не только для Григория, но и для меня. И верно — это неудачная, это не та женщина для Григория, но ведь сама-то по себе она — образ огромного нравственного смысла и обаяния.

Такого рода образы в русской литературе не новы, и когда это образы мужские, заранее признаюсь, я не совсем-то понимаю и разделяю их философию, все их состояние и существо — касается ли это Платона Каратаева в «Войне и мире» или Ивана Африкановича в «Привычном деле», но без женского образа того же плана я не мыслю себе русской литературы.

И Катерина, казалось бы, уже известная мне и ранее, вдруг снова трогает меня до глубины души, а ее традиционность, в какой-то степени даже повторность, не умаляет, а возвышает ее. Бывает и так.

Да, мы не всегда вправе опираться и рассчитывать

на этот камерный, замкнутый, почти невидимый и неслышимый героизм женщины, подобной Наталье или Катерине, но знать мы о ней должны, понимать должны — и не только в плане личном, житейском. Без него мы не можем себе представить наш народ, нашу историю, все те исторические испытания, которые пришлись на нашу долю.

Иван Африканович это по-своему, но знает и понимает, и, не оправдывая его повсюду и в целом, я отдаю дань этому пониманию.

Иван Африканович потому еще таков, каков он есть, что рядом с ним такая женщина. Это — житейски, но эти же два характера еще обладают и художественным единением, создавая, по сути, все «Привычное дело».

Белов ведь умеет компоновать характеры и по признакам их дополнения друг другом, как в «Привычном деле», и по их противоположностям, как в «Плотницких рассказах», и снова двое у него — рассказчик «Бухтин» и их слушатель, то есть автор.

Такая четкая, слаженная, а вероятно, можно сказать, что и плотная компоновка — тоже давнее свойство рассказа и необходимое для рассказчика умение. Белов обладает и пользуется им в полной мере тонко и тактично.

Василий Белов — не новичок в литературе, но и не ветеран, и это последнее обстоятельство еще усиливает читательское внимание к нему: всегда приятно читать писателя уже интересного, уже значительного, а в то же самое время угадывать — что же и еще можно ждать от него? Каких мыслей? Каких неизвестных до сих пор образов? Какого внимания к традиции? Какого отношения к ней?

Это состояние писателя характерно и интересно нам еще и потому, что оно как бы совпадает и с состоянием той «деревенской» литературы, к которой он принадлежит безраздельно, литература эта тоже ведь еще не бог весть какой ветеран, а в то же время она уже и немолода, уже имеет за плечами немалый опыт, немало находок и потерь, и при взгляде на нее возникают те же самые вопросы, тот же интерес, те же надежды.

А познакомившись с отдельным писателем, нам легче снова вернуться к той прозе, которая именуется деревенской, и если уж не ставить задачи ее полного обозрения, так хотя бы приметить некоторые частные черты, из тех черт, которые нам дороги, которые мы

любим и ценим, которые определяют, помимо всего прочего, необходимость этого рода литературы, а еще, как говаривал когда-то Андрей Платонов,— ее таинственную убедительность.

И тут мы невольно обратимся к истории.

Современность бывает тем значительнее и одухотвореннее, чем больше она проникнута историей, чем больше она про себя знает — когда, откуда, каким образом и чего ради она явилась в сегодня, составляет это сегодня и владеет им.

Характерно, что наш сельский рассказ, не говоря уже о повести и романе, редко замыкается в дне сегодняшнем, на случае, который и начался и кончился бы на глазах читателя, как правило, даже в коротком рассказе автор успевает обратиться к истории, к прошлому своего героя.

Возьмем ли носовского «Объездчика», или можаевского «Кузькина», или бабушку Петровну из астафьевского «Последнего поклона», или абрамовских героев из романа «Две зимы и три лета», или крутилинских липяговцев, или героев «Карюхи» Алексеева, а из последних «сельских» произведений всех без исключения героев Распутина из повести «Последний срок», а из давних наших близких и знакомых образов — Моргунка,— все они даны авторами в эволюции, в их прошлом и настоящем, даны то и дело в откровенно биографическом плане.

И в этом, очевидно, одна из причин того, почему все эти герои нам так понятны — их современность доказательна, ощутима и логична, они — наши, они — сегодняшние, и мы знаем, почему они такие, верим не только их сегодняшнему характеру, но и его происхождению.

Должно быть, из какого-то незримого общения и обучения друг у друга писатели этой темы нашли для своих произведений некое оптимальное, благоприятное соотношение между прошлым и настоящим их героев, тем более что, хотя все они и касаются истории и делают отступления в прошлое, они делают это в определенных пределах, обычно не далее тридцатых-двадцатых годов.

Таких отступлений оказывается достаточно, чтобы характер современного крестьянина проявился не статически, а в эволюции и происхождении, это, как правило, соответствует и собственному житейскому опыту

писателя и его знаниям, это, наконец, определяется и самой историей как таковой, тем рубежом, который не зря обозначается как годы великого перелома.

И вот уже редко-редко кто из нынешних писателей рисует крестьянскую историю в более отдаленной перспективе — до Октябрьской, до революции пятого года. Иначе говоря, историзм наших «деревенских» писателей — это историзм прежде всего советского периода.

И хотя здесь — известное ограничение, тем не менее «сельская» литература все равно оказалась литературой очень памятливой, а сосредоточенность на определенном историческом периоде, пожалуй, даже способствует укреплению этой памятливости, способствует ее точности и значимости, так как сам по себе этот период охватывает все те проблемы, которые писатель ставит, а по мере своих сил и объясняет.

В результате грандиозные социальные преобразования этого периода отражаются в литературе не отвлеченно, а в их конкретности,— все-то она запомнила, эта литература: и избу, в которой происходило дело, и тот огород, который был при избе, и ту корову, которая кормила семью, буланых и карих кобылок, и утреннего петуха, и рассветы, и закаты, весь, в мельчайших подробностях, пейзаж. Эта точность и конкретность обстановки временами как бы приобретает даже самостоятельное значение, и вот предметы и пейзажи тоже переживают свою судьбу, а на этом предметном фоне уже не может не быть и очень конкретного художественного образа, со своей внешностью, со своими приемами речи, со своими внутренними переживаниями, со своим прошлым и настоящим.

Мы часто говорим о художественном мышлении, но не говорим, откуда оно начинается — а начинается оно, должно быть, с художественной памяти, со способности писателя войти в любой дом и увидеть в нем все-все без малейших исключений.

Очевидно, что различные литературные направления складывались и начинались по-разному, но литература о деревне начиналась отсюда — с поразительной памяти, которая хотя и принадлежит сегодняшнему писателю, но заложена в нем десятками предшествующих поколений.

И это не просто литературный прием, а еще и сама природа той литературы, за которую эти писатели берутся,— о земле, о земледелии, о земледельце и не

скажешь понятиями только сегодняшнего дня — не та категория, не тот род человеческой деятельности, не тот быт, который поддается мгновенно фиксации. Еще это все то, что мы называем «памятью земли». Вот и у того же Белова и его «Плотницкие рассказы», и «Привычное дело», и «Бухтины» — проникнуты историей, отступлениями в прошлое, это не только картины нынешнего состояния, а еще и процесс, который происходил и происходит на вологодской земле, пусть этот процесс охвачен далеко не целиком, но это — он, это его часть, а там, где его нет, в «Деревне Бердяйке» например, там и герои выглядят бледнее, скоротечнее.

Кроме того, так называемая сельская или деревенская проза кое-что вносит в наше историческое ее восприятие даже и в тех случаях, когда сама не обращается к прошлому.

Она добивается этого с помощью того языка, которым умело и широко пользуется.

Хотим мы этого или не хотим, но повседневный наш язык все больше порывает со своим прошлым, впитывает в себя новые и новые слова, пришедшие из техники и науки, от постояного общения с иностранными языками, теряет память на слова, если так можно сказать, старших поколений.

Так, в общем-то, было всегда, только не всегда этот процесс был столь же заметным и стремительным.

И тоже всегда должны были быть и были писатели, которые в сознании своих современников утверждали язык прошлого, язык минувших поколений, подобно тому, как историческое образование утверждает в нашем сознании собственную историю. Разница в том, что историю внедряет в наше сознание наука, общеобразовательная школа, а язык прошлого приходит к нам почти единственно через художественную литературу, здесь и филология как таковая, и школьные программы по родному языку, по существу, бессильны, особенно если речь идет не о воспитании и обучении специалистов-филологов, а о широком читателе.

Стили и языки художественных произведений — необычайно различны, а чтобы их как-то сравнить между собой, необходима, очевидно, некоторая общая для всех точка отсчета, и можно за такую общую и начальную точку принять язык народный. Хотя и это тоже — понятие далеко не определенное и не четкое, но другого нет, все другое еще более изменчиво, непостоянно, еще

более неопределенно, а это, по крайней мере, создает довольно определенное впечатление — становится видно, на каком расстоянии тот или иной писатель стоит от народного языка — язык одного почти совпадает с ним, другому близок язык бытовой, обычный, но свойственный современной интеллигенции, а третий новаторствует в той сфере, где язык совсем еще не приобрел бытовых прав, где господствует языковое творчество, модерн, то есть в сфере экспериментальной.

Это тоже дело, и дело серьезное,— там конструкторское бюро, химическая, а иногда и алхимическая лаборатория языка, но без таких лабораторий и литература, и язык в целом обойтись не могут, что-то, какая-то продукция постоянно поступает оттуда к нам, в наш быт, а нашу устную речь и письменность несравненно больше составляют там отходы, словесная руда и шелуха. Но речь и сейчас, и выше, когда мы касались языка произведений только одного писателя — Василия Белова,— была не об этом, не об этих исследовательских лабораториях, а о тех художниках, которые выполняют иную роль, относительно консервативную, снова и снова утверждая язык исходный, народный, хотя тоже постоянно изменяющийся, но изменяющийся медленнее других, обладающий более крепкой памятью к своей собственной истории.

От языка того же Василия Белова до языка, положим, Фазиля Искандера дистанция огромного размера, и какой из этих языков лучше, какой — хуже, судить трудно, тем более что и сам-то писатель далеко не волен в выборе — этот выбор зависит не от него, а от его природного слуха, от той школы, которую он прошел, от той среды, в которой прошло его детство. Для оценки разных стилей нет и каких-то строго теоретических положений, есть только конкретные эталоны — произведения великих писателей, их стиль, их язык.

Например:

«— Помилуйте,— сказал я, всплеснув руками,— разве героев представляют? Они не иначе представляются, как спасая от верной смерти свою любезную...»

Или:

«...Только что Раскольников отворил дверь на улицу, как вдруг, на самом крыльце, столкнулся с выходившим Разумихиным. Оба, даже за шаг еще, не видели друг друга, так что почти головами столкнулись».

Еще:

«...Уже был второй час ночи, когда Пьер вышел от своего друга. Ночь была июньская, петербургская, бессумрачная ночь. Пьер сел в извозчичью коляску с намерением ехать домой. Но чем ближе он подъезжал, тем более он чувствовал невозможность заснуть в эту ночь, походившую более на вечер или на утро».

Эталоны... А они ведь, в общем-то, не отличаются ни красотой, ни оригинальностью, ни звучностью.

Тем более их нельзя повторить, в таком повторении не было бы никакого смысла: ушло время Лермонтова, Достоевского, Толстого, ушел и язык этого времени, независимо от того, какому бы гению он ни принадлежал.

Уже нельзя сказать нынче:

«Они не иначе представляются, как спасая от верной смерти свою любезную...»

Не говорят и так:

«Но чем ближе он подъезжал, тем более он чувствовал невозможность заснуть в эту ночь, походившую более на утро».

Язык, его лексика, фразеология, его стиль уходят, а тогда что же остается, благодаря чему же устаревший стиль остается для нас эталоном, нетленной ценностью?

Остается его сила, его выразительность.

Для нас теперь уже не важно, какими именно словами и какими оборотами речи эта выразительность была в свое время достигнута, пусть этим занимаются специалисты, для нас важна она сама как таковая, ничуть не потерявшая со временем, и нынче мы сравниваем любые стили, любых авторов, тех же Белова и Искандера не между собой, а каждого из них с этим эталоном выразительности, силы, четкости и точности.

Между прочим, мы, кажется, даже чувствуем, что и сами-то классики не стремились в первую очередь ни к красоте, ни к звучности, ни к оригинальности, а прежде всего к той же выразительности, и для них она была задачей № 1, а если затем и являлось все это, так скорее всего благодаря тому, что, заботясь о выразительности, классики достигали уже и всего остального.

И классика требует от нас не своего повторения — это бессмысленно,— она требует, чтобы мы своим нынешним языком достигали той же выразительности, той же глубины.

А народный язык во всей своей устной, летописной и художественной истории донес свою выразительность до наших дней. И сами классики свою собственную выразительность тоже сверяли с ним.

Это другое дело, что он — этот язык — не пуританин, он тоже любит покрасоваться и побахвалиться, поозорничать, попутать читателя или слушателя, у него тоже есть своя экспериментальная лаборатория. Вот и у Белова в его «Бухтинах» я иногда замечаю не столько задачу мысли, сколько задачу слова, любование этим словом по единственной причине его малоизвестности и даже — архаичности, ну что же — без этого, должно быть, не обойдешься, чтобы мыслить в том или ином стиле, сначала нужно собирать слова этого стиля, даже — коллекционировать их, делать из слов забавные вензеля и лубки, испытать их и так и сяк, а потом уже пустить в тот серьезный оборот, в который они попали то ли в «Василии Теркине», то ли в «Плотницких рассказах», то ли в романе «Две зимы и три лета», повсюду — с присущей этому стилю устностью, с интонацией глубоко доверительного, такого искреннего собеседования и с тем отчуждением автора от задач чисто литературных, которые и есть очень высокая задача литературы, задача мысли и смысла.

Пусть я не думаю о том, что те или иные слова и выражения плотников из «Плотницких рассказов» говаривались моими предками, но я чувствую это; пусть я не знаю, никогда не знал, а прочитав, не запомню на будущее то или иное слово, но я опять-таки чувствую и твердо знаю, что оно — мое, из моего прошлого, из моей психики, пусть оно грубовато или незвучно — но это его право, право называть вещи своими именами, оно ведь отнюдь не помешало возникнуть пушкинской звучности и красоте слога и интеллигентности Чехова.

Да, язык нашей сельской прозы оказался памятливым на слово в той же мере, в какой ее писатель оказался памятливым к предмету, к быту, к пейзажу своей земли. Очевидно, это даже не две, а одна память.

А то, что эта проза в великих переменах и бурях времени и тоже в великих переселениях и общениях народов сохраняет нам наш народный язык — в этом ее заслуга, которую мы далеко еще не оценили.

1971

НТР И ЛИТЕРАТУРА

(Размышления и догадки)

Я думаю, что НТР в нашей современной жизни — это не только она сама, как таковая, это еще и эмблема нашей современности.

Поэтому, как и всякая эмблема, она условна и символична, сначала мы как бы даже не умом, а только зрением схватываем этот символ — НТР, затем воспринимаем его эмоционально, как событие огромной важности и небывалых масштабов, от которого, хотим мы этого или нет, но теперь уже зависим мы все, тем более зависят наши дети и дети наших детей, и только после этого пытаемся осмыслить и понять, что же за этим обозначением действительно скрывается, какие проблемы, какие грядущие и уже сегодняшние перемены.

И вот тут-то, пытаясь достигнуть определенной конкретности своих представлений, столь для нас существенных, мы попадаем в очень затруднительное положение: наше сознание оказывается неподготовленным к такой работе, то и дело начинает казаться, что ты вообще не способен к ней.

Собственно, так было во все времена: современность всегда познавалась не столько самою собой, сколько предоставляла это познание истории.

Так было, но в том-то и дело, в том-то и революционность НТР, что она требует изменения этого порядка вещей, требует ответов немедленных, а иначе будет поздно, ответы задним числом для нее уже не ответы.

Еще каких-нибудь два-три поколения тому назад будущее представлялось людям скорее идеей, чем повседневной работой, но сегодня мы чуть ли не непрерывно должны считать будущее: считать запасы продовольственные, водные, земельные, энергетические,

считать население будущих городов и определять их будущий архитектурный облик, считать число рождений, смертей, браков, возможных несчастных случаев, считать всю предстоящую жизнь во всех ее проявлениях, существующих нынче и только еще предполагаемых, считать в масштабах не только той или иной страны, но и всего мира.

Я помню, как лет тридцать тому назад мне впервые попал в руки справочник по гидроэнергетическим ресурсам мира — тощенькая книжечка с робким предисловием, в котором пояснялась необходимость такого издания.

И ведь действительно, у меня, рядового инженера, возникло тогда немалое удивление: зачем? Кому это нужно в масштабах всего-то мира? Нынче справочники такого рода — это многотомные издания, и каждая сколько-нибудь солидная проектная контора пользуется ими повседневно.

Так вот, я думаю, что вторжение будущего в настоящее, практическая необходимость сегодняшней организации завтрашнего дня, причем в масштабах всего мира, и есть первое, осознанное мною содержание этого обозначения: НТР.

Другое представление: количество еще никогда в такой же мере, как нынче, не определяло качества.

Количество техники, научных открытий, коммуникаций, информации, интересов, устремлений, количество самих людей достигло таких величин, когда все это не может существовать в прежнем качестве, в прежних условиях. И дело, следовательно, уже не в эволюции, а в спонтанном развитии, дело не только в отношениях между людьми разных социальных классов и разных стран, но и в отношениях между всеми людьми со всем миром, одушевленным и неодушевленным, существующим от природы и созданным людьми за все время их существования.

Перечислить все проблемы, которые являются существом и следствием НТР, конечно, невозможно, как невозможно перечислить жизнь. Все они разные, эти проблемы, общее же у них — это их значимость, острота и глобальность. А для нас, писателей, и еще одна «общность»: все эти проблемы решаем не мы, мы только можем посмотреть на них со стороны, посмотрев, поставить перед собой вопрос: «А при чем здесь литература?»

В жизни нет таких явлений, к которым литература не имела бы ни малейшего отношения, но это в целом. А конкретно?

Тут на память приходит статья одного литературоведа, который, между прочим, писал так: зачем, мол, нам НТР, если она не удовлетворяет, не оправдывает... Ну и т. д.

Так вот конкретно: литературе прежде всего надо самой избавиться от наивных представлений об НТР как о каком-то мероприятии, которое можно поддерживать, а если оно не оправдывает наших чаяний, то можно и совсем закрыть.

Революции закрытию не подлежат, тем более глобальные. И вопрос «зачем нам?» — неправомерный вопрос. Спрашивать, «зачем нам НТР?» — это то же самое, что выяснять, зачем нам прогресс. Помимо того, что прогресс нам нужен безусловно, мы нужны ему тоже, и если бы мы захотели повернуть вспять и отказаться от него, мы не в силах были бы это сделать.

Другое дело «как?», как мы можем и должны в нем участвовать, какое направление своим участием стараться ему придать?

Так вот, я думаю, что литература может участвовать в этом процессе не непосредственно, не так, как это делают техники и научные работники, а косвенно — она может подготавливать людей, их сознание к принятию идей и проблем НТР.

И первое, что здесь приходит в голову,— популяризация этих идей и проблем. Здесь литература может сделать многое, особенно если учесть, что решаются нынче проблемы глобальные, общечеловеческие, а наука говорит о них своим собственным, специальным, а не общедоступным языком, так что кто-то должен взять на себя обязанности переводчика.

Однако же я думаю, что и здесь наука должна полагаться в основном на собственные силы и возможности, должна оставаться главным популяризатором и комментатором своих собственных идей, так как в «переводе» всегда могут обнаружиться крупные и даже неисправимые ошибки. Кроме того, наука должна учиться быть доступной пониманию, по крайней мере, большинства людей, если уж не всех без исключения, должна сама искать принципы и средства своего сближения с творческой деятельностью людей вообще, а не только

с творчеством в области научной же. Прежде всего это должны быть контакты между искусством и наукой, идеалом которых является, вероятно, Древняя Греция.

Без этих контактов теряется связь между фактом научного открытия и отношением к этому факту человека и человеческого общества, наука начинает работать как бы на самое себя, она открывает новые законы, теории, эффекты, постулаты, зависимости, парадоксы, но не создает к ним отношения, не вырабатывает их оценок, не размышляет над последствиями своих собственных открытий.

А вот что является собственным делом литературы, так это создание художественного образа, который осмысливал бы проблемы своего времени и сам по себе как можно полнее это время отражал.

Разумеется, такой герой не обязательно должен быть героем ходульно-положительным, но поучительным должен быть его опыт, все то, что с ним происходит, что он перенес и претерпел. Это должен быть герой, мыслящий не только современными категориями, но и, не побоюсь этого сказать, современными методами.

В литературе всегда было так, что мыслящий герой тотчас оказывается героем, критически мыслящим, и это естественно: чем сильнее ум, чем больше он направлен в сторону осмысливания жизни в целом и чем меньше занят жизненной практикой, тем скорее он достигнет той проблемы конечного смысла жизни, которая его же первого и поставит в тупик, обесценит все, в том числе и его собственный ум и скептицизм.

Не знаю, что случилось бы, если бы однажды в каком-нибудь кабинете или в какой-нибудь лаборатории был открыт конечный смысл жизни, не только открыт, но и доказан публично, и, как говорят у нас, внедрен в сознание каждого. Но случилось другое, и, вероятно, не худшее: жизнь шла и шла своим чередом, как бы даже и не заботясь о своем собственном конечном смысле, в результате оставаясь выше него. Люди неизменно предпочитали жизнь смерти, и это предпочтение не мешало им обогащаться мыслями великих скептиков. Поэтому, может быть, не столь уж неожиданным оказался для них XX век с его потрясениями и с его альтернативой «быть или не быть», поставленной применительно к каждому человеку, к каждому живому существу.

Ведь сотни миллионов автомобилей ежегодно сжигают в два раза больше кислорода, чем его получает атмосфера над территорией континента.

Так что вот она — реальная перспектива уничтожить природу и погибнуть вместе с ней.

И тут-то литературе и предстоит глубже осознать свою современную общечеловеческую роль гражданина мира. Ей предстоит почаще обращаться к тому предпочтению, которое люди на протяжении всего своего существования оказывали жизни и бытию перед смертью и небытием. Ведь в чем-то состоит же здесь дело?

Кое-что мы об этом знаем, но до многого не докопались. Надо докопаться.

Литературе всегда не хватало жизнелюбия, оно расценивалось ею то как легкомыслие, то как ограниченность, то как признак дурного тона. Но теперь надо спросить себя — а не является ли легкомыслием, ограниченностью и дурным тоном отсутствие достаточного уважения к жизни? Слишком фамильярное и беззаботное отношение к ней, бесконечные сомнения в ней, беспрестанные упреки в ее адрес?

Шутки плохи,— не пора ли подумать и об этом?

Не пора ли подумать об этом и нашему думающему литературному герою?

Это вовсе не призыв к тоталитарной лакировке действительности, нет, но мы уже довольно отчетливо представляем себе пути, которые ведут человечество к гибели, и для литературы это нынче проторенные дороги, а вот путь с обратным знаком не проторен почти никем, тут нужны открытия, да, открытия, и кто-то ведь должен рисковать в стремлении к ним.

А свои дальнейшие рассуждения и догадки я хочу вести в сфере, которая писателю ближе других. Речь идет о языке. Как я представляю себе будущее языка, так, по-видимому, можно представить себе и будущее культуры — язык ведь не составляет какого-то исключения из явлений культуры.

Стремительные изменения в языке, которые мы нынче наблюдаем,— это один из признаков наступления НТР и воздействия ее на нас в области психологической, и даже более того — области гуманитарной.

Тут я встречал разные точки зрения, разные и крайние.

Одна из них состоит в том, что во времена Пушкина и с его приходом в литературу так же, как и с приходом

Петра I, язык наш претерпевал изменения, вероятно. не меньшие, чем теперь, но никто тогда не говорил о влиянии революции на язык. Нечего говорить об этом и сейчас.

Я с этим не согласен.

Действительно, многие периоды истории были отмечены спонтанными явлениями в развитии языка, но вот в чем дело: они касались только части языка — литературной и официальной. Народный же, массовый язык очень медленно вбирал новые слова и обороты, еще медленнее отказывался от слов старых, продолжая жить своей собственной жизнью, лишь в небольшой степени зависимой от новых влияний.

Так они и жили в России, эти языки: литературный государственный и народный, по существу крестьянский.

Нынче дело обстоит совсем иначе. Сначала всеобщая грамотность, а затем печать, радио и телевидение, последовательно проникая в массы, до предела сблизили эти языки, снивелировали их, а самое сильное воздействие они произвели на язык, до тех пор наиболее устойчивый и даже консервативный, на народный язык.

НТР и здесь оказалась верной самой себе, она действует глобально, действует на первоисточник, на основу основ.

И собственно народного языка, в прежнем его понимании и в прежнем распространении, уже больше нет. В деревнях им еще пользуются, и то чаще всего по чьей-нибудь просьбе, люди самых старших возрастов, и некоторые писатели, как могут, лелеют его. Но и у них, у этих писателей, поскольку они действительно обладают тонким слухом к слову реальному, фактически существующему, этим языком позволяют себе пользоваться лишь немногие персонажи, и то в смешении с современными словами и словечками.

Печать, а особенно радио в смысле влияния на язык совершили в деревне даже бо́льший переворот, чем в городе. В деревне «радио говорит» чуть ли не круглые сутки, тем громче и настойчивее, чем дальше отстоит деревня от культурных центров, как бы компенсируя эту отдаленность.

В деревне в свое время появилась необходимость во множестве таких слов, которых у нее раньше не было: бригадир, задание, передовик, план, мероприятие и другие. Ведь и такие типично сельскохозяйственные терми-

ны, как полеводство, животноводство, огородничество, тоже отсутствовали в дореволюционной и даже доколхозной деревне, поскольку крестьянин-единоличник не различал в своем хозяйстве цехов; полеводство было для него пашней, животноводство — скотиной, а овощеводство — огородом.

Заимствуя из «городского» языка новые, но совершенно необходимые для него слова, деревенский житель почувствовал, по-видимому, общую неполноценность своей прежней речи в новых условиях, и тогда он слишком легко и некритически воспринял и другие слова и выражения, уже отнюдь не в той мере необходимые для него.

И вот нынче вы скорее в деревне, чем в городе, услышите, как мать спрашивает у своей пятилетней дочери: «Ты выполнила мое задание?» А муж говорит жене: «Мне нынче надо увязать план: в текущем квартале съездить к братухе в Ивановку!»

Трудно дать оценку всего того, что произошло с нашим, и прежде всего народным, языком, который мы больше по инерции продолжаем называть народным.

Это процесс необратимый, и протекает он не изолированно, рядом с ним происходят и другие процессы.

В то время как язык в целом нивелируется и нет прежних резких различий между языками народным, официально-государственным и литературным, в этом последнем происходит процесс все более узкой специализации.

Происходит определенное разделение массы читателей по признакам вкуса, личных склонностей. Для одних прозу нынче представляют Белов и Носов, для других — Аксенов, еще для кого-то — Сартаков. Далее, есть читатели-реалисты, читатели-детективщики, читатели-фантасты, и так по всем жанрам.

Чем это объяснить?

Мне кажется, тем, что в наше время становится все труднее охватить читательским взглядом весь поток литературы, быть читателем-универсалом, и вот каждый выбирает себе «свою» часть литературы, своих писателей, «свой» любимый язык, по собственному вкусу, склонностям и разумению.

Само чтение художественной литературы становится если уж не специальностью, так специальным хобби.

Почти каждый из нас помнит время, когда вслух или молчаливо, но предполагалось, что человек куль-

турный — это прежде всего человек, начитанный в области художественной литературы. Теперь этого нет: читает человек — так это хорошо, а не читает — тоже неплохо, значит, у него другие увлечения: может, он меломан, а может, болеет за хоккейную команду ЦСКА.

У людей стало больше свободного времени, их труд стал легче, они меньше заняты на работе, но ведь больше стало и всего того, всех тех занятий, которым человек посвящает свободное время: литературы, художественных выставок, концертов, спорта, туризма, санаториев и курортов. Люди стали более подвижными и непоседливыми, начиная с грудных младенцев и кончая глубокими стариками, все ездят и летают. И вот чтение, занятие индивидуальное, свойственное больше всего домоседам, становится делом избранным, но не обязательным.

Ну а если так, если это дело избранное, так читатель и выбирает себе в нем то, что ему больше по вкусу.

Мне могут напомнить о голоде на книжном рынке, о том, следовательно, насколько широк у нас круг читателей. Все правильно, я тоже знаю, что наша страна — самая читающая в мире, разве только в Исландии читают больше, так это нехитро для населения в двести тысяч человек.

И я отвечу, что книга не представляет исключения, билетов на стадионы тоже не хватает, в Зал Чайковского тоже. И путевок на курорты и в туристические маршруты. Население страны растет, потребности каждого человека растут тоже.

Вот я и думаю, что в условиях этого роста потребностей, который тоже есть следствие НТР, и происходит специализация интересов и вкусов по разным признакам. Ну хотя бы по возрастному.

Опять-таки в недалеком прошлом главным читающим возрастом было юношество, его чтение было очень активным, в смысле, прежде всего, восприимчивости, поскольку книга формирует характер человека, его мировоззрение и его язык. Этот сложившийся под влиянием литературы язык молодое поколение передавало и своим маленьким детям. Нынче этого уже нет. Нынче читатель — человек пожилой.

И, возвращаясь к нашему основному вопросу, можно констатировать, что язык теперь изменяется очень интенсивно, в самых широких масштабах, так, как никогда прежде.

Теперь другая точка зрения.

Недавно у меня был разговор с одним академиком-физиком. Вот уж он-то полностью признает влияние НТР на язык, а вывод делает отсюда такой: если язык столь резко меняется, так нечего ждать конца этой эволюции, незачем испытывать неудобства в силу отсутствия слов, обозначающих новые понятия, незачем утруждать себя всеми сложностями нынешних грамматических правил и бесконечными параллелизмами и синонимами, а надо создавать совершенно новый и рациональный международный язык. Сначала выработать программу этого языка, требования к нему, а потом задать работу машинам, и они сконструируют слова.

В этом языке будет уже в десятки раз меньше грамматических и фонетических правил, чем в нынешнем, и совсем не будет исключений из правил, все в нем будет логично и вполне современно. Скажем, слова уменьшительные будут возникать не за счет удлинения слова (как это имеет место в русском языке, например: *дом — домишко*), а по логике вещей, за счет его сокращения. Превосходная же степень будет, наоборот, выражаться за счет удлинения слова, спряжений не будет совсем, падежей будет меньше. И так далее.

Самое же главное, что в каждом слове этого языка будет заложена механическая возможность его «размножения», и с появлением новых понятий не появится необходимость гадать, как это понятие обозначить, каким случайным словом, которое может утвердиться, а может и погибнуть, едва родившись. Достаточно будет воспользоваться несколькими правилами словопроизводства, всем известными и очень простыми, чтобы даже в разговорной речи конструировать понятные для собеседника и безупречно точные по смыслу новые слова.

Ну а что касается языка нынешнего, существующего, так пусть он будет чьим-то хобби.

Вот какая точка зрения. Довольно распространенная среди ученых.

Я тоже думаю, что создание нового языка — для техники дело возможное, если не тотчас, так в ближайшем будущем. Однако в этой задаче меня смущает многое.

Словарь создать можно, такого рода опыт уже был у эсперанто,— а каковы будут словосочетания? Сможет

ли такой язык создать художественную прозу? Поэзию? Поговорку? И какими потерями обернется суперъязык для духовного мира человека? Для его личности и индивидуальности? И вообще, куда все это повернется, смогут ли машины определить это «куда?», или же их безупречная логика обернется стихией, последствий которой никто не может предугадать?

Это ведь только по житейскому и очень недалекому счету всему молодому принадлежит будущее. На самом же деле оно принадлежит ему не только по праву молодости и новизны, но и по праву преемственности, по праву истории. Если за новизной не стоит ничего этого, у нее нет будущего, а в лучшем случае есть только настоящее. В конце концов, продолжительность того или иного явления жизни и самой жизни зависит от того, насколько они природны и естественны, а природность и естественность уже включают фактор времени, исторический фактор.

Одно из заблуждений архиэнтээровцев состоит, мне кажется, в том, что невольно, а может быть, и вольно они хотят лишить человечество его истории, следовательно, и его природы, начав все сначала.

Все сначала, даже с самого начала, начинали многие, но жизнь, по крайней мере в обозримом ее пространстве, никому не предоставляла такого права и ни для кого не была чистым листом бумаги, на котором было бы возможно поставить первое слово.

Наверное, можно сконструировать такие машины, которые сконструируют новый язык, но можно, должно быть, идти и по другому пути: задать машинам задачу реконструкции и расширения существующих языков по их собственным законам и правилам.

И если уж сравнивать капитальность и долговечность «продукции», выполненной по этим двум вариантам, так более предпочтительным окажется второй вариант.

Ведь язык, созданный лишь сегодня, исходя из сегодняшних требований, хотя бы и с учетом определенной перспективы, по мере увеличения требований к нему стареет, вероятно, даже скорее, чем он будет до конца разработан, а тем более внедрен в практику.

Другое дело язык, существующий по законам своей собственной истории и природы и только обновленный с помощью современной техники, который не потерял

своего происхождения от человеческого голоса, от эмоций, от корней культуры в целом.

И не грешат ли этим современная наука и современная техника вообще, когда они учат свои машины считать вперед и отвечать на вопрос «как будет?», но совершенно пренебрегают другой постановкой вопроса — «как было»? Машины, мне кажется, должны бы уметь «думать» и вести счет не только вперед, но и назад, уметь вести счет исторический, осмысливать и показывать то, что было, определять, что из чего и при каких условиях произошло, вычерчивать кривую прошлого, чтобы иметь возможность, пусть другими темпами и другими средствами — эпохи НТР,— а все-таки продолжать ту же кривую в настоящее и в будущее. Потому что, повторяю еще раз, начинать с нуля — это не дело.

Только продолжая дело природы, наука освободится от угрозы стать техникой и даже техницизмом и обретет ту естественность, без которой она в любой момент может обернуться величайшим злом для всего человечества.

И вот здесь-то, кажется, и определяется специфическая и едва ли не главная роль литературы: осуществлять преемственность настоящего с прошлым, вписывая человека в природу, в его духовный опыт, не позволять науке вообразить, что она — сегодняшняя — всесильна и способна вычертить новую и совершенно самостоятельную кривую.

Я наблюдаю нынче интерес молодого поколения к истории, интерес своеобразный и опять-таки свойственный нашему времени, эпохе НТР.

Если еще лет двадцать тому назад интерес молодежи к истории прежде всего относился к конкретным историческим периодам, скажем, к шестидесятым годам прошлого века, или к тридцатым нынешнего, или к периоду Отечественной войны 1812 года, так нынче молодые умы тяготеют к осмысливанию целых эпох: античной и Римской, Византии, средневековья и нового времени, к истории государств и народов в целом: Индии, Китая, Западной Европы, России.

Именно из этого масштабного опыта они упорно хотят извлечь опыт сегодняшний, а мы, кажется, должны это понять и не очень обижаться, если молодые не делают истории из нас, из старшего поколения, по крайней мере, не делают ее только из нас.

Мы для них на этом фоне эпизод, тем больше эпизод, чем больше мы убеждаем их в своей исключительности.

Если я говорю, что мы, старшие поколения, не должны обижаться на молодежь, это вовсе не значит, что я полностью разделяю «молодежную» точку зрения. Нет, речь идет просто о такте взаимоотношений.

И я все-таки думаю, что история XX столетия — это особая и выдающаяся история, хотя бы уже потому, что она, так или иначе, не отражала все то, что было до нее, и что ее события были событиями глобальными.

Сама возможность охватить взглядом историю человечества так, как может охватить ее нынешнее молодое поколение, уже неопровержимый признак исключительности и новизны нынешнего времени, очевидный результат самых недавних событий; это ведь только наше время создало такое количество книг и такое количество достаточно образованных для пользования этими книгами молодых читателей, создало ту технику, благодаря которой люди без особой затраты сил и времени могут пользоваться и научными фондами, и связями друг с другом в рассуждениях о той или иной проблеме.

И я думаю, что молодежь придет к тому же выводу, что и мы, но не столько с наших слов, сколько самостоятельно.

Конечно, мне несколько обидно, что молодежи не бог весть как интересны события, которые были для меня важнейшими, и вот она не очень-то читает и «На Иртыше» и «Соленую Падь»: и язык не тот, «приходится заглядывать в Даля», и вообще, «мало ли что бывало, еще и не такие события, побольше!», и «при чем тут художественная литература? Субъективно! С событиями нужно знакомиться по документам!».

Не надо, конечно, думать, будто каждый наш шаг, каждое выступление — это уже история, поучительная для молодежи, но наряду с этим я думаю, что, поразмыслив и поразвившись, молодое поколение еще задумается над опытом отцов. Без этого ему не обойтись: оно живет и будет жить в обществе, созданном не им, а предшествующими поколениями, а чтобы это общество понять, нужно знать историю и способы его создания.

Да ведь я и сам чувствую двойственность своих привязанностей к прошлому: я ее ценю, эту привязанность, потому что, пусть и не совсем отчетливо,

а чувствую, как нарушение связей с прошлым угрожает моему будущему; с другой стороны, я ведь не могу жить только прошлым.

Я люблю деревню, но предпочитаю московскую квартиру деревенской избе. Однако — так ли уж это мало — привязанность к тому, чего нет? Уже нет?

Думаю, что в целом ряде случаев это ничуть не меньше того, что есть, что ты имеешь сегодня или имеешь намерение обрести.

И дело тут опять-таки не только в очевидном бескорыстии привязанностей к прошлому, но и в чувстве реализма. Реализм понимает, что его нет без прошлого, что нельзя порывать с прошлым, причем не только чисто историческим, но и житейским, революционным, идейным, литературным, культурным, нравственным, потому что без этого всего ты уже не кто-то, а некто и даже нечто. Нечто сегодняшнее и архиэнтээр-р-ровское.

Вот я и думал, когда говорил о мыслящем герое, необходимом нашей литературе, о том, что такой герой должен обладать жизнелюбием, если понимать под этим его природность, его умение и назначение — осуществлять связь времен.

1973

ГЕРОЙ В КИРЗОВЫХ САПОГАХ

(*К творчеству Василия Шукшина*)

Каждый, кто писал и говорил в последнее время о творчестве Василия Шукшина, не мог без удивления и даже какого-то чувства растерянности не сказать о его почти невероятной разносторонности.

Должно быть, это надолго, так же будет и в дальнейшем, а исключения смогут иметь место лишь при рассмотрении того или иного отдельно взятого произведения Шукшина. И то далеко не всегда — ведь Шукшин-кинематографист органически проникает в Шукшина-писателя: его проза зрима, его фильм литературен в лучшем смысле слова. Его нельзя воспринимать «по разделам», и вот, читая его книги, мы видим автора на экране, а глядя на экран — вспоминаем его прозу.

Эта слиянность самых разных качеств и дарований не только в целое, но и в нечто очень определенное, вполне законченное, еще и еще радует и удивляет нас сегодня, будет радовать и удивлять всегда.

Мы видим этот щедрый дар природы и необыкновенную личность личностью, а не набором качеств и способностей, видим, что эта личность меньше всего заботилась о самой себе, о том, чтобы проводить в самой себе грани: вот я — актер, а вот это я — писатель, я — режиссер, я — сценарист. Забот такого рода мы в Шукшине не заметим, самая их возможность была ему чужда, несвойственна, свойственна же полная естественность и непринужденность в обращении со всеми своими способностями, как будто только так и должно быть, как будто удивляться этому и даже это замечать совершенно ни к чему.

И это тоже свойство таланта и даже сам талант.

Шукшин принадлежал русскому искусству и в той его традиции, в силу которой художник не то чтобы уничижал себя, но не замечал себя самого перед лицом

проблемы, которую он поднимал в своем произведении, перед лицом того предмета, который становился для него предметом искусства. В этой традиции все то, о чем говорит искусство — то есть вся жизнь в самых различных ее проявлениях,— гораздо выше самого искусства, поэтому она — традиция — никогда не демонстрировала своих собственных достижений, своего умения и техники, а использовала их как средства подчиненные. И поэтому искусству в этой традиции никогда не угрожала искусственность, тем более был далек для нее фокус, пусть и очень красивый, оригинальный и занимательный.

Такое умение держаться естественно и просто перед лицом самой трудной творческой задачи, не заботясь о «манере поведения», неизменно оставаясь самим собою, вероятно, лучше других выразил А. П. Чехов, очень сердито отозвавшись о виртуозности искусства, сопоставив одно и другое почти как антиподы.

Самое же главное — что именно эта традиция в конце концов и создала непревзойденные образцы формы и стиля, и так бывает всегда: для того чтобы решить задачу, хотя бы и труднейшую, ее нужно низвести до второстепенного положения, до положения составляющей, выдвинув на первый план сверхзадачу.

Вот и Шукшину была не только не свойственна, но и противопоказана всякая демонстрация себя, всякое указание на себя, хотя кому-кому, а ему-то было что продемонстрировать. И опять-таки именно благодаря этой забывчивости по отношению к себе он и стал незабываем для других.

Здесь для него попросту не было ни вопроса, ни выбора. Он ведь представляет то искусство, которое есть не только правдивое, не только талантливое изображение жизни, но и самая жизнь — реальная, повседневная, героическая, какая угодно.

Казалось бы, этот человек должен был обладать самым высоким мастерством перевоплощения из одной своей ипостаси в другую, но так только казалось, в действительности же он обладал неповторимым умением всегда оставаться самим собою. Умением и внутренней необходимостью этой неизменности.

И вот всякий раз, когда мы шли смотреть фильм с его участием, мы встречались не с актером, а с ним самим, с Шукшиным, с тем человеком, который есть он. А глядя на экран, мы чувствовали, что сами понятия

«актер», «роль», «игра», понятия, с которыми мы свыклись с детства, которые устоялись в нашем сознании как будто бы навсегда, вдруг нарушаются, становятся странными условностями, опять-таки потому, что перед нами предстает все тот же Василий Шукшин как таковой не только без грима, но, кажется, и без игры.

Мы знаем, что в его руках весь фильм, что это его сценарий, его режиссура, его исполнение, но сам он ничего этого не знает, не придает этому никакого значения. Он сейчас никакой не хозяин и не творец фильма, задумавший и создавший этот фильм от самого начала до самого конца, от впервые промелькнувшей мысли о нем до монтажа готовой ленты; все это остается «за» — за пределами нашего восприятия, и нам кажется, будто не Шукшин снимается, а кто-то другой снимает его скрытой камерой для того, чтобы спустя время он увидел себя.

Увидел и сам себя рассудил: так ли, по-человечески ли он поступает? Не обнаружила ли скрытая камера какого-то ложного поступка с его стороны? В том числе и какого-то актерского жеста или того экранного выражения лица, с которым миллионными тиражами издаются фотографии больших и малых кинозвезд? Ведь в любом кадре и на любой странице его никто не должен подменить, никому, никогда, ни на одну минуту он не передоверяет самого себя. Равно как никогда ни у кого и ничего он не заимствует, ни у кого не ищет ответа — как ему быть, как жить?

Мне кажется, последние годы жизни Шукшина были таким периодом, когда все, что его окружало, все люди и факты становились для него предметом искусства, касалось ли это ссоры с вахтером в больнице или изучения биографии и деяний Степана Разина.

Исключений нет. И вот уже его дети, и мать, и соседи — это актеры в его фильме, и его не только ничуть не смущает отсутствие у них профессиональности — это привлекает его. И вот уже каждый сосед, каждый человек, навестивший его в больнице, каждый спутник в поезде или в автобусе — это его герой, его персонаж.

Всегда ли необходимо это для истинного художника или не всегда — другое дело, но для него это так. Для него уже не имеет значения, что может быть иначе, что

у художника с годами до предела обостряется чувство отбора таких фактов и событий, которые являются его «собственными», а больше ничьими предметами искусства.

Одно можно сказать — жить среди людей, происшествий и впечатлений, каждое из которых требует своего, причем законного, места в твоем искусстве, каждое, расталкивая все другое, рвется через тебя на бумагу, на сцену, на экран, настоятельно требуя и ропща,— это очень трудно.

Тем более что конца ведь этому нет, не предвидится, каждый год эти требования множатся и множатся в числе! Собственно, это уже не совсем жизнь, а постоянное и безоговорочное расходование себя на все эти требования.

Тут мы и припомним Егора Прокудина из повести и фильма «Калина красная». Егор непоследователен: то умиленно-лиричен и обнимает одну за другой березки, то груб, то он ерник и забулдыга, любитель попоек «на большой палец»; то он добряк, то бандит. И вот уже иных критиков очень смутила эта непоследовательность, и они приняли ее за отсутствие характера и «правды жизни». Критика не сразу заметила, что такой образ до сих пор не удавалось, пожалуй, создать никому — ни одному писателю, ни одному режиссеру, ни одному актеру, а Шукшину потому это и удалось, что он — Шукшин, пронзительно видящий вокруг себя людей, их судьбы, их жизненные перипетии, потому что он и писатель, и режиссер, и актер в одном лице.

Очень, очень многое нужно художнику, чтобы такой образ создать, и все, что для этого нужно, Шукшин имел.

Но дело этим не исчерпывается.

Непоследовательность Прокудина вовсе не так уж проста, стихийна и ничем не обусловлена, она отнюдь не пустое место и не отсутствие характера.

Прокудин ведь последовательно непоследователен, а это уже нечто другое. Это уже логика. Его логика не наша логика, она не может, а наверное, и не должна быть нами принята и разделена, но это вовсе не значит, что ее нет, что она не в состоянии перед нами открыться и быть нами понята.

Конечно, не так-то часто мы имеем возможность сказать: вот такого человека, такой тип и характер,

такую логику я не знал — не ведал, быть может, даже и не подозревал никогда в жизни, но сегодня в течение каких-нибудь нескольких часов я все это с помощью искусства постиг, узнал! Узнал не только умом, но и сердцем. И это с нами происходит, очевидно, в тот момент, когда не быстро и не тихо, а ровным шагом Егор двигается по только что вспаханной им пашне навстречу своей смерти.

Идет, зная, к чему идет.

Идет, сначала отправив прочь своего подручного на пахоте, чтобы не было свидетелей всего того, что сейчас неминуемо произойдет, чтобы человеку, к судьбе Прокудина никак не причастному, не грозила какая-то опасность, какие-то неприятности свидетеля.

Мы помним, как звучно и продолжительно раздаются удары сапог Прокудина по деревянным мосткам, когда он выходит из тюрьмы на волю, быть может, продолжительность их даже утомила нас, но вот он почти неслышно, но в том же ритме шагает по пашне с воли в свою смерть, и круг замыкается, и нам все становится ясным.

Ясным и пронзительно отчетливым, хотя с нашей точки зрения это бессмысленно — вот так идти навстречу своей смерти, вот так отправить в сторону единственного свидетеля, вот так упасть на землю со смертельной раной.

Но тут-то мы и понимаем, что этот человек только так и должен был поступить — об этом говорила вся предыдущая его непоследовательность.

А понять человека — значит уже сочувствовать ему, мысленно участвовать в его судьбе, сопереживать ее. Тем более что Прокудин как раз этого и ждал от нас — понимания. Ни любви, ни жалости, ни покровительства, ни помощи — ничего он от нас не принял бы, а вот наше понимание ему необходимо. Необходимо опять-таки по-своему — он ведь все время этому пониманию сопротивляется, недаром он и был столь непоследователен и выкидывал колена, но все это именно потому, что наше понимание было ему необходимо. Он как бы и умер-то потому, что хотел его, этого понимания.

Алогичность может быть названа как угодно: процессом перевоспитания, упрямством, диким самолюбием, грубостью, глупостью, ерничеством, но любое на-

звание скорее характеризует нас, чем его. Все сводится к нашему пониманию и чувству, и чувство это гуманное. Обязательно!

Потому что чуткое и понятливое отношение одного человека к другому — это и в жизни, и в искусстве всегда гуманизм. А чем же это еще может быть?

И тут же невольно начинаешь думать, что Прокудин дает нам понимание не только самого себя, но и своего художника — Василия Шукшина.

Да, надо было обладать удивительно разнообразным дарованием, чтобы Прокудин стал чем-то несомненно одним и целым, а не разрозненным и аморфным.

И надо было быть Шукшиным и жить его напряженной, безоглядной, беспощадной по отношению к самому себе жизнью, надо было, просыпаясь каждое утро, идти на «вы» — на множество замыслов, сюжетов, деталей, сцен, диалогов, всех без исключения окружающих тебя событий и предметов, чтобы вот так, как прошел он, пройти по вспаханным тобою же бороздам навстречу своей смерти.

Мы не хироманты и не предсказатели судеб и, когда читали и когда смотрели «Калину красную», ни о чем не догадывались. И хорошо, наверное, это такт самой жизни, как правило, избавляющей нас от такого рода догадок, это требование и самого художника — ему отчетливая догадка была бы ни к чему, ни в себе самом, ни тем более в нас, в массе его читателей и зрителей. Но теперь-то, когда художника не стало, задним числом, многое становится на свои места. Теперь мы, кажется, знаем, почему Шукшин смог пройти по пашне так, как он прошел.

Так же как Шукшин без грима играл, так же без грима он и писал. И тут снова присутствовала скрытая камера, только теперь она была направлена не на него, а им на кого-то другого.

И в литературе тоже ее собственные технологические понятия — сюжет, фабула, завязка, кульминация — как бы не существовали для него, смещались и заменялись одним понятием жизни, и даже не понятием, а ею самой.

Ею самой, выраженной в характерах и ситуациях, в нравственных ее началах, поскольку без них искусство не искусство, литература не литература, да и сама жизнь — тоже не жизнь.

У него не было и тени умиления или заискивания ни перед своими героями, ни перед самим собой. Больше того, он был очень суров в отношении и к ним, и к себе той суровостью, которая неизбежна, если писатель знает и понимает людей и не делает особого исключения для себя, если он хочет, страстно желает, чтобы не только им было лучше, но чтобы и они сами тоже были лучше.

А его герои никогда не обижались на него за это. Иначе говоря, они всегда оставались достоверными, убедительными и, выполняя роль героев и действующих лиц, оставались самими собой, живыми людьми.

Как сказал Василий Шукшин в последней строке своего последнего прижизненного произведения, и он, и они всегда ставили перед собою вопрос: «...что с нами происходит?»

Герой Шукшина неизменно ставит этот вопрос, оставаясь без грима и без прически, обутый в кирзовые сапоги.

И сапоги эти не есть некий сословный признак или принадлежность так называемого «простого» человека.

Скорее это та таинственная простота, к которой художник умел свести нечто очень сложное, та необыкновенная художническая натура, которая умела иметь дело с трудной обыкновенностью, натура, которой сапоги эти были свойственны, были и по ноге, и по душе.

Статистически явному большинству героев Шукшина кирзовые сапоги принадлежали по роду их занятий и профессий, но дело вовсе не в этом. Ведь и тех интеллигентов, которых он показал нам, он обул в те же сапоги — модные туфли ему совсем ни к чему, они только мешают проникать в существо характера и разобраться в поставленном вопросе; он и своего Степана Разина — мужика в вождях,— по существу, оставляет в тех же сапогах. Этому ничуть не мешает то обстоятельство, что в разинскую пору кирза еще не была изобретена.

* * *

Все то, что критики не очень художественно называют «художественным разбором» произведений искусства, для творчества Шукшина еще впереди. Вре-

мя для них еще не настало, оно, может быть, только-только настает.

Пока же существует необходимость так или иначе сопровождать его произведения каким-то словом, понять или только приблизиться к тому исходному, что произвело на свет множество рассказов, повести, романы, сценарии, литературоведческие заметки, пьесы, фильмы, роли — ко всему, что составляет явление, называемое творчеством Шукшина.

1974

ПЕРВЫЕ СРЕДИ ВТОРЫХ

Прежде чем говорить о предмете в целом, поставим перед собою частный вопрос: живет ли сегодня в нашей литературе роман Гончарова «Обрыв»?

По существу, наверное, нет. Для множества читателей он не более чем тень прошлого и даже некий архаизм. Да и кто такой Гончаров после Толстого и Достоевского, после Гоголя и Чехова? — вот довольно обычный контрвопрос, в котором уже звучит сам собою разумеющийся ответ. Ну конечно, какая-то доля истины в этом есть: стиль романа, лексика его устарели, любимого и почитаемого нынешним читателем подтекста и вовсе нет, один только текст, роман отнюдь не лаконичен.

Но кто же сказал, будто литература для своего постижения не требует никаких усилий?! По крайней мере, печатно не сказал никто, и вот, преодолев трудности прочтения, мы получим истинное и общее представление о романе, полную его картину. Какая же это будет картина? А вот какая: перед нами предстанет совершенная конструкция жанра, может быть, даже самый романный роман отечественной литературы. Его сюжет нельзя рассматривать только как средство и прием, пользуясь которыми писатель выражает свою мысль и создает художественные образы, о нем нельзя сказать так, как часто у нас говорится: «Пустяк, даже не событие, а самый обыкновенный случай, а посмотрите-ка, как смог этот мелкий случай автор развернуть, сколько показать и рассказать!»

Согласен: хвала и такому автору, но ведь это же вовсе не умаляет такого романа, каким является «Обрыв»,— событийного, в основе которого заложен непоколебимо прочный и сюжетный фундамент, в то же время очень изящный, который сам по себе уже доставляет эстетическое наслаждение, который, тоже сам

по себе, уже исполняет назначение художественное, помогая нам осмыслить и окружающий, и наш собственный внутренний мир — свои человеческие качества и задатки, свои намерения и поступки.

Читатель «Обрыва» и через десять лет как бы в компенсацию за трудности прочтения без труда сможет рассказать его сюжет — потому что есть что рассказывать, потому что уже сама расстановка действующих лиц в нем представляет несомненный интерес, потому что вы никогда не догадаетесь заранее, кто и чем в этом романе кончит. Это классический любовный роман, что ни женский образ (а таких образов явное большинство, и тоже явно они занимают главенствующее положение), то и любовная судьба в ее развитии, то и характер, выписанный именно через любовные отношения — прошлые и настоящие. При всем том «Обрыв» вовсе не оставляет ощущения заданности или той искусственности, к которой так любят прибегать многие современные авторы, наоборот, это произведение дышит непосредственностью, свободой авторских описаний быта и пейзажа, отсутствием видимого старания «завлечь» читателя.

Великие писатели почти единодушно шли от противного, разрушая схему жанра, ее модели и, уж во всяком случае, отступая от нее. Разве «Война и мир» — это роман в строгом смысле слова? Это и философский труд, и историческое исследование, и что-то и что-то еще, но не роман в его чистоте и в классических рамках. То же самое можно сказать и о «Подростке» Достоевского. Однако это вовсе не доказывает, что литература могла бы обойтись без моделей жанра, а для того чтобы иметь возможность разрушать, необходимы настоящие, а не игрушечные крепости, иначе само-то разрушение обратится в фарс.

Похоже на то, что удел не первых, а «вторых» писателей — создавать модели жанров, возводить те крепости, которые безотлагательно будут штурмовать гении, но это лишь докажет, что литература развивается одновременно в двух направлениях — в формировании жанров и в их деформации. А следовательно, ни тем, ни другим нельзя пренебрегать.

И вот тут-то, кажется, и настала пора сказать о тех потерях, которые мы несем повседневно, пренебрегая классиками, если так можно сказать, второго ряда.

В наших современных оценках литературных явлений, пусть негласно, зато достаточно прочно бытует такое исходное утверждение: «Мы — не Пушкины и не Толстые, а потому нам многое простительно». Но история литературы вовсе не оправдывает такого подхода к делу. Нам, нынешним продолжателям русской литературы, второй ряд вот как необходим и для современных оценок и сравнений, и для заимствования опыта, и для понимания истории литературы и даже первых ее величин.

Ведь одно дело, когда мы воспринимаем того же Толстого как одиночку и даже как гром среди ясного неба, другое — когда он в наших глазах становится результатом какого-то процесса, когда он вовсе не один, а только впереди других.

Пренебрежение такими именами, как Гончаров,— это девальвация культурных ценностей, трагическая несправедливость и неуважение к собственной культуре, проистекающее не от нищеты, а от богатства и расточительности, и тем более недопустимое.

Если десять писателей имярек равны одному Толстому, так мы совершенно не вправе пренебрегать еще одним Толстым только потому, что он представлен в десяти лицах и нам хлопотно и недосуг сводить со всеми ними знакомства. А вот попробуйте-ка найти среди наших критиков активного пропагандиста творчества того же Гончарова. Если таковой и найдется, где тот редактор популярного журнала или газеты, который статью такого рода напечатает? Юбилей — ну, это уже другое дело, это вроде бы аттестат на современность и подходящий случай.

Конечно, в научных трудах и ученых записках можно обнаружить не только полузабытых, но и совершенно забытых писателей, но ведь это, по существу, никак не влияет на наше современное литературное мышление, и мы продолжаем пользоваться твердокаменной номенклатурой имен, даже короче той, которая включена в школьные программы.

Вряд ли кто-нибудь будет утверждать, что не только для молодых читателей, но и для молодых писателей нынче существует эта реальная угроза — угроза потери очень значительной части русской классики, слепота и глухота к ней, которые неизбежно обернутся соответствующими потерями собственного развития и мастерства. И вот ответственность за все это несут все

без исключения современные литературные поколения.

Мы забываем, что культуры нет без истории, что культура, лишенная истории,— это в лучшем случае цивилизация, в том числе цивилизация литературная, что и сама-то культура началась с осмысливания человеком своего прошлого в сказках, мифах, легендах и поверьях, в наскальной живописи.

А если мы представим себе человека только как человека сегодняшнего, современного, мы тотчас потеряем само это понятие «человек».

У писателей, которых я только за неимением другого термина называю «вторыми», найдутся и еще свои собственные серьезные роли и заслуги. Одна из них — художественная конкретность. Что я имею здесь в виду?

Как бы ни был велик Шекспир, но Англию того времени нельзя представить по «Макбету»; как бы я ни любил Чехова — конкретную русскую жизнь конца прошлого — начала нынешнего века я скорее пойму по произведениям ну хотя бы Телешова.

Гении не создают летописей быта, они заняты историей нравственной эволюции человечества, их мир столько же реальный, сколько воображаемый, и вот они вводят нас в этот мир, чтобы мы, как и они, заболели постоянным чувством необходимости нравственного преображения действительности.

Не случайно, что нынче тот читатель, который намеревается воссоздать для себя прошлое, все чаще обращается к мемуарам.

Но между безусловными классиками и мемуаристами стоят еще свидетельства тех «вторых» писателей, которые нельзя заменить ни тем, ни другим. Свидетельства эти бытоописательны, в какой-то мере даже фотографичны, но они же и художественны, а значит, создают образы людей и воссоздают их быт в обобщенном виде, минуя случайность мемуаров, их сосредоточенность на явлениях не рядовых и не общих. Снова возвращаясь к Гончарову, нужно заметить, что о нем нет-нет да и вспомнят. Он пусть формально, а все-таки причислен к классике рядом с самыми первыми именами. Ну а как мы пользуемся наследием, скажем, Григоровича?

А ведь и у него есть своя черта, свой собственный, исключительно ему принадлежащий вклад в русскую

литературу. Я назвал бы этот вклад чувством сострадания.

Пойдет ли речь об Антоне-Горемыке из повести того же названия, или об Акуле из рассказа «Деревня», или о Гуттаперчевом мальчике — едва ли не в каждом произведении этого писателя главный герой тот, к кому больше, чем к другим, обращено авторское сострадание. У меня даже складывается впечатление, что писатели до Григоровича еще не видели в сострадании обязательного свойства литературы, а после него слишком быстро научились выражать его не в чистоте и не само по себе, а в соединении с другими чувствами и понятиями, научились только намекать на него, уводить его из текста в подтекст, заменять его меланхолией и даже стыдиться его, обозначая словами «сентиментальность» либо «мелодраматичность» и проявляя видимую твердость характера, на самом же деле — следовать по пятам за жестокостью мира либо препарировать сострадание в литературу ужасов.

Конечно, тут же нам придет на память самый великий сострадатель — Достоевский, после которого утверждать самостоятельность Григоровича непросто. Но может быть, как раз потому, что непросто,— и нужно, и необходимо?

Несомненно, Достоевский пошел гораздо дальше в том смысле, что страдание, а тем более сострадание, он возвел в философию, почти что в вероисповедание.

Григорович и не делал попыток ступить на этот философский путь, но страдание как таковое, страдание в натуре, как бы безмолвное и даже неодухотворенное, он показал, как, вероятно, никто другой. Разве только украинец Василий Стефаник делал то же самое. Но я глубоко убежден, что для того, чтобы философствовать по поводу, нужно отчетливо видеть сам повод в его ничем не завуалированной действительности, и вот Григорович учил нас этому вúдению и учит сегодня и доказывает, что литература без сострадания — это во все времена еще далеко не вся литература.

Ну а пейзажи Григоровича? А его бытописание? А его модель русской повести, которую мы не можем до сих пор толково объяснить, однако это ничуть не мешает ей существовать, да еще как существовать! А его социология? Если бы сегодня мы могли создавать очерки, подобные, скажем, «Петербургским шарманщи-

кам», написанным, кстати сказать, по прямому заказу «Современника»!

Еще одна фигура русской классики XIX века — Гаршин.

Конечно, не все воспринимают его в наше время одинаково, но лично для меня самое существенное вот что: я не могу представить себе русскую военную литературу, начиная с Толстого и кончая современными писателями, минуя «Денщика и офицера», «Из воспоминаний рядового Иванова», «Аясларское дело».

Мне кажется, что русские военные писатели в большинстве и существе своем никогда не были в буквальном смысле слова баталистами.

Несмотря на грандиозную военную историю своей страны, их слух почти никогда не был поражен громом пушек или лихим «ура!», предметом их искусства неизменно оставалось то внутреннее, душевное состояние человека между жизнью и смертью, между возможностью убить и быть убитым, в которое этот человек поставлен войной. В этом-то именно смысле Гаршин и является для меня классиком.

Еще одно имя — Апухтин.

Конечно, если безупречная ритмика стиха, его отчетливость и, наконец, его отчетливая красота нынче вовсе нипочем, либо если такой классически-отчетливый стих мы оставляем исключительно за Пушкиным и Лермонтовым в прошлом, за Есениным в настоящем, тогда Апухтину действительно не найдется места в нашем сознании и литературном мышлении. Не найдется таким, например, стихам:

Не стучись ко мне
    в ночь бессонную.
Не буди любовь
    схороненную...
Я в гробу лежу,
    я затих совсем.
Мысли ясные
    мглой окутались,
Нити жизни
    все перепутались,
И не знаю я,
    кто играет мной,
Кто мне верный друг,
    кто мне враг лихой...

А ведь вовсе не исключено, что кристальность и строгость поэзии, то и дело почитаемая нынче за

анахронизм, снова и не в таком уж отдаленном будущем станут цениться превыше всего.

Ну а если говорить об Апухтине-прозаике, так я вообще не припомню, чтобы кто-нибудь и когда-нибудь сослался бы на него.

В то же время я думаю, что если бы, положим, шутки ради журнал «Иностранная литература» или какой-нибудь другой изменил имена героев «Архива графини Д**» и дал его как перевод под вымышленной фамилией, редакция, вероятно, получила бы не один десяток положительных, а то и восторженных отзывов и рецензий, в которых отмечались бы лаконизм произведения и безупречная его организация, совершенство формы, умение в одной короткой записке или даже депеше изобразить характер и развить событие и многое другое.

И все так оно и было бы, все правильно, потому что апухтинская повесть, а точнее, пожалуй, роман в письмах,— опять-таки образец художественно-эпистолярного произведения.

Сколько же их, незаслуженно забытых писательских имен и произведений русской классики? Не перечесть...

Строго говоря, причисление писателя к классике уже лишает нас права забывать его. Но, понимая, что классика не состоит из одного десятка имен, мы формально причисляем к ней многих и многих, а помним единицы.

И дело не только и, может быть, не столько в том, что нынче они мало или совсем не издаются, а, как уже говорилось выше, дело в другом: они исключены из нашего повседневного литературного обихода, они ни для кого не пример, никому не указ, и трудно об этом сказать, но их ценность практически как бы приравнена к нулю.

Почему так? Откуда это пошло?

Пожалуй, нагляднее всего это прослеживается по «Краткой литературной энциклопедии», поскольку именно она призвана ориентировать и читателей, и литераторов в современных, а тем более прошлых литературных ценностях.

Что же мы узнаем из «Энциклопедии», ну, положим, о том же «Архиве графини Д**»? А вот что: «В прозаич. произв., написанных в форме писем, дневников («Архив графини Д**», 1890; «Дневник Павлика Дольского», 1891, и др.), нарисованы быт и нравы

петерб. светского общества 80-х гг. (опубл. посмертно)». Да и всему-то Апухтину отведено... 35 строк.

Немногим больше говорится здесь и о «самых значительных произведениях Григоровича» — «Деревня» и «Антон-Горемыка».

Но ведь эти вещи были очень крупными событиями русской литературной жизни своего времени, а поскольку эта жизнь была совсем не мелочной, была очень и очень значительной, следовательно, ее события не могли так скоро утерять свои художественные ценности. И не утеряли их, если, конечно, судить не формально, а по существу.

Далее же «Энциклопедия» сообщает о Григоровиче, что, «продолжая традиции Н. В. Гоголя, он создает произв. из нар. жизни...».

Пусть меня поправят специалисты, но мне-то кажется, что дело обстояло наоборот — не Гоголь, а Григорович создал произведения из народной жизни, тем более если принять понятие народа, каким оно было в то время, когда под народом подразумевалась крестьянская масса.

Гоголь самостоятельных реалистических произведений об этой массе не писал, его стихией было прежде всего мелкопоместное дворянство в деревне и в городской службе, а еще история казачества, и если Григорович в чем-то шел по следам Гоголя, так это в описании чиновничества. Но все равно и тут сказывается непременное сопоставление величин: Гоголь больше Григоровича — и вот уже отсюда делается вывод, что Григорович шел за Гоголем.

Вообще строго номенклатурная расстановка сил русской классической литературы — это одна из причин того, почему столь невыразительны, вялы, а порой и убоги предисловия, те, если так можно выразиться, напутствия, с которыми редко, но все-таки издаются классики второй величины. Если «вторые» лишь повторяют «первых», тогда и в самом деле — что можно о них сказать? Сказать и эмоционально, и оригинально?

И если уж на то пошло, так у меня здесь больше надежд на писателей, чем на критиков и литературоведов,— ведь каждый писатель, помимо великих имен, может определить своего собственного «первого среди вторых», свою симпатию, свое душевно-творческое расположение к кому-то из прошлых и забытых и сказать о нем свое слово, исполнив долг перед отечественной

литературой и перед самим собою тоже. Это дело и чувство личные, тут и речи не может быть о каком-то распределении обязанностей, но мне невольно кажется: доведись мне, и я восстановил бы прямую связь едва ли не от каждого современного и почитаемого мною писателя туда, в век XIX, к той сходной и даже исходной природе таланта, которая живет в моем современнике вот сейчас, сию минуту, которую освоила литература советского времени. Знаю, что такая уверенность субъективна и малодоказуема. Но ведь без субъективных ощущений в литературе тоже не обойдешься.

1975

ПОВЕСТИ ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА

Валентин Распутин вошел в нашу литературу сразу же, почти без разбега и как истинный мастер художественного слова, а повторять, что произведения его значительны, что, минуя их, сегодня уже нельзя серьезно рассуждать о нынешней русской и всей советской прозе, нет, очевидно, никакой необходимости.

Хотелось бы заметить в этом общем плане: Распутин еще и еще утверждает старинный русский повествовательный жанр — повесть. И не беда, что мы до сих пор не имеем точного определения — что она такое? Чем отличается от романа? Зато имеется она сама — лаконичная, выразительная, художественный жанр, в котором русская литература создала бесценные художественные произведения и, будем надеяться, создаст их еще.

Но это, повторяю, замечание общее, попутное.

Другое дело — задаться вопросом: чем и как повести Распутина достигли того, чего они достигли?

Как часто мы признаем в литературе хорошее хорошим, но не можем объяснить —почему это так?

Вопрос трудный, а все-таки надо сделать попытку и ответить на него, сделать вывод из самых разных впечатлений, чувств и переживаний, вызванных чтением распутинских повестей, определить нечто главное для себя.

Им, этим главным, оказалось, думается мне, законченность его произведений.

Вот так: дочитываю его повесть, думаю и убеждаюсь в том, что я узнал о ее героях все сполна, все, что должен был о них узнать. Ни капли сомнения, будто бы автор чего-то не сказал о них или сказал не так.

И нет желания чем-то автора дополнить, нет подозрения в каких-то вольных или невольных недомолвках, нет прерывности в линии поведения его героев не только в самой повести, но и далеко за ее пределами, там, куда, после встречи, они уйдут. Вместе с нами. Пожалуй, они теперь уже навсегда лишены возможности покинуть нас, скрыться из нашего поля зрения и понимания.

Ну, как это бывает, когда мы, закрывая книгу,— и вовсе не в укор писателю, во всяком случае, далеко не всегда в укор,— думаем: «А дальше-то, дальше — каким вот этот герой станет? Плохим — хорошим? Счастливым — несчастливым? Умным — глупым?»

Ведь современный читатель, да и читатель в прошлом тоже, далеко не всегда с восторгом принимал ясность и отчетливость, ему действительно нравится и другое — когда автор незаметно-незаметно, а все-таки задает читателю вопросы: ну, а дальше-то как будет? Как может и как не может быть? Что в моем герое возьмет верх, какое качество характера и ума?

Но Распутин этого не делает — не оставляет на наше усмотрение ничего, все решает сам. Тем самым он и достигает законченности своих повестей. Законченности сюжета, мысли, чувства, одним словом — художественной законченности.

А почему это ему удается, что ему в этом помогает?

Прежде всего потому, что речь он ведет о таких вещах, о таких событиях человеческого существования, для которых недомолвки и различные вариации попросту не свойственны, не в их природе.

В повестях «Последний срок», «Живи и помни» речь идет о жизни и смерти — или жив человек, или вот он сейчас умрет, а какой-то третий вариант — тем более пятый или десятый — совершенно исключается.

Тут, кажется, по крайней мере по первому впечатлению и переживанию, умолкает и сама-то литература с ее бесконечными толками о том, что такое хорошо,

а что такое плохо, с ее советами, догадками и наставлениями, с ее «вопросами мастерства».

Какое уж тут мастерство, когда на ваших глазах гибнет человек?

Природой предусмотрено так, что решающий факт жизни — рождение человека — навсегда остается для него неизвестным и тайным, никто не знает и своего раннего младенчества, смерть же — это факт сознательный. Во всяком случае, едва ли не каждый взрослый человек, тем более человек преклонного возраста, хоть раз да заглянул в лицо своей смерти, почувствовал ее очевидную близость то ли на войне, то ли на больничной койке, то ли при других каких-то обстоятельствах. И в то время, как рождение человека никто не может приложить к себе, сопоставить его с самим собою, чужая смерть вполне приложима к каждому из нас. Это — откровенная тайна.

И вот очень многие писатели, пользуясь этой откровенностью, создавали картины смерти человека. Но лишь очень немногие прослеживали ее так же внимательно и последовательно на протяжении многих-многих страниц, как это сделал Распутин в «Последнем сроке».

«Старуха Анна лежала на узкой железной кровати возле русской печки и дожидалась смерти, время для которой вроде приспело: старухе было под восемьдесят» — так начинается повесть. «Ночью старуха умерла» — так она кончается.

И даже то, что имя собственное — Анна — оказалось утерянным на всем протяжении повести, что оно упоминается только в начале повести,— тоже обретает свой смысл: смерти нет дела до имени человека.

Старуха умирает долго — совсем кончается, и вдруг снова наступает возрождение к недолгой, но вполне осознанной жизни, когда она успевает и посетовать на окружающих, и вспомнить прошлое, и еще раз позаботиться о своем уходе из этого мира, но при всей реальности и пронзительной точности происходящего здесь нет и следа того примитивного натурализма, следуя которому иной автор не то устрашает читателя, не то завлекает его ужасами, не то уверяет его в своей авторской смелости.

Это — редкостный такт, не выученный и даже, кажется, не нажитый долговременным опытом, а врожденный, природный и — художественный.

Конечно, это — мудрость автора «Последнего срока», и его собственная, и той героини, старухи Анны, которая умирает на наших глазах. Она-то относится к своей смерти именно как к делу своей жизни и, по раз и навсегда заведенному порядку, хочет сделать его поскорее, сделать сама, никого не тревожа и не затрудняя:

«Сколь раз я вам говорила: не трогайте меня, дайте мне самой на покой уйти. Я бы теперь где-е была, если бы не ваша фельдшерица». И учила Нинку: «Ты не бегай более за ей, не бегай. Скажет тебе мамка бежать, а ты спрячься в баню, подожди, а потом скажи: нету се дома. Я тебе за это конфетку дам — сладкую такую».

Вот так же и автор, он тоже как будто говорит: не трогайте меня со всем тем, что когда-нибудь было написано о смерти,— дайте мне сказать об этом самому.

И говорит сам. И говорит так, что будь в повести одна только старуха Анна, а больше — ни одной души, и тогда это уже стало бы истинным художественным произведением. Но в том-то и дело, что вовсе не ради одной только смерти старухи, как бы ни была она изображена, какое бы художественное значение она не имела сама по себе, написан «Последний срок».

Написано это ради живых, и тут тоже вполне подошло бы название последней повести Распутина: «Живи и помни».

К старухе матери из разных городов и сел собрались, чтобы проститься с ней, ее взрослые дети — каждый со своим характером, со своей судьбою.

Мать при смерти, вот-вот умрет, и дети перед нею — только дети, родные братья и сестры, и всеми владеет общее чувство потери и то чувство долга, по которому они, уже многие годы не встречаясь, оказались все вместе под отчим кровом. И характеры их в этом общем чувстве как бы сливаются, стираются.

Мать воскресает, из мертвого снова становится живым человеком. И дети тотчас снова обретают свои характеры, свои привычки, свои различные взгляды на жизнь.

Наконец мать умирает — но при ней уже и не все ее дети: дочери Люся и Варвара уехали к своим собственным делам и заботам. Не дождались. Понадеялись на благополучный исход.

Так вот для чего нужна была «Последнему сроку» эта долгая смерть: чтобы до конца высветить каждого из Анниных детей, каждого из живых в окружении умирающей. А перипетии смерти — это перипетии их жизней, их отношений друг к другу.

Распутин создал такую ситуацию, пользуясь которой он мог говорить о своих героях все что угодно, говорить много, говорить не только о настоящем, но и о прошлом, заглядывать в их будущее, писать роман или сагу в двух, в трех, в десяти книгах.

Но... законченность.

Безупречное соотношение между живым и умирающим. Между настоящим и всем тем прошлым, к которому старуха Анна и дети ее то и дело невольно возвращаются.

Кроме того, что автор умеет говорить, он еще и умеет молчать, и не чрезмерно, а все с тем же чувством такта и меры, используя необыкновенную ситуацию, он вовремя ставит точки над «i» — как над главным событием, так и над каждым своим героем.

А ведь как часто бывает, что точка появляется тогда, когда и самого-то «i» еще нет, когда оно еще не созрело, когда имел место пусть и очень продолжительный разговор, но только вокруг да около, а все равно — характер уже формально закончен, вывод — логический и назидательный — уже сделан. Для того чтобы поставить точку над «i», надо иметь «i»,— это истина проста лишь в отвлеченном суждении, в конкретном же искусстве она не так часто достигается.

Распутин ее достиг. И вовсе не тем, что его герои — однозначны, нет, их законченность — это законченность и завершенность сложности.

Вот дочь старухи Анны Люся — человек, в общем-то, твердой и последовательной логики, она и говорит, и поступает правильно, но холодно, бесчувственно. Она и к умирающей матери приехала только по сознанию, а не по чувству долга и любви.

Дочь Варвара — та добра, искренна, но бестолкова; и вот уже от доброты ее и от участливости не остается реального следа, какого-то дела, подлинной заботливости.

Сын Михаил — пьяница, то и дело он — грубиян, но ведь именно он и жена его Надя ухаживают за матерью

и оберегают и сохраняют ее для других детей. И некто другой, как Михаил, при всеобщем возмущении сестер и братьев сообщает матери: Таньчора — еще одна дочь старухи Анны — не приедет, потому что-де он отбил ей телеграмму — не надо приезжать, уже поздно. Никакой телеграммы Михаил не «отбивал», а говорит так, чтобы облегчить участь матери и мучительное ожидание ею любимой дочери. Грех Таньчоры он берет на свою душу.

Сын Илья — тот много помотался по свету, но — и так тоже бывает — не приобрел ни ума, ни опыта, а как будто бы вымотал при этом из себя свое «я», свой характер, он безлик — не добр и не зол, не глуп и не умен, он как бы никто.

И все эти характеры, и даже эта безликость — опять-таки завершены Распутиным целиком, в их прошлом и будущем, завершены в тот неуловимый момент повествования, когда нам в этих людях все ясно, но когда они, эти люди, не успели себя повторить. Повторить еще и, может быть, уже лишний раз.

В повести «Живи и помни» Распутин пошел в том же направлении, кажется мне, еще дальше — здесь он тоже приводит к гибели главную героиню, чудесную и светлую женщину Настену Гуськову. Но если в «Последнем сроке» как бы естественно, вовремя и в свой срок умирает старуха Анна, то гибель Настены не может быть принята иначе, как нечто исключительно трагическое, как грубая и даже непростительная ошибка жизни — умереть-то, по всей логике вещей, по всем нашим чувствам, симпатиям и антипатиям должна вовсе не она, а муж ее, Андрей Гуськов.

Дезертируя, по ночам пробираясь после госпиталя в свою деревню Атамановку, Андрей как будто не сомневается: вот он побудет дома, повидает близких, и дальше ему одна дорога — смерть. Он ее заслужил, он ее не боится, он спокойно идет ей навстречу. Он убежден, что если вернется на фронт — его обязательно там убьют; и вот он выбирает между двумя смертями ту, которая обещает ему сначала хоть какой-то покой, хоть какую-то радость.

Но вся эта логика, потому что она предательская, предает не только других, но и его самого. И вообще это даже и не логика, и не мысль, а только обманчивая видимость законченной мысли, только заговор с самим

собою против мысли истинной, против человеческого и гражданского достоинства. И, достигнув Атамановки, скрываясь в ее окрестностях, Андрей отчетливо сознает, что все, что он думал,— не так и не то: смерти он боится, боится страшно и безудержно, и вовсе не между двумя смертями выбирал он, а бежал от той и от другой, и действительно признать, что он заслуживает смерти, у него нет сил, а его страх смерти, его слабость — это и есть единственная сила его жизни. Другой у него нет, да и не может больше быть никогда. Но как же, оказывается, может быть сильна слабость и трусость! Как может быть она жестока!

Не знаю, что это за тема, которую исследует писатель, как ее назвать! Снова тема «жизни и смерти»? Но тема ли это для литературы? Для музыки — да, там этим часто обозначается мажор и минор, их сплетение, переход одного в другое в наиболее сильном и выразительном звучании, для литературы же, да еще реалистической, жизнь и смерть — это не тема, а нечто гораздо большее, это та реальность, из которой в конечном счете проистекают все темы и вся она — литература.

Когда литература касается этого сопоставления — жизни и смерти,— она исполняет свое самое высокое назначение, когда же она еще и справляется с этой задачей, она достигает высшего мастерства. Не то слово — своей проникновенности, своей законченности достигает она.

Вот главный смысл и то надсюжетное, философское содержание, которое объединяет обе повести Распутина, сближает их и в одном и том же направлении действует на читателя.

И если заглавие «Живи и помни» можно перенести на «Последний срок», то равным образом нетрудно сделать и наоборот: «Живи и помни» назвать «Последним сроком». Читатель воспримет это как должное и будет иметь к этому все основания: ведь жизнь Настены Гуськовой после того, как близ Атамановки появляется Андрей, вполне можно назвать последним сроком. Да и жизнь Андрея — тоже. Они очень разные, эти сроки, они противостоят друг другу, и единственно, что у них общего, это то, что они — последние. Должно быть, это главное определило и дальнейшее сходство двух повестей.

В «Живи и помни» Распутин тоже не останавлива-

ется на создании лишь основных образов, хотя и тут они вполне могли бы держать все повествование, а герои второстепенные играли бы тогда лишь роль антуража, не более того.

Но в том-то и дело, что трагедия Настены — это не только личная, но и глубоко общественная, социальная трагедия, поскольку к ней не остается безучастным ни один житель Атамановки, поскольку все они, эти жители, становятся как бы одним, тоже главным действующим лицом повести.

Это лицо сурово и непреклонно. Люди идут на любые жертвы ради победы в справедливой, освободительной войне. И значит, они не могут в то же самое время не видеть в дезертире своего врага, не могут терпеть его существования рядом со своим. И то, что дезертир из их же среды, из их деревни,— неизбежно еще усиливает чувство ненависти к нему.

Это — война в ее апогее, это и война на войне, и в голодной сибирской деревушке о двадцати с небольшим домах, и война в душе каждого, везде и всюду.

И поэтому старик Гуськов, отец Андрея, догадываясь о том, что сын его где-то здесь, рядом, и тот жесток и непреклонен по отношению к нему, и кто знает, что бы произошло, если бы отец и сын встретились лицом к лицу где-нибудь в тайге? Может быть, тихо, деловито, со страшной болью в сердце и со слезами на глазах, без какого-то бы то ни было романтического ореола, но Гуськов-отец все-таки повторил бы поступок Тараса Бульбы? Чтобы очистить свою совесть? И совесть всего селения Атамановки? И совесть народа, которому он принадлежит? Совесть ожесточенную, но — совесть.

Разве только одна старуха Гуськова, не потому, что она мать Андрея, а потому, что она больна, да и всегда-то была глуповата, не видит вокруг себя ничего, остается безучастной ко всему происходящему, а заметив беременность Настены, безоговорочно верит ее объяснениям, ее наветам на саму себя. Многие годы она прожила бок о бок с Настеной, но так и не узнала ее, так и не прониклась чувством доверия к ней, так и не приветила и не полюбила человека, которого не полюбить невозможно. И вот она-то, Степанида, в силу этой своей ограниченности и оказалась едва ли не самым жестоким человеком в Атамановке.

И может быть, в нее-то и вырос сын ее, Андрей.

Между прочим, снова возвращаясь к сходству двух повестей, нельзя не заметить и сходства их героев: семья старухи Анны, да и приятельница ее Мирониха тоже — все они вышли из какой-то Атамановки.

Минуло время после войны, из маленькой деревушки семья переселилась в деревню побольше, где и фельдшерица имеется, и какое-то производство, на котором работает Михаил, но это — они с их психологией, с их языком, на котором Настя ласкательно произносится как Настена, а Таня — как Таньчора, с их бытом.

Более того, хотя время и минуло, но «Последний срок» — повесть в значительной мере тоже военная, потому что именно война определила и до сих пор определяет и судьбы, и сознание всей семьи старухи Анны.

Попробуем на минуту представить, что война этой семьи ничуть не касалась. Не влияла на их судьбы. Не сказалась на их мышлении. Если бы это было так, мы, конечно же, увидели бы перед собою совсем других людей.

И нет ничего удивительного ни в том, что писатель уловил эту связь военного с послевоенным, ни в том, что он сделал это лишь спустя многие годы после того, как война кончилась.

В этом — своя логика.

Война была делом всех. Быть может, ничто другое не было в такой же степени делом всех, как война. Но вот она становится делом прошлого и теперь осмысливается уже не всеми сразу, а каждым в отдельности, и не только как дело всех, а еще и как дело каждого. Она конкретизируется в той или иной личности, в личном опыте и мышлении, в той памяти, которой во время войны у человека еще не было, но которая неизбежно возникает у него после того, как событие миновало, память же всегда избирательна и не хронологична.

Так, вероятно, и должно быть: война велась всеми еще и ради каждого, ради личного движения в будущее и личной жизни и собственного ее сознания.

Однако это вовсе не значит, что такого рода конкретизация, такое индивидуальное осознание войны приведет к так называемой «дегероизации», попросту — к распылению и потере тех общих для всего

народа представлений о ней, которые существовали, когда шла сама война, и которые были самым сильным ее оружием.

Вовсе нет, потому что следующим этапом в нашем отношении к войне будет этап исторический,— снова собирательный, снова всеобщий, который вберет в себя все истинное, прошедшее проверку временем, как из подлинных фактов и событий войны, так и изо всего того, что и как отдельные люди о ней думали. Еще ни одно событие не стало историей непосредственно после того, как оно закончилось, без такого вот прохождения через индивидуальное сознание.

И размышления раненного на поле боя героя войны Андрея Болконского никак не противоречат нашему нынешнему историческому пониманию Отечественной войны 1812 года. Они органически входят в это понимание, они дополняют его, обогащают, вносят в него вечно живой дух современности.

Именно к этому ряду произведений советской литературы, кажется мне, ближе всего стоят и повести Валентина Распутина. Это обращение гуманного писателя к гуманному читателю и обществу. Только гуманному обществу есть дело до отдельной личности, до ее переживаний, до ее судьбы, касается ли это Настены Гуськовой или кого-то из детей старухи Анны.

Герои Распутина и всегда-то были героями обобщенными, говоря несколько формально, типическими. Они живут как будто бы только сами по себе, думают ограниченно, не касаясь проблем общечеловеческих, а в то же самое время они очень, они как бы даже исключительно общечеловечны.

Однако же в «Прощании с Матерой» Распутину уже и этого недостаточно, и вот он спрашивает: «Что должен чувствовать человек, ради которого жили поколения?»

Снова очень просто, снова — житейски речь идет уже о человеке вообще. А это другое дело, что общечеловеческое органически вписывается в конкретность героев, выражается через их сегодняшнее состояние, а в литературном смысле — вписывается в тот сюжет, которым двигается вся вещь.

Здесь это общечеловеческое приходит к нам через мысль о прошлом — так и есть, очень мало мы думаем о преемственности, о тех людях, которые жили когда-то

ради нас, если же и вспоминаем о них, их чувствуем, так только тогда, когда они уходят от нас снова и снова.

Уходят не физически, нет, такой уход совершен ими давно, но они снова и в который раз лишают нас своего участия в нашей современной жизни, своей причастности к нам, того жизненного уклада, который был когда-то ими создан и сформирован, и даже той природы и земли, которую они нам завещали.

Конечно, по науке говоря, это мы уходим от них, а не они от нас, они-то — постоянны, а переменны — мы, но то — по науке. Только наука ведь — это еще не все, не все чувства и ощущения.

В «Последнем сроке» от нас ушла старуха Анна, в «Прощании с Матерой» — Матера, остров на реке Ангаре.

Такова жизнь — она приобретает, но ее не бывает и без потерь никак не менее истинных, чем новые приобретения.

И когда писатель говорит об этих потерях — это вовсе не пессимизм, отнюдь нет, тут должен быть другой критерий: ведь писатель говорит о том, что уходит навсегда, но говорит для тех, кто живет сегодня и кто будет жить завтра, для нынешней и будущей человеческой души, для ее обогащения. Потому что душевное богатство всегда дается и настоящим, и прошлым, и будущим — надеждой на будущее, а чем-нибудь только одним — не дается никогда.

А вместе с этим сказывается и удивительное свойство искусства, литературы — прежде всего: говоря о потерях — о смерти, о драме и трагедии жизни, она способна учинить праздник чувства. То есть драма может быть выражена литературой так, что это выражение будет проникновенно красивым, а красота будет нас пленять, мы будем испытывать в ней очевидную необходимость.

Нет, в жизни все-таки не то... В жизни, когда в ней происходит драма, особенно, когда она касается нас непосредственно,— красивое слово, стиль, слог, оригинальная ассоциация — все это перестает для нас существовать, иной раз все это становится кощунственным.

И происходит это, наверное, потому, что литература — не факт, а постфактум, она всегда не событие,

а послесобытие, касается ли дело веков или дней, а благодаря этому литература из сознания становится осознанием.

Проходит время, в течение которого мы успеваем осознать, что нет жизни с одними только приобретениями, что потери в ней так же неизбежны, и вот уже нам не остается ничего другого, как отдать в них, в этих потерях, себе отчет, осмыслить их.

Отчет не только рассудочный, но и эмоциональный, отчет чувства и переживания.

Только при этом условии потеря может как-то восполниться, стать не только самой собою, но и опытом нашего существования, существования прежде всего духовного.

Вот и потеря Матеры, как ее видит писатель,— тоже опыт, тоже необходимое нам разумение о том, откуда мы родом, и о том — что мы, народ, испытали, какую лепту внесли во всеобщую историю человечества, о чем человечеству можем нынче поведать.

Нет, это не консерватизм — осмысливание и осознание своего прошлого, прошлых потерь и приобретений,— консерватизмом скорее можно назвать нежелание такого осмысливания. Конечно, жить одним лишь прошлым нельзя, наверное, такая жизнь и называется патриархальщиной, но и настоящее без прошлого тоже не настоящее, а только его суррогат.

Кто мы — нынешний советский народ,— если из нашей памяти вычеркнуть Октябрьскую революцию или Великую Отечественную войну? Без них мы уже не мы, а неизвестно кто.

И вот Распутин осознает это «мы», осознает проникновенно.

Когда-то ведь были объяснения всему на свете, было хорошо известно, откуда взялся мир, откуда — люди, о душах умерших человек тоже знал, что они не спускают с него глаз, витая где-то в небесах. Была и обратная связь — при некотором воображении живой мог общаться с мертвым.

Время наивных и неосознанных представлений ушло, но не ушла необходимость в самих представлениях, и кто-то ведь должен создавать новую историю души!

Искусство должно!

Валентин Распутин достиг той художественности, которая позволяет и даже обязывает его заниматься

этим всерьез, это ему дано — такая вот высокая духовность дана ему.

И хотя рано еще, наверное, говорить о какой-то последовательности, которой придерживается Валентин Распутин в своей работе,— все-таки, думается мне, не напиши он старуху Анну в «Последнем сроке» — не было бы и старухи Дарьи в «Прощании с Матерой», да и самой «Матеры» тоже.

Не было бы этого достижения Распутина, в котором он показал себя так широко, в котором существуют и учат существованию нас, читателей, не только отдельные люди, герои произведения, не только семьи, как это было в предыдущих его вещах, но и нечто уже большее — то, что, взятое вместе, составляет насущные проблемы переустройства жизни, что создает действительные и нелегкие для преодоления рубежи между прошлым и настоящим, что заставляет нас, будучи современными, быть еще и историчными. А это — необходимо. Умная и разборчивая память прошлого всегда не только современна, но и своевременна.

В ранней повести Распутина «Деньги для Марии», как теперь видно, уже было заложено начало этого очень серьезного пути. Уже там писатель создал ситуацию простую, конкретно-житейскую, а в то же время такую, которая позволяла ему привлечь сколько угодно и каких угодно персонажей, если так можно сказать, обеспечила неограниченный простор: у продавщицы сельского магазина, по неумению и доброте ее, возникла недостача, и муж ее, тракторист Кузьма, обращается к людям за деньгами в долг. А разные люди относятся к этим просьбам по-разному, и каждый в своем отношении к чужой беде совершенно конкретен и опять-таки закончен.

Вот эта конкретность и достоверность, действительная необходимость каждой детали уже тогда представили нам такого писателя, который вправе показывать нам нашу жизнь, нас самих.

Но дальше дело пошло еще счастливее: писатель этот с каждой новой повестью достигал не только все большей остроты зрения, но и все большего художественного осознания жизни.

Будем же верить в этого писателя.

А теперь остается сказать несколько слов о языке.

Само собою разумеется, что, не будь у Распутина своего языка, не было бы и его, нынешнего писателя.

Да, язык у него свой, неповторимый, а в то же время — глубоко национальный, русский. И существует опять-таки не сам по себе и не приписан к тому или иному герою, чтобы всякий раз создать некую индивидуальность, нет, дело обстоит наоборот: язык его героев — это они сами, это язык всей той жизни, о которой ведает нам писатель, самого ее существа.

Впрочем, говорить отвлеченно о литературном языке нет смысла. Его нужно переживать вместе со всем тем, что мы понимаем под прочтением и переживанием истинно художественного произведения.

1975—1976

ЧИТАЯ ГОГОЛЯ

(Размышления и заметки)

Жизнь гениальных произведений искусства вечна, но даже вечность не избавляет от судьбы, и вот уже произведения эти то предаются пусть относительному, но забвению, то снова вздымаются на вершины славы, пользуются самым пристальным вниманием.

Трудно сказать, почему так происходит, наверное, сегодняшнее существование классики не объяснишь сегодня же,— нужно время, нужно, чтобы день сегодняшний стал обозрим, как день вчерашний, чтобы понять все его перипетии и превратности, его симпатии и антипатии, его, пусть даже и самые надежные, самые постоянные привязанности. Тем более все это существенно, когда речь идет об искусстве или литературе.

Но так или иначе, а за последние годы в мире возрастает и возрастает новая волна интереса к Гоголю, и если, несмотря ни на что, все-таки попытаться что-то сказать по этому поводу, то, мне кажется, дело заключается в том безусловно необходимом внимании, которое современная литература проявляет к своим первоисточникам: очень многое в ней, нынешней, идет от Гоголя.

И это не только интерес исторический, но и злободневный — вопрос в том, что и откуда проистекает в нашем сегодня, что есть не более чем повторение прошлого, а что — новизна, тем более что и новизна тоже ведь имеет истоки,— это вопрос, помимо которого нет и не может быть осмысленного развития и движения в будущее.

Более того — возрождение истинных ценностей прошлого тоже есть новаторство, тоже требует немалых творческих усилий. И вот Гоголь заново и в который уже раз переводится в странах Европы, Америки и Азии, и это вполне естественно, так и должно быть —

совершенствуется техника, и если так можно сказать, то и существо художественного перевода, значит, открываются новые возможности перевести язык Гоголя — язык необычайный, ни с чем не сравнимый и своенравный, крайне упорный в своем стремлении быть только самим собою и больше ничем другим — на языки разных народов земного шара.

В Японии, например, Гоголь стал переводиться сравнительно недавно, гораздо позже Тургенева, Толстого, Достоевского и Чехова, и только после того, как художественный перевод достиг там нового уровня.

Одним из проявлений обостренного интереса к творчеству Гоголя был международный симпозиум весной 1976 года в Венеции «Гоголь и европейская культура», в котором мне довелось участвовать.

Симпозиум носил строго научный характер, однако были и исключения, в частности — мое сообщение, которое не преследовало ничего другого, как только изложить личное восприятие Гоголя.

Свое сообщение я затем расширил до размеров предлагаемой статьи, но она по-прежнему остается личными заметками и размышлениями, ничуть не претендуя на какие-либо строгие выводы или научные заключения.

* * *

Гоголь велик в каждом своем зрелом, то есть в каждом гоголевском произведении.

«Ревизор», или «Мертвые души», или «Игроки», или «Шинель» — это образцы истинно мировой литературы, тот язык мира, на котором человек познает человечество.

В определенном смысле Гоголь, кажется мне, близок другому русскому гению — Менделееву, потому что подобно менделеевской таблице химических элементов он создает таблицу человеческих образов и характеров.

Здесь у него свой метод: он рассматривает то или иное свойство человека — жадность, грубость, хвастовство, беспредельную отвагу или ничтожество,— персонифицирует эту черту в одном образе и соответственно получает Плюшкина, Собакевича, Хлестакова, Тараса Бульбу или Шпоньку.

Конечно, он не закончил эту работу, но, кажется,

никто в мировой литературе не сделал в этом направлении столько же. Даже Бальзак. Даже Диккенс.

И после Гоголя литература создавала галереи бессмертных образов, но это был уже другой этап художественного мышления.

Тут к месту заметить, что искусство гораздо консервативнее науки в том смысле, что оно крепче связано со своими собственными памятниками, чем наука.

Для науки важен прежде всего принцип, а не частность, и вот, создав принцип паровой машины, она забывает первую паровую машину, ставит ее в музей и часто даже предает забвению имя ее изобретателя.

Для искусства его открытия — это великие частности, и Мадонна Рафаэля или «Ревизор» Гоголя — выше принципов их создания. Принцип здесь неуловим, он слишком общ, а частность и конкретность живут веками и не могут быть ни повторены, ни заменены ничем другим.

Тем более консервативно искусство в своей технологии, в способах и методах создания, если так позволительно сказать о его «продукции».

Однако даже среди того ряда гениев, которые создали не только бессмертные частности, но и свои собственные принципы этого создания, Гоголь опять-таки занимает особое место.

Бросим взгляд на его творчество в целом, и тогда мы увидим, что он был предтечей если не всех, так очень многих современных литературных направлений.

Разве «Шинель» не предшествует современному реализму и даже крайнему его выражению — неореализму?

А что такое современный мистицизм в литературе? Это — «Вий» и «Портрет».

Кафке предшествовал «Нос».

Карелу Чапеку — «Ревизор».

Школе исторического романтизма в ее современном виде — «Тарас Бульба». Это отнюдь не рыцарский роман, но в то же время это подлинный романтизм.

Художественно-социологическим исследованиям предшествовали «Мертвые души».

Художественному бытописанию — «Старосветские помещики» и «Коляска» («Коляска» как бы даже предугадывает тех нынешних писателей, которые строят свои произведения не вокруг человека, а вокруг вещи).

Детектив? Это — «Игроки».

Водевиль? Это — «Женитьба».

Эссе? Это — «Выбранные места из переписки с друзьями», «Театральный разъезд».

И даже научному, а в то же время и писательскому исследованию Гоголь тоже отдал дань — вспомним его (незаконченную) «Историю Украины».

Кажется, я не преувеличу, если скажу, что ни один писатель за всю историю существования художественной литературы не угадал столько путей, столько возможностей, заложенных в литературе, сколько Гоголь.

Угадал не теоретически, а реализуя каждую возможность в конкретном и опять-таки бессмертном произведении.

То есть угадал так, как только и может и как должно творцу угадывать искусство.

Это совсем не значит, что все последующие писатели были сознательными последователями Гоголя.

Вовсе нет. В ряде случаев они могли и не знать о нем, но объективно они шли путями, им открытыми.

Отвлекаясь несколько в сторону, я думаю, что сколько-нибудь сформировавшийся писатель вообще не может следовать за кем-то, хотя бы и самым великим своим предшественником, потому что писательское сознание нуждается в убежденности, будто оно неповторимо и что никогда еще в мире не существовало таким, каким существует в нем,— писателе имярек!

Тем не менее, читая Гоголя, не переживаю малообъяснимое ощущение, что, доживи он не до сорока трех, а до восьмидесяти лет, он «исчерпал» бы, он «закрыл» бы собою всю литературу.

Конечно, я чувствую, как жизнь работает на литературу, одаривая ее своим бесконечным разнообразием, калейдоскопической сменой событий, а еще — короткой памятью людей, которые всегда готовы принять за оригинал все основательно забытое старое, тем более если это старое будет высказано новыми словами.

Но все равно единственно, что спасает меня от этого ощущения гоголевской безмерности и бесконечности почти в математическом смысле,— так это история русской литературы. Точнее — история ее классики, в которой даже Гоголь — не целое, а только часть целого.

В историческом плане эта классика явилась России и миру в одно безусловно чудесное мгновение: год рож-

дения Пушкина — 1799, Гоголя — 1809, Белинского — 1811, Гончарова и Герцена — 1812, Лермонтова — 1814, Тургенева — 1818, Некрасова, Достоевского — 1821, Островского — 1823, Салтыкова-Щедрина — 1826, Толстого — 1828.

Одна женщина могла бы быть матерью их всех, родив старшего сына в возрасте семнадцати, а младшего — в сорок шесть лет.

Необыкновенное явление, вероятно, можно объяснить несколькими обстоятельствами: пробудившимся самосознанием России в войне 1812 года, а вслед за этим — социально-демократическим движением декабристов, которые не только воодушевляли новорожденную литературу своими идеями, но и принимали в литературной жизни того времени самое непосредственное и живое участие, и, наконец, тем, что очень условно можно назвать определенным стечением обстоятельств культурного развития России.

Такие писатели, как Пушкин, Гончаров, Тургенев, Толстой, кроме исключительной природной одаренности, были, вероятно, и наиболее образованными людьми своего века. Воспитанные на европейской, прежде всего французской, культуре, они знали ее и ориентировались в ней, как в своей собственной, и все-таки — это вполне очевидно — на неродном языке, на неродной почве они не создали бы своих творений. Только тогда, когда эта высокая и даже изысканная культура пришла в непосредственное соприкосновение с живой и самобытной натурой и культурой России, с бурным процессом развития национального самосознания времен наполеоновских войн, тогда-то и случилось чудное мгновение рождения русской классики.

Гоголь отметил это так:

«Счастье комику, который родился среди нации, где общество еще не слилось в одну недвижную массу, где оно не облеклось одной корой старого предрассудка, заключающего мысли всех в одну и ту же форму и мерку, где что человек, то и мнение, где всякий сам создатель своего характера».

Итак, Гоголь и в этой плеяде занимал особое место, хотя бы уже по одному тому, что еще при жизни обозначил период, названный затем гоголевским периодом русской литературы.

Что он внес, этот период, в историю литературы, чем он был — говорило и еще не раз скажет литературове-

дение, мне же больше всего дороги два гоголевских начала — общее, то есть то разнообразие жанров и направлений, которые Гоголь открыл прежде всего для русского, а затем и для мирового художественного слова, и частное специфическое, под которым я понимаю и чувствую необычайное, до боли заостренное критическое отношение к действительности. Это не лобовая критика и даже не всегда сатира того типа, который был создан великими французскими сатириками, а позже и на русской почве Салтыковым-Щедриным, это неповторимое сочетание реализма и язвительной гиперболы. Это почти повседневные Хлестаковы и персонажи «Мертвых душ», наделенные в то же время убийственной характеристикой шаржа. Гоголю было дано то, чем не обладали другие сатирики,— он полностью умел подчинить сатире не только сарказм, но и целую гамму чувств и настроений, и вот его Хлестаков и глуповат и жалок одновременно, и лукав и наивен одновременно, и, может быть, это и есть самое главное — он одновременно гиперболичен и реален, даже — повседневен. И воспринимаешь его и как действительного, конкретного человека, и в то же самое время — как символ, как обозначение вполне определенной психологической группы человечества.

После Гоголя остались литературные пути, им открытые, но сама-то литература претерпела изменения, стала более импрессионистской, не в смысле конкретного направления, но и в другом, гораздо более широком смысле,— она стала ближе к личности писателя, а в читателе она стала искать участника и собеседника.

И уже не столько факты и события, сколько отношение писателя к этим фактам становится пафосом литературы, а факты начинают все тише говорить сами за себя. Возможно, это происходит потому, что человеческой жизни на земле становится все больше количественно, что жизнь все усложняется качественно, что непосредственное ви́дение факта вытесняется ви́дением техническим, сообщениями телеграфных агентств, а в наше время — экраном телевизора, и вот уже фактов и событий человеческого существования такое множество, что они претерпевают инфляцию. Постепенно мы теряем убеждение, свойственное самоуверенному XIX веку, в том, что чем больше нам известно фактов жизни, тем скорее можно объяснить жизнь в ее целом.

Ведь наш запас информации стал в сотни раз больше, а объяснение целого отнюдь не продвигается вперед в той же пропорции.

Вот и полная персонификация человечества в художественных образах, подобная менделеевской таблице элементов, не удается до конца: во-первых, похоже на то, что она уже вся заполнена, все клетки заняты, а во-вторых, объект персонификации — человек все менее поддается ей, без конца усложняясь в различных комбинациях, когда ни одну психологическую черту нельзя назвать главной и определяющей.

В образе, в самой ситуации, в событийности и сюжете художественного произведения уже почти неизбежно присутствует некая вторичность, соответствующая вторичности и повторности нашей жизни и жизненному опыту поколений. Присутствует «главность второстепенности», о которой тот же Гоголь, кажется, вовсе не знал, не видел ее, а значит, и не ведал. Ведь все, к чему он хоть однажды прикасался, тотчас становилось безусловно первостепенным — будь то подвиг Тараса Бульбы или нос майора Ковалева.

Тонко, остроумно, чертовски ловко построен сюжет «Игроков», но дело далеко не только в этом.

Ихарев говорит:

«Ведь вот называется это плутовством и разными подобными именами, а ведь это тонкость ума, развитие».

Кто это говорит? Плут и мошенник, когда ему везет.

Но вот ему же не повезло и: «Черт возьми! Такая уж надувательная земля!»

Да разве это только Ихарев? Если бы...

Но точно так же мог сказать и в том и в другом случае и Хлестаков, и городничий, и без малого все персонажи «Мертвых душ» во главе с Чичиковым, а за ними, пусть с другой интонацией, с другим выражением лица, но даже и Раскольников Достоевского.

Потому что здесь — кредо всех на свете игроков того мира, в котором ложь выдается за правду, правда за ложь.

В силу перемен, внесенных в литературу XIX веком, расстояние от Шекспира до Гоголя представляется мне значительно меньшим, чем от Гоголя до Достоевского и — далее до Чехова.

Гоголь был яркой попыткой литературы понять глазами, видением, природным и вполне естественным

способом все, что нужно и необходимо для человечества. При этом он приравнивал ви́дение к открытию, а открытие — к исчерпывающему знанию.

Быть может, никогда и ни у кого не было столь же зоркого взгляда, как у Гоголя.

Он видит характер так, что это уже не только характер, это еще и способ существования определенной группы людей.

Существования по Хлестакову, по Чичикову, по Манилову, по Шпоньке.

Пожалуй, ни одному ученому или писателю не удалось в такой же мере проследить эту связь, так объединить характер с поведением, с мыслью, с жестом, со случайным, казалось бы, возгласом человека.

Как у Дарвина: дарвиновский «вид» — это ведь не только его морфологическое и даже физиологическое описание, это и способ жизни того или иного существа.

А способ такого «объединительного» видения — это принадлежность XIX века.

Пусть приблизительно, однако же мы все-таки можем связывать творчество великих писателей с той или иной областью умственной и эмоциональной деятельности человека. Жюль Верн — это фантазия, Флобер — чувство, Толстой — философия, Достоевский — психология, Франс — рассудок, а что такое Гоголь?

Гоголь — это наблюдательность, это — зрение. Это — воображение, но опять-таки через зрение.

Он исследователь, натуралист, может быть, натурфилософ, опять-таки сын своего века. Двух величайших естествоиспытателей, двух ровесников 1809 года рождения дал XIX век — Дарвина в науке, Гоголя в искусстве.

Главный инструмент и метод его искусства — зрение. Не фотографичность, а именно весь аппарат зрения на первом плане. Даже мистику он создает в зрительных образах.

«Воображение мое до сих пор не подарило меня ни одним замечательным характером и не создало ни одной такой вещи, которую где-нибудь не подметил мой взгляд в натуре».

Его девизом было: «Вижу!»

Вижу — это значит: понимаю.

Вижу — и это значит, что вижу аксиому,— ведь теорема еще не до конца и не сразу видима!

Вижу сам и не ищу соглядатаев и свидетелей. Какие для аксиомы нужны свидетели?

Если у Толстого мы сначала как бы чувствуем Бородинское сражение и его героев, а потом уже видим их, то сражение запорожцев с ляхами — это картина, это полотно живописца, и только через него к нам приходят и чувства и ощущения.

Живопись здесь — и на всем поле боя, и в отдельном ее эпизоде, хотя бы и драматически личном.

Повсюду.

Через живопись Гоголь подчиняет нас и даже как бы гипнотизирует.

«Он был и мертвый прекрасен: мужественное лицо его, недавно исполненное силы и непобедимого для жен очарования, все еще выражало чудную красоту; черные брови, как траурный бархат, оттеняли его побледневшие черты. «Чем бы не козак?» — сказал Тарас: «И станом высокий, и чернобровый, и лицо как у дворянина, и рука была крепка в бою! Пропал! пропал бесславно, как подлая собака!»

И вот уже картина сыноубийства Тарасом Бульбой Андрия для нас не столько ужасна, не столько трагична, сколько живописна: «черные брови, как траурный бархат...» — это и есть магия гоголевской живописи.

Живописцы в подобных сценах — трагедия убийства Грозным сына, трагедия, возникшая между Петром Первым и наследником Алексеем,— не добивались такой же вот картинности, оставляя трагедию трагедией. Но Гоголь вершит судьбы своих героев сам по себе и неожиданно любуется «бархатом бровей» в трагедии.

А если вспомнить миргородские пейзажи?! А портреты Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича? А Башмачкин Акакий Акакиевич с новой шинелью на плечах? Что это, как не живопись?!

Картины Гоголя не только живописны, они же и озвучены. Им свойственны звуковая гамма, удивительно четкий ритм.

Такова даже лирика Гоголя — она всегда зрительна, всегда живописна и картинна и, как это ни странно,— всегда гиперболична.

Она лишена элегичности, интимности, изящности, тонкой вдумчивости — она эпична и грандиозна.

Трудно обнаружить у кого-то еще лиризм той же природы, разве только у Гомера, а позже — у Байрона,

но Гомер был мифологичен, и этим все объясняется, а Байрон вовсе не лишен был интимности.

Чаще всего Гоголь вот так грандиозно-лиричен в описании природы; он превосходит самого себя, когда рассказывает о том, как чуден Днепр при тихой погоде, и яркость его красок и резкость картины снова ослепляют нас, и вот уже мы восторгаемся своим ослеплением, и вот мы верим, мы убеждены, что в искусстве должна быть и такая лирика, бесподобно яркая и как бы даже громоподобная.

Лицо природы для Гоголя подобно лицу почти неестественно красивой женщины — те же краски и та же предметность, и вот уже чудная римлянка оборачивает к случайному прохожему «снег своего лица», а река у него рыдает, словно мать, провожающая на войну своих сыновей.

Гоголевский художественный взгляд — это взгляд преднамеренный, он выхватывает из действительности только одну какую-то сторону, из этой стороны — одного какого-то человека, из этого человека — одну черту его характера и лица, одну привычку и один жест, одну интонацию его голоса и слова только одного какого-то свойства...

Такова эта неповторимая, невероятно гиперболизированная зоркость, навсегда причислившая Гоголя к реалистам, возвысившая его до создателя реалистической школы в русской литературе.

Есть над чем подумать по поводу происхождения реализма в искусстве.

Она потом немало изменится, эта школа, она будет претерпевать эволюцию вместе со всем тем, что вкладывается в понятия реальности и реализма, но ее удивительный исток, ее почти нереальное начало никогда не потеряют своего величия и явственного влияния на все последующие поколения писателей.

И наше прочтение гоголевской реальности — тоже совсем иное, чем толстовской или тургеневской.

Читая Толстого, мы вслед за ним идем к созданию все более и более полной картины или портрета, последовательно суммируя детали, и вот достигаем общего и целого, достигаем Пьера Безухова или Анны Карениной, ради которых писатель писал, а мы его читаем, достигаем того именно удовлетворения, которое испытывает человек от гармоничной соотнесенности искусства с действительностью.

При чтении Гоголя мы чуть ли не с первых строк сталкиваемся с этим целым, уже в первом знакомстве с нами Хлестаков — это Хлестаков, и только он, какой он есть, таким он и будет до конца всего произведения, и Собакевич — сразу же только он, и Башмачкин, и Тарас Бульба, встречая своих сыновей, встречается и с нами — сразу весь, без остатка, без скобок, а все, что происходит дальше, происходит не столько за счет развития его характера, сколько в развитии ситуации, в действиях, которые в этой ситуации совершает однажды данный нам в целом художественный образ Тараса.

И для того чтобы от гиперболизированного образа, обозначенного «Хлестаков», перейти к реальной действительности, нам, по существу, надо этот образ не создать, а хотя бы частично разрушить, так как мы не видим его ни в одном из реальных людей, окружающих нас, но во многих угадываем черты хлестаковщины, то есть только бóльшую или меньшую часть, больший или меньший осколок Хлестакова.

Не стремился Гоголь и к созданию достоверно точного пейзажа, воодушевляющего нас именно своею художественной точностью и той деталью, которую мы сами, без помощи писателя, никогда не отметили бы, не стремился он и к безусловно действительному человеку, так как этот человек для него не более чем сырье, аморфная масса, которую ему — опять-таки при помощи своего необыкновенного зрения и своей пластики — предстоит переработать в образ.

Как в природе: редко-редко мы встретим в ней, в очертаниях ее предметов и картин геометрическую фигуру — треугольник, четырехугольник, квадрат, разве только в микромире кристаллов, а между тем именно эти фигуры, как мне кажется, надежнее всего другого вживаются в мою память, в мои представления об очертаниях окружающего мира. Именно они являются для меня исходными элементами всякого пространства и пространственности. Так же и гоголевская геометрия: ее фигуры остро зримы, они словно способны пробиться сквозь любую слепоту. Они очерчены прямыми и четкими линиями, а наполнены до того яркими красками, столь колоритны, что, глядя на них, иногда как бы даже зажмуриваешься и сдерживаешь дыхание. Это — великолепное сочетание краски с контуром.

Ни Тарас Бульба, ни Хлестаков, ни майор Ковалев,

ни Башмачкин не задумываются над самими собой «изнутри». Такая задумчивость не свойственна законченным гоголевским героям, и вот уже Гоголь не может выразить свои собственные сомнения и смятения через смуту их души. Его душа — только при нем, она — его собственная ноша и собственная судьба, в которой заказано принять хоть какое-то участие героям и образам, им же созданным.

Может быть, только «Портрет» составляет некоторое, как бы автобиографическое, исключение, и то едва ли. Ведь художник Чартков продает душу золотому тельцу, а собственно гоголевской душе соблазн такого рода совершенно чужд.

Скорее «Портрет» лишний раз подчеркивает живописную природу Гоголя — даже здесь, даже в мистике, он верен себе хотя бы уже в том, что главный его герой художник, а все то мистическое, что с этим художником происходит,— отражается опять-таки в зримой картине — в портрете, который он пишет.

Гоголь видит первым, он первым открывает и говорит: «Теперь смотрите вы!» А больше — никаких комментариев, никаких объяснений и поисков контакта с нами, читателями. Более того, даже открытые им характеры и те не нуждаются в дополнительных сведениях, в каких-то своих предшественниках или прообразах.

Посмотрите, насколько волнует литературоведов и читателей вопрос о том, кто был прообразом Татьяны Лариной или Наташи Ростовой? А кто был прообразом Собакевича? Или — Башмачкина? Или — Плюшкина?

Собирательность, обобщенность и сама природа этих образов настолько исчерпывающа и очевидна, что отпадает всякая необходимость в отыскании дополнительных деталей их создания, происхождения и подтверждения. Образы, созданные Гоголем,— это ведь памятники, а памятники не нуждаются в подтверждениях своего существования, а подчас как бы даже и абстрагируются от своих создателей. Так ли уж много теряют творения Шекспира оттого, что мы ничего не знаем о Шекспире? А может быть, они — в каком-то конкретном случае — от этого еще более выигрывают? Еще более становятся памятниками?

Гоголь, если на то пошло, последний в мире писатель-мифолог и, конечно уж, самый крупный мифолог русской классики, может быть, и единственный.

Здесь, наверное, к месту заметить, что каждому поколению весьма желательно иметь своих Шекспиров, каждое поколение справедливо полагает, что событий, выпавших на его долю, более чем достаточно для творчества десятков гениев, но не совсем справедливо при этом забывается, что не одни только события требуют новых гениев, их требует человек каждого нового поколения, если оно приходит с новыми идеалами и новыми средствами достижения этих идеалов, с новыми правилами и с новой практикой общежития.

Но этот процесс изменения человеческой природы столь медлителен, что приходится даже удивляться, что он — не так уж и редко — создает гениев.

Выше речь шла относительно гоголевской таблицы элементов, элементов не химических, а человеческих, и здесь должно быть еще одно примечание: его элементы отнюдь не элементарны и не обнаружены в природе просто так, по случаю и удаче наблюдательного глаза, нет, они выстраданы их творцом через чувства, ощущения и понятия самые разные. И самые глубокие. И если это был смех, то, как теперь уже знает весь мир,— чаще всего смех сквозь слезы.

Другое отрывочное впечатление: многие писательские поколения бьются над тем, чтобы как-нибудь чуть ли не любыми средствами, но уйти от Шекспира, Флобера, Мопассана, Толстого и от Гоголя — особенно. Уйти, освободиться от порабощения ими.

И все-таки при всем том, для самого-то Гоголя остался как бы запретным и закрытым один огромный, если так можно сказать, литературный отсек, одно, однако же необъятное, направление, называемое романом XIX века.

Вот в эту огромную страну нога Гоголя не ступала, сюда не направилась его мысль, романов он не писал. И сюда-то и устремилась после Гоголя литература. Было бы преувеличением сказать, будто это стремление, это нашествие писателей в литературный Клондайк произошло как раз потому, что там не было ни одного гоголевского следа. А — все-таки?.. Может быть, не исключено, что многие выдающиеся романисты не чувствовали бы такого простора, таких возможностей, если бы в зону романа первым вступил Гоголь.

Почему роман оказался чужд Гоголю?

Вернее всего искать ответ в самом творчестве Гого-

ля, еще раз вспомнив, что этому творчеству присуще и что — нет.

Вспомним, что отнюдь не характерны были для Гоголя образы-синтезы, образы-сплавы различных человеческих свойств и качеств, и это вполне могло определить для него роман как зону запретную.

Сколь бы ни был могуч гений, познающий жизнь, эта все более и более быстротекущая жизнь, очевидно, оказывается еще могущественнее! И вот она, все усложняясь, достигла XIX века, и человеческие характеры усложнились тоже; а для того чтобы сыновья и дочери этого века вошли в искусство в качестве художественных образов, понадобились другие художественные средства, не те, которыми были созданы Отелло и Дездемона, и даже не те, которыми создавались Плюшкин, Собакевич, Тарас Бульба.

У памятников — своя собственная жизнь, в которой они должны оставаться самими собой, и никакая попытка одеть памятник в современные одежды к добру не приведет.

Как только на грудь рафаэлевской Мадонны умелый XIX век повесил бы свой, пусть и малозаметный, ярлычок — брелок-часы или еще что-то другое,— Мадонна покинула бы век XVI, но и современностью тоже не стала бы.

Но XIX век уже не мог представить своих героев без часов, без других привычных ему атрибутов, а главное, без своей собственной усложненной психологии, которую он затем имел бы возможность без конца анализировать и разлагать на составляющие.

Поэтому он, исключая Мадонну из живой, сегодняшней, жизни, сослал ее в музей. А что было делать иначе? Не мог же этот век потерять Мадонну только потому, что она не была его собственностью, не была ему современна?

Вот так же и с гоголевскими героями: с самого начала было очевидно, что любая попытка их переодеть или хотя бы приодеть — ни к чему не приведет.

Гоголь был историчен уже в современности, и его герои рождались памятниками, непревзойденными символами тех или иных качеств человеческой природы, реальным же людям не соответствовали, и в толпе современников, жителей XIX века, их нельзя было обнаружить, эти герои миновали стадию обыкновенной, как у всех, жизни.

Роман же ее ничуть не миновал, наоборот, он ее, обыкновенную, весьма и весьма ценил, не мог без нее обойтись, он гордился ею, исходил из нее, и вот мадам Бовари и Пьер Безухов сначала еще поживут, как все, как будто бы даже затерявшись в толпе соотечественников и современников, чтобы те узнавали их в себе и себя в них, и только спустя время, и то не совсем до конца, они преобразятся в памятники.

И еще одна причина, кажется мне, препятствовала вступлению Гоголя в область романа: Гоголь миновал женский характер во всей его глубине.

Присмотримся: у него существует одна-единственная женщина — надменная красавица с одним-единственным чувством превосходства своей красоты едва ли не над всем окружающим миром,— та гордая полячка, которая погубила Андрия, сына Тараса Бульбы, и та римлянка, которой, видимо, предстояло сыграть не менее роковую роль, если бы «Рим» был закончен.

Есть, правда, еще и Солоха, и женские персонажи «Ревизора», и украинские вишневоглазые дивчины, но все они, как мне представляется,— не в счет, не в серьезный счет, а главное, они тоже обладают лишь одной какой-то человеческой особенностью: либо глупы, как городничиха-мать и городничиха-дочь в «Ревизоре», либо добры, как Пульхерия Ивановна, либо вообще существуют лишь потому, что при каждом чубатом парубке должна существовать дивчина. Женский персонаж для Гоголя — персонаж всегда второстепенный, то и дело необходимый лишь постольку, поскольку без него нельзя строить сюжет. Детей же в мире Гоголя — столь разнообразном и многоликом — и вовсе нет. Разве только дворовые мальчишки и девчонки на побегушках. Дети не обременяют его героев, не усложняют они своим существованием и авторской задачи, всегда столь определенно и четко выраженной. И действительно, их и представить, гоголевских героев,— например, Чичикова, Хлестакова, Башмачкина — любящими мужьями и отцами просто невозможно, и вот они, один за другим, холостяки, а женщины — пусть и необходимый, но только атрибут этого мира, частная его принадлежность.

Но если мужчина еще может существовать, обладая лишь одним каким-то качеством — качеством Ноздрева, Манилова, Хлестакова, Остапа Бульбы, то однозначная

женщина — это в восприятии людей XIX века уже не женщина; для этого века, кроме любовной страсти Джульетты и Дездемоны, кроме идеального лика Дульцинеи, уже нужна была любящая женщина-человек — Татьяна Ларина, мадам Бовари, Анна Каренина, в их реальной, а не только искусственно-любовной жизни, с их материнством, с их повседневным бытом.

Роман XIX века сумел вписать страсть в быт, соединить их, открыть новое человечество в лице женщины, своей современницы, он и возник-то благодаря этому открытию.

Должно быть, здесь же лежит и еще одно свойство гоголевского творчества, которое уже было отмечено выше: оно лишено интимности. Гоголь никогда не ищет в читателе собеседника, никогда не обращается к нему с намеком и просьбой поразмыслить вместе над тем, что в мире хорошо, а что — плохо, вместе узнать «что есть что»? или «кто есть кто»? Да и какое может быть собеседование с гиперболой? Ее можно либо понять, либо — не принять, но найти с ней общий, тем более интимный язык — нельзя.

Гоголь не только не ищет взаимопонимания у читателя, но и сам-то читатель ему, кажется, не нужен, не с руки. (Хоть наедине он мучительно ищет этого понятливого и чуткого читателя.)

Гоголь — на редкость деспотический писатель, он все знает сам, все чувствует сам, все произносит сам.

Читатель должен молчать как рыба, а говорить будет он, причем своим собственным языком, хотите — понимайте его, хотите — нет, со своею же системой знаков препинания, со своей ни на что не похожей расстановкой знаков вопросительных и восклицательных; только ему одному известен предмет разговора, только он один способен удивляться, негодовать, восторгаться, а дело читателя — следовать за ним по пятам; только он один определяет тот ритм и тот марш, под который ведется повествование — частоту и силу ударов барабанных палочек, только от него одного зависит интонация этого повествования — то ли насмешливая, то ли возвышенная, то ли трагическая. Это опять-таки его личное и произвольное желание, захочет — и тут же подберет к «Портрету» другой аккомпанемент, и тогда — не удивляйтесь, вы и на удивление не имеете ни малейшего права! — тогда «Портрет» станет комедией или водевилем, а «Женитьба» мистическим этюдом.

А если даже и встретится где-то прямое обращение писателя к читателю, и даже уважительно-вежливое,— не верьте! Писатель при этом на вас и не глядит, он глядит только в сторону предмета, о котором желает говорить, он с вами не собеседует, а ведет вас за собой.

И еще: в отличие от других классиков, от классиков-романистов прежде всего, Гоголь никогда не говорит о счастье. Этого слова у него нет. Этого понятия — тоже.

И не в том даже дело, что его герои счастливы или несчастливы, а само понятие счастья для них слишком неопределенно, разве только осуществление мечты Акакия Акакиевича о новой шинели делает его на миг счастливым. Но не более того.

Между тем русская классическая литература не обходилась без этого понятия, оно было для нее как бы внутренней движущей силой. Достоевский видел счастье в очищении души. Толстой — в полноте и естественности чувства. Короленко — в благородстве натуры. Пушкин — как бы даже и овеществлял счастье, и сам чувствовал его в своей крови. У Чехова счастья нет, однако же ни у кого другого герой так настойчиво и глубоко не осмысливает понятие счастья, так не страдает оттого, что его нет, так страстно не убежден, что оно должно быть.

Но *счастье* и *Гоголь* как будто даже несовместимы, и хотя у нас ни на минуту не закрадывается сомнение в том, что все, что им сделано,— сделано ради человека, ради человечества и его судеб, тем не менее никак нельзя уловить,— что же Гоголь понимает под словом «счастье»? Как сам его чувствует?

Может быть, это опять-таки объясняется его склонностью к сатире и гиперболе, которые обладают какой-то своей собственной философией и чужды этой категории?

Но может быть и по-другому.

Век XIX, самоуверенный, ощущающий приход науки как приход нового Христа-спасителя, все-таки сомневался в себе и своем будущем такими умами, как Гоголь: спаситель мог оказаться наделенным апокалипсическими чертами.

А это — тот рубеж, достигнув которого гений уже как бы лишается понятия счастья. В мировом искусстве без особого труда можно различить этот священный орден прорицателей и всех тех, кто к нему принадлежал. Гойю, например. Или — Босха.

Может быть, и так.

Временами Гоголь приобщен не столько к литературе, сколько непосредственно к ее задаче ви́дения человека. Он полностью подчиняет себе, а точнее — этой литературной задаче, не только образы, но и весь материал произведения, у него нет ни слова за ее пределами. Эта безусловная подчиненность свойственна прежде всего такому жанру, как сатира, но Гоголь перенес ее и на всю свою прозу.

Искусство автора подкупать читателя сомнениями не только своих героев, но и своими собственными — это искусство совершенно чуждо Гоголю. Нигде, никогда и ни перед кем не идет Гоголь на уступки, у него нет желания подглядеть за читателем: как тот смотрит на автора, на все то, что и как автором делается? У него все — текст как таковой, ничуть не нуждающийся в подтексте, в разговоре неслышном. Он — только громогласен. Конечно, он и сомневается — но опять-таки один, без нашего участия.

И не подумайте противоречить, не поверить ему, когда он утверждает, будто редкая птица долетит до середины Днепра!

А если он смешивает русские и украинские слова — тоже не вашего ума дело, и это опять-таки совсем не то, с чем мы встречаемся хотя бы у Лескова, который, тоже любя словотворчество, каждый раз объяснял нам свои выдумки, согласовывал их с нами.

Здесь — никаких согласований!

Если он назовет кого-то непотребно — каких-то людей, какую-то нацию, какое-то государство, какую-то эпоху — ему и в голову не приходит, что кто-то может с ним не согласиться, а то и обидеться.

Гоголь нигде и ни на шаг не переходит и того рубежа, за которым роли меняются и действующие лица начинают управлять автором. Уж у него-то Татьяна Ларина не «выскочила» бы замуж неожиданно для автора. Всюду он остается гроссмейстером, а его герои — шахматными фигурами.

Только в конце, слишком уж поздно, он не выдержит и обратится к читателю с мольбой и призовет его в свидетели самому себе, а в течение всей своей творческой жизни этот невысокий, нездоровый человек будет выглядеть богатырем, и море ему по колено, и громы и молнии метать ему запросто.

Он жил отшельнически, но никогда не снисходил до

признания собеседника, до того, чтобы распахнуться перед ним, сказать о самом себе, об уделе одиночества, и вот можно подумать, будто день и ночь он проводил среди самых разных людей, и люди стекались к нему с разных сторон — ревизоры, городничие, помещики, шулера, чиновники, художники, пасечники, бурсаки, мужики — все-все.

Он жил вдали от родины, но писал так, будто ежедневно поутру вдыхает аромат родных полей с крылечка своего домика — где-то в излучине Днепра, а то — мчится из конца в конец родной страны на тройках по бесконечным ее просторам.

Он обладал, говоря современным языком, минибиографией, а можно подумать, будто в жизни его события следовали одно за другим, причем самые необыкновенные.

Он, человек глубоко религиозный, то и дело говорит как истый материалист, изучая общество, реальный быт, реальные ситуации. Даже там, где он мистик, его мистика выглядит словно элементарная реалия: майор Ковалев потерял собственный нос и, как положено, обращается в полицейский участок — не заявлял ли кто-нибудь о находке чужого носа? В участке (и вообще никто и нигде) не удивляются происшествию, все видят в нем хоть и неприятный, но реальный и даже заурядный случай.

Непрактичный в жизни человек, он в своем творчестве обставляет дело с покупкой мертвых душ так, как не сумел бы обставить его ни один пройдоха юрист; он обманывает городничего и целый город столь нахально, дерзко и самоуверенно, как не смог бы обмануть величайший аферист и повеса; он так устраивает карточную игру, что позавидовал бы самый отъявленный и прожженный шулер; он так воюет против ляхов, как не воевали и самые легендарные герои.

Он весь исходит от противного, он в пафосе противопоставления своего искусства самому себе, житейскому, весь в том гиперболически-выразительном мире, которого лишен реально, а все-таки видит его, как никто другой, и весь в той судьбе, которая уже нетерпеливо ждет его у камина — в этом камине он сожжет свои рукописи. Вместе с ними — себя.

Верующий, он как подлинный сын своего уже достаточно просвещенного века жаждет знаний и фактов и в письмах к матери, в семейную усадьбу, умоляет:

факты, факты, факты?! Случаи? Хотя бы самые мелкие события? Сообщите, ради бога, иначе — о чем же и как буду писать?

В этом требовании он, кажется, последовательнее и настоятельнее, чем другие великие художники, которые жили не только в одно время с ним, но и после него.

У тех всегда был еще и другой резерв — всегда присутствовало их «я» либо как собственная биографическая величина, либо — в проповеди читателю, либо — в виде того поиска, который можно назвать поиском собеседования с читающим человечеством.

Да так оно и есть: природа гоголевского гения — это открытие как таковое, а не истолкование и объяснение открытий.

Дважды он отступил от этого глубоко свойственного ему принципа: в самом начале своей деятельности, когда с университетской кафедры пытался объяснить исторические факты, и в самом конце жизни, когда решил возвести в философию факты искусства, которые сам же и создал,— свои произведения.

Если в первый раз эта ошибка была счастливой, так как отвела его с несвойственного ему пути, то во второй она оказалась для него гибельной: слишком многое им было создано, чтобы все это осмыслить от начала до конца, все вписать в окружающий мир, всему дать цель и назначение, все понять и оправдать.

Может быть, это и вообще не в природе человека, хотя бы и величайшего,— объяснить все созданное и сделанное им.

Может быть, это связано и с тем, что в дальнейшем человечество все определеннее будет подразделяться на тех, кто делает, и на тех, кто осмысливает содеянное.

Конечно, именно в искусстве, а среди искусств прежде всего в литературе, живет стремление объединить эти два начала, но и ее возможности, кажется, не сильнее природы вещей. И здесь, и в этом тоже, гоголевская судьба вновь и вновь символична.

И чем больше гений скажет о мире, тем больше мир невысказанный теснит его. Не только теснит, но и вытесняет из жизни. Тем более когда этот гений творит в мире искусства.

Гению науки, изучающему материю, такое вытеснение не угрожает уже потому, что его научная цель всегда имеет отчетливые границы, а значит, всегда

может быть установлена и сформулирована в виде того или иного, пусть очень существенного, но в конце концов все же более или менее частного закона природы — закона Ньютона, закона Паскаля и, наконец, периодического закона Менделеева.

Вообще XIX век — открыватель великого множества систем устройства мира, устройства мира неорганического, мира животных, мира человеческого. Более того, этот век и самый плодовитый и многообразный по части выдвижения гипотез и систем переустройства мира, но даже и эти системы переустройства, по крайней мере в представлении их авторов, всегда с чего-то начинаются и чем-то, каким-то определенным достижением, должны быть завершены. Для гения искусства, вступающего в сферу нравственного познания человека и человечества, таких границ нет, и поэтому даже посредственный писатель непосредственно сталкивается с вечной и безграничной проблемой смысла жизни.

Вообще жизнь Гоголя-человека, несмотря на свою краткость, а может быть, и в силу именно этого, словно в малой капле отразила судьбу искусства: его яркое, радостное и уверенное появление на свет, его глубокую и глубочайшую зрелость, и, наконец, ту его трагедию, к которой глубина нередко приводит. Приводит уже не в силу событий внешних, а событий человеческой души.

И Гоголь, как будто отстраненный от своего века, от всего, что происходит в России, уходит в римское уединение, а по пути в Европу и обратно видит ее совершенно несвойственным ему взглядом, как бы очень изредка, очень издалека и сквозь матовое стекло. Европейские события, хотя бы тот же 1848 год, не задевают его всерьез. Он умел поразительно зорко смотреть, но умел и не видеть окружающего.

А происходит в нем иное — душевное — событие, иное пристрастие к своему веку, иная причастность к своему времени, и выражается все это в том, как Гоголь относится к искусству.

XIX век и теоретически и практически искал в истории человечества свое собственное, очень значительное, место, и все, что оставалось за пределами этого поиска, все, что не принимало этот поиск близко к сердцу, теряло в его глазах почти всякую ценность.

Русская же литература этого века, молодая, по сути дела младенческая, чуть ли не с первого своего дыхания устремила себя в этот поиск.

Если способ видения мира, как и способ создания гротескных художественных образов, приближает Гоголя к Шекспиру, то сама цель искусства, само его назначение продиктованы Гоголю XIX веком: он видит в искусстве практическое средство переустройства мира.

Гоголь, в жизни которого в конце концов не оставалось ничего, кроме яростного художничества, ничего житейского, испытал искус все того же быстрого, энергичного и прижизненного переустройства мира, он был для него неоспорим, и собственное моральное и тоже переустраивающее влияние на мир было обязательным условием его существования.

Он был уверен, что портреты человечества, созданные им, должны ужаснуть всех, всех подвергнуть очищению, всех — сквозь смех и слезы — наделить нравственностью, изменить к лучшему.

Ужаснуть людей ему удалось, и слезы сквозь смех тоже были, но реального результата, ради которого все это созидалось, все-таки не было.

И чем совершеннее и глубже становилось его искусство, тем более необъяснимым и трагическим представлялось отсутствие искомого результата.

За отсутствием же его наступало полное отчуждение и одиночество. И тут вступает в силу как бы сумма всех возможных и даже невозможных одиночеств, возникших в разное время, развивающихся каждое посвоему, накопленных за всю его жизнь.

От героев, созданных его же гением, он отчужден все той же идеей преображения человечества. Так как они, эти герои, не столько уже люди, сколько памятники и предметы укора и назидания для людей, очеловеченные фигуры, то и сам автор не в состоянии вступить с ними в обычные человеческие отношения, собеседовать, разделить с ними свои муки и сомнения. С Чичиковым, что ли, это можно сделать? Или с Хлестаковым? Или с Перерепенко? Исключение составит, пожалуй, художник Чартков, но и тот поможет умереть. А с кем же жить? С Хомой Брутом? Можно, но только — один день. Пронзительно-яркие фигуры, они теперь пронзают и ослепляют своего творца, но ведь они при этом не исполнили в его глазах своего конечного назначения, не достигли поставленной цели и результата, и тогда их пронзительность становится непонятной ему, приносит нестерпимую боль.

От мира окружающих его реальных людей он отчужден этими слишком яркими образами, ко всей реальной действительности у него не может не быть отчуждения, если он, художник, гений, преобразователь, так и не преобразил ее, так и остался не понятым ею, так и не понял ее в той мере, к которой всю жизнь стремился.

И от бога он, верующий, отчужден все той же реальностью, в той же мере, в которой реальность отчуждена от него.

Наконец, от себя самого, от своей личности он отчужден сознанием собственного житейского несовершенства. Он узнал об одиночестве все. Жизнь прожита только в творчестве. Теперь одиночество уникума, который не повторил никого, которого не повторит никто...

В этой трехмерной и более отчужденности и в этом одиночестве он и создает, пожалуй, самые лично-трагические произведения, какие только знала история литературы: «Исповедь» и «Выбранные места из переписки...». Тогда-то и осуществляет он, обыкновенный Гоголь, последнюю и заранее обреченную на неудачу попытку совершить все то, что не смог совершить его художнический гений.

Ведь это же великое отчаяние — попытаться исполнить на одной струне симфонию, до конца не удавшуюся полному оркестру, это великое смятение вчерашнего властителя дум, если сегодня, разуверившись в самом себе, он хватает случайного прохожего за рукав, чтобы объяснить ему смысл жизни и все те нравственные устои, все те законы поведения людей, соблюдая которые они будут и счастливы, и справедливы, и благородны.

Он объясняет, каким должен быть губернатор, какой должна быть губернаторша, каким должен быть муж, какой — жена, как эта идеальная и разумная жена должна экономно тратить деньги: разложить их на семь «куч», чтобы каждая куча имела свое совершенно определенное назначение, чтобы, не дай бог, не соблазниться и не переложить какой-то рубль из одной кучи в другую.

Многие художники не миновали этой трагедии, не миновал ее Лев Толстой, но, кажется, ни в одной судьбе она не воплотилась с такою же мучительной и столь убийственной силой.

Такая история...

Такая история личности, но поскольку личность гениальна, это уже история искусства и в какой-то степени человечества тоже.

Такие противоречия...

Противоречия всего на свете — юности и старческого увядания, мечты и действительности, творческой энергии и бессилия, искусства и схоластики, противоречия между сатирическим осмеянием и душевным раскаянием, а более всего — опять-таки между тем, что человек создал за всю свою жизнь, что создало за все время своего существования человечество, и несовершенством этого созидания (с точки зрения практической и неотложной задачи переустройства мира к лучшему).

Он, творец столь стихийный, отнюдь не чужд научности, его всегда привлекала юриспруденция, история, не раз хотел он посвятить им себя, замышляя серьезные труды, но соединить науку с искусством он так и не смог. И вот его Тарас Бульба — это только литература, но никак не наука; слиянность истории или исторической точности с литературой, уже явившаяся в «Капитанской дочке» и в «Борисе Годунове», так и осталась для него недостижимой, зато как близки ему оказались противоречия между знанием и искусством!

Такова природа его гения...

Если наступает момент, когда он отвергает свой гений, тогда как же не возникнуть этому мучительному вопросу о смысле себя самого как художника?

И вот уже мир теряет не исполненные, не увиденные и не дорисованные до конца образы, подобные образам Тараса Бульбы, или Хлестакова, или Чичикова, приобретает же он еще одного, правда, реального, не то чиновника Акакия Акакиевича, не то помещика Манилова по фамилии Гоголь.

Гений художника, сначала доверившись самому себе, а потом в еще большей степени себе не доверяя, обратился в благонамерность, которую только вчера он сам же и высек, в того недалекого прожектера, которого тоже лишь вчера он во всеуслышание высмеял.

И вот он пополняет тот «жанр», в котором и без его участия вполне достаточно благонамеренного самотека, пусть в этом самотеке будет и стиль, и даже блеск.

Однако же кто знает, где лежат границы искусства? И не включают ли все-таки эти границы и судьбы

творцов, если даже они и отчуждены от собственных творений?

Ведь понял же один художник другого, понял Репин Гоголя, когда написал картину, на которой творец «Мертвых душ» сжигает листы своей рукописи в камине, и назвал он — Репин — эту картину «Самосожжение Гоголя»?!

Впрочем, пониманию и ощущению гоголевской трагедии предстоит еще дальнейшая эволюция, параллельная, а может быть, и слитая с предстоящей эволюцией и судьбой человечества.

1976

ТОЛСТОЙ — ЭТО САМА ЖИЗНЬ...

(Уроки классики)

Влияние Толстого на литературу и на общество в целом необозримо и потому не поддается определению. В нем трудно, попросту невозможно дать отчет и только можно понять, что Толстой действует на тебя как бы дважды: наиболее полно определяя все то, что мы называем реализмом, и утверждая самый высокий смысл искусства, его назначение в жизни человечества.

Толстой вездесущ в реалистической литературе, она им дышит, он для нее неизбежен. Как можно оценить или переоценить ту составляющую, без которой целое становится чем-то другим, не тем, что оно есть сегодня? Это уже не влияние, а необходимость. Радостная и счастливая необходимость.

Реалистическая литература после Толстого — это открытое им для художественного произведения соотношение между бытописанием, психологией, философией, историей и искусством.

Кроме того, Толстой и сам прилежный ученик предшествующего ему реализма. Он — такое органическое слияние прошлого с будущим — реализма, который существовал до него, с тем, который был он сам, Лев Толстой, и с тем, который появился после него, связь времен, сосредоточенная в нем, так естественна и сама собой подразумеваема, что термин «новаторство» оказывается неприменим к нему. Он столько же нов, сколько традиционен, столько же современен, сколько историчен. Он — нерасчленим.

И он же, как никто другой, осуществил принцип, по которому лучшее качество и наибольшее достоинство новизны — ее естественность.

Мы часто отдаем предпочтение новатору перед продолжателем, и, наверное, не всегда заслуженно; зачеркивать опыт и культуру прошлого и легче, и эффектнее, чем продолжать традиции, минуя в то же время эпигонство.

И если Толстой чем-то непохож на других великих писателей, так это прежде всего своею похожестью на жизнь. Читая его, мы почти не улавливаем различий между искусством и жизнью, а эта слиянность и есть он сам, это и есть истина его творчества.

И так же как природна сама природа, так природен и Толстой. Кажется, он не столько создает свое произведение, сколько обнаруживает его в реальном мире.

Исключите из действительности все то, что обнаружил в ней Толстой,— и что? И действительность перестанет быть самою собой, это будет уже какой-то иной мир, не только с иными существами — людьми, но и с иным небом, с иным воздухом, с другим пейзажем, с другими запахами и травами.

Толстой обладал мышлением и сознанием того великого склада, который можно назвать не только идеальным, но и истинным; он не отделял знание точное и научное от знания эмоционально-художественного. Знание для него — то же чувство, чувство — то же знание.

Редко кому удается такое движение мысли, такое ее развитие, которое саму мысль возвращает к ее природе и первооснове. Которое способно преодолеть не только вековые напластования условностей и предрассудков, но и подлинных достижений мысли, ее триумфов, поскольку каждый триумф — это все-таки частность, а не мышление в его целом, в его назначении — постигнуть мир тоже в целом.

Толстой приобщался к природе мысли, к ее истинному назначению, и у него хватало сил перешагнуть через любые, хотя бы и весьма достойные частности. Это как в затянувшемся и безнадежно запутанном споре, когда единственным выходом может быть возвращение к его началу, и даже не к проблеме спора, уже потерявшей всякие очертания, а к самым истокам этой проблемы.

Такое возвращение не консерватизм, не ретроградство и не измена своему веку. Это — великая служба своему и следующим поколениям людей.

И толстовские герои — это действительно сама человеческая природа, и она, эта природа, будучи психологической, нигде не становится психологией, будучи

философичной, не становится философией (даже там, где это, по-видимому, пришлось бы вполне по душе самому автору), будучи социальной, не становится социологией. Не становится ничем из того арсенала «логий», который так свойствен науке. Временами, волей или неволей, — и искусству тоже.

Толстой — искатель главных свойств и качеств человека, а главное, что бы ни говорили, все-таки не в аномалиях и не в периферии, а в том, что типично, что является сердцевиной.

И здесь он снова преодолевает узаконенные приемы искусства, и снова это преодоление, вполне возможно, внушает ему некоторую настороженность по отношению к искусству: он опасается его искусственности.

Художник ведь сам по себе уже является некоторой аномалией и исключением из правила, а в силу этого он и тяготеет к фактам, событиям и характерам исключительным, необычным. Толстой же идет к типическому против этого течения, против этой центробежной силы. Ему противопоказаны герои-символы, носители только добра или только зла, только одной страсти, одного-единственного убеждения, души которых от рождения прописаны или в раю, или в аду.

Герой Толстого — это разнообразие свойств и качеств человеческой души — потому-то она и душа, а не символ той или иной добродетели или порока.

Потому что Толстой так опасается театральности, ему чужд Шекспир. Не только чужд — он с ним непримирим так, как только один гений может быть непримирим с другим. Даже Пушкин, которого Толстой считал своим учителем и который так ценил Шекспира, не смог сгладить этой непримиримости.

У Шекспира к тому же заранее известно, чем все кончится: смертью всех его героев, а ведь это развязывает руки художнику, оправдывает любой его произвольный ход: герой, заранее приговоренный художником к смерти, получает тем самым право говорить все, что угодно, и действовать, как угодно. Смерть все спишет — как с живого человека, так и с литературного героя, и вот Отелло убивает Дездемону, но потом убивает и себя — решение проблемы. Но если бы Отелло оставался жить и после совершенного им убийства, тогда проблема не кончалась бы, а только-только начиналась. Начиналась бы в виде того или иного «Преступления и наказания» или «Воскресения».

Шекспир, непревзойденный умелец, создает на все времена потрясающее зрелище, создает театр, действуя на зрителя этим умением. Начиная из разных точек жизни, он заканчивает, как правило, в одной и той же точке — в точке смерти. Для Толстого смерть не решение не только проблемы, но даже и сюжета, он пишет не жизнь в символах, а жизнь непосредственную, чем более достоверную и сложную, тем более «толстовскую». Такую жизнь нельзя уложить в символ.

Будучи бесконечно разнообразной и благодаря этому противоречивой, человеческая природа у Толстого нигде, однако же, не становится антагонистической, тем более в такой степени, когда антагонизм угрожает уже существованию человека, а вслед за тем и человечества.

У него нет не только Яго или Отелло — нет Раскольниковых и даже Базаровых, даже Печорин — и тот ему не с руки, потому что предмет его исследования не в том, что отдаляет человека от человечества, а в другом — он ищет общечеловеческое в человеке и доказывает, что общечеловечность — свойство личности, масштабное и богатое. Ушедшая в себя, в свое убежище или ощущение собственной индивидуальности личность — для него почти уже не личность. Толстовский Печорин — это Нехлюдов.

Общечеловечности же у него, в свою очередь, нет и не может быть без естественности и природности. В самом деле — что еще так же может объединять людей, как весь тот мир, из которого все они вышли, который есть источник и причина их существования? Нынче мы нашли это объединяющее людей слово — «земляне», но прежде, чем был найден термин, Толстым был найден его смысл. Разве не типичные «земляне» — все пятьсот действующих лиц «Войны и мира»?

Естественность и природность личности, по Толстому,— не бедность, а богатство души, хотя бы потому, что источник ее — природа — необъятен, и вот уже ни у кого мы не обнаружим такой же слиянности человека с природой, как у Толстого, а жизнь человека у него — это чудо природы и это же она сама. Чудо начинается с таинственного и потрясающего акта рождения княгиней Болконской младенца, кончается апофеозом чувства и мысли князя Андрея Болконского, раненного на поле боя, но и между этими двумя актами, между рождением и смертью, оно ни на минуту не перестает быть

самим собою. Одним дано проникнуться этим чудом больше, другим — меньше, однако же и в этом случае нет ничего более противоестественного, чем посягательство на чудо жизни с чьей бы то ни было стороны — со стороны Наполеона, или Раскольникова, или даже Базарова, в стремлении которого — ограничить мир собственными представлениями.

У Толстого, с его привязанностью к естественной и, что является для него синонимом, широкой душе, нет и, вероятно, попросту не могло быть своего Раскольникова и Базарова. В этом направлении Берг, кажется, был для него пределом, за который он не перешагивал.

Это канон его искусства, но такой, который не может привести к ограниченности, сделать искусство искусственным или догматическим.

Его творчество неизменно остается гармоничным. С чем оно гармонирует? Снова с самой жизнью! Толстой и само-то искусство тоже охраняет от плена, в который оно так часто попадает,— плена индивидуализированной до предела личности, которую мы нынче называем «полностью некоммуникабельной», которой литература то и дело задает вопрос: «Скажи мне, к а к ты страдаешь, и я скажу, кто ты».

Толстой тоже отнюдь не лишен интереса к этому вопросу, только у него он звучит иначе: «Скажи мне, чем ты страдаешь?..»

Чем — самим собою или же той трагедией, которая свойственна всей жизни? Всему ее чуду?

Его реализм — это не анализ и не синтез, вернее — это то и другое в том сочетании, которое создает нечто безусловно целостное.

Будучи знатоком человеческой души, Толстой нигде не подсматривает за своим героем в замочную скважину.

Он предупреждает его: «Я к тебе иду!» — и распахивает дверь настежь.

Герой Толстого не мелочен и не величав — величие по Толстому отнюдь не природная черта и не достоинство. Как позже скажет поэт:

Быть знаменитым — некрасиво...

Литература то и дело шла от человека к миру, Толстой — от мира к человеку. Значит, здесь неизбежна философия.

Нередко мы воспринимаем философию Толстого только как «толстовство». А если видеть в ней прежде

всего ту движущую силу, которая позволила ему идти этим путем: мир — человек?

И философия Толстого ничего не отняла у его героев, ничуть не нарушила ни их жизненной достоверности, ни художественной гармонии.

Ничто здесь и ничем не угнетено и не узурпировано — ни философия жизнью, ни жизнь философией, ни лирика бытописанием, ни бытописание лирикой, ни натура воображением, ни воображение натурой, ни форма содержанием, ни содержание формой.

Отражение жизни искусством — еще не вся природа — и не все качества самого искусства.

И Толстой доказывает, что искусство — и отражение жизни, и ее проявление, столь же необходимое, как и целый ряд других проявлений. Ведь жизнь — это не только то, что материально необходимо для ее существования, ведь птице не обязательно петь, чтобы существовать, но она поет. Песня — тоже ее существование.

Конечно, герои Толстого — это не только они, достоверные, сверенные с жизнью, объективные и типичные, но и он сам — его собственная психология, однако же эта его психология постигает предмет не со стороны, а изнутри его, из связей этого предмета с окружающим миром, сосуществуя и соучаствуя в жизни этого предмета.

И вот уже для Толстого жизнь — не только содержание его произведения, но и форма, и сюжет, и архитектоника, и стиль, и слог, он все черпает непосредственно из этого великого источника.

В искусстве Толстого отсутствует все, что не природно, и как бы даже оно само тоже отсутствует, поскольку оно — отнюдь не цель, а только средство достижения другой, гораздо более высокой и сложной цели и назначения — назначения открытия жизни, ее истины, ее прошлого, настоящего и того будущего, которое способно проистекать из жизни сегодняшней, иной раз и сиюминутной. Сиюминутное чувство у Толстого тоже ведь никогда не бывает преходящим, оно лишь проявляется в какой-то краткий миг, после которого может и замолкнуть, но это вовсе не значит, что оно столь же кратко и существует.

Чувства Наташи Ростовой в ту ночь, которую она так счастливо проводит в гостях у своего дядюшки, мгновенны и кратки, они возникают и тут же исчезают,

но исчезают не сами по себе, а лишь из нашего поля зрения, однако же мы и после того, как они исчезли, понимаем: они существуют, а раз так — могут проявиться снова и снова.

Искусство Толстого, а лучше сам Толстой — это могущественное устремление человека проникнуть в самую глубину своего существования: что оно такое? Для чего? Куда и откуда? — устремление, лишенное всякой театральности, всякой демонстрации самого себя. Здесь искусство представлено как бы в своей изначальной и конечной цели и лишено всего того временного и преходящего, незначительного и показного, что почти неизбежно возникает на пути от одной истины к другой — на пути от Начала к Концу.

Толстой — столь великий открыватель жизни, что сам как бы становится ее Творцом с большой буквы: в течение всей своей жизни он причастен к ее Началу, и эта именно причастность руководит им в том последующем за Началом неимоверно сложном лабиринте жизни, в котором и сама-то жизнь, кажется, теряется и лишается ориентиров и который мы называем Сегодня.

Вот почему Толстому чужда, а может быть, даже и недоступна театральность искусства, вот почему он остается глух к почти естественной потребности искусства быть во что-нибудь одетым — в рубище или в золотое шитье.

Известен Толстому и Конец: вспомним, как написана им смерть в «Войне и мире», в «Трех смертях», в «Смерти Ивана Ильича».

Иногда это толстовское искусство «в чистоте», эта первозданность кажутся нам, современникам, чем-то устаревшим, даже примитивным,— но по сути-то в чем тут дело? Не в том ли, что мы склонны назвать примитивом ту высоту и ту глубину, которой сами не в состоянии достигнуть? Для древних единственным препятствием достижения Солнца считалось отсутствие у них крыльев. Вот и нам кажется, что будь у нас аккуратненькие, а главное — современные крылышки, мы бы улетели гораздо дальше толстовского «примитивизма». А кажется так потому, что мы не представляем до конца протяженности, того расстояния, которое преодолел Толстой.

Конечно, нельзя отрицать необходимость новых художнических средств, они должны быть, но должны

быть не только как отрицание предшествующего опыта, а как дополнение к нему, как развитие его. Человеческой жизни и культуры нет только сегодняшней — мы ведь одновременно и вчерашние, и сегодняшние, и завтрашние.

Кто мы, нынешние, если зачеркнем в себе античность, и средневековье, и XIX век? В искусстве и в каждом человеке всегда огромное место занимает прошлое как средство понимания и ощущения себя сегодняшнего, а культура начинается там, где начинается история культуры.

Если художественная литература действительно человековедение, то более человековедческого писателя, чем Толстой, найти трудно. Это еще и потому, что он исследует нормальный и наиболее широко распространенный тип человека.

Крайности человеческой натуры, аномалии и патологии для него не то чтобы запретная зона, а скорее всего периферия, до которой можно, конечно, добраться, но не стоит: слишком много дел и забот со всем тем, что есть главное, что рядом с тобою повседневно и что есть суть, а не отклонение от сути.

Его герой — человек типичный, следовательно, обыкновенный и тем самым наиболее трудный для художнического исследования, в его героях нет ничего такого, чего нет в нас самих, и уже одно это должно, кажется, делать их не очень интересными для нас, если же они все-таки столь интересны, если они нас поражают — так это глубиной проникновения в нас самих, в ту жизнь, которой обладаем мы.

Толстому не только самому чужды соблазны гипертрофирования, парадокса и алогичности, аномалии — он сумел, кажется, и всю-то литературу предостеречь на этот счет.

Конечно, без всего этого литература обойтись не может. Всегда были и всегда будут великие художники в области человеческих аномалий. Все это и многое другое для литературы не только соблазн, но и неотъемлемое право, которым она пользуется очень широко, и никто этих ее прав отнять у нее не в состоянии, но — все-таки...

Все-таки, не будь тех якорей реализма, логики, природности и естественности, которые бросил Толстой, куда бы новыми ветрами и течениями подхватило и унесло современную литературу?

Реализм Толстого — это несомненно *толк*, а многие литературные направления и переосмысливания — не более чем *толкования*. Опять-таки, без них мы не обходимся, они тоже нужны, но и смешивать *толк* с *толкованием* — не годится.

Именно реализм Толстого привлекал Ленина, и все выдающиеся деятели общественной мысли во всем мире после Толстого не миновали Толстого. Литературные течения возникают и угасают, толстовский реализм — остается. Давно уже нет князей, графов, мужиков Каратаевых, Хаджи-Муратов... Их нет, но люди-то есть! И пока они есть, существуют, они будут познавать себя через героев Толстого.

Мало того что герой Толстого — всегда человек, он еще и человечество. Уловить истинное соотношение между тем и другим в такой же мере, как это сделано Толстым, вряд ли удавалось еще какому-то художнику.

Здесь сказывается свойство нашего мышления, привязанного к зрению.

Мы видим движущиеся вокруг нас предметы, мы двигаемся по Земле сами, и представления об этом зримом движении для нас вполне доступны и повседневны. Но мы не видим движения Земли вокруг Солнца и вот уже не способны представить себе траекторию своего собственного движения на движущейся в мировом пространстве Земле.

Эти наши неспособность и ограниченность, которые кажутся даже забавными и невинными, проявляются, однако, не только по отношению к механике, но и к восприятию людьми самих себя, особенно когда дело касается все тех же связей: человек — человечество. И человек один, и четыре миллиарда людей, населяющих ныне Землю,— в равной мере реальные явления, но никто еще не увидел эти два явления одновременно.

Реальным, несмотря на все достижения науки, на все технические средства связи и информации, для нас по-прежнему остается человек, а человечество все еще — более воображение, чем реальность, и, должно быть, нужно обладать двумя системами мыслительной деятельности, чтобы увидеть и то и другое, соотнести одно с другим.

Пожалуй, опять-таки никто из людей не был ближе к решению этой задачи, чем Толстой. И это при том, что Толстой менее, чем другие художники, пользовался

фантазией и более, чем другие, исходил из реальной действительности.

Не поучительно ли?

Не поучительно ли, что в «Войне и мире», этом наиболее общечеловеческом произведении, больше, чем в каком-либо другом, счастливых персонажей, что в нем совсем нет патологии, нет алогичности, смещений во времени и пространстве, а все идет, как идет, все развивается, как развивается в реальной жизни?

Люди Толстого — это люди во всем разнообразии их всех, вместе взятых, и каждого в отдельности. Причем, это опять-таки не разнообразие без берегов, только берега здесь — сама действительность. Толстой — очень человековедческий писатель. Наука может позавидовать его точности и достоверности.

Взаимосвязь человека с человечеством — такой же предмет его художнического исследования, как и сам человек, и вот уже отношения между Карениной и Вронским для Толстого слишком камерны, тесны и замкнуты, а чтобы разомкнуть их, чтобы вывести их в мир, чтобы подвергнуть сравнению с другими судьбами и жизнями, он рядом с ними развивает, по существу, самостоятельный роман: Кити — Левин.

Мы не только обретаем в лице толстовских героев близких людей (а близкие люди — это счастье и богатство), мы обретаем еще и способ познания мира и самих себя в нем, и способ приобщения к человечеству, к тем непреходящим духовным ценностям, которые одни только и могут объединить людей в обозримое и осознанное ими мировое общество.

Все это и многое другое в творчестве Толстого, о чем мы еще не подозреваем, потому что раскрыть его до конца, вероятно, так же трудно и даже невозможно, как раскрыть и нашу действительность,— все это могущество соответствует бесконечному жизненному потоку.

Толстой редко строит свое произведение на каком-то отдельно взятом случае из жизни своего героя, нет, даже самый «убедительный», самый «сюжетный» случай для него еще не жизнь и не творчество, а только частность, ему же необходима жизнь в ее объеме.

И вот уже время действия таких произведений, как «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение», «Хаджи-Мурат»,— это многие-многие годы, это опять-таки не случай из жизни, а жизнь его героев.

И еще больше: даже такое явление, как война,— все

еще частность для него, и он создает «Войну и мир», произведение, одним своим названием предвосхитившее величайшую и самую кардинальную проблему существования человечества в ближайшем будущем, то есть в наши дни.

Русская классическая литература XIX века умела выносить в заголовки важнейшие общественные проблемы, такие, как «преступление — наказание», или «отцы — дети», или «герой — время»; это соответствовало тем задачам, которые она перед собою ставила, но даже и она не знала такого масштаба и такого пророчества, как «война — мир».

По существу, Толстой создает жизнеописания людей, может быть, даже их жития. Вот так: веками жил этот жанр — жизнеописаний и житий, скромный и могучий, он ютился в монастырских кельях, достиг XIX века и здесь столкнулся с человеком, который оказался способным соединить древнюю монументальную культуру со всем тем, что составило, чего могло достичь искусство этого века.

И вот оно одно: приобщенность к вечности, строгая хронология, исповедальность.

И вот оно другое: тонкая, а иногда даже и изощренная талантливость, которой достиг век XIX, умение различать любые оттенки чувства, мысли, поступка, и не только различать, но и дать каждому оттенку название и определение и ввести его в общую систему, подобную дарвиновской или менделеевской. Такого сочетания истории и современности мог достигнуть только человек, возвысившийся и над тем, и над другим.

На современность этот человек смотрит с высоты духовной истории человечества, на историю — с гребня той волны, которая вздымается над прошлым.

Он не летописец, он преодолел описательность летописи, ее бесстрастность, ему нужна не сама летопись, а только ее опыт, ему ближе страстные воззвания Руссо, но он более строгий человековед и аналитик.

Он не модернист и не дитя своего века, скорее — его отец и воспитатель, он глубоко встревожен его судьбой и отсутствием той «гармонии со всем миром», которую сам он ищет в «Трех смертях», он снисходительно терпим к художественным шалостям и увлечениям этого века — к его любви к парадоксам, к играм со словом. За все это он может пожурить, тем более что истинной культуры, истинного искусства в этом веке, слава богу,

тоже хватало. Речь его спокойна, ей чужды красноречие, изысканность и изощренность так же, как и язык кондовый, псевдонародный.

Ей, этой речи, чужд болезненно-энергический, самолюбивый и самоуверенный афоризм или парадокс. Ведь то и другое в реальной жизни не более чем эпизод, а этой речи гораздо более свойственна эпичность, чужд ей и тот стиль, который создает расслабленный поток сознания.

Она настолько сама по себе, эта речь, что как бы даже перешагивает через всю известную нам ритмику, через все бывшие в употреблении интонации.

И ритм, и интонации в ней есть, присутствуют, но разгадать их, повторить или имитировать невозможно, так что сама неповторимость этого ритма как бы становится ритмом.

Толстой — это сама жизнь и та верность жизни, та ответственность перед ней, о которой никто, наверное, не сказал лучше и больше Пушкина:

Недаром темною стезей
Я проходил пустыней мира:
О нет, недаром жизнь и лира
Мне были вверены судьбой!

Реализм, величайшим представителем которого был Толстой, часто выдается за нечто консервативное и устаревшее.

Но реализм, в современном его понимании, вряд ли мог появиться раньше, чем люди накопили определенную сумму знаний и сформулировали для себя ряд законов природы. И Толстой, наверное, не был бы таким, каким он был, если бы ему не были известны законы Ньютона или Галилея. Более того, нельзя представить себе Толстого существующим в веке XVIII или — в наше время. Его реализм — это его время, это именно век XIX.

Другое дело, что он, этот век, создал такие памятники искусства, которым дано перешагивать через века.

Реализм исторически очень молод, а вот условность, мистика, аллегория — те стары, как мир, с них искусство начиналось и долго-долго не могло из них выйти, из детского наивного возраста. Ведь именно в детстве, покуда человек не постиг реальной конкретности предметов окружающего мира, он занимается абстрактной живописью, изображая просто линии и просто краски.

Искусство, литература в частности, должно было пройти тысячелетние пути, чтобы из мистики и сказки, из детского абстракционизма вызрел такой «модерн», как реализм. Человеку всегда было проще изобразить свои подобия, чем самого себя как такового.

И должны были появиться такие писатели, как Толстой, чтобы художественно воплотить тот реализм, которого достигло человечество в XIX веке.

Толстой это смог. Если так позволительно сказать, его творчество — самое творческое, оно, может быть, и есть творчество в идеале, поскольку достигает объединения и гармонии всей духовной деятельности творца — его точного по существу, научного мышления с мышлением чувственным, эмоциональным и эмпирическим.

И это тоже реализм и реалистический метод. Абстракция всегда ведь ищет разделения духовной деятельности на чувство и знание, на форму и смысл, на фантазию и реальность и противопоставляет одно другому, ищет в таком противопоставлении свободу творчества.

А если художник опять-таки ощущает себя как исключительность, тогда и в окружающем мире он тоже склонен искать исключительное, то есть нечто вне тех или иных естественных границ.

Это так, но нельзя забывать, что безграничность — это ничто, а «что-то» сложнее «ничего». Подчинение себя и своего творчества определенному, а следовательно, ограниченному смыслу — труднее и сложнее бессмысленности.

В отличие от абстракционизма, который даже в наиболее значительных своих произведениях, по существу, не может обозначить сам себя, реализм еще и потому реализм, что он конкретен. Достигнув определенного художественного уровня, он уже обязательно какой-нибудь: романтический, критический, социальный, социально-нравственный, социалистический,— все его направления и толки так же трудно назвать и классифицировать, как трудно это сделать в отношении окружающей реальности.

Но каков бы ни был реализм после Толстого, он неизбежно связан с Толстым, и долго еще в представлении художников-реалистов их творчество будет попросту невозможно без этой связи, без обращения к тому этапу в развитии литературы, который обозна-

чается тем же именем: *Толстой.* А точнее: *реализм Толстого.*

Что делает художник XX века, когда перевоплощает человека в таракана? Создает ли он модерн?

Разумеется, что это не только повторение древних, которые тоже наделяли животное человеческой душой и разумом, и вот нынешний таракан очень отличается от своего прототипа.

Повторение есть, но далеко не во всем, прежде всего оно в самой форме и в приеме искусства.

Но у реализма-то повторения еще меньше, он-то, следовательно, в самом принципе и в масштабе не сиюминутном, а историческом, еще современнее.

Современнее, а в то же время и монументальнее, поскольку его исток и природа — это исток и природа самой жизни.

Мы можем обнаружить глубокие исторические корни творчества Толстого, но прототипа и предшественника его мы не найдем в древнем мире: толстовский реализм не мог возникнуть без научного и точного мышления, без накопления огромного количества фактов в области психологии, физиологии, истории, эстетики, природоведения, техники и без умения этими фактами пользоваться, выстраивать их в ряды.

Реализм вообще и толстовский реализм конкретно действует гораздо увереннее, чем все другие направления искусства, он надеется, что жизнь пусть и не всегда, но доступна ему, что и он ей нужен, а эта надежда и есть тот общечеловеческий оптимизм, который столь необходим нынче миру.

Конечно, нет художника без сомнений. Искусство и самоуверенность несовместимы, личность Толстого — тому подтверждение. Но что она могла, эта личность, так это подчинять себя не только искусству, но и смыслу искусства. И делать это с тем же величием, с которым он подчинял искусство себе.

Толстой — весь противоречие, весь как личность спорен.

Личность Толстого грандиозна во всем, грандиозна и своими внутренними противоречиями, однако же он сумел не заслонить собою своих героев, сумел сохранить в своем творчестве безупречную ясность.

Кажется, что в личности Толстого может заблудиться каждый из нас, но никто, как сам он, позаботился, чтобы этого не случилось, и вот уже он — не только

один из самых читаемых, но и самый прочитываемый писатель. Прочитываемый от начала до конца и именно так, как сам этого хотел.

В то же время это — не созерцательность и не холодная логика, это скорее всего отсутствие всего лишнего — суеты, мелочности и выдумок, даже таких, которые другому художнику принесли бы славу и признательность.

Отсутствие повседневности — несмотря на строгую хронологичность. «Война и мир», «Анна Каренина» — хронологичны, а повседневности нет и следа!

Это — сознание, но не «поток сознания», это — индивидуализация, но без крайностей индивидуализма, это — личности, но не та сумма личностей, которую нынче принято называть «одинокой толпой». Для Толстого — и это можно повторять и повторять — та личность — личность, которая ощущает себя причастной к человечеству, независимо ни от чего, даже от своего общественного положения, от того, в частности, управляет ли она судьбами других или даже собственная судьба не подвластна ей. Платон Каратаев обладает этим не столько чувством, сколько ощущением своей причастности к миру и жизни в ее целом — и он мудр. Кутузов обладает им тоже и тоже мудр. Наполеону это ощущение чуждо, он не столько участник жизни, сколько ее поработитель — и вот Наполеон недалек, несмотря на его гений.

По Толстому, подлинного гения нет без этого целостного ощущения жизни, без этого чувства, без этой мысли.

По Толстому, искусству должны принадлежать эти общечеловеческие чувства и мысли.

По Толстому, именно искусство обязано внушить этот комплекс, эту подлинную природу человека человеку.

1978

«Я ЧИСЛЮСЬ ПО РОССИИ...»

(К 180-летию со дня рождения А. С. Пушкина)

Пушкин неопровержим и бесспорен, как, может быть, никто из писателей.

Попробуйте опровергнуть или хотя бы подвергнуть сомнению что-либо у Пушкина: исторические факты, на которых основаны те или иные его произведения, или его суждения о литературе, или форму его стиха. Попробуйте обнаружить какое-то несоответствие или хотя бы недостаточную убедительность в созданных им образах. Упрекнуть его в том, что он смеется там, где не смешно, грустит там, где не грустно; что в чем-то он чрезмерно серьезен и философичен, а к предмету серьезному отнесся легкомысленно; что где-то он примитивен, а где-то слишком усложнен, что где-то пренебрегает рифмой, а где-то рисуется ею и создает ее не потому, что этого требует содержание, а ради нее самой, чтобы показать, какой он мастер и мастак?

Нет, повсюду Пушкин ясен до конца, повсюду — бесспорен.

* * *

Эта бесспорность даже не самой литературы, а ее источника. Только источники и бывают так же бесспорны и представляют явление в «чистоте».

Это — античность, а Пушкин в этом смысле был, вероятно, последним представителем античной литературы.

Позже, в процессе дальнейшего развития, выявятся различные направления, тенденции, истолкования и задачи, у источника же задача одна — родиться на свет. Родиться и нести в себе ощущение собственного рождения. Когда-нибудь это ощущение будет утеряно, но только когда-нибудь.

...Является на свет младенец, и это факт единый, нерасщепляемый, и до поры до времени ни одна из

проблем его дальнейшего существования, даже его будущее имя, не имеет к нему никакого отношения.

И не потому, что младенец еще неразумен, а потому, что он уже совершил свое главное дело — он явился, он стал существовать.

Эта бесспорность младости и юности сохраняется за Пушкиным, за всей его мудростью и величием, за всем его разнообразием.

* * *

Кто такой Пушкин во всем его разнообразии?

Реалист? Романтик? Лирик? Исторический писатель? Сказочник и фольклорист? Критик и литературовед? Просветитель? Бытописатель и социолог? Он — все это и еще многое другое, но все это — поэзия. В то же время здесь не тот случай, когда, начитавшись поэзии, получив о ней те или иные представления, мы, руководствуясь этими представлениями, судим об отдельном поэте, здесь наоборот — мы по Пушкину судим о том, что такое поэзия. И если в творчество Пушкина включены и лирика, и история, и сказка, и публицистика, значит, все это свойственно поэзии.

И опять-таки, может быть, что поэзия со времен Пушкина включила в поле своего зрения и своей деятельности что-то еще и еще, но то, что включил в поэзию Пушкин, осталось в ней навсегда. Ничего там не оказалось лишнего, временного, преходящего. Ничего, что оказалось бы ненужным или хотя бы безразличным народу, которому он принадлежал, от которого исходил.

* * *

Пушкин еще и потому не только Поэт, но и Поэзия, что он смог выразить духовный потенциал нации, русского общества своего времени.

«Я числюсь по России...»

Народ, создавая духовные ценности и произведения искусства, обладая различными стилями, в то же время никогда не заботится о том, какое направление искусства он создает, какой «изм» поддерживает, а какой отрицает. Он осознает свое творчество как поэзию, а поэзию — как необходимое условие своего бытия. И вот всякого рода направления приходят и уходят, а народное творчество остается и развивается, если уж не

как выражение сегодняшнего существования народа, то, по крайней мере, как поэтическая легенда о самом себе, которую нельзя не сохранить.

Вот и Пушкин: единственная условность его творчества — это условность самой поэзии как целостного явления, а больше ничего — никакие частные направления его как будто бы не касались совершенно.

Одно за другим он постигал байронизм, «шотландского чародея» Вальтера Скотта и гетевского «Фауста» — это «величайшее создание поэтического духа», обогащаясь сам и продолжая прорубать окна в Европу, неизменно заботясь о том, чтобы Россия могла «в просвещении стать с веком наравне». В величайших явлениях литературы Пушкин был как у себя дома, но свой дом не забывал никогда и все совершал ради него, все приобщал к русской природе, культуре и истории не в поисках того или иного направления поэзии, а опять-таки ради поэзии.

И вот от Байрона проистекал байронизм, от Толстого — толстовство, от Пушкина — только поэзия.

Другое дело, что и в нынешнюю пору в спорах различных направлений между собой каждый может обращаться к Пушкину как к третейскому судье, как к авторитету бесспорному, как к Поэзии.

Как к бесстрашному человеческому разуму.

* * *

Пушкин бесстрашен и героичен, потому что бесстрашной может быть сама мысль.

(Возможен и такой постулат: мысль может быть бесстрашной, и пример тому — Пушкин.)

Он не отступает перед препятствиями на пути осознания того или иного факта современного или исторического, отечественного или иноземного происхождения.

Когда Европа, да и весь цивилизованный мир еще не пришли в себя после шока, нанесенного им Наполеоном, и, по существу, еще никто и не пытался мыслить исторически и понять, чем же был Наполеон и наполеоновская Франция, двадцатидвухлетний Пушкин сказал:

И Франция, добыча славы,
Плененный устремила взор,
Забыв надежды величавы,
На свой блистательный позор

Вот так: на какую мысль, не практически даже, а лишь в принципе было способно человечество в XIX веке, той мысли, того принципа и высшего предела Пушкин и достигал. И мы все время в той или иной мере, в той или другой интонации, но чувствуем присутствие героической мысли, говоря языком современным, все время ощущаем пушкинскую волю к победе, идет ли речь о Франции, чьи «цепи лаврами обвил» Наполеон, или о том, что «я помню чудное мгновенье: передо мной явилась ты...».

* * *

Это воля к победе проистекала из того назначения, которое определил для поэзии, а значит, и лично для себя Пушкин:

...Недаром темною стезей
Я проходил пустыню мира;
О нет! недаром жизнь и лира
Мне были вверены судьбой!

И действительно, вряд ли кто-либо из поэтов имел для своей страны такое же значение, как Пушкин для России, вряд ли кто-либо другой явился непосредственным родоначальником столь же могучей литературы.

Пушкин неизменно тяготел к образу Петра Первого. Никто так не понимал Петра, так же и мыслью и духом не связывал себя с Петром, так вдохновенно не живописал его:

«...За дело, с богом!» Из шатра,
Толпой любимцев окруженный,
Выходит Петр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен.
Он весь как божия гроза.

Это — перед Полтавской битвой. И это — после нее:

Пирует Петр. И горд, и ясен,
И славы полон взор его.
И царский пир его прекрасен.
При кликах войска своего,
В шатре своем он угощает
Своих вождей, вождей чужих,
И славных пленников ласкает,
И за учителей своих
Заздравный кубок подымает.

То, что Петр совершил для России как деятель государственный, в области духовной исполнял Пушкин.

Он шире, чем кто-либо другой, распахнул перед Россией двери XIX века, века европейского, а отчасти и американского («Джин Теннер»: «С некоторого времени Северо-Американские Штаты обращают на себя в Европе внимание людей наиболее мыслящих»), и вот России не оставалось ничего другого, как только прокладывать в этом веке свой дальнейший путь...

В свое время...

...Старик Державин нас заметил
И, в гроб сходя, благословил.

Затем всем своим существованием Пушкин благословил мыслящую и чувствующую Россию, оставил ей завещание, которое, к счастью и к надеждам нашим, не забыто и поныне.

* * *

Завещание и само по себе как бесценный клад и как вечное чувство долга перед завещателем.

Литература — это прежде всего неповторимые индивидуальности ее творцов — повторение здесь немыслимо,— а в то же время это и преемственность, это постоянное чувство долга перед предшественниками: «они сделали, достигли, а — мы?»

И в противоречие этому: «они сделали, достигли, достигли за себя и за нас, значит, облегчили нашу участь...»

И в том, и в другом смысле чувство долга перед Пушкиным неизменно, оно как началось с признаний Гоголя, Достоевского, Толстого, так и живет поныне и будет жить всегда... Это слиянное чувство благодарности и долга, долга и благодарности, которое только искусство и способно породить и утвердить на века. Тем самым утвердить нечто значительно духовное в человеческой природе.

Так что если настроиться на чуткий лад вот этого долга и этой благодарности перед Пушкиным, тогда и то, и другое уже как бы само собой распознается в любой современной истинно поэтической строке.

* * *

В конце концов как гений художественный Пушкин мог совершить все то, что он совершил, обладая безусловной гармонией между словом и смыслом.

Трудно, попросту невозможно представить себе эту гармонию более полной, чем у Пушкина:

О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.

Когда такая гармония достигнута, возникает истинное пророчество, тогда достигнута и логика, и сама природа вещей, тогда и совершается не истолкование какого-то факта или открытия, а само открытие.

И самопостижение, самовыражение поэта тоже осуществлено.

«Все должно творить в этой России и в этом русском языке».

И все — одним дыханием, математически строгой и поэтически совершенной формулой, все опять-таки в той единой красоте слова и мысли, которая не требует какой-либо поддержки со стороны знаков восклицательных, вопросительных или многоточий.

Сказано — и точка.

1979

К ВОПРОСУ О БЕССМЕРТИИ

(Из заметок минувшего года)

В минувшем году от первого до последнего его дня мы открытыми глазами вглядывались и в свое настоящее, и в свое прошлое, пытались мы и заглянуть в будущее. Мы пытались понять самих себя, но самого себя нельзя ведь узнать без понимания окружающего мира, без тех фактов, происходящих в нем, которые мы часто называем примерами.

...Что было — все перед глазами, озвученное и окрашенное, явственное и до сих пор недоступное пониманию, потому что это — глыбы, это — тучи времен, с помощью одних только воспоминаний на них не вскарабкаешься, и редко-редко когда удается вырвать у памяти какое-нибудь событие, чтобы затем втиснуть его в рамки повести, рассказа, еще в какой-то литературный жанр.

Большое и существенное событие всегда противится литературному жанру. Понятно почему: у повести, у рассказа, так же как и у научного исследования, есть границы, есть начало и конец, есть единая мысль и более или менее определенный сюжет — у большого события границ нет. Если исключить период его созревания и назревания опять-таки неопределенной продолжительности, тогда возникнет дата его начала, но конец события определить уже невозможно, только чисто формально, потому что оно еще и еще будет жить и жить в памяти и психологии людей, в их поступках, во всей их деятельности.

Даже роман с таким явлением не может справиться. Большие события дробят жизнь человека на несколько жизней, отчуждая одну от другой и как бы даже и от того, кто все эти жизни прожил, от собственной при-

роды и личности того человека, который когда-то вошел в жизнь.

Вот и не знаешь, что это такое твоя жизнь. Твоя она или чужая? Чужая судьба? Тебе она принадлежит по праву или по случаю? Или исключительно тому времени принадлежит она, в котором ты угодил жить, в котором все еще годишь и живешь?

А главное, предвидеть надо уметь, без предвидения разве жизнь? В лучшем случае это некое существование.

Конечно, нынче проще всего предвидеть конец света, нынче он реальность, а вовсе не та сказка, которой люди веками пугали друг друга, находя в этом некое моральное и возвышенное утешение: вот, дескать, какого бесстрашия духа мы достигли! Нынче бесстрашие духа и совести в другом — в несогласии с реальностью, в приложении сил к тому, чтобы восстановить идею бессмертия хотя бы относительного, в пределах доступной нам обозримости.

Не могу привыкнуть к мысли, что я старше советской власти, старше Октября 1917 года!

А ведь я помню годы первой мировой войны. Помню газеты того времени и крупно напечатанные сводки «с театра военных действий», которые я еще не умел прочесть, но уже знал, что это такое, что это за «театр»: солдаты в папахах, в шинелях и с винтовками наперевес, бородатые и суровые генералы, «павшие смертью храбрых». И значит, так: солдаты ходят в атаки, а смертью храбрых погибают генералы — вот что явствовало для меня из газет.

Помню манифестации по случаю свержения самодержавия: красные флаги, лозунги, улыбки радости и надежды. Толпы, толпы... И меня медленно-медленно ведут за руку, а то и несут на руках в этой толпе, а я так ликую — кажется, больше всех. Малыши всегда откликаются на ликование толпы, всей душой хотят быть участниками праздника. Это уже потом, с возрастом, не каждый праздник для человека — праздник. Далеко-далеко не каждый.

Ну и еще такую картину вижу: партизанский вождь Ефим Мамонтов в кожаной куртке, в светлой папахе с красной лентой. На белом коне, с оголенной шашкой.

Лубок? Лубок и есть, но реальный, живой. Видел в Барнауле, на Демидовской, ныне площади Свободы,

в декабре 1919 года, в тот день, когда мне исполнилось шесть от роду. (Много позже я написал роман, в котором главным героем был Ефрем Мещеряков, его прототип — это Мамонтов.)

Нэп помню — это уже вполне сознательно и как бы даже участвуя в нем. Я учился в барнаульском сельхозтехникуме — старинное, еще демидовское здание окнами на ту же самую площадь. В этом здании проходили нередко заседания правления Алтайского союза кооперативов. Мужики-правленцы в посконных рубахах с витыми поясками беседовали друг с другом.

После того мало где и мало от кого я слышал такие же выразительные и такие толковые речи. Бестолковых речей там не было, ораторов, если они говорили не по делу, тут же сгоняли с трибуны: «Седни нам недосуг. Завтре доскажешь!»

И коллективизацию помню. Как проходила она в Барнаульском районе, в Бельмесовском кусте — все в мельчайших подробностях. Она проходила при самом активном участии все тех же мужиков и без особых потерь на раскулачивание — это район, как говорится, бог (относительно) миловал. К тому же и урожай от «первой большевистской весны» 1931 года вышел в наших краях отменный, и его убрали. Ну, правда, молотили до весны.

Проблема апокалипсиса нас не бог весть как волнует. Нас проблемами нынче вообще не удивишь, и этой тоже.

Между тем именно эта проблема и есть существо нашего века — века, в котором она явилась впервые, явилась отнюдь не извне. Если бы так, дело было бы проще, мы умеем бороться с силами внешними, но мы создали ее своими руками, а нет ничего труднее, как переделывать то, что самим же и сделано,— для этого нужно переделывать и себя тоже. Так или иначе, но и легенда о нашем бессмертии уже рухнула, и «бессмертие» заменено другим словом — «выживание», словом, по существу, позорным для XX века, для всей предшествующей истории человечества.

Человек миллионы лет только и делал, что выживал ради того, чтобы жить — выживал в пещерах и шалашах, выживал в страшных эпидемиях и голодовках (я вот тоже до сих пор помню, как говорилось: «волж-

ская голодовка», «украинская голодовка»),— выживал и выжил в пятнадцати тысячах войн, которые сам же и затевал, но всегда он верил, что доживет до жизни «настоящей», практически — бессмертной, гарантированной для множества поколений. Именно ради этого и создавал он и науку, и искусство, и новые социальные системы, и медицину, а когда все это создал, казалось, что ему как никогда прежде необходимо самое элементарное, примитивное, чуть ли не в пещерном смысле выживание.

Мы все вместе уступаем и уступаем в нашей мечте о светлом будущем, о свободе, равенстве и братстве. Мы уступили все, что могли, все, что уступить было можно, и многое из того, что уступать ни в коем случае было нельзя. Теперь уже перспектива выжить, и слово «выжить», и девиз «нет войне!» для нас чуть ли не равнозначны словам о свободе, равенстве и братстве в их еще недавнем и великом смысле. Нам нынче не до жиру, быть бы живу. Быть бы живу какими-нибудь, неизвестно какими.

Мы чуть ли не согласны и на то, что равенство наше заключается лишь в одном факте: мы все еще живы и все хотим жить, вот и вся «великая» идея! Вот как мы обеднили самих себя, к чему свели великие принципы гуманизма.

Неужели же мы не способны осуществить и этот минимум-миниморный принцип?

Нельзя открыться самому себе или — самим себе.

Друг друга-то мы знаем хорошо и даже слишком хорошо и за всем этим «слишком» теряем нечто самое главное, имеющее историческое, подлинно общественное значение.

Только открываясь другим, мы нынче открываемся самим себе, самих себя более или менее полно познаем. Другие — это другие народы, для которых наше нынешнее самооткрытие — процесс подлинно исторический, он же психологический и человековедческий.

Очень интересно наблюдать, кто и как нынче воспринимает это наше самооткрытие, то есть нашу перестройку. Ну, скажем, как это воспринимают американцы.

В декабре позапрошлого года мне довелось быть в экспертной группе, сопровождавшей миссию

М. С. Горбачева в Вашингтон. Не буду говорить о ходе переговоров Горбачев — Рейган, о них многое сказано с бо́льшим знанием дела, чем это могу сделать я, собственно дипломатических впечатлений у меня и нет, мы присутствовали только на встречах непротокольных, но этих последних было много — в Белом доме, в госдепартаменте, в посольстве, в частных домах,— и участвовали в них люди, будем говорить, серьезные: крупные политические деятели, настоящий и бывшие вице-президенты, бывшие госсекретари, ученые. Я пытался посмотреть на нас как бы их, американскими глазами. Мне казалось, что мы представляли для них прямо-таки сногсшибательное открытие: люди как люди и говорят откровенно, очень часто откровеннее, чем они сами. Смеются. Шутят. Не пренебрегают и анекдотами, до которых сами американцы великие охотники.

Но дело даже и не в этих всем и каждому видимых частностях, дело в том, что один народ открывался здесь другому. Такой здесь шел процесс. По нынешним временам все еще довольно редкий и необычный.

Открытие же и осознание одного народа другим — это великое открытие, если хотите, и научное, и эмоциональное, и, может быть, наиболее человековедческое, чем что-либо другое.

В конце концов это открытие мира, того самого, ради бессмертия которого и встречались руководители двух великих государств, незадолго до того как бы даже и исключавших друг друга из своего поля зрения, бывших друг для друга только противниками, и никем другим.

И тут вот что стало заметно: американцы слушали друг друга без внимания, они были не бог весть как интересны самим себе, а я, пожалуй, не преувеличу, если скажу, что их и мне тоже было слушать не так интересно, как своих.

Наш внутренний процесс самооткрытия, самосознания и взаимных знакомств в эти дни перестал быть внутренним, домашним, он в те дни происходил за океаном, в чужой стране и, я бы даже сказал, становился нормальнее, поскольку был лишен мелочности и той домашней опеки, которые так часто не идут на пользу большому делу. Я не дипломат, но сдается мне, что я был свидетелем возникновения новой дипломатии, основанной на таких принципах, которые приемлемы не

только для двух или более договаривающихся сторон, но и для всех народов мира. Не побоюсь и другого слова — основана на откровениях, которыми люди и целые народы способны делиться между собой. Я не представляю себе, что отныне так будет всегда, но что так уже было, что такая возможность существует и может быть реализована — это факт.

И еще в тот раз я подумал о том, что всякий союз между договаривающимися сторонами — это культура, иногда высочайшая, а всякое, и тем более резкое, размежевание между людьми — это антикультура.

В семье, в домашней обстановке, на ночь глядя или поутру мы то и дело возвращаемся к мысли о том, что станет с нашими детьми, что их ждет. Уж не последнее ли они поколение на земле? Правда, мы избегаем говорить об этом вслух...

И что семья может сделать для выживания человечества?

Мы думаем: это решается где-то там, наверху. Как сумеют сделать они, так и будет.

Они — это главы правительств и министры. Мы очень боимся, что те, кто решает проблему выживания человечества, могут быть заражены этими пороками — формализмом и бюрократизмом. Наш опыт доказывает: может это быть, может!!

Выживание нынче решается в двух сферах — в сфере отношений людей между собой (политика) и в отношении людей к природе (экология). Что касается последнего, так лично у меня сомнений нет: здесь мы все, всё наше общество еще в руках таких тупых и беспощадных бюрократов, которых, может быть, и свет никогда еще не видывал, они до сих пор считают экологию не международным, а внутренним делом, а раз внутренним, значит, и своим, значит, нечего тут и соваться какой-то там общественности, дело касается лишь тех, кому оно «положено». Впрочем, как наверняка догадывается читатель заметок, я эту проблему и дальше не обойду.

А сейчас скажу, что две эти проблемы — политическая и экологическая — составляют в современном мире ту одну, которая и есть проблема выживания. И значит, возможности их решения тоже одни и те же. Какие? Я, он, она тут ничего не решат. Семья ничего не

решит. На каком же уровне может сформироваться сила деятельная и действенная? Я думаю, на уровне народа.

О том, что народ — хозяин положения, что он творец своей собственной судьбы, творец истории и своего будущего, говорилось всегда, везде, по разным поводам и разными словами. Но если XX век и создал какой-то новый гуманизм, так прежде всего в том, что он действительно приблизился и продолжает приближаться к идеалу народности, ко всему тому, что мы называем интересами народов.

Еще в конце прошлого века Африка была для европейцев и американцев страной африканцев, Азия — за исключением, может быть, трех-четырех народов — тоже была заселена азиатами, а нынче? Сколько там, на этих «далеких» континентах, оказалось суверенных народов, языков и государств!

Народы нынче находят все новые и новые общности между собой, это так, но они отнюдь не размываются в общей массе народонаселения земли, они отстаивают свою самостоятельность — негры в Южной Африке, палестинцы на Ближнем Востоке,— они все внимательнее относятся к своей собственной истории, к своему собственному искусству и фольклору, они хотят быть такими, какими их создали история и природа.

В нашей действительности мы наблюдаем похожие явления, но только слишком уж часто не умеем использовать их потенциал, не умеем сорганизовать общественно, чтобы отстоять себя этнически и политически, отстоять и природу как сферу своего обитания перед лицом высокоорганизованной бюрократии, которая потому и бюрократия, что не хочет, а может быть, и не может понять подлинных интересов народа,— собственные интересы для нее выше, их-то она и отстаивает. Ей это удается, потому что неорганизованный народ — дело обычное, неорганизованной бюрократии попросту не бывает.

Наступил странный и удивительный исторический момент, когда внешняя политика нашего государства и многих других государств становится для нас все более понятной, более открытой, более действенной и благородной, чем политика внутренняя, когда наше государство имеет бо́льшие успехи в спасении всего мира, чем в спасении самого себя.

В мире становится все меньше и меньше тайн, скрываемых от народов: уходят в прошлое тайные договоры

и союзы между штатами и главами разных государств; создаются, правда, новые виды оружия, но теперь уже и они задолго до развертывания перестают быть тайными. Цивилизация — это же прежде всего информация, а информация делает народы человечеством. Теперь каждый народ несет свою историю и свои искусства в общий котел и многое оттуда же черпает, черпает то, что ему по душе, по вкусу и по потребностям, пусть иногда и ложным, но это уже дело каждого народа — проявить в отборе собственный вкус и собственный такт.

Так или иначе, а движения и за мир, и за сохранение окружающей среды — это движения подлинно народные, а они, те, которые наверху, обладают правом быть там только в том случае, если выражают мнения и устремления своих народов.

Нынче даже социальные размежевания в недрах народов то и дело перекрываются именно этими общечеловеческими заботами и действиями. Территориальные притязания народов друг к другу, этот вечный камень преткновения, и нынче, как и прежде, нередко становятся причиной кровавых конфликтов, но время доказывает бессмысленность этих конфликтов и великий смысл компромиссов. Так было и в Африке, и в Афганистане, и в столкновении между Ираном и Ираком. Где-то, увы, происходит и иначе — в Палестине, например, и сейчас торжествуют средневековые методы решения спора.

Так или иначе, а во второй половине XX века общечеловеческие перспективы, общечеловеческие заботы каждого «я» и каждой семьи более всего оказалось возможным выразить через ту общность людей, которая — народ, оказалось возможным воплощать их в действие через ту же общность.

Нам и здесь нелегко, потому что слишком долгое время мы чисто формально пользовались понятием «мы — советский народ», не вскрывая сущности этого понятия, не размышляя над его правомерностью, его историчностью и будущностью, над его противоречиями.

Никакие другие события не предвещают людям столько драматических перемен, столько неожиданных последствий, как революции, недаром же говорится: подлинно революционное событие. Риск здесь значителен хотя бы уже в силу равенства противодействия

действию — каковы силы революции, почти таковы же и силы контрреволюции, а может быть, они и больше: ведь если революционные силы имеют явное превосходство еще до своего открытого и вооруженного выступления, так и в выступлении, то есть в самой революции, нет необходимости. Итак, риск очень велик, но он ведь и очевиден: революция твердо знает, чего она хочет, и выступает с открытым забралом, у ее противника забрало тоже открытое.

Другое дело, когда риск не очевиден, когда он тайна, когда он камуфлируется мнимым отсутствием противоречий, противоречий между словом и делом прежде всего, когда люди — и провидцы, и просто-напросто способные к трезвому прогнозу — становятся «врагами Отечества», в лучшем случае они попросту оказываются ненужными. Так протекают явления, называемые перерождением революции. Период культа личности и период застоя страшны не только сами по себе, они приводят к тому, что теряется способность людей и общества в целом предвидеть последствия своих сегодняшних поступков и деяний.

В нашем социалистическом обществе (плановом!) это тем более неприемлемо, но это же в нем — увы! — было, есть и вовсе не исключено, что будет еще и еще. Это наш страшный бич, поразивший прежде всего ведомства, до неузнаваемости исказивший исходные принципы революции, ее результаты и перспективы, перспективы всего нашего существования.

Собственно говоря, революции ведь и не совершаются ради самих себя, а прежде всего ради блага тех эволюций, которые должны последовать за ними, в которые они должны вписаться.

Но вот между революцией и эволюцией вклинивается некий межеумочный период, в котором все «анти» столь же антиреволюционны, сколь и антиэволюционны — и тогда ничто не находит самое себя.

Наши теоретики в стремлении соблюсти «чистоту идеалов социалистических революций» нередко доказывают, что ни культ личности, ни застой, ни экономические аварии, ни нарушения прав человека к самим революциям никакого отношения не имеют, а главное — теоретически и иметь не могут, поскольку они не что иное, как «анти» — антиреволюционны, антисоциальны, антинародны и даже антипартийны (!). Так что все это не более чем случайные издержки революции.

Что имеют место извращения — это факт, сомнений нет, а вот что они случайны... Что за странная такая случайность, которая присуща едва ли не всем социалистическим революциям в Европе, Азии, Африке, да как бы и не в Америке тоже?

И тут возникает давний-давний вопрос, который, кажется, можно обозначить как «личность и революция». Революция — это творчество масс, это правда; но ведь правда и то, что ни в одном другом событии, кроме как в революции, не может наиболее полно реализоваться личность, а ее вождистские качества прежде всего.

Быть может, даже именно это сочетание на первый (и трезвый) взгляд несовместимых особенностей всякой революции и является психологически наиболее привлекательным, с одной стороны, для масс, с другой — для интеллигента, если он склонен не только к умозрительным заключениям, но и к самым решительным действиям в пользу этих заключений. Но это совпадение намерений, устремлений, идей и идеалов массы и личности не может продолжаться бесконечно. Будучи обязательным для успеха революции и в революции осуществившись, оно вовремя должно быть признано устаревшим.

Ведь революционные события — события стремительные, поэтому они и завершиться должны тоже вовремя, а часто и безотлагательно. Вспомним, в какие краткие сроки Ленин завершал революционные начинания и переходил к начинаниям мирного развития страны: не была еще закончена гражданская война между красными и белыми, когда он ввел «белый» нэп. Но Ленин был чуть ли не единственным исключением в истории русской, французских, английских, китайских революций. Еще в те времена, когда его партия была в подполье, он много говорил о бонапартизме, отрицая его неизбежность при захвате власти революционным путем. Ленин столь многое совершил в этом мире, что лавры Бонапарта были для него никчемны и примитивны, они попросту унизили бы его.

Но именно то обстоятельство, что Ленин избежал бонапартизма, позволило его преемникам, во-первых, утверждать, что бонапартизм вообще не свойствен большевизму, а во-вторых, в целом ряде случаев далеко-

далеко превзойти самого Бонапарта, даже и не обладая ни малейшими признаками и качествами оригинала. Вспомним хотя бы Хрущева. Тем более Брежнева.

Нет, неспроста пристальное внимание нашего общества, всего народа приковано нынче к личностям руководителей: а не произойдет ли повторение прошлого, не увидим ли мы столь знакомое?

Среди нас нет уже личностей, непосредственно прошедших школу революции, нет и тех, кого миновала бы школа культа и застоя, мы все мазаны одним миром, все мечены — и ведь как мечены-то! — одной историей, иной раз и места-то живого на человеке от этих меток не осталось.

И вот что удивительно: пусть их немного, но остались же люди, сохранились с не искаженными психикой и мышлением, хотя уже мало кто верил, будто сохраниться все-таки можно. Конечно, если таким сохранившимся человеком является ученый или писатель, так это проще объяснить, поскольку искусство и наука пусть в меньшей степени, но все-таки творчество индивидуальное. Было бы оно тоже коллективным, «от и до» организованным — разве сохранились бы хоть кое-какие признаки былой самостоятельности?

Но вот в чем еще дело: люди с идеалами подлинно социалистическими сохранились и среди тех, кто прошел всю иерархическую лестницу парт- и совработы периода застоя и даже прихватил ступени культовой иерархии тоже. Эти люди, пройдя через все должностные испытания, искривления, искажения и зигзаги, вынесли, наверное, глубокое убеждение в том, что если будет и дальше так же — катастрофа неизбежна, мы все погибнем, и вместе с нами погибнут, теперь уже навсегда, и социалистические идеи и социализм как таковой. Они убедились, что эту пагубную действительность нужно коренным образом менять, другого пути нет и не может быть — только демократия, только народовластие! Мы, народ, на такой поворот событий тоже мало надеялись, мы этих людей, занявших ныне самые высокие посты, не загадывали и на них не ставили — они сами пришли и теперь весьма энергично толкают нас к демократии и народовластию, преодолевая невероятные трудности.

Такого случая, а может быть, и такого казуса история, вероятно, еще не знала. Это совершенно новая

постановка вопроса о личности в революции, о личности в истории. Вот как она откликнулась, революция, через семьдесят-то лет!

Мы вспоминаем, мы говорим: нэп, нэп... Но если была новая политика, значит, было и новое мышление, раз было возвращение к тем или иным экономическим принципам, значит, было и возвращение к тем людям, которые эти принципы, если так можно сказать, персонифицировали, значит, пересматривалось и отношение ко всем тем, кто еще вчера числился по разряду «врагов». Я бы сказал: пересматривались отношения между людьми времен гражданской войны и «военного коммунизма». А вот эту новую, или обновленную, психологическую картину нэпа мы и не оцениваем. Не извлекаем из нее опыта. Попросту о ней забываем.

Я многое из того времени и в этом именно смысле помню до сих пор. Я жил в Барнауле, густо заселенном политическими ссыльными, с которыми мои родители поддерживали добрые отношения: интересные люди! Интересные люди были и меньшевиками, и эсерами, и «новая» ссылка в лице большевиков — уклонистов, оппортунистов, оппозиционеров. Все они воспринимались тогда просто, естественно, без той злобы и непримиримости, которую открыл год 1929, год «великого перелома». Ссылками Россию — а Сибирь особенно — не удивишь. Вот я и вспоминаю, какие были тогда занятные фигуры. Не самые выдающиеся личности, нет, а именно занятные приходят прежде всего на память.

Ну вот был такой польский бундовец и меньшевик Гвиздон, маленький, рыженький, с невероятным каким-то акцентом, в прошлом судовой механик, а в еще более отдаленном прошлом люблинский портной. Именно портновское мастерство было его страстью, но в Барнауле он шить не хотел; шил, конечно — но безо всякого энтузиазма, мечтая о Варшаве, на худой конец о Люблине.

Была у Гвиздона жена — здоровенная сибирячка Евдокия, она приносила ему рыженьких младенцев круглым счетом по два каждые три года. Однако это не мешало Гвиздону пускаться каждую весну в бега, он достигал-таки очень неспокойной в те времена польской границы, там его ловили и возвращали в Барнаул с добавкой нескольких лет к сроку ссылки. Но Гвиздон свои

сроки и не считал: десять или пятнадцать лет — какая ему разница?!

Весна — и нет Гвиздона в Барнауле, в его портновской мастерской по улице Гоголевской, и снова вздыхает Евдокия:

— Мой-то — обратно убег...

И это, эти побеги, тоже никем не воспринималось как ЧП. Больше того — они входили в наш барнаульский быт того времени, и в конце зимы по домам и домишкам улиц Алтайских (мы жили на Третьей Алтайской) ходил какой-нибудь человек, затевал с жильцами разговор о том о сем, потом распахивал шубейку — там у него висела церковная жестяная кружка — и говорил:

— На побег товарищу...

Мать уже с января начинала беспокоиться: скоро март, а у нас на побег товарищу и полтинничка нет, нехорошо, надо как-то сэкономить.

При жалованье отца 33 рубля, при цене мяса 13 копеек за фунт, квартиры — 3 рубля в месяц, при покупке то и дело книг полтинник тоже был деньгами, и отец говорил:

— Ничего, не будет денег в марте — в мае побежит Гвиздон, ему прямо в руки и отдадим наш полтинник.

А при очередной встрече с Гвиздоном происходил такого рода зондаж:

— Ты чего это бегаешь-то, Гвиздон? — спрашивал отец.— Если уж бегаешь, так и убежал хотя бы один раз!

— А-эх, Павил Иванович, Павил Иванович,—грустно вздыхал Гвиздон,— мичта! Ты понимаишь ли, что такое есть мичта?

— Ну а если реально — в чем твоя мечта? На самых первых порах в чем она?

— Спшить костьюм! Спшить костьюм и смотреть, как человик идет в моем костьюме по прошпекту Варшавскому в Люблине, совсем хорошо — по Люблинскому прошпекту в Варшаве! Он идет на засиданье министров. О-о-о! Это, Павил Иванович, это картина! Это, если так, если так, это Рубенс!

— На кого же ты хочешь шить, Гвиздон? На Пилсудского, что ли? На Рубенса?

— Тьфу-тьфу! Пилсудский — польский черносотиниц, как можно!

— Тогда на кого?

— Конично, на кто-нибудь руководителя моей партии. Только!

— Руководитель социалистической партии никогда не интересуется покроем своих костюмов!

— Заинтирисуится! — отвечал дальновидный Гвиздон.— О-о! Как заинтирисуится! Я заинтирисую!

— Хороший костюм можно сшить и в Барнауле.

— В Барнауле? Как это, по-твоему, по-русски я хочу сказать,— в зас... Барнауле? Никогда! Костьюм нужен шит на фигуру, конечно, но шить на фигуру — этому мало дела. Много дела — шить к обстановке, могу сказать — нужен шить на дворец польского сейма, на оперный театр Варшава, на костел святого Креста. Скажите мне, вот ты и Любовь Тимофеевна скажите: на какого и такого святого можно сшить в Барнауле? На какого и такого, если Барнаул — это вовси не город, а только один городской юмор? Какой и такой костьюм можно шить на юмор?

Таков был Гвиздон. Людей неимущих, ссыльных прежде всего, он обшивал бесплатно и, как помнится, в спорах на политические темы был находчив и умен. Это уже из того следовало, что нередко он говорил:

— Надо бы убижать. Надо успивать, пока ваш неп не кончался... Надо бы успивать звать Варшаву Евдокию Петровну з детками...

Но убежать Гвиздон вовремя не успел. С 1931 года он бегать перестал, а в 1937 году его вообще не стало.

Так мне рассказывали позже.

Ну а чего стоил Георгий Сергеевич Кузнецов, деятель II Интернационала, рабочий-металлист, удивительный мастер на все руки! (Он послужил мне как прототип, когда я писал Казанцева в романе «После бури».) Лишь только через газету «Красный Алтай» он выразил желание сотрудничать с советской властью, как его тут же назначили директором крупного завода на Украине, кажется в Кривом Роге. Но там Георгий Сергеевич не дожил и до 1937 года.

А врач Матвей Павлович Элисберг! Этот ссыльных бесплатно пользовал, да и нашу семью тоже. Мать так и говорила отцу:

— Пойдем, Павлуша, к Элисбергам. Поговорим, а он заодно и Сережу послушает...

«Поговорим», «поговорить», «давно не говорили», «вот уж поговорили так поговорили», «мы с ним всегда разговариваем», «я при нем молчу» — это было исчерпывающей характеристикой тех отношений, которые складывались между людьми. Радио не было, о телевидении и речи нет — были только разговоры. И не так уж просто было «разговаривать», это стоило риска. Особенно в зимнее время. Вот в каком смысле.

Собирались в каком-нибудь доме по предварительному уговору (домашних телефонов не было ни у кого, служебных раз-два и обчелся) попить чайку. Взрослые пели русские народные песни, дети веселились сами по себе, потом все вместе играли в шарады, а настало время расходиться по домам — и лица у гостей озабоченные: как бы по дороге не раздели! Риск большой, особенно на окраинах — а все наши знакомые жили на окраинах,— глубокой же ночью раздевали и в самом центре города. И при встречах знакомые спрашивали друг друга: «Ну как здоровье? А на ваших улицах нынче раздевают?»

Отчасти всех утешал доктор Элисберг.

— Ничего,— говорил он,— если разденут — я постараюсь, чтобы шубы нашли и вернули.

Доктор Элисберг работал еще и в тюрьме, в каменных постройках бывшего женского монастыря (позже в этих постройках побывали многие, если уж не все ссыльные, доктор Элисберг тоже. Погиб же он в трюме корабля, на котором заключенных перевозили на Камчатку,— так я слышал.). Воры и грабители всего города Элисберга отлично знали и часто предлагали ему свои услуги по розыску украденного или снятого. Однажды был раздет и сам доктор, но ему его шубу — с двумя большими кусками сала в придачу — принесли домой с глубокими извинениями сами грабители.

Все мы это знали, все доктору верили, но мать говорила:

— У Сережи здоровье плохое... Простудится ведь. Раздетый-то...

Был и еще один прием безопасности, который изобрел Николай Аркадьевич Швецов, красавец мужчина, бывший офицер, отвоевавший во всех войнах, которые были на его веку.

Кроме грабителей и разбойников, на ночных улицах Барнаула то и дело можно было встретить конвойных в военной форме и в штатском, которые куда-то шли

еще «пустые» или же возвращались, уже «загруженные» арестованными. В этом случае впереди шел один из конвойных, который, завидев кого-нибудь, а то и просто так, громко кричал: «Дор-рогу! Дор-рогу!»

Так вот Николай Аркадьевич шел впереди возвращавшихся гостей и тоже кричал: «Дор-рогу!» Гости шли молчаливо, меня родители везли в санках, я очень стеснялся, но ходили они очень быстро, а у меня были пимы на вырост, да еще и подшитые, в них я за взрослыми никак не успевал. И штаны у меня были очень плотные и долговременные, сшитые из байкового одеяла. Так или иначе, а бог миловал — никого из нас ни разу не раздели. Нынче, когда я вспоминаю все это, когда думаю, что́ это были за люди, я определяю их одним словом — «утописты», иногда и двумя: «русские утописты».

О чем они в ту пору вели свои бесконечные разговоры? Советской властью сосланные в Сибирь, они эту власть не ругали, нет. Несогласие было, ругани не было. Главными упреками были — жестокость гражданской войны и отсутствие многопартийной системы после войны. Но и к однопартийности присматривались внимательно: а вдруг получится? Ведь уже и получается коечто, и вполне может быть, что на каком-то этапе единовластие и единодушие достигнут бо́льшего, чем может достигнуть многопартийность и разноголосица. Надо, надо посмотреть. Надо пожить. Материальная сторона этого «пожить» мало кого интересовала.

И вот еще что: все верили в светлое будущее, причем не столь уж и отдаленное. Если большевики одни не будут справляться, что же, вот тогда они и призовут на помощь меньшевиков и эсеров, а может быть, даже оставшихся в живых кадетов. Надо, надо посмотреть, будущее России в ее собственных руках, в этом сомнений не было: от интервентов Россия отбилась.

Ну и такой вопрос: а власти-то, барнаульские большевистские власти того времени как относились ко всей этой ссыльной публике? С которой они то и дело были знакомы лично, с которой лет двенадцать, а то лет восемь тому назад, при царском правительстве, они, бывало, вместе сиживали в одних тюрьмах, в одних камерах, путешествовали в одних арестантских этапах?

Я на этот счет вспоминаю такой случай, точнее случаи. Когда мы жили на Третьей Алтайской, окно нашей комнаты выходило в палисадник соседнего дома, хозяйка которого содержала пансионат для ссыльных. Она, офицерская вдова, сдавала им комнаты и углы, готовила нехитрую пищу, стирала бельишко. А в палисаднике у нее стояли скамьи и топором рубленный длинный стол — все лето за этим столом и шли «разговоры», иногда очень громкие. Мать этот шум очень переживала: не дают, негодяи, спать Павлуше, а ему завтра на работу! Сердиться-то она сердилась, но сказать негодяям хоть слово, остановить гам и шум так ни разу и не решилась, стеснялась. Гам особенно усиливался в те субботние вечера и ночи, когда к этой компании присоединялся... секретарь окружкома ВКП(б) товарищ Нахимсон (кажется, так). Вот уж тут был шум так шум — все набрасывались на одного, один — на всех. Не смогу передать существо этих споров, не помню, да и проходили они ночью, но вот когда они вдруг смолкали, я просыпался, выглядывал в окно и видел, как товарищ Нахимсон усаживается в незамысловатую пролетку, а его собеседники, провожая, стоят вокруг. Кучер кричит: «Ну, ну, Гнедко, шевелись-ка-а-а!» — и увозит Нахимсона (на Гору, где тогда уже была окружкомовская дача), а кто-нибудь из его недавних собеседников провожает Нахимсона так:

— Узурпатор! Приезжай, узурпатор, в следующую субботу — посмотришь, что̀ от тебя останется!

В следующую субботу Нахимсон приезжал, и все повторялось сначала. Ну а если почему-то он в субботу не приезжал, вся компания заметно скучала. Одна только моя мать и бывала довольна:

— Слава богу, хоть потише будет и пораньше разойдутся!

Я же не знал такого слова «узурпатор», в нашем ребячьем лексиконе оно не значилось, и я думал, что это страшное какое-то ругательство, и стеснялся спросить у взрослых, что оно значит.

Современный мир — это такой набор общественных и государственных образований, о котором сто лет тому назад никто и не подозревал. И похоже на то, что унификации ждать здесь и не следует, а вот еще большего разнообразия — сколько угодно. Если гуманизм в на-

шем веке и существует, так он, безусловно, сказывается в этом факте, в этом разнообразии, которое как бы повторяет разнообразие характеров и судеб отдельных людей.

Тем меньше современный мир дает оснований думать, будто одно из наличных государственных устройств может быть причиной гибели другого, что социализм обязательно погубит капитализм или наоборот: капитализм — социализм. И вообще бессмысленно ждать единомыслия всех, искать общий для всех знаменатель, его не будет, кроме одного: принципа жизни для всех.

Небесполезно учесть и такой факт: столкновения между государствами на нашей памяти происходили (и все еще происходят) не столько между капитализмом и социализмом, а несравненно чаще между странами капиталистическими или капиталистического толка. Мировые войны, первая и вторая,— это сугубо капиталистическое изобретение, обращенное все к тому же принципу универсального и безудержного обогащения, ну а еще это и Доминиканская Республика, и Гренада, и Фолклендские острова, и Ближний Восток, и Египет — Израиль, и индо-пакистанские конфликты, и конфликт Иран — Ирак и т. д. и т. д. Об экспансиях, о колониальном гнете XX века, о долговых ямах, в которые одни капиталистические страны сажают другие, тоже капиталистические,— обо всем этом все мы знаем.

Вот и следует спросить: в каких условиях возникает больше шансов для мирного будущего — в социалистических или капиталистических? Именно так: предшествующая нашему времени «однопартийная», а главное, одновластная в мире капиталистическая система никак не доказала своего миролюбия, зато оправдала и подтвердила характеристику, данную ей Лениным: эпоха колониализма и мировых войн.

Собственно, капитализм никогда и не скрывал своего милитаризма, мир до сих пор был чужд ему, разве только за столом переговоров с повергнутым в прах противником он заключал «мирные» договоры, но и тут закладывал в текст возможность новых и новых войн, ведь чем ближе, чем очевиднее для него противник, тем стремительнее он развивается, крепнет материально и идейно. Ведь враг для капитализма — это самый выгодный заказчик самой выгодной продукции, то есть вооружения, а ради приобретения такого заказчика

капитал пойдет на все что угодно. Если враг отсутствует, какой другой заказчик обеспечит эти же прибыли? Нет такого! Поэтому и надо создавать врага во что бы то ни стало, надо живописать его портрет любыми художническими средствами и всей силой политического и предпринимательского воображения, чтобы он выглядел ужасным, могущественным, жестоким, коварным и вездесущим...

Чтобы оправдать такие вооружения, которые способны уничтожить врага 150 раз подряд, какой его портрет нужно создать? Тоже со стапятидесятикратными преувеличениями? И какой нужно создать ореол вокруг тех, кто этому врагу противостоит? А слава какая должна быть у живописцев, которым «свободный мир» вверяет создание портретов врага?

Об этом говорил еще Маркс (не устаю приводить эту цитату): «Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте капиталу 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживленным, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы». Однако Маркс не предусмотрел того, что прибыли производителей оружия к концу XX века достигнут... 2000 процентов.

Должен сказать, что я не раз слышал возражения на этот счет. «Нет,— говорили мне,— товарищ Маркс устарел, прибыль, процент прибыли на капитал, теперь уже не играет прежней роли, обогащение — это уже далеко не единственный стимул агрессий и агрессивных действий. Власть, стремление к ней — стимул такого рода ничуть не меньший. Гитлер же не стремился к богатству, он стремился к власти, к власти той идеи, которой он сам служил бескорыстно. Сталин умер в бедной, плохо обставленной квартире».

Однако ошибочно было бы утверждать, будто «процент на капитал» сошел со сцены, не вершит и далее судьбы человечества. Убийства, террор, мафии, наркомания, чудовищные по своей жестокости фильмы, отравления промышленностью среды обитания, невероят-

ная бедность целых народов — это что такое? Разве это не процент на чей-то капитал?

Убийство Джона Кеннеди, Роберта Кеннеди, а затем и множества свидетелей этих убийств — разве это не тот же жуткий «процент»? Все усилия, направленные на то, чтобы трагедия как можно скорее была забыта,— разве это не он?

Кроме того, «процент» так нынче научился камуфлироваться, маскироваться под благотворительность и бескорыстность, что, пожалуй, и сам Карл Маркс его бы не сразу распознал. Но все равно «бескорыстный процент» странен уже потому, что он процент, прирост, он как таковой не способен сделать бедного богатым, его назначение — обогатить богатого. Ну и еще облагородить его.

Стремление к власти, говорят нам, сильнее стремления к обогащению. Но ведь власть — это то же богатство. Может быть, это не золотые слитки, не бриллианты и не дворцы, а только возможность (иногда и не используемая) всем этим распоряжаться и владеть, но без богатства разве обходится власть в тех же США? Чего стоят там одни только президентские выборы!

А оттого, что богатство и в самом деле может играть роль не более чем средства в достижении цели — в том числе и власти,— дело опять-таки не меняется. Цели могут быть поставлены любые, для них нет ни преград, ни логики, ни исторического опыта и даже самой истории, ни обязательств перед той самой современностью, которая их порождает, цели нынче то и дело невероятнее и утопичнее, чем сам классический утопизм — тот выстрадан и воспитан тысячелетиями, а эти чем? К тому же — увы! — и классический утопизм тоже перерождается, становясь то меркантилизмом, то донельзя самоуверенным сумасбродством, и нынче его нужно оберегать, да, оберегать, и цели оценивать не сами по себе, а по тем средствам, которые они принимают на свое вооружение.

Мы — все наше общество, весь «социалистический строй» — прошли в вопросе соотношений между целями и средствами, можно сказать, великолепную школу, труднейший «спецкурс». Наш печальный опыт, на многие годы привлекший внимание мира, помог капитализму скрывать его собственные грехи и пороки, которые столь явственно обнаружились уже в 1917—1920 годы.

А что же последовало из этого сокрытия? То и последовало, что капитализм сначала вступил во вторую мировую войну, а после нее поставил мир на край ядерной катастрофы.

Нельзя отрицать того, что и в нашем обществе существует «процент на капитал»,— причем — и это парадокс, но это так и есть — даже тогда, когда и капитала-то нет. Это внушает некоторый оптимизм: легче устранить парадокс, чем тот принцип бытия, из которого парадокс проистекает. Теперь мы сами — и это следует еще и еще раз подчеркнуть — собственными силами вскрыли свои заблуждения.

Посмотрим, какие способности и возможности в том же направлении покажет строй капиталистический, который как ни крути, а может быть только процентным. Процентным по Марксу.

И так бы оно и было, стремление к обогащению самых богатых привело бы к порабощению ими всего мира, если бы не появился противовес этому стремлению — социализм. Социалистические идеи в том или ином виде существовали всегда, развития общественной мысли без них еще не бывало, если же эти идеи будут преданы — плохо будет нашему общечеловеческому делу. Если мысль существует многие века, она не может не найти себе того или иного воплощения, своего собственного строительного объекта. Социализм должен быть на земле, но вот вопрос: в каком образе и каким образом? В какой постройке? Во всяком случае не в тех, которые возводятся ради получения тысячепроцентных прибылей, поскольку доходы эти всегда имеют место за счет кого-то — чьего-то обеднения, чьих-то несчастий, чьих-то долгов. Однако этого принципа — принципа от противного — для реального социализма оказалось далеко не достаточно. Мы в этом убедились.

Социализм за все время своего государственного существования так и не обрел соответствующих форм государственности, именно в этом направлении он ищет и ищет. Конечно, это странное состояние: форма без соответствующего содержания. Но, с другой стороны, человеческие общества никогда не являлись в закон-

ченной форме и с совершенно определенным содержанием.

Такое совершенство скорее всего присуще миру животному.

Наверное, можно сказать и так: социалистическое общество, худо ли, хорошо ли, опять-таки без надлежащих навыков, законов и морали, но уже существует, а вот что касается приемлемых форм его государственности — они так и не найдены. Трудный случай, но еще хуже было, когда государство «развитого социализма» формировало, конструировало и «укрепляло» общество исключительно по своему образцу и подобию, по своим госбюрократическим представлениям и требованиям.

От этого средневекового, антиисторического, антисоциалистического, античеловеческого принципа мы ушли совсем недавно, и не только ради себя, но задача государственного устройства социализма осталась, она, мне кажется, самая существенная в процессе, который мы называем перестройкой. Решающее слово в этой проблеме нынче за нашим обществом, которое в соответствии со своими представлениями и требованиями должно строить и государственность. И как же это трудно! Мы ведь до сих пор не сформировали своих реальных требований к государству — именно реальных,— тем более не сложились у нас представления о том, какая же все-таки должна быть у нас структура госаппарата, и не временная, не переходная, а долговременная.

Почему-то до сих пор у нас бытует мнение, что нэп — это мелкие лавочники, мелкие мастерские в городе и частный сектор в деревне. А это не так. Существовало, например, Всесоюзное акционерное общество розничной торговли (АКОРТ), оборот которого немногим уступал оборотам государственной торговли. Или другой пример. Мало кто помнит нынче, что, например, железная дорога Москва — Донбасс тоже была сдана в руки акционеров и при этом приносила государству доход не меньший, чем если бы оно единолично эксплуатировало эту дорогу.

На Западе экономика именно таким путем и регулируется: приходят к власти «левые» и национализируют крупную промышленность, устанавливая в ней более легкие условия труда, сокращая безработицу, предо-

ставляя бóльшие права профсоюзам, при всем при этом, однако, производительность труда на государственных предприятиях снижается, себестоимость продукции повышается, удлиняются сроки модернизации предприятий; приходят правые, например г-жа Тэтчер, и проводят политику денационализации, а вместе с ней повышается и эксплуатация рабочего класса, повышается (правда, не всегда) и безработица, урезаются права профсоюзов, но зато повышается и рентабельность предприятий и быстрее идет их модернизация.

Между прочим, одна из первых стран, где такого рода опыт был использован в железнодорожном хозяйстве,— это Россия в бытность министра путей сообщения С. Ю. Витте. Очень интересны его записки на этот счет, поданные им Николаю II. Больше того — до революции студентам соответствующих специальностей читался курс «Железнодорожное право», в котором с достаточной полнотой излагалась теория вопроса о соотношении государственной и частной собственности.

И в самом деле, развитие той или иной отрасли народного хозяйства, как и вообще сколько-нибудь масштабная деятельность людей, может идти по единственному, безвариантному пути только в исключительных случаях, скажем во время войны или в период послевоенного восстановления. Во все другое время должен срабатывать некий регулятор, будь это «право — лево» или «государство — акционеры», но регулятор должен быть и осуществлять ту вариантность, без которой не может быть ни нормальной экономики, ни эволюционного развития. У нас ни этого, ни какого другого регулятора не было. Вот мы и зашли в тупик.

Если кто-то думает, что капиталистическое общество ничего не приобрело в результате Великой Октябрьской революции, так это ошибочная точка зрения. Отдельные капиталисты, может быть, действительно выиграли мало, а кое-кто из них явно проиграл, но что касается капиталистического общества в целом — оно приобрело многое, причем без особых усилий, а в ряде случаев и тогда, когда осуждало нашу революцию и активно противодействовало ей.

Поставим обычный в этой ситуации вопрос: а что было бы с Европой, и не только с ней, если бы наше социалистическое государство, такое неустроенное и да-

же нелепое с точки зрения истых европейцев, не оказалось бы столь стойким и способным на величайшие жертвы в войне против фашизма? Того самого, который капитализм же и породил? Как сложилась бы судьба рабочего класса на Западе, если бы Октябрьская революция не указала капиталу: не жадничай, не эксплуатируй рабочего жестоко и безоглядно — иначе и в твоей стране может произойти Октябрь! И капитализм это понял и в ряде случаев даже сделал рабочего акционером предприятия, на котором тот работает. А нынче, когда этот рабочий имеет высокий, очень высокий уровень жизни, неплохо ему было бы вспомнить, что обязан он этим не одному только владельцу предприятия, но и его учителям тоже.

Ну а западная социал-демократия? Сейчас она играет роль громоотвода: вот какая там демократия, какая многопартийность, зачем же такая крайность, как компартии? Но не будь этих «крайностей», что стало бы с социал-демократией, проявлял бы к ней лояльное отношение капитал или уже нет? Сотрудничал бы с нею или нет? Вот в Америке не имеет компартия заметного влияния, не возникает там перспективы прихода ее к власти, так нет там и социал-демократии.

Нам социал-демократы говорят: а вы не такие, какими должны быть. И правильно, мы и сами понимаем это, а нынче поняли окончательно и перестраиваемся. Но вот в чем дело: если бы социал-демократы хотя бы в одной капиталистической стране построили социализм, показали пример его мирного внедрения-врастания в капитализм! Тогда мы поклонились бы им в ноги, тогда и вправду возник бы серьезный вопрос: а зачем, собственно, существуют компартии? Но что-то не слышно о таком прекрасном примере, затеяли социал-демократы долгострой — и строят, и строят... Смежники, что ли, их подводят? Или они и не хотят другой роли, чем роль регулятора «право — лево», регулятора социальных отношений и конфликтов?

Впрочем, я не хочу умалять значения социал-демократии. Нужно помнить, что лекари не раз спасали мир, нужно предвидеть, что впереди им предстоит очень много самой ответственной работы, с которой нельзя опаздывать, нельзя передоверять ее врачам — эпидемиологам и хирургам.

Не бог весть какой положительный пример, особенно в недавние годы, являли и мы для развивающихся

стран, но тем не менее они одна за другой избирают социалистический путь. Почему так? Наверное, потому, что не сладок и капитализм, тем более в его азиатском или африканском воплощении, потому что именно социализм позволяет в определенные, исторически наиболее ответственные моменты сосредоточить все силы нации, всю ее энергию на скорейшем развитии промышленности, а если браться с умом — то и сельского хозяйства и начал культуры.

Одним словом: любой опыт любого общества — это опыт общечеловеческий.

Что такое русская классическая литература? Что такое классическая русская музыка? Что такое русская живопись, в частности передвижники? А это помимо всего прочего еще и русская интеллигенция и интеллигентность, из которой выходили творцы, умевшие выразить склад ума, устремления и все то, что мы называем духовным миром народа, создавать произведения, которые затем становились знамениями. Не знамена создавались при этом, нет, а именно знамения.

Но и это далеко не все. Русская интеллигенция, как мы теперь понимаем, в значительной мере была утопична в поисках своей духовности, в мечтах о свободе, равенстве и братстве, и это нынче опять-таки само собой разумеется, разумеется часто с усмешкой и удивлением. Но вот еще в чем дело: человек, именующий себя интеллигентом, тем самым брал на себя совершенно определенные моральные обязательства. Мерилом интеллигентности были не только убеждения, и мораль, и творчество как таковые, но и поступки.

Человек, оскорбивший прислугу, незнакомого прохожего, мужика, приехавшего на базар, нищего, сапожника, кондуктора, в интеллигентной среде не принимался, от него отворачивались, но тот же человек, надерзивший начальству, а то и плюнувший ему в лицо (тогда говорилось «в физиономию»), вызывал полное доверие.

Но доносить нельзя было ни на кого, даже на начальника. На начальника можно было подать официальную жалобу, еще лучше подать заявление об уходе с работы с изложением причины ухода: не хочу служить под начальством взяточника или еще что-то в этом

роде. Вообще грубость не допускалась нигде, кроме как в отношениях с начальством,— странно, но факт.

Карьеризм ни в какой степени не поощрялся, но в отдельных случаях был терпим: если карьерист «не забывал бедных и своего собственного достоинства» — примерно такое было правило.

Обогащение было презираемо, особенно в тех случаях, когда разбогатевший человек никому не оказывал материальной помощи. К богатому человеку не зазорно было прийти если уж не с требованием, так с настойчивой просьбой пожертвовать на такие-то и такие-то общественные и благие нужды.

Именно потому, что интеллигентность предусматривала мораль поступка и образа жизни, она и не была сословностью, и граф Толстой был интеллигентом, и мастеровой был им.

Удивительно было и то, что подавляющее большинство этих людей были интеллигентами в первом поколении — дети крестьян и мещан, дети рабочих и рабочие, поповичи и поповны, купеческие отпрыски, порвавшие со своим сословием. Интеллигенты потомственные были даже более свободны в своих поступках и часто имели увлечения — театральные, музыкальные, туристические или какие-то другие. Для интеллигентов же первого поколения интеллигентность была их самым сильным увлечением, если на то пошло — своеобразным патриотизмом. Я знаю это по своим родителям.

Кодекс интеллигентности никогда и нигде не был написан, но понятен был всем; кто хотел его понять, тот и знал, что такое хорошо, а что такое плохо, что можно, а чего нельзя.

Кроме того, интеллигентность обозначала еще и товарищество, взаимопомощь и совет. Совет в том смысле, что в любом затруднительном случае жизни человек обращался за советом к близким людям. Я помню, как моя мать говорила: «Все-таки очень жаль, что товарищ Сталин оказался малоинтеллигентным человеком. Но неужели у него нет товарищей, которые бы его поправили?» Вообще когда чей-то поступок осуждался, очень серьезным обвинением было и такое: «Поступил очень плохо, и представьте себе — ни с кем не посоветовался!» Давать советы было очень ответственным делом, люди ночами не спали — думали: вот ведь какой случай — не знаешь, что и посоветовать! К советчику шли и с упреками: вы посоветовали, а вышло вот как плохо.

Вот и поставьте себя на место человека, которому вы дали свой совет!

И еще такой был неписаный порядок: всякого рода осуждение, порицание, недовольство по отношению друг к другу редко высказывались вслух, тем более многословно — это считалось плохим тоном. Хороший тон был — дать понять. Дать понять тем, что человека переставали приглашать в гости и не приходили к нему, сухо с ним здоровались или не здоровались совсем, но это уже в самых крайних случаях. Кроме того, в каждой компании был человек, который «не стеснялся». Он и произносил в лицо осуждение тому, кто, по общему мнению, это заслужил. К такому нестеснительному относились с уважением: он может!

И еще была такая черта, как доверие. Вспоминаю, каким прямо-таки беспредельным и даже наивным бывало доверие одного человека к другому, и до сих пор удивляюсь этому.

В Барнауле зимой, в конце 1919 года, шла артиллерийская перестрелка между красными, которые занимали привокзальную часть, и белыми, закрепившимися на Горе. Снаряды летели через весь город, в котором не было ни тех, ни других. Казалось, вообще никого.

Моя мать работала библиотекаршей на Горе и каждый день ходила в расположение белых, полагая, что женщину никто не может, не имеет морального права обидеть.

И вот однажды вечером, уже темно было, мать вернулась с работы не одна, а в сопровождении белого офицера. Меня особенно поразили его блестящие сапоги. Все мы ходили в пимах (валенках), а этот щеголял в сапожках умопомрачительного блеска.

Офицер представился отцу.

— Сударь,— сказал офицер,— вашей жене небезопасно ходить вечером одной. Поэтому, пока это возможно, я буду провожать ее. Для меня это не составляет труда — моя батарея стоит рядом с ее библиотекой.

— Лучше не надо,— сказал отец.— Пусть уж Любочка ходит одна или совсем не ходит. Я уговариваю ее не ходить на работу, но она непослушная.

— Вы мне не доверяете? — спросил офицер.— Но, поверьте, я же интеллигентный человек!

— Откуда вы родом?

— Из Харькова.

— Ах, из Харькова! Действительно, очень интеллигентный город.

И офицер несколько дней провожал маму домой. Потом красные заняли весь город, белые отступили на восток.

Но это еще не все.

Хозяин нашего дома, у которого мы жили, который и не скрывал своих белых убеждений, настучал красным: у меня квартирантка, так вот ее каждый день провожал с Горы офицер-улан! И уже поздно вечером, перед самым сном, к нам пришли два красноармейца выяснять, что к чему. Хозяин стоял за занавеской — наш угол был отделен от коридора только занавеской — и слушал разговор. А разговор был такой.

— Вы Залыгин Павел Иванович? — спрашивал красноармеец постарше.

— Да, я...

— Где работаете? Кем?

— Я делопроизводитель в Алтайском союзе кооперативов.

— Почему в постели?

— Я болен.

— А это ваша жена?

— Это моя жена.

— А почему ежедневно ее провожал белый офицер? Это был ваш знакомый?

— Он был из Харькова. Больше я ничего о нем не знаю.

— Почему белый офицер провожал вас?

— Как это почему? — удивилась мать, оставаясь при этом совершенно спокойной. Не в пример болезненному и нервному отцу, она никогда и ничего не боялась (так, безбоязненно, и дожила до девяноста лет).— Наверное, потому, что этот офицер был интеллигентным человеком... — Потом она посмотрела на старшего красноармейца и спросила его: — А вы не с Урала? Произношение у вас уральское.

— С Урала... — подтвердил тот.— Рабочий. Доменщик. А как зовут вас?

— Так я и думала! Так я и думала, что вы тоже интеллигентный человек. Все доменщики — интеллигентные люди. Но тогда зачем же вы спрашиваете, почему меня кто-то провожал с наступлением темноты, да еще при перестрелке белых с красными, красных

с белыми?.. Зовут меня Любовь Тимофеевна. Но вы меня очень удивили!

— Вот и хорошо,— сказал старший красноармеец.— До свидания, Любовь Тимофеевна. До свидания, Павел Иванович. Будь здоров, мальчуган.

И красноармейцы вышли за занавеску, и я слышал, как младший красноармеец сказал хозяину нашего дома:

— Ты — падла, старик! Гляди, еще раз — и мы тебя прямо в твоей же ограде...

Ограда по сибирскому говору значит двор.

Теоремы всегда были хороши тем, что их можно доказывать, аксиомы же доказывать — бессмысленное занятие, и это в то время, как в основе сущего лежат все-таки они. Жизнь существует ради жизни, а не ради смерти — эта аксиома понятна всем, но опять-таки где они, те «все», которые это поняли и готовы этим понятием руководствоваться, кто и что они такое, если до сих пор их ни в чем нет вместе? Как могут они осуществить эту аксиому, убедившись в том, что аксиомы тоже нужно осуществлять? Какие к этому имеются средства, приемлемые для в с е х?

Аксиомы более коварны, чем теоремы. Вот мы говорим: прогресс — это главное деяние нашей жизни. Ну а если это главное приводит нас к гибели? Ведь мы же безусловно теряем здравый смысл, когда называем прогрессом и все то, что ведет нас к гибели. Если повседневное, ежечасное усовершенствование военной техники тоже прогресс, причем прогресс, запрограммированный на апокалипсис, значит, чем-то, какими-то средствами нам нужно ему противостоять, нужно менять тех, кого мы называем хозяевами жизни, менять наши собственные привычки, уклад, мышление и направление наших умственных, наших моральных поисков. А ведь это и есть социалистические поиски, именно они.

Может быть, слабость социализма заключается в том, что в основу своего бытия и мышления он то и дело берет не столько теоремы, сколько аксиомы? Может быть, аксиом вообще нет? Но ведь без истин вполне очевидных и аксиоматических мир тоже не существовал бы, он и сам по себе тоже аксиоматичен.

Социализм — это, собственно, до сих пор далеко не реализованное открытие и не реализованное же учение.

Открытие не столько новой практики, сколько новых возможностей, механизм реализации которых, однако, далеко не совершенен и до сих пор не гарантирует успеха.

Если же сопоставить общество неиспользованных возможностей с обществом, в котором все его собственные возможности используются сверх всякой меры, я лично предпочитаю первое — в нем больше разнообразия, больше надежд и, если на то пошло, неизвестности. Уж очень не хочется быть роботом. А это вполне реальный вариант в наш до предела запрограммированный век, когда само понятие бессмертия становится гораздо ближе к неизвестности, чем к программе, известной до конца, до того конца, который — апокалипсис.

И должны быть найдены средства, которые омолодили бы жизнь на планете, избавили бы ее от груза выживания, восстановили бы в своих правах идею бессмертия как таковую.

Что же это за омолаживающие средства?

До сих пор это были революции.

Трудно сказать: может быть, всесильный прогресс, который взял на себя функции пусть и научно-технической, но тоже революции, тем самым навсегда отменит революции классические, социальные, но так или иначе, а до сих пор именно они были самым сильным средством обновления человечества и человеческого духа.

Надо повторить сказанное где-то выше: человек выжил в пещере не только потому, что он в ней родился и к ней приспособился, но и потому, что он вовремя из нее вышел. Если бы не вышел — он бы погиб. Вероятнее всего, что он дотянул в ней до последнего, когда его стали мучить пещерные болезни и эпидемии, пещерные же социальные и семейные отношения тоже складывались невероятно тяжело, уж это так!

Ведь даже рабовладение и то требует бóльшего пространства, чем его предоставляет пещера, и вот чтобы избежать пещерного апокалипсиса, человек покидает ее. Навсегда. А этот уход был революцией.

В силу тех же обстоятельств человек входил и выходил из апокалипсиса феодального, а если он вошел в капитализм, значит, должен будет куда-то выйти и из него. Вряд ли можно полагать, что капиталистическая система и ее цивилизация способны к тому самоусовершенствованию, которое привяжет к ним человечест-

во навсегда. Пока что этому нет подтверждений, а вот навыки мировых войн он привил человечеству успешно, больше того — привил гонку вооружений как обязательное условие существования любой сколько-нибудь заметной на карте мира страны.

И все это происходит из того же принципа наибольшего обогащения. (Знаю, что повторяюсь, но все-таки повторяюсь.)

Интересно, если бы производство вооружений в США вдруг перестало приносить предпринимателям доходы, если бы оно стало убыточным, как далеко были бы нынче переговоры между США и СССР о разоружении?

Я задал этот вопрос президенту Рейгану на его встрече с писателями в Доме литераторов. Он подумал и не ответил.

Наши технические возможности возникают из потребностей, потребности — из возможностей, круг замыкается. Он изолируется от всего остального мира, от тех условий, в которых существует Земля и ее природа, от природных начал и замыслов. Человек — производитель и человек — потребитель, ничего другого он уже не может, не представляет собою, не хочет ни придумать, ни разгадать. Производя бесконечный ряд предметов собственного потребления, он и сам вписывается в этот ряд под номером один. Но если предмет номер один — это предмет-конструктор, а все остальные предметы — конструкции, дело от этого в принципе не меняется. Ряд один, и в нем конструктор неизбежно приобретает свойства своих собственных конструкций, а все свойства окружающего мира тоже сводит к тем же параметрам. Человек познает себя уже не в окружающем мире, а в мире своих собственных потребностей, хотя бы и ирреальных. Само будущее для него теперь тоже предмет потребления. И как таковой уж вполне сравним и сопоставим с другими предметами. Лишенный качеств духовных, этот предмет тоже может быть и приобретен и потерян, и вот уже нам не столь невероятным кажется его потеря. Потерять, скажем, собственную автомашину, может быть, даже и пострашнее, чем потерять будущее человечества?

Между тем все еще существует природа с таким множеством собственных законов, сфер, соединений и предметов, которые человеку никогда не надо будет

постигнуть, которое благодаря этой бесконечности становится беспредметным и неконструируемым. И она, природа, и сегодня все еще предоставляет человеку возможность выбора пути своего развития, минуя и ирреальное производство, и ирреальное потребительство, она как бы настаивает на восприятии человеком тех нравственных и в общем-то таких очевидных «хорошо» и «плохо», «можно» и «нельзя», которые когда-то ею же в человека были привнесены.

Без них, без этих нравственных начал, человек уж давным-давно изничтожил бы сам себя, без них человек не вписался бы в природу, без них он никогда не обладал бы всем тем, что мы называем разумом. Разум всегда был нравственным, а если нравственность из него изымается, нельзя сомневаться в том, к чему это приведет.

Какими бы доводами ни прикрывалась необходимость войн в капиталистическом обществе, суть их все та же: обогащение, приобретательство.

А в социалистическом? Нам-то что обещают войны? Если мы и обретали где-то и какое-то территориальное влияние, так только на свою шею, поскольку такого рода обретение требовало и требовало от нас все новых вложений, совершенно непродуктивных, невыгодных и обременительных, отдачи от них не было никакой, одни убытки. Тем более что мы и со своими исконными территориями управляемся из рук вон плохо и часто не знаем, что с ними делать.

А тогда что же все-таки двигало нами в этих случаях? Двигала политика. Очень странная, убыточная, разорительная, но она. Мы ведь не в пример капиталистам считали свою политику статьей не приходной, а расходной и внутри страны, а тем более вовне. Такое место политики в жизни государства и общества приводило к столь же странной, если не сказать больше, психологии.

Во второй мировой войне мы были победителями и, если так можно сказать, чересчур хорошо усвоили этот факт. Действительно, победив фашизм, мы покорили весь мир, покорили морально, поскольку все были нам признательны, все восхищались нашим героизмом, нашей безоглядной готовностью к любым жертвам. Нам бы воспользоваться всем этим, тем более что это было еще и признанием социализма и мирового коммунистического движения, которое тогда-то и приобрело давно

не виданный размах, сравнимый разве только с годами, последовавшими сразу же за первой мировой войной, но мы возгордились, позиция силы стала нам близка и слишком уж понятна.

Конечно, сегодня никак нельзя сбрасывать со счета тайную и явную подготовку к войне против нас вчерашних наших союзников. Они без особого на то основания еще во время войны 1939—1945 годов, судя о нас прежде всего по нашему внешнему виду и облику победителей, сильно нас испугались, создали атомную бомбу и, глазом не моргнув, дважды испытали ее на мирных жителях Хиросимы и Нагасаки, на своих противниках в той войне и своих союзниках по социальной системе. Вот так: одного испытания им показалось мало, они провели его дважды и тем более почувствовали себя героями.

И действительно, нам никак нельзя было не создать равноценного оружия, на нашем месте это сделал бы каждый. Но когда мы «уравновесились» с США, вот тут-то и надо было, наверное, проявить большую гибкость, дипломатичность и выдержку, но мы стали пугать мир тем, что будем производить ракеты, как сосиски. Это было тем более рискованно, что сосисок в достаточном количестве у нас со времен нэпа не было никогда.

Кроме того, мы полагали, что лучше, чем наш «развитой социализм», который к 1980 году обязательно станет полноценным коммунизмом, ничего на свете никогда не было, нет и не будет, а все, кто этого не хочет понять и внутри страны и вне ее,— наши безусловные враги. С внутренними врагами разговор был короткий, с внешними — никакого разговора, мы до этого не снисходили, зато хотели нашу социалистическую модель видеть и в Азии и в Африке, даже если речь заходила о кочевых племенах. Нами и здесь руководил принцип «чем больше, тем лучше», и здесь нужен был вал. Мы не хотели верить и тому, что какое-то из социалистических государств может оказаться и поумнее нас и сделать у себя дома лучше, чем делали мы.

Если бы в 1968 году мы не вмешались в чехословацкие события, нынче весь наш социалистический лагерь, наверное, выглядел бы достойнее и убедительнее и перед нашей перестройкой встали бы не столь трудные

задачи, что-то осталось бы уже и позади, какой-то кредит доверия мы дополнительно обрели бы и во всем мире. Знаю, что на этот счет существуют разные точки зрения, моя — такова. Так или иначе, но у нас оказались утерянными и гуманистические, и самокритические критерии по отношению к самим себе, зато по отношению к нашим противникам они все возрастали и возрастали. Я думаю, что даже если бы опыт 1968 года был продолжен и оказался отрицательным, это все равно был бы опыт, причем ценный.

Именно потому, что мы всегда ругали капитализм за его агрессивность и милитаризм (а я и сейчас ругаюсь по этому поводу почти беспрерывно), нам надо было быть в этом вопросе более сдержанными и деликатными. Мы справедливо осуждали агрессию США во Вьетнаме, но не сделали из этого осуждения надлежащих выводов для самих себя, мы вообще были склонны заимствовать от капитализма то худшее, что в нем есть, тем самым подавляя то лучшее, чем хотя бы и в потенциале, но мы обладали сами.

Все это и еще другие моральные ущербы перед лицом всего мира скрывалось от своих граждан; в предположении, что в подобной глупости может быть заключена некая мудрость, причем не доступная никому, кроме нас, что и такого рода внешняя политика, отгороженная от собственных граждан сооруженной на скорую руку китайской стеной, это тоже не что иное, как «развитой социализм». Меньше всего руководящие «мудрецы» интересовались тем, сколь пагубно эта изоляция от мира и эта ложь сказывались на внутреннем мире нас, советских граждан, как порождалось диссидентство в самом широком смысле, а не только в смысле эмиграции за границу. Эта последняя в свою очередь была как идейно убежденной, талантливой, так в еще большей степени бездарной и безнравственной, существующей за рубежом исключительно поношением, поношением своего вчерашнего отечества, благо что поносить действительно было что, а ставки на поношение были за рубежом достаточно высокими. Недаром, например, Андрей Синявский утверждал не раз, что эмиграция так и не создала за рубежом ничего значительного в литературе. Ну разве два-три имени «там» только. Не сыграла она никакой роли и в изменении нашего курса — все, что произошло здесь у нас, произошло исключительно здесь.

Наша армия (а любая армия — это еще и внешнеполитическая организация, поскольку она ориентируется на внешнюю политику), в которую на каждом шагу внедряется политика, именно политики-то и не получала, а только такой ее суррогат, из которого можно понять, что уставы и политика обязательны для солдата, но для начальника они нужны тем меньше, чем выше он по должности. Отсюда и такие явления, как дедовщина, и подобные ей. Но не все то печатается, что мы хотели бы напечатать.

Мы и не заметили, как научились заимствовать из своего прошлого опять-таки все худшее, что в нем было. И все-таки...

Все-таки как все мы воспрянули после того, как заговорили с миром откровенно, на общечеловеческом, а не только на своем птичьем языке, полном то вопиющими умолчаниями, то поношениями, на котором и по сию пору пишутся романы клюквенно-информационного содержания. И тем не менее оказалось, что общечеловеческий язык нами отнюдь не утерян, что мы многое можем рассказать и объяснить миру, а он пусть не во всем, но готов понять и принять наше дело и как свое дело. Опыт существования любого народа — это ведь всегда опыт человечества, чем больше человек испытал и перенес, тем с большим интересом и сочувствием к нему относятся окружающие. Тут, кстати, надо заметить, что интерес к России издавна поддерживался еще и этим именно обстоятельством — выпавшими на ее долю испытаниями.

Вот здесь-то мы и оказались действительными провидцами — когда поверили в себя не замкнутых, а в открытых, когда поверили в то, что человечество нас поймет не только как открытых, но и как достойных и необходимых жителей современного мира.

Социалистические идеи возникли задолго до социалистов, тем более задолго до капитализма, уже тогда, когда человек осознал себя существом общественным, обязанным и мыслить — тоже общественно. Едва он понял, что у него есть будущее, он тут же увидел в материальном обогащении самого себя причину своей гибели, а в свободе, равенстве и братстве, хотя бы и относительных и не так, а как-то иначе сформулированных,— свое спасение и бессмертие.

Прежде чем появились социалистические учения, были сказки, мифы, утопии — вот откуда они пошли-то, эти учения, вот с каких пор люди мечтали об их воплощении в жизнь!

Другое дело — капитализм. Он был предусмотрен программой обогащения, но ждать-то его никто не ждал ни в практике, ни в теории, ни в религии. Никто о нем не мечтал, и в этом смысле он возник явочным порядком. Он пришел, огляделся: кто тут за равенство и братство? кто за них в вековечном их понимании? вот я вам покажу, что значит свободу любить, покажу кузькину мать! И показал! Показал, но пороха не выдумал — как начал с принципа обогащения, так и пробавляется им до сих пор. В самом себе он новых ценностей уже не найдет, в чем-то другом не ищет — самоуверенность не позволяет. Паллиативы предложены им неплохие, но ведь и самый хороший паллиатив — это только он и ничто другое, принципов он не меняет. Принципы остаются прежние: священная необходимость врага, производство все нового и нового оружия, новые пещеры — те самые лаборатории, которые конструируют и совершенствуют средства массового уничтожения людей. Куда и как из них выйдешь, если они дают до 2000 процентов прибыли в год? Куда и как?

Идеи нельзя заменить цивилизацией. А те социально-нравственные «хорошо» и «плохо», которые человек понял на заре своего общественного существования, но которые так и остались нереализованными до сих пор, должны быть реализованы или сейчас в течение очень краткого срока, или же им не быть никогда, потому что и самого-то человека уже не будет. Эти «хорошо» и «плохо» и запрограммировать нельзя, просчитать нельзя, узаконить нельзя, хоть умри.

Намерения такого рода не сейчас возникли: еще римское право пыталось ввести в законодательные параграфы такие универсальные понятия, как «добрая совесть» и «справедливость», но это не удавалось ни тогда, ни позже, они, эти понятия, заложены не в юриспруденции и не в науке вообще, тем более не в технике, а в том социальном устройстве, которое наиболее полно способно использовать духовный опыт человечества. Науке, а в частности юриспруденции, отводится при этом лишь роль охранителя этих высочайших понятий, а отчасти их толкователя, но никак не создателя и открывателя.

Природа человека в общем-то для науки недосягаема; подлинным учителем и толкователем ее у нас не был даже и Вернадский, но были Толстой и Достоевский. Общество, которое в большей степени сохраняет нынче этот духовный потенциал, эту энергию, обладает и большими перспективами в будущем. Даже если его настоящее или недавнее прошлое омрачено грубейшими нарушениями все тех же «хорошо» и «плохо», главных нравственных начал. Мы эти начала в значительной мере подорвали, должно быть, так. Но мы глубоко осознаем и переживаем эту потерю, а это значит — потеряно не все.

Россия, страна Толстого, Достоевского, прошла в XX веке страшную и страдальческую историю. Страдания не только убивают и калечат, страдания возвышают...

Революции — это в истории нового времени прежде всего революции социальные, и они европейское изобретение, творения прежде всего христианского сознания.

В сознании христианина жили и Христос и Антихрист. Христос был персонифицирован, Антихрист — в такой же степени — нет, но в общем-то дилемма существовала всегда, несмотря на то, что церковь никогда не хотела этого — она хотела единовластия над умами, хотела единолично владеть идеей бессмертия, быть ее единственным и непререкаемым носителем и вот всячески компрометировала Антихриста. Антихриста церковь, наверное, напрасно сделала своим врагом, поскольку ни одна религия опять-таки не существует без своего собственного врага и дьявола. Хуже другое — предавая дьявола проклятию, церковь тем самым отвергала и полемику с ним, свела ее к минимуму. Без полемики же, без активных оппонентов ни одна философия, в том числе и теология, существовать не может, она перерождается в догму.

Христианство, само возникшее из жесточайшей борьбы мнений и верований и столь тщательно заботящееся о сохранении собственной истории в памяти людей, именно об этой стороне дела постаралось забыть, и, таким образом, в догму было возведено само понятие бессмертия — и рода человеческого, и христианского учения,— и все это в то время, как за образом Антихриста стояла гипотеза конца света, учение отнюдь не бессмысленное и отнюдь не безнравственное, скорее

наоборот, поскольку предупреждение о грядущей катастрофе всегда нравственно.

Дальше: церковь не раз отождествляла Антихриста с социальной революцией, в то время как именно через революции человечество и обновлялось, отодвигало сроки конца света — если уж не всеобщего, так по крайней мере европейского. Что́ бы сейчас представляли собою Франция, Германия, Италия, Испания без своих революций?

Революции тоже отнюдь не обходились без оружия. Это так, но как могли они поступать иначе, если против них выступала вооруженная контрреволюция? Нельзя же принять на веру условие, по которому вооруженная контрреволюция — это естественно и это во благо, а вооруженная революция — это противоестественно и во зло?

Контрреволюции всегда были арсеналами вооружений, и чем дальше, тем больше присваивали себе право владеть ими, а церковь, провозглашая мир на земле, этого права всерьез не оспаривала, полагая, что кровь пятнает только революции, но никак не контрреволюции. Итак, социальные революции и религии всегда располагались на разных полюсах, в самые же ответственные моменты истории они становились особенно яростными врагами, забывая даже и о том, что и те и другие в конечном счете стремятся к усовершенствованию мира, что это стремление неизбежно определяет и некоторое сходство между ними, не может не определять.

Революции тоже не обходились ни без веры, ни без фанатизма. И те и другие — явления массово-исторические. Революции объявляют себя категорией научной и объективной, а религии клеймят мракобесием. Религия действительно долгое время чуждалась науки, но времена меняются, и вот уже религия ищет союза с наукой, а наука проявляет интерес к этому сближению, задумывается над религиозными постулатами и кое-что объясняет религии в ней самой.

Не пора ли и революциям, если уж они так научны, через науку посмотреть на религии? Более терпимо?

Не пора ли и пастырям, религиям и революциям, где-то уже совершившимся, а где-то назревающим, а также и науке подумать о том, что все они, издавна спасая мир, саму идею бессмертия оставили неподготовленной к самозащите?

А между прочим, история уже на моей памяти однажды предоставляла людям шанс, только они не воспользовались этим шансом. Это было в 1917—1918 годы, когда на фронтах первой мировой войны началось братание солдат воюющих армий. Если хотя бы однажды армии пришли к миру через головы своих генералов и правительств, как это призывал сделать Ленин, если бы русские и немецкие революции победили тогда в этом своем главном, основополагающем и антивоенном смысле и значении, если бы имел место такого рода прецедент — мир изменился бы неузнаваемо и вряд ли появились бы условия для возникновения войны второй мировой. Но контрреволюция и тогда взяла верх, и скоро уже вторая оказалась неотвратимой, она была еще более жестокой, более бескомпромиссной, чем первая, и ни о каком братании речи уже не шло, зато оставшийся в полной сохранности милитаризм породил фашизм. А это до сих пор лежит ведь на чьей-то совести. Надо бы разобраться — на чьей?

Но как тогда, так и теперь выход и надежды прежние: воздействие народов на свои правительства всюду, где этого действительно требует задача выживания, а она требует этого везде.

Да, именно революции как ничто другое восставали против самых жестоких несправедливостей, против самых бессмысленных бессмыслиц, возникавших в истории человечества,— и прежде всего против войн. Если не все, так многие из них противопоставляли себя войне — так бывало во Франции и в Германии, так в 1905, а затем и в 1917 году было в России, и эти факты нельзя не отнести к духовному достоинству и потенциалу Октября.

Да и сами масштабы Октября тоже зависели от масштабов предшествовавшей ему мировой войны. Когда капитализм был полновластным хозяином на земле, ему надо было подумать о будущем и внять предупреждениям марксизма. И если уж капитализму кого-то винить в социалистических революциях, так прежде всего самого себя.

Правительство Николая II не вняло даже такому грозному предупреждению, как революция 1905 года, не вняло и своему ближайшему вполне искреннему союзнику — партии конституционных демократов (ка-

детов), разогнало их съезд, посадило в тюрьму и послало в ссылку почти всех его участников. При первой же возможности — и даже при невозможности этого, вопреки здравому смыслу и собственным интересам — оно отобрало у народа даже те более чем куцые уступки и права, которые были следствием 1905 года. И как это всегда бывает во всех случаях ужесточения режимов, оно стало готовиться к следующей войне во имя призрачных приобретений новых территорий и укрепления собственной власти.

Война состоялась. Как всегда, совсем не та, которая замышлялась и планировалась, которая привела к последствиям, диаметрально противоположным тем, которые намечались.

Главное последствие: европейские революции 1917 года и последующих лет.

Да, первой мировой войне не оказалась противопоставленной мировая революция. Как мировая она не состоялась, но как препятствие на пути к апокалипсису значение Октября нельзя приуменьшать — факт противопоставления мира войне состоялся.

Поначалу Октябрьская революция была одной из самых бескровных революций — по крайней мере в первые полтора-два месяца. Позже возникло белое движение, но и его силы иссякли к весне 1918 года, и тут новая Россия могла бы вздохнуть полной грудью, но во внутренние ее дела незамедлительно ввязался капитал международный — он поднял чехословацкий мятеж, он более чем десятью разноязычными армиями оккупировал юг, север, запад и восток России.

И вот уже и Колчак, и Врангель, и Деникин приторговывают русскими территориями, продают их за обмундирование и вооружение, которое осталось у союзников от мировой войны и девать его некуда, а тут представляется возможность столь выгодной коммерции! Или: кто-то на севере вывез через Мурманск на миллион фунтов стерлингов леса, значит, и на юге нельзя оплошать, и с юга погружается на корабли три миллиона пудов зерна. Тут зевать нельзя, успевай пограбить истерзанную, измученную, обнищавшую страну.

Октябрьская революция имела целью быстро ликвидировать ту техническую отсталость, которая мешала России с допетровских времен,— благая цель, но и тут не было даже признаков понимания со стороны ее «друзей».

Что бы и теперь, в 1989 году, думали о нас англичане, если бы мы лет семьдесят тому назад оккупировали север Шотландии и устроили бы там концлагеря и вмораживали бы в огромные ледяные сосульки живых людей? И погубили бы 52 тысячи британских граждан? Что бы думали американцы, если бы наши войска в те же сроки высаживались в Калифорнии? Что бы думали о нас в Канаде, если бы в сравнительно недавном прошлом не канадские войска маршировали по улицам Омска, а советские по Ванкуверу? Но и то правда, что о России во многих странах издавна привыкли судить более чем своеобразно, и это давнее отношение Советская Россия испытала на себе вполне.

Если речь шла о защите Европы от нашествий татаро-монгольского, шведского, турецкого, наполеоновского, а позже гитлеровского, тогда Россия была о'кей, тогда, как свидетельствовал Александр Твардовский, «а «спасибо» все по-русски говорят»; но уже на другой день после победы многим хотелось бы, чтобы Россия стала небольшой такой и смирненькой страной, скажем, Люксембургом. Но так в истории не бывает, и поскольку социализм случился не в Люксембурге, а в России, он и испытал на себе сполна всю историческую алчность и несправедливость современного ему «цивилизованного» мира.

Мы, народ, не перед кем-нибудь, а сами перед собой не оправдаемся в тех напрасных жертвах, которые были совершены под знаком «социалистического строительства». Мы о них помним, ими мучаемся и страдаем. И хотим спросить: а мучаются ли, страдают ли другие сравнительно молодые человеческие общества теми жертвами, которые в свое время они принесли на алтарь своего благополучия? Мучаются ли французы жертвами своих собственных революций или тех потерь, которые они нанесли Алжиру и Вьетнаму? Мучаются ли американцы тем, что истребили на всем континенте индейцев, а с другого континента привезли миллион чернокожих рабов? События давние, могли, конечно, забыться, но если они и в самом деле забыли — дело плохо.

Или вот еще об одном интеллигенте — Викторе Ивановиче Верещагине, который преподавал мне в сельхозтехникуме ботанику.

Не очень точно, но я помню о нем, что он был уроженцем Симбирска, окончил Петербургский университет и вот куда подался — в Барнаул. В барнаульском реальном училище преподавал он ботанику в течение учебного года, а летом путешествовал по Горному Алтаю. Виктор Иванович путешествовал не напрасно: пятнадцать растений и поныне читаются с приставкой «верещагинус» — все они были открыты им.

Он был дальним родственником художника Верещагина и учился в симбирской гимназии вместе с Лениным.

Говорил Виктор Иванович очень тихо, почти шепотом, и выступать не любил, но однажды его уговорили выступить, рассказать о Владимире Ильиче. Он и рассказал: хороший был мальчик Володя Ульянов, очень способный, начитанный, всегда делал все уроки, но не любил, чтобы у него списывали... Ах, не любил?! — и поехал наш Виктор Иванович в Туруханск, как раз в те места, где некогда пребывал и Сталин.

Прошло несколько лет. Однажды летом ехал я, студент, на каникулы в Барнаул, в Новосибирске была у меня пересадка, и вот смотрю — в зале ожидания сидит мой Виктор Иванович. Конечно, он: седой уже, в пенсне со шнурком, с бородкой клинышком, в сапогах и в грубом таком плаще, которые в ту пору назывались дождевиками, наверное, потому, что ни один дождь промочить их не мог. Я подошел, мы поздоровались, и Виктор Иванович спросил, на каком факультете я учусь. Я сказал — на гидромелиоративном.

— Ну вот и жаль! — сказал Виктор Иванович.— Из тебя, Сережа, мог бы получиться неплохой агроном. А теперь получается, что я зря учил тебя ботанике...

Настала и моя очередь спросить о чем-нибудь Виктора Ивановича.

— А вы в Барнаул? — спросил я.

— Да... домой.

— А вы... оттуда?

— Ты что имеешь в виду — Туруханский край? Ну да, я оттуда.

— Наверное, очень соскучились? За все эти годы-то?

— Нет, Сережа, из тебя хорошего агронома не получилось бы... — вздохнул Виктор Иванович.— Нет, нет! Ты сообрази — сейчас какой месяц?

— Месяц? Июль...

— Вот видишь — июль. Какая половина июля?

— Конец месяца...

— Вот видишь — конец. Что в конце июля делают растения?

— Как что? Они — растут!

— Все-то ты забыл, Сережа, все, чему я тебя учил, ты забыл. Растения сейчас уже почти и не растут, они — цветут.

— Я не о том, Виктор Иванович. Я о том, что вы, наверное, очень соскучились?

— Растения цветут — значит, время собирать гербарий. Самое время, а мне говорят: «У вас срок ссылки кончился, поезжайте домой». Я говорю: «Я собираю гербарий, оставьте меня до конца цветения, хотя бы недели на две-три!» Мне говорят: «Нельзя» — и грубо так говорят-то... Пришлось уезжать. А ты говоришь...

Напрасно уж так-то печалился Виктор Иванович: не знаю, по какой причине, но только года через три-четыре он снова оказался в Туруханском крае. И снова вернулся в Барнаул.

Ну а дальше такое стечение обстоятельств: в пятидесятые годы я в качестве гидролога принимал участие в лесной экспедиции Западно-Сибирского филиала АН СССР. Начальником экспедиции был профессор Г. В. Крылов. Мы шли примерно по тем же маршрутам Горного Алтая, которые проходил в свое время еще до революции и в двадцатые годы В. И. Верещагин, только он обследовал речные долины и прилегающие к ним склоны, а мы изучали верхнюю границу леса, шли по кромке снегов и смотрели на реки, поймы и долины сверху вниз, как бы с высоты птичьего полета. Смотреть сверху вниз было очень красиво, все это так, но как же мы рвались домой, когда наступали календарные сроки окончания экспедиционных работ! И красиво и интересно, а вот поди ж ты...

Вспомнилась мне еще раз встреча с Виктором Ивановичем Верещагиным на новосибирском вокзале, когда мы с профессором Крыловым писали о нем некролог в «Ботанический журнал» АН СССР. В. И. Верещагин умер в возрасте девяноста шести лет.

Нет у нас надежного метода освоения собственного опыта. По своей значимости для нас и несколько лет — уже эпоха, мы так и говорим: эпоха «военного коммунизма», эпоха нэпа,— хотя это были всего-то-навсего

считанные годы. Уж из анализа эпох-то, казалось бы, можно и должно извлечь нечто полезное и необходимое. Но мы не извлекаем, не оцениваем кропотливо все составляющие каждого предшествующего периода, отвергая его в целом, хотя даже и части этого целого — тоже бесценный опыт.

Вот мы ведем разговоры прежде всего о том, чем был для нас нэп — временным или договременным явлением, вовремя отказались от него или преждевременно, рассматривая нэп прежде всего как политику, но не как экономическую систему. Но в нэпе была еще одна на все времена бесспорная составляющая: нэп был объявлен одновременно с режимом строжайшей экономии, и государство уже тогда, вкладывая огромные средства в промышленность и отчасти в культуру, не гнушалось экономить не только рубли, но и копейки, умело определять эффективность своих вложений, умело привлекать к проблеме экономии массы. Я хорошо помню, как все это «сознательно» делалось.

Ну а если эта составляющая нэпа бесспорна, почему же она забыта теперь? Почему, живя бедно, мы так расточительны? Почему вся страна завалена ржавым железом и гнилой древесиной?

Оценить бы нам наши ресурсы, земли, воды, недра, леса в рублях за гектар, за кубометр — и богатства использовались бы гораздо разумнее.

Оценить горнорудные ресурсы — и горняки не снимали бы сливки с месторождений, разрабатывая только те пласты, на которых можно показать самую высокую производительность.

Пусть кубометр воды хоть что-нибудь, но будет стоить для Министерства водного хозяйства — и тогда оно не будет протаскивать проекты умопомрачительной стоимости.

Пусть каждый кубометр леса на корню будет иметь хорошую стоимость — и тогда в дело пойдет не 3—5 процентов от объема вырубок, как это имеет место сейчас, а гораздо больше.

У нас до сих пор не определена роль денег в нашем обществе. Как подорвали их значение в пору «военного коммунизма», так и до сего дня деньги имеют у нас двойственную роль. В личностном, частном плане деньги для нас как деньги — мы знаем им цену, не швыряем на ветер, распределяем до получки. В масштабе же государственном и производственном этого и в помине

нет! Продажная цена продукта у нас запросто может быть в несколько раз ниже его себестоимости, а колхозу сплошь и рядом выгоднее получить низкий урожай, чем высокий, быть беднее, а не богаче — бедному положена дотация. Предприятие у нас получает задание на прибыль, но оно лишено реального права выпускать доходную продукцию и определять ее цену. Министерство отчитывается не в рублях проданных товаров и услуг, а по «освоению средств», по вводу в строй новых объектов. Какова их рентабельность и кто ее доказал, в каких единицах? Нет ответа.

Кто подсчитает природные ресурсы, израсходованные министерством, если они ничего не стоят? Опять — некому. Опять — нечем. Природные ресурсы расписаны у нас за ведомствами, они и становятся хозяевами природы, но ведь никому, даже самому себе не подотчетный хозяин — это такой браконьер, которого свет не видывал. Свет вообще еще не видел браконьерства от имени государства в подобных масштабах. Даже мы сами и не представляли, будто нечто подобное может иметь место. При социализме — и вдруг!

Идет, положим, рассмотрение некоего проекта природопользования, и в качестве заглавного лица выступает предсовмина одной из ССР или АССР или предобл(край)исполкома, он говорит: а нам этот объект нужен, мы — за! Почему за? Очень часто только потому, что собственные-то средства на местах урезаны до минимума, ничего на них не построишь, а тут приходит богатый дядя-министр: а я сделаю! А только прозвучал голос местной власти (его же принято считать и гласом народа) — и экспертов, ученых и инженеров, уже не слышно: если республика просит и даже требует — надо пойти ей навстречу, она-то знает свои нужды лучше, чем кто-то другой. И вот проект утвержден. Принято и так говорить: согласован. Для нас согласование (в инстанциях!) — это все. Если ты «согласован» — ты гражданин, который может быть куда-то и назначен, и выбран, и прикреплен. Наша экономическая система полностью согласована с системой социальной а социальная, тоже полностью,— с бюрократической.

Бюрократичность же социалистической системы, по крайней мере в ее современном виде,— ее непременный атрибут. Управлению придается ничуть не меньшее, если не большее значение, чем производству. Кто по-

ставит разумные пределы управлению и численности управленческого аппарата, если все принадлежит всем, а каждому — ничего, кроме определенной доли государственного расхода на зарплату рабочим и служащим аппарата? Значит, чем эти расходы будут больше, тем для аппарата лучше и способнее.

Мало того, в этих условиях проблематично становится определить и эффективность стратегических затрат, таких, например, как затраты на здравоохранение и просвещение, тем более таких нетрадиционных, как затраты на экологическую безопасность.

Бюрократизма не миновало ни одно не только развитое, но и весьма неразвитое социалистическое государство. Похоже, покуда социализм не нашел средств борьбы с этим внутренним своим пороком, он не создаст здоровой экономики, конкурентоспособной с экономикой капиталистической.

Чем больше потребляется нами полезных ископаемых, вообще природных ресурсов, тем большей прожорливостью и экстенсивностью отличается народное хозяйство страны, поскольку увеличение производства происходит именно за счет этих ресурсов, а не за счет внедрений новых технологий, новой организации труда и материалов-заменителей. Но аппетит этот не от здоровья — от болезни. Чем больше потребляется сырья, тем ниже производительность труда. Тем больше нужно механизмов. Тем бóльшие расходы на транспорт, перевалки и складирование, тем больше потери. Тем скорее исчерпываются ресурсы. Тем больше возникает необходимость строительства все новых и новых объектов и добывающей и производящей промышленности при минимальной производительности последней, при максимальной стоимости единицы продукции.

Итак, круг замкнут: перемалывание ресурсов толкает народное хозяйство на путь прогрессирующей экстенсификации. Недаром промышленные страны наращивают производство за счет его собственной интенсификации, оставляя прирост использования ресурсов на неизменном (нулевом) уровне или допуская самое незначительное его повышение, не более 3—4 процентов в год. Дальнейшая интенсификация промышленности развитых стран ставит нас в тем более невыгодное положение, что они снижают закупки у нас нефти, газа, леса, руд, на продаже которых мы только и создаем свой валютный фонд, который в свою очередь предна-

значается прежде всего для закупок за рубежом современного промышленного оборудования.

Об экологических аспектах опять-таки и говорить нечего. Не зря ведь до сих пор скрывают у нас от населения масштабы надвигающейся катастрофы, не позволяют пользоваться счетчиками Гейгера (и не выпускают их), не пропускают в печать сведений о воздействии на сельхозпродукты гербицидов, о степени загрязнения атмосферы и вод. Уж мы-то в своей редакции знаем об этом не понаслышке!

Экологическое выживание, или проблема бессмертия, встает перед нами отнюдь не в перспективе, а в нашей повседневности. Именно поэтому я всякий раз возвращаюсь к одной из таких жгучих проблем — к проблеме водного хозяйства — поскольку я занят ею давно, уже полвека.

В нашем бесхозяйственном, нелепом хозяйстве мы взрастили крупных деятелей безответственной ответственности, которая знает только два показателя: выполнение плана и невыполнение плана. Нужен ли кому-то этот план, разумный он или порочный, отпущены под него реальные средства или нет, помогает он выполнению планов непосредственными производителями материальных ценностей или мешает им — это интересует их только на словах. Весь интерес, хотя и обозначается «развитием отрасли», на самом деле сводится к «развитию ведомства».

Потеряв такой показатель, как результативность той или иной деятельности, отчитываясь по графе «Освоение средств», мы потеряли и способность предвидения реальных последствий этой деятельности. У нас первична политика. В результате экономика превратилась в закомплексованный, задерганный придаток политики. Притом не самой лучшей.

Капиталистический способ производства выигрывает перед нами еще и тем, что он не смешивает одно с другим (попробуй смешай!), так что если даже государство ведет не бог весть какую разумную политику, его экономика все равно может оставаться на высоком уровне эффективности. А наши ведомства свою отраслевую экономику (а вернее, полное отсутствие ее) заменяют трижды узаконенной прозатратностью, которую нет-нет (теперь уже реже), а тоже называют полити-

кой, например мелиоративной или энергетической, и это до сих пор все еще возвышает прозатратность в глазах правительства и даже некоторой части населения, той, которая от этих ведомств кормится. Их влияние, их властное требование заставляют правительство отпускать, к примеру, Минводхозу больше 10 миллиардов рублей в год, притом что никто на свете не знает и принципиально знать не может, каков же приход в этой отрасли.

Подушный взнос каждого жителя Советского Союза на мелиорацию, считая младенцев и пенсионеров, достигает 40—50 рублей в год — это больше, чем государство вкладывает в здравоохранение каждого из нас.

Стараниями наших редакторов и издателей ставший великим писателем Рашидов крал миллионы, и чтобы кто-то это заметил, потребовались основательные перемены в составе Политбюро и правительстве, другого способа борьбы с Рашидовым и рашидовщиной так и не нашлось. Не находится их до сих пор и для того, чтобы оценить работу Минводхоза по достоинству. И не надо закрывать глаза: наше общество породило если уж не целый класс, так значительный слой людей, которые и не хотят и не мыслят никакой другой экономики, кроме прозатратной, а следовательно, безотчетной или же отчетной по явным и неявным припискам. И значит, утешение единственное: Минводхоз не одинок. Он всех переплюнул — это дело другое. Но вот утверждается программа гидроэнергетического строительства, рассчитанная на пятнадцать лет, она предусматривает сооружение 93-х новых ГЭС (при наличии круглым счетом 200). В перечне этих ГЭС площади затопления вообще не фигурируют. Не все ли равно, сколько будет затоплено,— земля же у нас ничего не стоит, ни копейки. Не все ли равно, сколько погибнет леса,— лес на корню почти ничего не стоит. Какие будут затоплены полезные ископаемые — о них и подавно никто ничего не знает. Тому назад двадцать пять лет чуть было не затопили тюменские месторождения газа и нефти, но гидроэнергетики и тут не смутились: а что? стали бы добывать нефть и газ с воды! Какие при этом будут экологические убытки — никто не считал...

Существующие сибирские ГЭС то и дело загружены немногим более чем наполовину, но вот проектируется

полное зарегулирование Енисея, а за ним и Лены и Колымы.

Строим не там, где нужно, где этого требует экономика, а где можно — где река все еще течет свободно.

Утверждаем программу строительства 93-х ГЭС, в то время как на них еще и проектов-то нет: сперва утвердим (неизвестно что), потом запроектируем. Бывает и так: сперва строим, потом проектируем. О строительстве АЭС нынче можно говорить кое-что, еще недавно можно было только прославлять. Результат: чернобыльская авария. Но что наша общественность знает об этой аварии? Очень немногое. За границей знают больше. А у нас все еще не может дойти до читателей повесть Г. Медведева «Чернобыльская тетрадь» с предисловием академика А. Д. Сахарова.

И Госплан такой порядок вещей не только санкционирует, он под него полностью подстроился. Планирует не он, планирует каждый свою отрасль с огромным запасом, с запросом, ничуть и никого не стесняясь, а Госплан только распределяет госбюджет между запросчиками. Так и есть: он закрытый распределитель, госраспред — вот его главная роль в нашем плановом-то хозяйстве. Это мы только думаем, что у нас хозяйство плановое и народное, на самом же деле оно ведомственное, построенное на безоглядном использовании природных и демографических ресурсов. И мы до сих пор заняты не столько делом перестройки, сколько все еще боремся с теми препятствиями, которые и сегодня не дают приступить к этому главному и решающему в нашей судьбе делу.

Пример (положительный) из истории отечественной мелиорации.

В конце прошлого — начале нынешнего века под начальством генерал-лейтенанта корпуса военных топографов Иосифа Ипполитовича Жилинского проводились одна вслед за другой огромные мелиоративные работы. Была осушена значительная часть Полесья и Барабинской низменности, обводнены территории Юго-Востока в бывших Саратовской, Царицынской и Астраханской губерниях на общей площади приблизительно миллион десятин. Это было действительное улучшение земель, без каких-то отрицательных последствий. О последствиях такого рода никто и не думал:

деньги и труд затрачены, естественно, должен быть и соответствующий эффект. Если бы тогда кто-то сказал, что миллионы гектаров мелиорированных земель оказались списанными, это, вероятно, сочли бы за сумасшествие.

Ну а в пятидесятые годы я побывал на местах работ экспедиции Жилинского, увидел нехитрые, но толково построенные сооружения, которые, наверное, работали бы и до сих пор, если бы были надлежащие эксплуатация и ремонт.

Итак, при минимальных затратах успех был достигнут полный, работы проводились только самые необходимые: расчищались тальвеги и к ним местами присоединялись осушители, а вся сеть была разреженной, обязательно с аппаратом обратного действия, что исключало пересушку и переувлажнение; там, где пологие склоны были пригодны под лиманное орошение, строились лиманы и водохранилища, в других местах — правильная оросительная сеть с обязательными для каждого региона опытно-агрономическими участками. Одновременно велись лесомелиоративные и дорожные работы. В общем, так Жилинский не покорял природу, не переделывал ее, а помогал ей, можно сказать — шел у нее на поводу.

Позже, особенно в послевоенные, не столь отдаленные от нас годы, дело приняло иной оборот.

Продолжая осушение Полесья, наши мелиораторы довели дело до переосушки, в Нижне-Волжском регионе списаны сотни тысяч гектаров орошенных земель, в Западной Сибири были созданы Бараббюро, Барабпроект, Барабстрой — огромные организации, они очень долго проектировали, очень долго строили, осушали уже осушенные Жилинским земли, и результаты его работ оказались сведенными на нет, обернулись убытками и потерями, был даже получен уникальный результат: засоление при осушении. Насколько мне известно, нечто подобное имело место еще и в Канаде, но там земли все-таки улучшили, производительность их не упала, а поднялась. Все это техническая сторона дела, самая существенная, но не только о ней я веду разговор.

Однажды я прочел годовой финансовый отчет генерала Жилинского по работам, проведенным в Барабе. Бухгалтерии у генерала не было, канцелярии не было, машинисток — ни одной, отчет занимал одну страницу и выглядел примерно так:

«Жалованье начальнику экспедиции ген.-лейт. И. И. Жилинскому 500 руб $\times$ 12 = 6000 руб.

(Значительна была и часть расходов генерала по статье «На всем готовом», но в ней отчитывался не он, а кто-то другой.— *С. З.*)

Жалованье г-м инженерам (2 чел.) 400 $\times$ 2 $\times$ 12 = 9600 руб.

Жалованье г-м ст. техникам (2 чел.) 250 $\times$ 2 $\times$ 12 = 6000 руб.

Жалованье г-м мл. техникам (2 чел.) 150 $\times$ 2 $\times$ 12 = 3600 руб.

Жалованье г-м студентам-практикантам (2 чел. 4 месяца) 90 $\times$ 2 $\times$ 4 = 720 руб.

Итого выплачено жалованья составу экспедиции 24 920 руб.

Грабарям и землекопам по распискам 95 243 руб.

Конному транспорту (грузовому и легковому) 8170 руб.

Итого израсходовано за отчетный год 128 333 руб.».

Любопытно, что штат экспедиции составлял... 9 человек. Любопытная «финансовая дисциплина», не правда ли?

Еще до войны мне довелось встретиться с инженером Смысловским, который, как мне помнится, некогда был одним из двух «господ мл. техников» в экспедиции Жилинского. Я спросил его: как понять отчет генерала? Ну а если бы имели место денежные злоупотребления? По такому отчету их ведь нельзя было бы установить?

— Злоупотреблений не могло быть! — был ответ.

— Что же, в ту пору не было в России казнокрадов?

— Конечно, были. Но у Жилинского была безупречная репутация, он должен был ею дорожить и дорожил.

— Ну а если бы случилась недостача — что тогда?

— Тогда... Жилинский или внес бы собственные деньги, или застрелился бы.

— А если бы в результате работ земли были бы не улучшены, а ухудшены — тогда?

— Не знаю... Тогда нам этого и в голову не могло прийти... Тогда уж, наверное бы...

Вот бы и нашим министрам подумать — что тогда? Но пока что не слышно, чтобы хоть один человек, повинный в списанных миллионах гектаров, в бесполезной растрате миллиардов на Кара-Богазе, в Каракалпакии, Астрахани и Новгороде, ушел бы в отставку. Нет таких.

Ну а что же происходит у нас внизу, на уровне колхозов и совхозов, которые облагодетельствованы столь пристальным вниманием бесконечных ведомств и органов — советских, партийных и прочих? В частности, тем же Минводхозом? Приведу цитаты из статьи под многозначительным названием «Чтобы народ прокормил себя...» академика ВАСХНИЛ В. Тихонова, речь в которой ведется о социальном иждивенчестве, а проще говоря, о паразитизме, столь развитом в нашем обществе («Литературная газета», 1988, № 31). «Апогея своего это социальное иждивенчество достигло в системе Минводхоза СССР, которое приписывает себе не только тот урожай, который получен в результате мелиораций, а весь урожай, полученный с мелиорированной площади. И ведь этот обман, этот шантаж, эта приписка, которая есть не что иное, как крупнейшее государственное преступление, происходит на глазах Совмина и ЦК КПСС, Госплана и Агропрома — и ничего, все с нею соглашаются, а тот, кто это опровергает, тот бузотер и демагог, не надо его слушать. И что особенно страшно, что и народ наш это видит и понимает, но и понимая не обращает на это внимания, разве только вздыхает: «Вот до чего мы дошли...»

Капвложения в мелиорацию окупятся, по расчетам самого Минводхоза, через двадцать пять — двадцать шесть лет, по простейшим расчетам автора статьи — через... сто десять лет!

«А почему так получается? — спрашивает автор и отвечает: — ...добрый и богатый государственный дядя дает Минводхозу из бюджета миллиарды. А под них — материальные ресурсы. Минводхоз сам определяет, какие и где работы выгоднее. Затем сам у себя принимает их, оценивает качество. Сам же эти работы и оплачивает, сам себя премирует, к наградам представляет. Потом с миной благодетеля передает мелиорированные гектары колхозу, совхозу» (разрядка моя.— *С. З*). О чем это говорит? Это же такая нелепость, которой, наверное, никогда и нигде на свете не было и не может быть, это уму непостижимо — и все-таки существует! Как? Почему? Ответа нет. Пресса пишет об этом чуть ли не изо дня в день — ответа нет. Поплевывал Минводхоз на прессу. Она пишет — он тратит миллиарды, у каждого свое дело.

Об этом и о других фактах я уже писал не раз. В журнале «Коммунист» № 13 за 1988 год я обратился к Минводхозу: поскольку я называю все эти факты государственными преступлениями, Минводхоз, по моему разумению, должен или подать на меня в суд за клевету, или признать себя виновным в государственных преступлениях. Третьего здесь нет. Но Минводхоз нашел выход: он молчит. Тогда возникает следующий вопрос: а что думает по этому поводу правительство? И ЦК КПСС?

Я окончил гидромелиоративный факультет Омского сельхозинститута в 1939 году... Немыслимо давно, а проходят годы, и вот появляется необходимость вспомнить, что и как было. Что за необходимость? Объяснять не стану, не сумею. А пока что скажу: так, как у нас в Омске, не было, кажется, нигде больше. Я встречался с выпускниками-гидромелиораторами из Киева, Ташкента, Москвы — их, этих факультетов, было в ту пору никак не более десятка, а в каждом свои, нестандартные порядки. И это было и нужно, и хорошо, и, как теперь говорят, инициативно. Так вот у нас в Омске была такая инициатива. Набор происходил в две группы — обычную и производственную, куда поступали без экзаменов по рекомендации производства люди, окончившие техникумы и поработавшие на производстве. Срок обучения у производственников был пять и даже четыре года, у всех остальных шесть лет (за счет прежде всего ВВП — высшей вневойсковой подготовки с двумя лагерными сборами: нас выпускали младшими лейтенантами).

Я учился в непроизводственной группе, хотя до вуза тоже окончил техникум, но по другой специальности, по агрономии, впрочем, и большинство моих товарищей были техниками разных специальностей: землеустроителями, машиностроителями, судоводителями и мелиораторами,— которые не хотели сокращать срок своего обучения в институте.

Была еще и такая категория студентов, как инженеры-практики. Пройдя краткосрочные курсы, они работали на производстве, и, если работали хорошо и выполняли объем работ на определенную сумму — не помню, не то на 500 тысяч рублей, не то даже и на миллион,—им присваивалось звание инженера-практика.

Позже я работал в том же институте, заведовал кафедрой гидротехнических мелиораций, бывал и во многих других вузах, но никогда уже и нигде не встречал больше такой вот интересной и эффективной практики подготовки инженеров. Ее придумал наш декан, затем директор института, а еще позже замминистра высшего образования профессор И. И. Агроскин, гидравлик по специальности. Здорово придумал! Хорошо еще и то, что в ту пору бывало возможным хорошие придумки осуществить.

О нас в институте говорили: «Учатся как звери!» И в самом деле мы учились с восторгом, с упоением. Для нас понятие «инженер-гидротехник» было высочайшим понятием, и тому много причин. На производстве инженеров нашей специальности было очень мало, это отнюдь не расхожая была должность. Мы были еще студентами, а нас уже ценили как специалистов. Приходишь весной в деканат выбирать место практики, а там десятки, сотни писем и телеграмм — предлагают занять должности инженеров, старших инженеров, начальников изыскательских партий, главных инженеров проектов. В конторах и трестах так и говорили: это сложный расчет, отложим его до приезда студентов, они ребята грамотные. И приезжали «грамотные», и рассчитывали, и строили не бог весть какие сложные объекты, зато надежно и скоро. Приехал студент, открыл строительство, а возвращается в институт и везет с собой фото к отчету о практике: плотина небольшая, насосная станция, колхозная или совхозная оросительная сеть. Производство для нас было родным домом. Три месяца практики, два — каникулы, еще на месяц-другой опоздаешь на учебу — никто на это не обращал внимания, лишь бы сдал курсовые проекты и экзамены очередной сессии — и вот уже полгода мы на производстве и желанные там люди, не нас там учат, а мы учим. На дипломы не смотрели, на работу смотрели, на умение и способности.

Я окончил институт, поступил в омский трест Облмелиоводстрой, а главным инженером треста был наш же студент четвертого курса производственной группы Петр Агеевич Куликов. Спустя года полтора я стал ассистентом на своем факультете, а Петр Агеевич сдавал мне свой последний курсовой проект.

Я что всем этим хочу сказать: прекрасный был

человеческий материал, кадры готовились самой высокой по тем временам квалификации.

Теперь вопрос: а как же с идеологией, с «идейной обстановкой»? Ведь это же были времена сталинского террора, самого жуткого, самого необузданного. Но и тут нам повезло: наш институт это как-то почти миновало, а что делалось по всей стране — мы об этом знали слишком мало, мы учились — вот было наше дело. У нас при этом еще и самостоятельность была какая-то особенная, даже и непонятная в общей обстановке того времени.

Такой случай. Отца моей будущей жены, профессора, объявили «врагом народа» и сняли с работы (правда, вскоре после того, как был отстранен нарком внутренних дел Ежов, профессор был восстановлен). И тут один из студентов нашего факультета, А., потребовал исключения из института дочери «врага народа»! И что же? Наша группа объявила: если студентка Б. будет исключена, мы все в один день тоже уходим из института. Прибежал И. И. Агроскин, взволнованный, красный весь, долго-долго с нами разговаривал, но, по существу, не с нами, а со студентом А. и ведь уговорил его снять свое предложение. Все для всех закончилось благополучно. По тем временам случай прямо-таки невероятный.

А дальше было вот что. Студент А., окончив институт, сразу же получил высокую должность директора треста. Но началась война, и его призвали в армию. Он испугался, дезертировал, его поймали, и он был расстрелян...

Еще случай. Когда я был студентом, на моем обеспечении оказались престарелые родители, поэтому я, зарабатывая летом на практике, зимой тоже работал: преподавал на вечернем рабфаке и служил корреспондентом в газете «Омская правда». И вот однажды редактор дал мне задание: написать отчет с межобластного совещания мелиораторов.

— Ты же как-никак тоже мелиоратор, вот и пиши.

И я написал, но не отчет, а двухподвальную статью (которую мне приятно считать первой своей работой по специальности) со своими соображениями.

Прошло какое-то время, и меня позвали на заседание президиума облисполкома, обсудили там статью, приняли по ней решение, и не только приняли, но и кое-что действительно изменили в порядке проектиро-

вания и договорных отношений с заказчиками. Вот так. Не так-то часто проявляем мы и нынче внимание к советам студентов. И ведь студент-то какой был на заседании президиума: в майке-безрукавке и в тюбетейке с кисточкой, это модно в ту пору было.

Но я и еще припоминаю: а в моей-то инженерной практике был ли такой случай, такой факт, который уже тогда заставил бы меня задуматься — а все ли в порядке «в датском королевстве»? Да, такой случай был...

После института я только начал работать в проектно-изыскательском бюро, и вот начальник этого бюро, мой товарищ (окончивший институт на год-два раньше меня), инженер Музалевский, вызвал меня:

— Сергей, знакомься — это наш постоянный заказчик из горкомхоза. Быстренько сосчитай ему смету на буровую скважину. Условия он тебе скажет.

Я познакомился с горкомхозом, а условие у него было только одно: чтобы скважина при заданной глубине стоила не больше и не меньше 90 тысяч рублей.

— Условия вполне реальные,— подтвердил Музалевский.— Больше у горкомхоза денег нет, а меньше нам невыгодно. Иди считай. Быстренько! Мы будем ждать. Вот тебе исходные данные, иди.

Я пошел, открыл технические и сметные справочники, стал считать, насчитал 50 с небольшим тысяч и довольный пришел к Музалевскому: оказывается, скважина стоит значительно дешевле.

— Вот чудак! — усмехнулся горкомхоз.— Есть у меня девяносто тысяч на это дело, берите их! До копейки. Мне-то экономия зачем? Деньги у меня целевые, их надо использовать по назначению, если останутся — куда я с ними денусь?

— Иди, Сергей, пересчитай. Быстренько! — подтвердил Музалевский.— А у нас тут еще дела, мы подождем.

— Не знаю, как это и сделать. Разве что категорию грунтов принять другую?

— Вот-вот! — обрадовался заказчик.— Прими какую хочешь категорию, а мы тебе потом в нашем заказе исходные данные переделаем! Мы согласуем.

Я пересчитал, получилось больше 100 тысяч, я пересчитал еще раз — 88! Ура! Я пошел сдавать свою работу и получил похвалу:

— Молодец. Да ведь и быстро-то как сообразил!

Вот это и была та практика, которую я распознал тогда впервые: дело не в том, что и сколько стоит, а в том, чтобы использовать деньги точно в тех пределах, в которых они где-то, когда-то и кем-то отпущены. При таком условии может ли в принципе развиваться техника? Тем более экономика? Никогда! Здесь теряются не только деньги, затраченные на данный объект,— теряется, исчезает сама шкала ценностей, мы не знаем истинной стоимости объектов, не можем выстроить их в ценностный ряд, не знаем, что дороже, а что дешевле, что есть чистая прибыль, а что убыток, а значит, не можем и разработать варианты и выбрать из них лучший, «меченые» деньги, не будучи деньгами в полном смысле, определяют всю нашу экономику.

С земледельцем у нас иначе и не говорят, как только требуют от него — и план требуют, и сверх плана требуют, и утильсырье требуют, и лозунги с портретами в помещениях правлений и управлений требуют. Вся жизнь селянина, вся его история вот уже в нескольких поколениях проходит под знаком бесконечных требований к нему. Рабочего или служащего хоть на ночь требователи оставляют в покое, а к колхознику и в полночь запросто постучится председатель или бригадир, а если постучится — значит, с требованием. Прочтите заново толстовское «Утро помещика» — у помещика не было и десятой доли тех требований к своим крестьянам, которые предъявляются к тем, кто еще в детстве провозглашал: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» Вот и ответ на вопрос о том, как и на что расходуется трудолюбие народа, его мыслительный потенциал, в частности способность к оценке результатов своего труда, способность к предвидению своего будущего. Хотя бы и самого ближайшего, завтрашнего. Уму непостижимо — каким образом оказалось возможным до такой степени исказить идеи социалистического земледелия да и социализма тоже?! Тем более что соцземледелие-то ведь не на пустом месте возникло, в ряде случаев оно могло опереться на опыт крестьянской общины. Был такой автор в дореволюционной Сибири — Швецов. Из его труда «История Алтайской крестьянской общины» можно узнать, что на Алтае колхозы, по существу, были еще... в начале века.

Ну, конечно, они создавались не по «примерному» уставу сельхозартели, но устав ТОЗа (товарищества по совместной обработке земли) к ним подходил как нельзя лучше — машины они покупали в складчину и использовали сообща, стадо содержали и племенную работу вели сообща, газеты и журналы выписывали сообща, а маслоделием занимались уже в подлинных артелях.

Мне часто приходилось слышать, что общинное пользование землей — это архаизм, что крестьянская община — это пережиток крепостного права и недаром ее разрушал Столыпин. Где-то, наверное, это было и так, а где-то не так.

В Сибирь мужики переселялись охотно — там земли у них было сколько угодно, знай себе обрабатывай,— но селились они все-таки не хуторами и не заимками, а селами, да еще и огромными, и устраивали в этих селах общества, товарищества и артели, почти что колхозы. Значит, где-то и в чем-то выгоден был коллективный труд и трудовая взаимопомощь? Опять-таки не буду говорить за всю Россию и даже за всю Сибирь, но буду утверждать, что если бы не перегибы 1929—1931 годов, если бы мужика не загоняли в колхоз силой, не торопились, не устраивали кровавых истерик — многие, многие крестьяне пошли бы в колхозы добровольно и хозяйствовали бы прекрасно.

Год 1929 был переломным не только в смысле перегибов, но и в смысле полного разгрома перспектив кооперации деревни, психологического разгрома общественного сознания крестьянина, заметим — сознания исторического. Читайте Василия Белова, он пишет о Вологодчине, но и у него вы это тоже почувствуете. Нет и нет — нельзя переделывать мир, и природу, и человека вопреки законам и естествознания и социологии. И как странно, что мы с таким упорством и с таким легким сердцем открываем эти законы не для того, чтобы им следовать, а чтобы их искажать. В России на какой-то срок это стало правилом — ведь какие у нас были умы, но каковы практические результаты их теоретических исследований? И так или иначе, а на практике оказывается, что от великих до малых, от руководящих до подчиненных, от верховных до рядовых дистанция не столь уж и велика. Удивительное дело: чем больше создается разрыв между низами и верхами, разрыв материальный, должностной и престижный, тем

ближе духовно эти «разорванные» становятся друг другу. В чем близость? Я думаю, прежде всего в искаженных представлениях об окружающем мире, в заблуждениях по поводу того, каков он настоящий, в настоящем и прошлом, тем более в будущем. В конце концов наступает такая «идиллия», при которой заблуждения одинаковы и однозначны для верхов и низов, однозначны еще и в том смысле, что они для всех одинаково губительны. Таково «единство». Потерять представления об окружающем мире — это потерять и самого себя, это даже хуже, чем не иметь их совсем.

В этой «идиллии» возродилась и та несправедливость, против которой крестьянин восстал в 1917 году, восстал и получил землю. Но вот он уже снова стоит с протянутой рукой и просит... просит ту же самую землю, чтобы быть на ней хоть немного хозяином. И даже не только для себя просит, но и ради того, кто ему не подает, кто от него требует и требует, кто без конца строит и организует для него все то, что ему совершенно не нужно и даже вредно. Ведь этот требователь и «строитель нового» тоже от него кормится. За что боролись, на то и напоролись — вот народная мудрость, страшная, но праведная пословица.

Революции еще и потому революции, что они обоюдоострое оружие, тем более в перспективе, в те сроки, когда революции так или иначе, а вписываются в эволюцию. Мы об этом забыли, и это опять-таки значит, что мы утеряли объективное представление о реальном мире, но пытаемся усовершенствовать мир, нами выдуманный. Который никак не может быть ни социалистическим, ни бессмертным, потому что он — никакой.

Античеловечно положение, при котором человек честно выполняет свой служебный долг даже и тогда, когда этот долг сам по себе никому не приносит пользы, больше того — приносит вред. Эта честность, приложенная к бесчестности, есть величайшее из всех издевательств, которые люди сумели придумать для самих себя и своего здравого смысла.

XX век поставил перед человечеством, а перед техникой и техниками прежде всего, эту альтернативу: на пользу или во вред? Поставил с такой остротой, как никогда прежде, но дело-то еще и в том, что, живя

в этом веке и действуя в нем, мы его не осознаем как время совершенно исключительное и ответственное. В нашем обществе эта неосознанность происходит еще и от убеждения, будто кто-кто, а мы-то самые сознательные, мы и родились самыми сознательными, а наши пионеры понимают все, что положено понимать человеку, гораздо лучше, чем выдающиеся ученые где-то там, во всем остальном и таком нехорошем, «заблуждающемся» мире. К тому же мы как-то уж очень приучены заботиться не о своих делах, а о чужих, о других за пределами своей страны, о других в ее пределах — тут уж и слов нет, чтобы сказать, насколько бескорыстно мы это делаем.

Я как себя помню, не помню года без тех или иных постановлений о колхозах и колхозном строительстве, и все это было проявлением забот о сельском труженике.

В бесконечной, а в какой-то мере даже и бескорыстной заботливости друг о друге мы перестали доверять заботам человека о самом себе, объявили это эгоизмом, иждивенчеством и еще бог знает чем. А что же в результате произошло? Тому же колхознику, ниже которого по нашей иерархической лестнице уже никого не было, и заботиться было не о ком, и вот он, наш поилец и кормилец, оказался на положении самого бесприютного человека. Нарушение психологии, прежде всего психологии труда и трудовой деятельности, и привело нас к нарушению основополагающих принципов существования человека — принципов его отношений с природой. Там, на Западе, к этому привела страсть к обогащению, у нас — страсть к уравниванию всех, а может быть, даже и к обнищанию.

Кроме того, мы должны понять, что все неполадки и несоответствия в отношениях между людьми внутри общества неизбежно сказываются на отношении этого общества с природой.

Наша перестройка — революция еще небывалая, она должна совершаться без крови и при участии даже тех, кто против нее, тех, кто не видит в ней никаких перспектив. Нечто подобное, может быть, имело место в истории революции, когда в Красной Армии времен гражданской войны 75 процентов среднего командного состава были недавние офицеры царской армии. Почему

они воевали за советскую власть, даже при том, что рядовые красноармейцы смотрели на них более чем недоверчиво, да и комиссары тоже? Потому что они убедились, что иного пути у России не было, что именно Советы бескомпромиссно воевали за Россию, в то время как белые главковерхи опирались на иностранных интервентов, продавали ее оптом и в розницу, заключали с ними союзы и договоры, по которым и на юге, и на западе, и на востоке, и на севере России должны были отойти ее территории в пользу все тех же союзников, не говоря уж об огромных материальных обязательствах, которые белые главковерхи брали на себя от имени России. И вот офицеры, в том числе и помещики и дети помещиков, у которых Советская власть только что отняла землю и отдала ее тем самым солдатам, которые были у них под началом, теперь воевали за советскую власть. Значит, были убеждены, что другого решения нет.

Наша перестройка — революция, начатая сверху. Но нынче-то вся ставка именно на народ, на общественность и общественное мнение, на общественный здравый смысл. Только бы нам этот смысл не погубить...

Универсальный пафос американца — это его дело. Дело как таковое. Дело прошлое, дело настоящее и дело будущее. Если американец чем-то вдруг увлекся, тогда и это увлечение тоже станет его делом, если не его профессией.

Средний американец никогда никому и ни ради чего не приносил таких жертв, какие из поколения в поколение приносил русский человек ради некоего великого дела, которое именно как дело-то в конце концов и не получалось, не завершалось достижением деловой цели.

Деловитость ведь в том прежде всего, наверное, и заключается, чтобы соотносить затраты с приобретениями, а мы этого никогда не умели. Не знаю, научимся ли. Это неумение и есть утопизм на практике, чуждый всей американской истории и столь близкий истории нашей, отечественной. Вспомним хотя бы протопопа Аввакума и многих-многих монахов, декабристов, толстовцев да и лучших коммунистов тоже. Мы без утопизма не можем. Какой-то народ должен был пронести утопизм через всю предшествующую историю, чего бы

это ни стоило,— эта судьба выпала России. Результат? Если нет результата — тогда для чего?

Один результат признан всем миром — это русская классическая литература. Не будь ее — каким бы был современный мир и современный человек? Наверное, на голову ниже? Бывая на Западе, я часто задавал там один и тот же — в общем-то довольно банальный — вопрос: чем привлекательна русская классика? В аудитории Миланского университета мне ответили так: специальность — это средство существования, а русская литература — это средство к тому, чтобы стать другим. Необязательно русским и русского мышления человеком, но если ты сам себя не устраиваешь и хочешь стать каким-то другим, нужно читать Толстого и Достоевского.

(Вот я и думаю иной раз: а мы-то сами, народ, из которого вышла эта литература, мы-то, может быть, все время какие-то другие, а не такие? Но какие мы есть, мы и сами не знаем, а только верим Толстому, Достоевскому и Блоку. Но это к слову.)

Мы претерпели великие потери, а чтобы терять, надо было иметь. Сколько же мы имели — возможностей, идеалов, научных открытий! Вот и интеллигенцию потеряли, ту, предреволюционную, а отчасти послереволюционную. Впрочем, она, едва народившись, уже не была жильцом на этом свете. В революцию эмигрировали два миллиона человек, преимущественно интеллигенция. Сколько отраслей науки они развили на Западе — и органическую химию, и сопромат, и авиастроение, и философию XX века, всего не перечислишь.

А потери при коллективизации? В 1937 году? В Отечественную войну? В 1948 и в последующие годы все того же террора? А в давние века сколько мы потеряли, ну хотя бы в результате татаро-монгольского нашествия? И каждая потеря оставляет свой след, свои последствия, иной раз бóльшие, чем приобретения.

А что теряли американцы? В истории ничего, потому что в европейском понимании у них ее и не было. В современности же они и потери умеют засчитывать за приобретения — это помогает жить.

И вот ведь как случилось, что мы — с такими разными судьбами — должны друг с другом договориться, друг друга понять.

Наше общество и общественность сегодня как бы даже и теряют свой начальный накал, свою масштабность, то и дело размениваются на мелочи, на столь мелочные групповые страсти, что стыдно становится. Не получает оно и той поддержки, которая обозначается как «действенность печатных материалов». Поначалу те, кого принялась критиковать печать, дрогнули: ну вот, кажется, и конец нашей деятельности; но потом осмотрелись: а ничего подобного — нас критикуют, а с нас как с гуся вода, мы какими были, такими и останемся. Останемся! Бюрократизм — это еще и стойкое умение приспосабливаться к обстановке. Бюрократы приспособились к гласности лучше и быстрее тех, кто обстановку гласности создает, кто вкладывает в нее душу.

Газеты сообщают: в результате мелиорации имеют место многомиллиардные убытки в Каракалпакии, на Кара-Богазе (по подсчетам специалистов, в перспективе убытки составят здесь 70 миллиардов рублей), Нижней Волге, Северо-Западе (в Новгородской, Псковской, Калининской, Ярославской и других областях), на Ленинградской дамбе, строительство которой признано-таки вредным и свертывается, и т. д. и т. д.— все это не в счет, зато в счет новый авантюрный проект переброски Обь — Чаны. Дело простое: новый проект — это новые минводхозовские деньги, сотни миллионов, миллиарды.

Неужели у нас нет другого социализма, кроме минводхозовского?! Неужели допустимо списывать миллионы гектаров, губить природу, жить в долг за счет будущих поколений, а главной проблемой все равно будет досыта поесть?!

Обманутая общественность — это уже и не общественность, а только пассивное население, масса, которая перестает верить и самой себе, и правительственным постановлениям точь-в-точь так же, как это было в период застоя. Перестает быть той активной силой перестройки, без которой и сама-то перестройка попросту невозможна и обречена на неуспех. Но вот один крупный работник объяснил мне дело кратко и ясно:

— Мы в инстанциях решили бы, что строить, а что не надо, в два счета. Но уступать щелкоперам?

Никогда! Нет, мы еще докажем, что такое мы и что — они!

Но кто же подлинный хозяин природы и природных ресурсов всей страны? Не отдельное какое-то лицо, не ведомство и не министерство и даже не государство, а народ.

И чем более чутко относится правительство любой из стран к проблемам экологии, тем ближе оно и к народу, и к осуществлению народовластия на деле. Чем ближе оно к народу, тем ближе ему такая проблема, как сохранение окружающей среды. Она — это ведь будущее народа.

Мы хотели переделать мир, причем очень быстро, силами всего двух-трех поколений, отвергая эволюцию, используя почти исключительно революционные методы. Нам это не удалось, не вышло. И ни у кого никогда не выходило так, как бывало в начале той или иной революции задумано. В конце концов революции — это мгновения, а история — это века, и если бы первые доминировали над вторыми — жизнь стала бы томительным ожиданием момента, и только. Так что всему свое и время и место. Это вовсе не значит, что с окончанием революции перестают существовать ее идеи. Идеи как раз и есть то главное и наиболее долговременное из всего того, что революции после себя оставляют, к чему послереволюционные эпохи возвращаются в поисках собственной мысли, хотя это заимствование очень часто и остается незамеченным, и выдается за новые и даже новейшие открытия. Это тем более возможно, что шкала измерений всех и всяческих идей во время революций и спустя некоторое время после них отнюдь не одна и та же, шкалы эти разные.

История идей — едва ли не самое существенное в истории мысли. В истории идей едва ли не самое существенное — история социальных учений. И не потому, что в этих учениях уже многое достигнуто и осуществлено, а потому как раз, что несмотря на столь долгое их существование достигнуто немногое. Казалось бы, раз так — нечего им и делать на этом свете, идеям, пожили тысчонку-другую лет, и хватит, толку от них мало.

Но в том-то и дело, что жизнь людей чем дальше, тем все больше и больше становится общественной.

И вот уже мы говорим о мировом сообществе, и с полным основанием это говорим: теперь уже нельзя представить человечество, обеспеченное будущим без сообщества народов, объединенных хотя бы только общей для всех идеей-минимум — идеей выживания, из которой следует идея-максимум — бессмертие.

Теперь уже ясно, что если мы, человечество, выживем, так выживем все вместе, если погибнем — тоже вместе. И тем не менее нам все еще не ясно — что такое человечество? Отдельного человека мы представляем себе в том множестве вариантов, которое мы встречали в своей повседневной жизни, в искусстве и в литературе — и с Пьером Безуховым мы знакомы близко, и с королем Лиром. Те сообщества людей, которые — народ и народы, мы чем дальше, тем тоже узнаем все больше и глубже, но все-таки — что такое человечество? Более 5 миллиардов людей так же реальны, как один-единственный человек, но эту реальность мы до сих пор не умеем себе представить, все еще не умеем, хотя бы и с помощью передовой техники и самой обширной информации. Этому нужно учиться. Нужно разрабатывать методику этого обучения, если уж во всех критических историях мы всегда оказываемся «все вместе».

Конечно, бессмертие само по себе понятие утопическое, но разве утопизм не сыграл своей роли в развитии человечества? Разве он не играет ее и сейчас, после того как был в ряде случаев выброшен на свалку истории? Собственно, утопизм обладает одним-единственным недостатком: он слишком горячо желает рая на земле. Но какие бы стихи, прославляющие человека и его разум, ни слагали поэты в свою любовную пору, теперь уже достаточно ясно: рай человечеству не видать никогда.

Другое дело — избежать ада. Вот с этой поправкой утопизм нынче необходим, может быть, больше, чем когда-либо в прошлом. Социализм — альтернатива такой перспективы; кажется, единственная. Никто и нигде другой альтернативы такого рода пока что не выдвинул. И похоже на то, что ее, принципиально другой, и не может быть, что всякое размышление об усовершенствовании человеческого общества никогда социалистических идей не минует. Вот и религия тоже заговорила о христианском социализме, заметим — о социализме, но религий много, причем несовместимых

между собой, а социализм — по крайней мере в теории — один, и это тот пункт, вокруг которого можно объединяться в поисках бессмертия всем, кто хочет и кто призван искать.

Да, история возложила на нас грандиозные задачи, одарила нас огромными возможностями, но не дала никому опыта социалистического строительства, способов и методов реализации его собственных возможностей. Ни одного совета не дала она нам, ни одной оргсхемы, ни одного плана, ни одного проекта постановления — все нужно было изобретать и латать самим на протяжении всех семидесяти лет. Единственно что мы знаем: что самые значительные наши возможности — в нас самих. Страна и ориентировалась на самое себя и никогда не рассчитывала на защитников и покровителей — их у нас попросту не было. Это, безусловно, наложило на нашу психологию свой отпечаток. Какую-нибудь статью какого-нибудь вождя мы легко принимали за «исторический документ», который исчерпывающе определяет дальнюю «историческую» перспективу, какой-то далеко еще не проверенный и ничем не подтвержденный тезис — за «историческую необходимость». Страна разучилась добросовестно подводить итоги своей деятельности, нередко полагая, что накачивание энтузиазма более важно, чем практические результаты, будь то в экономике, здравоохранении или в проблемах нашего благосостояния. Так мы потеряли способность сравнивать свои планы и замыслы с реальными результатами. Обвиняя — и не без основания — капитализм в стихийности и неуправляемости, мы проявили едва ли не детскую доверчивость к планам и к «методам планового хозяйства» в целом, мы первые стали объявлять наши планы законами, но это не мешало менять их несколько раз за пятилетку, исключая в то же время из них элементы той неизбежной непредсказуемости и даже стихийности, которых каждый из нас не может избежать при достижении любой цели. Мы законы не открываем, не доказываем, а постановляем.

Теперь-то наконец выделен психологический «человеческий фактор» из ряда других факторов нашего развития, но ведь еще совсем недавно его никак не выделяли, потому что он, по сути дела, заменял нам весь этот ряд. Мы полагали, что достаточно всем стать

«сознательными» — и в тот же день наступит социализм.

И в то же самое время именно ориентация на собственные силы помогла нам сохранить себя как новое общество.

Если бы не она — мы не выстояли бы в войнах гражданской и Великой Отечественной.

Если бы не она — мы уже потеряли бы свою собственную культуру, давно подменив ее поп-артом и боевиками американского образца, и наша судьба в этом отношении отнюдь не была бы исключением.

И если бы не она — мир не ведал бы никакого иного альтернативного пути своего развития, кроме того, по которому он шел и который привел его на край ядерной катастрофы.

Предшествующие поколения исходили из того, что достижение обществом материального благополучия создаст ему и благополучие моральное, а это последнее — перспективу бессмертия, но время доказало несостоятельность такой гипотезы.

Мы же начали с создания такой «новой» морали, на основе которой должны были прийти и к материальному благополучию. Больше морали — больше всеобъемлющего благополучия: так мы думали. Мы жили ради будущего, в этом была высшая цель, главный приоритет. Но в достижении цели нужно успевать да успевать, покуда настоящее безоговорочно признает над собою право и приоритет будущего. Такое признание не может быть бесконечно долгим, настоящее тоже хочет жить и рано или поздно начинает жить своими собственными интересами. Если же цель не была достигнута за тот промежуток времени, в который настоящее еще готово было служить будущему, наступают обстоятельства, которые можно назвать особыми, исключительными и трагическими. В смысле трагичности всех этих обстоятельств наша действительность, конечно же, никем не была превзойдена в прошлом и вряд ли будет превзойдена когда-нибудь в будущем.

Возникает и такой вопрос: а может быть, жертвы, принесенные человечеством идее социального равенства, столь велики, что навсегда скомпрометировали и саму идею? Что в какой-то мере скомпрометировали — это так, что навсегда — это вряд ли, думаю я.

Да вот и в наше время — куда можно пойти со

циализму? Не станет же он вручать в вечную собственность частным лицам заводы и фабрики, леса и земли. Что это могли бы быть за частные лица? Не выбирать же нам из своей среды капиталистов! Путь один — не отказ от социализма, а совершенствование его, кропотливый поиск тех его качеств и свойств, которые соответствовали бы не только концу XX — началу XXI века, но и влекли бы в века последующие.

Вот так: и без идеала плохо, и с идеалом непросто — наверное, даже и труднее. Но человечество никогда ведь без идеала не жило, и нужно сказать, что он всегда в существе своем был коммунистическим: свобода, равенство и братство.

Вот и нынче, когда перед человечеством с небывалой остротой возник проклятый вопрос «быть или не быть?», вопрос этот может быть решен в пользу «быть» только тогда, когда он будет вписан в проблему будущего, причем будущего справедливого, иначе говоря — обладающего идеалом. Нет справедливости без ее идеала.

Нынешний мир может спасти мировоззрение, активного мировоззрения опять-таки не бывает без идеала.

Потери на каждую из наших жизней пришлись невероятные — миллионы погибших в войнах, тюрьмах, катастрофах, в отравленной атмосфере;

потери многих и многих нравственных начал, пусть и не всеобщих, но всякий раз давних, созданных и осознанных за века, иной раз за тысячелетия;

потери во всем том, что до сих пор мы считали вечным и бесконечным,— в природе.

Ну а все-таки в чем же состоит для меня потеря главная, философски наиболее общая, тяжело доминирующая в моей памяти, в восприятии мною окружающего мира?

Чтобы ответить, надо, наверное, вернуться в детство, в юность, в ту пору, когда человек познает мир сам по себе и в его естестве, помимо формул химии и математики, без гениальных изречений Сенеки, Аристотеля, Толстого, Гете или Эйнштейна, без расчленения этого мира специальными инструментами знания на самые различные науки и направления, без программ и планов, когда само собою разумеется: если есть — значит, было, значит, и будет.

«Есть» — это ведь понятие изначальное, понятие рыцарское, без страха и сомнений, оно и сделало человека человеком. «Есть» — его суть, включенная в суть и в существование всего остального мира. «Есть» — это и то, что больше всего меняется в нашем представлении с возрастом.

В 1929 году весной я окончил семь классов 22-й барнаульской совшколы и решил осенью поступать в сельскохозяйственный техникум. Между весной и осенью предстояло то самое лето, о котором мы, выпускники седьмой «б» группы, так долго мечтали, к которому готовились, и не как-нибудь, а всерьез, зарабатывая деньги: в школе мыли полы, дежурили в платных гардеробах, а главное, самое главное, арендовали киносеансы. Это в ту пору можно было: надо было внести в кассу кино определенную сумму, а потом распространять билеты, и то, что набиралось сверх этой суммы, и было нашим заработком, в случае же недобора мы могли потерпеть и убыток. Но убытка мы не терпели, мы были активными распространителями билетов, а все другие школы нас поддерживали.

Так мы заработали деньги и пустились в довольно рискованное путешествие по Горному Алтаю. Рискованное, потому что маршрут мы выбрали трудный, отнюдь не туристический и потому что денег у нас все-таки было маловато, но мы решили, что еще подработаем в пути.

Мы делали ставку на пьесу «Стена» из времен гражданской войны — сплошная стрельба, сплошные подлости белых, сплошной героизм красных, финал же все-таки трагический. Догадался-таки я сделать его трагическим. Я был автором этой пьесы. Впрочем, я уже об этом писал где-то и когда-то, но вынужден повториться, чтобы объяснить, когда, как и в каких обстоятельствах мы, пятеро мальчишек и три девчонки, оказались в конечном пункте нашего путешествия — в большом старообрядческом и старожильческом селении Коргон в верховьях реки Чарыш, притока Верхней Оби.

Шестьдесят лет прошло с тех пор, почти шестьдесят; где я только не побывал за этот поистине грандиозный срок, чего не повидал в Европе и Азии, в Америке и Африке, но вот спросите: а что самое красивое из всего виденного мною? — и я без колебаний отвечу:

верховья Чарыша там, где расположены селения Коргон и Кумир. Господи, какие красоты! Какие горы, какие леса, поля какие среди гор и лесов, реки и ручьи какие среди гор и лесов, маральники какие с быстроногими маралами среди гор и лесов, тропы какие среди гор и лесов,— нет, невозможно обо всем этом сказать! Я атеист, но что-то мнится мне неизменно, лишь только вспомню этот совершенно реальный из реальных земной рай, будто не обошлось тут без некоего божественного участия. Во всяком случае, не обошлось без участия тех сил и законов природы, которые никогда так и не будут уяснены человеком. Нельзя уяснить такой красоты, не под силу это человеку, только и можно что чувствовать и переживать ее всем своим, без остатка, существом. Не будь я уже и тогда атеистом, я знал бы, кого благодарить, но вот не знал, а невысказанная благодарность слишком легко присваивается человеком самому себе, и эта легкость оборачивается глупостью.

Не назову точно дату, когда мы пришли в Коргон (где-то в конце июля), и не скажу, что я в тот удивительный день чувствовал. Конечно, переживания и сама жизнь были тогда совсем другими, не такими, как нынче, когда день этот стал и далеким-далеким, и таким близким воспоминанием. Но вот в чем дело: уже тогда, в тот день, я знал, догадывался, что Коргон — это на всю жизнь и на всю память, которая мне предстоит. И даже на ту, которая мне не предстояла, а как бы данную мне тогда же сверх меня самого...

Итак, придя в Коргон, мы направились в сельсовет, чтобы нас назначили на квартиру. Это надо объяснить: какие еще квартиры нужны путешественникам? Но нам они были нужны, таков был способ нашего путешествия: мы нанимали одну подводу, которая везла весь наш багаж, а иногда и наших девчонок, сами же шли пешком, налегке, выбирая самые интересные, а значит, и трудные тропы. Подводчики нанимались везти наш груз от деревни до деревни, это во-первых, во-вторых, палатки у нас были уж очень плохонькие, ночевать в них высоко в горах — мука мученическая. Наконец, мы более чем охотно общались с населением, кроме всего прочего, нам ведь нужны были еще и зрители наших спектаклей. Вот и сейчас я в подробностях помню деревни, в которых мы останавливались, начиная с Колыванского гранильно-шлифовального заво-

да: Бугрышиха, Андреевское, Ионыш, Березовка, Сентелек, Коргон.

В Коргонском сельсовете на наш квартирный запрос ответили так:

— Станете на квартеру к Филиппу Медведеву. (Сказано было Медведёву.)

Идти улицей левой стороной до самого большого двухъярусного (то есть двухэтажного) дома, зеленого, под железом. Филиппов дом один такой. Еще было сказано: кулацкий дом.

А постройки в Коргоне были хороши, все больше крестовые, редко где встретится пятистенок, но медведёвские хоромы украшали и эту богатую улицу. И ограда была огромная, с несколькими воротами, внутри ограды бродили лошади, кое-какую травку щипали овцы и гуси, табунились здесь утки и куры, дымилась и постукивала кузня.

Из кузни и вышел к нам хозяин — мужик огромный, с огромной и в самом деле медвежьего цвета бородой, в кожаном фартуке. Ни о чем нас не спрашивая, негромко сказал:

— На квартеру? Ну и што — становитесь.— И тут же громко крикнул: — Анння!

Из дома выглянула немолодая уже женщина, тоже в фартуке, в домашнем:

— Ась?

— Посчитай вот гостеванов-то к обеду.

— А скольки их?

— Посчитай.

— Нас восемь человек,— сказал кто-то из нас.

— А возница-то? Не считай, Анння. Ихних — девятеро...

Было очень теплое время, мы не пошли в дом, а разбили палатки в дальнем углу ограды, почти у самой реки.

Мы прожили на медведёвской ограде дней, наверное, десять, помогали хозяину косить, грести и метать сено в копны и в стога, в эти же дни коргонские мужики пантовали маралов, и мы помогали Медведёву загонять их в станки, мы дважды и с успехом ставили свой спектакль в коргонской избе-читальне и очень подружились с Филиппом Медведёвым. Он был человеком огромным, огромной физической силы, мрачноватым и добрым, держал человек пять-шесть работников, и когда все мы — вся его семья и все работники — садились за

стол, получалось человек за двадцать. Перед обедом Филипп крестился на икону двумя перстами, жена его Анна тоже, потом они садились с торца стола, Медведёв говорил: «Ну а теперя — с богом!» — стукал по столу ложкой, и все начинали молча и активно хлебать щи с бараниной. Хозяин и хозяйка хлебали по старообрядческому обычаю — каждый из своей плошки, ребятишки и работники — из плошек общих, нам, городским, наливали тарелки — одну на двоих.

Прислуживали за столом хозяйские девчонки, прислуживали бойко, бесперебойно: и щи, и мясо вареное, и каша пшенная либо гречневая, и кружки с холодным молоком — все подавалось вовремя. Успевали за едоками девчонки едва-едва, но старались и успевали. Старшей было лет тринадцать, младшенькой не больше, наверное, восьми.

И все было бы хорошо, все прекрасно, если бы в доме не стояла тоска, тяжелое предчувствие, о котором не раз и не два заговаривал с нами Медведёв.

— Вот, ребяты, какой получился у меня в жизни страм,— говорил он,— страмят меня на кажном углу как богатея и кулака. Мало того — грозятся выселить с Коргона невесть куды. Грозится мне в том советская власть, и энто в то время, когда я за ее кровь проливал. Вот я вам сейчас и покажу...— И Филипп поднялся в верхние комнаты, а возвратился оттуда в новом черном пиджаке с орденом Красного Знамени на лацкане.

Мы внимательно орден рассматривали, Филипп и пощупать и погладить его позволял. Это в ту пору была такая редкость, я за свою жизнь раза два-три видел на ком-то ордена, и то издалека, а вблизи — никогда.

Так оно и было: в гражданскую войну Филипп был в Красной Армии, он еще в 1922 году воевал с бароном Унгерном в Монголии, отвоевав, вернулся домой и несколько лет сладил свое хозяйство и зеленый дом под железом.

— Уж я-то повоевал-то,— говорил он.— Уж как меня подранят, а дома золотым корнем напитаюсь — и обратно на войну. Так и раз и два. А теперя я лишенец. Без правов на избирательство. Как это может быть, а? — недоумевал он.— Учили меня люди писать Калинину. Писал. Ответу нету. Вы, мальцы, грамотные — может, напишете на повторный раз?

И мы писали, я писал, поскольку в школе у меня неплохо обстояло дело с сочинениями на тему «Как я провел каникулы» и на другие темы тоже.

И вот ведь что оказалось: Медведёв, которого я встретил в селении Коргон, конечно же, был героем моей пьесы «Стена». Но я не догадывался об этом. Только вот сейчас, с запозданием на шестьдесят лет, догадался. А тогда... тогда нам казалось — все обойдется в жизни Медведёва Филиппа, обойдется все, и писать никуда не надо — разве только потому, что человеку этого хочется. Ему хочется, а нам почему бы не написать? Мы люди грамотные! Кажется, только один из нас, Коля Дудкин[1], сын сельского фельдшера, понимал Филиппа Медведёва. А остальные только и делали, что купались в окружающей нас природе, воспринимая ее в счастье и в радости.

Мы природу искали на каждом шагу и, по сибирскому выражению, «бегали» вчетвером в верховья реки Коргон, а я один — еще и в селение Кумир и дальше вверх по реке Кумиру. Я надышался в тот раз той самой красотою, которая и сейчас сжимает мне горло, как только вспомню о ней. Семьдесят — восемьдесят километров каждый из этих маршрутов, двести пятьдесят тысяч шагов среди гор и лесов, среди чудес и счастия — вот чем были эти одно- двухдневные маршруты.

Ну а денег-то нам все-таки не хватило, и мы ради экономии решили купить какие-никакие лодки и сплавиться вниз по Чарышу. Деревенские нас провожали, натащили шанежек, женщины плакали:

— Утонут ить, глупые!

Вышел на берег и Филипп Медведёв, помахал нам лапой и, не дождавшись, пока мы отчалим, ушел.

А Чарыш здесь, в верховьях, считался сплавным только для плотиков, а для лодок — ни в коем случае, но мы рассудили так: если плавится плотик, почему бы не сплавиться и лодке? Мы все выросли на Оби, у нас были отличные рулевые. Нашим любимым занятием было плавать на Оби в бурю. Вот мы и поплыли весело и отчаянно через пороги и перекаты, раза два-три тонули, но не утонули. Был случай — Коля Дудкин спас

---

[1] В недавнем еще прошлом директор крупного московского завода, ныне пенсионер.

меня из очень серьезного положения, он был у нас первым силачом.

А тем временем год великого перелома вступал в свои права, в свое надругательство над правами человека, и мужики в деревнях, мимо которых мы плыли, уже не проявляли к нам никакого интереса, скорее даже проявляли враждебность. И пьесу «Стена» из времен героической гражданской войны мы больше нигде не показывали, плыли голодные и холодные. Опять-таки одна только природа — горы и леса, а потом и равнины — не изменила к нам своего отношения, и сияло над нами сибирское безоблачное, иссиня-синее небо... И мы, городские дети, были и веселы и счастливы.

А через тридцать с небольшим лет я принимал участие в лесной экспедиции Академии наук по Горному Алтаю, я уже говорил об этом, и вот однажды попросил своего начальника профессора Г. В. Крылова сделать небольшой крюк, заглянуть в Коргон и Кумир. Георгий Васильевич согласился и нашел какое-то задание в той стороне, так нашел, чтобы и Коргон и Кумир были нам по пути.

— Ну правда,— сказал мой профессор,— ничего интересного там нет, года три-четыре назад я там бывал — ничего нет!

Ехали мы на «газике» и все время разговаривали: незадолго до того я вернулся из Китая, вот о Китае я и рассказывал. Дорога была — хуже некуда: рытвины, грязь, камни, сосновые и кедровые хлысты валяются вдоль дороги. Справа от нее — облысенные горы, слева — долина, тоже вырубленная-вытоптанная, вся в пеньках, с жилыми бараками вдоль реки, с неприглядными длинными и разбитыми улицами. «Ну,— думал я,— вот уж когда достигнем Коргона и Кумира...— А глядя на бараки: — Ну, дом-то Филиппа Медведёва, рубленный корабельно, конечно же, стоит как стоял — что ему может сделаться? Около него я и постою. И подумаю. И повспоминаю...»

Так мы ехали и ехали, тряслись по ухабам и тряслись, а я все рассказывал и рассказывал о Китае, пока не спросил:

— Да где же Коргон-то? Пора бы ему быть.

— Как где? — удивился водитель.— Вот бараки-то мы проехали, построечки на берегу — это и был Коргон. Теперь уже скоро и Кумир. Он точь-в-точь такой же. Может, не стоит и ехать?

Профессор смотрел на меня, молча спрашивал: стоит? не стоит? Я сказал:

— Не стоит... Едем обратно.

А ведь еще совсем недавно человек мог вернуться в ту самую природу, в которой он произошел, в природу своей юности тоже мог и в природу своей любви и счастья, потому что природа, как никто другой, счастье хранит. Это наша собственная жизнь всегда была временной и мимолетной, природа же — та вечность, которую человек мог искать и безошибочно найти, прислониться к ней, погрузиться в нее. Общение с ней и всегда ведь было не только необходимо, но и возможно и естественно. Вот и для Толстого оно было, это общение, возможным в Ясной Поляне, и для Пушкина в Михайловском и в Болдине, и для Тургенева в Спасском-Лутовинове, и для Есенина в Константинове. И не только для них, выдающихся поэтов и мыслителей, всегда существовало некое пространство, наполненное Вечностью, не только их наделила природа чувством родины, нет,— в этом все люди как ни в чем другом равны и равноправны, и каждому дано где-то прийти в мир, а где-то из него уйти, каждый может еще и еще найти себя среди лесов, гор и равнин Земли, на берегу какой-то реки, какого-то моря. А найдя, снова и снова приобщиться к ней — к Вечности. Это, должно быть, потому, что Вечность — родина всего и всех. Нас, людей, тоже.

Так было всегда, а иначе, казалось, быть не может. Но вот уже перед глазами человека в течение его столь краткой жизни проходит даже и не один, а несколько обликов природы, изменчивых и непостоянных, им же, человеком, искалеченных. А где же и в чем же тогда заключена для него Вечность? Разве только в космических беспредметных далях? Наверное, так оно и есть, если через тридцать лет уже не узнаешь свою любимую — природу? Свою родину. Я все тот же, она — уже другая!

Вот какое новшество произошло на этих днях, на наших глазах: Вечность канула в Лету. Вместо Вечности — Выживание (и оно тоже пишется нынче с большой буквы).

Вот что нам предстоит сохранять и восстанавливать: Вечность.

Вот какие остались у меня воспоминания о русском старожильческом селении по имени Коргон.

Всю жизнь я собирался вести дневники, аккуратно записывать день за днем — какое, скажем, за полвека составилось бы богатство! С энтузиазмом начинал я это дело лет шестьдесят пять тому назад, но вскоре же и бросил. А что же все-таки мешало это бесценное богатство приобрести? Лень? Конечно, и она. Но не только она. Дневник — это ведь дни, один, другой, сотый, тысячный, десятитысячный, дни — это время, но у времени есть антипод, который его пожирает, антипод этот — события. Чем больше событий, тем меньше времени.

Откроем сегодняшний номер любой нашей газеты — «Правды», «Известий», «Труда», «Московских новостей»; открыв, представим себе, что день сегодняшнего числа имеет место не в 1989 и не в 1988 году, а, скажем, в 1984-м. Да с ума можно сойти, прежде чем этакое себе представить: так изменилась за последние годы жизнь, такие произошли в ней перемены и события! Истинно, тут уж не до жиру, быть бы живу, иначе говоря — тут не до дневников. Безошибочно можно сказать только одно: то ли еще будет!

Девятый вал перестройки еще не подошел — так я слышал, так и сам понимаю.

Догадываешься, что из чего должно проистекать,— вот и все, и не более того. Ну, наверное, мы и дальше будем вписываться в тот окружающий нас мир народов, от которого мы на долгое время изолировались даже тогда, когда в этом не было ни малейшей необходимости...

В те семьдесят лет, когда мы не чувствовали себя Европой, она ведь тоже размышляла, искала, возносилась и падала, произвела на свет фашизм, не без нашей помощи избавилась от него, но не до конца. Когда бы до конца — откуда было бы взяться терроризму?

Если по большому счету, так по обе стороны железного занавеса человеческие трагедии разыгрывались чуть ли не одни и те же, но только в разных обстоятельствах и на разных языках, значит, надо искать общий язык, больше того — строить общий европейский дом. Столь необходимый и для всего мира. Логика? А какая другая логика еще может быть? Были другие, а к чему они привели?

Но прежде чем приступить к общему делу, нам нужно обогатить себя идеологически. Обогатить, прежде всего освободившись от всего выдуманного в нашем мировоззрении.

Выдуманные от начала до конца мировоззрения — это, наверное, самый большой грех и порок человечества. Мировоззрение должно проистекать из опыта и уж во всяком случае подтверждаться им, а опыт ведь нельзя ни выдумать, ни сконструировать. Мировоззрение не конструируется, оно определяется из действительности, определившись, призывает нас к себе. Мы пробовали сделать наоборот: призывать мировоззрение к нам, подчинять ему свой собственный опыт,— не получилось. То есть на некоторое время что-то и получалось, но ведь всему положено не только свое время, но и своя собственная продолжительность. А то поесть толком нечего, зато — мировоззрение! Этого долго быть не могло.

Вот и нет у социализма бóльшего врага, чем все лишнее в нем самом. И в любом деле так же.

Избавив социализм от всего лишнего и необоснованного, мы снова и снова раскроем его реальную необходимость в этом мире. Ведь никакой замены его идеям так и не возникло.

Да, мне представляется, будто в какой-то момент мы восприняли социализм не только как панацею от всех и всяческих бед человечества, но даже и как решение всех личностных проблем. Вот уж приедет барин, барин и рассудит каждого из нас и с историей, и с современностью, и с самими собою. И такой взгляд на вещи, такое мировоззрение проистекло вовсе не от бедности мысли.

В личности русского человека, каждого человека, воспитанного на русской культуре, уже к началу этого века столько было замешено всего на свете, столько возникло в голове и сердце его неразрешимых противоречий, малодоказуемых убеждений, мечтаний и сомнений, гипотез и догм, столько было в нем в ту пору Достоевского, Толстого, а несколько позже Блока, Маяковского и Демьяна Бедного тоже, что он невольно поверил в существование некоего универсального средства, пригодного для безотлагательного (терпеть и дальше не было уже никакой возможности) решения всех своих и национальных, и интернациональных, и сугубо личных проблем. Он доверился не столько даже делу

своей жизни как таковому, сколько мечте о таком вот необычайном средстве.

Нет, нет — мыслью социализм никогда не был беден, и даже в самые тяжелые для нас времена я не замечал, чтобы мы уступали кому-то в нашей мыслительной деятельности. Может быть, не превосходили, но и не уступали.

Говорят — и говорят до сих пор упорно,— будто социализм безличностен. Нет, не верю! Не от педантизма он произошел и не от какого-то там стандарта, он шел от поиска, а поиском бедные души не занимаются. Не терпят бедные души и подполья, что дореволюционного времени, то и сталинского и брежневского времен.

В самой истории нашего отечественного социализма личностного начала не только не хватало, а было в избытке. Другое дело, что от этого избытка недалеко оказалось и до... культа личности. В стране монархической это не то чтобы естественно, но и отнюдь не невероятно. Сталин знал, что делал, когда создавал свою «когорту», выдвигал «выдвиженцев», не одно их поколение, и поручал им отрешиться от старого мира, отряхнуть его прах со своих ног, а затем построить «наш» совершенно новый и безупречно справедливый мир, все это в самые сжатые сроки.

И «выдвиженцы» решительно искореняли тот самый капитализм, который они-то и в глаза не видели, полагая себя при этом ортодоксальными марксистами и не задумываясь над тем, что Маркс предупреждал: пролетарские революции обязательно должны созреть в горниле капитализма, империализма, а может быть, и сверхимпериализма.

Нет, такого разнообразия личностей, которое создала российская действительность с начала текущего века, поискать да поискать! Другое дело, что́ здесь может быть найдено с точки зрения дела общечеловеческого, с точки зрения того социализма, который — социализм, а не его паллиатив. Во всяком случае, мне доводилось наблюдать богатейшие и самые различные личности во все без исключения времена — и культа личности и застоя (об этом свидетельствует и наша литература), тем более время нынешнее ничуть не пугает нас каким-то личностным однообразием или стандартностью мышления. Не знаю, кого бы могло это испугать и опечалить. Так что и в этом смысле нам есть чем поделиться с миром, с мировой литературой в частности, дело лишь за

новым Толстым, и ни за чем другим! Надежд, правда, на Толстого немного. Толстые — это ведь явления национальные, а нынче наше национальное и размывается и нами же самими компрометируется так, как, наверное, ни в одной другой союзной республике; Толстые возникают из того или иного направления в развитии духовной жизни и культуры народа, а нынче культура у нас есть, но направлений в ней нет, все больше свары — тиражные и другие; Толстые — это выражение благородства нации, векового, если уж не тысячелетнего, но в то время как те же американцы из своей двухсотлетней истории извлекают и извлекают духовную (и благородную) пищу, нам наша тысячелетняя служит больше для всякого рода справок и опровержений.

Но так или иначе, а дело все-таки в нашем настоящем, второй половине восьмидесятых, они, как и всякие революционные годы, чреваты многими неожиданностями и ожиданиями, они момент решающий, подлинно исторический. Плохо, если мы за повседневностью не усвоим этой историчности.

Заметок из всего того, что было и прошло, можно написать множество, но для этого нужно видеть. Нельзя замечать не видя.

Если же и еще поживем, значит, и еще увидим.

Хотелось бы, да и нужно, нужно увидеть вещи в их более конкретном, в том житейски-драматическом значении, в котором все они, все мы нынче существуем, не предаваясь при этом (или предаваясь лишь в меру) российской привычке порассуждать и поговорить вокруг, повспоминать, припрятывая за воспоминаниями мечты и надежды. Те самые, которых мы стали уже и стесняться.

Мы грешны перед природой по невосполнимому счету, по счету, который не оплатим никогда.

Чернобыль — это счет; Арал — это ужасный счет, там страдают целые народы; Кара-Богаз — счет; списанные миллионы гектаров в результате «коренных улучшений» (читай — мелиораций) — счет...

Счета, счета, счета...

Но тут еще и природа учинила землетрясение в Ар-

мении, как будто у нас и без этого в минувшем году не было бед и нерешенных проблем.

Пытаемся уладить отношения между нами, людьми, и вовне страны политика наша действительно обретает все большую поддержку и понимание, но вот внутренние отношения все усложняются, а это снова и снова отзывается и на той природе, которая дает жизнь нашему государству, которая к решениям Совета Безопасности не прислушивается, и нам остается одно — прислушиваться и считаться с ней да с умом строиться в сейсмологически опасных районах. И — страдать, когда это становится неизбежным, так, как страдает нынче Армения, а вместе с нею и все мы, советские, и все человечество.

Почему братству и взаимопониманию нас больше всего другого учат трагедии?

Почему Армении выпало учить всех нас — слишком уж дорогая цена для небольшого народа, для столь трудной его истории.

Есть вопросы, на которые ответа нет. Ответ один — дело. Дело поддержки, помощи, соучастия. И хоть это-то дело нынче, слава богу, происходит.

1989

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ВОШЕДШИХ В СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ С. ЗАЛЫГИНА В ШЕСТИ ТОМАХ

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ 1981—1989

ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

Залыгин С. П.

З-24 Собрание сочинений. В 6 т. Т. 6. Рассказы 1981—1989; Литературно-критические статьи.— М.: Худож. лит., 1991.— 590 с.

ISBN 5-280-01613-6 (Т. 6)
ISBN 5-280-00785-4

В том вошли рассказы 1981—1989 гг., а также литературно-критические статьи.

З $\frac{4702010206\text{-}032}{028(01)\text{-}91}$ Подписное

ББК 84Р7

СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ ЗАЛЫГИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТИ ТОМАХ

ТОМ
ШЕСТОЙ

Редактор Т. ШЕХАНОВА

Художественный редактор Е. ЕНЕНКО

Технический редактор Е. ПОЛОНСКАЯ

Корректор И. ЛЕБЕДЕВА

ИБ № 6294

Сдано в набор 13.03.90. Подписано в печать 18.12.90. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага кн. для массов. изд. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 31,08. Усл. кр.-отт. 31,08. Уч.-изд. л. 32,94. Тираж 100 000 экз. Изд. № 111-4758. Заказ № 569. Цена 2 р. 10 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

2р. 10к.